

Валерий РОНКИН На смену декаблям приходят январы...
На смену декаблям приходят январы...

Валерий РОНКИН

На смену декаблям приходят январы...



Валерий РОНКИН

**На смену декаблям
приходят январь...**

**Воспоминания
бывшего бригадмилльца и подпольщика,
а позже — политзаключенного и диссидента**

Общество «Мемориал» — Издательство «Звенья»
Москва · 2003

**83.3(2Рос=Рус)6
Р71**

Издательская программа Общества «Мемориал»

Редакционная коллегия:

**А.Ю.Даниэль, Л.С.Еремина, Е.Б.Жемкова,
Т.И.Касаткина (председатель), М.М.Караллов,
Н.Г.Охотин, Я.З.Рачинский, А.Б.Рогинский**

**Издание осуществлено при поддержке
Ассоциации «Дорога свободы»**

ISBN 5-7870-0072-2

© В.Е.Ронкин, 2003 г.

© Д.А.Сенчагов, оформление, 2003 г.

О Валерии Ронкине и его книге, или Из Москвы с любовью

Как это случилось и почему? Когда в суматошную, — чтобы не сказать сумасшедшую, — жизнь московской фронды второй половины 1960-х впервые вошла бодрая компания ироничных, молодых, но с очевидностью уже состоявшихся и каких-то удивительно светлых ленинградцев?

Сначала были слухи.

Слухи утверждали, что в «колыбели революции» Петрограде раскрыт очередной подпольный кружок. Назывался он вообще-то «Союзом Коммунаров», но известность получил как «группа “Колокола”», по названию журнала, им выпускавшегося. Затем произошло очное знакомство, сначала — с друзьями и родственниками подпольщиков, а затем, когда наши герои отбыли свои сроки, и с ними самими. В Москве их стали ласково называть «колокольчиками»; так это и осталось.

Сама история с «Союзом Коммунаров» никакого особого «идеологического» интереса, честно говоря, не вызывала. Ну, марксисты и марксисты — эка невидаль. То ли они «истинные ленинцы», наподобие братьев Медведевых¹, П.Г. Гри-

¹ Рой Медведев (р.1925) — историк. Приобрел известность после появления в Самиздате во второй половине 1960-х годов написанного им обширного трактата «К суду истории» — первой попытки системного исследования феномена сталинизма с марксистско-ленинских позиций; в 1965—1970 гг. готовил и распространял в узком кругу периодический машинописный сборник «Политический дневник», с этих же позиций освещавший и комментировавший современные общественно-политические события.

Жорес Медведев (р.1925) — биолог. Брат и единомышленник Р.Медведева. Известен как автор антилысенковской рукописи «Культ личности Сталина и биологическая наука», распространявшейся в начале 1960-х в Самиздате, а также ряда других самиздатских статей и обращений.

горенко², А.Е.Костерина³, уже становившихся тогда знаменитыми диссидентами, и других, менее знаменитых, то ли принадлежат к какому-то иному социал-демократическому изводу (помнится, мелькало слово «плекхановцы»). Кому в этом охота разбираться? Вопрос «как веруеши?» в диссидентской и околодиссидентской среде уже (справедливо было бы добавить — «и еще») не был актуальным. Идеологическое позиционирование в нашей среде уже не рассматривалось как сущностная характеристика человека; на смену идеологической парадигме пришла концепция прав человека — универсальный язык социальной (в том числе и политической) активности. Важно было не то, что Ронкин, Хахаев, Иофе, Смолкин и их друзья — марксисты, а Огурцов, Садо, Платонов, Бородин и их друзья (члены ВСХСОН⁴, другой группы питерских революционеров середины 1960-х) — православные националисты, а то, что их посадили в тюрьму за убеждения. Пожалуй, единственным обстоятельством, привлекавшим внимание к идеологии наших новых друзей, было то, что формально ту же веру исповедовала власть, их посадившая. Для одних это было лишним свидетельством неискренности режима, его равнодушия к собственным идеологическим постулатам, для других — столь же лишним подтверждением известного тезиса, согласно которому религиозное сознание воспринимает еретиков как врагов более злостных, нежели инаковерующих. Наверное, правы были скорее первые, нежели вторые: какое уж там религиозное сознание в аппаратах ЦК и КГБ в 1965–1966 годы!

² Петр Григоренко (1907–1987) — профессиональный военный, к началу 1960-х — генерал-майор. В 1963 г. организовал подпольный кружок под названием «Союз борьбы за возрождение ленинизма», позже — один из наиболее известных и авторитетных деятелей общественного движения 1960–1970-х гг. Автор мемуарной книги «В подполье можно встретить только крыс» (М.: Звенья, 1997).

³ Алексей Костерин (1896–1968) — писатель, публицист. С конца 1950-х активно выступал против «искажений ленинской национальной политики», за восстановление справедливости по отношению к «наказанным народам» — чеченцам, ингушам, крымским татарам, поволжским немцам. Вместе с Григоренко вошел в 1967–1968 гг. в круг московских диссидентов, стал активным участником протестной активности.

⁴ ВСХСОН («Всероссийский социально-христианский союз освобождения народа») — подпольная организация, образовавшаяся в Ленинграде в 1963 г. и представлявшая религиозно-почвенническое направление оппозиционной политической мысли того времени. В основу программы «Союза» легла идея государственного переустройства и возрождения России на основе православия как государственной идеологии. Организация была раскрыта в 1967 г.

Да и срока вольнодумцам любого толка раздавались, кажется, с полным беспристрастием: инженеры Ронкин с Хахаевым получили «за Маркса» не больше и не меньше, чем африканист ВСХСОНовец Вячеслав Платонов — «за Бердяева».

Однако для нас — сегодняшних, нас — читателей воспоминаний В.Е.Ронкина, вопрос об истоках тогдашнего мировоззрения его и его друзей не может не представлять определенного интереса.

Как, где, вокруг чего складывалось это мировоззрение? Вокруг факультетской стенной печати — в годы студенчества? В рейдах комсомольских патрулей? В поездках на целину? В стройотрядах? В турпоходах? Во всяких экстравагантных предприятиях, вроде самостоятельных экспедиций, отправлявшихся на поиски Тунгусского метеорита?

Да ведь не было ничего особенного, уникального (для конца 1950-х—начала 1960-х) в идеологических предпочтениях наших героев!

Разговоры о социализме, бюрократии, демократии, России, революции; попытки построения «нового рационализма» (марксистского или иного) как альтернативы официальному политическому и духовному маразму, а также экономическому абсурду — в 1960-е это было столь же естественной и неотъемлемой частью быта почти любой молодой компании «технарей», как и песни у костра.

Кажется, тот образ мыслей, о котором идет речь, был по преимуществу именно «технарским». Люди «чистого естествознания» — физики, математики, биологи — в те годы часто становились «инакомыслящими»; некоторые из них при этом «переступали грань» и проявляли, в той или иной степени, и соответствующую активность, публичную или подпольную. Но, по видимому, эта категория советской интеллигенции в массе своей не была склонна искать общественные истины там, где искали ее наши «колокольчики», — на путях возвращения социалистической традиции к ее рациональным и гуманистическим истокам. Что же касается гуманитариев, то их оппозиционность закономерно вытекала из их профессиональных затруднений и особых идеологических обоснований, равно как и песен у костра, не требовала.

Истоки почти поголовного недовольства технической интеллигенции общественно-политическими реалиями советской жизни были совершенно очевидными. В принципе инженеры вполне готовы были заниматься тем самым делом, к которому

призывали их партия и правительство: строить, налаживать производство, изобретать и совершенствовать механизмы. Мысль об обществе, сконструированном по рациональному чертежу, не может не греть душу инженера, а представления о социальной инженерии сводились 35–40 лет назад именно к чертежу. Далее происходило сопоставление чертежа с реальностью.

Воспоминания Валерия Ронкина построены, в сущности, как цепочка эпизодов, каждый из которых представляет собой коллизию между «чертежным» здравым смыслом идеалиста и реальностью советского (а в последней части книги — и постсоветского) абсурда. И чаще всего это столкновение происходит в производственной сфере; контекст, достаточно редкий для мемуарного жанра, — но именно этот контекст определяет внутреннюю драматургию личности автора, его становление и развитие. Подобно новому Кандиду, бродит Ронкин по экономическим джунглям «реального социализма», задавая себе и другим наивные и неудобные вопросы и сам же на них отвечая. Каждый эпизод анекдотичен; и единицей повествования естественно становится анекдот.

Как известно, Владимир Войнович определил жанр своего «Чонкина» как «роман-анекдот». Возможно, воспоминания Валерия Ронкина следовало бы назвать «мемуаром-анекдотом» или, точнее, мемуаром, состоящим из анекдотов, не только в изначальном, пушкинском, но и в бытовом понимании этого слова.

В чем суть анекдотического восприятия действительности у Ронкина?

Пожалуй, ключевое понятие для описания авторского мироощущения — это «неувязочка». Абсурдистские ситуации преследуют Ронкина всюду: в школе, в институте, на производстве, в следственном изоляторе КГБ (одно опереточное появление майора Сыщикова чего стоит: «я пробормотал: “Не может быть, так только в книгах бывает”»), в мордовских лагерях и во Владимирской тюрьме, в ссылке, вновь на производстве. А на ронкинские педантизм и идеализм жизнь реагирует всегда одинаково: цитатой из анекдота же, впрочем, довольно известного, — «а вот неувязочка нам по фигу».

Разумеется, жанровые пристрастия характеризуют в первую голову самого мемуариста. Ронкин и в самом деле прежде всего ироничен: он постоянно посмеивается над собой (над собой — в первую очередь), над друзьями, над врагами, но главным образом — над ситуацией.

Гораздо важнее идеологии была стилистика компании. (Познакомившись с мемуарами Валерия Ронкина, читатель, надо полагать, согласится, что слово «компания» здесь много уместнее, чем слово «группа», — да это верно и для почти любой независимой коллективной общественной инициативы последних советских десятилетий.) А стилистика — это уже не только личная собственность Валерия Ефимовича Ронкина, но и достояние всей компании «колокольчиков». Сомневающимся просят перейти непосредственно к чтению мемуаров.

Про «колокольчиков» не рассказывали мрачных и патетических историй. Про них ходили разные байки. Собственно, они и сами о себе рассказывали в основном байки, причем делали это с огромным и нескрываемым удовольствием. Показательно, что первый исторический очерк, посвященный их делу и написанный одним из участников группы, Вениамином Иофе, наполовину состоит из таких баек⁵. Воспоминания Ронкина, в сущности, состоят из них на три четверти.

Стилистика все и решила. История выпускников Технологического института и бывших бригадмильцев, угодивших в политические лагеря не только ради идеи, но отчасти из озорства, как-то удивительно пришлась ко двору в той среде, которая и сама-то слегка стеснялась собственных внезапно пробудившихся гражданских эмоций и предпочитала скорее подсмеиваться над собой, нежели говорить о себе с пафосом (впоследствии пафос, конечно, пришел, куда ж без него! — но это случилось много позже). И кроме того, была в этих весельчаках, экспериментировавших над собственными судьбами, какая-то необыкновенная чистота, точность звука, свежесть и честность. Не гражданская честность, — этого добра хватало и без них, — а простая, человеческая. Все это казалось необходимым контрапунктом к уже слегка тронутой бесовщиною диссидентской Москве.

Эта Москва познакомилась с Ронкиным и его друзьями сначала заочно, по письмам Юлия Даниэля и Александра Гинзбурга из лагеря, а также по нескольким строкам в знаменитой

⁵ Песков В. [В.Иофе]. Дело «Колокола» // Память : Исторический сборник. Т.1. М., 1976; Н.-Й.:Хроника, 1978. С. 269—284.

книге Анатолия Марченко «Мои показания»⁶. Потом перезнакомились с женами — Ирой Ронкиной, Лидой Иофе, Ниной Гаенко, с друзьями — Володей Шнитке, Володей Сиротининым, благо последний жил в Красноярске и его квартира стала перевалочной базой для всех, кто ездил навещать ссыльных в Восточную Сибирь.

(Автор этих строк свел знакомство с семьями Ронкина и его односельцев раньше многих, весной 1966 года, в поселке Явас, «столице» Дубравлага — мордовских политических лагерей, куда и мы, и они приехали на свидание с близкими.)

А потом, в назначенные Фемидой сроки начали открываться ворота Дубравлага и Владимирской тюрьмы и на свободу один за другим выпорхнули сами персонажи легенды: Борис Зеликсон, Люся Климанова, Валя Чикатуева, Валерий Смолкин, Сергей Мошков, Вениамин Иофе и другие.

Некоторые из них не только вошли в диссидентский круг общения, но и приняли самое активное участие в диссидентской работе. Так, Смолкин в Вильнюсе, а Иофе в Питере к середине 1970-х стали функционерами Общественного фонда помощи политзаключенным и их семьям (так называемого фонда Солженицына), которым вплоть до своего очередного ареста руководил их лагерный знакомец Гинзбург. Другие ушли в профессиональную и частную жизнь.

Последними, уже в 1974 году, явились ссыльные Ронкин с Хахаевым: один из Коми, а второй из Абакана. Мелькнули на московских горизонтах и ушли в лужское затворничество — жить дальше и, как теперь понятно, обдумывать прожитый опыт.

«Колокольчиков» полюбили — сразу и бесповоротно. За что? Да, в общем, ни за что. Если вы спросите кого-то из многочисленных московских друзей бывших «коммунаров», почему при произнесении их фамилий тот расплывается в непроизвольной улыбке, то наверняка услышите в ответ что-нибудь невразумительное, вроде «люди уж больно хорошие».

Не станем и мы пытаться вникать глубже в эти материи. Сказанного достаточно.

⁶ Анатолий Марченко (1940—1986) — публицист и мемуарист. Его мемуарная книга «Мои показания» — первое литературное свидетельство о послесталинских политлагерях (см. в сб.: Марченко А.Т. Живи как все. Вильнюс; Москва: Весть-ВИМО, 1993).

Несколько слов собственно о Валерии Ронкине и его мемуарах. Много распространяться на эту тему было бы странно: читатель держит книгу Ронкина в руках и, надо надеяться, сам разберется, чем она и ее автор замечательны.

И все же хотелось бы поделиться некоторыми предварительными соображениями.

Было бы лукавством отрицать, что В.Е.Ронкин как личность известен и интересен лишь сравнительно узкому (хотя, учитывая необыкновенную общительность нашего героя, и не такому уж узкому) кругу друзей и знакомых. Для них (в частности, и для автора предисловия) он — Валерий Ронкин, «Бен», удивительно умный, удивительно милый и вообще родной человек. И все, сходящее с его пера, — будь это ехидные заметки о «приватизации по Чубайсу», рассуждения о прошлом, настоящем и будущем социализма или трактат о мотиве «гуси-лебеди» в славянском и тюркском фольклоре, — имеет высокую ценность: просто потому, что это сочинил Бен.

Для остальных же, тех, кто не имеет удовольствия знать автора этих воспоминаний, он — не более чем историческая личность, человек, ассоциирующийся с одним из самых ярких и колоритных эпизодов в истории сопротивления режиму 1960-х годов. И в его воспоминаниях такого читателя интересует прежде всего то, что связано с этим эпизодом.

Но подпольная деятельность «Союза Коммунаров», арест, следствие, суд, лагерь, ссылка — все это занимает меньше половины объемистого тома мемуаров В.Е.Ронкина. И кое у кого, несомненно, возникнет соблазн: пропустив занудноватые описания детства, ворох студенческих и целинных историй, турпоходы, комсомольский и бригадильский активизм персонажей, производственные байки и т.п., сразу перейти к «историко-политической» части воспоминаний. А затем, дождавшись момента, когда наш герой покинет место ссылки с вдохновляющим названием Нижняя Омра, с облегчением захлопнуть книгу и расстаться с Ронкиным и его друзьями навсегда.

Очень не советуем. Хотя бы потому, что бригадильство (включая «борьбу со стилистами и хулиганами»), комсомольство и турпоходы перетекают у Ронкина и его друзей в подпольную активность с неподражаемой естественностью. Никаких особенных

рефлексий, мучительных раздумий, клятв на Воробьевых горах (может, просто потому, что в Питере нет Воробьевых гор?). «Сергей спросил меня: “Что будем делать?”». И, через несколько строк, посвященных распределению ролей в их студенческой компании, ответ: «Мы написали листовку».

Ну что, в самом деле, делать, если все не так хорошо и правильно, как хотелось бы? Разумеется, написать листовку. Еще лучше — политический трактат (что Ронкин с Хахаевым и сделали несколько позже). А еще лучше — выпустить подпольный журнал. Если же и то, и другое, и третье — совсем славно.

В этой связи мемуарист меланхолически замечает: «Сам вопрос в контексте наших отношений касался только конкретных действий».

* * *

Вообще, диссидентские мемуары — это всегда, или почти всегда, «роман воспитания». Описание собственно диссидентской деятельности, подпольной или публичной, обычно оказывается самой скучной и тривиальной сюжетной линией, важной только историку. Ронкин (вероятно, интуитивно) разрешает эту проблему, прибегая все к той же стилистике анекдота и тем спасая ситуацию.

А вот вопрос «Как же мемуарист дошел до жизни такой?» представляет, нам кажется, неизменный интерес для любого читателя, а не только для историка общественных движений.

Естественно, что разные мемуаристы отвечают на этот вопрос по-разному.

Выходцы из социальных низов (Юрий Орлов⁷, Анатолий Марченко⁸) аккумулируют и умножают силой своей личности и своего таланта яростную и презрительную ненависть рабочего класса к правящим слоям, ко всему, что ассоциируется с «начальством»: отрицание политического режима и официальной идеологии у них — не более чем производная от этой глобальной ненависти.

⁷ Юрий Орлов (р.1924) — физик, чл.-корр. Академии наук Армянской ССР. В 1970-е годы — активист правозащитного движения, основатель и руководитель Московской Хельсинкской группы. Автор мемуарной книги «Опасные мысли» (М.: Аргументы и факты, 1992).

⁸ Анатолий Марченко. Живи как все // Марченко А.Т. Живи как все. Вильнюс; Москва: Весть-ВИМО, 1993.

«Воспоминания» Револьта Пименова⁹ демонстрируют нам оппозиционность, вырастающую из жаркого интереса к российской истории. Его одноделец Борис Вайль¹⁰ приходит к аналогичным итогам в ходе историко-философских размышлений, в результате внезапного озарения, параллели между советским социализмом и германским нацизмом, подсказанной случайным собеседником.

Петр Григоренко в книге «В подполье можно встретить только крыс» повествует о мучительном преодолении искренним и честным идейным коммунистом самого себя, о бескомпромиссной интеллектуальной последовательности, приводящей автора сначала к наивно-романтической подпольной борьбе за «восстановление истинного ленинизма», а затем — к свержению всех идеологических кумиров, которым он поклонялся десятилетиями. При этом наиболее интересно проследить за тем, как при полной смене идеологических ориентиров мемуарист в значительной степени сохраняет в себе прежнюю, армейско-коммунистическую, стилистику и структуру мышления.

Мемуары Григория Подъяпольского¹¹ раскрывают нам особый, малоизвестный или, во всяком случае, слабо зафиксированный в мемуаристике мир «катакомбного свободомыслия» (сам термин, кажется, принадлежит именно Подъяпольскому). Мир этот сохранялся в старой русской интеллигенции, в основном — на семейном уровне. Зачастую такое свободомыслие опиралось не только на культурную, но и на религиозную традицию.

В ряде статей и интервью Ларисы Богораз¹², Павла Литвинова¹³ и других представителей нового поколения советской ин-

⁹ Револьт Пименов (1931–1990) — математик, публицист, мемуарист, общественный деятель. В 1956–1957 гг. организовал в Ленинграде подпольный кружок. Дважды (в 1957 и 1970) был осужден по политическим обвинениям. Автор нескольких историко-публицистических работ, ходивших в Самиздате. В.Е.Ронкин неоднократно упоминает о нем в мемуарах. Наиболее полный опубликованный вариант его собственных мемуаров: Пименов Р.И. Воспоминания. М.: ИЭК «Панорама», 1996.

¹⁰ Борис Вайль (р.1939) — библиограф. Одноделец Р.И.Пименова как в 1957, так и в 1970 г. Его воспоминания опубликованы в Англии (Вайль Б.Б. Особо опасный. Lnd.: OPI, 1980).

¹¹ Подъяпольский Г.С. Золотому веку не бывать М.: Звенья, 2003.

¹² Лариса Богораз (р.1929) — лингвист. Неоднократно упоминается на страницах воспоминаний В.Е.Ронкина как жена его солдагерника Юлия Даниэля. В 1966–1968 гг. — одна из тех, вокруг кого консолидировалось возникающее общественное движение. В августе 1968 г., после вторжения советских войск в Чехословакию, участвовала в известной «демонстрации семерых» на Красной площади.

¹³ Павел Литвинов (р.1940) — физик, педагог. В 1967–1968 гг. был одним из неформальных лидеров общественного движения. Составитель двух документальных сборников, посвященных политическим процессам над инакомыслящими; участник «демонстрации семерых».

теллигенции, не имевшего уже никакой генетической связи с интеллигенцией дореволюционной, часто повторяется мысль о русской культуре (прежде всего о русской классической литературе) как источнике диссидентского мировосприятия.

Наконец, воспоминания Андрея Сахарова¹⁴ являются, как это ни банально звучит, доказательством того, что в «естественно-научном» мышлении неизменно присутствует потенциал оппозиционности. При наличии определенного уровня интеллектуального бесстрашия этот потенциал реализуется почти автоматически.

В этом ряду записки Валерия Ронкина занимают особое место.

Ронкин — выходец из сравнительно благополучной советской семьи, принадлежащей, условно говоря, к низшим слоям среднего класса. Его мать работала библиотекарем, а отец служил в армии в малых чинах; но с таким же успехом они могли быть учителями в школе, или врачами в поликлинике, или, как сам мемуарист, инженерами-технологами на производстве. Это в принципе ничего бы не меняло.

Ронкин не имеет оснований испытывать классовую ненависть к «начальству». К интеллектуальной элите, к «сливкам интеллигенции» он тоже не принадлежит. Он не относится к поколению тех, кто, подобно Петру Григоренко, Льву Копелеву¹⁵ или Алексею Костерину, в той или иной мере принимал участие в строительстве нового общества, и, следовательно, у него нет оснований чувствовать личную ответственность за результаты грандиозного социального эксперимента, поставленного в СССР. Не принадлежит он и к той духовной традиции, которая изначально противостояла (активно или пассивно, внутренне) этому эксперименту. Он не одержим историей или культурой (разве что испытывает определенный юношеский интерес к философии), и лишь по прошествии времени исторические и культурные категории становятся источником аргументов, которыми он подкрепляет свое уже сложившееся критическое мировоззрение.

Специфика становления Валерия Ронкина как личности состоит в том, что его идеология, его мировосприятие, склады-

¹⁴ Сахаров А.Д. Воспоминания. М: Права человека, 1996.

¹⁵ Лев Копелев (1912–1997) — литератор, критик, филолог-германист. Автор ряда публицистических статей, ходивших в Самиздате, и мемуарных произведений, издававшихся за рубежом; в числе последних — воспоминания, озаглавленные «И сотворил себе кумира», — о собственном участии в коллективизации советской деревни (Анн Арбор: Ardis, 1978).

вающиеся жизненные интересы — вполне советские. Он — нестандартный продукт абсолютно стандартного советского идейно-политического воспитания; он образцовый комсомолец, активист, он искренне предан коммунистической идее, искренне верит в марксистскую догматику. Предмет его озабоченности первоначально состоит исключительно в том, чтобы привести окружающую действительность в соответствие с этим, вполне официозным идеалом: преодолеть мещанство, бюрократизм, победить стилижничество, хулиганство и прочие пережитки дореволюционного прошлого — и спокойно работать на благо социалистической Родины. Конечно, он довольно быстро понял, что указанные пороки продуцируются самим общественным строем, что Советский Союз стал жандармом Восточной Европы, что правящая верхушка давно «переродилась» и стала основным препятствием к построению истинного социализма, что однопартийная система — это не более чем способ монопольного сохранения власти в руках правящей бюрократией. Ну и что? Ничего страшного. Надо просто написать листовку.

Разумеется, самая интересная проблема, которая возникает на этом месте, состоит в том, чтобы понять, почему Ронкин и ему подобные оставались именно «нестандартным продуктом», почему советская система воспитания не плодила Ронкиных сотнями тысяч. Возможно, все дело в том, что эта система имела принципиально двойственную природу: явным образом обучая человека идеологическим клише, она в то же время была неявно призвана обеспечить не слишком истовое отношение воспитуемого к этим же клише, проследить, чтобы он получил определенную дозу цинизма по отношению к любым ценностным установкам, в том числе и к тем, в верности которым ему предстояло клясться всю оставшуюся жизнь. Как правило, это срабатывало; исключения обуславливались чаще всего личностными особенностями и спецификой времени. Из таких, как Ронкин, природных скептиков и рационалистов, трудно сделать циников и почти невозможно — конформистов. Особенно когда их становление происходит в такие эпохи, как конец 1950-х—начало 1960-х, — годы, целиком окрашенные в романтические и иронические тона.

В случае Ронкина и его друзей мы, возможно, сталкиваемся с феноменом, аналогичным тому, который породил и первых советских правозащитников. В одном случае эмпирическая реаль-

ность призывается на очную ставку с декларируемой идеологией, в другом случае практика советской юстиции «наивно» повернется буквой советского же законодательства.

И тем не менее, в определенном смысле Ронкин и его друзья и есть те «настоящие советские люди», о воспитании которых так пеклись на словах коммунистические идеологи в течение десятилетий. Люди эти получились чересчур уж искренними и последовательными? Извините: вы сами десятилетиями декларировали, что искренность, честность, гражданственность входят в число добродетелей советского человека. Вот и получите Союз коммунаров с журналом «Колокол» в придачу.

Усилия советской власти увенчались сокрушительным поражением. Неожиданно для себя она действительно вырастила «человека новой формации» — Валерия Ефимовича Ронкина.

* * *

Если диссидентские мемуары — это «роман воспитания», то почти неизбежным структурным элементом такого романа становится экзамен на аттестат зрелости. Экзамен этот начинается для диссидента тогда, когда прерывается его диссидентская активность и за ним, говоря традиционным литературным языком, захлопываются двери тюрьмы. Для XX века слово «тюрьма» — это в основном метафора; тюрьма в точном смысле данного термина, т.е. следственный изолятор, служит лишь приуготовлением к основному экзамену — лагерю. (Впрочем, настоящая, классическая тюрьма, знаменитая Владимирская «крытка», также не миновала нашего героя.)

Есть, правда, промежуточный экзамен — суд. У «колокольчиков» этот суд, как и следовало ожидать, принимает характер студенческого капустника. Говорить об этой феерии комического в предисловии грешно: не следует перебивать читателю удовольствие. Тем более, все политические, как и несчастливые семьи, проходят судебный процесс по-своему, а счастливая семья советских политзаключенных 1960-х годов отбывала наказание в одних и тех же лагерях — мордовских.

Поэтому лагерные впечатления мемуаристов-диссидентов тоже образуют некоторую парадигму, в рамки которой небесполезно ввести и впечатления нашего Кандида.

Конечно, политический лагерь 1960—1970-х — сложное и многоплановое явление, и разные мемуаристы воспринимают и описывают его каждый по-своему.

Например, во фрагментарных записках Юлия Даниэля¹⁶ политический лагерь — место, где собраны лучшие из лучших, цвет национальной интеллигенции (независимо от образовательного статуса). Лагерь — это торжество духовности над тупой и скучной силой, лишившей заключенного свободы внешней, но не способной отнять свободу внутреннюю. Охранники ему вообще неинтересны.

Его однодевец Андрей Синявский видит лагерь как огромное полотно, где каждая судьба — голос из хора, а всё в совокупности — невероятное художественное произведение, порождение коллективного духа¹⁷. Лагерь Синявского фантастичен и метафоричен, как Тадж-Махал или Ангкор.

Для Михаила Молостова, сидевшего в конце 1950-х—начале 1960-х годов; политлагерь — это прообраз будущего, место возникновения, сшибки и сопоставления идеологий, политических проектов, национальных и политических эмоций, моделей общественного поведения. В своем, к сожалению, неопубликованном мини-мемуаре «Моя феноменология» он рассматривает политлагерь как своего рода искусственную экспериментальную деланку, где вызревают неведомые миру плоды, которые однажды придется испробовать каждому¹⁸. Кажется, вкус этих плодов настораживал Михаила Михайловича уже тогда. Охранники его тоже не очень интересуют.

Анатолий Марченко в книге «Мои показания» акцентирует внимание на противостоянии: с одной стороны — лагерная администрация, нагло и жестоко попирающая права заключенных, их достоинство, с другой — заключенные, стойко и мужественно борющиеся за свои права или, наоборот, сломленные и опустившиеся. Лагерь для Марченко — арена непримиримой борьбы.

¹⁶ Даниэль Ю.М. Из неоконченной книги // Даниэль Ю.М. Говорит Москва : Проза, поэзия, переводы. М.: Московский рабочий, 1991. С.9–27, 257–276, 300–301. См. также: Даниэль Ю.М. Я все сбиваюсь на литературу: Письма из заключения; Стихи. М.: «Мемориал»—«Звенья», 2000. Обе названные книги не только тесно связаны тематически с мемуарами В.Е.Ронкина, но и пересекаются по множеству конкретных эпизодов.

¹⁷ Абрам Терц. Голос из хора //Абрам Терц [Андрей Синявский]. Собрание сочинений: В 2 т. М.: СП «Старт», 1992. Т.1.

¹⁸ О М.М.Молостова см. примечание на с. 350. Фрагмент очерка «Моя феноменология» хранится в Архиве Общества «Мемориал» (Москва) (ф.155). Другой мемуарный текст Молостова, посвященный политическому лагерю конца 1950-х—началу 1960-х, опубликован под названием «Ревизионизм-58» в историческом альманахе «Звенья» (Вып.1. М.: Прогресс; Феникс—Atheneum, 1991).

В «Дневниках» и «Мордовском марафоне» Эдуарда Кузнецова¹⁹ политзаключенные в лагере особого режима — это кучка ограниченных и малообразованных людей, большинство из которых — ожесточенные фанатики или полусумасшедшие, затравленные люди; некоторых из них отличает от охранников лишь то, по какую сторону колючей проволоки они находятся. Этот взгляд на лагерь, кажется, выпадает из ряда; впрочем, подчеркнем, что речь идет не просто о лагере, а об «особняке».

Сергей Ковалев в своих мемуарах²⁰ даже говорить не хочет о лагерной части своей биографии: лагерь для него — квинтэссенция советской скуки. Политзаключенные в массе своей — те же советские люди, с теми же советскими комплексами; образованных и интересных людей среди них не больше и не меньше, чем на свободе: «Советская власть не трудилась проводить тщательную селекцию тех, кого ей стукнуло в голову счесть своими противниками». Охранники — тоже обычные советские люди, просто они работают на такой должности, которая стимулирует не лучшие свойства личности.

Юрию Иванову, автору небольшого эссе «Город Владимир»²¹, интересны не люди и не быт, а сам факт лишения свободы, метафизика неволи.

Как же определяет для себя лагерную тему Валерий Ронкин? Пожалуй, главным для него в лагере является то, что это — место

¹⁹ Эдуард Кузнецов (р.1939) — публицист, журналист; активист движения евреев «отказников», стремившихся уехать из СССР в Израиль. Был одним из инициаторов попытки угона самолета летом 1970 г.; приговорен к смертной казни, замененной 15 годами заключения. Описал свое дело и пребывание в камере смертников в ретроспективных записках («Дневники»), а последующее пребывание в мордовском лагере особого режима — во второй книге записок — «Мордовский марафон». Оба мемуарных текста см. в сб.: Эдуард Кузнецов. Шаг влево, шаг вправо. Иерусалим: Иврус, 2000.

²⁰ Сергей Ковалев (р.1930) — биолог, политический деятель. В 1968—1974 гг. — участник общественного движения, член первой независимой правозащитной ассоциации — Инициативной группы защиты прав человека (образовалась в 1969 г.), в 1971—1974 гг. — один из ведущих издателей самиздатского информационного бюллетеня «Хроника текущих событий». Воспоминания Ковалева «Полет белой вороны» по-русски публиковались лишь фрагментарно; компьютерная версия полного текста его мемуаров хранится в электронном архиве Общества «Мемориал».

²¹ Юрий Иванов (р.1930) — художник. В 1955—1971 гг. отбыл подряд несколько сроков заключения по политическим статьям. Его очерк «Город Владимир», написанный (или по крайней мере задуманный) во Владимирской тюрьме, был в конце 1960-х опубликован за рубежом; в России напечатан в сборнике «Самиздат века» (Москва; Минск: Полифакт, 1997) без указания автора.

встречи, которое изменить нельзя, «брежневский университет миллионов», ну, не миллионов, конечно, а тысяч или даже сотен. Он не рассматривает свое пребывание в Дубравлаге ни как удачу, ни как неудачу — а как факт, из которого следует извлечь максимум возможного. А возможности, которые предоставляет политический лагерь, — это общение с людьми, это новые идеи, с которыми, конечно же, невозможно согласиться, но о которых так интересно поспорить!

Что же касается лагерного начальства, то с ним, как и с начальством на воле, спорить действительно неинтересно. Его интересно дразнить.

Как и везде, Ронкин избегает «знаков и возглавий», уходит от необходимости как-то сформулировать интеллектуальные и духовные итоги. Но существуют элементы текста, где от знаковости и формульности уйти невозможно, — заголовки. Лагерная часть мемуаров Ронкина озаглавлена: «Мои университеты».

* * *

О дальнейшем, включая ссылку в Коми и полудобровольное, полупринудительное лужское изгнание, читателю лучше узнать от самого Ронкина. В предисловии уместно отметить лишь, что «роман воспитания» не заканчивается лагерными «университетами» и хождением «в люди» в годы ссылки. Для слишком многих, включая весьма достойных людей, пребывание в местах не столь отдаленных стало апофеозом их жизненного пути, пиком духовного становления. Это ведь довольно стандартный вариант судьбы: выйдя на свободу, человек мечется, ищет себя, пытается определить свое место на новом этапе (увы, и здесь не обойтись без лагерной терминологии) жизни — и, в конечном счете, теряет себя окончательно. Зачастую эти метания кончаются новым сроком — не из-за верности выбранному когда-то пути борьбы и не из-за «пепла Клааса», стучащего в сердца тех, кто навсегда ушиблен политлагерем (такой вариант тоже возможен: пример — Анатолий Марченко), а просто от неприкаянности. Иногда человек замыкается в себе, гаснет, опускается, спивается; иногда подчеркнуто порывает с прошлым и старается забыть о годах неволи как о страшном сне, уходит в частную жизнь или в профессиональную карьеру, если, конечно, ангелы-хранители из госбезопасности не препятствуют ему в этом слишком активно. Испытание несвободой — страшное испытание; но испытание свободой —

много страшнее. Это верно и для общества, и для индивидуальной человеческой судьбы.

Ронкин, да и другие его поделники счастливо преодолели это испытание. Каким образом? Воспоминания не дают прямого ответа на этот вопрос. Быть может, каждому из них в отдельности помогало то, что они — вместе. Ведь вся история этой компании бывших выпускников Технологического института (и примкнувшего к ним Мошкова) — это история прежде всего содружества. Все мы начинали жизнь в каком-то содружестве и все были свято убеждены, что это содружество сохранится навсегда. Пушкинская бравада «Кому ж из нас под старость день Лицея торжествовать придется одному?» в молодости обычно принимается за чистую монету. Но лишь в редких случаях это юношеское мироощущение и в самом деле оборачивается устойчивой и неразменной валютой человеческой солидарности. «Колокольчикам», кажется, выпал именно этот выигрышный лотерейный билет. А нам, их друзьям, остается радоваться, что мы допущены если не внутрь круга, то в ближнее окружение. Мы и радуемся.

Что до Валерия Ефимовича Ронкина лично, то он по-прежнему живет в Луге — сейчас уже на пенсии, по-прежнему порождает огромное число статей и заметок на самые разные темы — иные из них время от времени публикуются в газетах; по-прежнему равен самому себе даже в собственной непрекращающейся духовной эволюции.

«Мир ловил меня, но не поймал», — сказал некогда о себе Григорий Сковорода.

Эти слова с равным основанием можно отнести и к Валерию Ронкину.

Александр Даниэль

Дети, жена, друзья не раз просили меня взяться за воспоминания. Я боялся.

Как я и думал, мне не удалось описать, что я чувствовал, предлагая Ирине стать моей женой, впервые взяв новорожденную Маринку на руки, увидев на свидании жену... или после семилетней разлуки увидев подростковую дочку; что я чувствовал, встретившись вновь со старыми друзьями. Не сумел я сказать о всей глубине отношений с мамой и отцом, с сыном и дочерью.

Всем им с глубокой любовью посвящаю все, что я когда-либо написал, в том числе и эти страницы.

Особенно хочу поблагодарить Арсения Рогинского, который фактически заставил меня взяться за это дело.

ДЕТСТВО

Предки

Пекарня и Ян Фабрициус. — «Му-му» в судьбе Александра II и России. —
Нэп и ГПУ. — Быт чекистов в двадцатые годы. — Работа в Ленинграде:
почему нельзя сидеть на станке? — Отец, Тора и инвалид. — Дядя Моисей
в русской армии. — Возвращение дяди Зямы

Родился я 3 августа 1936 года в Ленинграде. Родители мои уже несколько лет жили в Мурманске, где успели похоронить моего старшего брата Юрия, умершего за год до моего рождения. Медицина в ту пору в Мурманске была неважнецкая, и поэтому мать уехала рожать меня в Питер, благо там жили родственники: братья и сестры отца и мамин брат Борис, а под Ленинградом, в Парголове, — бабушка и дед по матери.

Отец мой — Ефим Лазаревич, а мать — Зинаида Анатольевна. Девичья фамилия ее Лебедева, а имя «Зинаида» получилось взамен еврейского «Хая-Зисле» («Хая» значит «жизнь»).

Мама родом из Полоцка. Ее отец был коммивояжером при фирме, торговавшей зерном (дочь его хозяев, богачей по полоцким масштабам, ушла в революцию и стала женой Зиновьева). Бабушка владела пекарней, сама там и работала. Были у нее и наемные рабочие: кто-то из родственников — и еще один толстовец. Освобожденный от армии, оружия в руки он не брал, но когда мой дядя Борис, возвращаясь с гулянки, перелезал через забор, этот толстовец чуть не убил его поленом, приняв за вора.

Пекарню у бабушки во время Гражданской войны отобрали, деда призвали в армию, дали командирское звание и... назначили командовать этой самой пекарней. Он отвечал за снабжение частей хлебом. Деда несколько раз водил на расстрел Ян Фабрициус. По разнарядке его курсантам полагалось столько-то хлеба, он же требовал больше. Дед отказывал. Тогда Фабрициус вынимал наган и вел деда в сад. По дороге проблема улаживалась, и дед воз-

вращался к своим обязанностям (очевидно, какая-то другая воинская часть недополучала свою норму). В конце концов у бабушки забрали дом, а деда, уже демобилизованного, никто не брал на работу; некоторое время он перебивался извозом, потом продал лошадей. Семья перебралась в Парголово.

Училась мама в частной гимназии, во главе которой стояла выпускница Бестужевских курсов. Она запрещала девочкам из богатых семей появляться в дорогих нарядах в школе, жестко пресекала антисемитские выходки. После Октября гимназия превратилась в советскую школу, но директриса осталась прежней. В школе появился новый учитель литературы. Он был выслан из Питера, где преподавал цесаревичу. Мама вспоминала, как на прогулке с учениками, на привале у ручья, он вынимал из кармана хрустальный бокал, школьники пили из него, а учитель рассказывал о хрустале. Он был убежден, что отмена крепостного права произошла потому, что Александр II прочел тургеневское «Му-му». Натасканные в политграмоте ученики вели по этому поводу жаркие споры с преподавателем.

После гимназии мама поступила в Ленинградский медицинский институт, но не кончила его. Сначала, облив руку азоткой, ушла в академический отпуск, потом ее не восстановили из-за социального происхождения. Вместе с двоюродной сестрой она махнула в Архангельск, где какие-то знакомые процветали в качестве нэпманов. У них девочки и сняли комнату. Работать поступили медсестрами в наркологический пункт. В то время, чтобы ослабить позиции торговцев наркотиками, зарегистрированным наркоманам делали бесплатные инъекции. Однажды девчонки решили подшутить: на укол пришла женщина в состоянии «ломки» (мама этого слова не знала до старости), а ей вместо наркотика вкололи глюкозу. Женщина ушла довольная (сказался условный рефлекс на укол), но через пару минут вернулась и устроила погром. Горемедиков чуть не уволили.

Между тем, нэп кончился. В квартиру явились гэпэушники, имущество описали, хозяев выслали куда-то. В одной комнате остались жить мама и ее подруга, а в другой — домработница бывших хозяев с хозяйской дочкой. Часть детских вещей и какие-то драгоценности хозяева успели сунуть девочкам и домработнице, на эти средства та и содержала хозяйского ребенка, где-то еще прирабатывая.

Местная газета возмущалась, что сосланные на лесоповал нэпманы работают по тем же нормам и таким же инструментом, как

и обычные рабочие. «В чем вина этих сосланных, — вспоминала мама, — я не могла понять. Они же не нарушали закона».

Две освободившиеся комнаты заняли чекисты. С соседями были вежливы и настороженно-враждебны. Вся хозяйская мебель досталась им. Но быт у них был не в чести. Жили по-походному. Уезжая, все бросили. На их место прибыли другие чекисты.

Мама вернулась в Питер. Поступила работать в Госкомстат, «пишбарышной», как она говорила. Здесь в Ленинграде она и познакомилась с отцом, который тогда работал электриком на ТЭЦ и учился на рабфаке («Электрик — это как сейчас космонавт», — вспоминал он). Отец рассказывал о времени своего ученичества: однажды он пристроился перекусить, сев на верстак, и вдруг получил по шее от старика рабочего. Отец сначала не понял, за что. Новичок? Еврей? Оказалось, ни то ни другое: «На этом верстаке ты хлеб зарабатываешь, а задницу на него пристроил!» Такого уважения к рабочему месту я уже не застал. Проводились в цеху и соревнования: паровым молотом надо было закрыть карманные часы или разбить сургуч на чекушке, разумеется, не повредив ни часов, ни бутылки.

Отец был из очень бедной семьи. Дед скупал по деревням скот и гнал его на рынок продавать. Семья была большая (отец был десятым ребенком). Бабушка занималась детьми, огородом и коровой. Рассказывал отец и про погром — они прятались в подвале у священника.

Когда я сдавал экзамен за третий курс института, преподаватель спросил меня: «Откуда отец? Из Велижа? Тогда передай ему привет и расспроси про то, как нас драли». А драли их вот за что: в Велиже был бедный шапочник-инвалид, без ног, промышлял он, делая офицерские фуражки. В фуражках изнутри следовало подшивать полоску мягкой кожи, которая у бедняги кончилась, а купить новую не было денег. Ребята ночью через окно пробрались в синагогу, к Торе. Тора представляла собой свиток из мягкой кожи, намотанный на две деревянные ручки. Каждый раз, когда Тору читали, свиток перематывался на прочитанную часть. Вот из этой прочитанной части они и вырезали кусок и отдали «гою»-инвалиду, рассчитывая, что пропажу обнаружат только через год. Драли их беспощадно, надеясь тем самым смягчить Божье наказание.

Один из братьев отца, Савелий, погиб во время Гражданской войны. Старший брат, Моисей, до революции работал в Риге слесарем высокой квалификации. Но платили ему меньше других.

Как еврей, он не имел права на жительство, и хозяин, взявший его на работу, рисковал заработать крупный штраф. На Первую мировую Моисей пошел добровольцем — власти объявили, что после победы будет уничтожена черта оседлости. Дядя был представлен к Георгию. Приехал какой-то штабной чин вручать награды, часть выстроили, представленные сделали шаг вперед. Чин шел вдоль строя и вручал, дошла очередь до Моисея: «Жид?» — спросил офицер и, не останавливаясь, двинулся к следующему.

С РСДРП дядя был связан еще в Риге, а после «награждения» снова активно занялся политикой. Когда отец появился в Питере, Моисей Ронкин уже работал в железнодорожной ЧК Петрограда (чуть ли не начальником). Жили они в «доме Мурузи» на первом этаже, вход с Пантелеймоновской (Пестеля). До этого он был заброшен то ли к Махно, то ли в какую-то банду зеленых. Женился Моисей, кажется, на русской. Семья невестку недолюбливала. В Ленинграде их навестил мой дед, приехавший из Велижа. Позвонил, дверь открылась, и старик увидел направленный на него револьвер, который держала невестка. Последовал скандал: «Эта соплюшка на меня оружие наставлять будет!» Дед не был исключением — так встречали всякого. Однажды отец обратил внимание на сапоги своего старшего брата — они были сильно перемазаны глиной. На вопрос: «Откуда глина?» — Моисей ответил: «Лисий Нос». Там по ночам проводились расстрелы. Подписавший приговор должен был присутствовать при его исполнении. После таких ночей дядя напивался. Кончил жизнь он на Колыме.

В начале двадцатых он познакомился, а затем и породнился с Ильей Гладким, который женился на моей тетке. Илья, занимавший высокий пост в румынской компартии, был в Румынии арестован, потом, «выкупленный» МОПРом (Международной организацией помощи борцам революции), уехал в Союз и начал делать карьеру здесь. Дошел он до высоких постов в прокуратуре (по словам отца, чуть ли не зам. Крыленко). Уволенный оттуда за какую-то оплошность, осел на мелкой хозяйственной работе, избежал участи своего бывшего начальника и умер, кажется, в конце пятидесятых.

Через тот же МОПР Илье удалось вытащить из румынской тюрьмы своего младшего брата Зяму, которому было тогда лет семнадцать. На встречу «узника капитала» собралась вся родня, в том числе и мои родители. Встреча была торжественной, стол ломился от яств. (В те времена давно уже были узаконены и спецпайки, и спецраспределители; на столы ответработников «право-

охранительных» органов попадала вся конфискованная контрабанда: и дорогие вина, и икра, и черт знает что.) Растерянный мальчишка оказался посреди всего этого изобилия. Тосты, звучащие и в его честь, и в честь мировой революции, он выслушал. Потом встал и сам и сказал приблизительно такое: «Сволочи! Страна голодает, а вы жрете и пьете! За это мы шли в тюрьмы? За это Сигуранца ломала нам кости?» Потом Зяма вышел из комнаты и в ванной застрелился.

Эту историю я помню, наверное, со школы.

Мурманск тридцатых—сороковых годов

Первые воспоминания. — Квартира. — Урок жизни. — Еврейская тема. — Поездка на Украину (1939). — Голод 1933 года

В начале тридцатых дядя Моисей был переброшен в Мурманск на должность председателя облсуда. Через некоторое время, окончив рабфак, туда перебрались и родители. Отец работал инженером на судоремонтном заводе, мама — в областном статуправлении.

К моменту, когда я себя помню, мы жили в двухкомнатной квартире на шестом этаже, в центре Мурманска. Дом был семиэтажным. На чердаке жили «бичи» — моряки, пропившиеся и отставшие от рейса, — и просто бомжи. Очевидно, они имели какой-то блат у управдома, который их терпел. Однажды у них произошел конфликт. Между седьмым этажом и чердаком вдоль дома шел карниз. Бичи заманили управдома на чердак, напоили, раздели догола и выпустили на этот карниз. Управдом мгновенно протрезвел, разбил первое попавшееся окно и оказался в чужой квартире. Чтобы выйти, ему пришлось взломать дверь. Те же бичи, наверное, и обчистили затем эту квартиру. Хозяйка пришла с работы в обворованный дом со взломанной дверью и разбитым окном. Мало этого, жена управдома, узнав, что ее муж был обнаружен голым в чужом жилище, устроила хозяйке скандал и надавала пощечин.

Квартиру отец получил от предприятия. Через некоторое время в одну из комнат он прописал своего друга, рабочего того же цеха. Время, когда жилищный вопрос будет окончательно решен, не за горами — так думали тогда родители, и не только они. Друг погиб на Отечественной войне. Жена друга куда-то уехала, и пос-

ле войны мы вернулись в коммуналку со склочными соседями-алкашами, вселенными на освободившуюся площадь. Странное дело — уже потом я узнал, что во время выборов отец в качестве агитатора бывал в бараках (где жили неквалифицированные рабочие) и, возвращаясь домой, первым делом говорил: «Убери ребенка», потом шел в ванную. В бараках семьи жили разгороженные ситцевыми занавесками, там царили вши (отсюда «убери ребенка»), пьяные драки, порою и цинга. И при этом отец свято верил обещаниям партии, в которой состоял и сам.

Самое раннее мое воспоминание, связанное с Мурманском, — я сижу на папином животе и, подпрыгивая, распеваю:

Пакитан, пакитан, убынитесь,
Ведь убыка это фаг кобала!

Когда мне было года три-четыре, какая-то девочка лет восьми разрушила мой песчаный дворец или отобрала игрушку, короче, обидела меня, и я пожаловался отцу. «Не ябедничай, — услышал я в ответ, — разбирайся сам». В следующий раз, когда она пристала ко мне, я сам и «разобрался» — ударил ее подвернувшейся металлической скобой по голове, до крови. Мама девочки прибежала жаловаться. Мой папа спросил: «Как маленький пацан сумел догнать такую большую девочку? Ах, она сама к нему пристала — не лезь к тому, кто тебя меньше».

Однажды мама купила в магазине книгу с незнакомыми мне буквами. На мой вопрос, что это, ответила: «Это по-еврейски», и объяснила, что евреи — такая нация и что книга эта — для бабушки. «А я — евреец?» — «Да, и ты еврей». Бабушка владела идиш гораздо лучше, чем русским. Родители же говорили на нем только в пределах бытовой тематики.

Помню нашу поездку на Украину летом 1939 года, мы были на «даче» у родителей одного из отцовских товарищей по работе. Беленькая хатка, окруженная садом. Веселый пес, загонявший по вечерам к себе в конуру куриц. Утром он курицу выпускал, а снесенное яйцо оставалось ему. Как-то меня угостили зеленым луком — цибулей, и я насмешил всех, заявив: «Эта цибуля удивительно пахнет луком».

Помню рассказ о голоде, когда «даже людей ели». К одной молодой женщине, у которой от голода «умерли все», в отпуск приехал брат из армии, привез «целый вещмешок тушенки и сгущенки», она его убила, чтобы не делиться едой. Когда это было?

«Давно». Все, что было давно, для меня значило «при царе». Взрослые уходили от вопросов. Только через три десятилетия, в лагере, услышав от украинских солагерников про страшный голод 33-го года, я вспомнил этот подслушанный в детстве рассказ.

В Мурманск мы возвращались вдвоем с мамой. Отец уехал раньше, по повестке из военкомата — еще в середине лета его мобилизовали «на финскую». После его возвращения я долгое время еще играл маленьким «дамским» никелированным наганом с перламутровыми накладками на рукояти, приведенным в полную боевую негодность, о чем я, конечно, сожалел.

Начало войны

Прощание с отцом. — Попытка прописаться в Ленинграде. Мудрость коменданта. — Прощание с солдатами. — Воздушные тревоги: яичница и страх. — Гибель Бобки. — На пароходе — в эвакуацию. Перископ

Отец в военной форме прощается с матерью. Потом поднимает меня на руки: «Ну, маленький, ты уже большой. Береги маму», — и уходит. Таким я помню начало войны. О договоре с Гитлером я тогда, конечно, не знал. Уже взрослым слышал от мамы, как переживали этот договор тогдашние ее знакомые, да и не только они. Фашистов называли «наши заклятые друзья».

Почти сразу же после мобилизации отца мама решила ехать к родственникам в Ленинград. На вокзале в Мурманске она попросила милиционера присмотреть за мной и куда-то отошла, может быть, за билетом. Милиционер очень волновался (детей таким образом иногда подкидывали государству) и все время спрашивал меня, вернется ли мама. Я в этом не сомневался. Когда мама вернулась, милиционер сдал меня ей со словами: «А я боялся, вы не вернетесь».

В Ленинграде прописать нас отказались. Мама пробилась на прием к коменданту города — отказал и он. Уходя, мама высказалась насчет его жестокости и бездушия. И услышала вдогонку: «Вы еще за меня молиться будете, что я вас здесь не оставил». Потом, когда началась блокада, она действительно с благодарностью вспоминала этого человека и удивлялась: «Откуда он уже тогда знал?»

Мы вернулись в Мурманск. По улицам проходили воинские части. Очевидно, шел призыв. Однажды мы зашли в магазин, мама

купила конфет. На улице, увидев очередную колонну военных, она передала конфеты мне: «Иди, угости красноармейцев». На мне были матроска и бескозырка с ленточками, я подошел к командиру (со «шпалой»), откозырял ему. Он остановил строй. Я попросил разрешения раздать конфеты. Красноармейцы брали меня на руки, гладили по голове, целовали. Командир поблагодарил маму, откозырял мне, и отряд двинулся дальше.

Начались тревоги. Помню себя в бомбоубежище в подвале нашей семизэтажки. На мне — противогаз, и я знаю, что в нем безопасно можно ходить по улицам во время тревоги. Поломам себе голову над тем, как он может уберечь от пуль и осколков, я решил, что взрослым виднее, и попытался улизнуть из убежища. Не тут-то было. Около выхода меня задержали и с криком «Чей мальчик?» передали маме. Возможно, первые тревоги были учебными, возможно, на первых порах немцам не удавалось прорвать зенитную оборону, но через некоторое время мы начали привыкать и не пугаться надсадного воя сирен.

Однажды я завтракал яичницей. Ел я всегда плохо, а яйца были последние. В магазинах и карточки не всегда можно было отovarить. Завыла сирена. Мама заявила, что пока я не доем, мы никуда не пойдем. Я никуда и не торопился. В кухню вбежала соседка, закричала на маму: «Дура!», схватила меня и выбежала на лестницу. Мама со сковородкой наперевес — за нами. Лифт уже не работал. Сбежали с шестого этажа, а выйти во двор (вход в бомбоубежище был в другом подъезде) уже нельзя — по двору барабанят очереди, наверху гуденье пикирующих самолетов. Нас в подъезде несколько: мама со сковородой, соседка со мною за руку, женщина с грудным ребенком и женщина постарше — уборщица нашего подъезда. Вдруг уборщица начала истерически визжать. Мама (куда делась сковорода с яичницей, не помню) пытается ее успокоить: «Не кричите, напугаете детей», та не унимается. Мама берет ее за шиворот и со словами: «Если не перестанете, я вышвырну вас на улицу» — тащит ее к выходу. Уборщица замолкает, и я вижу, как вокруг нее на полу образуется лужа. «Тетя описалась!» — кричу я (мне — вероятно, по глупости — было не страшно, а любопытно). Все рассмеялись, и, кажется, страх прошел и у остальных, начали разговаривать, а тем временем перестало грохотать и тревога кончилась.

Запомнил я и еще одну тревогу. Мы возвращались из магазина, через плечо у меня висело пистонное ружье. Завыли сирены, и уже из нашего двора я увидел в небе самолет. Я стал на одно колено, прицелился из своего ружья, и, кажется, он стал пикиро-

вать. Мама за руку дотащила меня до убежища, и мы нырнули туда. Колено было основательно ободрано об асфальт.

Впрочем, чаще всего во время тревог мама доверяла вести меня в бомбоубежище соседке. Сама же она отправлялась помогать многодетным семьям с верхних этажей выбираться в убежище или шла вместе с другими на чердак караулить «зажигалки». Бичи куда-то исчезли, и добровольным пожарникам пришлось выбрасывать с чердака их барахло: рваные матрасы, карты, бутылки.

Потом погиб пес Бобка. Он принадлежал бездетным старикам из другого подъезда. Хозяева каждый раз собирали всю дворовую ребятню на Бобкин день рождения. Помню, мне купили заводного железного слона, я запустил его, а Бобка бегал то за ним, то от него с громким лаем. Всем было очень весело. Последний день рождения Бобки справляли уже после начала войны. Потом начались воздушные тревоги. Услышав вой сирены, собака забиралась под кровать, откуда ее было невозможно вытащить, и хозяева уходили в бомбоубежище без нее. Бомба попала в их подъезд, часть дома срезало как ножом, сохранились половины комнат, в которых театральными декорациями висели на «заднике» портреты, стояли шкафы и тумбочки. Наверное, погибли и люди, но мне сказали только о Бобке.

Мать решила эвакуироваться. Плыли мы на каком-то корабле, огибая Кольский полуостров. Вдруг началась паника — перископ! Капитан стрелял в воздух. «Перископ» оказался бутылкой, выброшенной, наверное, с нашей же палубы.

Эвакуация

Архангельская область. Наши хозяева. — Деревенское воспитание. — Возвращение бабушки. — Мое отношение к еде. — Война понарошку и настоящая. — Случай с топором. — Мама работает в зоне. Рассказы эзков. — Мамина прокурорская карьера. — Польские репатрианты. — Богатый и бедный еврей. — Отцовская служба. — Распленный зуб. — Коричневое пальто. — Приезд отца. Возвращение. — Дом отдыха в Кировске. Папанин. — Переезд в Ваенгу

Долго ли, коротко ли, мы оказались в деревне Шеино Красноборского района Архангельской области (адрес помню до сих пор). Деревня была совсем не далеко от райцентра — в гости к

мурманчанам, жившим в Красноборске, мы ходили часто. Однажды зимой мы вышли от нашей знакомой, тети Гали, было уже темно. Я увидел огромную собаку и показал маме. Она сказала: «Да, большая собака, давай, сынок, вернемся к тете Гале и переночуем у нее». Позже я узнал от мамы, что видели мы волка. О нападении волков на людей я слышал множество историй. Все охотники были на фронте, а волки от фронта бежали и зимой хозяйничали в округе.

Поселили нас у местной жительницы Марьи Ивановны Соболевой, впрочем, Соболевыми прозывалась чуть не вся деревня. Муж у хозяйки давно умер, и она осталась с тремя сыновьями: Колей, Толей и Борей. Старший, Коля, к моменту нашего приезда учился в десятом классе. Мария Ивановна была гораздо старше моей мамы и казалась мне старухой, хотя и могла запросто вскинуть на плечо мешок картошки и пойти с ним по вспаханному замерзшему полю.

К детям была сурова. Помню, учительница пожаловалась на Николая, что он ругался в школе матом. Хозяйка загнала сына под стол и старалась ударить его по голове тяжелой столешницей, при этом изрядно материлась. С Колей мы были друзья, я вцепился в подол его матери и пытался оттащить ее от сына, пиная ее по ногам. Очевидно, она и сама потом не рада была такому приступу ярости, потому что со смехом рассказывала о моем заступничестве, демонстрируя синяки на ногах. Коля, напротив, был добрый и мягкий, тайком от матери таскал меня в подпол, где кормил толокном. Впрочем, время от времени меня зазывал к себе кто-нибудь из сельчан, я читал им стихи и за выступления получал шаньгу — большую ватрушку с картофелем (это мне рассказывала мама уже много лет спустя).

Однажды мы с моим закадычным другом-ровесником остались дома одни. На столе лежала высыпанная на просушку большая куча самосаду, и мы решили попробовать. Сделали самокрутки толщиной с добрую сигару (бумагу обдирали со стен, оклеенных газетами), закурили. Прослуживленные самокрутки начали разваливаться — мы сделали другие. Хозяйка наша работала бычницей на скотном дворе, оттуда она и увидела дым — решила, что пожар, и бросилась домой. Нашла нас — угоревших — и вытащила на снег. Отдышавшись, мы вернулись в проветренную избу, а хозяйка — на скотный двор. Вечером при маме и хозяйке я торжественно обещал в доме без спросу спичек не трогать, на том дело и уладилось.

Мама работала в колхозе, дергала лен, и ладони ее от такой непривычной работы кровоточили. Потом была и на других работах. Возвращаясь домой с поля, брала кочан, разрезала его пополам и клала себе под пальто на грудь. Чем она рисковала, было ей хорошо известно, — указ «за колоски» уже существовал.

После прорыва ленинградской блокады к нам привезли бабушку Иду (мамину мать). Сначала ее увезли полуживую куда-то за Свердловск, там выяснилось, что ее везут не туда, и вот теперь она, наконец, добралась к своей дочери. Бабушка была измождена и еле ходила, ей требовалось особое питание.

Да и я был не дурак поест. Если до войны чуть не каждая кормежка моя происходила со скандалом, то теперь в магазине я жадно следил за тем, отвесят ли нам одним куском или будет довесок: его мама скармливала мне прямо тут же. Если довеска не было, приходилось терпеть до дома.

Между тем Коля ушел на фронт, через какое-то время взяли в армию и Толю. Еще при мне эти ребята играли в войну. На чердаке бани хранился целый арсенал: тщательно вырезанные из дерева винтовки, пистолеты и даже пулемет «максим». Потом все это досталось нам, их старые хозяева получили настоящее оружие. Коля вернулся через год с искалеченной ногой. Служил он в разведке. Он рассказывал, как с товарищами конвоировал пленного: они шли через только что освобожденную деревню, мимо виселиц. Пленного они не довели — закопали там же живьем. Колю спрашивали: «Как ты, такой добрый, смог такое?» Он отвечал: «Я не закапывал, но и мешать не стал после всего увиденного». Толик с фронта не вернулся — пришла похоронка. Борю забрали последним, мама откуда-то узнала, что он вернулся после войны живым и здоровым.

С хозяйкой нашей сложились непростые отношения. Радоваться поселенцам она, естественно, не могла, городских не любила вообще за коллективизацию, а евреев — тем более. «Подождите, немцы придут, всем вам конец будет», — говорила она. «А с тобой, матерью двоих красноармейцев, что сделают?» — спрашивала мама. «Не знаешь, что и хотеть», — вздыхала Марья Ивановна. (О таких разговорах я, разумеется, узнал гораздо позже. Однажды хозяйка сильно толкнула бабушку, еще очень слабую после блокады, — мать, схватив топор, погналась за ней. После этого установилось некоторое перемирие, а хозяйка стала называть маму «прокурором» — прозвище это чуть было не оказалось пророческим.)

Совсем другую позицию по отношению к нам занимала мать Марии Ивановны, жившая, кажется, в соседней деревне. Очень крепкая старуха, глубоко набожная староверка, она, если оказывалась свидетельницей конфликтов, всегда заступалась за нас, укоряя дочь в «небожеском» поведении. Однажды у хозяйки пропали рукавицы, и она при своей матери стала обвинять в краже нас. Та вступилась, но без особого успеха. Потом рукавицы эти нашлись, но хозяйка нам ничего не сказала. Ее мать, увидев «пропажу», устроила дочери скандал: «Ты почему не извинилась перед людьми?!» Как-то перед Пасхой она подошла к моей маме, поклонилась и стала у нее просить прощения. Мама обняла ее: «За что же мне прощать вас? Это мы должны просить прощения — вломились в вашу жизнь, хотя и не по своей воле». «Значит, не прощаешь?» — грустно спросила старуха. «Прошаю, прошаю», — сообразила мама. «Ну вот и хорошо». Мать вспоминала ее добрым словом почти до самой своей смерти.

Я время от времени воспроизводил забытые слова: «колбаса», «конфеты», спрашивал: «Почему это раньше было, а теперь нет?» — и получал ответ: «Когда кончится война, снова все будет». Я любил животных, мечтал завести собаку — и опять «когда кончится война». В мечтах я заводил сначала собаку, потом ручного тигра и еще слона и был уверен: «Когда кончится война, все будет».

* * *

Мама заболела, ее положили в больницу, и на какое-то время мы остались с бабушкой вдвоем. Воспаление легких медицина сбила, но маму предупредили перед выходом — затемнения остались, может начаться туберкулез. Слава Богу, через некоторое время ей удалось сменить работу. Грамотных в округе было мало, и она устроилась (снова «пишбарышной») — в лагерь. Лагерь был сельскохозяйственный, прибывавшие с других зон говорили: «Да здесь же рай», но и в этом «раю» зэки умирали. Когда мама оформлялась, то ли начальник, то ли опер вызвал ее на беседу и, объяснив некоторые особенности новой работы, добавил: «Не усугубляйте положение заключенных, им и так несладко, ведь большинство не понимают, за что они попали сюда». В лагере было подсобное хозяйство, из молока сбивали масло, а обрат получали вольные, имевшие детей (в основном это были эвакуированные). Но когда у того самого лагерного чина, что наставлял маму, родила корова, обрат пошел теленку, а мы остались «с таким».

Мамино рабочее место находилось рядом со столом бухгалтера-зэка. Фамилия его была Бутум, сам он был из Сочи, перед арестом работал бухгалтером же в санатории. Его начальник, большевик с дореволюционным стажем, был арестован, от бухгалтера потребовали показаний о вредительстве. На допросах его избивали, но он ничего не подписал. «Как такое можно выдержать?» — спрашивала у него мама. «Но я же не мог оклеветать человека», — отвечал Бутум.

Однажды у мамы пропал серебряный портсигар, это была единственная память о дедушке, умершем еще до войны. Мама курила и вышла куда-то, оставив портсигар в кармане пальто. Хватившись пропажи, мама расплакалась. Бухгалтер выяснил причину ее слез и назавтра вручил ей пропавшую вещь. «Как вам удалось его найти?» — «О таких вещах здесь не спрашивают».

Помню еще некоторые истории, рассказанные мамой. Парня вызвали повесткой в военкомат, в райцентр он прибыл рано утром и ждал открытия на крыльце военкомата, приплясывая от мороза. Кто-то из знакомых, проходя мимо, спросил: «Куда ты, Ванька, собрался?» Парень сострил: «Москву сдавать». Итог: десять лет за пораженческую агитацию. Сидел в этом же лагере офицер, очень переживавший, что «ребята воюют, а я здесь околачиваюсь». Арестован он был в госпитале, где лежал после ранения. Замполит читал раненым лекцию о Маяковском, наш офицер сказал, что Маяковский ему не нравится, замполит повторил сталинскую формулу — «лучший, талантливейший поэт нашей эпохи». Офицер ответил, что он «безусловно повинуется Верховному Главнокомандующему, но литературные вкусы — это дело личное». Итог — десять лет. Фамилия его была Мишин.

Мальчик из Воронежа, только что кончил школу, хорошо знал немецкий. Был разведчиком, имел награды и ранения. Потом его перевели на подслушку немецких радиопередач. Однажды к нему заявили смершевы, сорвали награды, сняли портупею, пояс и арестовали: парень как-то рассказал соседям по землянке о том, что «эти гады (т.е. немцы) врут». Военный прокурор, который вел дело, оказался близким другом его отца, он ухитрился дать подсудимому десятку вместо расстрела. Этот заключенный возил лес на лошади через Двину, попал в полынью, простудился, у него начался туберкулез. Когда мы уезжали из эвакуации, он тяжело болел.

Однажды к маме подошел какой-то командировочный из гулаговской системы. «Ронкина, у вас никто из родственников не

находится в заключении?» Маме было очень страшно ответить «Да, находится», но отказаться от родственника она тоже не могла. Приезжий рассказал, что долгое время находился на Колыме и был там знаком с Моисеем Ронкиным. Когда он уезжал, тот уже умирал от пеллагры.

* * *

Пророчество нашей хозяйки чуть было не сбылось — мама была назначена заместителем районного прокурора, очевидно, из-за дефицита грамотных. На этой должности она продержалась около месяца и даже сумела помочь каким-то полякам, бежавшим от Гитлера. Беженцам предлагали принять советское подданство, а тех, кто отказался, сослали. Сосланных привезли в Красноборский район. Потом правительство Миколайчика начало формировать в Иране польскую армию, и польских подданных стали отправлять туда.

У поляков было что грабить, они — чужаки, поэтому грабили их все, особенно милиция. Мама пыталась говорить со своим начальником, звонила в Архангельск прокурору, звонила в сельсоветы. Ничего не помогало. Тогда она обратилась в НКВД. Работник НКВД Новиков оказался единственным, кто взялся помочь и действительно навел некоторый порядок. Маме удалось вернуть кое-кому из поляков вещи, отобранные милицией.

Вообще чиновничий рэкет, хотя такого слова еще не знали, процветал и тогда. Один пимокат (изготовитель валенок) сделал прекрасные узорные валенки и отправил их на фронт. Через некоторое время он увидел их на ногах секретаря райкома. С начальником такого масштаба мама связываться побоялась, о чем честно и сказала пимокату.

Среди польских репатриантов были и евреи. Был один богат, сумевший сохранить дорогую шубу, какие-то золотые украшения, деньги. Вместе с ним бежал из Польши его очень бедный земляк. Оба были с семьями. Когда «пан» собрался ехать в Иран, его земляк пожелал отправиться вместе с ним. Мама предлагала ему остаться и не мучить себя и семью, тот настаивал на своем. Тогда мама вызвала «пана» и в присутствии его «клиента» спросила, готов ли он помогать своему бедному земляку. «Я его с собой не зову, ничем помочь не могу, у меня своя семья», — ответил тот. И все-таки бедный еврей уехал в неизвестность вместе с богатым — одному было страшнее. Эта история вспомнилась маме, когда потом, гораздо позже, мы обсуждали с ней рабскую психологию.

Очень скоро мамина прокурорская карьера кончилась — ей предложили вступить в партию. «Я не была антисоветчицей, — говорила она, — и, наверное, во время войны, привелось, закрыла бы Сталина собственным телом, но я многого не понимала из того, что делается, и не могла взять на себя ответственность за это. А вступив в партию, я должна была бы ее на себя взять». Маме пришлось вернуться на прежнее место — в зону. Это был конец 43-го года. А в начале 44-го, как снег на голову, приехал отец, чтобы везти нас домой: он получил на это недельный отпуск.

* * *

Отцу повезло — всю войну он провел сапером на Рыбачьем полуострове, там строили какие-то укрепления. Боев не было, только бомбежки. В Мурманске было иногда страшнее — бомбили чаще и систематичнее. Отец несколько раз был в городе. Он рассказывал, что, когда горел городской банк, всех оказавшихся около него офицеров ставили в оцепление. Мародеров расстреливали на месте. Рыбачий бомбили реже. Отец изредка обезвреживал невзорвавшиеся бомбы, в основном же велось строительство домов. Для прокорма изредка устраивались вылазки на птичьи базары — за яйцами. Что писал отец с фронта, не помню. Однажды, когда у меня выпал первый молочный зуб, мама послала его отцу. Папа получил его аккуратно распиленным вдоль: цензура!

Ходил я тогда в коричневом пальто, из которого давно вырос, одеяние это было многократно залатано, для заплат мама использовала свои чулки, посему заплаты были разноцветными. Отец привез мне пальтишко из офицерского сукна, подбитого цигейкой. Оно было «на вырост» и очень тяжелое; кроме того, старшие вечно твердили: «Не порви», «Не запачкай».

До железнодорожной станции Котлас было около ста километров. Помню, как ехали мы на санях и я — в новом пальто. Потом я как-то от него отбоярился и с тех пор, наверное, сохранил неприязнь к обновкам и одежде «как у людей».

* * *

Прямо в Мурманск ехать почему-то было нельзя, и мы остановились в Кировске Мурманской области. Там жил брат отца, дядя Коля, он заведовал каким-то домом отдыха. Еще до войны он развелся со своей женой и женился на официантке тете Асе. Старую жену жалели, с новой подружились. Во время войны дядя Коля был на фронте, а тетя продолжала работать в том же доме

отдыха, который теперь обслуживал высокое начальство. Навестил их и начальник Северного морского пути Папанин. «Народ голодал, а этот б...й в шампанском купал», — рассказывала тетя.

В Кировске мы прожили несколько месяцев, но я ничего, кроме тетиного рассказа, из этого периода не помню. Потом мы наконец вернулись в Мурманск — в нашу довоенную квартиру с новыми соседями. Мама устроилась работать, бабушка перестала быть для меня авторитетом, и я вел жизнь уличного мальчишки. Пробирались мы в рыбный порт, где воровали пробковые поплавки для сетей: из них получались отличные кораблики. Дралась. Мне как-то пробили голову камнем, в другой раз я явился к маме на работу с залитым кровью лицом. В меня бросили портфель, железка, упрочнявшая его угол, надломилась и чиркнула меня по веку. Глаз остался цел, но страху мама натерпелась. В школу я пошел с восьми лет в сентябре 44-го года, школа была мужская. Тетрадей не было. Мама сама разлиновывала какие-то обои и сшивала мне тетради.

Время от времени я забывал снимать в школе шапку, маме докладывала учительница, мама укоряла меня. От мамы же я слышал, что в синагоге мужчины должны быть в головных уборах, когда вошел туда полицейский, его пришлось уговаривать надеть фуражку, ибо он считал необходимым проявить уважение к помещению снятием головного убора. Все это я напомнил маме в свое оправдание. «Конечно, это условность, которой необходимо придерживаться», — ответила она. «Почему? Когда они услаивались, одни надевать, другие снимать шапки, меня там не было. Почему же я не могу вести себя так, как мне удобнее?» — спрашивал я.

Мы жили на шестом этаже и обходились без лифта, во время войны лифты остановили, а потом с них сняли все электромоторы. Впрочем, в одном из одиннадцати подъездов нашего дома лифт функционировал — там на втором этаже жил директор судоремонтного завода Сапанадзе — этому заводу принадлежал наш дом.

Когда я окончил первый класс, мы перебрались к отцу в Ваенгу, в 28 км от Мурманска (позже она была переименована в Североморск). Это был военный гарнизон, позднее — главная база Северного флота. Батальон, в котором служил отец, перевели туда, отец был заместителем комбата в звании капитана. (На финскую он ушел младшим лейтенантом, кончил старшим; с тремя кубарями он и ушел на Отечественную.)

ОТРОЧЕСТВО

Послевоенная Ваенга

Аэродром — наш Клондайк. Наказания. — Особенности моего произношения. — Победа. — Мои собаки. — Вестовой Микола. — Пленные немцы. — Новые знакомые и новые разговоры. Смерть Михозлса. Военные анекдоты. — Идеалы и реальная жизнь. — Рамка для портрета. — Беспризорник Витька. — Блок и Светлов. — Сколько страниц в день прочитывает товарищ Сталин?

Город Ваенга расположен на двух «ярусах». Нижняя Ваенга примыкала к Кольскому заливу, военному порту. Там было несколько каменных четырех- или пятиэтажных домов. На довольно крутую гору в Верхнюю Ваенгу вела деревянная лестница в несколько сот ступеней, шоссе делало большую петлю, и все равно спуск по нему был изрядно крут. Нашим развлечением одно время было перебежать под самым радиатором машины, едущей по этому крутому спуску. Шофера выскакивали с гаечными ключами и, матерясь, гонялись за нами.

Еще одним районом (в нашем понимании) был аэродром. Дети тамошних офицеров учились с нами, но их возили в школу, так как военный аэродром был вдали от городка. Ваенга оккупирована не была, не проходили здесь и бои, но вокруг аэродрома можно было найти уйму всякого рода, как теперь говорят, «взрывных устройств». В первую очередь это были патроны от авиационных крупнокалиберных пулеметов. Их мы находили по пять-десять штук прямо в кусках лент. Дело в том, что во время учений стрельба велась очередями, сколько выпущено патронов, сосчитать было невозможно, а сдать на склад — сложно из-за бюрократической волокиты. Поэтому боеприпасы списывались как израсходованные полностью, а разница между фактом и бумагой выбрасывалась, как правило, в речку недалеко от аэродрома. Тут же рядом можно было найти и гранату, и

неразорвавшийся снаряд, и ленту от обычного пулемета с патронами.

Эта территория была для мальчишек Клондайком. Но ходили туда ребята постарше, а нам, младшим школьникам, доставались крохи. Однажды в наши руки попала лимонка. Мы поискали чеку, которую, согласно книжкам про войну, следовало выдернуть, не нашли — и принялись кидать гранату в дверь туалета. Кидали мы метра на три-четыре, лимонка ударялась в дверь, мы подбегали (кто первой!) и снова бросали. Вдруг дверь открылась, из уборной вышел офицер и увидел у своих ног вращающуюся лимонку... Таких прыжков я никогда в жизни больше не видел!

На наше счастье, очень долго в городе вообще не было милиции, а военные патрули нас не трогали. Конечно, такой вот офицер мог нас изловить и надрать уши или, еще хуже, отвести к отцу. Бывало и такое. Во время экскурсий на «Клондайк» нас могли поймать солдаты из охраны, ибо после каждой травмы, связанной со взрывами, следствие выходило на аэродром, и тамошнее начальство получало очередной втык. Для солдат ловля пацанов была развлечением, гонялись за нами отчаянно, но, поймав, поступали гуманно: пленник мог выбирать — либо его держат до выяснения, кто родители, а затем передают им, либо он немедленно проходит воспитание трудом: чистит картошку, моет пол или драит солдатам сапоги. Как правило, нарушители выбирали второе.

* * *

Мы жили в Верхней Ваенге. Во второй класс я пошел уже в местную школу. Обучение было совместным. Мне нравилась одна девочка — Тамара Шестакова. Заигрывая, я подставил ей ножку, она меня толкнула, я ее ударил. Так в первый, но не последний раз в жизни я был удален из класса.

В это время мама решила заняться моей речью (логопедов в гарнизоне не было) — я не выговаривал звуки «р» и «л». Мама начала с первого из них, она поправляла меня всякий раз, когда я картавил. И через год с небольшим я научился произносить «р» вполне сносно. Наступила очередь «л», но к этому времени я подрос, стал менее управляем и однажды заявил: «Не нравится — буду молчать», на том обучение и кончилось. До сих пор не могу правильно назвать город, в котором живу: «Вуга, Вуга», что должно означать «Луга».

В Ваенге мы праздновали окончание войны. Я проснулся в яркий солнечный день и услышал от старших: «Вставай, война

кончилась!» (почему я был тогда не в школе, не помню, возможно, болел). О тиграх и слонах я уже не мечтал, но собаку завел — подобрал полулаечку, назвал Шарик. В городке была уйма бродячих псов, иногда они нападали стаями на прохожих, тогда производился отстрел. Среди бела дня солдаты с винтовками ходили по городу и стреляли в собак. Почему-то отстрелы производились зимой, и замерзшие трупы собак на улицах оставались до весны. Мы, пацаны, вооружившись рогатками, защищали собак, пуляя камнями в стрелков. Однажды убили и моего Шарика. Я очень плакал, и папин денщик привел мне на петле из телефонного провода полузадушенного, исхудавшего пса, очевидно, породистого. Пес был жесткошерстный, мраморного окраса с черными пятнами и длинными ушами. Я назвал его Рексом.

* * *

Институт вестовых существовал с войны. Чем вестовые занимались в войну, я не знаю, но после войны они превратились в денщиков (хотя продолжали именоваться «вестовыми»). Денщики выносили мусор, иногда и горшки (все туалеты в Верхней Ваенге были на улице), кололи дрова, топили печи. Наш денщик был с Западной Украины, было ему лет пятьдесят. Я звал его дядя Микола, мама — по имени и отчеству. Спал он на кухне.

Когда Микола появился у нас, мама устроила отцу скандал: «Ты, может быть, аристократ, а я плебейка!» Но отец убедил ее, что у нас старику будет гораздо лучше, чем в казарме. Мне мама прочла очередную лекцию о том, что все люди равны и она меня перестанет уважать, если я когда-нибудь забуду об этом. Она никогда ничего Миколу не приказывала, а если, случалось, нужна была помощь, просила, извиняясь; если он делал что-нибудь по собственному почину, всегда благодарила. Я и мои друзья с ним очень дружили. Он делал нам луки, а мне смастерил чудесный арбалет. Где-то через год Микола демобилизовался и уехал домой, мы обменялись парой писем.

* * *

Жили мы в Ваенге в трехкомнатной квартире, две комнаты принадлежали нам, в третьей жила тетя Женя, одинокая женщина. По городку ходили бригады пленных немцев, ремонтировали дороги, что-то строили. Режим у них был не очень строгий: мы обменивали хлеб на почтовые марки, которые те снимали со старых конвертов, на самоделки — колечки, ножички. Иногда немцы

заходили в дома — просили милостыню. Надо сказать, что население гарнизона жило весьма неплохо. Офицеры получали кроме зарплаты «полярные», до ста процентов оклада, «за звание» и паек; гражданские тоже получали «полярные» и, те, кто работал в воинских частях, паек. Голода 47-го года мы не чувствовали, на помойках валялись хлеб, картошка. Военнопленных кормили скудно, но все-таки лучше, чем наших в немецком плену или чем в сталинских лагерях.

Когда немцы заходили к нам за милостыней, мама всегда давала что-нибудь, порой ставила на стол тарелку с супом. Соседка тетя Женя спорила с ней, иногда пыталась выгнать немцев: «У тебя они всю родню сгубили, а ты их кормишь!» Действительно, в Полоцке погибло много маминых родственников — евреев там согнали в сарай и подожгли; дядю моего отца, старика, в Велиже затравили собаками; четверо моих двоюродных братьев не вернулись с войны. Мать на укоры соседки отвечала так: «Если их силой погнали на фронт — они ни в чем не виноваты, если же они нацисты, пусть знают, что докатились до того, что им у еврейки милостыню брать приходится». Угощая немцев, мама всегда произносила: «Ich bin Jude» (я еврейка). С другой стороны бабушка Ида укоряла маму: «Не хочешь — не давай, а если даешь — не упрекай, не напоминай нищему, что он перед тобой виноват» (об этом я узнал много позже, когда бабушка уже умерла).

* * *

В нашем доме стали появляться новые знакомые. Я помню Владимира Михайловича Смирнова и его жену. Отец его был архитектор, дед — из богатых купцов, жена, кажется, из артистической семьи. Еще приходил к нам дядя Наум (как и отец, в звании капитана), он читал на идиш гораздо лучше родителей и больше интересовался еврейским вопросом. Дядя Наум приносил газету на идиш «Дер Эмес» («Правда»), читал вслух, если надо — переводил. Однажды он прочел статью: в молдавском селе гитлеровцы схватили учителя-еврея и его сына (мальчику было лет десять, он играл на скрипке) и, собрав сельчан, отца повесили. Мальчику офицер предложил сыграть что-нибудь, благо скрипка была при нем. И он заиграл «Интернационал» (в то время — гимн СССР). Его убили автоматной очередью. В публикации «Дер Эмес» сообщались название села и имена погибших. Лет через сорок я вновь прочел в каком-то пионерском журнале

эту же историю, в ней не указывалось ни имен, ни названия села: «В одном молдавском селе немцы схватили пионера...»

Смерть Михоэлса обсуждали все наши знакомые — и русские, и евреи. Дядя Наум рассказывал, что вместе с артистом погиб его русский друг, офицер (в случайность гибели никто не верил). Он же говорил о том, что в Киеве тамошнее начальство готовило погром, но кто-то ухитрился сообщить Сталину и погром начальство отменило.

Много разговоров было об антисемитизме, и чаще об этом говорили наши русские знакомые, чем евреи. В своем окружении я антисемитизма не замечал и очень рано стал его связывать только с начальством. Однажды в пионерлагере ребята хотели меня за что-то побить. Отозвали в сторону и начали предъявлять претензии, обсуждали, кто будет со мной драться (бить компанией одного было не принято, правило «двое в драку — третий в сраку» соблюдалось свято). И вдруг один из противников заявил: «Правильно, надо Валерку побить — он же жид». Остальные на него набросились: «При чем тут национальность!» Драка не состоялась.

Взрослые говорили о разном. Помню, у какого-то офицера сын-чекист был в Прибалтике, откуда отцу прислали похоронку «умер от солнечного удара». Взрослые весьма многозначительно повторяли: «Ну да, конечно... Прибалтика... Солнечный удар...» Настолько многозначительно, что и я понял: официальному документу никто не верит. Офицер этот тоже работал в особом отделе. Я его запомнил еще и потому, что, когда я болел, классе в пятом, он принес мне дореволюционную книжку о Тарзане. Несколько серий фильма мы к тому времени уже видели.

Помню еще загадку: «О чем это: цыгане шумною толпой толкали в гору студебеккер? — О превосходстве цыганского коллектива над американской техникой!» (Это были годы «борьбы с низкопоклонством перед Западом».)

Кое-кто высказывался и покруче. Мать с отцом были как-то в доме отдыха Северного флота в Сухуми. Шли по аллее, за кустами шумит пьяная компания — летчики: «Да этот Васька (Василий Сталин, командовавший каким-то авиационным соединением. — *В.Р.*), так его мать. И папаша тоже хорош. Сталин думает — он победил, так его мать! Нет! Это мы победили!» Родители мои поспешили убраться от греха подальше.

Говорили о книгах и кино, о местных событиях. Обменивались байками о начальстве. (Начальнику гарнизона звонят: «Вы

дурак!» — «Кто говорит?» — «Все говорят.») Обсуждали какого-то адмирала (чуть ли не командующего флотом), который покупал в аптеке пенициллин — тогда это лекарство было еще в новинку. Аптекарьша положила упаковку перед ним: «11 рублей». «Сколько? — удивился адмирал, получавший тогда не то пятнадцать, не то двадцать тысяч. — Да я в госпитале даром возьму!» — и шелчком отправил упаковку обратно.

Владимир Михайлович Смирнов служил в штабе Северного флота: «Сидит капитан второго ранга такой-то и в рабочее время читает роман, уже месяц читает. Прислали бы лейтенанта, он бы прочел за неделю».

Слышал и такое: один офицер пришел в гости к другу и обнаружил у него в туалете газету с портретом Сталина. Последовал донос, виноватого уволили из армии, а доносчика повысили в должности. Эту историю тоже рассказывал Смирнов.

А вот в отделе тыла Северного флота, где работала одно время моя мама, один офицер, напившись, орал: «Раньше было что? Была Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков! А теперь? Какая-то Партия СС» (это было уже после XIX съезда, когда ВКП(б) была переименована в КПСС). По приказу начальства его заперли в одном из кабинетов и держали там до протрезвления. И никто не наступал!

* * *

Да и сам я видел немало того, что отличало реальную жизнь от той, какой она должна была быть. На улицах происходили настоящие «побоища» — солдаты дрались с матросами. Однажды меня послали в магазин. У входа была стойка, где продавалось пиво. Около нее стоял солдат с полной кружкой. Подошел патруль; увидев, что попался, солдат пытался пиво это допить, офицер толкнул кружку, и пиво плеснуло парню в лицо. Парень сделал еще несколько глотков, а остатки выплеснул офицеру в лицо, поставил кружку и бросился бежать. Офицер, вытаскивая пистолет, выскочил из магазина, выстрелил в воздух и побежал вдогонку, сопровождавшие его солдаты трусили рядом. Нарушитель скрылся за домами, офицер махнул рукой, и патруль пошел своей дорогой. Кстати, в магазине висел плакат «Пейте томатный сок!»; сок этот я очень любил, но пробовал его, только когда бывал в Мурманске. У нас в Ваенге томатного сока не было никогда.

При стройбате, в котором служил отец, были различные мастерские, я часто шлялся туда — иногда нужно было найти папу,

иногда что-нибудь отнести в починку. С солдатами я дружил — и мне было интересно поболтать среди них, и им, оторванным от семей, я, наверное, служил каким-то развлечением. Как-то раз, забежав в казарму, я увидел, как один солдат делал другому татуировку. Мне захотелось того же, и мы с татуировщиком договорились, что он мне выколет на груди огромного орла. Кто-то услышал и рассказал отцу: «Товарищ капитан, если не хотите, чтобы пацана истатуировали, не пускайте его сюда». Вечером у меня был разговор с мамой. Она спросила насчет татуировки, я сказал, что сделаю ее обязательно. И тут мне мама начала разъяснять, что с татуировкой в разведку не посылают, вообще революционеры и разведчики не должны иметь особых примет. Ее аргументы звучали убедительно. Наверное, и с «мастером» ребята тоже поговорили — он мне не напоминал о своем обещании. А напоминания я ждал со страхом — подумает, что струсил.

Там же я услышал рассказ, который меня поразил. Солдатик из их части украл у сослуживца сапоги. Комбат Баутин провел следствие, вызвал к себе виновного, набил ему морду, чем дело и кончилось. Этот рассказ сопровождался рефреном: «Справедливый мужик, мог бы виновного и в штрафбат упечь». Я не мог разобраться. С одной стороны, штрафбат не засчитывался в срок службы и, это я уже понимал, такое наказание было несоразмерно с кражей сапог; с другой — в Советской Армии офицер ударил солдата! Так могло быть только «при царе». Даже сами слова «офицер», «солдат» да еще и «министр» удивляли и возмущали меня, это было изменой революции.

Почти каждый год мы ездили «в отпуск», как правило, через Ленинград. Вспоминаю, как в вагоне вдруг зашептались: «власовцы, власовцы». За окном вдоль пути работали заключенные под конвоем. Какие-то грузовики, наполненные зэками, двигались в разных направлениях. Зэки сидели в кузове, между кузовом и кабиной стояли автоматчики. Скоро интерес к «власовцам» пропал — зэки видны были из окон всю дорогу.

Как-то летом мы гостили в семье отцовского сослуживца где-то в деревне, в средней полосе России. Я сдружился с местными пацанами, вместе ходили в лес, воровали турнепс, играли в пятнашки. Слышал от них байку: ребята нашли мину, подогнали к ней председательскую корову, привязали и стали швырять в корову камнями. Мина взорвалась, корове вырвало кишки. Пожалев корову, в ответ я услышал: «Чего жалеть, корова-то председательская». Эта как будто само собой разумеющаяся ненависть к пред-

седателю меня поразила. И ребята начали меня просвещать: «Во-рует, пьет, дерется».

О том, что кругом «бардак», я слышал не раз, кое-что видел и сам. Но «бардак» — это было само собой, а Сталин — само собой. Он был подпольщиком, бежал из ссылки, такие люди для меня были вне подозрения. Мой дядя Моисей тоже был подпольщиком и, следовательно, не мог быть плохим. Но... «лес рубят — щепки летят» (этой большевистской максимы я тогда не знал, но мыслил теми же категориями).

* * *

Портрет Ленина висел у нас в доме всегда, сколько я себя помню: в Мурманске, потом в Ваенге, снова в Мурманске, куда мы вернулись после демобилизации отца (после моей ссылки, когда я приехал к родителям, они жили уже в другой, отдельной однокомнатной квартире в «хрущевке» — отец получил эту квартиру, выйдя на пенсию; там портрета уже не было). Такой портрет описан Маяковским: «Перед ним проходят тысячи. Флагов лес, рук трава»; большой, в тяжелой раме под дуб. Мама рассказывала, что видела, как отец дрался, дважды. В первый раз он ударил человека, назвавшего маму б...ю, во второй — назвавшего Ленина сифилитиком.

Как-то я вырвал из «Огонька» портрет Сталина, в полный рост, в форме генералиссимуса со всеми орденами, и приклеил к стене в нашей комнате. Через некоторое время я обратил внимание на его отсутствие. «Видишь ли, — сказала мама, — такой портрет без рамки плохо смотрится, я его убрала». Я пошел в батальонную столярку и заказал рамку. И снова повесил портрет — уже в рамке. Через какое-то время опять обнаружил «наличие отсутствия», снова — к маме. И опять она мне объяснила, что для такого портрета рамка эта совсем не подходит. «Вот поедем в Ленинград, купим хорошую рамку...»

В это время главным детским занятием было строительство «штабов». С чердаков нас гоняли пожарные, а найти место, где мы могли бы собираться без взрослых, очень хотелось. Мы и нашли в сопках старый окоп, углубили его, перекрыли досками и толем, замаскировали дерном, сделали дверь, внутренние стенки обили картоном от ящиков, поставили печь с трубой (найденную на свалке), стол, скамейки. Вот в этом-то «штабе» я и повесил сталинский портрет.

«Штаб» служил нам около года. Недалеко был охраняемый объект, и часовые, пронюхав о существовании уютной норы, при-

способились там спать; начальство же, в свою очередь узнав о таком соблазне, распорядилось наш приют ликвидировать.

* * *

Однажды к нам прибежала соседка, мать моего друга и одноклассника Витьки. Мальчик пропал, в школе его не было. Вот уже вечер, а его все нет. Не нашелся он и назавтра. Шло время, а парня не находили, местная милиция, появившаяся к тому времени, коротко отвечала: «Ищем». По Ваенге поползли слухи, один страшнее другого: «Нашли тело мальчика в канализационном люке!», «Нашли за поселком», «Живот вспорот», «Глаза выколоты». Родители не верили этим «диким рассказням», но моя мама стала провожать меня по утрам в школу; так же поступали и прочие матери. Месяц прошел, другой. Витина мама написала письмо Сталину, и дней через десять пацан нашелся. Мы с приятелями застали его дома, среди бела дня лежащим в постели и поедающим конфеты, которыми он угостил и нас.

Приключения его были таковы. Начать надо с того, что Витин отец погиб и мать вышла замуж вторично; отчим относился к нему хорошо, но следил за успеваемостью. И вот, после очередной двойки, отчим ему сказал: «Ты, Витька, даром хлеб ешь». Был бы родной отец, а тут отчим «хлебом попрекает». И парень решил уйти из дома. В автобусе на Мурманск оказалась компания молодых офицеров-отпускников. Он им наплел, что отец погиб, мать бросила и он едет к тетке. Ну и довезли попутчики Витьку до Москвы. Там, попрощавшись, он отправился в мавзолей, потом замерз (был январь), проголодался и пошел в милицию, где все честно рассказал. Его отправили в распределитель, где он провел недели три. Там верховодили блатные, почти взрослые парни. При Вите одного проигравшегося в карты беспризорника выбросили с третьего этажа, в комнатах (не камерах!) царил поножовщина, воспитатели боялись туда заходить. Кормили ребят впроголодь, старшие отбирали хлеб у младших. Потом его с сопровождающим милиционером перевели в Кировск, в детдом. Здесь кормили хорошо, обращались с детьми ласково. Но домой Витю почему-то не отправляли, несмотря на все его просьбы (адрес, разумеется, он им сообщил).

Но тут письмо Самому! Парня немедленно разыскали и вернули домой. Милиция, очевидно, получила втык, потому что маму Витину оштрафовали «за жестокое обращение с ребенком», но она была так рада, что штрафа оспаривать не стала. Пока Витя не вернулся, казалось, что она постепенно сходит с ума.

(Лет через двадцать, когда я уже был в лагере, моя мама встрети­лась случайно с Витиной бабушкой — та зачем-то приехала в Мурманск, где в это время еще жили мои родители. Оказалось, что бабушка Вити осведомлена через «голоса» о моей судьбе. О нас передали за все это время раза три, значит, слушала она «голоса» регулярно. Передала мне привет от себя и Витьки.)

* * *

После случая с рамкой мне еще один раз довелось обратиться за помощью к папиным подчиненным. Недалеко от нас жил со­служивец отца, с ним — двое детей. Младший — мой ровесник, другой года на два постарше. На майские праздники они отобра­ли у меня флажок. Как-то месяца через два я возился около дома, а мой пес спал у крыльца, и тут я увидел обидчиков. Вспомнив старое, я предъявил претензии. «Прения сторон» продолжались некоторое время, и в конце концов я приказал: «Рекс — фас!» В подобных ситуациях Рекс имел обыкновение подбегать к па­цану, вскидывать ему на плечи передние лапы и ударять мордой под подбородок. Так он поступил и на этот раз, сбил старшего с ног, а его кепку прихватил в качестве трофея и принялся трепать. Братья убежали со слезами. Я понимал возможные последствия своей мести и, взяв пса на поводок, отправился к мастерским. Территория эта была огорожена колючей проволокой, на про­ходной стояли часовые. Я не раз бывал там с собакой, и часовые предлагали мне, шутя, конечно, оставить ее им в помощь. На этот раз я попросил их об этом сам, объяснив ситуацию. Солдаты бы­стро натянули проволоку с кольцом на ней, привязали к кольцу поводок, и Рекс поступил на государственную службу. Было дого­ворено: караульные подтвердят отцу, что собака у них еще «со вчерашнего дня». Вернувшись домой, я увидел отца с пистолетом и родителя обиженных мною пацанов. «Где собака?» — «Папа, я же еще вчера отдал ее караульным». Папа обратился к маме: «Где ночевала собака?» — «Не обратила внимания, я ее ни вчера, ни сегодня не кормила» (кормил собаку я). Отец пошел в мастер­ские, взяв с собой и меня. «Да что вы, товарищ капитан, вчера же при вас мы эту проволоку вешали! Разве не помните?» Отец и сам начал сомневаться, ведь ежели пса дома не было, значит, «тра­вить собаками людей» я не мог. Но вердикт был такой: теперь Рекс — собственность батальона и брать его домой нельзя. Рекс служил еще несколько месяцев, потом мы с мамой уговорили отца его «демобиловать».

Я, конечно, не только строил «штабы» и гонял собак. Спортивным парнем я никогда не был и хоть и пытался, но так и не научился кататься на коньках. Поэтому когда ребята шли на каток или затевали футбол, я отправлялся читать. Мои приятели тоже читали, но, по указанной причине, я читал несколько больше. А вечерами, иногда при полярном сиянии, мы брали собаку и шли с мамой гулять. И тогда мама читала мне стихи. Что конкретно она читала из Пушкина и Лермонтова, я не помню, а вот блокковское «Двенадцать», светловскую «Гренаду» я, точно помню, узнал от нее. Этих стихов не было даже в госпитальной библиотеке, где она тогда работала. Вообще стихов там было очень мало.

По совету мамы мы с соучениками по четвертому классу выступали перед пациентами госпиталя. Кто умел петь — пел, кто-то танцевал или декламировал. Мы же с Витей Фадиным разыгрывали «сценку»: появлялся я в чаплинском котелке (из старой маминой шляпки) и с усиками, в руке — полуметровая картонная «опасная» бритва, в другой — помазок (малярная кисть). Витька — клиент — с опаской садился на стул, к которому я его приматывал веревкой. Около стула стоял таз с ватой, изображавшей мыльную пену. Я водил малярной кистью по лицу «клиента», а затем начинал «бритье». Витя орал во весь голос, а потом вместе со стулом убежал «за кулисы».

Номер этот пользовался неизменным успехом и всякий раз вызывал восторженный хохот зрителей.

Однажды мама увидела плакат, подготовленный госпитальным замполитом: «Как бы я ни был занят, я обязательно прочитаю 500 страниц художественной литературы в день. Сталин». Мама засомневалась и высказала замполиту свои сомнения: «Как бы не напутать, пятьсот страниц в день прочесть невозможно занятому человеку, не приняли бы за издевку». Тот, естественно, тоже заволновался, стал звонить в политуправление, уточнять. Оказалось, все правильно. «Ну и перепугала ты меня, Ронкина: «невозможно, невозможно» — это же Сталин, а не мы с тобой!» Плакат этот видел я и сам, обратил на него внимание потому, наверное, что ухитрился подслушать взрослые разговоры.

Потом мама перешла в отдел тыла Северного флота на должность инспектора по кадрам. Именно там, когда начальник по-

просил ее составить конспект для занятий по повышению квалификации, ей почему-то вручили папку с документами под грифом «совершенно секретно» («допуск» у нее, конечно же, был, но совсем не на ту степень секретности, которая была обозначена). В папке были собраны данные о нейтральной Швеции: пропускная способность дорог, характеристики мостов, глубина бродов и т.п. Конспект должен был служить материалом к теме «Развертывание тыловых служб в боевых условиях». (Естественно, об этой папке я узнал через много лет.)

Между тем стройбат, где служил отец, был расформирован. Солдат распустили по домам, офицеры получили новые назначения. Отцу присвоили следующее звание, но уже не майора, а капитана третьего ранга, переодели в морскую форму и назначили помощником командира Дома офицеров Северного флота. Ваенгу же стали именовать Североморском. Впрочем, названия Нижняя и Верхняя Ваенга сохранились.

Школа в Ваенге

Какую Гвинею открыл Миклухо-Маклай? — «Черная стрела». — Анна Ананьевна. Первая забастовка. — Стихотворные опыты. — Пионерлагеря. — Выбор профессии. — Комсомол. Первые конфликты. — Маршал Тито и имам Шамиль: в чем виновата собака? Противоречия в бытии и сознании. — Я еду в Ленинград. Как есть дичь. — «Коварство и любовь». — «Теракт». — Борьба с космополитизмом: неприятности у отца. —
Смерть Сталина

В Ваенге—Североморске я учился со второго по девятый класс. В четвертом классе мою любимую учительницу Альбину Григорьевну, ушедшую в «декрет», замещала дама по прозвищу Туча (с ударением на последнем слоге), именно так она произносила слово «туча». С нею и произошел мой первый принципиальный конфликт.

На летних каникулах я прочел дневники Миклухо-Маклая. А в «Родной речи» описывались его путешествия, рассказывая о которых, Туча бодро ткнула указкой в африканскую Гвинею и велела нам запомнить место, которое посетил Маклай. Я с места пытался поправить ее ошибку. «Тебя никто не спрашивает!» Услышав такое, я в том же духе и ответил: «А вы, если не знаете, не лезьте учить». Тут же я был выгнан из класса и отправлен к ди-

ректору. Директор предложил немедленно извиниться, но я требовал указать на карте место, описанное Маклаем. Директор утверждал, что карта ни при чем, я же считал, что только карта и может нас рассудить. На следующий день я должен был явиться с родителями. Естественно, рассказал я об инциденте только маме. Утром, прогуляв первые уроки, пока мама ходила отпрашиваться на работу, я снова, теперь с мамой, оказался у директора. И снова от меня требовали извинения, а я апеллировал к карте. Пока беседовали, прошли еще два урока, и мы, ни о чем не договорившись, были отпущены домой. На завтра я появился в классе как ни в чем не бывало. Через несколько дней наша Туча вдруг объявила, что прощается с нами: завтра выходит из «декрета» Альбина Григорьевна. Весь класс так громко грянул «Ура!», что даже нам самим потом стало неловко. Выход Альбины Григорьевны исчерпал географическую тему.

От книг, говорил в 68-м году один лагерный воспитатель, только клопы разводятся или другие неприятности. Мы прочли «Черную стрелу» Стивенсона и решили создать одноименную организацию. Задачей организации было рисование черной стрелы где ни попадя. Жизнь внесла свои коррективы: если на учебниках и тетрадях стрелка, нарисованная черным карандашом, была видна, то на стенах приходилось рисовать мелом, тогда над рисунком следовало писать — Ч. С. Месяца два нашей организации никто не замечал, потом зашушукались девочки. Наконец в класс пришла завуч, открыла чей-то дневник на последней странице и, указав на маленькую стрелку, грозно спросила: «Что это?» (Знала же, чей дневник открывать.) В нашей организации было пять членов: всех по очереди изобличили и потащили к директору. Держались мы героически, объяснить, зачем мы рисуем эти стрелки, мы не сумели бы при всем желании. В результате всем нам вlepили четверки по поведению за четверть. Тогда это было ЧП.

Следующий конфликт был серьезнее. Мы расстались с Альбиной Григорьевной, теперь с пятого класса нас учили предметники. Классным руководителем стала Анна Ананьевна, она же вела у нас историю. В старших классах она вела Конституцию СССР. Анна Ананьевна только что кончила пединститут и была направлена в Североморск по распределению.

Анна Ананьевна разительно отличалась от других педагогов. Те были с нами только в школе. За ее пределами мы лишь здоровались. Даже пионерский костер, хотя городок был окружен заросшими кустарником сопками, «разжигали» посреди школьно-

го коридора. Яркая лампа, несколько лоскутов красного материала да спрятанный под лампой вентилятор, который шевелил тряпичные полоски, изображавшие языки пламени, — вот и весь костер. (Первый такой пионерский костер разочаровал меня на всю жизнь.) Анна Ананьевна бродила с нами по сопкам, мы ее учили разжигать костры и объясняли правила безопасности (кругом были торфяники), она приглашала нас к себе, в свою десятиметровую комнатку, где поила чаем с конфетами, а иногда и пирожными. На переменах и после уроков вслух читала нам «Спартака» и рассказывала, как во время революции ее отец видел однажды на митинге Ленина.

Остальные учителя почему-то взелись на нее. Конечно, не все. Но нападавшие были активны, порядочные же отмалчивались.

Учителя у нас были самые разные. Тепло вспоминаю Анну Григорьевну, преподавателя математики, она и уроки вела хорошо, и спросить можно было не только по программе. И еще Анна Григорьевна не протестовала, если на ее уроке под партой грелась бродячая собака. «Пусть сидит, если вы отвлекаться не будете». Сначала, конечно, отвлекались, потом вошло в привычку — на математике под партой собака — ну и что, ничего особенного. Нина Михайловна Федорченко преподавала физику, и без нее я, может быть, не окончил бы школу: во всех передрыгах она была моей заступницей. Она имела преувеличенное мнение о моих способностях и, как я выяснил позже, видела во мне будущего Эйнштейна, так она говорила моей маме. Софья Ефимовна Спектр преподавала химию, руководила кружком, в котором я занимался. Благодаря ей я и поступил потом в Техноложку.

Эти учителя любили и детей, и свои предметы. Но в случае с Анной Ананьевной они спасовали.

Началось с того, будто она все врет про своего отца. Не видел он Ленина. Потом пошли разговоры про ее поддельный диплом. Кто-то из родителей обратился в политуправление (заменившее в гарнизонах горком партии). Смысл заявления был приблизительно таков: если диплом действительно поддельный, Анну Ананьевну надо судить, не вовлекая детей в дразги, если нет — прекратить травлю и сплетни. На какое-то время сплетни действительно прекратились. Потом все началось снова. На этот раз ее обвинили в краже. Будто бы она, когда навещала нашу заболевшую географичку, украла у нее простыни и серебряные ложки, но, испугавшись свидетеля (другой учительницы), выбросила

всю добычу в выгребной туалет. Старшекласников, проходивших конституцию, пугали тем, что она преподает плохо и у них в аттестате будет тройка. В конце концов Анна Ананьевна не выдержала: уволилась и решила уехать в другой поселок. На прощанье она пригласила нас к себе. Мы пили чай, а она говорила, что ни в чем не виновата (мы ее и не подозревали), что сил у нее больше нет, — и плакала.

Я был уверен, что плакать могут только девчонки — пацаны и взрослые плакать не должны, — и не соображал, что нашей «взрослой» учительнице всего 22 года и она впервые оказалась без мамы, среди непонятной даже ей вражды.

На следующий день Анна Ананьевна в школу не пришла, а мы объявили забастовку. Валя Иванова, Толя Гребенюк и я составили забастовочный комитет. Упоминаю себя последним отнюдь не из скромности. Заводилой была Валя, и когда она подошла ко мне, Толя был уже ею «завербован». Мы обсудили тактику: 1) штрейкбрехерам — темную; 2) отвечать на уроках не будем; 3) если кто боится — пусть говорит «не выучил»; 4) начинаем с первого урока.

Не помню, какой был первый урок. Спрашивают. «Не буду отвечать», «Не выучил», «Не буду». На доске мелом: «Верните Анну Ананьевну!» Первая учительница убежала со слезами. Ждем директора — никто не идет. Следующий урок: после первого же «Не буду отвечать» учительница уходит. Третий урок начинается сразу же с объяснения предмета и кончается домашним заданием. Четвертый и пятый проходят так же.

Вечером родителям звонят из политуправления: «Если завтра эта дурь не кончится, будем рассматривать как политическое выступление». Ближе к ночи — нас дерут, умоляют и снова дерут. Утром Вова О. идет к доске, потом другой. Наиболее «вредных» не вызывают к доске, а таскают к директору: «Кто затеял?» В ход идут и якобы сделанные признания, и «разоблачения», и многое другое. После следствия 65-го года, вспоминая школьные допросы, я удивляюсь: откуда у педагогов такая следовательская тактика? Впрочем, последствий не было. Только, идя к доске, нужную страницу дневника мы некоторое время закладывали фотографией Анны Ананьевны, если же грозила двойка или тройка, фотографию следовало незаметно вытащить, чтобы «не позорить А.А».

В это время папа уже работал в Доме офицеров, и я туда часто заходил. Утром там крутили кино для детей, вечером «до 16» не пускали. Ставил революционные спектакли Театр Северного флота.

Бывали гастроли. Музыка и вокал меня не интересовали, а на Райкина я не попал, зал не вмещал желающих, хотя он был довольно большой. В центре зрительских рядов красовалась убранная малиновым бархатом «ложа командующего», в его отсутствие пустовавшая. На передние ряды билетов не продавали — начальство пропускали без билетов. «Начальством» были все генералы и адмиралы, а также полковники и подполковники (соответственно капитаны 1-го и 2-го ранга) политуправления, свита командующего флотом и, наверное, работники СМЕРШа.

После нашей забастовки я зашел зачем-то к отцу. События были еще свежи в памяти, я буквально страдал от того, что в нашей советской стране победила несправедливость. И вдруг я увидел Ленина! Он шел по коридору прямо на меня. В голове пронеслось: «Сейчас я ему все расскажу, Анну Ананьевну вернут в школу, и вообще все станет правильно». В следующую секунду я осознал горькую истину: загримированный артист, идет, наверное, в туалет, ведь сегодня постановка «Боевой 19-й», а Ленин умер, и никогда, никогда ему уже нельзя будет рассказать, что в нашей стране может побеждать несправедливость.

* * *

В шестом классе мы с Аликом Мефтахутдиновым и Вадиком Кауфманом начали писать стихи. Первое стихотворение помню до сих пор. На уроке истории я послал Вадику записку: «Я гот, а ты скот», он ответил тем же. Дальше — больше, стихи наши становились длиннее и несколько осмысленнее. Через некоторое время газета «На страже Заполярья» поместила мой опус «Растит нас наша партия!», там были и такие строки:

Но если залпы пушек
Нарушат мирный труд,
То новые «Катюши»
Отпор врагу дадут.
Врагов сумеем в логове
Их собственном найти,
И не одна столица
Нам ляжет на пути.

Я даже получил за эти стихи гонорар — 55 руб. (Мой друг Юра, написавший по просьбе соседей о том, что помойка перед их домом стоит переполненная, получил всего 19 руб.)

За школьные годы я дважды был в пионерском лагере. Первый раз после четвертого класса. Лагерь был на Карельском перешейке, в Суоло-Ярви. Все лето мы слушали воспитателей, которые читали вслух разные, не всегда интересные, книжки. Бродить по лесу было нельзя — там были (или могли быть) мины. На полянку, где мы располагались, или, очень редко, к реке мы должны были идти строго по проверенной тропинке. Кругом полно черники, мы разбегались с тропы, а воспитательница, не смея с нее сойти, кричала: «Вернитесь! Мины!»

В следующий раз родителям удалось уговорить меня после шестого класса. Нас отправили в Горьковскую область. В дороге я сочинил песню, которую мы распевали хором:

Мы едем, едем, едем
в далекие края.
И все, кроме вожатой,
хорошие друзья!
А вожатка злая
деньги отбирает,
с тамбура гоняет
всех ребят долой.
Ой-ой-ой-ой!
В поезде жарыща,
все прохлады ищут.
Ей одной не жарко
и ребят не жалко.

Карманные деньги отбирали у нас ради того, чтобы мы на остановках не покупали всякую снедь, а то могли отстать или запоносить. Меня вызвали на совет вожатых и обещали отправить домой. О деньгах, заплаченных за лагерь, я, естественно, не подумал, особенно туда и не стремился, кроме того, понимал, что конвоировать меня домой — изрядная морока для начальства; посему и не испугался, с этой песней мы ехали и дальше.

В лагере я очень сожалел, что меня не отправили домой. Начальником оказался отставной офицер, и весь месяц мы занимались строевой подготовкой, дабы поразить начальство из политуправления, которое в конце смены приехало нас инспектировать.

Единственным развлечением были ночные походы на кладбище — надо было одному прийти туда и оставить метку на какой-нибудь могиле, желательнее дальней, потом шел другой, третий, а утром вся компания проверяла. Больше в лагерях (пионерских) я никогда не бывал.

* * *

Учился я неровно, шкродничал. Все мы более или менее шкродничали: могли натолкать карбида в чернильницы перед контрольной или засунуть на перемене в патроны электролампочки куски мокрой промокашки, по мере высыхания их лампочки одна за другой начинали гаснуть (Север — мы всю зиму занимались при электрическом свете). Хулиганили и вне школы. Но наша компания принципиально не курила, сравнительно много читала, мы часто собирались у кого-нибудь дома и играли: сначала в солдатиков, которых сами вырезали из картона, переведя на него через копирку фигурку из книжки или учебника, потом стали играть в «дурака», домино, шашки, шахматы. Держались мы дружно, поэтому нас и не трогали.

Однажды на перемене я оказался в классе один, без друзей. Я сидел на своем месте и читал. Не помню, кому пришла в голову идея: «Давайте покрасим Ронкину яйца!» (дело было на Пасху). Один достал из шкафа бутылку с чернилами, другой стал на шухере у дверей (и еще для того, чтобы не выскочили девочки), остальные, ухватив меня за руки и за ноги, поволокли на учительский стол. По пути я хитрилсхватить с парты чью-то ручку и, когда мне пытались уже расстегнуть ширинку, всадил под лопатку одному из своих мучителей перо так, что вынимать его пришлось в медпункте. Воспользовавшись тем, что меня отпустили, я соскочил со стола, схватил другую ручку и торжественно поклялся, что в следующий раз буду бить в глаз. На сем инцидент и закончился. А вместе с ним и перемена.

* * *

Вместо Анны Ананьевны у нас появилась новая историчка (она же классный руководитель) Нина Ивановна Сердюкова. Она была хорошим человеком и преподавателем, но у нее были муж и маленький ребенок. Ей некогда было разжигать с нами костры, бродить по сопкам и приглашать нас к себе домой.

В седьмом классе прошел слух, что после семилетки можно поступить в школу МГБ. Меня эта идея соблазнила, и как-то

дома за обедом я начал ее развивать. К моему удивлению, отец вдруг сказал «Убью!» и вышел из-за стола, а мама стала объяснять, что после десяти классов я смогу более основательно выбрать себе профессию и принесу в любой сфере больше пользы.

Впервые о своей будущей профессии я задумался еще до войны и решил стать дворником — он имел право поливать шлангом двор, а иногда, в редкую для Мурманска жару, и нас. После начала войны я решил стать летчиком. Потом — биологом, но вскоре, когда мы стали изучать эту науку, выяснилось, что Мичурин и Лысенко давным-давно все открыли, следующему поколению осталось только считать кости у лягушек или тычинки на цветках.

* * *

В начале седьмого класса мы всей нашей компанией вступали в комсомол. Вступление наше осложняло одно обстоятельство — мы украли с бельевого веревки коврик, кто-то это видел, и хозяева пожаловались в школу. Мы не отпирались. Но, с нашей точки зрения, у нас было более чем бесспорное смягчающее обстоятельство: коврик мы взяли не для себя, а для бездомной собаки, чтобы подстелить под крыльцом, где она ночевала. Наше признание, с одной стороны, и бескорыстие — с другой, были приняты во внимание. Нам вручили комсомольские билеты.

На первом же классном комсомольском собрании опять произошел инцидент. Девочка, которая мне нравилась, все та же Тамара Шестакова (я ей даже подарил на 8 Марта «Поэму о Сталине», изданную в подарочном варианте), выступила с предложением: «Давайте возьмем обязательство — не болтать на уроках». Ежели бы мне предложили немедленно десантироваться на Уолл-стрит для победы мировой революции, я бы не задумываясь проголосовал, но тут взвился: «Послушай, Тамарка, ведь ты сама знаешь, что как болтала, так и будешь болтать, зачем обманывать! А можешь не разговаривать — ну и не разговаривай, при чем тут обязательства!» Разумеется, классная руководительница сказала: «Ронкин, покинь класс», что я и сделал.

Когда на другом собрании «решали» вопрос о проведении политинформаций, я опять выступил со своей точкой зрения: «Кто хочет читать газеты, тот и сам их читает, а кому неинтересно, тот и политинформацию слушать не будет». Вопреки логике, со мной опять никто не согласился, после чего школьный комсомол навсегда утратил мое доверие.

Вообще-то я считал, что наблюдаемый мною «бардак» — это отдельные случаи, а поддержи правое дело больше людей — и оно несомненно восторжествует. Правда, было и не совсем понятное. Например, история с Тито. Он же революционер, я же видел фильм «В горах Югославии» — там Тито, уступив своего коня раненому, шел впереди отряда партизан, навстречу пурге и врагам. Я помнил стихотворение «Югославскому другу» с рефреном: «Счастливый, ты помнил бесстрашного Тито!» — и вдруг «Тито — предатель!» Начал читать книгу Ореста Мальцева «Югославская трагедия» и бросил, не дочитав до конца. А дочитал я до места, где к «гаду» Тито приходит честный генерал. «Мерзкая тварь злобно оскалилась» — это о его собаке. В кино это был благородный пес, а тут на тебе — «мерзкая тварь». Собаку-то за что? Даже если Тито и предал коммунизм, собака этого понять не могла.

В восьмом классе мы проходили историю СССР. И тут я обнаружил, что Шамиль — предатель и англо-турецкий шпион. А в четвертом классе мы проходили его как национального героя, борца с царизмом. Я обратился к Нине Ивановне. Она мне объяснила, что Шамиль хотел присоединить Кавказ к Турции. Я согласился, но «ведь известно, что гнет бывает классовый, национальный и религиозный; Богдан Хмельницкий присоединил Украину к России, и это освободило украинцев от религиозного гнета, — то же самое хотел сделать и Шамиль?» Нина Ивановна согласилась со мной в этом пункте, но объяснила, что «ведь мы судим исторических деятелей с сегодняшней точки зрения, если бы Шамиль присоединил мусульманский Кавказ к Турции, то теперь там не было бы социализма, следовательно, объективно его деятельность была реакционной». Мне пришлось согласиться, но сразу же возник следующий вопрос: «А если бы тогда Россия присоединила к себе и Турцию, это бы тоже было прогрессивно?» — «С сегодняшней точки зрения — да». — «Тогда почему бы не присоединить ее сейчас? Ведь Шамиль тогда не знал ничего про социализм, а мы теперь всё знаем».

Учительница сказала, что сейчас у нее нет времени обсуждать этот вопрос и мы поговорим потом, а сама пошла к моей маме. «Зачем ты ставишь людей в идиотское положение, ну что она могла тебе ответить, да еще при всех?» — сказала мне мама.

Я, конечно, чувствовал некую провокационность своих вопросов. Страна наша боролась за мир, агрессоры с Уолл-стрит разжи-

гали войну. Мир — это было хорошо. Социализм — тоже хорошо, а капитализм — очень плохо. Надо было ждать поэтому, пока сами народы капстран поймут это. Но почему они не понимают? Я читал Жюль Верна, Дюма, Гюго, Джека Лондона — граждане этих стран не выглядели дебилами или трусами. И еще мне хотелось выяснить, почему нельзя на такие темы спорить, особенно «при всех», ведь чувствовал, что нельзя, а логически объяснить не мог.

В конце года мы получали характеристики. К удивлению всей нашей семьи, в моей Нина Ивановна написала: «Способный, хорошо понимает математику, естественные предметы, однако главный интерес проявляет к гуманитарным наукам». Мы очень смеялись, так как я уже пропадал в химическом кружке, а гуманитарные — так мне же все было интересно!

* * *

На зимние каникулы я поехал в Ленинград. Тогда все в обязательном порядке подписывались на заем. Подписывался и отец, на одной из облигаций он написал «Валерий», она выиграла. Я мечтал о ружье, но папа сказал: «Ты всех кругом перестреляешь» и предложил выбрать что-нибудь другое. Я выбрал поездку в Ленинград. Выйдя с Московского вокзала на площадь Восстания, я растерялся. Стою, держу в руках бумажку с адресом и описанием дороги и соображаю. Ко мне подошел пожилой мужчина, очень оборванный, и предложил проводить до такси, я объяснил, что это мне не по карману. «Тогда до трамвая». Я согласился, хотя трамвайная остановка была видна (но идти провинциалу через площадь было лучше с провожатым). Мы прошли немного, провожатый остановился и спросил: «Мальчик, а ты мне заплатишь?» — «Сколько?» — «Десять рублей». — «За десять рублей я и сам дойду». — «Тогда я позову милиционера, я же тебя вон сколько вел». Я не испугался и, разыскав глазами милиционера, предложил подойти к нему, но мой провожатый тем временем исчез.

Я самостоятельно добрался до своей тети, жившей в знаменитом «доме Мурузи», в квартире, которая когда-то принадлежала дяде Моисею. У тети Розы — сын с невесткой и внучка в двух комнатах. Сын контужен на войне, другой погиб. Ее сосед — тоже мой дядя, Бома, потерявший на фронте сына, в блокаду — жену. У него маленькая комнатенка и ненормальное, с моей тогдашней точки зрения, стремление к одиночеству: со своей сестрой он почти не разговаривает, только кивает головой в ответ на приветствие.

За каникулы я успел побродить по городу, несколько раз побывал в Русском музее и Эрмитаже. Жил я очень экономно, и к концу каникул единственный раз в жизни решил шикануть. Пошел в кафе «Невское» (на Невском, между Литейным и площадью Восстания) и заказал себе куропатку и мороженое. С куропаткой возился очень долго и гордо вернул ее официантке почти не тронутую. Забирая тарелку, она сказала: «Птицу едят руками». Знал бы я это раньше!

Вернувшись из Ленинграда, я решил запечатлеть свои приключения на бумаге — завести дневник. Попросил у мамы тетрадь для этого и услышал: «Вести дневник неискренний — скучно, искренний — опасно». Я уже догадывался почему.

* * *

В восьмом классе я на несколько месяцев «изменил» Нине Ивановне, своей старой классной руководительнице: перешел в класс с английским. «Классной» там была литераторша.

Когда проходили «Грозу», мы с ней снова разошлись во мнениях. Я был не согласен с точкой зрения Добролюбова, что самоубийство Катерины есть акт борьбы против «темного царства». На вопрос: «Что же она должна была делать?», я уверенно ответил: «Утопить Кабаниху!» Не думаю, что ее отталкивал мой экстремизм, ей казалось верхом наглости думать иначе, чем Добролюбов, точнее, чем написано в учебнике.

А тут мы выпустили «кинофильм», вернее, написали афишу: «Смотрите на экранах! Новый художественный фильм «Коварство и любовь»! Дети до 16 лет не допускаются, нервных просим не приходить. Роли исполняют...» Против ролей «1-й любовник», «2-й любовник», «возлюбленная», «пастух» и т.п. следовали фамилии учеников класса, зато роли убийц и злодеев мы поручили исполнять нелюбимым учителям. Классные художники нарисовали заголовок, а также пистолеты, кинжалы, бутылку с надписью «ЯД» и, конечно, череп и кости. Жора Рыбка своим хорошим почерком написал действующих лиц и исполнителей. В нашем классе учился парень П., уже несколько раз остававшийся на второй год. Основным его достоинством было умение взять зубами за спинку стул и поднять его до горизонтального положения. Кроме того, он был наш защитник в конфликтах со старшеклассниками. Вот он-то и подписался под листком как «директор картины», и листок был приклеен к дверям.

Первая учительница, вошедшая в класс после перемены, поспеялась, прочтя нашу афишу, а после урока утащила ее в учи-

тельскую, где тоже было немало смеха. Но вот к нам явилась наша литераторша, грозно размахивая листком. «Это же преклонение перед Западом (мы действительно пародировали то, что нам было известно о тамошних боевиках) — и название как у американского боевика: «Коварство и любовь!» (Шиллера я тогда не читал, но знал, что название из какой-то классики). Кто писал?!» В классе смешки.

«Значит, так, тут подпись П., его и будем исключать из школы!» П. действительно могли исключить, пришлось встать мне: «Ну, я писал». — «У тебя почерк плохой, это не ты!» — «Ну, сочинял». — «А кто писал?» — «Не скажу». — «Нет, скажешь!» — «Как вы думаете, кто лучше знает, скажу я или нет, вы или я?» Тут последовала тирада о том, что только трус не признается в своих проступках, и Жора встал. Мне же за отказ назвать сообщника были обещаны всяческие кары. Но педсовет не посчитал нашу афишу «преклонением перед Западом», и на этом история почти закончилась.

Мы, однако, «затаили хамство». Случай скоро представился. Однажды после уроков мы убирали кабинет под надзором нашей «классной». Когда все уже блестело, она построила нас и под конвоем проводила до раздевалки. Мы — Юра Левитский и я — встали первыми и, выйдя за дверь, спрятались в туалет, а потом, когда все прошествовали мимо, вернулись в класс.

Все содержимое урны мы разбросали по полу, тряпку, коей вытирали доску, забросили на плафон, несколько парт поставили на попа, а на доске написали: «Содом и Гоморра!» Выглянув из двери, увидели многочисленную комиссию, шествующую по коридору, переждали, пока она зашла в соседний класс, и — бегом в раздевалку. Комиссия была из гороно. Ребята, находившиеся в коридоре, рассказывали потом, какой крик слышался из нашего класса. Убежать из раздевалки мы не успели. «Классная» застигла нас там и, естественно, устроила скандал. Мы же отговаривались тем, что забыли в раздевалке рукавички и вернулись за ними.

Назавтра после уроков было классное собрание. Мы с Юрой стояли по разные стороны учительского стола, лицом к ребятам, и слушали про то, как мы вчера уронили честь класса. Не только нам, но и всем остальным тоже на «честь класса» было наплевать, а втык, полученный нелюбимой учительницей, всех радовал. Опять с нас требовали признания. Я ехидно объяснял, что признаваться нам не в чем, а в истории с афишей «я же признался, когда был виноват»... Учительница в очередной раз принялась пересказывать, что она вчера увидела, войдя в класс: «А на доске — “Содом

и Гоморра!» Мы прыснули. «Они еще смеются! Раз смеетесь — значит, ваша работа!» Я трагически повторил: «Содом и Гоморра!», и класс грохнул. «Вот, — сказал я, — они тоже смеются». Нас отправили домой дожидаться решения педсовета.

Утром меня перехватила физичка: «Валерий, я за тебя вчера поручилась, возвращайся в класс Нины Ивановны». Нина Ивановна за меня тоже поручилась и просила вернуть к себе.

* * *

В девятом классе я решил не безобразничать, но все-таки однажды сорвался. Повод был гораздо серьезнее. Антисемитизм медленно, но верно внедрялся в общественное сознание. Я все чаще слышал, что «евреи всю войну ошивались в Ташкенте», «стреляли из кривого ружья» (т.е. из-за угла) и тому подобное. В дискуссии я не вступал, так как тех, кто такое говорил, и без того в школе особенно умными не считали. Но вот арестовали врачей-вредителей. В классе собрание. Учительница, рассказав о разоблачениях, подчеркивает: эти отщепенцы не должны давать повода обвинять всех евреев. Тут встала моя одноклассница по прозвищу «Бэ-У» (БУ — «бывший в употреблении», интендантский термин: девица эта когда-то оставалась на второй год, сама из себя выглядела очень взрослой, единственная из девятиклассниц ходила на танцы в Дом офицеров). «По-моему, — заявила Бэ-У, — их (евреев) давно надо было всех выгнать из СССР». Я схватил тяжелую чернильницу и запустил ей в голову, мне повезло — я промахнулся, и чернильница с грохотом ударилась о школьную доску. Нина Ивановна совершенно спокойно обратилась к моим друзьям: «Кауфман и Рыбка, выведите его из класса». Вадик и Жора заломили мне руки за спину и со смехом вытащили в коридор. Последствий мой «тракт» не имел.

* * *

Между тем неприятности начались и у отца. Я слышал две версии происшедшего. Приближался праздник (7 ноября?), и в Дом офицеров зачастили начальники, проверявшие подготовку к торжеству. Посыпались указания: «Это перевесить сюда, это туда». Отец отдавал команду, и матросики перевешивали картину или лозунг. Один из чинов спросил отца: «А почему повешено так?» — «Полковник такой-то приказал». — «Неужели у вас нет собственного вкуса? Вот это должно быть здесь, а это там!» Отцу надоело, и, вообще-то не храбрый перед начальством, он ответил: «По мне

прикажете вверх ногами повесить — повешу», — и указал на шишкинских «Мишек». (По другой версии, слышанной мною от В.М.Смирнова гораздо позже, отец ответил: «По мне прикажете повесить — повешу, прикажете к стенке поставить — поставлю», — и указал на иконостас Политбюро. Ночью был шторм, стенки шитового здания дрожали, и один из портретов упал.)

Началось следствие. Отца перевели в другую часть, и домой он стал приходить чуть ли не ночью. Уже потом родители мне рассказывали, что начальник его в характеристике, указав массу различных служебных упущений, кончил ее стандартно: «Партии Ленина—Сталина предан». «Надо же было осмелиться написать такое еврею!» — восхищались родители и знакомые: отсутствие этой фразы в той ситуации означало немедленный арест. Вообще, наши знакомые тогда не бросили нас, приходили, узнавали новости. Отец ходил на допросы, но, слава Богу, не в особый отдел, а в политуправление. Помню вопрос, заданный ему там: «В 27-м году вы были в Ленинграде. Поддерживали ли вы тогда зиновьевскую оппозицию?» — «Нет». — «Так значит, уже тогда вы выступили против секретаря обкома?» Бедный папа! Куда ни кинь, все худо.

Отрицательная с деловой точки зрения характеристика обернулась исключением отца из партии и демобилизацией за два года до выхода на воинскую пенсию (какая-то часть его стажа считалась фронтовой и шла с коэффициентом). Но тут умер Сталин. Чем кончилось бы дело в ином случае — остается только гадать.

Я искренне горевал, ходил на траурный митинг. Видел, как плакали учителя. Плакала и Софья Ефимовна, учительница химии. Уже через несколько лет я спросил у мамы: «А она-то чего плакала?» — и услышал в ответ: «Боялись погромов, считали, что только Сталин удерживает страну от этого».

Снова в Мурманске

Пророчество Жоры Рыбки и арест Берии. — Самый тяжелый год в моей жизни. Химический кружок. Опасный опыт. — Учитель истории о Сталинской конституции. — Наши знакомые. «О дряни». — Я впервые слышу о комсомольском патруле. Бочка с пивидлом

После моего девятого класса мы снова оказались в Мурманске — в той же самой квартире, с теми же послевоенными соседями. Отец вернулся технологом на судостроительный завод. Все

лето я на велике ездил к своим друзьям в Ваенгу, бродил с ними по сопкам.

Еще до смерти вождя произошел такой случай. Мы, девятиклассники, бегали по школьному коридору. Вдруг Жора Рыбка остановился перед портретом Берии (по тогдашним правилам в школе висели портреты членов Политбюро, к портретам прилагались цитаты из речей каждого) и, показав на цитату, сказал: «А ведь Берия — шовинист!» Цитата гласила, что из всех народов Союза русский народ самый великий. Мы восприняли слова Жоры как остроумную шутку, не более того, ибо о превосходстве русского народа нам уже прожужжали все уши. А летом 53-го, после ареста Лаврентия Пальча, Жора гордо утверждал, что это именно он, Жора, его и разоблачил: «Помните, в прошлом году я сказал!..»

* * *

В десятом классе я снова учился в мужской школе № 1 города Мурманска. Это, как ни покажется странным, был самый тяжелый год в моей жизни. Я оказался без друзей (в нашем классе был еще один мальчик из Североморска, из параллельного класса, мы были едва знакомы там, не подружились и в Мурманске). Все были заняты проблемой поступления в вуз, а учителя, в свою очередь, отговаривали от этого: стране нужны рабочие. Не сложились отношения и с учителями — школы (североморская и эта — мурманская) конкурировали за первенство по области, поэтому мурманским учителям надо было показать нашу (бывших североморцев) плохую подготовку. На двух североморцев посыпались плохие оценки. Месяца через два нас «подтянули», и мы «влились в коллектив», но вот с преподавателем химии мы не поладили. Вообще, химию он преподавал не хуже Софьи Ефимовны, но человек был не очень приятный: если к его приходу в классе не оказывалось стула, весь класс урок должен был слушать стоя, иногда химик приходил на урок пьяный.

Зато в школе был химический кружок, и мы увлеченно в нем занимались (в основном самостоятельно). Как раз так, одни, мы, вопреки обещаниям, занялись изготовлением пороха. Потом решили переделать его в термитную смесь: ингредиенты сыпали на глазок, а потом подожгли то, что получилось, а получилось довольно много. Не учли мы выделения сернистого газа, а когда спохватились, открыть форточку уже было нельзя, да и находиться в помещении — тоже. Выскочив из «химлаборатории», мы могли только со страхом наблюдать, как клубы едкого газа из-под двери

выплывали в коридор, стелились по полу и затекали под двери классов, в которых занималась вторая смена. Начали выскакивать учителя, которым мы объясняли, что случайно в воду уронили кусок карбида и что скоро все кончится. Наконец нам удалось открыть форточку, и суматоха улеглась.

На следующий день нас созвал преподаватель: «Что произошло?» Мы повторили выдумку про карбид. «Но ведь ацетилен невидим, а преподаватели утверждают, что был дым?» — «Мы им и говорили, что он невидим, а они не верят», — заявил староста кружка. Такая версия устраивала и химика, он хмыкнул и согласился.

Особенно интересными в десятом классе были уроки истории. Василий Николаевич, не знаю, насколько по инструкциям «сверху», насколько по своей инициативе, высказывался не совсем в духе учебников. «Конституция СССР — это вовсе не Сталинская конституция, готовил ее коллектив юристов, это советская конституция, так будет правильнее... Обороной Царицына руководил не Сталин, а командарм Егоров, и маршрут через Донбасс он же разработал, это потом подхалимы стали приписывать всё Сталину». Было над чем задуматься.

* * *

Наши знакомые по Североморску Смирновы продолжали навещать нас и в Мурманске. (Мы к ним ездить не могли, требовался специальный пропуск.) Смирнов рассказал, какую пакость сделали своему начальнику офицеры штаба — подписали на Демьяна Бедного. Выкупать книги такого рода и иметь их дома считалось дурным тоном, отказаться от подписки на официозного поэта еще могло быть опасным для карьеры. Взрослые немало смеялись этой проделке. Потом начался какой-то бытовой разговор то ли о мебели, кем-то купленной, то ли о новых нарядах. Мне он показался верхом мешанства, и я, вмешавшись, прочел стихотворение Маяковского «О дряни». Маяковского я хорошо знал и любил. Люблю и теперь, хотя и по-иному.

* * *

Появились и новые знакомые. Однажды к нам пришла некая дама и почти в стиле героев Шолом-Алейхема начала рассказывать, какая беда у ее подруги, сын которой, студент, записался в комсомольский патруль. «И вот теперь требуют, чтобы он ловил хулиганов. Ужас!» Мама сказала, что, во-первых, «боишься — не

записывайся», во-вторых, «кто-то этих хулиганов должен ловить». Я готовился к поступлению, но ушки у меня были на макушке, и я решил, что такого шанса я, конечно, не упущу.

В наш двор выходил черный ход продуктового магазина. Однажды около него, не знаю уж почему, забыли бочку с повидлом. На следующий день магазин был выходной, бочку вскрыли и повидло растащили. Дирекция обратилась в милицию. Та не нашла ничего лучшего, как отловить всех малышей, у которых мордочка была испачкана повидлом — они действительно долизывали остатки, — и предъявить родителям счет, некоторые даже заплатили. Разговоров во дворе было много. О том, что бороться со шпаной мне придется в союзе с этой самой милицией, я как-то тогда не подумал.

* * *

Кончив школу, я принялся готовиться к поступлению в ленинградскую Техноложку, тем более что химия тогда была в чести. Отец отговаривал: «Иди в сельскохозяйственный, на пчеловода, всю жизнь будешь нюхать цветы, а на химии будешь всякой дрянью травиться». Но я мечтал о работе в лаборатории. Мама как-то сказала, что, может быть, стоит поступать в какой-нибудь областной, где меньше конкурс, но я гордо ответил, что если не поступлю в Ленинграде, значит, и вообще поступать в вуз не стоит.

Ленинград. Экзамены в Техноложку

«Таинственные рассказы». — Вечная этическая проблема подсказок. —
Учусь плавать

Пришло время экзаменов, и я снова отправился в Ленинград, опять поселился у тетушки в «доме Мурузи». Мама хотела меня сопровождать, я сначала наотрез отказался, но через некоторое время (уже в письмах) дал себя уговорить, и она приехала ко мне. Я хотел поступать на физико-химический факультет (химия радиоактивных веществ), но не прошел по медкомиссии (потом уже я узнал, что туда евреев вообще не принимали). Подал документы на факультет органической химии.

Первый экзамен (сочинение) сдал на тройку. Мама очень огорчалась (конкурс был 8 человек на место), а я был уверен, что уже поступил. Вторым экзаменом была устная литература. Ходи-

ли слухи о том, что получившим за сочинение тройк на этом экзамене пятерок не ставят.

Первый вопрос я ответил. Второй — «творчество Тургенева». «Му-му» я читал в младших классах и помнил довольно хорошо, «Отцы и дети» — «проходил», т.е. читал учебник и несколько брошюр, необходимых для писания сочинений. (Вообще, в школе я был твердо убежден, что книги бывают двух сортов: одни для чтения, другие для того, чтобы их «проходить».) Кроме того, мне когда-то попались тургеневские «Таинственные рассказы». (Запомнил я два из них. Первый, «Стук, стук, стук», о том, как один офицер ночью постучал другому, утром не признался, и тот решил, что за ним приходила Смерть, запоздалому признанию друга он не поверил и умер. Второй рассказ повествовал о двух аристократах, влюбленных в некую графиню. Она назначила одному из них свидание, но из дружеских чувств он отправил на свидание своего друга, которого графиня и скормила своей ручной пантерой.) Это было все, что я знал о творчестве Ивана Сергеевича. Да еще я помнил кусок его биографии, где подряд перечислялись его произведения. Я немного рассказал о Базарове и в ответ на вопрос: «Что вы еще читали из Тургенева?» — смело перечислил все указанное в его биографии, добавив «Таинственные рассказы», в учебнике не упомянутые. «Вы читали “Таинственные рассказы”?» — изумилась экзаменаторша. Я пересказал ей то, что помнил, и мы перешли к третьему вопросу.

«Страна Муравия» Твардовского. Я знал лишь общее содержание поэмы, этого было явно мало, но зато я хорошо знал Маяковского. Начал я свой ответ так: «В своей статье “Как делать стихи” Маяковский говорит: “Всякое стихотворение тенденциозно, “Выхожу один я на дорогу” — это призыв девушкам гулять с поэтами...”» Эх, дать бы такой силы стихи, зовущие в колхоз! И именно такой стала поэма “Страна Муравия”. Дальше мы с экзаменаторшей стали спорить по поводу этого высказывания, она была с ним не согласна. Я получил пятерку.

Химию, конечно, я сдал на «пять», физику — на «четыре».

На математике опять происшествие. Сосед по доске просит подсказать, я подсказываю, преподаватель делает замечание и предупреждает, что снизит оценку на балл. А сосед опять обращается за помощью. Не помочь конкуренту я не мог — было стыдно. И опять замечание. Наконец я отвечаю. Первые вопросы отвечаю отлично, на последнем сбиваюсь (тему я в школе проболел и плохо разобрался). Протягиваю книжку абитуриента и слышу:

«Я должен снизить вам два балла за подсказку и балл за ответ («Всё», — думаю я), но, поскольку не вам подсказывали, а вы, ставлю четверку». Письменную математику написал на «пять».

Последний экзамен по немецкому языку. Мне попадаетея текст «Узбекская Советская Социалистическая Республика» — это словосочетание да еще слово «Ташкент» в нем попадаютсе по не-сколькy раз, а я к тому же кое-как знаю идиш от общения с бабушкой, и это мне помогает. Итог — пятерка.

В институт я поступил. Остаетсе одно — сдать плаванье, а плавать я не умел, и не я один. В ЦПКиО нас учат плавать весь август, и я наконец проплываю четыреста метров. Отец берет отпуск, и они с мамой снимают дачу в Ольгино, где базируюсь и я. Кроме плаванья, я подряд читаю всего Тургенева: мне стыдно, что я обманул экзаменатора.

ЮНОСТЬ

Первый семестр

Поиски жилья в Ленинграде в 54-м году. — Мирю друзей. — Первые песни

Я получаю студенческий билет. Зачислен в 345-ю группу. Первая цифра — номер факультета, вторая — год поступления (1954), третья — специальность. Общежития поступившим не предоставляли, и конец августа и начало сентября все свободное время я пропадаю на Малковом рынке в переулке Бойцова, где собираются бабушки, сдающие комнаты (мне не по карману) и «углы».

Случайно встречаю товарища по школе Мишу Г., который учится недалеко от Техноложки. Он уже года два как уехал из Североморска, родители его еще там, а он у бабушки, в громадной коммуналке. Миша приглашает меня к себе, 150 руб. за «угол» (стипендия моя 284 руб.), и я переезжаю от тети к нему.

Квартира огромная. Нам не доверяют ключа и ставят условие являться домой до 11 вечера. Звонки у всех разные и все в коридоре, а Мишина бабушка почти глухая. Мы с Мишей являемся за полночь, звоним, нам открывает единственная нормальная женщина в квартире. Но идиллии приходит конец. Впуская нас, как выясняется, состоит на психиатрическом учете, и соседи обещают отправить ее в психушку. (Она извиняется перед нами за то, что не сможет больше нам открывать дверь.) Мы все равно появляемся поздно, звоним долго и безрезультатно, зачищаем спичку, заклиниваем кнопку звонка и уходим гулять. Возвратившись, видим, что спичка вынута, снова звоним, и опять нам не открывают, снова заклиниваем кнопку и уходим. Часа через три нас пускают. Назавтра то же.

Мне это начало надоедает, и вместе с одноклассником Лёней Ковтуненко мы снова отправились на Малков рынок. Наконец наши старания увенчались успехом. Мы нашли «угол» на Мытнинской. «Угол» этот представлял из себя довольно широкий топ-

чан, отгороженный от остальной комнаты шкафом и занавеской. В комнате жила хозяйка Екатерина Францевна Ягелло, пенсионерка, подрабатывавшая изготовлением бумажных цветов и где-то что-то сторожившая. Каждый из нас платил по 150 руб., впрочем, хозяйка иногда нас и подкармливала. Прожили мы у нее до пятого курса, потом Лёня женился, снял комнату, а я нашел другой «угол». Детей у Екатерины Францевны не было, муж умер, по некоторым ее намекам, он был репрессирован.

Первый семестр я только осваивался, все свободное время проводил в компании своих коллег по группе. Однажды Лёня, Лиля Порешина (девушка, за которой он ухаживал) и я теплым осенним вечером гуляли по Невскому. Нам, ребятам, захотелось в туалет. Кулуарно обсудив проблему, решили зайти на Московский вокзал. И вдруг Лиля заупрямилась: «Незачем!»; напрасно Лёня убеждал ее, что скоро (месяца через четыре) каникулы и надо посмотреть расписание поездов. Лиля заявила, что это все только «глупости», и повернула в сторону Адмиралтейства, а Лёнька опрометью бросился в сторону вокзала. Обиженная Лилька вскочила в троллейбус и уехала. Назавтра они не разговаривали. Я подошел к ней: «Стоит ли из-за пустяков ссориться?» — «А чего он свой принцип выказать хочет?!» — «Да не принцип, в туалет парень хотел». — «Так и сказал бы!» (а сама покраснела). Так я помирил влюбленных.

В нашей группе появились два иностранца: Мирослав Краус, чех, и румынский венгр Андрей Брайнер. Отец Андрея, коминтерновец, погиб в фашистских застенках, сам Андрей детство провел в Союзе, после войны вернулся в Румынию. Пан Краус был к России настроен несколько скептически, но то, что он критиковал — отсутствие удобств, сервиса, — мне казалось не заслуживающим внимания. Знакомых вне группы у меня почти не появлялось.

Зимние каникулы я провел в Мурманске. На обратном пути в купе плацкартного вагона, где я лежал на второй полке, собралась компания студентов Политеха (они были уже не первокурсники). Тут я впервые услышал студенческие песни. Одна из них, я помню, называлась «Электротехническая лирическая»: «Клянусь я опытами Герца, клянусь системой CGS, ты навела в обмотках сердца любви большую ЭДС». Вторая была интереснее: «Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия, и от министра Берия летят и пух и перья!» Я, конечно, подпевал, но что больше всего меня удивило, подпевал и веселился «взрослый» наш сосед по купе — майор авиации.

Рейдбригады

Против чего и за что мы боролись. — Марш рейдбригад. —
«Государство в государстве». — Наше мировосприятие. Идеал революции. —
Стиляги и джаз

Во втором семестре я начал ходить в «рейды» (так у нас называлась охрана улиц и клубов комсомольским патрулем), что несколько сказалось на моей успеваемости.

«Ворошиловская» амнистия 53-го года выбросила на улицы городов огромное количество уголовников, о дальнейшей судьбе которых никто не беспокоился. Резко возросло количество преступлений: краж, хулиганства, изнасилований. И тогда власть обратилась к общественности. Были образованы комсомольские патрули, в основном студенческие. Через некоторое время в газетах замелькала фамилия Брайнин — московский студент, убитый хулиганами во время патрулирования.

Прежний руководитель и организатор патруля в Техноложке Лев Чучалин перешел на пятый курс и занялся «академикой». Некоторое время нами командовал Миша Миллер, с которым я познакомился примечательным образом. Зимой был объявлен лыжный кросс в Парке Победы. Я ходил на лыжах, мягко говоря, не очень хорошо и отстал от сокурсников. По пути нагнал одного из второкурсников — они стартовали чуть раньше нас, но он тоже отстал от своих. Мы разговорились. И тут я узнал о существовании институтского патруля. Кроме того, мы обсудили массу мировых проблем, чертя по пути палками на снегу какие-то схемы и графики... Когда мы подходили к финишу, т.е. сделали полный круг по парку, уже стемнело и ожидавшие нас преподаватели, изрядно продрогшие и недоумевавшие, куда это мы могли пропасть, встретили нас отнюдь не фанфарами.

Сорок три года спустя в газете «Технолог» (институтской многотиражке) я обнаружил выступление Белгородской, тогдашнего секретаря комитета комсомола института. «Многие комсомольцы откликнулись на призыв ЦК ВЛКСМ принять участие в борьбе с пьянством, хулиганством и другими беспорядками. В институте появились рейдовые отряды. Целью их является поддержание порядка в институте и общежитиях, борьба с бюрократизмом». В чем конкретно выражалась эта борьба, я не помню, но антибюрократический настрой, очевидно, в патрулях существовал с самого их создания. Во всяком случае, фраза оказалась пророческой.

Основным же нашим противником было пьянство. Мы несли дежурства в клубе фабрики «Большевичка» (в районе Лиговки), потом прибавились Центральный клуб имени 10-летия Октября (сокращенно «Десятка») и Центральный клуб железнодорожников (мы эти названия сокращали до аббревиатуры ЦК и ценили возникавшую двусмысленность: выражения «шпана из ЦК», «сволочи из ЦК» и т.п. вызывали коллективный смех). Мы поддерживали порядок на танцах. Сами мы почти не танцевали, разве что на собственных вечеринках; парадных костюмов у нас не было, и мы несли свою «службу» в вельветовых курточках или «московках», лыжных брюках и ботинках. Ботинки иногда покупались в магазинах рабочей одежды. Попытки руководства клубов заставить нас носить хотя бы галстуки не увенчались успехом: галстуки мешали, особенно в драках, противникам очень легко было, схватив за галстук, проводить прием «удушения».

В клубах «распитие» спиртных напитков запрещалось, и мы жестко следили за выполнением этого правила. Заблеванная пол, оскорбления, драки не нравились никому, тем не менее в клубы спиртное таскали почти все парни. Пойманных за «распитием» мы выгоняли с танцев, а спиртное (тут мы превышали свои права) выливали в раковину на глазах у виновного для демонстрации своего бескорыстия.

На институтских вечерах блевотины и драк было, конечно, меньше, но не обходилось и без этого, и мы столь же беспощадно воевали со спиртным.

После новогоднего вечера мы, определив, что кабинет директора забыли запереть, решили похвастать своей работой — снесли туда все бутылки из-под уничтоженного нами спиртного (в некоторых кое-что еще оставалось) и составили их на директорском столе. В первый рабочий день после праздников директор появился у себя в кабинете вместе с делегацией ученых из Индии. Увидев свой стол, заставленный батареей винных и водочных бутылок, он был немало удивлен и даже разгневан, но излил гнев на секретаршу, а с нами объясняться не стал. Что подумали его индийские коллеги, остается только гадать.

Конечно, в институте было достаточно студентов, которые нас терпеть не могли, но, как правило, к нам относились хорошо. В своих учебных группах мы сохраняли хорошие отношения с ребятами, на стройках и целине бригаде рейдовиков в любую погоду поручались самые неприятные авральные работы, в турпоходах рейдовики тоже ценились. Наше действительное беско-

рыстие, отношения с парткомом, который терпел нас, скрепя сердце, драки со шпаной — все это окружало рейдбригаду неким ореолом романтики.

В стенгазете «Органик» появился дружеский шарж на меня с подписью:

Хулиганы, пропойцы, воры,
Те, кто ходит у жизни по кромке,
Берегитесь той страшной поры,
Когда вам повстречается Ронкин.

Постоянно в рейды ходило около двадцати человек. Как правило, в каждом рейде появлялись и те, кто на пробу ходил один-два раза, некоторые ходили нерегулярно, иногда к нам присоединялись старые рейдовики, прекратившие активную работу в патруле. Когда нам становилось известно, что наши «подопечные» к следующему нашему дежурству собирают большой численный перевес, чтобы нас побить, мы могли бросить клич в институте, и к нам на помощь приходило достаточно много ребят.

В рейды мы ходили сначала раз в неделю, потом два-три раза, а иногда и чаще. Очень скоро и порядок работы штаба, который собирался каждый понедельник, претерпел изменения. Сначала собирались только члены штаба (не всегда в полном составе, кому-то просто было в этот день некогда, кто-то постепенно вообще переставал ходить в рейды), потом на заседания штаба начали приходиться все желающие с правом совещательного голоса, наконец выборный штаб сменился группой энтузиастов-рейдовиков. Впрочем, после каждого рейда проводилось обсуждение его тут же на месте, в помещении, выделенном нам институтом. Зачастую, когда кончался рейд, транспорт уже не работал и, чтобы не стать добычей поджидавшей нас шпаны, мы довольно далеко уходили от объекта патрулирования все вместе, шли, как правило, к родной Техноложке, где и расставались.

По дороге мы продолжали обсуждать сегодняшние и вспоминали прошлые приключения. Хором распевали студенческие, строительные и туристские песни.

Я сочинил «Марш рейдбригад», с которого мы и начинали наше пение:

Прекрасны сады Ленинграда
И белые ночи весной.

Вперед, комсомольцы, вперед, рейдбригада!
Очистим наш город родной!

Здесь нет хулиганам пощады,
Суров разговор со шпаной.
Вперед, комсомольцы, вперед, рейдбригада!
Очистим наш город родной!

Нам дружба дороже награды,
Мы связаны волей одной.
Вперед, комсомольцы, вперед, рейдбригада!
Очистим наш город родной!

Мы сломим любые преграды.
Пусть песня летит над Невой:
Вперед, комсомольцы, вперед, рейдбригада!
Очистим наш город родной!

Актив рейдбригады объединяла еще и личная дружба. Мы стали беседовать в перерывах между лекциями, вместе встречать любые праздники, вместе ходить в походы и ездить на стройки и целину, где образовывали отдельные бригады.

На комсомольских мероприятиях тогда вообще было принято много петь. Рейдовики становились в круг, клали руки друг другу на плечи и пели. На заседаниях штаба мы решали, какие песни нам петь, а какие следует игнорировать. Конечно, о запрещении и речи быть не могло, но одобренные штабом, т.е. активом, им же и поддерживались, если предлагали спеть нам нежелательную, мы выдвигали свою, но решалось все большинством.

Пытались мы вмешиваться и в амурные дела. Один из нас, парень рослый и красивый, гулял с одной девушкой, потом с другой, третьей. Оставленные плакали. Все это было на виду, так как и ухаживали мы, за редким исключением, только за рейдовичками. Парня вызвали на штаб. Мы ничем не могли грозить. Мы только высказали наше отношение. Но отношение членов патруля друг к другу и было самое ценное для каждого из нас.

Ставился на штабе и вопрос о привилегиях. Пользуясь нашими удостоверениями, можно было бесплатно ездить в электричках. Все туристы, в том числе и мы, старались проехать зайцем, но удостоверений своих мы контролерам не предъявляли. Когда один из нас, любитель футбола, отказался обещать нам не ходить по

удостоверению на стадион, утверждая, что в случае любой заварухи он непременно вмешается (мы этого под сомнение не ставили), наши отношения здорово охладели.

Принципу «рейдовик всегда в рейде» мы и так следовали неукоснительно. Где бы мы ни были, куда бы ни шли, в одиночку или с девушкой, в случае необходимости мы готовы были вмешаться.

Мы верили в историческую необходимость и прогрессивность Октябрьской революции. Восхищались героями Гражданской войны, первыми комсомольцами. Комсомол той поры мы представляли по книгам Н.Островского, Макаренко, стихам Маяковского, Светлова и Смелякова.

Даже сейчас я сочувственно вспоминаю выкрик Ивана Жаркого (из «Как закалялась сталь») на каком-то нэпманском мюзикле: «Довольно проституировать!» Уже на четвертом курсе в январском номере «Технолога» появилась заметка «Рок-энд-бейби на чужих костях» (речь шла о самодельных пластинках, для изготовления которых умельцы приспособивали рентгеновские пленки). Заметка, подписанная В.Ронкиным, Ю.Щипакиным, В.Иофе и В.Сиротининым, кончалась так: «Все изъятые пластинки будут уничтожены, а распространителей этой пошлости надо наказывать, и наказывать строго, по-комсомольски».

Особо следует остановиться на нашем отношении к стилигам и фарцовщикам. Конечно, мы в значительной мере находились под влиянием официальной пропаганды. Но здесь было и нечто другое. Нашим высоким идеалам они противопоставляли узкие брюки и яркие галстуки. Их ругательствами было «колхозник» и «сех» (от сокращения с/х — сельское хозяйство) — они претендовали на принадлежность к аристократии иной, чем партийная, так же, как и она, не имея на то интеллектуального права, ибо, по нашим понятиям, преувеличенная забота о внешности не совмещалась с интеллектом. («Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» — даже во времена Пушкина это положение было спорным.) Году в 58-м Сережа Хахаев (познакомились мы с ним еще в 55-м) показал нам заметку, кажется, в «Комсомолке»: в Сочи комсомольский патруль подрался со стилигами, которые оказались работниками ЦК комсомола. Рейдовиков посадили, а узкие брюки были постепенно реабилитированы. Мы это предчувствовали с самого начала. Гораздо позже, в 65-м году, во время нашего суда в Питере был проведен фестиваль твиста. С ним нам повоевать не удалось, он появился позже, когда наша

рейдовая деятельность уже кончилась. Но для нас он ничем не отличался от рока, с которым мы пытались сражаться.

Как-то недавно, вспоминая в нашей прежней компании старое, мы констатировали, что в итоге победили стилиги и фарцовщики, большая часть которых успела еще до перестройки побыть на партийных постах.

Страсть к иностранным вещам не обошла и патруль. Элла К. активно ходила в рейды и походы, была на стройке. В общежитской комнате, где она жила, начали пропадать вещи, чаще всего пострадавшей оказывалась студентка из Польши. Однажды полька, будучи дежурной по комнате, полезла под кровати вытирать пыль. Из Эллиного чемодана торчала бретелька от бюстгальтера, которую хозяйка узнала. Эллу арестовали, и она призналась в систематических кражах, украденное хранила у сестры-ленинградки, а пользоваться боялась. Элле дали, кажется, три года, но уже через год Сережа Хахаев встретил ее случайно на улице с коляской и ребенком.

Первая студенческая стройка и первый турпоход

Почему и зачем. — Что мы пели. — «Вход в Нарву без штанов запрещен!» — Крестьяне и Маленков. — Походный дух. — Знакомство с советской экономикой на стройках. — Несоответствия повсюду

На летних каникулах месяц я провел на стройке — мы работали на обводном канале будущей Прибалтийской ГРЭС (около Нарвы). Жили в палаточном лагере в Ивангородской крепости.

Студенческие стройки той поры — явление, непонятное сегодняшнему читателю. Они были абсолютно добровольными и почти бесплатными, никакой формы нам не выдавали, ездили мы в чем мать отпустила. Вырученные деньги шли на прокорм стройотрядовцев и на прощальный банкет. Остаток распределялся комитетом комсомола между кружками и секциями: покупались рюкзаки для туристов, балалайки для оркестра, запчасти к мотоциклам для мотосекции. Остаток, впрочем, был не очень велик, хотя работали мы, как правило, на совесть, но строительное начальство бросало студентов на самые низкооплачиваемые работы.

Все это компенсировалось той атмосферой, которая царила на стройках. Мы горланили «Бригантину», пели самодельные песни,

посвященные стройкам, туристские песни, сначала довольно примитивные, потом появились песни Визбора, Якушевой, Окуджавы, Городницкого. (Авторов тогда никто из нас не знал.) Но о песнях несколько позже. Мы обсуждали проблемы мироздания и политики, придумывали игры, читали стихи.

Абсолютная добровольность продолжалась два-три года, потом комитет комсомола и факультетские бюро начали давить на студентов, угрожая выговорами и исключением из комсомола.

Однажды в Нарве прорвало водопровод, и нас срочно бросили на аварию. День был жаркий, и работали мы как обычно — ребята в трусах, девочки в купальниках. Мы как-то забыли, что работаем не на объекте, а в центре города, мало того, кому-то захотелось пить, и полуголая компания отправилась в кафе. Результатом было постановление Нарвского горисполкома, аналогичное мексиканскому, описанному Маяковским: «Вход в Нарву без штанов запрещен!», так, по крайней мере, его нам преподнесла наша рукописная газета «МОПС» («Международный Орган Пролетарской Сатиры», впрочем, у этого названия были и другие расшифровки, которые я уже позабыл).

* * *

На октябрьские праздники 1955 года я в первый раз отправился в турпоход. Как и у щедринского Угрюм-Бурчеева, у нас «существовало два праздника. Один весенний, приготовление к бедам будущим (1—2 мая), и один осенний, воспоминание о бедах прошедших (7—8 ноября); праздники отличались от будней усиленной маршировкой». После смерти Сталина, впрочем, последнюю уже можно было игнорировать. Мы в эти дни отправлялись в походы, а поскольку до ближайшего воскресенья было не больше двух дней, прихватывали и их (иногда договорившись с преподавателями). Таким образом, праздничные наши походы продолжались от трех дней до недели. В первый раз нас было человек двенадцать новичков, не знакомых друг с другом. Группу вел второкурсник, сам не очень опытный. Шел снег с дождем, к вечеру подмерзло, и еловый лапник, который подстилали под палатку, покрывался примерзшим снегом. Палатку поставили почему-то входом к ветру, я лег у этого входа и так замерз, что среди ночи еле выбрался наружу, тело свело до боли. Взяв топор, я пошел в лес, срубил сушину, притащил к кострищу и, нарубив ее на поленья, начал разжигать костер. Мне помогли соседи по палатке: оказавшись крайними, они, померзнув некоторое время,

один за другим выбирались наружу. К утру встали все, сварили кашу, поели и отправились дальше. Я рассуждал о том, что только сдуру можно было ввязаться в эту затею и что это мой последний турпоход.

Следующая ночевка осложнялась тем, что у нас вымокло все: палатка, запасная одежда, не говоря уже о ватниках, в которых шли. И мы решили искать ночлег в деревне. Шли мы не по дороге, а по компасу («по азимуту»). Карты тогда выпускались специально искаженные и не точнее семикилометровки, правда, у туристов иногда попадались и совершенно секретные, добытые от «одного знакомого летчика», но это случалось довольно редко, у нас такой карты не было. Когда уже совсем стемнело, мы остановились на привал, и ведущий послал в разные стороны группы по три человека искать деревню. Две группы вернулись ни с чем. Третья принесла с собой... кота. Общее совещание предположило, что кот от жилья далеко не уйдет, и мы, взвалив рюкзаки, отправились за третьей группой. Дошли до места встречи с котом и двинулись по его следам на снегу. Через какое-то время мы увидели охотничью избушку, дверь была забита гвоздем, рядом копешка сена, дворик огорожен забором из жердей. Сено мы постелили на пол, жерди пошли в печку. Дверь занавесили мокрой палаткой, около печи развесили одежду для просушки. В ту ночь я пересмотрел свои взгляды на туризм.

Утром, сложив, как могли, сено в копну и срубив новые жерди, мы снова забили дверь и отправились дальше. Кот, получивший имя Азимут, восседал на рюкзаке своей новой хозяйки. (Он так и поселился у нее.)

В походах мы иногда ночевали в крестьянских домах. Нашего брата, как правило, пускали на ночевку с охотой. Довольно часто в домах мы видели образа, но в этом для нас не было ничего удивительного. Удивляло другое — вместо образов, а иногда и вместе с ними висели портреты Маленкова — первого секретаря ЦК и председателя Совмина, занявшего эти посты после смерти Сталина. Находясь у власти, Маленков отменил своим указом индивидуальные налоги с колхозников и задолженность по их уплате. Анекдот той поры: «Экскурсовод в музее, указывая на скелет: “Это советский колхозник. Мясо сдал, кожу сдал, шерсть сдал, яйца тоже сдал”». Из доклада того же Маленкова мы узнали, что советское сельскохозяйственное машиностроение чуть ни на полвека отстает от западного. (При Сталине за такое высказывание грозило как минимум десять лет лагерей.)

Турпоходы, студенческие стройки, а с начала шестидесятых годов и самостоятельные научные экспедиции (Кедроград, Тунгусский метеорит) во многом воспитали тогдашнюю молодую интеллигенцию.

Самым важным здесь были полная добровольность, бескорыстие и равенство. Все было общее: палатки, топоры, одеяла (хотя каждый брал из дома свое), еда и питье. На строечных банкетах и походных праздниках «на столе» появлялись и бутылки, но пили в нашем кругу очень немного, больше для тостов, чем для хмеля. (Впрочем, некоторые ребята на банкетах напивались до чертиков и тогда, но это были действительно отдельные случаи.) В походах и на стройках тяжесть рюкзака или работы распределялась «по способностям», слабому помогали, сильный брал на себя больше.

Руководители групп иногда выбирались, но чаще всего ими оказывались наиболее инициативные. Человек разрабатывал маршрут похода и предлагал: «Кто со мной?» Шли те, кого устраивали и командир, и маршрут, и компания. Руководство строек тоже было «своим» — комитет комсомола назначал тех, кто этим хотел заниматься. Я не помню ни одного активиста той поры, который бы сделал себе на этом карьеру.

На стройках мы начали знакомиться с советской экономикой. Оказалось, что выкопанную яму можно закрыть как песок, а можно и как «глина с налипанием», и рабочий получит совсем другие деньги. Можно было, чтобы заплатить рабочим, «снести» сарай, а потом «построить» его заново, причем доски якобы относились и приносились вручную за сотню метров. Оказывалось, что планы и рапорты вообще не соответствуют выполненной работе, что техника безопасности везде нарушается и рабочие вовсе не чувствуют себя хозяевами страны. Начальство матерят вслух, власть — приглушенным голосом.

На той же Прибалтийской ГРЭС должны были отвести воду в канал с главного русла. Посреди города был прекрасный водопад с перекинутым через него висячим мостиком, все это хорошо вписывалось в городской пейзаж. Мы представляли, как обезобразит город Нарву наша стройка. Через год я видел ее результат — груда камней посреди сухого русла — вот и все.

Мы были преданы идеям коммунизма, но несоответствие между ними и реальностью бросалось в глаза. Все это обсуждалось и

между лекциями (а иногда и на них, разумеется, приватно), и на стройках, и в турпоходах, и на студенческих вечеринках. Все чаще ставился вопрос: «Верить ли ты в коммунизм?» И когда я отвечал утвердительно, мне говорили (иногда восхищенно, иногда снисходительно): «Да ты же патриот». Тогда это слово еще не приобрело значения «фашист»: свежа была память о войне.

Беседовали и о Сталине. XX съезд был еще впереди, но в воздухе уже нечто витало. Я немало думал на эти темы и сделал для себя вывод, что Сталин больше заботился о своей власти, чем о построении коммунизма. Объявленные врагами народа начали приобретать в моих глазах статус мучеников. Киров, по моему тогдашнему мнению, был один из них — Сталин организовал на него покушение, чтобы получить предлог для террора. Все это я изложил в беседе своему приятелю Грише Айзенбергу весной 55-го года. Он мне тогда не поверил, зато после XX съезда объявил меня чуть ли не пророком.

Второй курс

Сломанный нос. — Зимний поход. — Первые конфликты с институтским начальством. Наш статус: между комсомолом и милицией. — XX съезд. Я.Лернер и бюсты

Когда я после летних каникул 55-го вернулся в институт, в комсомольском патруле произошли некоторые изменения. Миша Миллер освободился от руководства и все реже ходил в рейды. Он, кстати, был отличным знатоком Ленинграда, о каждом здании мог прочесть лекцию, рассказать, когда построено, каким архитектором, кому принадлежало и что в нем размещалось. Вот это-то хобби он и предался.

Мы существовали сами по себе. Патруль никогда не имел постоянного состава. Из старшекурсников в сентябре 55-го, кажется, были только Миша Миллер и Марик Гиршович. С нашего второго курса продолжали ходить Глеб Гладковский, Света Симановская (в будущем Сиротина), Юлик Щипакин, Саша Мумжа. В ноябре появились новые ребята, только что поступившие в институт.

В октябре мне сломали нос. В клубе, где мы дежурили во время танцев, завязалась пьяная драка, и мы ринулись разнимать дерущихся. Те, кто был в меньшинстве, предпочли улизнуть, ос-

тальные переключили свой гнев на нас. В результате я получил по носу, возможно кастетом, а может быть, и перстнем (в те времена шпана носила огромные перстни, которые в драке могли заменить кастет). Из носа пошла кровь, я вытер ее как мог и присоединился к погоне. Хулигана задержали и доставили в милицию, нам нужно было расписаться под протоколом. Когда очередь дошла до меня, я, взяв ручку, долго смотрел на бумагу, пытаюсь сообразить, на какой строчке надлежит расписываться. Строчки, как в кино, двигались по листу сверху вниз, потом мне сказали, что бумага вообще нелинованная, а также что у меня какой-то не такой нос. Когда азарт спал, мне стало плохо — вызвали «скорую помощь», я очутился в больнице и там сразу же уснул.

Проснувшись утром, я почувствовал себя гораздо лучше, правда, нос и на ощупь, и на вид выглядел неэстетично, он был действительно сломан. Сосед предложил мне журнал с повестью Хемингуэя «Старик и море», и я принялся читать. Потом меня позвали к врачу. Врач, женщина лет тридцати пяти, усадила меня на стул и нажала на сломанный нос, я замычал от боли, и она меня отпустила. Нос оставался в прежнем положении. Врач вздохнула, потом вдруг прижала меня лицом к груди и снова нажала на нос. Я никогда прежде не прижимался к женской груди, и, пока я переживал это новое для меня ощущение, нос хрустнул и стал на место. На завтра я заявил врачу, что в больнице мне надоело. Она уговаривала меня потерпеть, но я уверил ее, что все равно убегу. Еще через день мне дали подписать бумагу о том, что всю ответственность я беру на себя, и отпустили. В институте все ахали, глядя на мою иссиня-черную физиономию.

Когда на зимние каникулы я приехал домой, мама в какой-то привезенной мною книжке обнаружила бумажку, обличавшую мою принадлежность к патрулю. Нос мой ей сразу же показался подозрительным, а на отцовской морской шинели, которую я носил в институте, «прямо против сердца!» она обнаружила неумело зашитый мною разрез. Мама зашивала шинель и тихо плакала. «Что ты, мама?» — удивился я и объяснил, что разрез сделан бритвой, даже подкладка целая. «Так, мелкая шпана. Ты, мама, не бойся».

Когда я был в Мурманске, к нам заехали Смирновы. Отец пожаловался им на мои похождения — Владимир Михайлович ответил, что кому-то нужно бороться с хулиганами. «Когда я был чоновцем и мы чистили Лиговку от шпаны, я и подумать не мог, что моему сыну придется делать то же самое», — ответил отец. Чистка, как рассказывал отец, заключалась в том, что во время

нэпа после очередного изнасилования всех подозрительных с Лиговки похватали и отправили на торфоразработки в область, очевидно, под конвоем.

* * *

На 5 декабря (день Советской Конституции плюс еще какие-то дни) мы отправились в лыжный турпоход. Восстанавливаю состав группы по фотографии: Нина Котова (впоследствии Гаенко), Володя Сиротинин, Ира Копылова, Леша Столпнер, Женя Бондаренко, Юра Егоров, Валя Кузнецова. Теперь мне и не вспомнить, кто из них и до похода был в патруле, а кто был «обращен» в походе. Походная жизнь способствовала сближению. Тут шла проверка «на любовь к ближнему» (пусть это не покажется слишком высокопарным), на коллективизм. Коллективизм вовсе не противостоит индивидуализму, антитеза индивидуализма — стадность и эгоизм, когда каждый за себя и поэтому каждый как все. В походах проверялась способность человека не только помочь другому, но и догадаться, кому и когда эта помощь нужна. Несколько позже в патруль пришли Вадик Гаенко и Сережа Хахаев, которые стали моими самыми близкими друзьями.

* * *

Почти сразу же после появления в патруле Лешки Столпнера (он был очень близоруким и носил очки с толстенькими стеклами) произошло памятное для меня событие. Когда на крик «Лешку бьют!» мы прибежали к месту события, я увидел Лешу в окружении нескольких парней, избивавших его; Лешкины очки были сбиты, и он вертелся, беспомощно растопырив руки. Я уже не раз участвовал в драках, но ударить человека у меня не поднималась рука: оттолкнуть, оттащить, закрутить руку я мог, а вот ударить — нет. В этот раз я ударил человека в лицо — первый раз в жизни. (Некоторое время спустя я попробовал ходить на занятия по боксу и тут понял, что не в гневе ударить человека я все-таки не могу. Я не мог разъяриться, даже если мне доставалось от противника — ведь он бил меня не со зла, а «по правилам». Так после пары тренировок я и прекратил это занятие.)

Между тем комитет комсомола вдруг вспомнил о патруле и решил назначить нам начальника. Выбор пал на некоего Федорова, которого мы раньше в рейдах никогда не видели. Он был новым членом бюро, и его, очевидно, не знали, куда употребить. На собрание патруля он явился с компанией своих приятелей,

голосами которых и была утверждена эта креатура бюро. Поскольку членство в патруле не фиксировалось, хотя некоторые из нас и имели патрульные «корочки», право голоса принадлежало каждому, явившемуся на собрание. Старички голосовали «против», аргументируя тем, что руководить патрулем должен человек, хоть сколько-то участвовавший в его работе.

Впрочем, нас это не особенно беспокоило. Мы работали в контакте с милицией: ей, как и комсомольскому начальству, нужна была отчетность по активистам, поэтому нас уговаривали вступать в бригаду содействия милиции. Мы почти все так и сделали, получив при этом удостоверения «бригадмила». Это давало нам возможность чувствовать себя независимыми как от партийно-комсомольской власти института, так и от милиции. Мы делали то, что считали нужным, а на любые угрозы распустить патруль отвечали: «Уйдем в бригадмил», понимая, что начальство не захочет лишиться такой графы отчетности, а набрать других не сможет.

Федоров почти не появлялся в рейдах, и нас его титул мало волновал. Однажды, когда он все-таки появился, во время патрулирования какой-то хулиган ударил его по лицу. Такие происшествия были для нас не в диковинку, и мы не обратили на это внимания. На следующий раз Федоров появился со своими друзьями, мы были рады пополнению и никак не связали их появление с забытым событием прошлого дежурства. Между тем эти ребята наткнулись на обидчика (дежурства наши проходили в одних и тех же местах и поэтому контингент противников, или, если угодно, подопечных, был почти одним и тем же). Федоров со своими друзьями стал избивать парня. Мы дрались довольно часто, но, во-первых, нам не приходило в голову мстить (если, по нашему мнению, было совершено уголовное преступление, мы, конечно, старались задержать виновного и передать его милиции для возбуждения уголовного дела), во-вторых, вне общей драки мы не били задержанных: если надо было утихомирить, могли скрутить руки, ответить ударом на удар, но бить несколькими одного, пользуясь прикрытием закона, — это для нас было исключено. Мы, естественно, отбили парня и сразу же обратились в комитет комсомола с требованием убрать такого начальника.

В качестве компромисса было принято решение о создании при Федорове коллегиального органа штаба рейдбригады. Но после всех перипетий Федоров почти перестал появляться в рейдах, а если и появлялся, то чувствовал откровенную враждебность ос-

тальных. Де-факто рейдбригадой начал руководить ее штаб, но так продолжалось недолго.

На одном из заседаний штаба было заявлено, что «у нас бардак», что для его прекращения нужен «диктатор», и командиром патруля выбрали Вадика Гаенко. Прозвище «диктатор» в нашей среде сохранилось на долгие годы (слава Богу, об этом не пронюхало ГБ в 65-м году — они шуток не понимали). На комсомольской конференции в апреле 56-го отчетный доклад о работе патруля делал уже Вадик, он же рассказывал о том, как и за что мы прогнали Федорова, которого «нам спустили сверху». (Около конференц-зала в таких случаях устанавливались две доски, на которых наши художники с помощью мела карикатурно комментировали выступления ораторов. В данном случае была нарисована группа рейдовиков, на которую «сверху» в виде бомбы «спускают» Федорова.)

* * *

Между тем еще до официального избавления рейдбригады от Федорова произошло не менее важное событие. В феврале 1956 года состоялся XX съезд КПСС. В марте доклад Хрущева начали читать на закрытых партийных собраниях, потом на комсомольских. Сначала у входа в конференц-зал проверяли комсомольские билеты, потом стали пускать всех желающих. Я был на таких собраниях трижды и каждый раз вел тщательный конспект, надеясь потом объединить все в один, наиболее полный. Тетрадь эту я вскоре потерял, но те, с кем я мог обсудить услышанное, знали текст доклада не хуже меня. К этому времени я уже кое-что понимал, и в докладе меня поразили не столько страшноватые подробности, сколько то, что «они» решились все это огласить.

В нашем институте, куда ни глянь, стояли сталинские изваяния, даже в столовой около раздаточного окна стоял вождь с трубкой и следил за тем, как официантки нагружают подносы с тарелками. (Тогда еще не было самообслуживания, официантки собирали чеки, шли к раздаче и возвращались в зал с нагруженным подносом, восклицая: «Кому борщ?», а мы расхватывали тарелки.)

Был сталинский бюст и в комитете комсомола, этот-то бюст мы и решили выбросить первым. Глеб Gladковский, я и еще несколько активистов направились в комитет, где нас встретил зав. студенческим клубом Я.Лернер, позднее ставший известным благодаря делу Бродского. Он прикрывал грудью бюст вождя. Принци-

пиальность коммуниста, не предавшего своего вождя, нас и удивила и даже как-то растрогала. Мы попытались начать дискуссию, но Лернер, развернув на тумбочке гипсового вождя, указал нам на надпись — какое-то многозначное число. «Видите! Это инвентарный номер, и числится за мной. Вы разобьете, а платить буду я!» Нам стало настолько смешно, что даже иконоборческий порыв угас. (Через несколько лет кто-то из наших знакомых попал в подвал института — там во мраке стояли многообразные изваяния разоблаченного вождя, уже давно убранные с глаз долой, но охраняемые, как талисманами, своими инвентарными номерами.)

Объяснение всего случившегося только дурным характером Сталина нас не устраивало. Через какое-то время после XX съезда появился анекдот: «Хрущев кончает доклад, и вдруг из зала раздается голос: “А вы почему молчали?” Хрущев: “Кто это сказал?” Молчание. Хрущев повторяет свой вопрос, опять молчание. “Вот и мы так же молчали”, — подытоживает первый секретарь».

Мы видели, что нынешние партийные чиновники так же зависимы от верховной власти, как и раньше, все остальные граждане зависят от них. В том числе суды, пресса и «общественные организации». Коммунисты, с которыми нам приходилось сталкиваться, вовсе не производили впечатления «ума, чести и совести». Разоблачение Сталина нам казалось столь же произвольным решением первого секретаря, как и сталинские процессы. (Несколько позднее мы поняли, что за этими разоблачениями стояли не только взгляды Хрущева, но и интересы партийной верхушки, стремившейся обезопасить себя от произвола очередного диктатора и охраны.)

Турпоход и стройка лета 1956 года

Дух времени. — Песни. — Двоемыслие. — Сигареты «Съльце». Мы — иностранцы. — Борьба с пупковой грыжей, увеличение поголовья и другие развлечения. — Нарушение бродяжьей этики. — Венгрия: кажется, начинается! — Оккупант или гость?

На летних каникулах, в Мурманске, я завелся на темы политики с отцом: «Как вы могли такое допустить?!» Обиженный отец ответил: «А что бы вы сделали?» «Мы не допустим!» — гордо сказал я (а подумал: «По крайней мере сделаем все, чтобы не допустить!»).

«Они» (поколение отцов) не сумели справиться ни со шпаной, ни со Сталиным. Значит, и нам есть работа. (Несколько позже я прочел рассказ Куприна «Тост», в котором граждане Всемирной анархической ассоциации свободных людей встречают 2906 год. На одном из банкетов оратор произносит тост за тех, благодаря кому все люди стали гордыми, смелыми и веселыми, за тех, кто отрекался от всех радостей жизни, кроме одной радости — умереть за свободную жизнь грядущего человечества. «Все выпили молча, но женщина необычайной красоты, сидевшая рядом с оратором, вдруг прижалась к его груди и беззвучно заплакала. И на вопрос о причине ее слез она ответила еле слышно: “А все-таки... как бы я хотела жить в то время... с ними... с ними...”» И я понял чувства героини этого рассказа.) И в рейды, и потом в политику нас (по крайней мере меня) толкало не только желание бороться со злом, но и романтическая тяга к борьбе как таковой.

Когда-то Грибоедов заметил: «По духу времени и вкусу я не навидел слово “раб”». Сейчас я думаю, что именно эстетическое чувство определяет отношение человека к действительности. Нас раздражала государственная ложь, которая все более становилась очевидной. Сталин оболгал своих прежних соратников, его преступления прикрывались ложью о классовой борьбе; новые властители врали, говоря о свободе, равенстве и братстве. врали, прикрывая свое властолюбие и эгоизм.

Дух тогдашнего времени в не меньшей степени определяли песни — особенно походные. Песни привозили с каникул, где встречались с бывшими одноклассниками, пересылали друг другу в письмах. Сочиняли сами.

Дремлют, качаясь, сосны и ели,
Тихо журчит под обрывом вода.
Грустную песню ребята запели —
Можно и нам погрустить иногда.
Пусть нас разлучат горы и годы,
Встретим мы много ветров и тревог,
Но не забудем мы наши походы,
Длинные версты карельских дорог.
Время промчится быстрою птицей,
Песню свою пропоет паровоз —
Мы обещаем, друзья, возвратиться
Снова к подножью карельских берез.

Снова в осенний неласковый вечер
Мы соберемся за нашим костром,
Выпьем за дружбу, выпьем за встречу,
Вновь эту грустную песню споем.

Этот текст написал Лёня Брагинский, наш институтский поэт.

Позже, в конце пятидесятых годов, появились и другие, теперь известные всем песни: «Пять ребят», «Барбарисовый куст», «Лыжи у печки стоят», «Тихо над тундрой шумит снегопад», «Синий троллейбус», «Полярный вальс» и еще, и еще...

Каждый из нас был уверен, что «какое бы сражение не покачнуло шар земной, я все равно паду на той, на той далекой, на Гражданской. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной». Мы пели про трубача, который в решительный момент, когда убили командира, заиграл «Интернационал», пели военные песни: «Землянку», но еще чаще «Ладогу», «Ты просишь писать», «Боксанскую» и другие песни, не скомпрометированные массовой пропагандой, которой мы верили все меньше и меньше. Война для нашего поколения была очень важна. У многих отцы погибли, у всех почти воевали. Как и для лицеистов пушкинской эпохи, идеалы фронтового братства были для нас образцом человеческих отношений, а черпали мы сведения об этом братстве из книг той поры. («Боксанскую» мы даже дополнили самодельным куплетом:

Пиренеи, Гималаи, Альпы
Мы пройдем, коль будет дан приказ,
Если только вражеские залпы
На границах загремят у нас.

Досочинил этот куплет я, вовсе не задумываясь, чей это приказ собираюсь выполнять.)

Сейчас, вспоминая о прошлом, любят говорить о двоедушии и двоемыслии. Насчет души судить не берусь — это прерогатива теологов. Что же касается двоемыслия, слово это употребляют, на мой взгляд, неверно: «циничное братство двоемысленных, как плесень, возникшая в атмосфере оттепелей и детанта, — есть всего только половое созревание советского функционера» (Эрнст Неизвестный). Именно функционеры и не были-то двоемысленными — одна мысль, «одна, но пламенная страсть» одолевала их: как ближе устроиться к кормушке. Все остальное было попугай-

ское повторение: на трибуне — бессмысленных лозунгов, в кулуарах — столь же бессмысленной критики (и то и другое они заимствовали у различного рода «классиков»).

Двоемыслием страдали именно мы. Мы рассуждали о свободе личности и притесняли «стиляг», восхищались чекистами и презирали КГБ, готовились к «последнему и решительному бою» и ненавидели милитаризм. Уже после возвращения из ссылки я прочел у Бернштейна, что главное в марксизме составляет его этическая сторона, нравственный идеал, что же касается его экономических, а следовательно, и политических построений, то они не выдерживают никакой критики. Думаю, что если бы я прочел все это в свои двадцать лет, то все равно Бернштейну бы не поверил — идеал ведь нельзя реализовать, а всем нам хотелось сейчас и здесь осуществить великое братство свободных и равных людей.

Мы играли в коммунизм, вернее — уходили в коммунистическую эмиграцию от реальной жизни. Через четыре десятилетия мой друг Сергей Хахаев так сформулировал установки нашей подпольной группы: «Мы хотели распространить на всю страну идеалы нашего студенческого братства той поры».

* * *

В летние каникулы 1956 года мы отправились в турпоход. Один месяц я проводил на стройке, второй считал необходимым побыть у родителей, поэтому в длительные летние походы не ходил, но дней десять я счел возможным выкроить для похода.

Вел нас Глеб Gladковский под лозунгом «Туризм не отдых, а суровая необходимость». Мы стирали ноги в кровь, принципиально отказываясь пользоваться попутным транспортом, на привалах падали от усталости. И все-таки это был удивительный поход.

В Ленинграде тогда только что появились первые болгарские сигареты «Слънце» в невиданной советскими гражданами красочной упаковке, поэтому, когда мы остановились перекурить в какой-то глухой деревушке, наша компания вызвала огромный интерес у окружающих. Возле нас собралась группа колхозников, вполголоса обсуждавших, иностранцы мы или нет. (Одеты мы были совсем «по-иностранному»: лыжные брюки, застиранные рубашки, на головах тубетейки, кепки, а у двоих изрядно помятые шляпы, одна даже с вороньим пером, подобранным на обочине.) Мы приняли вызов — понесли абракадабру из английских, немецких (кто что проходил) слов вперемешку с химической

терминологией. Один из нас подошел к любопытным и, указав на свинью, коверкая слова, спросил: «Это есть коза?» Теперь рассмеялись «аборигены». Они начали объяснять нам, что коза — это «м-е-е», у нее рога (изображались рога), а это — свинья! Мы разошлись, довольные друг другом.

По пути мы присвоили друг другу «иностранные» титулы. Я стал виконтом, мой друг Ковтуненко — графом, его девушка, Лиля, соответственно — графиней, парень, беседовавший с «аборигенами», — герцогом. Остальных титулов я не помню. После похода наше титулование кончилось, вот только Герцог сохранил свое прозвище настолько, что его настоящее имя стерлось в памяти.

Ходили мы в районе Лемболовского озера, и нам почему-то потребовалось получать специальные пропуска. Для получения пропусков надо было поход оформить по всем правилам, в том числе и получить справки из медпункта. В медпункт мы пришли вместе, и пока один находился у врача, остальные насобирали медицинской пропаганды — листки, посвященные борьбе с гриппом, переломами и даже пупковой грыжей. В одной из деревень мы проходили мимо клуба, в котором были танцы. Задавшись вопросом «побьют или нет?», мы вошли в зал и, не обращая внимания на танцующих, начали развешивать по стенам плакатики. Публика сгрудилась около них и с удивлением читала. Точно такие же листки были и в местной поликлинике, что и вызвало удивление. Мы подслушали такой диалог: «Зачем вешают? — Наверно, приказали». Бить нас не стали. Иногда, проходя через населенный пункт, мы скандировали лозунги, увиденные в соседней деревне.

Однажды нам попался обрывок газеты с заголовком «Увеличим поголовье коров на 20%, поголовье свиней...» (конец был оторван). Мы и скандировали (начинали два-три человека): «Увеличим поголовье коров на...» «20 процентов!» — подхватывали остальные, «Поголовье свиней...» — продолжали «запевалы». «Оторван!» — отвечал «хор».

Так мы развлекались весь поход. Как-то раз нас догнал грузовик, наполненный ребятами и девушками. Мы проголосовали, так как хотели уточнить свое местонахождение. Пока Глеб разговаривал с шофером, остальные расспрашивали сидевших в кузове. Там оказались медалисты, уже принятые в университет и сразу же отправленные на сельхозработы. Шофер предложил подбросить и нас, но его пассажиры бурно запротестовали — они были чистенькие и аккуратные, а мы уже неделю бродили по дорогам

и ночевали в палатке. Такое поведение грубо противоречило нашей бродяжьей этике.

Машина ушла, мы двинулись следом и через некоторое время вошли в село, в которое ехали и медалисты. Они еще толпились около машины, когда мы, усевшись на пригорок недалеко от них, начали скандировать: «Все университетские — сволочи!» (Так мы мстили им по-походному, и, к нашему удивлению, нас опять не побили.) Между тем наша разведка вернулась и сообщила, что, когда студенты устроятся, будут продавать хлеб и что часть из них стоит уже около магазинчика. Лиля отправилась в очередь, а Герцог за водой. Когда пришла продавщица, я и еще кто-то протиснулись в магазин, чтобы помочь нести хлеб. В это время появился наш Герцог и, протягивая Лиле котелок, почтительно произнес: «Графиня, пейте лимонад». Продавщица, выкладывавшая перед нею буханки хлеба, остановилась: «Графиня? А хлеб положен только студентам». Она вовсе не шутила. Лилькин вид настолько отличал ее от остальных, что, не вдумываясь в смысл сказанного, а только в связи с ним обратив внимание на «графиню», продавщица поняла, что перед ней кто-то иной, чем те, которым положено продавать хлеб. Но хлеб мы все-таки получили.

Через пару дней мы купались. Я уже оделся, когда мне предложили забраться на камень, торчавший из воды недалеко от берега. «Не хочу мочиться», — заявил я. «А хочу учиться», — продолжил кто-то. Этот лозунг мы тоже скандировали.

На следующий день, проходя через очередную деревню, Герцог увидел красивую девушку, сидевшую у открытого окна. Он перемахнул через палисадник, стал перед окном на одно колено и, взмахнув шляпой с вороньим пером, произнес: «Графиня Люксембургская! В Эльзасском герцогстве восстание! Спешите за милицией!» — потом вскочил и, перепрыгнув палисадник, присоединился к нашей группе. Девушка, ахнув, захлопнула окно, а потом снова открыла и, высунувшись, еще долго смотрела нам вслед. Мы же с песней шли дальше.

В следующем селе мы увидели газетный стенд и подошли к нему.

Сразу же бросилось в глаза сообщение из Будапешта — студенческие беспорядки, клуб Петефи. (Через некоторое время был снят сталинист Ракоши, а на его место назначен ранее репрессированный Имре Надь.)

Клоунада кончилась. Мы обсуждали прочитанное. По нашей логике, если «революция — это хорошо», а Сталин и его ставлен-

ники — это термидор, т.е. контрреволюция, то все репрессированные в сталинский период — революционеры. Имре Надь — один из них, и пришел он к власти в результате народного движения. Кажется, начинается!

Поход кончился, я съездил в Мурманск, в августе поехал на стройку, где дискуссии продолжались. Впрочем, о Венгрии было мало что слышно.

* * *

Строили мы опять в Нарве. Как-то я зашел там в книжный магазин. Продащица беседовала с посетительницей по-эстонски и не обращала на меня никакого внимания. Я попытался ей напомнить о себе. Тщетно. Наконец я не выдержал: «Девушка, как вам не стыдно! Я же гость, а не оккупант». После этой реплики она моментально подошла ко мне, и я пересмотрел все заинтересовавшие меня книги. Когда я появился в следующий раз, продащица, прервав разговор со своим земляком, сразу же подошла ко мне.

В сентябре вернулся в институт уже третьекурсником.

Рейдовики и другие компании на третьем курсе

Осенний поход: «Почему они могут ударить первыми, а мы нет?» — Стихи о Ленине. — Как мы следили за КГБ. — Институтская компания. Гриша Айзенберг как эпический герой. Мое прозвище. Другие герои и героини

В этом году на целину студентов отправляли впервые. Отправляли совершенно добровольно, некоторым желающим приходилось доказывать в комитете комсомола, что они этого достойны и не подведут институт. Ехали на три месяца: июль, август, сентябрь (сентябрь младшие курсы уже проводили «на картошке», причем совсем не добровольно). Я с большим сожалением от поездки на целину отказался, надо было побывать в Мурманске.

В сентябре мы отправились в однодневный турпоход. Шли пятером: Лёня Ковтуненко, Лиля, я и еще две девочки. Некоторое время мы шли по Выборгскому шоссе, затем остановились и стали обсуждать вопрос о ночевке. К нам подошли три парня, попросили закурить, перекинулись парой слов. Потом один из них потянулся к Лиле, стоявший рядом Лёнька оттолкнул его.

У парня в руках оказалась финка. Я тоже вытащил из кармана нож. Так вот и стояли, вдруг Лиля захотела... конфет! Она сначала попросила Лёню достать их из рюкзака, а когда он не совсем вежливо отказался «заниматься блажью», стала доставать сама. Расшнуровала рюкзак, порылась в нем и вдруг рывком вытащила топор: «Лёнька, держи». Ситуация изменилась, и парни затопали прочь по шоссе. А мы обсуждали не решенный мною и до сих пор вопрос: «Почему «они» могут ударить первыми, а мы нет?» Я и сейчас не могу на него ответить. По всей логике, вроде и не надо ждать удара ножом в такой ситуации, а нужно бить первым, да вот как-то все не получается.

* * *

После каникул мы, рейдовики, опять собрались вместе. Через некоторое время наши ряды пополнились: из мурманской первой школы в Техноложку поступили Толя Янковский, Витя Люшин, Юра Бирюков. Толя запомнил меня еще в школе, он случайно оказался свидетелем моей перебранки с нашим химиком. Мы обрадовались землякам, и Толя с друзьями вскоре стали членами патруля. Тогда же к нам пришли Личка Федотова (будущая Лида Иофе), Алла Соколова, Алла Бездольная.

Рейды продолжались, обсуждение политических новостей — тоже.

Приблизительно тогда я написал стихи о Ленине:

Ночь засыпает, звездами алая,
Кремль над водой Москвы-реки заснул.
У каменной твердыни мавзолея
Не дремлет лишь почетный караул.
У входа молча часовые стали,
Чуть приглушив биение сердец.
Спит Ленин, рядом примостился Сталин,
Как временно прописанный жилец.
А что б случилось, если б в тишине
Из мавзолея ночью вышел Ленин,
Прошелся бы неслышно по стране,
По фабрикам, заводам и селеньям?
Узнал бы он тогда мечты людские,
Услышал бы молвы народной гул,
Увидел бы... Но ночью часовые
Несут у мавзолея караул.

Я не заблуждаюсь насчет поэтического совершенства сих виршей, но мне трудно вспомнить, что и как говорилось в ту пору на политические темы. Стихи же запомнил. Я читал их своим друзьям, которые, игнорируя их поэтические недостатки, соглашались с сутью. За такие стихи тогда могли и посадить, а из института выгнать так уж точно. Не посадили и не выгнали — никто не донес.

А вербовать кое-кого пытались. Был среди нас некий Коля В. На втором курсе на Новый, 1957 год он поехал в родную деревню, изрядно выпил (рейдовик!!!) и, придя в школу, обматерил учителей. Те написали письмо в институт, и встал вопрос о его исключении. Обсудив ситуацию, мы решили за него ходатайствовать. Обращаться в дирекцию и партком смысла не имело — не те отношения у нас были с начальством. Но в комитет комсомола мы обратились. Комитет обновился и интерес к рейдбригаде утратил, нас там воспринимали как несколько чокнутых. Но мы работали вместе на стройках, ходили в походы, и с ребятами из комитета у нас были неплохие отношения. Увы, нам ответили, что начальство уперлось и они нам ничем помочь не могут.

Однако через какое-то время положение изменилось, и Коля остался в институте, но в рейды ходить перестал. Потом он мне покаялся. С ним встретился чин из КГБ и предложил сотрудничать, «тогда поможем остаться в институте». На нас Коля не стучал, на других, кажется, стучал. Один знакомый парень рассказал мне, что он в компании что-то брякнул про Венгрию, среди присутствующих был тогда и Коля. Через некоторое время «говоруна» вызвали в КГБ и предложили держать язык за зубами (это называлось профилактикой). Я парня предупредил, высказав как бы свои соображения — насчет источника информации.

Второй случай был «романтичнее». Одному из наших близких друзей КГБ предложил сотрудничество. Сколько мы ни убеждали отказаться, друг наш не соглашался: «Я их переиграю!» Конечно, ничего интересного ни та, ни другая сторона друг от друга не узнала. Впрочем, кое-какую информацию мы все-таки выудили: выследили кабинет в институте, где гэбист принимал вербуемых. Он являлся всегда в один и тот же день и час. Затем уже завербованных приглашали на конспиративную квартиру. Мы установили слежку за кабинетом и кое-кого подкараулили. Но потом нам это надоело.

В учебной группе у меня были хорошие отношения, и я немало денег собирал там для наших подопечных — парней-бродяжек, о которых речь пойдет ниже. Компания в нашей группе была хорошая, в основном приезжие: Саша Карпов, Гриша Айзенберг, Лёня Ковтуненко (Граф), Лиля Порешина (Графиня), Давид Каждан (Дод), Алла Назарова, Таня Зальцман, Алла Поташник. Я «примыкал» к этой братии, хотя основное время проводил среди рейдовиков. Учились все неплохо, на стройки ездили с удовольствием. Лёня и Лиля часто ходили в турпоходы, мужская часть иногда приходила в рейды.

С Гришкой Айзенбергом вечно что-нибудь происходило. Когда он, чуть ли не с Сахалина, где жили его родители, ехал поступать в институт, мама зашила ему в трусы аккредитив. Где-то по пути дорогу размыло, и поезд стоял часа два. Рядом оказалось озеро, в котором Гришка несколько раз успел искупаться. Купался он в трусах, а потом, укрывшись за кусты, отжимал их. Вспомнил про аккредитив, только когда надо было получать деньги.

В Ленинграде Гриша временно устроился у какой-то старушки. Та ушла в магазин, по рассеянности заперев Гришу, и он, чтобы не опоздать на приемный экзамен, вылез через окно, спустился со второго этажа по водосточной трубе и... оказался в руках проходившего милиционера. Никто из соседей его не знал, в паспорте стояла сахалинская прописка. Бедолага был доставлен в отделение милиции, где ему, демонстрируя матрикул, удалось уговорить дежурного позвонить в институт, после чего его отпустили. Это был единственный человек, у которого калоша попала в гребенку эскалатора метро.

Однажды на стройке мы отправились купаться. От трусов у Гриши сохранились только швы, и, пользуясь отсутствием девочек, он полез в воду нагишом. Но тут неожиданно появились девчата, которые тоже начали купаться. У одной из них вдруг свело ногу, и она, испугавшись, закричала. Ближайшим оказался Гриша. Он подплыл к тонущей и начал буксировать ее к берегу, одновременно поднимая ей голову, дабы она не узрела бы сквозь воду его наготы. Недалеко от берега он отпустил ее, сказав: «Теперь пльви сама». Там, где рослый Гришка мог стоять на дне, маленькой спасаемой было «с головкой». Она судорожно вцепилась в спасителя и истерически кричала. Остальные девчонки стали Гришку ругать. А он на все вопросы отвечал, что не хочет

приближаться к берегу «из воспитательных целей». Наконец кто-то из ребят подплыл к нему и доставил перепуганную девушку на берег.

Гришке я обязан своим институтским прозвищем Бен. Дело в том, что он ко всем обращался «сын мой», а меня почему-то перевел на иврит (слово это он мог узнать из газет — тогда мелькали арабские и еврейские имена: Бен Бела, Бен Гурион).

Славился Гришка также вопросами, которые он задавал преподавателям. Например, услышав, что такое-то вещество растворяют в спирте, он спросил: «А почему не в воде?» — «Но ведь вода не растворяет дивинила». — «Я это знаю, но ведь вода гораздо дешевле». Вопросы он задавал с серьезным простодушным выражением лица. Сначала преподаватели терялись, потом веселились вместе с нами. Однажды 31 декабря мы всей группой удрали с занятий по военному делу — с последних двух часов (с 20 до 22). Прошло месяца полтора, и после экзаменов и каникул к нам на военные занятия вдруг явился заведующий кафедрой генерал-майор М. Свое выступление он кончил так: «Не хотите быть офицерами, отправим в армию рядовыми. Вопросы есть?» К нашему ужасу, Гришка поднял руку (мы понимали, что всех двадцать пять человек, всю «военную» учебную группу, с третьего курса не отчислят, но козла отпущения найти могут и Гришка сам напрашивается на эту роль). «Спрашивайте». — «Из нас готовят офицеров-артиллеристов, а если солдатами, то в какой род войск нас пошлют?» Мы замерли, боясь расхохотаться. За генеральской спиной преподаватель, подполковник, зажав рот одной рукой, другой показывал Гришке кулак. Генерал повернулся и вышел.

С этим генералом несколько раньше беседа была и у меня. Часть занятий мы проводили в сарае, где стояла 76-миллиметровая пушка. В сарае не было центрального отопления, топили печь, поэтому там стояла большая деревянная плаха, а рядом с ней лежал топор. Кто-то из студентов положил на эту плаху голову, а я стал рядом, подняв топор. Тут вошел преподаватель, выгнал меня с занятия и отправил к генералу. Я явился и доложил, что удален с занятий (преподаватель уже успел позвонить). Генерал начал мне читать нотацию: «Вам Родина доверила такое грозное оружие, а вы...» «В руках советского воина и топор — грозное оружие!» — выпучив глаза, отрапортовал я. Генерал растерялся. «Идите на занятия!»

Таня Зальцман была дочерью главного конструктора Кировского (в войну — Челябинского танкового) завода. Во время дела

врачей отца ее сняли с работы и отправили в Курск сменным мастером, поэтому Таня жила у бабушки, в маленькой квартирке. Потом ее отец вернулся в Ленинград, на какую-то большую должность в совнархозе.

Алла Поташник тоже приехала в Питер из Курска. Первые годы они с Таней вместе ездили домой на каникулы. Была она девочка робкая и безответная. Как-то в Москве на вокзале Таня оставила Аллу с вещами, а сама пошла компостировать билеты. Вернувшись, она увидела подругу в слезах. Вокруг нее (по кругу) ходили какие-то парни, наслаждаясь ее страхом, а она, всхлипывая, поворачивалась, сидя на чемодане, так, чтобы всегда быть «лицом к опасности». Мы над Аллой подшучивали, каюсь, не всегда безобидно. Однажды на консультации я держал в руках учебник, предназначенный для механиков (нам, технологам, из него знать нужно было только отдельные главы). Учебник случайно раскрылся на главе, набранной мелким шрифтом, необязательной даже для механиков. Консультация уже кончилась, когда Алле показалось, что я читаю именно эту главу. «А разве и это нужно?» Я не успел ответить, как вмешался Сашка: «Ну даешь! Он тут полчаса распинался насчет этой главы, а ты спрашиваешь!» Алла побежала в библиотеку, но перед сессией все книги были на руках, читальный же зал закрывался через десять минут, а экзамен завтра. Она стала умолять меня дать ей книгу на ночь. Я не собирался ночью заниматься и сказал: «Я бы дал тебе, но я уже обещал Алле Назаровой... Если ты занесешь ей к полшестого утра (метро — с шести), то я могу, пожалуй, отдать ее тебе». Назарова только что ушла с консультации, а оставшиеся меня поддержали: «Только не обмани, а то мы тебе никогда больше не поверим!» Вся коммуналка, в которой Назарова снимала угол, была разбужена звонком около пяти утра.

Вот эту-то Аллу Поташник, тихую и исполнительную, мы и выбрали профоргом.

Однажды на групповом комсомольском собрании неожиданно для всех выступила Нина М-ва. Нина перед Технологкой кончила с отличием какой-то провинциальный техникум. Была она очень усидчивая и с некоторыми странностями. На первом семестре более месяца подряд она вставала на занятиях по немецкому языку и возмущенно говорила преподавателю: «Ни одного слова из заданного вами текста в словаре нет». Мы удивлялись. Наконец соседка по общежитию зашла к ней посмотреть ее словарь. Словарь был с оторванной обложкой и... англо-русский.

В группе Нина держалась отчужденно, ни с кем не дружила, даже в кино не ходила вместе со всеми. Ее желание взять слово на собрании всех удивило, а выступление вызвало бурный восторг. «Почему, — спросила Нина, — всю власть в группе захватили евреи?» Поначалу мы были ошарашены, никому и в голову не приходило обращать в таких случаях внимание на национальность.

Старосты групп вообще назначались деканатом. Дод Каждан, который был нашим старостой, ухитрялся покрывать все наши прогулы и числиться лучшим старостой на факультете. Парень он был компанейский, и группа им очень дорожила.

Гришку Айзенберга избрали комсоргом в его отсутствие — все остальные отказались.

Функции группового комсорга, как и профорга, сводились к необходимости в момент выдачи стипендии стоять с протянутой рукой, собирая взносы, или бежать за билетами, если группа собиралась сходить в кино. Поэтому Гришка сразу взял слово и горячо поддержал «предыдущего оратора», остальные же веселились вволю. Собрание постановило — ввиду сложности вопроса Нине следует обратиться к преподавателю марксизма Гальперину за разъяснениями. Нина так и сделала, а мы с удовольствием наблюдали замешательство преподавателя, «научно» разъяснявшего Нине суть вопроса под бодрое ржанье всех окружающих. В следующий раз Гришка отказался баллотироваться наотрез, и жребий пал на Сашу Карпова. Ярославец Карпов по внешности был почти монголом, что он и попытался использовать как аргумент для самоотвода («не меняйте еврея на монгола!»), но его все-таки избрали.

* * *

Одно из моих выступлений на курсовом комсомольском собрании чуть не кончилось для меня печально. Я призывал всех ездить на стройки и ходить в рейды. После моей речи встала одна девочка и спросила: «Если с рейдовиков следует брать пример, то почему же сам Ронкин играет на лекциях по математике в карты?» Мне очень захотелось в ответ публично потрепаться, однако ведущий, секретарь курсового бюро Феликс Крючков, слова мне не дал. Крючков был круглым отличником и при этом чудесным парнем и моим хорошим приятелем. Я встал с места, подошел к председательскому столу и начал треп без разрешения. «Во-первых, — сказал я, — играл в карты я не на математике, а на марксизме, во-вторых, карты развивают вероятностное мышление,

в-третьих, в карты играл сам Маркс (ссылка на «Баню» Маяковского), в-четвертых, определение того, кто «дурак», с помощью карт...» Тут я понял, почему Фелка не давал мне слова — в первом ряду среди студенческой братии сидел замдекана Кокурин, личность для нас, студентов, крайне неприятная.

Однако слово не воробей. На следующий день я был вызван в деканат. Мне было предложено либо назвать партнера по картам, либо попроситься с институтом. Три дня на размышление. Дод Каждан собрал группу, чтобы обсудить ситуацию. С нами учился Вова Гарманов, сын директора Всесоюзного НИИ синтетического каучука, почти министра. И его сыну было предложено идти в деканат и признаваться в том, что именно он со мной и играл. Вовка не в первый раз брал на себя ответственность за проделки группы (например, за коллективный побег в кино). Поворчав, что отец ему и так «всю плешь переел», Гарманов-младший отправился в деканат. Меня больше не вызывали. Несмотря на такое покровительство, Володя после окончания института распределился в Воронеж, где, кажется, живет и по сие время.

Много лет спустя я узнал, что после нашего ареста (а во ВНИИСКе работали трое из девяти арестованных и многие еще проходили по делу) Гарманов-старший вел себя очень порядочно: когда ГБ рекомендовала уволить того или иного «свидетеля», он переводил его в другую лабораторию и рапортовал, что указанные выполнены.

Третий курс

Рейдовики и снобы. — Венгерские события. — Снова Лернер. — Детектив в библиотеке. — Вокзальная история. — Комсомольская конференция. — Мой первый заказ. — Случай в поезде

Осенью 56-го года в институте вышла новая стенгазета — «Культура». У нас была компания студентов-интеллектуалов: Бобышев, Найман, Рейн и еще кто-то, кого я сейчас не помню. Учились они на старших курсах, водили дружбу с Бродским, навещали Ахматову. Ко всякой общественной работе они относились свысока, во всех остальных видели серую массу, а нас, рейдовиков, наверное, вообще почитали партийными держимордами. Я же снобов не переваривал (да и теперь терплю с трудом), поэтому тогда ни с кем из них не был знаком.



Ефим Лазаревич и Зинаида
Анатольевна Ронкины.
Ленинград, 1932 год

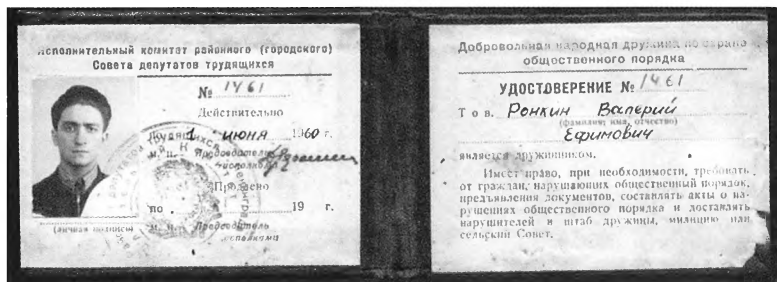


Валерий с бабушкой Идой Берковной.
Североморск, 1952 год



Друзья по институтской группе (слева направо): Давид Каждан, Гриша Айзенберг, Лена и Лиля Ковтуненко, Валерий Ронкин, Саша Карпов. Ленинград, 1956 год

Удостоверение дружинника





Члены комсомольского патруля («рейдбригады») Технологического института около здания института: Вадим Гаенко, Лида Федотова (Иофе), Валерий Ронкин. Фото из книги «Комсомолия Технологического»

Ирина и Валерий Ронкины.
Ленинград, 1963 год





Сергей Хахаев, Владимир Сиротинин,
Валерий Ронкин, 1958 год

Вадим Гаенко, 1958 год



Нина Гаенко, 1960 год





Валерия Чикатуева, 1968 год

Валерий Смолкин, 1968 год



Людмила Климанова, 1963 год





Вениамин Иофе и Сергей Мошков, 1969 год

Галина Андреева (Бузанова), 1964 год

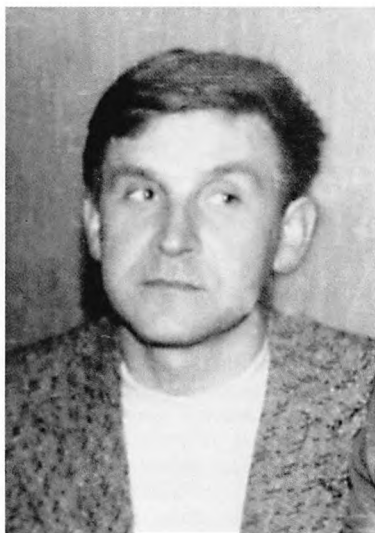


Лидия Иофе, 1964 год





Владимир Шнитке, 1970 год



Юрий Беляев, 1975 год

Леонид Столпнер, 1960-е годы



Глеб Gladkovskiy, 1972 год



КОЛОКОЛ

ОРГАН СОЮЗА КОММУНАРОВ

№ 23 а п р е л ь 1965

О ПРОЛЕТАРСКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЕ

15мая 1871г. восставшими рабочими Парижа была свергнута Вандомская колонна-памятник наполеоновских побед, свергнутая как символ завоевательной политики, являвшейся в глазах коммунаров не славою Франции, а её позором.

В 1955г. в Москве на площади Парижской Коммуны был заложен памятник Суворову, полководцу, проводившему завоевательную политику России, неправому и ограниченному служаке самодержавия, с одинаковой готовностью дававшего восставшим русским крестьян и борцов за независимость Польши, содафону, которого Герцен заклеймил как кровавого палача Бартазы.

Этот, на первый взгляд мелкий штрих, очень характерен и, также как открытие мемориального музея генерала Ермолова в столице покоренной им Чечено-Ингушетии /г. Грозном/, свидетельствует о том, какое стоящая у власти партийно-государственная бюрократия понимает пролетарский интернационализм. Не случайно даже в день 15мая советская бюрократия не столько говорит об общепролетарской борьбе, сколько занимается самоосквещением. Партийные боссы выдают демонстрантам отгадки не портреты Бебеля и Либкнехта, Белояниса и или Тельмана. На площадях и улицах городов реет многочисленное полотно с лицами очередных "отцовотроств" и их ближайших приспешников. Эти факты лишний раз говорят о том, что за годы советской власти интернационализм из знамени революции превратился просто в демагогический прием, и месту и не к месту используемый советской бюрократией. Прежде всего это вызвано тем, что у нас народу вообще позволено проявлять лишь те чувства и в той форме, которая устраивает правящую бюрократию, поэтому все т.н. митинги протеста и солидарности устраиваются лишь по прямому приказу сверху.

Тем же советским гражданам, которые захотели бы проявить свои интернациональные чувства "в чистом порядке" на какой-либо ступени бюрократической лестницы дают понять, что советское пре-

Борис Зеликсон, избранный нами секретарем комитета комсомола, был знаком буквально со всеми. Он привлек интеллектуалов к просветительству этой серой массы. Так появилась «Культура». Поскольку газета обновлялась не целиком, а постатейно, мне трудно припомнить все, что было опубликовано в первый раз. Газету предворяла передовица. В ней говорилось о лакировке и схематизме искусства сталинского периода, из-за чего у многих сложилось отрицательное отношение к советской литературе вообще. Эта точка зрения опровергалась, приводились имена писателей, режиссеров, которые, несмотря на тяжелые условия, создавали серьезные произведения.

Были еще статьи о кинофильме «Чайки умирают в гавани», только что прошедшем на советских экранах, об искусстве плаката и художнике Мооре, о Поле Сезанне; помню статью «Хороший Уфлянд» (Уфлянд учился в университете, на него были там какие-то гонения, что и отмечала статья «Культуры»).

Надо сказать, что обойтись совсем без цензуры Зеликсон не мог. Партком выделил для этой цели комиссию из пяти человек, но, поскольку это был партком института, интеллигентная комиссия прочла и одобрила все представленное редакцией. Одобрил нашу «Культуру» и секретарь райкома комсомола Краюхин, аспирант, кажется, Военмеха, человек, стремившийся к научной, а не чиновничьей карьере.

Все это происходило за несколько дней до возобновления событий в Венгрии (23 октября), принявших столь серьезный оборот: массовые митинги, демонстрации со студенчеством во главе, выступление Надя... Кое-кто из венгерских студентов срочно вернулся на родину. Ходили разговоры, что двое из них погибли. Один — на стороне повстанцев, другой — защищая райком. Я не знал ни того, ни другого. Имре Надь — революционер, но ведь хортисты тоже выступают против СССР. Ситуация оказалась небинарной: слева — хорошие, справа — плохие. Но вмешательство советских войск было явно грязным делом. Вот мои стихи той поры:

Гремели залпы, зарево пожаров
Багрово освещало небосвод.
И чудилось, что над планетой старой
Встает иной, невиданный восход.
Но день настал, и не сбылись надежды:
Вновь грохот залпов и пожаров гарь.

И свой закон в Познани, в Будапеште
Штыками утверждает Русь, как встарь.

Не успела «Культура» провисеть и недели, как в «Технологе» (от 26 октября) появилась статья Я.Лернера «По поводу газеты “Культура”». В ней говорилось о том, что авторы занимаются «смакованием ошибок, имевших место в связи с разоблаченным ЦК КПСС культом личности, таковы статья о М.Кольцове, фельетон о литературе (имелась в виду передовица). В газете имеется попытка навязать свое мнение по ряду вопросов, связанных с зарубежным кино, живописью, музыкой». Кончалась статья так: «Ослабление советской идеологии означает укрепление идеологии буржуазной».

Статья Лернера появилась вовсе не случайно. Через три недели в «Технологе» вышла новая статья на ту же тему, на этот раз редакционная. В ней, кроме перечисления всех грехов членов редакции (у того-то низкая успеваемость, такой-то потерял комсомольский билет), говорилось и о Зеликсоне, который «договорился до того, что имеет свое особое мнение» (речь шла о статьях «Культуры»).

В дело включился обком партии, а после опубликования в декабре «Комсомольской правдой» статьи «Что отстаивают товарищи из Технологического института» о Техноложке заговорило Би-Би-Си, на институт обратил внимание лично Суслов.

«Культура» была прикрыта, ее редакция отделалась легким испугом, Зеликсону было предложено покаяться (от чего он уклонялся, придумывая уважительные причины, чтобы увильнуть от очередного собрания), а комитету комсомола — переизбрать секретаря. Положение осложнялось тем, что никто из членов комитета секретарем быть не соглашался. Наконец где-то в январе Зеликсону удалось уговорить Тамару Волкову сменить его на этом посту (ему грозили исключением за полгода до получения диплома). Но из комитета его так и не вывели. На комсомольской конференции о Зеликсоне снова вспомнили. Но это было уже весной.

* * *

После зимних каникул рейдбригада провела детективную операцию в стенах родного института. В нашей библиотеке в день выдачи стипендии начали пропадать деньги. Библиотека помещалась в вытянутой комнате, перегородженной барьерчиком,

за которым шли полки. Здесь выдавали книги на дом, через абонемент можно было пройти в читальный зал. Чтобы книги оттуда не таскали домой, в проходной комнате был установлен стеллаж, на котором проходящие в «читалку» должны были оставлять свои сумочки и чемоданчики. Вот из этих-то сумочек и стали исчезать деньги. Пострадавшими оказывались девочки — парни держали стипендию в карманах. Библиотекарша претензий не принимала: «Пока я ишу книгу, мне из-за полок стеллажа не видно, а тут толпы ходят». Тем не менее мы заподозрили именно ее. Был разработан и осуществлен хитрый и эффектный план ее разоблачения. Напротив стеллажа для сумочек стоял пустой старинный книжный шкаф с частично застекленными дверцами. Отправив библиотекаршу за книгой, мы сложили на дно шкафа книжные полки, а в шкаф посадили, кажется, Толика Янковского. Присев, он был почти не виден через стекло. Снаружи, на входах в абонемент, установили посты, не пропускавшие туда никого: желавшим пройти сообщалось, что проводится операция по поимке вора, и те соглашались подождать несколько минут. В абонемент вошла наша девочка с сумочкой, в которой лежала только что полученная стипендия, оставила ее на стеллаже и прошла в читальный зал (номера купюр при свидетелях были заранее переписаны). Через некоторое время мы с двух сторон вошли в абонемент, девочка взяла свою сумочку и не обнаружила там стипендии. Библиотекарша повторила свое: «Я была за стеллажами». Тогда мы объяснили ей, что в абонемент никто не мог войти, так как наши посты никого не пропускали, скопившаяся публика подтвердила это в качестве свидетелей. Потом из шкафа торжественно был извлечен еще один свидетель, а библиотекарше был предъявлен список номеров пропавших банкнот. Она расплакалась. Мы ей предложили на выбор — либо мы вызываем милицию проводить обыск, либо она отдает нам хотя бы эти деньги и в тот же день увольняется. Она выбрала второе, и кражи в библиотеке прекратились.

Это был еще сравнительно корректный вариант «охоты на живца». Однако мне вспоминаются и другие варианты: например, как мы, по собственной инициативе, «работали по карманникам» в трамваях. Запускали в трамвай нашу девчонку со «случайно» открывшейся сумочкой, в которой были видны деньги, а сами следили, не сунет ли кто руку в сумочку. Надо сказать, что следователь милиции, которому мы похвастались своей блестящей идеей, нас осудил: «Это же провокация. Открытой сумкой вы сами тол-

каете человека на преступление, которого в ином случае он, возможно, и не совершил бы».

* * *

Наша патрульная деятельность проходила не только в клубах и на институтских вечерах. Время от времени мы патрулировали улицы, вокзалы. На Московском вокзале нам поручали проверку «отстойников». «Отстойники» — это места, где стояли пассажирские вагоны, временно выведенные из эксплуатации.

В таких вагонах жили бичи, которых мы и должны были «контролировать». Проверяя вагоны в «отстойниках», мы препровождали в милицию их обитателей, подозрительных с нашей точки зрения. Тех же, чьи байки нам казались достоверными, а причины, заставившие их жить в «отстойнике», — уважительными, оставляли «до следующего раза», остальных просто прогоняли.

В одном из таких рейдов мы обнаружили в вагоне троих ребят чуть старше шестнадцати лет. Когда они рассказали нам свои истории, мы поняли, что должны помочь. А истории были такие: Ваня, старший из них, самый рослый и крепкий, был отправлен колхозом на лесоповал. Там у него украли спецодежду — полушубок и валенки, на парня наложили начет, намного превышавший его зарплату. И Ваня сбежал, паспорта у него не было (то ли потому, что он остался в конторе леспромхоза, куда Ваня был командирован, то ли потому, что, как и большинство колхозников той поры, он вообще его не имел). Второй из них, кажется, Борис, сирота, окончил ремесленное училище по специальности «токарь», получил распределение на завод, где его назначили маляром. Маляром Боря быть не хотел, с завода ушел и, чтобы быстрее попасть в армию (из общежития ему предложили убраться), переделал в паспорте год рождения, переделал так неумело, что в отделах кадров с ним вообще не хотели разговаривать. Выглядел он совсем мальчишкой. Третий, не помню, как его звали, осетин, за убийство отсидел в колонии, там ему и выдали паспорт. На родину схать не хотел, опасаясь кровников, а в России его на работу никто не брал.

Ребята добывали себе на жизнь мелкими кражами, хватали «на рывок» шапку или сумочку, иногда грабили одиноких прохожих. Летом был у ребят еще один промысел. Напротив вокзала была довольно грязная пивная, где собирались гомосексуалисты. Щупленький Борис заходил в пивную, кто-нибудь из посетителей подходил к нему, кормил, а затем, ясно для чего, они отправ-

лялись на Волково кладбище. Борины друзья осторожно следовали сзади. На кладбище они подходили к «клиенту» и предлагали ему отдать бумажник, часы. «Не хочешь? Пойдем в милицию». Гомосексуализм считался уголовным преступлением, и ограбленный предпочитал не поднимать шума.

Мы пришли с ребятами в отделение милиции и начали упрашивать начальство разрешить им переночевать пару ночей, «пока мы их устроим». Офицер отвечал нам, что он не имеет права превращать отделение милиции в ночлежку, что это «пока» займет «не пару дней», но мы все-таки уговорили его. Ребятам же мы насобирали из карманов сколько-то денег, настрого запретили воровство и уговорились встретиться на другой день около нашего института. Устройство затянулось более чем на месяц. Где мы только не были! В управлении милиции нам объяснили, что выдать новые паспорта людям без жилья и работы они не могут, как не могут помочь нам устроить ребят на работу с такими документами, и вообще, если бы всех таких удавалось устроить, то и милицию можно было бы сократить — основная преступность от таких неустроенных, «вы троих разглядели, а таких уйма, но ведь бюрократа ничем не проймешь». Мы собирали деньги среди своих знакомых, отдавали ребятам, вечером шли в очередное отделение милиции и снова устраивали их на ночлег. А днем отправлялись по инстанциям. Однажды мы с Юрой Егоровым прорвались к зампредседателя Ленгорисполкома. Секретарша пошла ему докладывать, а мы вышли в коридор.

В кабинет нас не пригласили, вальжный чин вышел к нам сам. Мы начали рассказывать, и, когда дошли до судьбы Бориса, чин нас прервал: «Почему это не захотел работать маляром? У нас всякая работа почетна!» Юра не выдержал: «Вот ты бы и пошел маляром работать, если всякая работа почетна!» Мы повернулись и пошли, а чин кричал нам вслед, что мы и сами такая же шпана, как и наши подопечные. Подопечные эти настолько стали нам доверять, что рассказали о пахане, взрослом мужике, который руководил на Московском вокзале беспризорщиной. У нас возникла фантастическая идея — пошиваться на вокзале некоторое время, через подопечных познакомиться с паханом, войти в его окружение и, разумеется, разоблачить всю шайку.

Когда мы в очередной раз пришли в областное управление милиции, нас принял Феликс Приставакин, наш бывший однокашник (в 56-м году его хотели спустить нам на должность институтского секретаря комитета комсомола, но, зная его как

партийного карьериста, мы его забаллотировали, тогда и выбрали Борю Зеликсона). Теперь Приставакин работал в милиции — числился там ответственным по работе с молодежью. Помогать нам в трудоустройстве ребят он категорически отказался («Это ведь так всякий может ленинградскую прописку получить»), на наши же объяснения, что ребят надо послать на стройку, в ответ прозвучало: «Здесь вы за них отвечаете. А там кто будет? Тот, кто бумагу напишет?» А когда мы поделились с ним нашей «детективной» фантазией, наш бывший однокашник ответил: «Вас там зарежут, а отвечать буду я».

В райкоме комсомола нас приняла секретарь Марина Журавлева, она заняла этот пост после Краюхина и активно боролась с нашей «Культурой». Она попыталась включить наших протезе в состав ленинградцев, отправлявшихся на целину, но этого ей сделать не разрешили. Потом мы были в обкоме комсомола. Тут нам дали пообедать в смольнинской столовой: инструктор провел нас до дверей, шепнул швейцару, и нас пропустили; обед там стоил трешку, как самый дешевый комплексный обед в студенческой столовой, но ромштекса такой величины я не видел ни раньше, ни потом. В туалете около раковины для мытья рук лежала стопка выглаженных полотенец, использованные «аборигены» опускали в урну, совсем такую же, как на избирательных участках. Были и в обкоме партии. И везде нам повторяли приставакинские доводы. Наконец кто-то из студентов поговорил со своей мамой, работником ПТУ, и ребят туда приняли.

На прощанье они преподнесли нам часы: «Мы больше не воровали, мы их давно отобрали». Мы, естественно, отказались. С Ваней мы встречались, а потом и переписывались. Он ушел в армию и писал нам оттуда, что вступил в комсомол, что у Бори все тоже в порядке, а вот третий снова сел и опять за поножовщину.

Все это послужило для нас грустным уроком — доброе дело оказалось возможным сделать только по благу. Никто из ориентированных на партийную карьеру никогда ничего не делал, если это не было нужным для этой карьеры, и готов был на что угодно, если это карьере благоприятствовало. Журавлева стала членом ЦК ВЛКСМ, а Приставакин попал аж в КГБ.

* * *

В марте проходила ежегодная комсомольская конференция. События, связанные с «Культурой», были еще свежи в памяти.

Глеб Гладковский в самый разгар травли подошел к Зеликсону: «Хочешь, мы устроим бунт?!», но Боря благоразумно отказался. На такие конференции обычно приходили самые послушные. (Кому охота было тратить весеннее воскресенье на пустую болтовню?) На этот раз пришли самые активные. Ведь достаточно было сказать: «Я, ребята, готов пойти», как остальные немедленно согласались.

С отчетным докладом выступала Тамара Волкова. Она заявила, что только недавно приняла дела, а вся работа, по существу, проводилась комитетом под руководством Бориса Зеликсона (бурные аплодисменты). Аплодисменты и восторженный рев сопровождали весь ее доклад при каждом упоминании имени отстраненного секретаря комитета. Затем слово взял парторг Лепилин. Он начал с обличений (свист, топанье, возмущенные крики). Наконец более сообразительный представитель райкома партии, взяв за плечи Лепилина, оттолкнул его от микрофона. Сам он сказал несколько слов об ошибках и успехах и предложил перейти к текущим делам. Ну тогда речь пошла о привычных делах: предстоящей летом стройке и целине, о театральной студии и хоре, рейдах и прочих делах. Конференция закончилась мирно. На следующий день вышел очередной номер «Технолога» с отчетом, где говорилось о том, что «комсомольская конференция с глубоким вниманием выслушала выступление товарища Лепилина и осудила бывшего секретаря комитета Зеликсона», о стройке, походах, рейдах автор даже не удосужился упомянуть. Немедленно образовалась инициативная группа, написала опровержение по всем пунктам, начав с конкретных (стройка, рейды и т.п.), а кончив идеологией — конференция поддержала Зеликсона и осудила Лепилина. Собрав около ста подписей, мы отнесли наше опровержение в редакцию.

На следующий день меня вызвал Лепилин. «Почему среди подписавшихся столько рейдовиков? Вот мы примем решение распустить патруль!» Я ответил как всегда: «Новых не наберете, а мы будем работать с милицией». Потом меня вызвали в деканат. Присутствовали декан Демарчук и его заместитель Кокурин, который и вел допрос. Вопросы обычные: «Куда лезете?», «Зачем это вам надо?», «Почему ваша подпись первая?» Я как мог отвечал. Подпись моя стояла первой. Инициатор, эдакий интеллигент, Боб Рабинович, как оказалось, вообще не подписал письма. Получив мою подпись, он взял листок, собрал еще несколько подписей и вернул его мне. Листок был у меня: кого-то останав-

ливал я, кого-то для подписания подводили ко мне друзья. Я, естественно, этого не рассказал. И вдруг Кокурин меня спросил: «Почему среди подписавшихся столько евреев?»

Я ответил вопросом: «Вы член партии?» — «Да». — «Почему в партию принимают фашистов?» Кокурин ехидно улыбнулся: «Будете жаловаться?» — «Естественно». — «Небось в Би-Би-Си?» — «Зачем в Би-Би-Си? Буду жаловаться в ЦК КПСС, а сначала в партбюро». Кокурин, как и я, понимал, что дело для меня безусловно кончится плохо, но ведь и ему может попасть. Разговор перешел на успеваемость, у меня было несколько троек, которые я обещал исправить.

Опровержение, конечно, так никогда опубликовано и не было.

* * *

На Первомайские праздники я впервые в жизни сел на самолет, чтобы лететь в Мурманск. Перед этим отец написал мне, что на заводе, где он работал, потребовался дистиллятор, и предложил его рассчитать. Я рассчитал, сделал эскизы и все это отправил отцу. Он же оформил рацпредложение и, получив за него деньги, предложил на них слетать на праздники домой.

Этой же весной случилось забавное приключение. В воскресенье поздно вечером мы возвращались в электричке из однодневного похода. Недалеко от нас уселся какой-то пожилой мужчина, других пассажиров не было. Мы по обыкновению пели. Мужчина, послушав, обратился к нам: «Что вы поете всякую муру, спойте что-нибудь патриотическое». Ну мы и запели: «В танковой бригаде не приходится тужить», а в песне этой были такие строки:

Меня вызывают в особый отдел:

«Почему ты, сука, вместе с танком не сгорел?!»

«Ладно, — отвечаю, — ладно, — говорю, —

В следующей атаке обязательно сгорю».

Потом запели что-то другое. В вагон вошел военный патруль — молоденький лейтенант и двое солдатиков. Сосед наш подозвал их и приглушенным голосом сказал: «Задержите их, они антисоветские песни поют». Лейтенант пожал плечами, патруль прошел в следующий вагон. А мы вслух начали обсуждать — выкинем мы этого гада из вагона на этом перегоне или подождем

следующего. Даже кто-то вышел в тамбур и, вернувшись, громко сказал: «Дверь можно открыть!» «Гад» моментально слинял из вагона. Году уже в 89-м я прочел, что во время войны за эту песню давали десятку.

Времена изменились. Вадик Гаенко однажды побывал на лекции о бдительности, которую проводил какой-то гэбист. «Вот студенты поставили палатку, а на ней написали: «Моя нога — хочу и дрыгаю!» Нам, конечно, граждане сразу же сообщили. Мы приехали, арестовывать никого, конечно, не стали, но беседу провели».

В сессию я не оправдал своих обещаний. Без отрыва от комсомольской работы я влюбился в Регину. До сессии ли мне было? Я завалил два экзамена (один успел пересдать, а второй — нет) и остался без стипендии: с тройками в Техноложке стипендию тогда давали.

На Оредеже

Наши политико-экономические сомнения. — Наш быт. — Пари. — Костюмированный бал. — Шофер Лешка. — Витя Семенов. — Первый и последний контакт с высшим начальством на бытовом уровне. — Встреча с бывшим военнопленным. — «И примкнувший к ним». — Рейдовики как педагоги, просветители и осветители. — Неля К. и проблема коллективизма

Летом я решил в Мурманск не ехать — стыдно было просить денег на дорогу у родителей. Почему я не отправился на целину, где можно было подработать, — не помню, возможно, своевременно не подал заявку. Поэтому июль и август провел на стройке.

Строили мы межколхозную ГЭС на речке Оредеж. Стройка шла уже 6 лет. Строительство началось одновременно с Куйбышевской электростанцией, которая к этому времени уже дала первый ток. Плотина находилась в 12 км от станции Чолово, вела к ней грунтовка, непроезжая после любого дождя (через ручьи машины с грузом перетаскивал трактор). Когда-то дорогу хотели мостить, вдоль нее лежали кучи булыжника, но булыжник забрали на отмостку плотины.

Наш прораб объяснял, что нормальная дорога стоила бы 4,5 миллиона. Деньги пожалели и каждый год тратили по 600—700 тысяч на ремонт, хотя дорога была нужна не только ради строительства — несколько колхозов пользовались этой непроезжей

грунтовой. Вокруг стройки валялись остовы грузовиков, погибших в борьбе с дорогой.

До нас чернорабочими были эки, амнистия лишила строительство рабочих рук. Практику свою наш прораб проходил на Куйбышевской ГЭС, где в то время работали тоже эки. О том, как с ними обращались, он нам иногда рассказывал.

Мы разбирали бульжную отмостку на одной стороне плотины (противоположной водохранилищу) и переносили камень на носилках на другую сторону, которую и мостили. Дело в том, что первоначально планировалось замостить плотину с обеих сторон. Начали с той, которая была отсыпана раньше. Потом выяснилось, что средства перерасходованы, на обе стороны камня не хватает, а неукрепленный грунт водохранилище размочит моментально.

Под бульжником была щебенка, которую мы тоже перетаскивали на носилках. Собрать ее всю, перемешанную с песком плотины, было невозможно, а начальство торопило. Чтобы хоть как-то укрепить слой, на который сверху ложился камень, нас отправили на болото рвать мох, коим мы частично заменяли щебенку.

Под водохранилище на равнинной речке уходила огромная площадь. Все это настолько хорошо демонстрировало экономическую бессмысленность системы, что мы не раз спрашивали себя: не помогаем ли мы своим энтузиазмом держаться на своих местах бюрократам? Но вокруг в деревнях люди жили без электричества. И мы приходили к выводу — людям нужен свет, если мы не поможем, колхозники останутся впотьмах, а с чиновников все равно никто ничего не спросит.

* * *

Нас поселили в бывшем эковском бараке, разгороженном поперек надвое. С одной стороны — ребята, с другой — девочки. Кроме нашего было еще два барака. В одном жили строители несколько более квалифицированные, в другом была столовая и одновременно клуб.

Работали мы побригадно. Однажды из девичьей половины барака раздался визг: испугались ящерицы. Мы (ребята) выразили недоумение и даже презрение по поводу столь бурной реакции на безобидную тварь. «Может быть, вы и съесть ее можете?» — «Можем!» Поспорили на компот (хотя получить добавочную порцию компота не составляло особой трудности). Девочки из

соседней бригады занялись поисками ящерицы. Ящерицы они не нашли, а принесли нам пяток лягушек, мы согласились на замену. Окончательные условия были сформулированы так — мы запускаем лягушек в одну из тарелок с борщом и съедаем содержимое. Саша Карпов сунул лягушек в рукав, и мы отправились в столовую. Там мы на бригаду взяли одну лишнюю тарелку борща и поставили ее стынуть. Когда каждый из нас съел по тарелке, Сашка незаметно вытряхнул в общую тарелку из рукава припасенных лягушек. Столы у нас были длинные, и ажиотаж неподготовленных соседей, когда они увидели выскакивающих из борща лягушек, описать невозможно. Лиля, дежурившая на кухне, кричала сквозь раздаточное окошко: «Лёнька! Не смей — целоваться не буду!», а над нашими головами пролетела тарелка с манной кашей, пущенная рукой Юры Кондратьева — начальника стройки.

В августе я был опять на Оредеже, теперь в качестве комсорга, хотя продолжал работать в бригаде. (Нас было человек восемьдесят, на таких стройках «освобожденными» были только командир и завхоз.) Мы провели «костюмированный бал»: костюмы соорудили из подручных материалов. За материалами для пиротехнических эффектов я съездил в институт. На карнавал были приглашены местные жители: шофера, электрики, сварщик, кузнец, их жены и дети. Наша пиротехника сначала вызвала дружный детский рев (погас свет, и из адского огня появился черт! — Витя Семенов), а затем восторг всех присутствовавших.

Из «местных» запомнился мне Лешка Сар. Отличный шофер, вечно пьяный, не раз сидевший за хулиганство. Он напивался до того, что вываливался из своего самосвала, ходить не мог, но, если его подсаживали в кабину, вел машину вполне прилично. Четырехлетнего сына своего учил матерным стихам: «Я начальник политотдела, я ел такое дело!» Силы он был неимоверной, хотя росту небольшого. Однажды, пьяный вусмерть, он с топором погнался за своей женой, мы растерялись. Вдруг с охотничьим ружьем появился Витя Семенов, вскинул ружье: «Лешка! Брось топор, у меня картечь, пристрелю, как собаку!» Лешка остановился, выругался, бросил топор и пошел спать. Мы бросились к Витьке: «Стреляй бы?» — «Не знаю, стал бы догонять ее — пришлось бы выстрелить». (Ружье действительно было заряжено картечью.) Мы хотели вызвать милицию, но Лешкина жена уговорила этого не делать. Лешке недолго удалось погулять на свободе. Однажды он по пьянке надел на голову начальнику стройки (не студенческо-

му, а официальному) ведро с водой. На суде, уже трезвый, заявил, что в следующий раз наденет ему на голову молочный бидон, чтобы посмотреть, как тот его будет снимать.

Витя Семенов (отличный фехтовальщик) погиб месяца через три, поскользнувшись в институте на ровном месте и ударившись затылком о цементный пол.

* * *

За лето мне пришлось несколько раз побывать в Ленинграде.

Во время одной из поездок Таня Зальцман попросила меня заехать к ней домой и передать письмо. Отец ее снова стал большим начальником, и родители жили в Питере. Я, бегая по городу, здорово проголодался и надеялся хорошо пообедать. Дверь мне открыла Танина мама, затем вышел отец. Я объяснил, что принес письмо, и протянул его. Взяв бумагу, мужчина прочел ее и, взглянув на меня, произнес: «Хорошо. Можете идти». Это был мой первый и последний контакт с большим советским начальством на бытовом уровне.

На обратном пути я остановил попутку, которая везла продукты в сельмаг. Кабина полуторки была занята шофером и грузчиком, и я забрался в кузов. Тут пошел дождь, меня здорово продуло. Машина остановилась в трех километрах от стройки, я вылез из кузова и понял, что болен. Это же понял и грузчик. «Куда ты на ночь глядя, да еще еле живой, поплетешься? Оставайся у меня до утра». Звали его Юрой. Он привел меня в малюсенькую комнатку, налил полстакана водки с перцем, остальное помаленьку выпил сам и вдруг сказал: «Вот, говорят, евреи не воевали. А я сам видел, как они безоружные на пулеметы перли». — «Где видел?» — «В концлагере». — «В каком?» — «Немецком». Дальше последовал рассказ, который и привожу.

В самом начале войны младшим лейтенантом Юра попал в плен. Лагерь был на оккупированной территории, охранялся кое-как. Если у пленных находились родственники, их отпускали. У Юры родственников не было, и он бежал. Немцы его поймали и как беглеца отправили в концлагерь на территории Германии.

Там Юра подружился еще с двумя пленными, и они задумали бежать снова. Обратили внимание на одного конвоира, который клал на видное место недокурную сигарету или надкушенный бутерброд. Сперва подбирать пленные боялись, потом осмелели. Наконец Юра, чуть-чуть овладевший немецким, заговорил с этим конвоиром. Конвоир ругал Гитлера и называл себя антифашистом.

Однажды ребята признались, что хотят бежать. «Только не в мое дежурство, меня и так подозревают». А через некоторое время он сам подошел к Юре: «Завтра вас поведут чистить выгребную яму. Поведет такой-то (оголтелый гитлеровец и сволочь), за туалетом в траве будет лежать ломик. А дальше ваше дело».

Назавтра их действительно повели за город чистить туалет. Ломик нашли за туалетом, фашиста-конвоира спустили в дерьмо. Добежали до леска и расстались — идти втроем казалось опаснее. О тех двоих Юра больше ничего не знал.

Шел он на восток вдоль дороги только ночью, днем спал в лесу («какой у немцев лес?»), питался с огородов. Как-то увидел выставленные бидоны с молоком (госпоставки), отпил, набросал мусору, наплевал. И снова в путь. Задним числом испугался за мусор в бидоне — так и вычислить могут. Шел очень медленно, у каждой развилки выжидал, прислушиваясь, не идет ли машина.

С полей все убрали, и Юрий оголодал настолько, что вошел в первый попавшийся дом — попросить еды. На кухне сидел пожилой немец в форме фольксполиция (что-то вроде нашей дружины) и чистил автомат. Увидев вошедшего, он что-то сказал жене (когда немцы говорили между собой, Юра не понимал), и она вышла. Вернулась с полной тарелкой, пригласила к столу. Юра поел, встал и пошел к выходу, сзади услышал: «Стой!», остановился (собранный автомат лежал на столе). Снова появилась женщина с противогазной сумкой, в которой оказались кусок сала, вареные картофелины и кусок хлеба. Поблагодарил и пошел к двери — и снова: «Стой, иди сюда». Вернулся, подошел к немцу, тот взял газету и стал чертить на ней карту: «Иди вот здесь, здесь старики, может быть, и отпустят, там не ходи, там молодые, волки, сожрут». Юра потянулся к газете. «Нет!» — хозяин бросил ее в очаг.

Германию Юра прошел, к зиме оказался в Польше. Там было не так страшно. Однажды попал на ночевку в богатую квартиру. Молодая хозяйка была одна, муж погиб при бомбежке. Ночью забралась к Юре в постель. Была она богата, и Юра жил с ней полгода.

Но его грыз стыд. Хлопцы воюют, а он с панночкой прохладается. Сказал ей, та повздохала, одела его в мужнин костюм и пальто, дала документы покойного, снабдила деньгами.

И двинулся Юра дальше на восток. В каждом доме, где ему приходилось ночевать, он называл себя новым именем и рассказывал другую историю своих странствий.

На Украине стало совсем легко. Поили, кормили, пускали ночевать. Один раз, правда, была заморочка. Зашел в хату, встретила его женщина, накормила, разрешила остаться на ночлег. В хате еще двое детей — ее племянники. А тут пришла их мать. Увидела чужого и набросилась на сестру: «Ты, кукушка, своих детей нет, а моих не жалко!», упала перед Юрой на колени: «Я вас умоляю, уходите отсюда! Они ведь и детей убьют! Простите меня!» Юра ушел на ночь глядя.

Однажды остановился он в богатой избе. Хозяин накормил его ужином, а утром после завтрака сказал: «Еда теперь не валяется. Пособи мне сено убрать». Пособил. Дальше — тот же разговор: «Дрова надо напилить». Наконец Юра заявил, что уходит. «Ну, я тогда полиции сообщу». И стал он батраком у «этого куркуля». Работал как вол, кормил его хозяин впроголодь, запирал на чердаке.

И решил Юра хозяина топором по башке, дом поджечь, а там пока хватятся. Видно, хозяин тоже подумал о таком конце. Проснулся Юра от толчка. Стоят кругом полицаи с автоматами.

И снова поехал в Германию. Хорошо, поверили ему, что он окруженец, воевать не хочет. Не сопоставили с тем, кто уже однажды бежал из Германии, убив конвоира. И снова концлагерь.

А когда к тому лагерю начали подходить американские войска, подняли лагерники восстание (вот тогда-то и видел он евреев, которые перли на пулеметы). Охрана бежала, и американцев зона встретила флагами всех стран антигитлеровской коалиции. Рисовали краской на простынях охранников.

«А потом?» — «Потом Колыма, вот только в Россию вернулся». О Колыме Юра мне рассказывать не стал: «Светло уже, мы ночь проболтали. Мне ведь работать еще, да и тебе к своим пора».

* * *

В другой приезд в Ленинград, зайдя в институт, я увидел газету с разоблачением Маленкова, Кагановича, Молотова и Шепилова. Подвернувшийся Феликс Крючков комментировал это событие так: «Волки от испуга скушали друг друга». Потом, когда я вернулся на стройку, местный райкомовец провел политинформацию, которая подтвердила мнение Феликса: «Они пытались не пропустить в Кремль сторонников Никиты Сергеевича, но тут пришел маршал (назван был, кажется, Василевский). Каганович взвизгнул: “Танки пустите?” — “Танки пустим!” — “Как в Венгрии?” — “Как в Венгрии!”» Напоследок райкомовец пожурил

нас за карнавал, который мы организовали на стройке: «Придумали неплохо. Но почему ни с кем не согласовали?»

Через полгода мы уже горланили в электричках:

Независимо, стар или молод ты,
А расстанешься с партией милой,
Маленков, Каганович и Молотов
И примкнувший к ним Шепилов.

Последняя строка была ответом на вопрос в анекдоте: «Какая фамилия самая длинная?» — Шепилов в течение двух лет не упоминался иначе, как в этом словосочетании.

Еще одна острота тех лет: «Шестнадцать человек на сундук мертвеца — Политбюро на мавзолее».

* * *

Август кончился, руководство строительства провожало нас с грустью. До пуска осталось совсем немного, а работать некому. Вернувшись в институт (я — уже на четвертый курс), мы узнали, что всех студентов, кроме пятикурсников, посылают «на картошку».

Мы обратились в дирекцию с просьбой отправить шестьдесят человек на Ордежскую ГЭС, но получили отказ: «Нам цифру никто не снимет». Отправились в горком партии. Инструктор «все понял»: «Картошку вы должны копать бесплатно, а на стройке небось денежку заработаете». Нашему утверждению, что и на стройках мы работаем бесплатно, просто не поверил. Тогда возник обходной план. Мы написали письмо от имени комитета комсомола, секретарь комитета Валя Никольский подписал его, на такую подпись ставилась институтская печать. Это письмо мы отнесли в обком, но не к инструктору по сельскому хозяйству, а к инструктору по электрификации области.

Наш план оказался действенным. Институту уменьшили цифру, и 60 человек были отправлены на строительство электростанции. На этот раз поездка была вовсе не добровольной. Несколько групп отправили целиком. А рейдовики поехали отдельной бригадой. Бригадиром выбрали меня. Сергей Хахаев стал комсоргом стройки.

Почти сразу же возникли проблемы. Нелю К. назначили завхозом и поваром. Она потребовала помощников — договорились, что каждая бригада будет выделять двух девочек на дежурство по кухне. Дежурные делали все, что требовалось, а Неля иногда явля-

лась к обеду, чтобы снять пробу. Вечером она развешивала продукты назавтра. Неля была симпатичной девочкой, и вокруг нее всегда вились ухажеры, компанию которых она принимала по вечерам в подсобке. За разговорами неплохо жевалось, но вдруг выяснилось, что запас масла досрочно израсходован.

Вторая проблема — картежная игра на деньги. Играть начали в долг под паспорта.

Третья проблема — дождь. Ко входам в барак с обеих сторон были сделаны дощатые пристройки с земляным полом. Выходить ночью под дождь не хотелось. Ребята могли использовать щели между досок, девочкам было хуже. Некоторые не решались выйти под дождь, и в женской пристройке изрядно запахло мочой.

Первое и последнее на этой стройке комсомольское собрание вел Сергей. Речь его была короткой: «Нелю К. — отправить в бригаду, дежурные сами справятся. Игроков на деньги поймем — выгоним, хоть ночью пусть топают в Питер. Не пойдут? Набьем морду! Девочки жалуются на вонь в тамбуре — найдем виновника и поставим перед строем». На сем собрание было кончено. Большинство нас поддержало.

Впрочем, оно имело некоторое продолжение. Бригада, в которую пришла Неля, работала рядом с нашей. Неля бегала вокруг рабочего места и хохотала, а мужская часть бригады бегала вокруг нее. Мы поглядывали и хихикали, глядя на бесплодные попытки их бригадира навести порядок. На ближайшем же совете бригадиров он взмолился: «Уберите от меня Нелю К.». Наш начальник Юра Кондратьев обратился ко мне: «Возьмите К. к себе». Я наотрез отказался, как и все остальные. Опять начали, уже хорошо, давить на меня. Я пошел советоваться с бригадой. Там мне сначала сказали твердое «нет». После некоторого размышления бригада постановила — взять при условии, что никто не будет заступаться за Нелю К. и кричать, что мы «держиморды». Так Неля К. стала членом нашей бригады. Назавтра был проливной дождь и все оставались в бараке. Но пришли машины со стройматериалами, их надо было срочно разгружать, и нашу бригаду, как обычно, попросили помочь. Оставив девушек в бараке, мы под дождем принялись за работу. Через некоторое время появились и девочки. Нели К. среди них не было, но и претензий к ней мы предъявлять не стали, хотя, с нашей точки зрения, она нарушила правила групповой солидарности. Утром было солнышко, мы вместе вышли на работу, а после обеда Неля К. куда-то исчез-

ла — это уже было слишком. Вечером я попытался с нею поговорить, но она утверждала, что ни на шаг от бригады не отходила. Устраивать очную ставку с остальными я не стал, решил подождать следующего дня.

По утрам на стройках была линейка. Распределялись работы, сообщалось о травмах и болезнях. Неля на линейку, как всегда, опоздала. Вообще-то опаздывали многие, некоторые могли и не ходить. Но тут она попыталась пристроиться к своей прежней бригаде, тот бригадир ее прогнал, и она стала сзади нашего строя. Неожиданно даже для себя я рывкнул: «К. — шаг вперед!» Неля сделала этот шаг. Начальник смутился, остальные тоже. Юра зашептал: «Что ты, Нелечка, стань обратно». Та расплакалась и убежала в барак. До обеда мы работали без нее. Пообедав, мы взяли носилки, постелили на них старый плащ, устали тарелками с супом, вторым и компотом и, изображая некое подобие туша, отправились к Нелиным нарам. В нас полетел сапог, а там раздался плач. Но на следующее утро Неля работала с нами. И участвовала в наших проделках, по приезде в город даже несколько раз ходила в рейды, и мы оставались приятелями до конца института.

Уже теперь, обсуждая эту давнюю историю с Сергеем, мы по-иному оценили ее. Неля поступала в институт учиться, и принудительный труд ее, естественно, не вдохновлял. Мы же ехали добровольно, и нам казалось вполне правильным применение принудительных «воспитательных» мер. Сказывалось и «артельное» сознание — ежели все работают, значит, и каждый должен работать, и тоталитарный взгляд — общее (как мы его понимаем) выше личного. Но, мне кажется, была и еще одна сторона у этой проблемы. Если бы Неля заявила, что она принципиально не хочет работать на эту власть, мы (я и мои ближайшие друзья), возможно, с ней и попытались бы спорить, но спорили бы с уважением. Она же просто «ловчила», а ловкачи нам были противны.

Однажды мы грузили самосвал бутом (булыжником). Витя Люшнин, взяв камешек пуда на три с гаком, старался уложить его в кузов. Неожиданно поднятый задний борт почему-то рухнул вниз и ударил Витю по затылку. Мы сразу же подбежали. Крови не было, но работать Витя не мог — кружилась голова. Недогрузив самосвал, мы посадили Виктора к шоферу, сами, по обыкновению, забрались в кузов и поехали домой — к нашим баракам. Обедать Люшнин не захотел. Мы оставили его в бараке, а сами начали обсуждать, как вызвать врача. Вернувшись в барак, мы увидели нашего травмированного, окруженного девочками, с ужасом

слушавшими Витин рассказ. Вокруг него стоял десяток стаканов с компотом. Назавтра он уже водил экскурсии к издавна валявшемуся на задворках заднему борту самосвала с огромной трещиной, образовавшейся якобы от удара о Витину голову.

Как-то за полчаса до подъема наши девочки, дежурившие в тот день, прибежали в барак: «Ребята, не знаем, что делать. Дрова сырые — не горят. Все останутся без завтрака». Мы быстро оделись и побежали в столовую. Плеснули в печь солярки — она прогорела, а дрова все равно не зажглись. Тут появился Люшнин с полбочонком солидола, уже давно валявшимся за кузней. Он отправил нас за опилками и угольным штыбом. Все это перемешали, плеснули в печку еще солярки, и Витя, сидя у открытой дверцы, начал лепить колобки и бросать в печь. Пламя загудело. Кто-то выглянул на улицу — из трубы в небо бил столб огня метра полтора высотой. «Люшницит» оправдал себя — завтрак был готов вовремя. Правда, все подгорело. Ребята из других бригад удивлялись: «Как можно было сварить подгоревший компот?»

Через пару дней мужская половина барака была разбужена дежурными девочками из другой бригады. Дежурные направились к столовой еще в темноте. Они услышали страшные крики и увидели: кто-то там, в столовой, бродит со свечой. (Электроэнергию на стройку подавал дизель с 6 до 22 часов.)

Все начали одеваться. Вдруг одна из прибежавших закричала своему парню: «Не ходи, тебя убьют! Пусть идут рейдовики!»

Мы с самого начала с сомнением отнеслись ко всей этой страшной истории, а после такого крика и вообще решили никуда не ходить. Через некоторое время те, кто провожал дежурных в столовую, вернулись. По их словам, кричали коты, которых разогнала толпа любопытных. Что касается зажженной свечи, объяснение этому феномену мы нашли, придя на завтрак. Напротив столовой был барак, в котором жили «аборигены». Там впотьмах ходили со свечой, и ее огонек отражался в темных окнах нашей столовой. Разговоры о ночном происшествии продолжались весь день. Кто-то слышал, как пьяный мужик грозил поджечь студентов, другие рассуждали о невесте какой банде, бродившей в окрестных лесах. Рациональное объяснение паники устраивало не всех.

Вечером мы решили подшутить над паникерами. Уже после отбоя Нина Котова (будущая Гаенко) пошла к столовой. Забралась туда через форточку и включила все выключатели. Свет зажегся только к утру, когда дали энергию. Утром опять раздался

визг — все знали, что столовую на ночь запирают и ключ с вечера передают очередным дежурным. Двери оказались запертыми не только снаружи, но и изнутри! Мы на этот раз отправились вместе со всеми. Внутрь можно было попасть только через ту же самую форточку, расположенную довольно высоко. Выбор Юры Кондратьева пал на нашу Нинку. Та объявила, что ей очень страшно, но она готова преодолеть страх за плитку шоколада, которую Юра ей и обещал. Спортивная Нина забралась внутрь и открыла дверь. Внутри никого не было!

Разговоры продолжались. Вечером, прихватив пол-литра бензина, мы отправились в лес. Нами заранее была облюбована большая болотина (во избежание лесного пожара) и заготовлены факелы на длинных палках. Факелы облили бензином, подожгли, а палки воткнули посреди болотины. «Задами» вернулись домой (на наших койках лежали под одеялами куклы) и присоединились к толпе строителей, вооруженной ломami и топорами и несущейся в лес. Панику подняла Неля К., с которой мы заранее договорились.

Среди некоторых строителей существовало подозрение, что все происходящее — проделки рейдовиков. На этот раз один из них, Горелик, видел, как мы брали у шофера бензин. Он подошел ко мне и пригрозил разоблачением, если его не возьмут «в дело». «Давай идею!» — «Идея есть». Около барака он нашел отражатель от автомобильной фары. В фокусе укрепили лампочку от карманного фонарика, сзади пару батареек, все это Горелик взгромоздил на сосну, а проводки спустил вниз. Ночью он вышел, замкнул проводки и, вернувшись в барак, поднял крик. Я выглянул в окно — на небе сияло две луны! Народ высыпал на улицу, опять-таки прихватив топоры. Кто-то слазал на сосну и сбросил оттуда наше сооружение.

Все большее число строителей подозревало в проделках нас. На последний день стройки мы приготовили очередной эффект, но сильный ливень нам помешал.

Однажды зачем-то подняли одну из половых досок барака, и под ней обнаружили тетрадку, возможно, принадлежавшую какой-то ээчке, квартировавшей здесь ранее. В тетрадке были собраны изречения, очевидно, исполненные для хозяйки тетрадки глубокого смысла. Очень многие из них принадлежали Сталину. Второе место занимали цитаты из неизвестного нам писателя Сагытбекова. Его афоризмы показались нам настолько идиотскими, что имя «Сагытбеков» в нашей компании некоторое вре-

мья было нарицательным. Лет через двенадцать, во Владимирской тюрьме, я заказал в библиотеке книжку этого писателя. Знакомство с его творчеством превзошло все ожидания. Первый же рассказ повествовал о пятилетней дочке фронтовика, которая всю войну бегала на мост через арык встречать отца. Однажды она упала в воду. Ее спас офицер, возвращавшийся с фронта и оказавшийся ее отцом. Откачав девочку и узнав, что это его дочь, офицер произносит речь собравшимся декханам — на десять из двенадцати страниц рассказа. Речь эта начиналась так: «Позор немецко-фашистским оккупантам, из-за которых наши дети тонут в арыках. Ведь именно из-за войны мы не успели вовремя починить мост». Далее я читать не стал. Но прочитанное запомнил.

Стенгазету на этой стройке издавала тоже бригада рейдовиков. Назвали ее «СОС». После двух номеров наша фантазия стала иссыхать. И тут на стенде рядом с «СОС» появился анонимный листок «Антисос», критиковавший наш «СОС» почему зря. Мы быстро «вычислили» анонима — им оказался Лёня Лебедев — и предложили ему войти в редакцию. Теперь газеты делались совместно, но «анонимная» вывешивалась тайком на день позже. Вся публика, естественно, была на стороне анонима: «Вот уж приложил так приложил!» Последние номера обеих газет вышли на одном, неразрезанном куске ватмана. Наши читатели были и разочарованы, и восхищены одновременно.

Однажды, когда мы собрались в закутке столовой, где делалась газета, выяснилось, что карандаши забыли в бараке. На улице шел дождь, и мы вяло спорили, кому идти за карандашами. В это время появился Сережка Хахаев, вода стекала с него ручьем. Узнав, о чем спор, он молча повернулся и через несколько минут появился с карандашами. Сергея первым делом спросили, почему он пошел без разговоров. Он ответил: «Кому-то надо сходить, почему не мне?» Мы все сидели пристыженные.

На этой стройке я перестал материться. Ругаться я любил и делал это, на мой взгляд, виртуозно. Однажды мы втроем (Гаенко, Хахаев и я) выбивали в узком бетонном колодце опалубку. По очереди один из нас лез туда с отбойным молотком. Грязная вода от отбойника плескала в лицо, голова гудела от грохота, тело ныло от неудобной позы. Я матерился, перекрикивая молоток. Вдруг молоток замолчал — ребята отключили воздух. «Вылезай, если без мата не можешь». Ну не спихивать же неприятное дело на друзей, пришлось подчиниться.

Четвертый курс

Противоречия между рейдбригадами и институтским комсомолом. —
Выставка Пикассо. — Рассказ старого чекиста: мятеж, которого не было. —
Современный гэбист в бытовой обстановке. — Приключение в поезде
Мурманск—Ленинград. — Попытка рейдовиков взять власть в институте. —
Хрущев у власти. — «Что будем делать?» Первые листовки. —
Страхование и мое первое завещание. — «Рыцари белого камня». —
Любовь и свадьбы в рейдбригадах. — Летний поход 1958 года

После каникул, в новом учебном году (1957) в патруле появились Веня Иофе и Яша Френкель. Веня учился уже на втором курсе и, в отличие от нас, хорошо был знаком с интеллектуалами из «Культуры», Френкель поступил в институт только что. Веня и Яша в этот момент были в редакции «Органика» и пришли к нам на заседание штаба, чтобы «понаблюдать серых держиморд».

Обстановка на наших заседаниях настолько отличалась от той, которая царила на комсомольских собраниях, что ребята остались в рейде. Они принесли в нашу компанию интерес к современному искусству. Многим из нас, в том числе и мне, Яшка открыл глаза на импрессионизм, которого я до этого не мог понять. С ним мы отправились на выставку Пикассо, чьи полотна, хранившиеся в запасниках музеев, тогда впервые были показаны широкой публике. Дворцовая площадь была запружена народом. Порядок охраняла конная милиция.

Мы стали чаще бывать в музеях и кино, ребята умели выбирать. Яша притащил в рейд своих сокурсников: Люсю Климанову, Кирилла Чимекова, Боба Азаренкова, Валерия Смолкина.

Во время одного из рейдов Толю Янковского ударили ножом. Он вместе со всеми принимал участие в погоне, пока не потерял сознания. Хулигана задержала Нина Котова. Он уже перелезл через забор, когда Нина, подпрыгнув, повисла у него на ноге. Около забора нашли и нож. Толика увезла «скорая», хулигана сдали в милицию. Толин пиджак Нина взяла к себе в общежитие стирать. Она меняла воду раз за разом, и каждый раз вода оказывалась красной от крови. Отлежавшись чуть не месяц в больнице, Толя, еще слабый, отправился в рейд, несмотря на наши возражения.

А через некоторое время мы с Толей отправились к одному из наших преподавателей, который когда-то был чекистом, а уж потом поступил учиться в Техноложку, где и остался работать. Мы хотели, чтобы он выступил перед рейдовиками с воспоминаниями, ибо считали ЧК образцом и для себя. Он пригласил нас к

себе домой, угостил чаем. От выступления перед патрулем отказался: «Я должен отдавать тексты всех выступлений кому-то на цензуру, а цензор может и дураком оказаться». Зато в домашней обстановке рассказал нам о том, как в Петрограде ликвидировали офицерский мятеж. Мятежа, собственно, еще не было. Было предположение. Чекисты обходили офицерские квартиры. Если обнаруживали оружие или «сборище» («а время было страшное, все кучковались»), то увозили за город и расстреливали. «Возможно, среди них были и большевики, разбираться было некогда».

Рассказ этот произвел на нас сложное впечатление. С одной стороны, живые люди, с другой — «революционная необходимость». Еще в детстве от своего одноклассника я слышал страшную историю. Он ребенком жил в Новороссийске, откуда эвакуировался морем. Корабль, на котором он был, еще стоял под погрузкой, и по трапу шла толпа стариков, инвалидов, женщин с детьми, когда началась бомбежка и загорелось соседнее судно, груженное снарядами. Мгновенно освободить трап от людей не было возможности, и капитан принял решение — спасти тех, кто уже погрузился. Их судно отошло, и трап вместе со всеми, кто на нем был, рухнул в воду. Мы обсуждали подобные примеры и не находили ответа. Я и сейчас его не знаю.

Встретились мы в тот год в приватной обстановке и с современным гэбистом. Все праздники мы встречали у Хахаева. В квартире курить было нельзя, и мы выходили на лестничную площадку. К нам подошел какой-то пьяный мужик и спросил, студенты ли мы. Услышав ответ, сказал: «Не люблю студентов, хотя слезу только за офицерами. Они меня все боятся, только зайду в ресторан, все сразу же уходят!» Мы посмеялись и попросили его нам не мешать. «Не верите?!» — пьяный вынул и раскрыл удостоверение капитана КГБ. Толик попытался выменять его на свой студенческий билет, но капитан выругался и, спустившись этажом ниже, скрылся в квартире. Сергей потом наводил справки: вероятнее всего, квартира была явочной, где принимали стукачей. Иметь под боком таких соседей нам не хотелось, кто-то из нас позвонил из автомата в ГБ, назвал адрес квартиры, номер удостоверения, фамилию капитана и предложил не держать у себя алкашей.

* * *

Зимние каникулы я, как всегда, проводил в Мурманске. В местной газете «Полярная правда» я прочел статью. Несколько парней обворовали ларек спортивных товаров. Мать одного из них,

директор спортбазы, купила краденое, чем и подвигла ребят на новые свершения. В конце концов был обворован кабинет ДОСААФ, откуда утащили 9 боевых пистолетов типа «вальтер».

Мама рассказала мне, что пострадал и мой приятель по детской площадке, с которым мы после войны не встречались. Она это узнала от его матери. Оказалось, что часть оружия еще не найдена.

Обратно в Ленинград мы ехали вдвоем с Янковским. Вечером он сообщил мне: «Два «вальтера» в нашем вагоне. Тут едет пацан, изрядно набравшийся, мы когда-то знакомы были, так он хвастал». Оказалось, едут двое — мужик лет тридцати и молодой парень. Мужчина спал на верхней полке, а парень, найдя старого знакомого, показывал ему оружие. Показал он его и мне (мы с Толей курили в тамбуре). В Мурманске они ограбили уже нескольких рабочих после полочки, теперь едут погулять в Ленинград. Мы с Толей начали обсуждать план. Выпросить оружие и брать их самим. Красиво! Но парень давал нам смотреть «вальтеры», вынудив предварительно обойму, а у дружка может оказаться третий пистолет. Даже выманив пистолет с обоймой, мы по неопытности перестреляем полвагона.

Пошли к начальнику поезда и попросили сообщить в милицию. А сами улеглись на свои места, оба на второй полке. Ночью спутник нашего нового знакомого зашел в наш отсек. Встал на нижнюю полку и внимательно заглянул в наши лица. Мы притворились спящими. Он ушел. Через некоторое время нас разбудил представитель милиции — показал удостоверение. Мы рассказали, где лежат бандиты, и договорились, что Толя, проходя мимо них, нагнется поправить обувь. В окно поезда мы видели, как их сажают в милицейскую машину.

Еще часа через два пришли за нами — милиции были нужны свидетели. Нас ехало трое, еще одна девушка-мурманчанка из нашего же института. Поскольку милиционеры обещали, что мы догоним этот же поезд на дрезине, свои чемоданы мы оставили ей. Как она справилась с тремя чемоданами, оказавшись одна на вокзале, я сейчас уже не помню.

На следующих каникулах отец рассказал мне, что сын его начальника с оружием был задержан в том же поезде, на котором уехали из Мурманска и мы. «А вы, бригадмиловцы, всё проспали!» Я, подавив желание похвастать, притворился удивленным. Еще через год, кончив институт и нацепив по просьбе отца «поплавок» на грудь, я с папой отправился гулять по Мурманску. На-

встречу нам шли двое — пожилой мужчина — отец с ним поздоровался — и молодой парень, которого я тоже откуда-то знал. Мы кивнули друг другу. И тут я вспомнил, где я его видел — тогда, в поезде! Он, наверное, тоже вспомнил.

Назавтра отец, побеседовав на работе с его родителем, угрюмо заметил мне: «Достукаешься, зарежут!»

* * *

Мы пытались вернуть комсомолу его «истинное» лицо. В масштабе патруля в какой-то степени нам это удалось. Люшнин и Иофе, до этого принципиально не вступавшие в комсомол (даже перед конкурсным поступлением в вуз!), по нашему настоянию подали заявления и надели комсомольские значки. Ношение комсомольских значков для рейдовиков было обязательным.

Перед очередной институтской конференцией мы решили захватить власть в комсомольской организации нашей Техноложки. Я уже говорил, что организовать однокашников на участие в таком мероприятии было нетрудно. На конференции меня и еще кого-то из рейдовиков выбрали в комитет комсомола. Я стал заместителем секретаря комитета по политработе. Первым моим действием была попытка отменить политинформации. Я, как и в школе, заявил на заседании комитета, что те, кому интересно читать прессу, делают это и сами, а слушать политические новости в изложении «послушных девочек», вообще-то политической не интересующихся, не интересно никому, делать же что-то ради «галочки в отчете» я не собираюсь. На том и порешили. Впрочем, у этих «послушных» хватало начальников и без меня, кто-то делал доклады, где-то обходились, как и прежде, без них, а «галочки» появлялись, как и прежде. Мы «давили», только если речь шла о поездках на стройку и целину. И воевали с пьянкой. Сергей Хахаев был секретарем физико-химического факультета. В других факбюро тоже оказывались «наши люди».

Забегая вперед, скажу, что, вернувшись с целины в следующем учебном году, мы добились исключения из комсомола за два месяца шестерых человек (за пьянку), после чего наш секретарь получил втык из райкома: «Вы там весь комсомол поразгоняете!» В это же время мы добились исключения из института очень известного тогда футболиста, капитана ленинградского «Зенита», мастера спорта, Завидонова. Он числился студентом Техноложки уже давно, появлялся в институте редко, между играми и тренировками, которые в зависимости от времени года проходили в

различных городах СССР. Одно из таких появлений было отмечено пьяной дракой с его активным участием. Исключенный из Технологжки, он стал (или продолжал?) числиться студентом Педагогического института имени Герцена.

* * *

В конце марта 58-го года на сессии Верховного Совета СССР Булганин был освобожден от должности Председателя Совета Министров. Хрущев стал совмещать посты руководителя партии и правительства. Совсем недавно, на XX съезде КПСС, объединение этих постов в руках Сталина было объявлено одной из причин «культы личности» и связанного с ним произвола.

Мы и раньше подозревали, что причины «культы» кроются гораздо глубже. Однако сам факт восстановления «сталинских норм» свидетельствовал о полном произволе партийной верхушки. Барин дал — барин взял. И все это при полном молчании общества. (В то время уже прошло несколько закрытых судебных процессов над студенческими группами, пытавшимися протестовать против вмешательства Союза в венгерские события. Мы, рейдовики, об этом ничего не знали, наша сплоченность имела и отрицательную сторону: мы почти не видели мира вокруг.)

Сергей спросил меня: «Что будем делать?» Сам вопрос в контексте наших отношений касался только конкретных действий.

Вообще Сергей был и остается нашей коллективной совестью. Как правило, он не читал нотаций и даже не высказывался. Он «кривил морду», и собеседник по одному этому знал, что поступает неправильно. Вадик Гаенко был организующим началом. Я «толкал» идеологию.

Мы написали листовку. Показали Вадиду, Яшке Френкелю, Володе Сиротину. Ребята текст одобрили. Мы обсудили метод ее распространения. Было решено, что несколько человек отправятся в Москву и другие города и одновременно в Ленинграде, Москве и еще где-нибудь во время спектаклей из лож или с галерки будут эти листовки разбрасывать. Начали обсуждать персональных участников операции. Четырех человек оказалось маловато. Надо было говорить с остальными. Кое с кем поговорили на эту тему «вообще». А потом испугались — мы, сравнительно плохо знающие историю и философию политических движений, вовлекаем в деятельность тех, кто нам верит на слово. Мы рисковали не только собой, но и другими. И еще — каковы будут последствия нашей деятельности? Если все сведется к тому, что нас

посадят, — не стоит и начинать. Если же возможны и социальные последствия — неплохо выяснить, какими они могут быть. (Мы были столь наивны, что надеялись прогнозировать историю.)

Короче говоря, акцию решено было отменить. А Сергей и я должны были серьезно сесть за книги. Что мы и сделали (в прямом и переносном смысле).

* * *

В этом году нас решили застраховать. Страховали нас на полгода, и стоило это копейки. Полис я почти сразу же потерял, но перед этим в графе «завещание» успел написать: «В случае моей смерти завещаю означенную сумму на освобождение Тайваня (тогдашние газеты изображали сей остров оккупированным американским империализмом), а ежели последний будет уже освобожден — на установление памятника Льву Толстому в Тель-Авиве». Полис кто-то передал в комитет комсомола. Меня вызвал секретарь комитета Валя Никольский и спросил: «Почему именно в Тель-Авиве?» Я ответил, что, насколько мне известно, такого памятника там нет. Валя согласился. (О том, что есть и чего нет в Тель-Авиве, ни я, ни он ничего не знали.) «Ну так пусть стоит. Ты что — против?» Он был не против. О том, что жертвуемая сумма издевательская, ни он, ни я не говорили.

В апреле 58-го в «Технологе» появился фельетон — «Рыцари белого камина», подписанный Кулаковским, профессиональным журналистом, освобожденным членом редакции и фактическим редактором институтской многотиражки. Кулаковский давно относился подозрительно к нашей компании. На одной из комсомольских конференций он даже выступил с таким заявлением: «Рейдбригада — это не комсомол, а фракция в комсомоле. Посмотрите, как они поют, они же в свой круг пускают только тех, кто им по вкусу!»

Одна из комнат комитета комсомола, украшенная не действующим уже сто лет белым камином, служила неформальным клубом, где ребята собирались потреться в промежутке между лекциями, после них, а зачастую и во время. Иногда занимались телефонным хулиганством. Однажды Марику Г. кто-то дал номер телефона: «Вот, позвони». — «Что сказать?» — «Что придумаешь». Марик позвонил: «Ваша жена сбежала». — «Откуда вы знаете?» — «Со мной и сбежала». Через час (Марика там уже не было) в комитете появился гэбист (это оказался номер приемной секретаря обкома). Вызвали секретаря комитета Никольского и начали

выяснять, почему и кто пользуется бесконтрольно служебным телефоном. Валентин не знал, да если бы и знал, не стал бы выдавать. Но об этом узнал сам Марик и, чтобы не подводить Никольского, «пошел сдаваться». Гэбист долго читал ему нотацію о «правилах поведения», но репрессий не последовало. В другой раз мы, собравшись в комитете, вытащили свои записные книжки и начали звонить своим знакомым, которые в тот момент находились на лекциях. Трубку брали их родственники, которым сообщалось, якобы с главпочтамта, что на имя такого-то пришла посылка, но так как напутано отчество (называлось первое попавшееся) или номер квартиры, то нужно подойти к окну номер 8, имея при себе паспорт, и разобраться. Потом мы собирались позвонить в милицию и сообщить, что готовится ограбление почтамта, сбор грабителей у восьмого окна, пароль — «Не пришла ли нам посылка?». На это, мы, честно сказать, не решились.

Этот «клуб» объединял прежде всего тех, кто имел хоть какое-то отношение к комсомольскому активу, — остальным просто не приходило в голову проводить в комитете свободное время.

В статье «Рыцари белого камина» речь шла вовсе не о телефоне. Основная ее часть была посвящена студентам, которые вместо того, чтобы учиться, проводят время в трепотне, избрав для этого помещение комитета. Приводились фамилии: Чемяков, Френкель, Азаренков, Когель и другие. Френкель и Когель были почти круглыми отличниками, у Азаренкова и Чемякова были и двойки. Кирилл Чемяков, талантливый художник, почему-то поступил к нам. Года два с половиной держался в студентах, потом ушел разнорабочим в Театр Ленинского комсомола, где вскоре стал оформителем. После нашего ареста уехал в Гродно, где и работал театральным художником. Азаренков Техноложку закончил.

Против фамилии почти каждого «бездельника» стояло: «рейдовик». Главная мысль была выражена в заключительных строках: «чешут языками о погоде и моде, Би-Би-Си и Польше, Пикассо и Чижике-Пыжике».

Донос не сработал, возможно, потому, что Боб Азаренков, которому особо вменялось его англазированное имя, оказался сыном крупного гэбиста.

* * *

В конце апреля состоялась первая «рейдовая» свадьба. Нина Котова стала Ниной Гаенко. На свадьбе присутствовала чуть не

вся рейдбригада. Эта свадьба оказалась далеко не последней. Мы насчитали десять пар, познакомившихся в патруле.

Яша Френкель привел к нам Женю Нимбурга, своего школьного друга. Тот учился на биофаке университета. Через какое-то время Женя организовал рейдбригаду у себя на факультете. Иногда в рейды мы ходили совместно; из университетских я помню Дину Суханову (полное имя ее было Согдиана, так ее назвали родители-археологи), Марину Иванову (будущую жену Яши Френкеля), Иру Г. (за которой я пытался ухаживать), Славу Кушева.

Брат Славы Женя Кушев учился в Москве и был связан с диссидентским движением. Именно через него наш «Колокол», о котором речь пойдет ниже, оказался у Лашковой, потом у Алика Гинзбурга, потом в «Посеве». Слава потом участвовал в неформальном писательском «Клубе 81».

С Мариной и Ирой мы познакомились на следующем курсе, а пока мы с Яшей Френкелем ухаживали за Лидой Федотовой (теперь Иофе). Мы провожали ее после рейдов домой, и иногда случалось так, что Личка шла впереди, а сзади мы с Яшкой обсуждали мировые проблемы, забыв о нашей спутнице. Яшина мама была уборщицей в детском саду, отец пропал без вести на фронте. Жили они в Песочном, ездить было далеко, и Яшка зачастую ночевал в общежитии или у своих ленинградских друзей. Оба мы часто были голодные и поэтому, прощаясь с Лидой, просили ее вынести чего-нибудь пожрать. Чаще всего — получали отказ. Семейная девочка-ленинградка не очень представляла себе наше положение и думала, что мы выпендриваемся.

Однажды Яшу вызвали в известный кабинет в институте, и гэбист предложил ему «сотрудничество». В качестве награды Яше было обещано помочь в розыске отца. Яшка, естественно, отказался. «Эти суки готовы торговать даже мертвыми». Надо сказать, что детям пропавших без вести пенсий за погибшего отца не платили. («А если он сдался в плен?»)

* * *

Четвертый курс я кончил без троек. На июль мы планировали поход. Внезапно выяснилось, что в этом году на целину в принудительном порядке отправляют даже пятый курс. Обычно учеба на пятом курсе была препятствием даже для добровольных поездок — ведь с целины возвращались в конце октября. Поход планировался по Кольскому полуострову, конечный пункт — Мурманск.

Итак, я успеваю после похода дней пять провести с родителями, потом еду на целину самостоятельно, оплачивая дорогу за свой счет и опаздывая на месяц, и, таким образом, совмещаю, казалось бы, совсем несовместимое.

Поход проходил по реке Воронья, которая вытекает из Лавозера и течет с юга на север примерно в 100 км восточнее железной дороги. Верхняя часть реки более или менее спокойная, дальше начинались пороги. Мы решили начать поход на плотях. А потом будет видно.

Руководил группой Саша Мумжиу. В группе шли Юра Егоров, Алена Аплетина, Кирилл Чемяков, Лёня Гальперин, Лёня Ковтуненко, Юра Егоров, Лида Федотова, Алла Соколова, Олег Устьяров и я.

Еще в сессию начались сборы. Закупка продуктов, подгонка снаряжения. Решили отправиться сразу же после экзаменов и на этот день уже взяли билеты. В последний момент выяснилось, что для вязки плота у нас нет троса. Но кто-то из нас утешил остальных — трос он достанет. Часа за два до отхода поезда трос появился — двухметровый кусок толщиной около 40 мм. Он никуда не годился.

Ехать было около двух суток. Мы с грустью глядели в окно на тонкие пятимиллиметровые тросики, бегущие вдоль пути. (Таковыми тросиками в те времена управлялись механические семафоры.) Потом на одной станции за сараем мы заметили бухты таких тросиков. За аналогичным сараем на следующей станции оказались такие же бухты. Решение было принято. На очередной станции мы с Чемяковым выскочили из вагона, подбежали к сараю и, схватив бухту, бросились к поезду. В вагон вскочили уже на ходу. По дороге бухта разматалась метров на пятнадцать, и мы, стоя в тамбуре, на ходу поезда собирали волочащийся трос. Наши ноги были опутаны этим тросом и, зацепись он за что-нибудь, нас бы тут же выбросило из вагона. Но нам повезло, и смотанный трос стал нашим достоянием.

Из двенадцати участников похода девять были рейдовиками. На стройках и производственных практиках мы убеждались в том, что социалистическую собственность тянул всякий, кому не лень, от рабочего до самого крупного начальства. Объемы определялись физической возможностью несунa, и у начальства эти возможности были гораздо большими — оно могло задействовать не только самосвал, но и подъемный кран. Мы старались не следовать общему примеру, но в данном случае соблазн был слишком велик.

Благополучно доехали до станции Оленья, оттуда попуткой — до поселка Лавозеро. Пошли к начальнику леспромхоза. «Плоты? Сколько бревен?» — начальник почиркал карандашиком и объявил нам цену. Такие деньги нам и не снились. Может быть, возьмете топливное бревно? Снова чиркнул карандашом. И этих денег у нас не было. «Вы что — студенты?» — «Студенты». — «Тогда я вам покажу готовый плот, на нем лошадей привозили. Берите бесплатно». Плот оказался отличным, но слишком широким для порожистой реки. Мы разрубили его вдоль на две части, которые и связали нашим тросом.

В самом начале пути к нам привязалась собачонка — лаечка. Попытались прогнать, но она не уходила. Отплыли днем. Еду варили прямо на плоту, обмазав кострище слоем глины. Вечером, не ставя палатки, все, кроме дежурных, улеглись спать — порогов на этом участке не было. Мы с Кириллом дежурили — смотрели вперед, не наскочить бы на камень. Вдруг услышали приближающийся треск моторки. В ней сидел мужчина с ружьем, наставленным на нас. «Отдайте собаку!» Мы вытащили свое ружье и наставили на него. «Шарик!» — крикнул мужик с моторки. Шарик прыгнул к нему. «Джек!» — крикнул я. Джек прыгнул обратно на плот. Стали просыпаться ребята. И мы, наставив друг на друга оружие, забавлялись: «Шарик!» — «Джек!» Собака прыгала с плота на лодку и с лодки на плот. Наконец законный хозяин, когда собака оказалась на лодке, рванул ход, и Шарик уже не смог прыгнуть к нам. Моторка удалась.

Потом появился первый небольшой порог. Плот разгрузили, все наше имущество по берегу пронесли ниже порога. Затем плот разделили надвое и по очереди обе части провели через порог. Для этого мы привязывали веревки к передней и задней частям проводимой секции и ими управляли. При первом опыте веревка зацепилась за камень, торчавший из воды. Я влез в воду, ребята за заднюю тягу тянули плот, а я перекинул через камень ослабевшую веревку. Плот рвануло, ребята не удержали его, и задняя веревка ударила меня, стоявшего в победной позе на камне, под ноги. Сделав фантастическое сальто, я погрузился в воду. По счастью, меня мгновенно прижало к камню, и я снова выбрался на него.

Из двенадцати человек нашей группы плавали плохо пятеро, в том числе и я. Расчет был такой — на спокойном месте не страшно, а на пороге и умение плавать не поможет.

Перед каньоном плоты пришлось бросить, дальше мы пошли вдоль берега пешком. Каньон на реке Вороньей — пожалуй, са-

мое красивое место, которое я видел. Красные граниты с пятнами зелени с обеих сторон, а внизу между крутыми берегами белая пена воды, несущейся вниз под углом градусов пятнадцать. Увы, теперь эта красота, наверное, исчезла — уже во время похода нам говорили, что в каньоне собираются строить ГЭС — она, очевидно, давно построена.

Стоя на камнях около воды, мы, несколько ребят, с восхищением глядели на стены каньона. Очень хотелось забраться наверх, хотя и было страшновато, особенно мне, поскольку я до сих пор панически боюсь высоты. Но тут подошли девочки, и среди них Личка Федотова: «А мы уже слазили». Мы ринулись вперед, напрасно девчонки кричали снизу: «Вы что, очумели, мы же не здесь лезли, мы обошли». Для нас отступления не было. Не знаю, каким образом я добрался почти до верха, и вдруг под рукой «пошел» камень. Отпустить его и взяться за другой было нельзя: падая, он мог меня сбить. Хорошо, наверху оказался Саша Мумжиу, имевший некоторый альпинистский опыт. Он лег и протянул мне руку. Держась за руку, я отстранился и пропустил камень вниз, а потом выбрался наверх. От страха у меня свело ногу. И тут мы увидели, что по нашему пути полезла Алла Соколова. «Ачка! Остановись! Буду ругаться матом!» — закричал наш командир Мумжиу. «Я ничего не слышу, вода шумит!» — ответила та и продолжала лезть наверх.

Наконец мы вышли к устью Вороньей. Там располагался рыболовецкий колхоз, специализировавшийся на лове семги. У нас кончился хлеб, а в деревне не было магазина. Все необходимое жители закупали в Териберке, километров за сорок оттуда морем. Нам посоветовали зайти к одной бабке, у которой мог быть хлеб. Та продала нам буханку по государственной цене — 1 руб. 40 коп. — и в придачу подарила кусок семги, рублей эдак на четыреста.

Мы расположились на завтрак. Проходивший мимо нас рыбак поинтересовался, откуда рыбка, и, узнав, воскликнул: «Да разве она умеет солить!» Через некоторое время и он принес нам кусок, потом еще кто-то. Проходившие мимо колхозники шутили: «Ешьте, ребята. Так семгу ест только Хрушев и мы». В поселке мы познакомились с молодым парнем из рыбнадзора — энтузиастом Севера и его природы. Он рассказал нам, что по закону рыбаки всю семгу должны сдавать государству по десять рублей за килограмм, а если хотят ею полакомиться, покупать в магазине по сто рублей за килограмм. Естественно, этого никто не делает. Работник рыбнадзора признался нам, что выполнения этого идиотского закона он от рыбаков даже и не требует.

Целина-1958

Пурген. — Лекции о вреде алкоголизма. — Начальство: помеха или воры? —
Наше расследование

В Мурманске мы справили мое двадцатидвухлетие и разделились. Лёня, Юра и я отправились на целину, в Казахстан, остальные — кто куда. Ехали мы сначала поездом, потом попутками. Однажды, поджидая очередную попутку, мы решили купить молока. Зашли в дом, взяли молока в хозяйском ведерке и, расположившись под деревом, принялись за завтрак. Около нас устроился мальчик лет шести. Мы предложили ему присоединиться — мальчик отказался, но не ушел. «Так чего ты тут крутишься?» — «Ведро сторожу, мамка послала». В походах мы такого не видели.

Иногда подвозившие нас шофера не спали по две ночи. Они сажали в кабину одного из нас — не давай заснуть. Наконец мы прибыли в колхоз Калинина, где находилась часть студентов, в том числе и наша рейдбригада.

Лёня направился в другой колхоз, где работала наша институтская группа, а мы с Юрой остались со своими ребятами-рейдовиками.

Бригада наша занималась обжигом кирпича. Колхоз построил две земляные печи. Они были выложены кирпичом и засыпаны с боков землей, так, что сторона, где были топки, оставалась открытой.

Сырце формовала местная бригада, она же укладывала его на сушку. Мы должны были загружать печи сырцом, засыпать каждый слой угольным штыбом, а верхний — землей. Затем производился обжиг. Печи топили соломой, и отдыхать было некогда, топка длилась больше суток. Потом сутки печь остывала. Остывать она должна была гораздо дольше, но мы начинали разгрузку, став на доски, которые дымились под ногами.

При загрузке и разгрузке печи кирпич мы передавали по конвейеру. Сначала работали, соблюдая технику безопасности, передавая кирпич из рук в руки, потом установили две цепочки, и кирпичи стали кидать. Не обошлось без легких травм. В нашей бригаде был парень по имени Леонард, которого мы звали Леопардом. Помню крик: «Леопарду придавили лапу!» Бросающий сначала смотрел на того, кому он бросает, и не видел того, кто бросал ему. Потом мы изменили тактику. Смотреть следовало на бросающего. Если человек выскакивал из цепочки, на его месте моментально образовывалась куча кирпича. В печь сырце спус-

кали по наклонной доске, обломки расколовшегося сырца укладывающий выбрасывал наружу.

Однажды нас посетило какое-то высокое начальство. Парень, укладывавший сырец, работал под доской, по которой вниз скользили увесистые кирпичи. Один из начальников обратился к другому: «Интересно, когда кирпич упадет ему на голову?» У укладчика под рукой оказалась половинка кирпича, которую он и выкинул из печи. Она тут же пролетела около головы любопытного. Начальство ушло, не задавая лишних вопросов.

Жили мы, рейдовики, за полкилометра от остальной братии в вагончике и палатке. В палатке устроились курящие — я и Яша. Дверь вагончика не закрывалась, и мы ее припирали лопатой, чтобы местные телята не жевали наши постели. Однажды после перекура мы уже стали выстраиваться в цепочку, как вдруг вагончик затрясло. Мы бросились туда — из двери выскакивает Рубинчик. Девчонки вцепились в него: «Фимка, что с тобой?» Он молча отбивался от них и, наконец отбившись, помчался в степь; бежал, оглядывался и несся дальше, пока не скрылся за далекой копной.

Я сразу же понял, что происходит с парнем. Накануне утром он подошел ко мне и пожаловался на запор. Я объяснил, что надо сходить в медпункт за пургеном, и Фима отправился туда. Вернулся он ни с чем. Там дежурила молоденькая сестрица, у которой Рубинчик постеснялся просить слабительное. Пришлось идти мне, я принес пачку и отдал ее страждущему. Утром Фима пожаловался мне, что лекарство не помогло, и я спросил, как он принимал его. Фима сказал, что съел половину таблетки. Парень он был здоровенный. «Лошадь ты, лошадь! Разве тебе такая доза нужна! Тебе всю пачку надо».

Нужду свою мы справляли, присев среди зарослей полыни. Но, когда на тебя смотрят в упор девчонки, присесть неудобно, и бежал Фима до копны. Вернувшись, он сложил перед моим носом огромный кулак. «Ты действительно съел целую пачку?» — «Нет, только половину».

В сентябре нам поручили выделить людей для уборки арбузов. Мы еще раз увеличили расстояние между людьми в конвейере и стали по очереди посылать несколько человек на бахчу. Платили нам копейки (8 коп. за мешок, наполненный и погруженный), зато есть можно было сколько угодно и привозить своим тоже.

Итак, мы собирали арбузы в мешки, которые по мере подачи транспорта грузили на машины. Однажды к бахче подъехала «По-

беда», из которой вышел шофер и, взяв крайний мешок, затолкал его в багажник. Мы подошли к легковушке — там сидел плотный мужчина. «Я парторг совхоза!» — «Ну и что? Выгружай мешок». Тот ответил матом. Яша Френкель заметил, что в Ленинграде за мат получают пятнадцать суток, а здесь можно получить по морде. Шофер стоял молча, но было ясно, что он на нашей стороне. Мы еще раз предложили парторгу выгрузить мешок из своей машины. Пригрозили перевернуть «Победу» вверх колесами. Нас было пятеро парней и две девочки. Вдвоем перевернуть машину обратно наши противники не смогли бы. Наконец начальник велел шоферу выгрузить злополучный мешок. А в это время пришел грузовик под погрузку. Рабочий день кончился, мы погрузили арбузы и взобрались в кузов сами. Дорога была узкая, и «Победа», оказавшаяся позади, следовала за нами. Начальник мог наблюдать, как мы хрустели арбузами.

С этим парторгом ребята познакомились еще до моего приезда в лагерь. В клубе проходила лекция о вреде алкоголизма, на которую сгоняли местных жителей. Из любопытства туда заглянули и наши. Около входа стоял вдрызг пьяный мужик и блевал. Это и был совхозный парторг. Потом мы изредка пользовались туалетом около его дома (там всегда висел свежий номер журнала «Коммунист»), благо туалет этот располагался по пути в столовую.

Уже в самом конце нашей целинной жизни к нам пришел наш студенческий начальник и попросил помощи. Здесь, как и на стройках, в столовую выделялись дежурные от бригад — девочки. Они освобождались от другой работы и получали за этот день по-среднему. Помогали им ребята из их же бригады — после работы таскали воду и кололи дрова на завтра. В одной из бригад те ребята, которым выпала очередь помогать дежурным, вдруг заупрямились: пусть платят и нам. Начальник просил нас подготовить воду и дрова вне очереди вместо отказавшихся. Разбираться к столовой пошли Вадик Гаенко, Сергей Хахаев и я. Там уже собрался народ и шла перепалка. Вадик сказал, что мы готовы и воды наносить, и дрова приготовить при одном условии — мужская часть дежурной бригады завтра в столовой не появится. «А если мы придем?» — «Набьем морду». Ответ звучал убедительно, и ребята из дежурной бригады молча отправились по воду.

В середине октября мы тронулись в обратный путь. Сначала на машинах, потом в поезде. В целинном эшелоне, где собрались студенты Техноложки, трудившиеся в различных колхозах, мы

узнали неприятную историю. На одной из точек работала бригада из тридцати человек. Трое из них устроили, как теперь бы сказали, дедовщину. Они терроризировали и избивали остальных; пока они не ложились спать, свет горел, несмотря на протесты остальных, если же «деды» хотели спать — свет тушили, никого не спрашивая. Один из парней, сломавший до этого руку и ходивший с гипсом, был этой троицей избит ногами. Во главе ее стоял бывший рейдовик, мой однокурсник Н. Богданов. На первых курсах он ходил в рейды очень часто, потом перестал. Был в этой бригаде и еще один рейдовик, Ю. Щипакин. Он не вмешался в происходящее, а нам объяснил это своими моральными принципами, о которых он очень любил распространяться. По этому поводу даже существовал стишок:

Юлик Щипакин с набитым ртом,
Склоняя моральное право,
Лишь то успевал поесть за столом,
Что совесть ему позволяла.

Прямо в эшелоне мы стали собирать на нашу институтскую шпану свидетельские показания и, вернувшись в Ленинград, передали их в прокуратуру. Дело начало раскручиваться. Когда директор Техноложки Евстропьев (ректором он стал называться позже, в то время «титул» ректора носили только начальники университетов), депутат облсовета и член какого-то «кома», посоветовал нам забрать жалобу, дабы не позорить институт, мы отказались, но прокуратура дело прекратила. Тот, кто его вел, признался, что с Евстропьевым ему не совладать.

Пятый курс

Генеральное сражение со шпаной у клуба им. 10-летия Октября. — Лекторий в патруле и вопросы философии. — Преддипломная практика в Ереване

В начале зимы был очередной рейд в клуб им. 10-летия Октября. Перед началом танцев, стоя на ступеньках клуба, я услышал разговор: «Есть пара лишних билетов». — «Продай». Покупатель вытащил деньги, но тут к продавцу подошли две девушки: «Продай нам». Продающий так и сделал. Отвергнутый парень

проворчал что-то вроде: «Я тебе, сука, еще покажу», — и отошел.

Танцы кончились, и мы с Витей Люшнинным вышли на крыльцо покурить. Рядом курили двое парней. В это время мимо нас прошел тот, кто перед танцами продавал лишние билеты, и, обращаясь к ним, сказал: «Пырнули-таки, сволочи». Он прижимал руку к пальто, чуть выше паха, из-под руки растекалось влажное пятно.

«Кто пырнул?» — «Вот этот». Мимо нас проходили гуськом трое парней, переднего я узнал — он пытался давеча купить билеты.

«Витька — ребят!» — крикнул я и рванул вслед за троицей, в полной уверенности, что друзья раненого меня поддержат. Троица, увидев погоню, побежала. Некоторое время я гнался за ними по улицам, затем мы оказались в каком-то дворе. Один из них вдруг крикнул: «Ребята, он один!» Парни остановились и повернулись ко мне, я тоже остановился. Главарь сунул руку за пазуху и, как в замедленной съемке, стал вытаскивать оттуда что-то длинное и блестящее. «Нож? Штык?» (оказалось, шоферская монтировка, но это я понял потом). Я демонстративно надел на руку трофейный кастет (такие вещи рейдовики иногда оставляли у себя, но я не помню случая, чтобы кого-либо из наших противников ударили кастетом). Троица, направившаяся ко мне, на мгновение остановилась. И тут я услышал крик Люшнина: «Ребята! Они здесь!» Двор заполнился рейдовиками, наши ребята похватили обломки кирпича, устилавшие дворовый асфальт: «Бросай оружие! Убьем!» Главаря передали милиции, потом судили, и он получил свои четыре года.

Вообще-то милиция давно знала о его проделках, но связываться боялась. Вскоре она нам сообщила, что по своим каналам получила информацию — нас собираются бить. Вся окрестная шпана, даже «прописанные» в других клубах, в следующий раз будет ждать нас на выходе. «Чем можем помочь?» Мы ответили, что обойдемся и без помощи милиции: «Не вмешивайтесь и уберите из округа своих людей — отобьемся сами». В институте мы обратились ко всем знакомым — и бывшим рейдовикам, и туристам, и просто к друзьям по учебным группам. Желающих набралось около ста человек. Мы договорились, что наши помощники соберутся группами по десять-пятнадцать человек, незадолго до окончания танцев в клубе, на улицах, прилегающих к нему. Нескольким человек, «не засвеченным» в рейдах, зайдут во время танцев в клуб, чтобы доложить нам обстановку на улице.

Эти разведчики сообщили нам, что около клуба собралась изрядная толпа, кое-кто вооружен арматурой, другие ломают скамейки, вооружаясь кусками реек. После окончания танцев мы, как обычно, группой вышли из здания. Не успели пройти и сотни метров, как раздался крик: «Бей их!» Мы заняли круговую оборону и засвистели в свистки. И тогда из улиц и переулков показались бегущие и оружие группы ребят. Противник был деморализован: шпана разбежалась, бросая палки и арматурины.

* * *

В том году мы решили организовать в патруле лекторий, но за всеми хлопотами удалось прослушать только три лекции. Первую читал Сергей Хахаев. Лекция была посвящена квантовой физике. (Однажды в турпоходе Сергей, который не особенно жаловал подобные мероприятия, так сформулировал свое представление о счастье: «Сидеть в сухом кресле, имея под рукой плитку шоколада и бутылку лимонада, и читать книгу по квантовой физике».)

Вторую лекцию нам прочли наши новые друзья с биофака, она была о генетике, только-только допущенной тогда к обсуждению как один из возможных вариантов биологической теории. Лысенко был еще силен, но кое-что уже было не в его власти.

Наконец, третью лекцию об импрессионизме нам прочел Френкель.

Не обошлось и без внимания комитета комсомола: меня вызвал Никольский и спросил, почему мероприятие проводится без контроля комитета. Я ответил, что являюсь его заместителем по политработе. На этом тема была исчерпана.

Во время сессии, проходя мимо одной из аудиторий, в которой младший курс сдавал «основы философии», я услышал разговор. Одна девочка спросила другую, стоявшую у самых дверей и готовую войти к экзаменаторам: «Маша, ты все выучила?» «Да, — ответила Маша, — ой, девочки, я только не помню, чем отличается материализм от идеализма». Я усмехнулся про себя, но потом сообразил, что и сам не могу сформулировать точно это различие. После раздумий и споров с друзьями я, наконец, пришел к выводу: тот, кто считает, что мироздание подчиняется некоему осознанному целеполаганию, — идеалист, тот же, кто считает, что осознанное целеполагание свойственно только человеку, — материалист. Сейчас я придерживаюсь несколько иной формулировки основного принципа материализма: «Все связи в этом мире

в принципе могут быть верифицированы» (предыдущее определение включается в нее как частный случай).

* * *

После зимних каникул мы отправились на преддипломную практику в Ереван. Мы — это Алла Поташник, Андрей Брайнер и я. Дипломы у всех нас были секретные, пришлось оформлять допуски. Секрет заключался в том, что производство было налажено по краденной схеме. В проекте, который я читал, данные некоторых аппаратов приводились без расчета, с пометкой «взяты обмером».

В Ереван Алла прибыла с высокой температурой, и ей сразу нашлось место в общежитии. Что касается Андрея и меня, то нам велено было обождать. Ожидание затянулось на несколько часов, наверное, комендант просто забыл о нашем существовании. Я отправился на его поиски и, обнаружив, заявил ему: «Я человек советский и ко всему привык, но вот мой товарищ, румын...» Услышав, что поселения ожидает иностранец, комендант забегал, и в мгновение ока нам нашлось место.

Впрочем, комендант оказался хорошим мужиком. Иногда он заходил к нам в комнату с бутылкой вина. На прощанье к нам в гости пришли рабочие из цеха, где мы проходили практику, парни нашего возраста или чуть старше, вместе с комендантом. Тогда я впервые услышал про армянского поэта Чаренца. Меня поразило то, что о нем знали и с интересом говорили простые рабочие. В России ни до этого, ни после я такого не видел.

Нашим гидом в Ереване была девушка из комнаты, куда поселили нашу Аллу, — Эльза Мовсесян. Она водила нас по городу, а если, например, мы перли на красный свет, ругалась «мыканпоч», что по-армянски означало «мышиный хвост».

Ереван расположен в низине, на одной из окружающих его гор посреди парка раньше высилось изваяние Сталина. К нашему приезду статуя уже убрали, но 17-метровый постамент остался. Обойдя постройку, мы увидели дверь и захотели заглянуть внутрь. На всякий случай спросили у стоявшего неподалеку милиционера. «Пожалуйста, — ответил он, — только не вступите в дерьмо». Сквозь открытую дверь мы увидели часть пола, предупреждение оказалось вовсе не фигуральным.

Как раз в это время был принят указ о запрещении содержать домашний скот в черте города, и по окраинам Еревана бродили ишаки с привязанной на шее фанерой; на фанере было написано по-русски: «Ищу работу».

Сдачу в городе давали только в трамваях. Однажды мы остановились у лотка, я хотел купить сигарет. Протянул трешку: «Пачка «Примы» (1 руб. 40 коп.) и коробка спичек (10 коп.)». Мне протянули и то и другое. Я стоял и ждал, продавец удивился: «Чего стоишь?» — «Жду сдачу». — «Нечего покупать, если ты такой бедный. На!» — и бросил на лоток трешку. Я взял деньги, и мы пошли дальше. «А сигареты?» — «Нечего продавать, если ты бедный». Мы пошли дальше, сзади раздался хохот. Смеялись парни, толковавшие до нашего прихода с лотошником. Эльза, узнав про ситуацию, сказала обычное «мыкан-поч», все могло кончиться гораздо хуже: «Не у всех чувство юмора».

Окончание института

Рассуждения милиционера Суровцева. — Защита диплома. Распределение. —
Поход в Карпаты

Подготовка диплома шла своим чередом, рейды — своим. Однажды нас с Сергеем арестовали. Дело было так: мы провожали на Московском вокзале кого-то из девочек (почему и куда ей надо было ехать, я уже не помню). На обратном пути, уже вне вокзала, мы задержали карманника и доставили его в ближайшее отделение милиции, где сдали дежурному. Перед уходом мы услышали, как дежурный офицер разговаривает со старухой, пришедшей узнать что-то о своем сыне. Дежурный прикрыл бабушку отборным матом, и я сделал ему замечание. Тот распорядился, и меня провели внутрь отделения (но не в камеру) и усадили на скамейку. Через некоторое время ко мне присоединился и Сергей. Просидели мы около получаса, затем нас снова вывели наружу и усадили на стулья возле самого выхода из отделения. Дежурный офицер громко поручил курсанту охранять нас и ушел, затем куда-то делся и курсант. Мы продолжали сидеть. Курсант появился снова и предложил нам бежать, мы отказались. Тогда курсант стал объяснять нам, что раньше понедельника (а дело было в субботу) никого из начальства здесь не будет, и мы ушли.

В понедельник я явился в отделение, меня принял его начальник, вернул наши удостоверения, отобранные в субботу, и посоветовал впредь не в свои дела не соваться, если не хотим, чтобы нам «переломали ноги». С тем я и удалился.

На следующий день мы от имени комсомольской организации ЛТИ им.Ленсовета написали письмо в управление милиции. Еще через некоторое время меня вызвал какой-то чин из политуправления по фамилии, кажется, Суровцев. Он сообщил мне, что офицеру объявлен выговор. Когда я сказал, что таких людей в милиции вообще не следует держать, хозяин кабинета протянул мне чистый лист бумаги: «Пишите заявление, и мы назначим вас на его место». Я отказался, заявив, что хочу стать инженером. «Ну вот, вы не хотите работать у нас, другой тоже не хочет. А мы что можем сделать? Уволить его? Не можем. В глубинку отправить? Так здесь он хоть под каким-то контролем, а там, в деревне, он эту бабку убьет, и никто не узнает даже». На том мы и расстались. Встретиться с этим чиновником мне пришлось через много лет в изоляторе КГБ уже после окончания следствия.

В марте нам объявили, что комсомольский патруль преобразуется в народную дружину и нашим начальником назначен майор Комиссаров с военной кафедры. Майор попытался переориентировать нас на наведение порядка в институте — борьбу с курением в неположенных местах. Однажды у меня с ним был разговор на эту тему. «Как я буду останавливать студентов, если Евстропьев ходит по институту с сигаретой?» — «Ну, знаете ли... Сравнили себя с Евстропьевым! Это если бы я сравнил... даже подумал сравнить себя с маршалом... Меня бы в порошок стерли!» От ловли курильщиков мы отказались и продолжали работу в контакте с милицией, как будто ничего не произошло.

В мае нас попросили подежурить в Пушкине. Там в очередной раз произошла драка, в результате которой Сергей получил сапогом в лицо и на некоторое время потерял сознание... Мы с Сиротининым подбежали к нему одновременно. Вовчик остался около Сергея, а я продолжил погоню. Потом мы с ним не раз обсуждали эту ситуацию. Он не мог оставить товарища, а я оказался во власти охотничьего инстинкта.

С Сергеем ничего страшного не случилось, только огромный сникер с черным отливом покрыл половину лица. Мы вернулись в Питер, и Яша Френкель отправился ночевать к Сергею (Серезина мама была диспетчером Ленводопровода и в ту ночь дежурила). Утром, по Яшкиному рассказу, Ксения Ивановна вернулась с работы. Зайдя в комнату и увидев Сергея, она всплеснула руками: «Сереза...» — и опустилась на стул у самой двери. А Сергей ее стал утешать: «Ничего, мама, мы им в следующий раз дадим!»

Весной я опять влюбился, на этот раз в девочку с биофака Ирину Г. Я «покорил ее сердце» (правда, ненадолго), когда после очередного рейда, провожая ее, увидел дерущуюся компанию. Крикнув: «Ирина, на телефон!», я кинулся в гущу дерущихся.

С защитой диплома проблем не было. Распределение мы, я и Дод Каждан, выбрали в пусконаладочную бригаду «Оргнефтезаводы». Контора наша базировалась в Москве и ведала пуском нефтехимических предприятий по всему Союзу. Поскольку для поступления на работу требовалась прописка, мне пришлось в Мурманске прописаться у родителей. (Заказчики предоставляли по месту пусконаладочных работ общежитие или гостиницу, в Москве во время перекомандировок нам оплачивалось проживание в дешевых гостиницах при ВДНХ, но найти там место надо было самому, что было не так просто.)

* * *

Июль 1959 года я провел в походе по Карпатам. Нас было пятеро: Света и Володя Сиротинины, еще две девочки, имена которых я забыл, и я. Горы, покрытые широколиственными лесами, малина и ежевика. О бендеровцах мы слышали и даже кое-что понимали, но никакой враждебности среди местных жителей не видели. Украинские туристы, встреченные нами, ничем не отличались от ленинградских, разве что спели нам шуточную песенку на украинском: «Якись до Карпатів я попав, Боже, скільки ліха я спитав», которую мы немедленно выучили на слух.

На Говерле мы попали в облако, и я заболел ангиной. Как могли, меня разгрузили, сойти с маршрута я не хотел. Так и плелся с температурой под сорок и дальше, заглатывая по паре пачек пенициллина в сутки.

Много позже, уже в зоне, когда я рассказывал про этот поход солагерникам, один из них, Дмитро Верхояк, заинтересовался подробностями — с какой стороны мы поднимались на вершину. «Вот тут-то меня и повязали, тут у нас было пулеметное гнездо».

1 августа я уже был в Москве. С нарывом в горле и без крыши над головой (в Москве у меня жила тетка, но я не озаботился взять ее адрес, да и не очень мне было у нее интересно). Я отправился в гостиницу «Заря», бродил по корпусам — мест нигде не было. Наконец я пустился на хитрость — пошел к главному администратору и сказал ей, что в таком-то номере места есть, но тамошний администратор без санкции главного меня не поселя-

ет и просит позвонить ей. Так я получил на ночь койку. С утра принялся ходить по медучреждениям и всюду слышал: «У вас не московская прописка». В какой-то больнице мне намазали горло, т.е. шею, мазью и забинтовали. Наконец кто-то посоветовал обратиться в платную поликлинику. Там меня приняли. Новокаина под рукой у врача не оказалось, я взвыл и почувствовал облегчение — нарыв был вскрыт, и я побежал искать столовую. (Нарыв не давал мне открывать рот, и я все последнее время питался так: протира́л размоченное печенье через узкую щель между зубами.)

КОГДА ЖЕ ПРИДЕТ НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ?

(Злоумышленник)

Пусконаладка

Как нужно играть в преферанс. — Заводы и жизнь в Уфе и Стерлитамаке. Плановая экономика в действии. — Уфа: аварии с хорошим концом. — Стерлитамак: развлечения в общежитии. — Переименование остановок. — Контроль над бюрократией. — Социализма в СССР не существует!

В положенное время мы с Додом встретились на московском почтамте (единственное место, где мы догадались назначить свидание) и отправились на 14-ю Парковую, на которой размещались «Оргнефтезаводы», место нашей первой работы. Через день мы уже ехали в Уфу, в первую командировку.

Первым моим начальником был некий Токман — заядлый преферансист: он рассказывал, что по-настоящему в преферанс следует играть в черных очках и черных же перчатках; темные очки он иногда надевал во время игры, перчаток не помню. Токман умел нравиться любому начальству; с подчиненными же был вежливо-снисходителен, всякий раз давая понять, кто здесь главный.

За три года моей работы в «Оргнефтезаводах» я ездил в разные города, где запускались нефтехимические цеха. В Уфе и Стерлитамаке мне пришлось побывать дважды. Работа везде была организована одинаково. На пуск мы приезжали еще до завершения монтажа. Это происходило потому, что рапорт о сдаче объекта под пусконаладочные работы подавался на несколько месяцев раньше реального окончания строительства (иногда даже на полгода раньше). Прибыв на место, мы начинали с составления «дефектной ведомости», в которую заносились все отклонения от проекта, препятствовавшие нормальному осуществлению технологического процесса. Много было и таких случаев, когда сам проект игнорировал законы природы и здравый смысл, тогда

приходилось вносить изменения и в проект. Иногда удавалось подавать рацпредложения.

Впрочем, такая возможность возникала не всегда. Например, на одном из заводов, где пускались цеха синтетического каучука, в цеху полимеризации была смонтирована установка для утилизации отходов. Линия (труба) от сборника упиралась в стену... На чертежах было то же самое, ее продолжения за стеной просто не было. Оказалось, проектировщики в следующем цеху забыли спроектировать продолжение процесса.

В Уфе (вернее, в городе-спутнике Уфы Черняховске) я особенно ярко увидел плановую экономику в действии. На заводе еще велся монтаж оборудования. Но функционировало и заводоуправление — шел набор и обучение рабочих. И монтажники, и завод получали план по сдаче металлолома. У монтажников металлолом был: обрезки труб, уголков и всего остального, из чего монтировалась технологическая цепочка. А у заводчан еще ничего не работало и, следовательно, ничего не ломалось, даже то, что было уже смонтировано. Но план есть закон! Сначала выведенные в ночную смену рабочие вместо обучения технологии воровали отходы у монтажников. Те сварили железный сарай и стали прятать отходы металла туда, под замок. Тогда стали воровать еще не смонтированные трубы (их резали автогеном), вентиля и т.д., а иногда и снимать уже установленные. Монтажное управление поставило ночного сторожа. Недалеко от завода шел ремонт трамвайной линии — стали воровать снятые рельсы, ремонтники стали их увозить. Апофеозом всего стала кража 19 новых, подготовленных к установке рельсов, которые заводские рабочие под руководством мастера (члена КПСС, между прочим) уперли ночью и успели разрезать к утру, раньше, чем появились разъяренные трамвайщики. Мастер получил благодарность в приказе за перевыполнение плана по металлолому. Его коллега, честно собиравший на территории куски проволоки, старые скобы и бочки, в том же приказе получил выговор, да еще и подчиненные ему рабочие возмущались его «крохоборством». Самим нам повезло — наладчикам, по крайней мере рядовым, «гнать туфту» не было нужды. У пусконаладчиков есть конкретная задача — вывести цех на технологический режим — и есть жесткие контролеры: заводчане, которым потом надо будет работать в этом режиме. В нашем случае контроль потребителей был реальностью.

Около нашего цеха стоял на ремонте огромный нефтяной резервуар. Как-то теплым летним утром, после ночной смены, в

него забралась парочка. На их беду, ремонт оказался оконченным, утром пришли слесаря и быстро заболтели люк. Сначала «пленники» растерялись, потом было поздно — резервуар снаружи был покрыт толстым слоем теплоизоляции (считай — звукоизоляции). К счастью, мастер, явившийся несколько позже, только что закончил вуз и еще серьезно относился к правилам техники безопасности. Увидев закрытый люк, он поинтересовался, нет ли кого внутри. Слесаря расхохотались: «Кому там быть?!» Мастер, однако, спросил, кто именно проверял резервуар, и приказал открыть люк снова. Слесаря поворчали, но подчинились. На следующий день в проходной висел приказ: «Аппаратчицу такую-то и электрика имярек уволить за аморальное поведение в нефтяном резервуаре номер...»

Осенью произошел другой забавный случай. У дороги валялся еще не смонтированный переход с 600 на 400 мм — две трубы соответствующих диаметров и сварной конус между ними. В конце смены двое рабочих поспорили на пол-литру, можно ли пролезть через эту штуку — один из них полез и застрял. В двенадцать часов ночи под морозящим дождем вокруг застрявшего собралось все заводское начальство. Было принято решение резать трубу автогеном. Один рабочий просовывал между металлом и телом застрявшего куски асбеста, другой поливал разрез водой. После освобождения директор поинтересовался, «куда смотрел мастер», и выяснил, что тот «разбивал» спорщиков — мастер был лишен всех премий и на три месяца переведен в рабочие.

За все время моей работы в пусконаладке на моих глазах не произошло ни одного несчастного случая с трагическим исходом. Но несколько раз только по счастливой случайности обошлось без больших жертв.

С нами работал один инженер, К., которому оставалось года два до пенсии. Однажды он провалился в открытый канализационный люк, доверху заполненный жидкой глиной (дороги между цехами начинали асфальтировать после ввода предприятия в строй). К. раскинул руки и был извлечен из глинистой массы подбежавшими монтажниками. Несколько дней он пел им дифирамбы. Но однажды другие, а может быть, и те же самые монтажники уронили с высоты 52 м плашку весом килограммов в пять. Железина оцарапала правый рукав кожаного пальто К. и чуть ли не на метр ушла в землю. Упав она немного левее, нашего коллегу разрубило бы пополам. Когда мы обсуждали это происшествие, К. все время молчал, а потом вдруг заплакал.

Был случай, когда в печи, подготовленной к запуску, мы обнаружили два баллона с кислородом. Оказалось, монтажники, получавшие сдельно, спрятали от другой бригады про запас кислород, чтобы избежать простоя. Печь и находившиеся рядом уже действующие (т.е. принявшие пожароопасное сырье) цеха, не прояви мы бдительности, взлетели бы на воздух, ну, конечно, и мы сами тоже.

Как-то мы принимали топливный коллектор, систему распределения газа для печей. Дали в него давление воздухом и принялись обмазывать мыльным раствором все сварные швы. Там, где оказывался свищ, мыло пузырилось. Отметив мелом все участки, требовавшие герметизации, подали заявку монтажникам. И вдруг приказ — принять в коллектор топливный газ. Сколько мы ни доказывали нашему начальству, чем чреватые такие фокусы, оно, и без нас понимавшее опасность, приказ не отменило: прибыла комиссия, более страшная, чем взрыв газа.

Приняли газ. Сидим этажом ниже в операторской и гадаем, успеет ли за это время в галерее создаться взрывоопасная концентрация или нет. И слышим громкий хлопок, потом другой. Кинулись наверх. Старший смены опередил всех. Когда я прибежал на галерею, он уже тряс за шиворот какого-то паренька, а тот приговаривал: «Мне велели, мне же велели». Оказалось, что монтажное начальство, не подумав о принятом в коллектор газе, послало парня прибавить пороховым пистолетом, «стреляющим» дюбелями, к бетонной стене электрозаземление.

Однажды гидроударом сорвало П-образный участок трубы весом в пару тонн и отбросило его метров за пятьдесят. Эта история имела юмористическое «продолжение». В нашей квартире в общежитии забился унитаз. Мы обмотали тряпкой палку, чтобы протолкнуть дерьмо, но нам показалось, что нужно подмотать еще. В этот момент появился наш тогдашний начальник Толя Груздев. Укорив нас за неумение справляться с жизненными трудностями, он помянул и «гидроудар, который огромные трубы рвет», после чего рывком задвинул в унитаз нашу конструкцию. В результате дерьмо оказалось у него на лице. «Вот это гидроудар!» — констатировали зрители.

Наверное, в это же время мне рассказали еще об одной аварии, кажется, в Ярославле. В результате какой-то неполадки с заводской территории на дорогу понесло облако хлора. Тут же вызвали «скорую», и всех, попавших в это облако, увезли в больницу, некоторых отпустили сразу после осмотра, кто-то остался лечиться.

Перепуганное заводское начальство выделило средства, и всем пострадавшим выдали пакет с шоколадом, маслом и бутылкой молока. Во время «газовой атаки» в канаве лежал мертвецки пьяный, его тоже подобрала «скорая», отвезла в больницу, где он проснулся, там его осмотрели и отпустили, вручив пакет с продовольствием. Мужик ничего не понял и, стоя около больницы, расспрашивал прохожих, не наступил ли, пока он спал, коммунизм.

* * *

Когда завод в Уфе запустили, нас перебросили в Стерлитамак. Поселили нас в заводском общежитии квартирному типу, и через пару дней появилась комендантша с листками прописки. Первым подошел к ней я. «Имя, фамилия и т.д.», дошла очередь и до пятого пункта — «еврей». В ответ слышим: «Я тут на работе!» Я показываю паспорт, комендантша с удивлением его разглядывает, начинает записывать в листок: «Ев... Нет, как же я буду писать?» Подсказывает Толя Груздев: «Пишите “жид”». Та с сомнением смотрит на него, некоторое время раздумывает, потом вздыхает: «Нет, уж лучше я запишу, как в паспорте».

Через некоторое время мы еще раз перепугали нашу комендантшу. Как-то вечером Груздев прочел в газете заголовок статьи «Вербальная философия Эдварда Карделя», и мы принялись обсуждать слово «вербальный», поскольку из статьи явствовало, что это нечто очень плохое. Сидевший рядом коллега в это время вертел в руках цветной карандаш и под наш разговор написал на тетрадном листке: «Квартира сугубо вербальная», сверху мы написали еще: «Атель Вив», а снизу какое-то трехзначное число. Листок прикрепили с наружной стороны двери и ушли на работу. Вернувшись, бумажки мы не обнаружили, а спустя полчаса в комнату ворвалась комендантша, бросила на стол листок и грозно спросила: «Что это такое?!» Мы ответили: «Пусть висит». Сначала комендантша угрожала нам директором и главным инженером завода, парткомом и даже КГБ (она эту аббревиатуру произносила с испугом). Мы были непреклонны: «Нарисуем и повесим, а вы жалуйтесь хоть Хрущеву». Потом вдруг расплакалась: «У меня же дети, а вы...» Нам самим стало страшновато за эту забитую женщину, готовую с испуга на все.

Не помню, в ком проснулась коммерческая жилка. Мы потребовали занавески на окна, уют и еще что-то, что нам полагалось и было давно обещано, но чего «сейчас нет на складе». И все

появилось немедленно, в обмен на торжественное обещание никаких объявлений больше не вывешивать.

В Стерлитамаке одновременно строились два крупных химических завода. Население было приезжим более чем наполовину, много командировочных. Дороги в городе после любого дождя превращались в глинистую мешанину, а на остановках автобусов разливались огромные лужи. В темное время фонари почти не горели. Автобусы ходили редко и нерегулярно и брались с бою.

Однажды из окна переполненного автобуса мы увидели выбежавшую из дома старушку с огромным узлом, которая со всех ног неслась к остановке. Было совершенно очевидно, что автобус не дожидается ее, да с таким тюком в переполненный салон и не втиснуться. «А бабка-то романтик!» — комментировал Груздев. Некоторое время слово «романтик» употреблялось нами именно в таком значении.

Ранее автобусные остановки носили народные названия: «Лужа», «Болото», «Больница» и т.п. Наконец местный исполком постановил переименовать их в «Первого мая», «Советская», «Мирная» (точные названия я забыл). Естественно, большинство пассажиров было в растерянности. За окном темень, идти пешком по грязи, выйдя не на той остановке, — удовольствие сомнительное. Пассажиры исходили криком: «А как она называлась раньше?», но кондуктор монотонно повторял: «Первомайская». Я тогда еще подумал о том, с каким удовольствием «маленький человек» при всякой возможности пользуется властью ради совершенно бескорыстной возможности уесть другого, который ему ничего плохого и не сделал.

Это подтверждало наши выводы о необходимости постоянного общественного контроля за каждым должностным лицом. Но вопрос о том, хочет ли общество контролировать чиновников, нами даже не ставился. Мы судили по себе и полагали, что это естественно: ведь мы никогда не зачисляли себя в какую бы то ни было аристократию.

* * *

Работая наладчиком, я лишился самого главного — своей рейдовой компании, своего окружения, единомышленников. Оппозиционные шуточки и разговоры тогда вели все, кому не лень, но от шуточек до активного противодействия тому, что считаешь злом, — дистанция огромного размера. Мне казалось, что вся беда в том, что я не умею убедительно сформулировать свои мысли.

Дважды за эти три года ко мне приезжал Сергей. В основном мы обсуждали существующий в СССР строй. Мы уже пришли к мысли, что социализма в СССР не существует и бесклассового общества — тоже. Есть правящий класс — партийно-государственная бюрократия.

К этому времени начали выходить стенограммы партийных съездов и конференций, появились книги Плеханова, Грамши, Лабриолы. Я начал собирать по букинистическим магазинам серию «Утопические социалисты». Сергей в 1961 году поступил заочно на философский факультет университета. В провинции в читальных залах райкомовских библиотек можно было получать старые газеты, не выдававшиеся в Питере без ходатайства организации.

Социалистическая экономика: продолжение знакомства

Стерлитамак. Аз охен-вей, Мойша! — Треп с корреспондентом. —
Ставрополь. «Коммунист из подземелья». — Первые рассказы о «сучьей»
войне. — Уфа. Водопад мата. — Забастовочная ситуация. — Мухарьямов. —
Сестра Зиганшина

Во время следующего пуска в том же Стерлитамаке нас поселили уже в гостинице в двухместных номерах. Мы с Додом жили вместе. Ко всему прочему, еще и готовились к экзаменам в аспирантуру. Коллеги частенько заглядывали к нам насчет спиртного, а узнав, что мы оба не пьем, — с предложением выпить с ними. Посему мы запирались изнутри и не откликались на стук. Толик Груздев, который в отличие от нас, работавших по сменам, пропал на заводе с утра до полуночи, попросил нас дать ему пароль, чтобы можно было ночью прийти поболтать. Поскольку он не пил и интересовался не только преферансом, мы согласились. В качестве пароля было выбрано еврейское выражение «Аз охенвей, Мойша» (в приблизительном переводе с идиш: «Ай-ай-ай, Мойша, — плохи дела!»).

Однажды, когда мы вернулись с работы, нас попросили перейти в номер напротив — в нашем будут морить клопов. В полночь (мы засиживались допоздна) мы услышали знакомые шаги по коридору. Толя подошел к бывшему нашему номеру, тихо постучался и произнес пароль. (Мы наблюдали за ним сквозь приот-

крытую дверь.) Поскольку никто не ответил, он постучал погромче и попробовал приоткрыть дверь. Оказалось, что в нашем прежнем номере успели не только поморить клопов, но и вселить туда новых жильцов. Дверь открылась, и Толя с криком «Аз охен-вей, Мойша!» ворвался к незнакомым людям. По крайней мере один из них оказался евреем.

Груздев выскочил в коридор, и мы моментально затащили его к себе. Новые постояльцы выскочили из номера вслед за ним и недоуменно оглядывали пустой коридор. «Наверное, они решили, что начался погром!» — комментировал Толя их реакцию.

Как-то перед самым пуском Груздев подвел ко мне корреспондента местной газеты: «Объясни ему, что к чему». Один из пусконаладчиков коллекционировал газетные ляпы по поводу ввода в строй новых предприятий (например, у него был такой: «Главный инженер включил рубильник, и ток, набирая скорость, пошел по проводам»), и я решил пополнить его коллекцию. К реактору подходили две трубы — одна сырьевая, другая для продувки воздухом в промежутке между рабочими циклами. Воздушная труба была большего диаметра и ярче окрашена, чем сырьевая. Я подвел корреспондента к воздуходувке и предложил попробовать рукой, как засасывается воздух, указал на линию, тянущуюся к реактору, и сообщил, что на нашем заводе впервые в мире разработан способ получения каучука из воздуха. Дальше шла специальная терминология, которую мой протеже лихорадочно записывал. Тут на мое плечо легла тяжелая лапа моего начальника: «Ты тут развлекаешься, а спросят с меня». Толя дезавуировал мою лекцию и отправился с корреспондентом по цеху сам.

Мною двигало не только желание похулиганить. Мне, как, впрочем, и всем остальным, обрыдла наша пресса с ее бессмысленными «ура!» по любому поводу. При этом пропаганда часто соседствовала с некомпетентностью. Если бы корреспондент попросил меня помочь ему разобраться в некоторых вопросах, которые он не понял, — я бы с удовольствием и честно ему помог. Но он не удосужился приложить хоть какие-то усилия. А с другой стороны, редакция не сочла нужным обратиться к специалисту и за гонорар предложить ему написать серьезную статью. Я никогда не любил халтурщиков. (Впрочем, некомпетентность многих современных журналистов позволяет вспоминать прошлое довольно снисходительно.)

В Стерлитамаке же я слышал быличку: «В одном частном доме была вечеринка, и какой-то девушке не хватило партнера.

Сняв икону, девушка начала танцевать с ней и... окаменела. Приехала милиция, всех похватали и сослали неизвестно куда, камень увезли, дом заколотили, он и до сих пор стоит заколоченный». Через десяток лет я прочел об этом слухе в журнале «Наука и религия», однако быличка была укорочена — о появлении милиции и его последствиях ничего не говорилось. Очевидно, редакция не посчитала эту часть достаточно фантастической.

* * *

После Стерлитамака нас с Кажданом направили в Ставрополь на Волге, который потом переименовали в Тольятти. Мне рассказывали, будто бы голосующие на шоссе бабки спрашивали шоферов: «Милый, до Теляти довезешь?»

Руководил нами Эдик Каминский. Блестящий инженер: когда его будили среди ночи телефонными звонками с завода, немедленно давал ценный совет. Он старался не брать к себе в бригаду членов партии, которых среди рядовых работников пусконаладки было не так уж и много. Его лозунгом было: «Мне коммунизм строить некогда, я занимаюсь пусконаладкой». Начальство, не желая ссориться с хорошим специалистом, как правило, позволяло Каминскому подбирать людей по своему вкусу, но через некоторое время вдогонку посылало какого-нибудь коммуниста.

В Ставрополь прислали Виктора Ш., которого мы очень скоро прозвали «коммунист из подземелья». Это прозвище спровоцировал его же рассказ о том, как он однажды ночевал у проститутки. Ночью к ней явилась милиция: оказалось, что бабенка промышляла еще и скупкой краденого. Рассказчика она перед самым обыском успела спрятать в подпол.

«Наверху милиция, а я лежу, мне неудобно — я же коммунист», — последнее слово Виктор произносил, по-горьковски окая.

К нам его прислали проходить только что принятую тогда новую программу КПСС, ту самую, в которой наступление коммунизма было обещано через двадцать лет, в 1981 году. Собрали всю бригаду, и Ш. начал свое выступление с того, что сообщил нам о предстоящих регулярных занятиях по изучению программы КПСС. Кто-то с места ответил, что мы и сами можем сей предмет освоить — осваиваем же мы технику безопасности индивидуально. Не успел выступавший возразить, как, опять-таки с места, кто-то крикнул, что надо сначала пройти технику безопасности изучения программы. Начался общий балаган. Когда всем

надоело и мы вышли из комнаты покурить, Ш. продолжил рассуждения: «Вы думаете, мне эта программа нужна? Мне она и на ... не нужна, но нам же отчитаться надо, а то не отстанут».

Как-то Виктор начал рассказывать об «одной интересной книжке», автором которой оказался почему-то Вальтер Ульбрихт. Книжка описывала похождения рыцарей. «Может быть, Вальтер Скотт?» — догадался один из слушателей. «А мне один ..., что Вальтер Скотт, что Вальтер Ульбрихт», — ответил «коммунист из подземелья».

В это время г. Куйбышев решили очистить от проституток, и часть из них выслали в Ставрополь. Накрашенные девицы ночевали на скамейках в скверах и парках, приставали к прохожим. Некоторые проникали в гостиницы и общежития. Как-то, вернувшись с работы, мы обнаружили у себя двух таких дам. В четырехместной комнате нас жило трое, четвертым был куйбышевский студент-практикант. Мы решили, что девицы пришли к нему, но парень искренне удивился. Оказалось, что один наш коллега шутки ради послал их в нашу комнату, подсказав даже наши имена.

Коллега этот (фамилию его я забыл) отсидел десятку при «культе» и немало способствовал нашему образованию. От него мы узнали о «сучьей» войне — войне воров «в законе» с ворами, от воровского закона отступившими («суками»). «Выходишь на работу, а на кране человек повешенный качается, — это или вору суку повесили или суки вора».

Воры в законе пытались держать в полном подчинении и остальных эков. Коллега рассказывал и о том, как к ним в зону, где царил воровской закон, прислали большой этап бандеровцев. Те пошли к пахану и попробовали договориться с ворами, чтобы они не трогали политиков, но на следующий день демонстративно был убит политический, не пожелавший делиться посылкой с ворами, вторичные переговоры тоже ни к чему не привели. После очередного убийства бандеровцы подожгли воровской барак, предварительно заколотив его двери; выскакивавших из окон воров бросали обратно. С той поры воровская власть в зоне кончилась.

* * *

В июле нас снова направили в Уфу. Через некоторое время на завод прибыл замначальника нашей конторы Петр Борисович У., превосходный специалист и горький пьяница. Пить он начал после того, как был за что-то исключен из партии. Когда-то в

тридцатые годы он кончал рабфак, чуть ли не вместе с Хрущевым, его коллеги достигли больших высот, кто-то стал замминистра. Когда У. слышал от высоких собеседников укоры по поводу своего пристрастия к алкоголю, он отвечал: «Если бы я не пил, то что бы ты сейчас делал?», имея в виду, что сам он их посты занимал бы, конечно, с большим успехом. В шестидесятые Петра Борисовича в партии восстановили, чем он очень гордился и, по слухам, даже бросил пить.

Из-за прорыва на заводе монтажники еще не были готовы к пуску, поэтому туда понаехала уйма начальства — ревизовать. Толпа двигалась вдоль заводского «проспекта» (на нефтяных заводах из соображения пожарной безопасности оставляются большие промежутки между цехами), Дод и я следовали в хвосте процессии, чтобы начальство в случае чего могло уточнить у нас какую-нибудь конкретику. Далеко впереди сидела бригада рабочих-монтажников и курила (огнеопасных материалов на заводе еще не было, и все курили где попало). Замминистра, предводительствовавший нами, вдруг остановился и, пересыпая речь отборным матом, обратился к главному инженеру управления: «У тебя, ... мать, ни ... не готово к пуску, а люди, ... мать, бездельничают! Сколько идем, а они ... все курят!» Начальник пошел дальше, а обруганный главный обратился к своему подчиненному, обматерил его и побежал догонять шефа. Было интересно наблюдать, как матерная лавина катилась вниз по иерархической лестнице. Процессия между тем двигалась вперед, и, когда мат докатился до мастера, мы поравнялись с сидящей бригадой. Замминистра вежливо поздоровался с рабочими и прошел мимо, то же сделали и все остальные. Только мастер подошел к рабочим и посетовал, что из-за них он получил втык. Бригадир было встал и предложил остальным кончать перекур, но те послали его подальше и продолжали «перекуривать». Мы с Додом представили себе, что случится, если этот бригадир, подойдя к мастеру, пошлет его по тому же адресу и мат начнет подниматься вверх в той же последовательности, в какой он спускался.

* * *

Но далеко не всегда рабочие чувствовали себя так безнаказанно. Иногда и при всей их действительной правоте начальство плевало им в лицо.

В цеху, который нам предстояло пускать, были уже набраны рабочие для обучения. Хотя до пуска было еще далеко, вдруг на-

чало приходиться сырье — каустическая сода, и рабочих заставили носить мешки со щелочью на пятый этаж, поскольку лифты еще не работали. Мало того, не работали и душевые, а до Черняховска надо было ехать около часа в переполненном трамвае. Да и в общежитии, где жило большинство рабочих, душевые работали далеко не всегда. В местной газете появилась статья о нарушении правил техники безопасности на нефтяном заводе, но начальник цеха громко объявил, что недовольные пойдут в отпуск исключительно зимой. Было у него немало и других средств давления, все это отлично понимали. Ведь в отличие от монтажников, имевших профессии, требовавшиеся повсюду, полуобученные операторы нефтехимии, да еще прописанные в общежитии, находились от начальства в полной зависимости.

Однажды я присутствовал при возмущенном разговоре рабочих по этому поводу и высказал свое мнение. Сначала я предложил объявить забастовку, но, увлекшись, перешел к теории о классовом характере существующего в СССР общества и к тому, что только революция может изменить ситуацию, поскольку коммунисты ничего, кроме силы, не понимают. С последним утверждением я согласен и теперь.

Через некоторое время старший технолог цеха отозвал меня в сторону и сообщил, что мною интересовались из КГБ. «Что такое ты говорил рабочим?» Я ответил, что призывал их к забастовке, умолчал о теоретической части своего выступления.

* * *

Через некоторое время мой приятель электрик Рома Рафальсон принес посылку с яблоками — из Сызрани, от родителей. Девочка на местной почте отдала ему эту посылку, сообщив, что извещение куда-то затерялось. «Найдется — оформим». С почтовой работницей у нас были хорошие отношения — мы все получали письма «до востребования» и награждали ее за письмо то конфеткой, то цветком.

Посылку мы уже успели съесть, когда в комнату к Роману в его отсутствие явился парень с извещением, прождал около часу и, не дождавшись, ушел, оставив свой адрес — соседнее общежитие нефтяного института. Естественно, за извещением никто не пошел. Через некоторое время парень этот снова появился у Ромы с тем же извещением (одновременно куда-то исчезла почтовая работница, выдавшая нам злополучную посылку, — ее коллеги сказали, что девушку перевели работать в другое отделение свя-

зи). На этот раз парень Рому застал и даже очаровал — любитель поэзии и философии! Рома и в том и другом разбирался слабо, но порекомендовал меня как большого специалиста. Я на приглашение не откликнулся и в институтское общежитие не пошел. Тогда этот парень (студент Уфимского нефтяного института Фарид Мухарьямов) появился у меня сам.

Я только-только завалился спать, отработав ночную смену, как меня разбудил незнакомый человек. Спросонья я бываю зол, а иногда и груб. Но гость игнорировал мою грубость и даже предложил книгу с грифом «для научных библиотек», это была «История европейской философии» Б.Рассела. Книгу он якобы выпросил у своего преподавателя философии специально для меня. Я сначала отнекивался, но настойчивость посетителя взяла верх.

Через какое-то время ребята собрались в однодневный поход. Недели две шло обсуждение. Я сначала хотел пойти, и мой новый знакомый — тоже (все переговоры велись через Романа). Потом мне расхотелось. Почему-то раздумал идти и Фарид. Я снова захотел в поход, и это же желание проснулось у Фариды. Тут я сообразил, в чем дело, и чуть не ежедневно стал менять свои планы — Мухарьямов менял их синхронно со мной. Потом случилась неожиданная встреча. Фарид поздоровался при мне с какой-то прохожей, та ответила ему как старому знакомому. На мой вопрос «Кто это?» он сказал, что это секретарь райкома комсомола, а затем, спохватившись, понес явную чушь об обстоятельствах их знакомства. Будто бы он выпустил стенгазету, за которую его и вызывали в райком для нахлобучки.

Мы вяло обсудили с Додом, что, по традиции, стукачей следует топить, но от конкретных действий отказались. В походе (скорее это был пикник с ночевкой) мы обсуждали с остальными технические подробности предстоящего пуска.

Через некоторое время Фарид пригласил меня и Дода в ресторан. Там он выставил бутылку коньяка, но пить мы не стали. За соседним столиком сидели молодые люди, с которыми наш «приятель» все время перемигивался, иногда он выходил в туалет, тогда из той компании тоже поднимался кто-нибудь и шел за ним. Ежели бы я и хотел «раскрыть все карты», Фариду некогда было бы меня слушать, настолько увлечен он был перемигиванием и походами в туалет.

Наконец я согласился сходить к нему в общежитие. Фарид угостил меня яблоками, но я отказался есть немые фрукты. Он

ушел на кухню, а я занялся шмоном. Ни стихов, ни книг по философии в его шкафу я не обнаружил, так же, впрочем, как и удостоверений в карманах его пиджака. Когда хозяин вернулся, я попросил разрешения посмотреть его библиотеку, но узнал, что он только что все книги отвез в деревню к родителям. Через полчаса на вопрос, давно ли он видел родителей, я получил ответ: «Почти год назад».

В конце концов Мухарьямов перешел к решительным действиям: предложил создать подпольную организацию. Девочек и «классную» музыку он готов был обеспечить сам. Я тогда в первый, но далеко не в последний раз встретился с ситуацией, когда наши «бойцы невидимого фронта» оказывались в плену у собственной лжи. Они действительно верили, что всякая антипартийная позиция сводится в первую очередь к девочкам и западной музыке.

Я сказал, что нужен еще и художник, чтобы нарисовать красивую вывеску. Но главное, чем я уел своего «опекуна», — была лекция о переводе романа «Война и мир» на язык муравьиных запахов. (Я много читал в то время литературы по семиотике, хотя сам этот термин услышал годы спустя.) Дод, краем уха слушавший мою лекцию, с восторгом изображал, как Фарид пишет очередной отчет. Прочитав, я вернул Фариду книгу Рассела, изрядно перемазанную, так как таскал ее с собой на работу, где и читал в свободное время. Тот искренне возмутился, но я напомнил ему, как пытался отказаться и как, непонятно зачем, он мне ее навязал. От продолжения лекции по «семиотике» он отказался на следующий день. Больше мы уже не встречались.

Года через четыре, на следствии, мне задали вопрос о Мухарьямове, найдя его фамилию в записной книжке. Я ответил: «Вам лучше знать». На следующем допросе, к своему удивлению, я услышал от следователя: «Так за вами, оказывается, еще в Уфе водились грешки!» Этот факт повлиял на мое поведение неожиданным для следователя образом: я понял, что они работают так же, как и все остальные чиновники, — спустя рукава.

* * *

В Уфе я стал свидетелем ситуации, описанной Ильфом и Петровым. В нашем цеху работали два немца — один из ГДР, другой из ФРГ. Когда-то существовало предприятие, конструкторское бюро которого располагалось на территории будущей ГДР, а производство — на территории будущей ФРГ. После раздела Герма-

нии КБ и предприятие сохранили связь. В Союз были поставлены насосы, и курировать их пуск приехали оба немца. Но до пуска оказалось страшно далеко. Как и нас, немцев вызвали заранее. В ночную смену я иногда болтал с ними, используя свои слабые познания в немецком и еще более слабые воспоминания из идиш. Немцы скучали не только в цеху (на «работу» они выходили регулярно), но и вообще в городе. У меня они поинтересовались местными достопримечательностями, я назвал им музей Нестерова, где самое большое собрание его картин, и уфимский балет, очень неплохой. Но немцы тосковали по дансингам, коих в Уфе, конечно, не было. Каждый день они досаждали начальству, требуя работы и даже угрожая разорвать контракт, начальство недоумевало — денюжки, для нашего брата баснословные, немцы получали исправно. Наконец им стали выдавать спирт. Через какое-то время они начали появляться и в цеху сначала в подпитии, потом и изрядно пьяными. Мы запустили свой участок и уехали, а немцы все ждали своей очереди. Как они жили, вернувшись домой, остается только гадать.

Раз уж речь зашла об Ильфе и Петрове, не могу не вспомнить о статье из сызранской газеты, которую Роме Рафальсону прислали его родители. На сызранском вокзале милиционер увидел плачущую женщину; оказалось, что у нее украли чемодан вместе с билетами и документами. В станционном отделении стали составлять акт, и женщина назвала свою фамилию — Зиганшина. На шуточный вопрос, не родственница ли она известного моряка Зиганшина, женщина, всхлипывая, сказала: «Сестра». (Четверо моряков на барже были оторваны от берега, и два месяца их носило по Тихому океану, пока, к ужасу наших властей, их не подобрало американское судно; герои добровольно вернулись в Союз, где их встретили пропагандистским шумом. В народе пели: «Зиганшин — буги, Зиганшин — рок, Зиганшин съел второй сапог!») Милиционеры повезли пострадавшую, предварительно сфотографировавшись с ней, в горисполком, где моментально нашлись деньги на материальную помощь. Там же ей предложили выступить перед гражданами и повезли на какую-то текстильную фабрику. В своем выступлении женщина обмолвилась, что ее брат обещал жениться только на той, кого ему порекомендует сестра. Само собой разумеется, что от желавших предоставить ночлег сестре такой знаменитости отбою не было. На следующий день от тех, чье предложение было принято, в милицию поступило заявление — квартира оказалась обворованной.

Женитьба

Экзамены в аспирантуру. — «За следующую революцию». — Общественный деятель и жених — совместимо ли? — Общежитие как вечный источник смеха. — Моя свадьба. Семья жены. — Встреча с Приставакиным. — Смерть бабушки. Можно ли жениться на гойке?

В конце августа 1962 года мы с Кажданом приехали в Ленинград сдавать экзамены в аспирантуру. Иностранский и философию сдали на пятерки, а по основному предмету получили четыре балла.

В этот приезд я впервые обратил внимание на Ирину Гулевских. Шел по Невскому мимо Гостиного и встретил двух девочек из рейдбригады, одна из них и была Иринка. Она, правда, утверждала потом, что мы познакомились гораздо раньше, когда я еще учился в институте. Она тогда была первокурсницей, а я учился на пятом; мы ходили в какой-то поход и даже совместно дежурили. Но я тогда на эту малявку и внимания не обратил.

Через некоторое время Яшка Френкель сообщил мне, что он «завербовал» двух девочек — Люсю Климанову и Иру.

После экзаменов мы с Додом вернулись в Уфу, где и получили извещение о том, что по конкурсу оба не прошли. В конце октября я узнал, что на ноябрьские праздники в Питер приедут Сиротинины (они уехали по распределению в Красноярск и живут там по сей день). Пуск очередной установки уже кончился, а следующий задерживался. Поэтому я без труда договорился с начальством и поехал в Ленинград на неопределенное время, Дод в случае чего должен был дать мне телеграмму.

Когда я появился у Сергея, где остановились Сиротинины, выяснилось, что ребята решили отправиться в поход и провести праздники в лесу. Соскучившись по Питеру, я пытался отговорить их, но, к счастью, не удалось.

В лес отправился даже Сергей, обычно такие мероприятия игнорировавший. В группе нас было человек пятнадцать, некоторых я уже и не знал или знал поверхностно. На Седьмое ноября устроили привал с «банкетом». Первый тост был за встречу, второй — за революцию. Сергей протянул нам с Сиротиниными свою кружку и добавил: «За следующую!» И тут к нашим кружкам потянулась со своей Иринка. Мы чокнулись и выпили. Так уж случилось, что ночью в палатке мы оказались рядом, и она доверчиво устроилась на моем плече.

На следующий вечер, когда все уже улеглись спать, мы еще долго бродили по лесу. В Ленинграде наши свидания продолжи-

лись. Когда ночью я возвращался к Хахаеву, меня понимающе ни о чем не спрашивали. Надо сказать, при моем появлении в обществе какой-нибудь девушки Сергей очень выразительно «корчил рожу» — Иринка была первая, по поводу которой он не стал этого делать.

Все кончается: где-то на пятый день моего пребывания в Питере пришла телеграмма от Дода — в Уфу собиралось приехать наше московское начальство, и мне надо было срочно уезжать. Мы с Иринкой договорились, что она приедет ко мне в Уфу на зимние каникулы.

Вообще-то у меня возникла серьезная проблема. Иринка была младше меня на четыре с половиной года и казалась мне совсем девчонкой. Я знал, что наши намерения рано или поздно кончатся арестом. Брать на свою ответственность судьбу ее было страшно, хотя против ее участия в нашей деятельности я ничего не имел. Это было, конечно, совсем не логично, но то, что я мог позволить себе в роли общественного деятеля, отличалось от моих представлений об обязанностях жениха.

На зимние каникулы Иринка приехала в Уфу. Много лет спустя я узнал, что к ней приходил Сергей, спрашивал, собирается ли она ехать ко мне, и даже предлагал деньги (он к тому времени уже работал), мне же самому такая проза даже не пришла в голову. Одновременно Сергей посоветовал Ирине хорошо обдумать свою поездку, так как «наши отношения с КГБ могут существенно осложниться».

В Уфе и я заговорил на эту же тему. Я предложил Иринке выйти за меня замуж, предупредив, что «года три мы проживем вместе, а потом, вероятнее всего, меня посадят». Иринка ответила: «Хоть три года, а наши будут», и мы решили подать документы.

* * *

В Уфе я жил в заводском общежитии, в комнате нас было человек пять. Иринка устроилась у Фаины Фатхуллиной (не помню, как я с ней познакомился). К этому времени знакомство Фаины с Додом перешло уже в ухаживание. Года через два они уже были женаты, и Дод мне писал, что, если у них родится сын, его назовут Чингиз-Хаим. Сына они называли Вадиком и счастливо живут по сей день.

Однажды, когда я еще спал после ночной смены, Иринка появилась в нашей комнате и, не желая меня будить, тихонько болтала с теми, кому надо было идти в вечернюю смену. Вдруг по-

явилась комендантша и грозно потребовала объяснений, почему в мужской комнате общежития ночуют посторонние женщины. Тут я и проснулся. Иринка с ребятами пытались объяснить комендантше, что она только пришла, но начальство было неумолимо: «Мне уборщица сказала, что видела ее поздно вечером и сегодня рано утром». При этих словах я встал и в одних трусах (гнев мой пересилил стыдливость) двинулся к комендантше, предупредив, что сейчас спущу ее с лестницы. Не помню, в каком контексте я сказал: «Не ваше дело, с кем я гуляю», и услышал в ответ: «А вот она (жест в сторону Иринки) вечером гуляла с ним (жест в сторону Дода)». Мне стало смешно, да и как-то непривычно было хватать женщину за шиворот, но та несколько оробела: «По мне, пускай ночует, но вот тут одна из Ленинграда тоже ночевала, а потом стулья пропали». С этими словами комендантша удалилась.

В нашей комнате жил приятный во всех отношениях парень Саша Ольгин. Интеллигентный, неплохой инженер по контрольно-измерительным приборам. Он решил изучать во сне английский язык, для чего установил магнитофон с таймером, включившим его часа в три ночи. Среди ночи вся комната просыпалась и слушала перечень слов, которые Ольгин предварительно наговорил на пленку. Одно из них — «би эфрэйд» — я запомнил до сих пор. Динамик был смонтирован на сковороде, которая за ручку крепилась так, чтобы висеть над ольгинским ухом. Первым же утром он врезался головой в эту сковороду, чем и объяснил забвение всего, услышанного во сне. На следующее утро мы опять пытались его экзаменовать и опять безуспешно. Дней через пять нам всем это надоело, и мы обломали провод, не повредив изоляции. Пару дней все спали спокойно, но потом Ольгин обнаружил обман, выпросил у нас еще два дня и на том кончил эксперимент. Ольгин этот сыграл в нашем деле довольно грязную роль, но об этом ниже.

Весной 1962 года мы оказались в Тульской области, в Данкове. Нас послали туда в качестве арбитров — данковский завод никак не мог выйти на проектную мощность. Заводчане винили проектировщиков, те — заводчан. Виноват был завод, поэтому нам не выдали ни документации, ни пропусков. Так и ошивались мы в глухом райцентре. Утром, к девяти, приходили к заводууправлению, через пару минут наш руководитель возвращался оттуда и говорил нам, что до следующего дня мы свободны, «вопрос еще не решен».

Мы решили было, что после практики, летом, Иринка придет ко мне в Данков, чтобы нам там зарегистрироваться, но ее мама настояла на том, чтобы регистрация была в Ленинграде. Документы надо было сдавать заранее, я по телефону сообщил ей все свои паспортные данные, и она сдала документы во время сессии. О том, как ей страшно было идти в загс без жениха, я узнал потом.

* * *

19 апреля 1962 года я снова приехал в Питер, на собственную свадьбу. К моменту моего приезда Сергей оказался в командировке, и хотя он сообщил, что постарается быть на свадьбе, я приуныл. В загс пошли без него, без него сели за свадебный стол. Я ждал — и Сергей не обманул ожидания: в самом начале застолья он появился с огромной коробкой конфет, на которой был изображен Илья Муромец.

Во время торжества я разрывался между Ириной, Сергеем и остальными друзьями, не обращая внимания на старшее поколение. Этот грех мне припоминали очень долго.

Отец Ирины — кубанский казак, участник Первой мировой и Гражданской войн. Когда-то он дружил с Рокоссовским. Был арестован, но через некоторое время освобожден и продолжал службу. С Ириной мамой они познакомились на финской войне, где та была фельдшером. Тимофей Гулевских погиб в первые же дни Отечественной войны, под Бериславом. Он, командир полка, остался с пулеметом на мосту, прикрывая свою отступающую часть. Ирина, родившаяся в январе 41-го года, всю войну пробыла в Ленинграде, где в госпитале работала ее мама. После войны Зинаида Степановна (моя теща) окончила медицинский институт и стала гинекологом.

Каюсь, своих родителей я не пригласил — большинство студенческих свадеб иногородние студенты справляли так. Теперь меня иногда гложет совесть — я сообщил, что женюсь, прислал анкету, стилизованную под анкету отдела кадров, на невесту и ее фото: Иринка в походном одеянии сидела на толстой ветке какого-то дерева. Потом я узнал происхождение этого фото — милиция попросила рейдовиков прочесать местность в поисках какого-то трупа. Выглядела Иринка на этой фотографии очень симпатично, и моя мама каждый раз, глядя на снимок, вспоминала пушкинскую русалку.

Через пару дней после свадьбы мы с женой разъехались: Иринка отправилась на практику в Саки, а я вернулся в Данков. Там особых изменений не произошло, и свободного времени было много.

Я использовал его, посещая местную, не очень богатую, библиотеку. Там оказался десятитомник «Всемирной истории», который я и штудировал. В Данков ко мне приезжал Сергей, и мы опять обсуждали социальные проблемы. К этому времени мы уже решили изложить наши мысли письменно. И у него, и у меня накопилось много материала — почти все прочитанное мы конспектировали.

После Данкова я оказался в Омске, где пробыл месяца два. В июле я ушел в отпуск и подал заявление об увольнении — в августе кончались три года, которые я обязан был по распределению проработать в «Оргнефтезаводах».

С Ириной мы встретились в Москве, где заранее решили провести медовый месяц. Устроились в двухместном номере гостиницы «Заря». Ходили по музеям и театрам, просто гуляли по городу.

С этой гостиницей связан и еще один эпизод. Командировочные по закону платили только при проживании на одном месте не более полугода (в противном случае работа считалась «по постоянному месту жительства»), наши командировки иногда затягивались и на год. Чтобы не терять кадры и не нарушать финансовую дисциплину, нам давали командировку на 6 месяцев, потом перебрасывали на другой объект, но чаще всего просто вызывали в Москву, вручали новое командировочное удостоверение и отправляли назад. Поэтому в Москве мы бывали не раз и останавливались, как правило, в «Заре». Однажды у гостиничной стойки я увидел знакомое лицо — Феликс Приставакин! Он представился дежурной как руководитель делегации донецких шахтеров, возвращавшейся из Франции. Не знаю зачем, я перегнулся через барьер и списал в свой блокнот его адрес (Приставакин меня не заметил). Впоследствии на следствии (извиняюсь за каламбур) мне был задан вопрос: «Откуда вы знаете адрес нашего сотрудника?», на что я ответил, что о его работе в КГБ не имею представления, а общался с ним, когда он занимался комсомольской работой, и вообще, мы кончали один институт. Вернувшись в Ленинград, я узнал, что в

связи с нашим делом Приставакина из органов убрали (сам он, конечно, не мог объяснить своим коллегам этого артефакта с адресом).

* * *

Через некоторое время после свадьбы мама написала мне о смерти бабушки, Иды Берковны. Боюсь, мой брак ускорил ее смерть. Она не хотела, чтобы я женился на русской, — не потому, что считала евреев лучше, а из-за страха перед антисемитизмом: «Если вы когда-нибудь поссоритесь, русская жена скажет тебе — “жидовская морда”».

В августе мы вернулись в Питер. Иринка жила на Петроградской стороне, на Гатчинской (угол Большого), в огромной коммуналке на восемь, кажется, семей, в двадцатидвухметровой комнате. Жила она вместе со своей бабушкой по матери Ксенией Михайловной. Ксения Михайловна, очень мягкая, умная и доброжелательная старушка, относилась ко мне как к родному, и я привыкал к ней.

Зинаида Степановна к моменту нашего знакомства работала в Кронштадте главврачом родильного дома, но собиралась переехать в Питер. Мы поэтому думали уехать в Сибирь, где можно было рассчитывать на получение жилья (Иринке оставался год до получения диплома).

Наша свадьба изменила планы моей тещи — она завербовалась в Норильск, оставив нам жилье и попечение о старой бабушке. Впрочем, первое время не столько мы пеклись о бабушке, сколько она о нас. Вся тяжесть досталась Иринке, когда я уже сидел.

Ленинград. Работа на «Фармаконе»

Техника безопасности. Борьба за сушильный шкаф. — Проблема сообразительств. Конфликт с начальством. — Как у меня сняли часы. —

Элла Матвеевна Познанская и история советской химической науки

Побежав по Ленинграду, я наконец устроился мастером на завод «Фармакон», название которого говорит и о его профиле. После мощных, по моим тогдашним понятиям, оборудованных новейшими приборами и автоматикой нефтехимических заводов «Фар-

макон» казался кустарной мастерской прошлого века. Тяжелые бутылки с реактивами женщины-аппаратчицы таскали на пупу. В этих бутылках были концентрированные кислоты или щелочи. Помню, как одна работница разлила серную кислоту и упала в образовавшуюся лужу. Я попал в отделение, где производили сарколизин, препарат, считавшийся тогда противораковым. У некоторых рабочих он вызывал аллергию — чесотку, настолько сильную, что им приходилось уходить с завода. Через десять лет я узнал, что многие из них умерли от рака.

В одном из помещений цеха стоял сушильный шкаф, в который на кюветах закладывался для сушки сарколизин. В шкаф от вентилятора подавался теплый воздух, выходящий затем через трубу на улицу. Мало того, что мы отравляли окружающую среду, в шкафу (большом фанерном ящике) создавалось избыточное давление, и вредная пыль столбом стояла в помещении. Я предложил начальнику цеха поставить вентилятор между шкафом и окном: тогда и вентиляция сохранялась бы, и в шкафу поддерживалось бы нужное давление, и, главное, пыль из всех щелей этого шкафа не летела бы в помещение, а, наоборот, всасывалась. Начальник согласился. Через неделю я ему напомнил — он обещал, еще через неделю опять то же самое. Прошел и этот срок, я вышел в ночную смену и написал в журнале: «В связи с нарушением техники безопасности запрещаю нахождение рабочих в сушилке». На следующий день мне была оставлена записка с требованием, чтобы после смены я дождался начальства. Я обновил свое запрещение в журнале, а дожидаться не стал: смена кончалась в шесть утра, а начальство приходило к девяти. Утренняя сменщица заинтересовалась причиной конфликта, я объяснил, и она написала в журнал аналогичное распоряжение на свою смену. Когда я пришел на работу, проблема оказалась решенной — на это потребовалось полтора часа и два слесаря.

Мое предложение защищало только рабочих, находившихся в сушилке, окружающую среду оно защитить не могло: воздух после сушила, как и прежде, выбрасывался на улицу. Впрочем, Ленинград мы травили не только этим способом. В цеху в больших количествах применялся цианистый натрий. Жидкость, содержащая этот милый компонент, нейтрализовалась в специальном аппарате, и аппаратчик должен был приносить ее на анализ в лабораторию. После отрицательного анализа на цианиды ее полагалось сливать в канализацию, разбавляя десятикратным коли-

чеством воды. Но дегазационный аппарат не был рассчитан на такое количество, еще задолго до полной нейтрализации подошла следующая порция этой отравы. Поэтому аппаратчик, получив в лаборатории отрицательный результат, подходил к крану, разбавлял пробу водой и снова нес ее в лабораторию, потом, при неблагоприятном анализе, разбавлял снова. Десятикратное разбавление тоже не получалось; стоило открыть побольше водопроводный кран, как на второй этаж переставала подаваться вода, необходимая для ведения процесса. Изменить что-нибудь было невозможно, иначе цех не выполнит план, все останутся без премии, а больные (так считали многие, в том числе и я) — без лекарств. Надо было перестраивать завод, менять помещения, забитые оборудованием с нарушением всех норм, и само оборудование.

А с нас требовали дальнейшего увеличения выпуска. К какой-то дате (кажется, к Всесоюзному совещанию передовиков движения за коммунистический труд) от меня потребовали взять на себя дополнительные обязательства и вступить в движение за этот самый коммунистический труд. Я отказался. Сначала в цеху, потом у главного инженера. Я приводил расчет времени и предлагал либо изменить технологию, либо отстать от меня. Мне объясняли, что никто и не требует от меня увеличения выпуска, с меня требуют только «принять обязательства, а там будет видно». В конце концов я заявил, что привык держать свое слово и не собираюсь обещать невозможное, что к коммунизму я отношусь настолько серьезно, что не намерен называть этим словом бардак, что за всеми высокопарными словесами моих оппонентов кроется элементарная корысть («рабочих травим, а говорим о здоровье людей»), и даже назвал начальника производства Дору Израилевну, годившуюся мне в матери, Дурой Израилевной. От меня отстали и начали собирать компромат.

* * *

Я чуть было не попался на серьезном нарушении дисциплины — уснул на рабочем месте. Спали мы мало, после ночи отоспаться удавалось не всегда (смены менялись раз в неделю). Я дежурил уже не первую ночь, все шло нормально, и я задремал, сидя у стола. Две аппаратчицы вышли в туалет, и тут в цех нагрянула дежурный диспетчер завода. Спал я так крепко, что она сняла с меня часы, чего я даже не почувствовал. В это время аппарат-

чицы вернулись на свое рабочее место. Диспетчер удалилась, а девочки разбудили меня и, ахая и охая, рассказали про часы. Утром диспетчер снова навестила меня, спросила, как идут дела — все шло хорошо, а потом осведомилась, который час. Я ответил, что часы свои оставил дома. Тогда диспетчер положила их передо мной: «А это не ваши?» Я внимательно рассмотрел их и сказал: «Если бы я не был твердо уверен, что свои часы оставил дома, решил бы, что это мои — настолько они похожи. Но я твердо знаю, что мои часы дома». Та рассмеялась, оставила часы на столе, пожурив за нарушение и ушла.

Докладную она не написала. Надо сказать, что во время ночной смены, когда это позволяли обстоятельства и аппаратчицы, даже мастера иногда подремывали. «Валерий Ефимович, вы поглядите, а я покемарю», — обращался ко мне подчиненный и тут же пристраивался подремать. Не на меня одного наваливались днем дела, так что выспаться было трудно, да порой и негде. Многие жили так.

* * *

Была у меня в цеху и защитница, Элла Матвеевна Познанская. В конце мая 1963-го я даже был повышен в должности, стал технологом отделения, вероятнее всего, не без ее содействия. (В этом качестве меня и пытались заставить взять на себя невыполнимые «коммунистические» обязательства.)

На Элле Матвеевне фактически держался весь цех, ибо его начальник Г., кроме партбилета, ничего не имел. Он был плохим организатором, безграмотным инженером и к тому же редкостным дураком. Подобных ему дураков я в жизни встречал трижды. Второй дурак, майор Анненков, был начальником зоны, третий — политзаключенным.

Элла Матвеевна осталась одинокой, ее жениха расстреляли в 1938 году. Она работала в Ленинградском университете, когда началась очередная кампания борьбы с буржуазными влияниями, на этот раз в химии. Опыт сессии ВАСХНИЛ вдохновил жуликов во всех отраслях. В математике раздавались голоса против «перерожденцев, ориентирующих советскую математику на изучение бесконечно малых величин», в химии нехотели приходить к теории резонанса. Элла Матвеевна принесла мне увесистый том стенограмм заседаний Отделения химии АН СССР. Советскую химию спас тогда академик Несмеянов, предложивший, по существу, просто заменить «нехороший» термин другим. Мы говорили

с Эллой Матвеевной о том, как ученые, спасая от «идеологических диверсий» науку, вместе с тем спасали и средневековый режим, пытавшийся превратить любую науку в служанку идеологии: ученых сохраняли, наука продолжала существовать, но выхолащивалась. Элла Матвеевна отказалась играть в эти игры и вылетела из Ленинградского университета, где сначала училась, а потом работала, и оказалась на «Фармаконе», где проработала до пенсии.

Она рассказывала мне о том, как применялся сталинский закон о мелких хищениях. Вместе с ней работала восемнадцатилетняя девушка-лаборантка. В обеденный перерыв она сбегала в магазин и купила мяса. Холодильников тогда не было, мясо «потекло», и девушка не знала, как ей быть, — домой надо было ехать в переполненном транспорте. Кто-то посоветовал ей взять треснувшую химическую чашку, которую не успели выбросить. Девушка сполоснула ее, положила туда мясо и... была задержана на проходной, где был составлен акт на мелкое хищение. Дело передали в прокуратуру. Заведующий кафедрой пытался заступиться за свою работницу, но ему пригрозили ответственностью «за укрывательство». Девушка получила два или три года сталинских лагерей.

«Книжка»

Ее содержание. — Как размножить? — Две встречи: Ольга Берггольц и академик Струмилин

С самого моего появления в Ленинграде мы с Сергеем принялись за обработку собранного материала. Наш опус мы решили назвать так: «От диктатуры бюрократии — к диктатуре пролетариата» (в подзаголовке: «Пути построения коммунизма в СССР», наверное, потому, что слово «социализм» было в наших глазах дискредитировано).

Эпиграфом взяли слова Ленина: «Мы за такую республику, в которой не будет ни полиции, ни армии, ни чиновничества, пользующегося на деле несменяемостью и привилегированной буржуазной платой за труд... Мы за полную выборность, за сменяемость в любое время всех чиновников, за пролетарскую плату им».

Текст начинался словами: «Первое, что поражает человека, вступающего в жизнь в так называемом социалистическом об-

шестве, это громадное количество лжи и лицемерия, которыми пронизана наша действительность». Далее приводились факты несоответствия между официальной пропагандой и действительностью и утверждалось, что ложь не столько обманывает советских граждан, сколько развращает их. «Того, кто решится начать борьбу с этой ложью, ожидают репрессии, тюрьмы и концлагеря». Через три года государственный обвинитель на суде цитировал эти слова как доказательство нашей «клеветнической деятельности».

* * *

Первая глава была посвящена доказательству того, что вся власть в СССР принадлежит классу партийно-государственной бюрократии, который сам себя избирает, назначает и контролирует. (Мы основывались на ленинских определениях понятий «бюрократия» и «класс».)

Во второй главе мы пытались доказать, что СССР и страны «социализма» — вовсе не исключения. Ссылаясь на работу Бернхема «Революция управляющих», мы писали, что тенденции к переходу власти в руки бюрократии проявляются во всем мире. Далее мы цитировали А.Грамши: на определенном этапе развития собственник устраняется от власти и власть переходит в руки «несменяемых и некомпетентных бюрократов, авантюристов и прохвостов». Наш вывод: бюрократическое общество является новой общественно-экономической формацией (как феодализм и капитализм), и мир развивается в этом направлении. Бюрократизм как система побеждает потому, что более прогрессивен, чем капиталистический строй, так как дает возможность организации труда в масштабах всей страны, концентрации всех сил на решающих участках экономики, социальные гарантии трудящимся: государственную организацию медицины и образования при отсутствии кризисов и безработицы. (Уже после лагеря в разговоре с тещей-врачом, тогда еще истовой коммунисткой, на вопрос, почему я не вижу в нашей действительности ничего хорошего, я ответил: «Ну почему же: вот, например, бесплатная медицина!» — и вдруг услышал: «Уж про бесплатную медицину ты не говори!» Оказалось, что хвалить можно было только то, о чем человек не имел никакого представления.)

Третья глава посвящалась истории советского общества. Еще Плеханов, полемизируя с народолюбцами, утверждал, что приход

к власти революционеров до того, как народ будет готов к взятию этой власти, не приведет к народоправству, «а будет обновленной древнекитайской или древнеперуанской деспотией на коммунистической подкладке». Мы приводили цитаты из Ленина и Сталина (разумеется, дореволюционные) о том, что крестьянское большинство России не хочет социализма, и указывали, что даже VI съезд партии (август 1917) отрицал социалистический характер будущей революции. Даже после победы большевиков обобществление крупной собственности не было принципиальным политическим актом, а проводилось в силу экономической необходимости, зачастую по инициативе снизу. Не только в России, но и почти везде во время войн и других катаклизмов государство брало промышленность под свой контроль. Ни Маркс, ни Энгельс не считали подобное вмешательство элементом социализма. Только накал борьбы и необходимость удержания политической власти заставили большевиков взять курс на построение коммунизма в одной стране, что ранее считалось теоретически невозможным. Анализируя резолюции VIII—XI съездов и различных конференций ВКП(б), мы показывали, как Ленин и ЦК постепенно отходили от принципов, изложенных в «Государстве и революции», создавая мощный бюрократический аппарат, стоящий вне контроля не только народа, но и рядовых членов партии. Мы подробно анализировали провал ленинской идеи «партмаксимума» — чтобы зарплата руководителей не превышала зарплату среднего рабочего. (Следователь Елесин спросил у меня потом: «Ронкин, вы же умный человек, неужели вы не понимаете, что этого никто делать и не собирался, просто тогда нужно было голоса получить?» Подобный цинизм меня удивил, но Елесин от дальнейших разговоров на эту тему отказался.)

Мы писали, что ликвидация нэпа была неизбежна, так как правящая коммунистическая бюрократия ни с кем не хотела делить власть. Сталин стал знаменем, вокруг которого сплотилась партбюрократия. Во времена так называемых необоснованных репрессий страдали отдельные бюрократы, но привилегии бюрократии как класса все время росли. Так, при беспощадной чистке армии оклады высшего комсостава за это время выросли в пять раз (речь Ворошилова на XV съезде партии). В эти годы у власти в стране находился не класс в целом, а небольшая его часть, связанная с карательными органами. Однако в конце концов партбюрократия овладела положением и взяла органы КГБ под свой контроль.

Глава кончалась утверждением, что переход к более либеральным методам управления не меняет сути системы и отказ от террористических чисток сталинского времени, слишком ущемлявших интересы самой бюрократии, принципиально ничего не изменил.

В четвертой главе мы писали, что эксплуатация при бюрократизме сводится не только к паразитическому потреблению со стороны бюрократии, чьи доходы тщательно скрываются, — эксплуатация еще и вызывает необходимость содержать громадный репрессивный и пропагандистский аппарат, а кроме того, поддерживает бюрократическую анархию производства. Однопартийную систему мы рассматривали как гарантию и основу устойчивости бюрократической системы.

В бюрократическом обществе господствуют принципы бюрократической иерархии и личной материальной заинтересованности. Оба принципа мы критиковали. Первый — в духе земской теории Солженицына (хотя и не употребляли слова «земство»), второй — в духе Маркса. (Впрочем, и в первом случае мы тоже ссылались на Маркса, который был активным сторонником местного самоуправления.)

Мы анализировали механизмы функционирования бюрократической системы. Бюрократия не выполняет даже тех требований, которые предъявлялись к предпринимателям в 1912 году. Экономика функционирует неэффективно, потребности народа всегда приносятся в жертву интересам бюрократии, что формулируется в официальной прессе как «укрепление могущества государства». Говоря о роли бюрократии в «управлении» наукой, мы вспоминали судьбу генетики и кибернетики.

В главе перечислялись случаи массовых выступлений против существующей системы, приводились примеры бунтов в Муроме, Краснодаре, Темир-Тау, Новочеркасске. Эти эпизоды, по нашему мнению, правдивее отражали отношения народа и власти, чем фальсифицированные результаты выборов.

В пятой главе речь шла о внешней политике СССР: с самого начала для нее был характерен союз с самыми террористическими диктатурами (союз с Атаюрком, с афганской монархией и т.п.), им прощались даже репрессии против собственных коммунистов, если только они поддерживали политику Москвы против Запада. Для бюрократического режима характерно стремление к внешней экспансии (захват Прибалтики, Бессарабии, война с Финляндией, венгерские события 1956 года). Подробно рассмат-

ривали мы и позицию СССР в 1939 году в отношении гитлеровской Германии. Приводились цитаты из речи Молотова на сессии Верховного Совета, где он говорил о Польше как об «уродливом детище Версальского договора», о том, что «гитлеризм — это идея и против нее нельзя бороться силой», о том, что во Второй мировой войне «агрессорами являются Англия и Франция, а Германия — обороняющаяся сторона». Мы утверждали, что бюрократические режимы отнюдь не ликвидируют опасность войн, а, наоборот, порождают их. «Мир стоит перед порогом новых страшных войн, порожденных соперничеством бюрократических государств и их блоков». Например — противостояние и возможное столкновение СССР и Китая.

В шестой главе мы попытались изложить позитивную программу, в основу которой была положена книга Ленина «Государство и революция». Подлинная власть народа и ликвидация эксплуатации возможны только при соблюдении двух принципов — распределение материальных и духовных благ по потребности, уничтожение государства и замена его системой коммун. На первом этапе мы считали возможной и необходимой равную оплату труда (управленческого и непосредственного). Единственной гарантией от превращения управленцев в новый класс мы считали многопартийную систему, так как аппарат, используемый для удержания однопартийности, неминуемо превращается в аппарат охраны бюрократических привилегий. На начальном этапе мы видели возможность полной замены армии и милиции вооруженным народом; что касается КГБ, то эта организация нам представлялась вообще не нужной.

Мы полагали возможным с самого начала перейти на хозрасчетные коммуны, построенные на демократическом внутреннем самоуправлении, при минимальном числе профессиональных управляющих с ограниченными административными полномочиями. Все принципиальные решения должны были приниматься рабочими советами. Существующие колхозы и совхозы мы считали необходимым распустить. Но, поскольку коллективный труд производительнее частного, на их месте добровольно (это мы подчеркивали!) должны были организоваться новые коллективные хозяйства со своими уставами, независимые от государства.

В VII главе провозглашалось отрицательное отношение к буржуазной оппозиции в СССР, а также к реформистской оппозиции внутри КПСС: партию мы считали реакционной, а внутри-

партийную оппозицию — наивной. Себя же мы относили к революционной коммунистической оппозиции. По нашему мнению, и колхозное крестьянство, и современная интеллигенция принадлежали к одному классу — классу наемных работников. Авангардом наемных работников, а следовательно, и общества мы считали не союз единомышленников (партию), в чем видели проявление идеализма, а социальный слой — интеллигенцию. Тем не менее, мы считали, что в условиях диктатуры надо начать с воссоздания революционной партии.

Поскольку своих привилегий никто и никогда добровольно не отдавал, власть бюрократии может быть свергнута «мирным путем, если это будет возможным, силой, если это будет необходимо».

Книга («книжка», как называли ее мы, «программа», как называли ее гэбисты) заканчивалась цитатой из «Коммунистического манифеста»: «Пусть господствующие классы всех стран содрогнутся перед грядущей коммунистической революцией!»

На суде наши обвинители так и не могли выговорить эту цитату, сколь ни крутились вокруг да около. С одной стороны, она безусловно доказывала нашу злокозненность, с другой — отсылала к авторитету, что превращало наши домыслы чуть ли не в пророчество.

* * *

Однажды, когда мы с Сергеем, пристроившись за шкафом, обсуждали наше сочинение, Ирина бабушка включила радио. Передавали пьесу о Марксе. Мы услышали: «Маркс вышел в другую комнату». Я повторил, и мы рассмеялись — настолько наша обстановка отличалась от той, в какой жил «полунищий» Маркс.

Наш труд мы обсуждали с Гаенками. Сиротинины в это время жили в Красноярске, Френкель и его жена Марина распределились в Петропавловск-Камчатский.

Яшка женился на Марине Ивановой с биофака, работавшей в университетском патруле. Ее отец, крупный ученый-биолог, получил Ленинскую премию за открытие нового типа живых организмов — погонофор (самое трудное было написать ту часть работы, где указывалось на практическую пользу его открытия). Несмотря на столь сиятельную родню, Яша распределился к черту на кулички, на Камчатку. Впрочем, пожив там три года с женой и новорожденной дочерью на барже с цементным полом (другого жилья молодым специалистам не предоставили), он вернулся

в Питер. Яшка после женитьбы охладел к политике (хотя когда-то, году в 1961-м, он даже предлагал использовать балкон своей квартиры, точнее — квартиры своего тестя, для совершения теракта против Хрущева). Мы чувствовали, что Марина, не вступавшая в общий разговор при наших визитах к Френкелям, давила на мужа. В спорах он все чаще ссылаясь на ее доводы. В конце концов Яша отошел от нашей компании.

«Книжку» мы решили размножить. Вадик сел за свою допотопную пишущую машинку (позже мы сбросились и купили «Оптиму»). Продолжали размножение фотоспособом, ибо других возможностей у нас не было. Отснятую фотопленку разрезали на две части — с одной печатали Гаенки, с другой мы с Иринкой. Когда бабушка укладывалась спать, мы включали увеличитель и начинали печатать нашу «книжку». Печатать, проявлять и закреплять фототексты мы могли у себя, а сушить их было негде, поэтому на завтра мы в троллейбусе везли к Гаенкам кастрюлю с водой и фотоснимками криминального текста.

Недалеко от дома я случайно встретил свою студенческую пассию, Иру Г. Мы оба обрадовались встрече. Выяснили, что я уже женат, да и она замужем. Я пригласил ее к нам, познакомил с Иринкой, посидели-поболтали, и я пошел ее провожать. Г. в это время уже поступила в аспирантуру, появилась ее публикация — насколько помню, она исследовала биохимические изменения мозга при шизофрении. Провожал долго, сначала Ира объясняла мне суть своей статьи, потом я пытался выяснить ее «политические установки». Начал я издавека, и сначала Ира слушала меня внимательно, но, когда ей стало ясно, куда я клоню, она безо всякого интереса заметила, что такими проблемами интересуются, как правило, шизофреники. Из вежливости мы еще немного поболтали ни о чем и попрощались с нею. Дома меня встретили расстроенная Иринка и Сергей, который ждал моего возвращения уже давно. Снимая пальто, я произнес: «Эти проблемы ее не интересуют». Сергей расхохотался: «Я же тебе говорил, что Валерка ее вербует, — обратился он к моей жене, — а ты волнуешься».

* * *

После мартовской встречи Хрущева с представителями творческой интеллигенции (1963) Сергей предложил мне сходить к Ольге Берггольц («Узнаем подробнее, что у них там было»). Я стал сомневаться, удобно ли это и не прогонит ли нас хозяйка, но

Сергей заявил, что «ничего страшного — она моя тетка», и мы отправились. Уже на подходе к дому Сергей сказал, что поэтесса никакая ему не тетка и он с ней вовсе не знаком. «Я так сказал, чтобы ты не волновался заранее». Я рассмеялся, мы поднялись, кажется, на второй этаж «хрущевки» и позвонили. Дверь открыла маленькая худенькая женщина в домашнем халатике, на кухне сидел кто-то, с кем хозяйка перекинулась парой слов. Нас она дальше малогабаритной прихожей не позвала — разговаривали, стоя около приоткрытой двери.

Сергей начал с того, что, прочитав хрущевские нападки на Эренбурга, мы решили написать ему письмо с выражением поддержки, а к ней пришли за его домашним адресом. «Адрес я вам могу дать, но не знаю, доставит ли ваше письмо ему удовольствие: его переписку, разумеется, читают». Мы спросили, не означают ли выступления Хрущева и Ильичева (тогдашнего секретаря ЦК по идеологии) возврата к сталинизму. Берггольц уверенно заявила, что такой возврат невозможен. «А где гарантии?» — «Гарантии в людях, люди стали другими! Вот Хрущев предложил Твардовскому уйти с поста редактора “Нового мира” “по собственному желанию”, а Твардовский ему ответил: “Вот вам, Никита Сергеевич (Берггольц выставила вперед два кукиша и покрутила ими), снимайте со скандалом, а сам я уходить не собираюсь!”» Потом хозяйка начала прощаться. Адрес Эренбурга мы взяли, но писать ему не стали — засвечиваться лишний раз нам было ни к чему.

* * *

Вторая такая встреча произошла через год с лишним. Я ехал в командировку через Москву, где решил встретиться с академиком Струмилиным. Мой выбор определила его биография: участник социал-демократического движения с 1897 года, первоначально — меньшевик, известный экономист. На объявленную Хрущевым программу перехода к коммунизму он откликнулся статьёй, в которой писал: «Мне глубоко чуждо представление о том, что в коммунизм сначала должны войти руководители и наиболее передовые рабочие, а уж потом, в неопределенном будущем, и вся остальная масса советских граждан» (цитирую по памяти).

Узнав его телефон в справочном бюро, я позвонил, представился инженером из Уфы и попросил о встрече, имевшей целью выяснение некоторых непонятных мне экономических вопросов. На другом конце провода попросили меня подождать минут-

ку. Потом сообщили, что Станислав Густавович ждет меня к такому-то времени; говорящий попросил меня быть точным и продиктовал адрес.

Я пришел заранее. Чтобы убить время, осмотрел двор, уставленный машинами (тогда это было еще редкостью), подивился на лифты (один с парадного, другой с черного хода), нашел указанную квартиру и позвонил. Дверь открыл мужчина лет тридцати пяти, спросил, я ли хотел встретиться, и пропустил в квартиру с высоченными потолками и огромной передней. Он провел меня в кабинет Струмилина, предупредив по дороге, чтобы я не злоупотреблял временем визита, потому что академик стар и плохо себя чувствует.

В кабинете мне навстречу встал очень крупный старик с рыхловатым красным носом, предложил мне садиться, после чего сел и сам. На его груди висел слуховой аппарат, доставивший мне массу волнений — работал он плохо, и мне приходилось постоянно кричать, дверь в кабинет осталась приоткрытой, и все, что я говорил, мог слышать — кто? сын или внук? секретарь? приставленный агент? В конце концов, и тот, и другой, и третий могли реагировать на мои высказывания одним и тем же образом — позвонить куда следует.

А разговор наш постепенно становился все более откровенным. Я поинтересовался, как при плановой экономике возможно перевыполнение этого самого плана. «Для этого необходимо дополнительное сырье, энергия, транспорт — откуда все это возьмется, если планом не предусмотрено, и куда денется? Не может же быть, чтобы все предприятия перевыполнили план в одинаковой мере». И услышал ответ, немало меня удививший: «Я в свое время писал об этом Сталину. Меня даже не посадили, они просто не обратили на меня внимания!» (сказано это было каким-то жалобным тоном). Потом пошла речь о социальной справедливости, новочеркасские события были тогда еще свежи в памяти, и я их упомянул. «Стреляли в рабочих?! Не может быть!» Тут я здорово перепугался, у старика посинело лицо и, как мне показалось, стало худо с сердцем. Я поспешил раскланяться. Струмилин, кряхтя, встал с кресла и пошел меня провожать. Он уже закрыл за мною квартирную дверь и я подошел к перилам, как вдруг дверь снова приоткрылась, академик высунул голову и сказал мне вдогонку: «А все-таки единственным решением может быть многопартийная система». Дверь захлопнулась, и я слышал, как шелкнул запор.

На Кавказе

Мы и традиционный уклад. — Канавы как памятник внешней политики СССР. — Грузины — наши спасители и благодетели. — Абхазская проблема. — Распределение министерских постов

Я забежал вперед — этот разговор был летом следующего, 64-го года. А пока, в июне 63-го, Иринка защитила диплом, я ушел в отпуск, и мы отправились в турпоход на Кавказ. Мы — это Вадик Гаенко, Света Сиротинина, Софа Берлина, Галя Андреева, Иринка и я. Софа и Галя окончили институт вместе с Иринкой, обе активно ходили в рейды (Софа работала в детской комнате милиции). Перед походом мы собрали все наши криминальные тексты, и Вадик закопал их в лесу.

В Орджоникидзе мы прибыли вечером, сели на пригородный автобус, чтобы, выехав за город, поставить палатки и переночевать. Пока ехали, совсем стемнело, и мы, вглядываясь в темноту, обсуждали, где же нам выйти. Один из пассажиров предложил переночевать у него, и мы с радостью согласились. Кем работал наш осетин-благодетель, я уже не помню. После ужина, который молча, не садясь за стол, подавала хозяйка, нам отвели комнату. Меня и Вадика уложили на постель, а трех девочек (со Светой мы должны были встретиться в Орджоникидзе) — на шикарный ковер. Хозяйка положила на пол огромный тяжелый ковер, на него постелила свежее белье, ни разу не наступив на ковер босыми ногами, которые у нее были чище, чем наши головы после дороги, — и опять-таки не произнеся ни единого слова. Мы чувствовали себя не очень удобно и утром, извинившись, поспешили уйти как можно раньше.

Встретив на вокзале Свету, мы отправились осматривать город. Из центра хорошо была видна мечеть, возвышавшаяся над Терekom. Пройти к ней оказалось вовсе не просто, куда мы ни совались — всюду преграждали путь свежевыкопанные канавы. Наконец, форсировав препятствие, мы подошли к мечети. Там оказался краеведческий музей. Экскурсовод рассказала нам и о том, откуда на улицах Орджоникидзе канавы. Эта мечеть, построенная в XIX веке, — точная копия старинной каирской. Тогда, в начале шестидесятых, уже чувствовалось активное заигрывание с арабским миром (тогдашний стишок: «На бреге Нила греет пузо полуфашист-полуэсер Герой Советского Союза Гамаль Абдельна-всех-Насер»). Однажды какая-то арабская делегация решила посетить мечеть и в негодовании покинула ее, узрев на месте

муллы чучело горного козла (прекрасный козел этот хорошо смотрелся на возвышении). Вскоре очередная делегация из тех же краев, увидев здание, опять решила посмотреть достопримечательность поближе. Чтобы не допустить нового международного скандала, городские власти в спешном порядке и возвели фортификационные сооружения, преграждавшие путь к святыне. Через шесть лет Иринка снова побывала там. «Краеведческие» экспонаты из мечети уже убрали, на торжественном месте лежал Коран, были восстановлены все надписи, знаковую роль играл только маятник Фуко, появившийся, кажется, уже после нашего посещения.

Теперь мы были в полном составе, можно отправляться в поход. Маршрут наш проходил через Казбеги, Тбилиси, Сухуми. Иногда пользовались транспортом, но много шли и пешком. По Старой Грузинской дороге шли вдоль реки, то один, то другой крутой берег которой был подмыт, и нам все время приходилось идти вброд по холоднющей воде. У одного из речных поворотов мы решили воспользоваться услугами осла, которого грузинские ребяташки специально для нас перегнали с другого берега. Сначала (на опыте Гали и Иринки) мы убедились, что неопытных пассажиров осла сбрасывают в воду. Тогда было решено послать животное на разведку одного, но ослик уперся и идти в воду не хотел. Вадик, командир похода, обвязавшись веревкой, пошел сам, и его начало затягивать под скалу. Мы его вытянули и долго поддразнивали, сравнивая ослиную способность к прогнозированию с командирской.

Мы решили удалиться от реки, чтобы на каждом повороте не лезть в холодную воду. Двинулись по тропе, которая постепенно уходила все выше и выше. Прошел небольшой дождик, глинистая тропа стала скользкой (шли мы в кедах); слева был крутой откос, справа такой же подъем. Наконец остановились, сложили рюкзаки, усадили на них девочек и стали искать безопасный путь вниз, к реке. Не найдя ничего приемлемого, стали обсуждать ситуацию. Далеко внизу виднелась сакля, в каких летом жили пастухи. Из сакли появилась фигурка, и через какое-то время мы поняли, что человек направляется к нам: мужчина лет за пятьдесят. Подойдя, он взял один из рюкзаков и предложил нам следовать за ним. Это оказалось очень просто, и вскоре мы были на берегу. На вопрос, откуда он узнал, что нам требуется помощь, мужчина, смеясь, ответил: «Пэрвый час смотрю — сыдят, думаю, ага, Капказ нравится! Второй час сыдят, нэ понымаю, зачэм сыдят? Трэтый час сыдят.

Понял — слэзть нэ могут!» А когда мы стали восхищаться его умением ходить по горам, провожатый скромно ответил, что по Тбилиси ходить куда страшнее: «Машины — туда-суда, туда-суда!»

Однажды на горной тропе нам попалась черешня, вся усыпанная ягодами. Мы попрыгали вокруг нависавших веток, но на дерево лезть поленились. В это время на дороге появился всадник, который предложил Гале встать на круп его коня, чтобы достать до ветвей с ягодами. Галя одной рукой держалась за плечо этого благодетеля, другой рвала ягоды. Потом они оба слезли с коня, и мы разговорились. Проезжий объяснял нам дорогу и рассказывал про тропы в горах, по которым на коне не проехать. Мы сказали ему, что видели всадников, которые во весь опор неслись по этим тропам. «Только хепсуры, дикие люди, здесь могут ездить; жалко, вы рано приехали: это они тренируются, а скоро будут скачки!» Слова «дикие люди» он произнес с особым восхищением, как высшую похвалу.

Иное мы слышали про абхазцев. Если кто-то нас плохо принимал или невежливо обходился, грузины с презрением говорили: «Абханак, должно быть!» Про презрительное «абханак» я слышал еще от родителей, которые ездили отдыхать в Сухуми. Мама объясняла: «“Абханак” про абхазцев, это как “жид” про евреев».

За исключением отношения к абхазцам, никакой ксенофобии мы в Грузии не чувствовали. Однажды перед привалом к нам подошли двое парней и предложили остановиться около них, в полукилometре от выбранного нами места. Напуганные разговорами о кавказской агрессивности, мы начали отнекиваться. Через некоторое время явилась вторая делегация. Мы обсудили ситуацию, «все равно, захотят — придут и сюда», Вадик и я поправили финки на поясе и пошли за пастухами. По дороге мы поинтересовались, далеко ли деревня, и, узнав, что близко, решили: пусть Вадим сделает вид, что пошел туда давать телеграмму о нашем местонахождении. Вадик потихоньку отстал, на вопрос пастуха, куда делся мой друг, я ответил, что он пошел давать телеграмму, и в ответ услышал: «Сегодня почта не работает». Пришлось поджидать Вадюшку, чтобы он вслух не объявил о данной им телеграмме.

На стоянке собралось парней двенадцать. Вопреки нашим ожиданиям, за время, проведенное среди них, мы не услышали ни одной скабресной шутки. Когда ребята увидели, что мы собираемся варить кашу, нас стали отговаривать: «Будете сыр есть». Они накормили нас вкусным сыром из овечьего молока и кукурузной

кашей. Мы фотографировали их и обещали прислать фотокарточки. Увы! Пленка эта попала в воду, и все кадры погибли.

Впрочем, в Тбилиси, когда на вокзале мы обсуждали план экскурсии по городу, к нам обратилась пожилая женщина. Извинившись, что случайно нас подслушала, она посоветовала не ходить в какой-то парк: «Сейчас уже вечер, там хулиганы, а вы тем более русские».

В Грузии нам рассказывали, что местная власть, обеспокоенная высокими ценами на фрукты внутри республики, пыталась запретить их вывоз за ее пределы. Грузины об этом говорили так: «Взятку дашь — что хочешь вези, эту взятку ты в Ленинграде оплатишь». Говорилось это сочувственно.

На последнем этапе похода мы шли через какой-то перевал. Дорогу нам преградил снежник. Я в хвосте, беседуя со Светой, помогал ей идти: ботинки у нее скользили по снегу. Вдруг далеко внизу мы увидели Иринку и Вадика. Оказалось, Иринка поскользнулась и начала сползать по снежнику, внизу же торчали камни. Вадька быстро оценил ситуацию, сел на снег, отталкиваясь палкой, помчался наперерез моей жене и успел остановить ее у самых камней, за которыми шел обрыв к речке Бзызь (Иринка в это время была на третьем месяце беременности).

Во время похода кто-то из нас купил мед у «аборигена», и за это получил звание министра внешней торговли. Тот, у кого в рюкзаке хранились йод и бинты, был министром здравоохранения. В дневнике, который мы вели, все эти шуточки описывались. Потом, на следствии, нас вполне серьезно обвиняли в том, что мы «уже делили посты», Впрочем, в конце концов у них хватило ума не включать это в официальное обвинение.

Первые опыты

«Конспиративная квартира» Валерия Смолкина. Появление Мошкова. — Тираж 20 экземпляров. — Рождение Маринки. — Первые читатели. — ВНИИСК. Группа. — Листовки. — Мои «публичные выступления»: лекторий на Литейном и близстоящее здание. — «Пропитые» брюки

Вернувшись из похода, мы откопали нашу нелегальщину и продолжили печатанье «книжки». В это время Сергей, возвращаясь из командировки, случайно встретил в самолете Валерия

Смолкина, некогда участвовавшего в институтских рейдах. После окончания института мы с ним почти не встречались. Оказалось, что отец Валерия получил кафедру в Вильнюсском университете, и родители переехали туда. В ленинградской же трехкомнатной квартире (Железноводская, 34) Валерка жил один. Обсудив это, мы решили, что лучшего места для окончательного тиражирования нашего труда не найти, и отправились к Смолкину. Валерий попросил прочесть то, что мы написали, прочел и согласился предоставить свою квартиру в наше распоряжение. Однако при условии, что сам он никакого участия в этом принимать не будет и даже на время, когда мы печатаем, будет уходить из дома.

Так мы и сделали. Однажды вечером, когда мы с Сергеем, как обычно, сидели за работой при красном свете фотолюбительского фонаря, раздалось шелканье входного замка и в «лаборатории» появился никому из нас не знакомый молодой человек. Ни слова не говоря, он взял из промывной кюветки страничку и принялся читать. Прочитав, промолвил: «Это дело», аккуратно повесил пиджак на спинку кресла, закатал рукава белой рубашки и сел с нами печатать. Незнакомец оказался Сергеем Мошковым, школьным товарищем Валерия. После школы он успел отслужить в армии и в это время учился на четвертом курсе биофака. С «нашими» биофаковцами он знаком не был.

Наконец тираж «книжки» был отпечатан и сброшюрован. Мы сделали чуть больше двадцати экземпляров и начали их «распространять». И тут оказалось, что хотя от чтения никто не отказывался, передавать текст дальше решались далеко не все. Тем более, почти не оказалось желающих помогать нам в дальнейшей деятельности. Правда, мы и сами плохо представляли, в чем она должна заключаться; к тому же о нашем авторстве мы почти никому не говорили («вот достал интересную штуку»).

С Яшкой Френкелем к этому времени мы разошлись окончательно. Однажды он появился у нас с букетом цветов для Иринки, что вовсе было на него не похоже. После общего разговора он отозвал ее в сторону и, как я узнал потом, попросил ее попробовать достать у Зинаиды Степановны фиктивную справку о беременности его жены. Намаявшись в Петропавловске, они решили вернуться в Питер, но тут оказалось, что для восстановления прописки Марине нужно развестись с мужем, прописаться (справка требовалась, чтобы облегчить питерскую прописку), потом зарегистрироваться снова и прописать мужа к себе.

По нашим тогдашним представлениям, и фиктивный развод, и фиктивная справка были вне морали, и Иринка, естественно, отказалась. В следующий Яшин приход я осведомился, что ему еще нужно, и, услышав, что он пришел просто так, поболтать, ехидно добавил: «Так вот почему ты сегодня без цветов!» С тех пор долгое время мы не виделись. Я встретился с ним пару раз уже после моего возвращения из ссылки. Потом его дочь уехала с мужем в Америку, а через некоторое время и Яша с Мариной последовали за ними.

Сиротинины при первой возможности получили нашу брошюру в виде фотопленки и сами ее размножили. Кажется, два экземпляра взяла Люся Климанова и увезла в Саратовскую область, в Шиханы, где она работала после распределения.

В 1963-м я поступил на заочный факультет экономики университета. Вначале слушал лекции аккуратно, но потом, после прибавления семейства, стал посещать их нерегулярно и сессию не сдал, отложив на будущее.

* * *

4 февраля 1964 года у нас родилась дочка, Маринка. Накануне мы посмотрели документальный фильм Марата Гаджиева о вулканах — «В гостях у дьявола». Извержения были засняты так, словно оператор работал прямо в кратере и каменные бомбы ложились рядом с аппаратом. После кино у Ирины начались схватки, и утром они с мамой пошли в роддом. Я был на работе, когда меня вызвала к себе Элла Матвеевна, сообщила новость, поздравила, и я побежал в роддом.

Незадолго перед этим я дал Элле Матвеевне прочесть нашу книжку. Она, в свою очередь, через пару дней принесла мне несколько фолиантов по теоретической химии, которые я из вежливости взял домой, но очень скоро вернул. Элла Матвеевна долго убеждала меня заняться наукой и не связываться с опасным и бесперспективным делом. Особенно настойчиво она стала заговаривать на эту тему после рождения Маринки. Но я отвечал, что в существующих условиях человек обязан прежде всего выполнять свой гражданский долг (впрочем, не любитель громких слов, наверное, тогда я говорил что-то вроде: «Кругом бардак, надо же что-то делать»).

На «Фармаконе» я дал почитать «книжку» еще нескольким людям. Один из них был студент-практикант из Винницы — Тищенко. Он увез с собой данный ему экземпляр, и на следствии

мы узнали, что за полтора года «книжка» наша успела побывать на Украине, Кавказе, в Казахстане и прочло ее немало народу. Другой мой читатель, бригадир электриков Ш., организатор маленькой и победоносной забастовки (электрикам не выплатили премиальные, незаконно придравшись к чему-то), через полтора года после знакомства с «книжкой» вдруг пошел в КГБ и написал заявление, якобы и послужившее поводом для возбуждения нашего уголовного дела. Позднее я узнал, что его вызвали туда уже после нашего ареста, он признался, что «книжку» читал, и его задним числом (дней через десять после ареста) заставили написать это заявление.

Сережка Хахаев показал «книжку» своему дяде, полковнику, преподававшему марксизм в военной академии. Единственным замечанием, насколько я теперь помню, было указание на то, что наше общество не классовое, а скорее сословное. После нашего ареста Сережиного дядю вызвали в ГБ, где он признался в том, что «книжку» видел. После этого его перевели на другую работу: «Чему вы можете обучать курсантов, если своего племянника переубедить не сумели».

* * *

В мае я перешел работать во ВНИИСК (Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетического каучука), откуда через год и два месяца был уволен по статье 47, пункт «д» КЗОТа — в связи с арестом.

Во ВНИИСКе уже работали Валера Смолкин, Веня Иофе и Боря Зеликсон. Вене мы сообщили о нашем авторстве, Боря же о нем узнал только на следствии.

В наш круг вошел и Сережин коллега по НИИ им. Крылова, Юра Беляев. Так создалась общность людей, готовых к политическим действиям. Мы планировали начать с создания законспирированных ячеек и только потом перейти к массовой агитации (обсуждался даже вопрос о том, что мы должны встречаться только по пятеркам, но цена эта показалась нам слишком высокой, так что мы продолжали и собираться на вечеринках, и ходить в походы).

Вместе с тем мы понимали, что без какой-либо деятельности группа просто развалится. В качестве объекта нашей первой листовочной акции мы выбрали студенческий эшелон, отправлявшийся на целину. Отпечатали около сотни листовок, начинавшихся так: «Товарищи студенты! Вы едете на целину». Мы

приветствовали стремление активно участвовать в делах страны и народа. Далее говорилось, что целинники станут свидетелями вопиющей бесхозяйственности и фантастического беспорядка (приводились конкретные примеры того, что они там увидят). «Если вы поинтересуетесь причинами увиденного, вам объяснят это отдельными недостатками отдельных руководителей, но тот факт, что мы заранее можем предсказать вам увиденное, говорит о другом». Потом шло объяснение, говорилось о том, что бюрократизм — не отдельные случаи, а классовая сущность режима, к борьбе с которым мы и призывали.

Мы заранее закупили несколько номеров журнала «Огонек», по несколько коробок с шашками и домино, некоторое количество экземпляров «Государства и революции», где тщательно подчеркнули созвучные нашим взглядам места. В день отправки эшелона мы вложили наши листовки в коробки с играми, журналы и ленинские брошюры, рассредоточились вдоль перрона и перед самым отправлением стали раздавать в окна «подарки от горкома комсомола». В предотъездной суматохе никто не стал открывать коробки и журналы.

Только в конце следствия и на суде выяснилось, какая суматоха поднялась в поезде. Когда руководство узнало про листовки, по радио было приказано все их сносить в штабной вагон. Часть листовок студенты туда и отнесли, но затем из штабного вагона они пропали. Последняя была обнаружена у командира эшелона под самый конец целинной эпопеи — она случайно выпала у него из нагрудного кармана. На суде некоторые студенты, вызванные в качестве свидетелей, отказались нас опознать. Только один готов был опознать всех, хотя увидеть мог лишь одного. На вопрос о содержании листовки «свидетель» ответил: «Там был призыв — не ездите на целину». (Парень этот, проходя к свидетельскому месту, поздоровался с прокурором и даже перекинулся с ним парой слов.)

В этой акции принимали участие Вадик Гаенко, Сергей Хахаев, Юра Беляев и я.

* * *

Следующее распространение листовок мы предприняли осенью, к октябрьским праздникам. Несколько экземпляров листовки Нина Гаенко повесила в коридорах университета. В университете же развешивали их Смолкин с Мошковым. Но большую часть мы решили распространить на туристских слетах. На один

из них отправились Вадик, Сергей и Галя Андреева. На другой — Люся Климанова, Сережа Мошков и я.

Вечером, когда туристы уже забрались в палатки, под морозящим дождиком мы развесили на кустах вокруг палаток полиэтиленовые пакеты с листовками. В листовках мы приветствовали саму Октябрьскую революцию, но вместе с тем писали, что слабый российский пролетариат не сумел удержать в своих руках власть, которую перехватила бюрократия. Предлагали бороться за многопартийную систему как единственную гарантию подлинной демократии и социализма.

Когда мы уже уходили из лагеря, на лесной дороге нам повстречался парень нашего возраста. «Не знаю, узнал он меня или нет, — сказала Люся, — это мой сосед по дому». Вернувшись к палаткам, где уже начался переполох, парень рассказал, что встретил незнакомую компанию. На суде он заявил, что видит подсудимых впервые, а уходя, дружески кивнул Люсе — или нам всем.

Поскольку Сережке и мне часто приходилось вести разговоры о наших делах прилюдно: в библиотеке, транспорте и т.п., — мы договорились зашифровывать наших друзей. Вадька стал Петькой, Юра Беляев (Белка) стал Ежиком, Веня стал Львом (в честь Троцкого). Как называли остальных, я уже не помню.

* * *

Мы довольно часто посещали лекторий на Литейном. Однажды я там даже «выступал». Впрочем, первое мое такое выступление было еще в Уфе. В местном музее проходила встреча с художниками, участниками выставки. Мы с Додом пришли послушать. Начала беседу музейная искусствоведница. Она долго пела дифирамбы одному из участников выставки, который «своим творчеством отражает нашу жизнь». Картины его представляли из себя, как правило, лозунг, занимавший более половины полотна, около которого в неестественных позах застыли «передовики», солдаты или влюбленные. Я спросил, почему наша жизнь в столь большой степени сводится к повторению лозунгов, почему восхваляемый автор не видит людей в веревочных лаптях, столь часто встречаемых в башкирских электричках, и почему все передовики на полотнах выглядят дебилами. Мое выступление было награждено бурными аплодисментами, после чего мы поспешили смыться.

На Литейном мы были с Иринкой, лекция называлась «Культ личности и авторитет руководителя» (первая часть касалась Ста-

лина, вторая — Хрушева). После окончания лекции у выхода из зала я остановил докладчика, чтобы задать ему вопрос. Около нас образовалась толпа. Не помню, как начался разговор, но когда я спросил, как относится лектор к ленинскому принципу «оплата высших чиновников не выше оплаты среднего рабочего», он поинтересовался местом моей работы. Я представился агитатором на общественных началах на фабрике «Большевичка» (по ассоциации с клубом, где мы когда-то патрулировали). «Что-то больно умные у вас рабочие», — проворчал лектор и стал объяснять мне, что Ленин имел в виду царских чиновников, так как при социализме чиновников нет. «Вы что, хотите, чтобы я получал столько же, сколько сантехник?!» Я ответил, что не хочу, ибо тот унитаз, который сантехник поставил десять лет назад, стоит до сих пор, а свою лекцию десятилетней давности лектор сейчас повторить не может, а завтра и эта безнадежно устареет. Тогда он закричал: «Это провокация!», потом, подозвав сотрудника лектория, попросил его «позвонить», а сам встал в дверях. Положение мое было идиотское, но выручили ассоциации с патрулем: «А ну отойди, а то по морде получишь!» Лектор отодвинулся, и мы с Иринкой выскочили на улицу.

* * *

В следующий раз беседовали с лектором Сергей и я. Лекция была о Ближнем Востоке. После лекции мы тоже задержали лектора у выхода и задали ему вопрос о классовой сущности власти в странах «некапиталистического развития» (был тогда такой термин, применявшийся к дружественным СССР диктаторским режимам). Никакого пролетариата там не было, и назвать эти режимы «диктатурой пролетариата» наш собеседник не решился. Он начал что-то объяснять про общенародное государство, но мы парировали цитатой из Маркса, говорившего об абсурдности такого словосочетания. (В те годы считалось, что СССР после окончания эпохи «диктатуры пролетариата» превратился в «общенародное государство», но при этом не были дезавуированы и высказывания Маркса—Ленина относительно этого термина.) Лектор предложил нам продолжить дискуссию на улице; к нам присоединился его друг, тоже лектор, но помладше — самому ему было лет за пятьдесят. Мы вышли на Литейный и направились к Неве. По дороге собеседники согласились с нашим тезисом о диктатуре бюрократии, процветающей в «развивающихся странах», потом мы затронули Албанию, с которой только что испор-

тились отношения и где, согласно нашей прессе, царил произвол. «Ну, не думаю, чтобы Албания успела потерять все завоевания революции», — сказал старший. «А что конкретно ей надо было терять, чтобы превратиться в сегодняшнюю диктатуру Энвера Ходжи?» — на этот наш вопрос оба лектора ответить затруднились. Мы предложили распространить анализ на страны «народной демократии» и СССР. «Мы, кажется, слишком далеко зашли, — сказал старший и показал на Большой дом на Литейном (Управление КГБ), — давайте прощаться». Уже попрощались, и тут он спросил: «А где вы работаете?» Мы расхохотались и ответили: «В номерном ящике!» — теперь расхохотались наши собеседники. «Понимаем, извините за нескромный вопрос, кто вы по профессии?» Мы сказали, что по профессии мы инженеры, но нам явно не поверили.

* * *

Жена решила меня как-то принарядить, и в выходной день мы отправились покупать мне брюки. Зашли на Невском в один магазин, там не было нужного размера, зашли в другой — опять зря, всюду толпа, духота, жара страшная. На Невском встретили нашего институтского приятеля Шниточку (Володю Шнитке). Я говорю Иринке: «Давай эти штаны пропьем!» Зашли в кафе, взяли по рюмке вина, кофе с пирожными, мороженое. Брюки эти я давно бы износил и забыл, а «пирушку» в уютном, прохладном кафе помню до сих пор.

Командировки и попутчики

Железный Шурик. — Аварии. — Светличный в гостях у фермера Гарста. — Бухгалтер на посту председателя колхоза. — Адьютант Троцкого

Работая во ВНИИСКе, я несколько раз ездил в командировки в Ярославль и Ефремово. В Ефремово, кажется впервые в Союзе, пускали завод изопренового синтетического каучука. Курировал лично товарищ Шелепин, Железный Шурик, председатель Комитета госбезопасности СССР. Железным Шуриком Александра Шелепина называли, с одной стороны, в память о Железном Феликсе, с другой — потому, что «шуриками» звали мелких жуликов. Шелепин, курируя очередной технический объект, никого не расстреливал и даже не сажал — он добывал трубы, аппаратуру и все

прочее, необходимое для своевременного пуска предприятия, разумеется, снимая плановые поставки с других объектов. Поскольку считалось, что план — это закон, кому, как не председателю КГБ, было сподручнее нарушать его, так сказать, по традиции.

Однако и Железный Шурик оказался не всемогущ. Почти все было готово, но электрические пускатели соответствующего класса безопасности отсутствовали. Я был на совещании, которое проводил замминистра химической промышленности. Отвечая на вопрос об этих самых пускателях, он заявил, что даст разрешение на установку других, классом безопасности на единицу ниже. Начальник цеха поинтересовался: «Если рванет, кто останется вдовой — моя жена или ваша?», но высокий чиновник его утешил: «Не рванет», — и на этом дискуссия была исчерпана. Во время пуска выбило пробку, и в воздух ударила струя горячего ацетона. Чтобы ее остановить, требовалось выключить насос, но, зная, что пускатели не соответствуют проектным, мы побоялись это сделать — искра могла разнести цех. Кто-то сбегал, позвонил на электрическую подстанцию, и оттуда обесточили цех.

* * *

Во время одной из таких командировок я разговорился в поезде с попутчиком, агрономом из Белоруссии. Он рассказал мне о выступлении на какой-то профессиональной конференции тогдашнего «маяка», председателя процветающего колхоза, Героя Соц. Труда, личного друга Хрущева Светличного. Светличный был послан в Штаты на стажировку к крупному фермеру (тоже приятелю Хрущева), миллионеру Гарсту. Там он должен был пройти все стадии — от разнорабочего до управляющего хозяйством. Жил он в доме Гарстов, начатки английского освоил еще до поездки, дальше совершенствовался в языке по мере «продвижения по службе». Первая работа, на которую определили стажера, заключалась в складировании семенного зерна. Две пары рабочих на площадке, находившейся на уровне кузова, снимали мешки с машины и укладывали их на транспортер, который увозил их в складское помещение. Один из мешков свалился с транспортерной ленты. После окончания работы мешок так и остался лежать под площадкой. На вопрос Светличного коллеги ответили, что им платят только за укладку мешка на ленту. Наш стажер хитрил сам взгромоздить мешок на площадку. Вечером, ужиная с семьей Гарста, на вопрос, как прошел его первый день, Светличный ответил, что ему очень понравились организация и техническая осна-

щенность труда, но он был удивлен тем, что его коллеги так безразлично относятся к хлебу («не платят, так пусть лежит»), и сравнил с этим «наше, советское отношение к народному добру». Гарст поблагодарил его за уложенный на место мешок и добавил: «Однако вы, господин Светличный, противник технического прогресса». На удивленный протест своего гостя американец ответил так: «Представьте себе, вечером, проверяя работу, я вижу валяющийся мешок, рабочие мне объясняют, что он свалился с транспортера, и я в раздражении немедленно звоню в фирму-производитель. Там понимают, что я могу не только отказаться покупать изделия этой фирмы, но и рассказать об этом на собрании фермеров, поэтому они поручат инженерам устранить дефект. А так я вижу, что все в порядке, и, даже узнав о происшествии, не раздражусь настолько, чтобы обратиться в эту фирму. Прогресс остановится».

* * *

Второй рассказ моего попутчика был о еврее-бухгалтере, ставшем председателем колхоза. В эти времена Хрушев, обеспокоенный экономическим хаосом, сменившим относительный прогресс (который, в свою очередь, был вызван эйфорией после XX съезда), начал свои эксперименты. Одним из них была посылка в село для укрепления руководящего звена в сельском хозяйстве горожан, так называемых тридцатитысячников, по аналогии с «двадцатипятидесятниками» периода коллективизации. Но времена с тех пор изменились. Энтузиастов соцстроительства на руководящих должностях уже не оставалось: те, кого не успел уморить Сталин, погибли во время войны. Не знаю, нашлось ли на всю страну двадцать пять добровольцев. Про одного такого мне и рассказал попутчик.

Бухгалтер из Полоцка согласился возглавить отстающий колхоз. Его, конечно, «выбрали»: о том, как в колхозах «выбирали» председателей, было хорошо известно. Мне рассказывал об этом Олег Трубников, мой товарищ по Техноложке и по народной дружине, который до института был освобожденным комсомольским работником районного масштаба (секретарем, что ли) в сельской местности: в большинстве случаев крестьяне «единогласно одобряют» райкомовскую кандидатуру. Бывали, однако, и исключения. В этих случаях в ход пускали милицию, которая арестовывала каждую приватную курицу или корову, ступившую на колхозную землю. А если и это не сразу помогало, дорожники начинали одновременный ремонт всех мостов, блокируя непо-

корную деревню. (Это уже при Хрущеве; при Сталине такое неподчинение грозило лагерем.)

Итак, бухгалтер стал председателем, неведь каким по счету в этом колхозе, уже давно разваленном. Крестьяне, кроме «палочек» (отметок в ведомости) за трудодни, ничего не получали. Разумеется, и работали они на «общественной» земле с соответствующим усердием.

Новый председатель начал с того, что на средства из так называемого неделимого фонда (фонда, который при некоторой ловкости начальство могло пропить, но никак не могло использовать для оплаты трудодней) купил две дерьмовозки. Таким образом колхоз получил немного денег и бесплатное удобрение. Деньги раздали крестьянам, и те от удивления стали работать. Весной председатель появился в Минском сельхозинституте, поговорил с выпускниками и уговорил одного агронома и одного зоотехника распределиться в захудалый колхоз, объяснив им, что он, председатель, в сельском хозяйстве ничего не понимает и вмешиваться не собирается, зато он умеет считать деньги.

Колхоз пошел в гору, его все чаще стали приводить в пример на районных и даже областных совещаниях, но тут настала эпоха внедрения кукурузы. Несмотря на все указания вышестоящего начальства, бывший бухгалтер сеять кукурузу отказался: «Я вызвал зоотехника и агронома, посчитал количество кормов и себестоимость и пришел к выводу, что в нашем климате кукуруза нерентабельна. Я всю жизнь просиживал штаны в городе и хотел настоящего дела, а играть в такие игры не собираюсь». Мужика уволили, и все вернулось на круги своя — он вернулся в Полоцк, ушли и молодые специалисты, а колхоз снова начал загибаться.

* * *

Вагонный разговор с другим попутчиком оказался не менее интересным. Я дремал на верхней полке, напротив меня лежала девушка-студентка, подо мною — пожилой мужчина. Проснувшись, я услышал разговор. Пожилой мужчина объяснял девушке: «Вы думаете, культ личности начался в 38-м году? Нет, он начался гораздо раньше...» Я сверху вставил: «По-моему, он начался в 21-м, когда на X съезде было принято постановление, осуждавшее фракционную деятельность». Моя реплика изумила попутчика: «Разве теперь молодежь интересуется такими вещами?» (Девушке действительно «такие вещи» были не особенно инте-

ресны.) Мы немного поболтали в вагоне, затем вышли в тамбур покурить. Мой спутник был арестован в 32-м, освобожден после смерти Сталина. В Гражданскую войну он был адъютантом Троцкого, потом убежденным троцкистом. Первый раз был арестован четырнадцатилетним пацаном за то, что расклеивал с приятелями антивоенные листовки, в полиции их продержали несколько часов, потом отдали родителям, посоветовав хорошенько высечь. В 1934 году на зону, где сидел мой попутчик, прибыли пацаны такого же возраста с десятилетними сроками, посадили их за то, что в курилке ФЗУ кто-то предположил, что инициатором убийства Кирова мог быть сам Сталин. Из рассказов о Троцком я запомнил один эпизод. Троцкий со своим адъютантом (моим собеседником) входят в какой-то дом. Там пьяные красноармейцы. Один из них сидит, положив ноги на пианино, и барабанит по клавишам, другие насилуют хозяйку и ее дочь. Троцкий вынул маузер, перестрелял пьяных, после чего они с адъютантом ушли, оставив трупы хозяевам.

Я упрекнул его, что их поколение почти ничего не оставило нашему, «хотя бы схему устройства гектографа». Он ответил, что устройства не знает, а если бы и знал — не передал бы. «Я постепенно перестал быть марксистом, — заключил бывший адъютант, — теперь мне ближе Лев Толстой — надо совершенствоваться самому, а не пытаться переделывать мир».

«Колокол»

«Мальчик из Уржума» как пособие по изготовлению копировальной техники. — Первый номер. — Почему «Колокол»? — Почему Союз Коммунаров? — Первые три номера. — Служка. — Три версии провала

А все-таки мы не оставляли попыток наладить печатную технику. Не первые и не последние, мы обратились к книжке «Мальчик из Уржума» (о том же Кирове), в которой описывалось устройство гектографа. Но, увы, там шла речь о копировании рукописных текстов — в наше время это означало немедленную деконспирацию. (В 1974 году моей дочке-третьекласснице за хорошую успеваемость в школе подарили «Мальчика из Уржума» в новом издании; в нем описание конструкции гектографа было уже опущено.) Но Сергей Хахаев как-то увидел в букинистическом магазине справочник кустаря, изданный еще в начале

нэпа. В книжке этой было абсолютно все: а) абажуры (изготовление), б) ботинки, в) воронение револьверных стволов. Было там и описание множительных устройств. Для работы одного из них требовался желатин. В то время я проводил исследование во ВНИИСКе и выписал килограмм этого вещества. Теоретически он мог быть использован в производстве, но было ясно, что тогда себестоимость станет много выше, чем при применении других веществ. (В итоговом отчете я так и написал.) Мне удалось получить нужную подпись, и мы начали эксперименты. Следствие потом констатировало, что нам удалось сделать «печатное устройство низкого качества», — времени на окончание исследовательских работ нам не дали.

* * *

В марте 1965 года мы решили начать издание журнала. Мы хорошо запомнили и ленинское высказывание — «газета не только политический агитатор, но и организатор»; мысль верная, если, конечно, речь идет не о «СПИД-Инфо».

После некоторых споров журналу дали имя «Колокол», а чтобы подчеркнуть преемственность, Валя Чикатуева сделала линолеумное клише, скопировав рисунок иллюстрации, изображавшей обложку герценовского издания. Валя кончила химфак Саратовского университета в 1961 году и некоторое время работала в Шиханах вместе с Люсей Климановой, которая и дала ей прочитать нашу «книжку». К этому времени, желая оказаться поближе к нам, Валя устроилась на работу в Морозовке и жила в общежитии. В Питер она приезжала при каждой возможности.

Первый номер нашего «Колокола» вышел в апреле 1965 года. Мы присвоили ему номер 23, отнюдь не ради форса, а только в целях конспирации.

Журнал мы назвали «орган Союза Коммунаров». Мы нисколько не сомневались в том, что наша дружеская компания — никакая не организация (позднее, на суде, об этом распространялся Мошков, протестуя против вменения нам ст.72 УК РСФСР — «участие в организации»), но, по нашим тогдашним представлениям, всякое издание должно было иметь своего «учредителя». Нам импонировали рабочие Советы, якобы процветавшие в Югославии, но однопартийная система, монопольное положение Союза коммунистов Югославии противоречили нашим взглядам. Поэтому мы выбрали слово «коммунары», тем более что Парижская коммуна была многопартийной.

В первом номере было четыре статьи, подписанные псевдонимами. Начинаясь он со статьи Хахаева «Первые шаги нового правительства» (речь шла о правительстве Брежнева, полгода назад сменившего Хрущева). Смещение Хрущева, писал Сергей, произошло потому, что бюрократии надоели его непредсказуемость и некоторые попытки ограничить ее привилегии. Говорилось и о хрущевском сокращении армии, и о фактической дискредитации им КГБ, и об ограничениях, которым подверглась мелкая бюрократия в том, что касалось использования служебного транспорта в личных целях (об отмене этих ограничений Косыгин заявил почти на следующий день после снятия Хрущева). Положительно оценивал Сергей и продекларированный Хрущевым отказ от планирования в сельском хозяйстве.

Вторую статью написал Смолкин: «О подлинном и мнимом величии Ленина», название говорит само за себя. В третьей статье, «О пролетарском интернационализме», я доказывал, что ленинская политика интернационализма Сталиным, т.е. бюрократией, была превращена в политику целиком имперскую, каковой она и остается. Я приводил примеры сталинских депортаций целых республик и утверждал, что вместо помощи трудящимся внешняя политика СССР направлена на поддержку реакционных антинародных диктатур. В качестве символического примера я приводил закладку памятника Суворову на площади Коммуны — это было издевательством над коммунарами, которые свергли Вандомскую колонну, прославлявшую завоевательную политику Наполеона.

Кончался номер рубрикой «Кто управляет государством». Статья в ней, тоже моя, была посвящена биографии Косыгина. Начиная с директора завода и до председателя Госплана, Косыгин занимал посты вслед за расстрелом предыдущего функционера, преодолевая иерархическую лестницу буквально по трупам.

Второй, майский номер начинался моей статьей «Лавирование или поворот?», в которой анализировалась речь Брежнева на торжественном заседании, посвященном Дню Победы. В этой речи снова, впервые после XXII съезда КПСС, в положительном контексте всплыло имя Сталина, каждый раз вызывавшее «бурные и продолжительные аплодисменты». Мы уже отлично понимали, что «аплодисменты» и эпитеты, к ним прилагаемые, означают вовсе не констатацию факта, они указывают на то, как советские граждане должны воспринимать соответствующее высказывание.

Вторая статья, «О многопартийной системе», написанная то ли Сергеем, то ли нами совместно, была о том, что внутрипартийная демократия при однопартийной системе не может не привести к возникновению фракций, поскольку инакомыслящие начнут объединяться, а фракции через какое-то время превратятся в партии, конкурирующие на выборах на высшие партийные посты. Таким образом, широкая внутрипартийная демократия постепенно создаст многопартийную систему (что и произошло в эпоху «гласности»).

Третья статья — моя, «О так называемом некапиталистическом пути развития» (как и в первом номере, речь шла о дружественных СССР диктаторских режимах и их классовой структуре).

Номер кончался биографией Сулова. Я привел цитаты из его выступлений разных лет, отражающие все «колебания» внешней и внутренней политики партии. Статья кончалась фразой: «Советские граждане могут быть уверены, что и впредь Михаил Андреевич будет столь же проникновенен, как и ранее». Эта последняя фраза почему-то особенно возмутила моего следователя Елесина, который привел мне ее как пример явной клеветы. Как рассказывали нам адвокаты, недоволен был и сам Сулов.

В это время я встретил старую рейдовичку Иру К., которая года два как кончила институт и работала, кажется, на Урале. Я начал разговор о политике и поделился своими взглядами на руководящий состав партии. Ира К. на это мне ответила: «Готова согласиться, что каждый из них в отдельности подонок, но все вместе они представляют ленинское Политбюро, которому я как комсомолка обязана подчиняться». Тогда такой ответ показался мне настолько нелогичным, что я даже усомнился в ее искренности. Впоследствии я понял, что ничего особенного в этом нет — люди могли знать, что папа и кардиналы развратничают, а попы занимаются доносами, но для верующего Церковь все равно остается непорочной невестой Христа.

Июньский номер мы только начали готовить. Веня написал две статьи — «Об избирательной системе» и «О реформах». Во второй речь шла о попытках (еще при Хрущеве) начать реформы в сельском хозяйстве и о том, как эти реформы продолжились при Брежнев. Как известно, в качестве экспериментальной базы Хрущев выбрал совхоз в Казахстане, руководить которым приехал из Москвы энтузиаст реформы экономист Худенко. Ему разрешили активно проводить принцип материальной заинтере-

сованности. Веня предрекал подопытному кролику Худенко плохой конец, указывая на несовместимость такого рода реформ с интересами бюрократии как класса. (Действительность превзошла самые худшие прогнозы: Худенко был обвинен в нарушении финансовой дисциплины, осужден на длительный срок и умер в лагере.)

Я написал для этого номера статью «Куда ведут следы». Это был ответ на публикацию «Литературки» «Следы ведут в заповедник», в которой рассказывалось о том, как местные бюрократы районного масштаба занимались браконьерством. Остановленные лесником, они стреляли в него (при свидетелях!) — но остались безнаказанными. Мой вывод был таким: это — не отдельный эпизод. Поскольку государственная собственность в СССР вовсе не «общенародная», а корпоративная, т.е. коллективная собственность бюрократии, то вся коллизия сводится к тому, что некоторые ее представители «не по чину берут», при этом жизнь лесника в расчет не принимается.

Но этот номер «Колокола» уже не вышел: нас арестовали.

* * *

Дома, где мы были на виду и у соседей, и у родных, встречаться для передачи нелегалыщины было неудобно, и я приспособил для этих целей недорогое уютное кафе «Ландыш» на Петроградской стороне.

Незадолго до ареста к нам домой явился мой приятель по пусконаладке Саша Ольгин, получивший путевку в один из санаториев под Ленинградом. Я дал посмотреть ему «книжку», Саша сказал, что политика его не интересует, но вот в Колпино у него живет школьный друг, капитан милиции, который тоже интересуется этими проблемами, и дал мне его адрес. Ольгина после этого я не видел. Я попытался проверить «капитана милиции» по спецпаролю. (Такой пароль, обычно название города, ежедневно давался во все отделения, чтобы по телефону можно было проверить, соответствуют ли показания задержанного его реальным паспортным данным.) Мне ответили что-то вроде: «на лиц данной категории справок не даем». Мы всесторонне обсудили все «за» и «против». В конце концов наше желание выйти на новый круг знакомств пересилило опасения, — мы решили, что к «данной категории» может относиться не только гэбист, но и милиционер, — и я зашел к нему домой, а потом он появился у нас в гостях. Я дал ему нашу книжку и еще купленный в букинисти-

ческом стенографический отчет знаменитой сессии ВАСХНИЛ 1948 года, на которой громили генетику. Больше мы ни той, ни другой не видели.

Уже после лагеря, когда я работал в Луге, а Иринка с детьми еще жила в Питере, я встретил около нашего дома на Гатчинской этого «капитана», который оказался там якобы случайно. Мне эта случайность очень не понравилась, и я отделался общими фразами, но про стенографический отчет спросил. Он сказал, что потерял, и на этом мы расстались.

Как выяснилось значительно позже, «капитан милиции» оказался-таки капитаном КГБ, а Ольгин был специально отправлен в Ленинград для встречи со мной и организации этого знакомства.

Незадолго до ареста я заметил за собой слезку. Однажды на Московском проспекте мне нужно было пересест с автобуса на трамвай. Вместе со мной из автобуса вышел человек, на которого я почему-то обратил внимания. Увидев приближающийся трамвай, я перешел проезжую часть к трамвайной остановке, тот сделал то же самое. Рассмотрев номер, я сообразил, что трамвай идет не туда, и не полез в него. Подозрительный тип тоже остановился. Я вернулся на автобусную остановку, он последовал за мной. Мы оба сели в первый подошедший автобус, но в последнюю минуту я выскочил, а он не успел. Я видел, как он рванул к двери.

Однажды на Невском ко мне подошел Валя Л. Он сказал, что нам нужно серьезно поговорить, но в этот момент я спешил, и мы перенесли встречу на завтра. Но Л. так и не появился.

Валя был парень неплохой, ходил с нами в рейды и походы, но назвать его умным не решился бы даже лучший его доброжелатель. Жена его Света, напротив, была девочка очень умная. Ей я и дал прочитать нашу «книжку», предупредив, чтобы мужу своему она ее не показывала. Так Света и сделала, но через некоторое время к ней попал от Бори Зеликсона другой экземпляр. (Она мне сказала, что, «оказывается, этих книжек уйма, я вот еще одну видела».) Очевидно, этот экземпляр она мужу все-таки показала. Уже после срока, вернувшись в Ленинград, я узнал, что Валя явился с этой книжкой на политинформацию в Техноложку, где он тогда работал, и предложил начать дискуссию. В деле имелись чьи-то показания о том, что книгу он читал, но его допросов там не было. После нашего ареста он перешел во ВНИИСК с повышением (оттуда были четверо из девяти арестованных и уйма народа проходила как свидетели). На новом месте работы он наткнул-

ся на откровенный бойкот, попытался вернуться на свою кафедру в Техноложке, но ее заведующий, кажется, Багал, сказал Л.: «У меня и так стукачей достаточно». Со Светой они разошлись, Валя уехал куда-то и, по слухам, сел за пьяную драку.

Наверное, после выступления Л. на политинформации им заинтересовались в КГБ. Немедленно после беседы с ними он хотел меня предупредить, а на следующий день не решился. Такова вторая версия нашего провала. Вероятнее всего, одна не исключает другую, но мне сейчас трудно сопоставить даты и ситуации.

Наконец, уже во время перестройки появилась еще одна версия. У Смолкиных жила домработница, ставшая почти членом их семьи. После отъезда Валеркиных родителей в Вильнюс она вела нехитрое его хозяйство. В комнату, где мы печатали нашу книжку, она не входила, знала, что приходим мы по разрешению хозяина, и делами нашими, вроде бы, не интересовалась. От нее КГБ якобы и получило первый донос. Во всяком случае, после нашего ареста она некоторое время оставалась в их квартире на Васильевском, а вскоре получила жилье в Питере.

Арест

**Третья листовка. Пиротехники. — Слежка. — Арест пропагандиста. —
Тридцать два обыска. — «Они?» — Судьба экземпляров**

Через несколько дней, как и год назад, отходил целинный эшелон. Мы и на этот раз решили снабдить его листовками. Понимая, что нас будут ждать, мы решили применить новый трюк. Были изготовлены два цилиндра с прорезями у заделанного основания. В цилиндры решили насыпать порох, вставить пыж, а сверху положить пакет листовок.

План наш состоял в том, чтобы вставить в цилиндр лампочку от фонарика с удаленным стеклом, а батарейки подсоединить через будильники, заранее установив время пуска. Потом, установив «пушки» и все остальное в рюкзаки, потихоньку оставить все это на платформе около эшелона и уйти. «Пушка» наша прошла полевые испытания и исправно выбросила пакет довольно высоко. Правда, порох поджигался спичкой, а не часовым механизмом.

Слежку стал замечать не только я. Однажды мы встретились с кем-то из тех, кому я давал читать «книжку» или «Колокол». Он

сказал мне, что по дороге заметил за собой «хвост». Вовсе не из соображений конспирации, а по привычке мы заглянули в книжный магазин. На выходе приятель сказал мне: «Смотри, вот этот ходит за мной».

В четверг мы отправили Маринку с яслями на дачу, надеясь следующее воскресенье провести как молодожены. У нас были даже дефицитные билеты на выставку «Архитектура США».

В пятницу 11 июня мы собрались у Вадика на ул. Ракова (ныне Итальянская). Его мама тогда работала в техникуме, который и предоставил им квартиру. Обсудив ситуацию со слезкой, мы пришли к выводу, что все это результат самовнушения. На предложение опять закопать все в лесу Вадик ответил: «Закапывать да откапывать, так и дело делать будет некогда». Порешили, что все закопаем перед отпуском (мы собирались в турпоход по Карельской АССР, к Бесовым Следкам), а пока нечего паниковать.

Во время разговора вошла Нина, которая до этого возилась на кухне. Обозвала нас дураками и захлопнула открытое окно, выходящее в техникумовский двор. «Смотрите, там еще какая-то машина, я ее здесь раньше не видела». Но в этом месте обрывается гэбистская запись, которую каждому из нас предъявляли на следствии как показания кого-то из участников беседы. В следственное дело этот текст, однако, не вошел — материалы, полученные оперативным путем, на суде фигурировать не должны.

* * *

12 июня, в субботу, к нам в комнату заглянула испуганная соседка: «К вам пришли». Было около шести утра, но будильник еще не прозвенел (суббота была тогда рабочим днем). Мы сразу всё поняли. В комнату, оттолкнув соседку, ворвалась толпа — человек восемь. «Оружие есть?» Я пододвинул к спрашивавшему столовый нож, оставшийся на столе с вечера. «Не валяйте дурака!» Мне предложили одеваться и идти, но я решил позавтракать. Иринка под конвоем пошла на кухню. В комнату заглянула моя теща, которая приехала в отпуск и ночевала у соседки, так как у нас не было места. Иринка поджарила мясо, я его для виду пожевал, поцеловал плачущую жену и вышел. Меня сопровождали трое в штатском. Спускаясь по лестнице, я честно сжевал какой-то адрес. Меня усадили, кажется в «Москвич», штатские сели, двое по бокам, один к шоферу, и мы поехали.

У меня нашли немного — письмо Раскольниковова и стенограмму суда над И.Бродским.

Нашли они еще два соевых батончика. Работая во ВНИИСКе, я часто уезжал в командировки. Уезжая, я припрятывал по разным закоулкам нашей комнаты конфеты, а потом издалека ежедневно писал Иринке, где она может найти конфетку. Чтобы не забыть места захоронок, я составлял список. Один из таких списков попал в руки гэбэшников, и они начали целенаправленный поиск. Впрочем, обнаруженные конфеты они отдали Иринке.

После обыска у нас пропала книжка «Маугли», у Гаенок тоже какая-то книжка и еще трешница.

Месяца за три до ареста во время фестиваля французского кино мы с Иринкой достали билеты на фильм «Любовники из Теруэля», который шел в «Гиганте». Собираясь, завозились и решили взять такси. Мы беззаботно болтали, когда, посмотрев в окно, я увидел здание КГБ. На вопрос, куда мы едем, шофер ответил: «К «Титану», как сказали» (путь к кинотеатру «Титан», действительно, шел мимо этого здания). После объяснений машина развернулась, и к началу фильма мы успели. Теперь меня везли той же дорогой.

Одновременно со мной арестовали Сергея Хахаева, Вадика Гаенко, Веню Иофе, Валерия Смолкина, Сережу Мошкова и Володю Шнитке. У Володи нашли запасной шрифт для пишущей машинки, но, поскольку ни в какой нашей деятельности он участия не принимал, через десять дней его выпустили. Всего в Питере в этот день было проведено тридцать два обыска. Пока меня вели по коридору, из кабинетов выходили сотрудники и спрашивали: «Они?»; с таким же вопросом заходили и во время первого допроса. Этот ажиотаж создавал впечатление, что наш арест предотвратил революцию, намеченную на завтра. Дело оказалось проще — мой следователь как-то обмолвился, что из-за нас они получили не один втык.

Люсю Климанову арестовали в Саратове, когда она возвращалась из командировки в Москву, спустя восемь дней, 20 июня. Сойдя с поезда и зная, что до отправления автобуса в Шиханы еще много времени, Люся пошла искать попутку. Увидев машину с шиханским номером, попросила подвезти, и молодые люди, сидевшие в машине, согласились. По дороге болтали, и Люся, сообщив, что ее везут к общежитию, удивилась вежливости попутчиков. Удивление это прошло, когда те, проводив ее до комнаты, предъявили ей ордер на обыск. У нее нашли пару экземпляров нашей «книжки» и предъявили ордер на арест. (Растерявшись в первый момент, кто-то из нас назвал ее имя на допросе.) Люсю

увели. Соседки, попротестовав и поплакав, решили съесть вафельный торт, присланный Климаше из Питера. Под сухими вафлями они обнаружили в полиэтиленовом мешке два номера «Колокола», которые мы отправили Люсе. Мы знали, что девушка, отвозившая Люсе торт, вполне надежна, но решили не пугать ее и поэтому не сказали, что лежит в коробке. Во время обыска коробка эта стояла на столе, и Люсины соседки даже уговаривали ее взять торт с собой в тюрьму, но ей было не до того.

Два других экземпляра нашего журнала Нина Гаенко и Иринка нашли под матрасом у Хахаева, когда явились к нему в квартиру через месяц, примерно, после ареста. Нина перепрятала эти экземпляры и отдала их следствию только после того, как, по ее требованию, ей принесли записку от Хахаева.

К сожалению, позже на допросах мы, желая уменьшить число распространенных журналов, рассказали про эти «захоронки». Но это было потом.

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Допросы

Почему я начал давать показания. — Самооценка как средство борьбы. — Споры об авторстве и обвинение в плагиате. — Прогулки. — Мой сокамерник С. — Наши адвокаты

А пока меня привезли в Большой дом и отвели в какой-то кабинет, где оставили на попечение нового для меня молодого работника. Некоторое время он молчал, потом вдруг спросил: «Что вы такой хмурый? Революционер должен быть готов ко всему». Мне не хотелось с ним беседовать, и я растянулся на диване, на который меня посадили. «Здесь лежать нельзя», но я сделал вид, что не слышу, и действительно уснул. Сколько я проспал — не помню, очевидно, немного. Потом меня повели на первый допрос, который вел следователь Кондратьев. В кабинет он вошел чуть позже меня и демонстративно стал прятать в сейф кобуру.

Он провел несколько допросов, стучал кулаком по столу, иногда матерился. Как-то я сказал, что умею это делать не хуже его. Потом Кондратьев, ставший вежливым, допрашивал Хахаева, а меня стал допрашивать Елесин, до того хамивший Сергею.

Поначалу я вообще отказывался отвечать. На второй или третий допрос явилась заместитель прокурора по надзору за КГБ, Катукова. Она начала угрожать мне арестом жены. «Если Иринка виновата, вы ее по закону обязаны арестовать, если нет — не имеете права. А ежели вам на закон наплевать, то и обещаниям вашим верить нельзя». На это Катукова мне ответила, что они действуют только по закону, но закон разрешает арестовать на десять дней любого. «Ну, десять дней, так это не страшно», — ответил я и услышал: «А ребенок ваш с кем останется?» (Маринка была на даче с яслями, но ни Катукова, ни я об этом не подумали.) Я разозлился и сделал ей комплимент: «Вы такая красивая женщина (это было действительно так), что могли бы зарабаты-

вать себе на жизнь более честным способом, чем работая в КГБ». Катукова сделала вид, что обиделась.

Еще через пару дней в кабинете появился крупный мужчина, которого «мой» Елесин представил так: «Старший следователь КГБ майор Сыщиков». Мне было вовсе не до шуток, но я пробормотал: «Не может быть, так только в книгах бывает». Майор, рванув на груди рубаху (мои подельники тоже отметили его театральность), произнес: «К революции призываете?! Россия от крови устала!» В другой раз он меня спросил: «А с нами вы что хотели сделать? К стенке поставить?» Я ответил: «Зачем к стенке? К станку».

Однажды я порекомендовал Елесину прочесть «Россию, кровью умытую» А.Веселого. Прошло несколько допросов, и вдруг следователь мне сказал: «Прочел я вашего Веселого, ничего удивительного в том, что его расстреляли».

Некоторое время я сидел в камере один, потом появился сосед, еврейский парень, арестованный якобы за валюту. Как он себя назвал, я уже забыл. Он с ходу стал интересоваться нашим делом и, узнав, что мои подельники русские, предложил с ними не церемониться. Это как нельзя лучше говорило о том, кто он такой и зачем здесь. Потом я узнал, что сосед Вадика уговаривал его не церемониться с евреем. Я уже признал, что был автором «книжки», но «наседка» упорно добивался от меня, кто же на самом деле был ее автором. Однажды на прогулке Люся перекинула мне записку, в которой ничего, кроме приветов, не было. Сосед очень ею заинтересовался, и я, чтобы гэбисты не подумали чего похуже, показал ему эту бумажку. Он, внезапно выхватив ее у меня из руки, побежал к унитазу, нажал на спуск и стал учить меня тюремной конспирации. Бумажка вскоре оказалась у Люсиного следователя.

* * *

В какой-то момент я не выдержал и начал давать показания. Это произошло после появления заместителя прокурора РСФСР по фамилии Терехов. Из его высказываний помню только одно: «Даже пенсию нам пожалели»; речь, очевидно, шла о нашей уставке на ликвидацию персональных пенсий.

Как я узнал потом, после его появления были арестованы Валя Чикатуева и Борис Зеликсон. Узнав об этом, я спросил Елесина, за что арестован Борис, который даже не знал о существовании нашей группы. Тот мне ответил: «Ваш Зеликсон еще когда про-

поведовал импрессионизм!» — «Так в Эрмитаже целые залы импрессионистов». — «Значит, не тот импрессионизм проповедовал». А когда я попытался объяснить, что «не того» импрессионизма не существует, Елесин подытожил: «Значит, не вовремя: кто его тогда (с ударением на слово «тогда») уполномочил?» У самого Бориса была иная версия гэбистского отношения к импрессионизму: «Они знали, что за сионизм надо сажать, а тут не просто сионизм, а какой-то «импре», наверное, еще хуже». Бориса и Валю арестовали 8 августа.

Итак, я начал давать показания: назвал примерные тиражи «книжки» и «Колокола», назвал и людей, которым давал их читать. Сначала я уговаривал себя, что надо рассказать хоть немного о тех, «кому ничего не будет», чтобы, поверив мне, они не добрались до Сиротининых: у них в Красноярске были экземпляры нашей «книжки» и, кажется, даже пленка; кроме того, я знал, что они, как и мы в Питере, распространяли листовки. Потом, увидев, что это не дает никаких результатов, я говорил дальше, чтобы оправдать перед собой уже сделанное. (Уже в лагере мне пришла мысль о том, что большевистский террор первых послереволюционных лет имел, наряду с другими, и эту причину. Конечно, и тогда кое-кто готов был пролить любую кровь — для того ли, чтобы удержаться у власти любой ценой или хотя бы уйти от расплаты, или во имя «светлого будущего»; но многие, которым казалось, что небольшое число жертв оправдывается построением идеального общества, шли на новую кровь, прощая себе тем самым ранее совершенные преступления, ибо отказ от дальнейшего террора делал прежний бессмысленным. Такова, очевидно, логика любой пакости.)

Уже в начале перестройки ко мне в Лугу приехал некий К., член марксистской группы, которая была арестована, но выпущена до суда еще при Андропове. Рассказывая о своем поведении на допросах, он назвал это «тактикой разумного управления следствием», после чего я потерял к гостю всякий интерес. Я уже давно разобрался с собой, и причиной моего поведения был вовсе не прагматизм, сколь я себя в этом ни убеждал, а страх, страх не столько перед сроком (сообразив в самом начале следствия, что мне грозит не четырнадцать лет — семь по ст.70 плюс семь по ст.72, — а только семерик, я страшно обрадовался), сколько перед бесконечным следствием и связанным с этим одиночеством.

После меня заговорили и другие.

Если бы Сышиков ближе к концу следствия снова спросил меня, что мы сделаем с ними, если придем к власти, я, безусловно, сказал бы: «Уничтожим!» В это время мне снилось, что я иду по коридору с карабином, захожу в кабинет Елесина и передергиваю затвор. На этом я просыпался, а заснув — снова шел по коридору с карабином, и так несколько раз за ночь. Я с нетерпением ждал конца следствия и отправки в лагерь, но временами и лагерь виделся мне в самом мрачном свете, о чем свидетельствуют стихи, написанные задолго до суда.

В холодных камерах тюрьмы
И в лагерной пыли
Науку ненависти мы
На практике прошли.

Они не гуманизму нас
Учили в лагерях.
«Учителям» настанет час
Висеть на фонарях.

Надо сказать, что камеры на Шпалерке вовсе не были холодными. Я ненавидел гэбистов столь круто не за то, что делали они, а за то, что сделал я. Кормили нас в специзоляторе вполне прилично, обращались на «вы», до лагеря даже не постригли. Только однажды меня вызвали на допрос после десяти часов вечера, при этом Елесин извинился, обещал, что ужин принесут горячим (тут его, я думаю, подвели исполнители — ужин оказался холодным).

Вместе с тем нам не разрешали прилечь днем на постель, что неизмеримо растягивало время. По сути, это было незаконно, так как предварительное заключение рассматривается только как средство, предотвращающее побег обвиняемого или его попытки помешать ходу следствия. Но кто и когда видел чиновника, проявляющего гуманизм вопреки своим карьерным интересам? Мы не можем ждать милостей от природы российского, да и всякого другого чиновника, взять их у него — наша задача. Я сам должен был бороться за свои права, и ежели я этого не делал, то стыдно должно быть в первую очередь мне.

* * *

Я назвал около двадцати человек из тех, кому я давал читать нашу нелегальщину. Сейчас не помню всех, а перечитывать про-

токолы своих допросов мне противно. Кажется, серьезных последствий мои показания ни для кого не имели, но не по моей предусмотрительности, а из-за решения высшего начальства. ЦК, по словам Елесина, держало следствие под контролем (он же сказал мне, что наша «программа» была туда отправлена). Мое предположение (вернее, то, в чем я пытался убедить себя), что те, кого я называл, нашу «книжку» просто выбросили, никому не показывая, оказалось неверным — всего, по далеко не полным данным следствия, ее прочли более трехсот человек.

Почему-то особенно стыдно мне перед Тищенко, украинским хлопцем, проходившим практику на «Фармаконе», о его судьбе я так ничего и не знаю.

А вот перед Додом я не виноват. Во время обыска у меня нашли его письмо со словами: «Твой опус получил», что и было причиной обыска у него в Уфе, при котором и нашли «книжку». Но письмо касалось вовсе не ее — я послал Доду свой вполне безобидный стих, поэтому и не уничтожил его письмо.

У Сиротининых в Красноярске тоже был обыск, их связь с нами прослеживалась достаточно четко, да и листовки, которые они у себя распространяли, были созвучны нашим. После нашего ареста за всеми оставшимися друзьями была установлена слежка. У Светы Сиротининой в Питере оставалась близкая подруга по институту — Таня Любченко, с нами она была едва знакома. Она-то и дала в Красноярск телеграмму с таким текстом: «Валерий, Сергей, Вадик (и еще кто-то) опасно заболели». Эту телеграмму нашли при обыске у Сиротининых на столе. Но только ее — все остальное они успели спрятать. На допросе они заявили, что отправителя не знают и что случилось, понять не могут. В ГБ, однако, подняли телеграфные бланки в Питере и по почерку вычислили отправителя.

По почерку же вышли на Витю Рахмана, который анонимно написал в «Комсомольскую правду» о своем несогласии с нашим арестом. Его поиски заняли около года (какими же штатами и деньгами распоряжались эти бойцы невидимого фронта?!). Его уволили из Техноложки, и он поступил мастером на «Красный треугольник».

* * *

Помог мне остановиться сам Елесин, своим замечанием насчет того, что за мной «и в Уфе грешки водились». Я даже не понял, а ощутил, что они, гэбисты, ничего не знают, а если и знают, то только от нас.

С того момента, как я пришел в себя и сумел себя оценить, моя кровожадность пропала. Реванш за поражение на следствии я брал тем, что не упустил случая дразнить начальство, а иногда и хамить им, но теракты мне больше не снились.

На следствии, как потом и на суде, ни я, ни мои друзья не согласились с тем, что вели антисоветскую агитацию. Елесин убеждал меня признать это обвинение, цитируя наш призыв «вычеркивать из бюллетеней для голосования всех, в честности кого избиратели не уверены». «Знаем мы, что вы подразумеваете под честностью». Тем не менее, судили нас за «антисоветскую агитацию».

Особенно интересовал следствие вопрос о том, кто из нас, я или Сергей, является автором фразы примерно такого содержания: «Если бюрократия не уступит своего господства по доброй воле, что маловероятно, она будет свергнута насильственным, революционным путем». Я заявлял, что этот пассаж сочинил я, Сергей настаивал на своем авторстве. На очной ставке мы продолжали спорить. В конце концов Катукова не выдержала и со словами: «Здесь не комитет по авторским правам» — прекратила наше неожиданное свидание.

Читая наше следственное дело, мы с удивлением обнаружили листки, на которых половину страницы занимали цитаты из нашей «книжки», а другую — выдержки из книги М.Джиласа «Новый класс». Эту книгу мы бегло успели просмотреть незадолго до ареста, когда наш труд был уже написан и размножен. Нас пытались обвинить в плагиате, но мы с Сергеем гордо отвергли эту напраслину.

* * *

По окончании следствия на прогулках я стал чаще слышать голоса друзей. Как правило, в прогулочных двориках мы напевали наши студенческие песни. Однажды моей соседкой снова оказалась Люся. Услышав мой голос, она пропела знакомую частушку: «А когда я умру, когда мы умрем — приходи ко мне, погнем вдвоем!» В другой раз что-то пел Сергей, голос его я узнал, а вот мотив — нет, музыкальный слух у нас примерно одинаковый.

В это время из камеры исчез мой сосед-валютчик и вместо него появился С., оказалось, что на прогулках я уже слышал его голос. Пел он тогда «Вихри враждебные», и я ломал себе голову над тем, какие еще политзаключенные сидят рядом с нами в изоляторе. Новый сосед был старше меня лет на шесть.

Отец С. когда-то был чекистом, но во время нэпа взял земельный надел и стал крестьянствовать. Потом был раскулачен, а семья сослана. Успев окончить четыре класса, С. бежал из ссылки и начал бродяжничать, в войну стал «сыном полка», был контужен. После демобилизации снова бродяжничал, затем устроился работать на буксир в ленинградском порту. С. пытался писать стихи, одно стихотворение о тяжелой жизни колхозников он послал в «Звезду». Было это, кажется, в 48-м году. После этого С. арестовали и предложили сознаться в создании антисоветской организации. Некоторые его знакомые на допросах «подтвердили», что С. обращался к ним с такими предложениями, их тоже арестовали (тех, кто так и не «сознался», не тронули, хотя на допросах и пугали). Итак, «организация» была создана. С. посадили зимой в карцер, представлявший из себя что-то вроде железного гаража, и он на пятые сутки согласился подписать все. Во время допросов следователь ему говорил: «Колхозы распускать будем? Давай распустим». С. соглашался, и в протоколе появлялась фраза: «Собирались распустить колхозы».

После суда С. оказался на асбестовом руднике, где люди умирали от силикоза. Опытные зэки дали ему совет, и С. отправился к оперу, которому «признался», что был резидентом английской разведки. С. этапировали в Питер, где он подтвердил свои лагерные показания. Но однажды в кабинет следователя вошел какой-то генерал и попросил оставить их вдвоем. Когда следователь вышел, генерал спросил: «А что такое “резидент”?» С. не мог ответить. «Зачем вы наврали на себя?» — «Если бы вас били ногами по животу, вы и не то бы придумали». Генерал вышел и сказал за стеной следователю: «Делайте что хотите, но нам работать не мешайте».

С. снова отправили в зону, на этот раз он оказался на лесоповале, откуда по состоянию здоровья и был комиссован в конце 1953 года. Он успел окончить ускоренную вечернюю школу и заочный педагогический институт. Потом поступил еще и в заочный библиотечный. Работал учителем в вечерней школе и библиотекарем. После XX съезда начал писать во всякие инстанции, требуя реабилитации. Ответов не получал.

Он написал воспоминания, послал их в «Новый мир», но получил ответ, что присланный текст очень слаб в художественном отношении (судя по пересказам С., редакция была права). Наконец он решился передать текст иностранцу. Тот оказался фарцовщиком и был задержан милицией с этим текстом. С. арестова-

ли снова и предъявили ему четыре статьи: а) антисоветская агитация, б) растление несовершеннолетних, в) хищение социалистической собственности, г) подделка документов.

С. попался хороший адвокат, который по первому пункту обвинения доказал, что ст.70 не может быть применена, поскольку в ответе журнала говорится только о художественном качестве текста. «Растление», как оказалось, заключалось в том, что С., преподавая в вечерней школе, уговаривал одну шестнадцатилетнюю девушку не путаться с мужиками, а та пожаловалась директору, что С. вмешивается не в свое дело. Следователя ГБ, который явился в школу за компроматом на С., директор послал к этой девушке. На суде она отказалась от всех своих показаний и заявила, что ничего о растлении не говорила, и подмахнула протокол, написанный следователем, не читая. Третье обвинение тоже рассыпалось (у С. нашли несколько книг с библиотечными штампами, но адвокат обратил внимание на то, что штампы вовсе не той библиотеки, в которой С. работал, к тому же на статью «скупка краденого» их стоимость явно не тянула). Обвинение в подделке документов С. накликал своими воспоминаниями, где написал, что для того, чтобы скрыть свое послевоенное бродяжничество, он изменил год ранения с 1944-го на 1945-й. Экспертиза справки это подтвердила, и обвинение требовало, кроме лишения свободы, еще и возвращения незаконно полученной пенсии. Таковой не оказалось. Для того чтобы не выпускать С. как арестованного незаконно, ему дали год по последнему обвинению. Следствие длилось девять месяцев, и три он отсидел в зоне (чуть ли не в черте города), приводя в порядок лагерную библиотеку.

В день освобождения он был снова арестован и препровожден на Шпалерную, где мы и встретились. Его снова обвиняли в антисоветской агитации; якобы один из его сокамерников дал показания о том, что, слушая радиопередачу, в которой говорилось о поимке расхитителя, исключенного из партии и преданного суду, С. сказал, что «коммунистов надо вешать». С. утверждал, что в показаниях опущено местоимение и что на самом деле он сказал: «таких коммунистов надо вешать». Скорее всего, так оно и было: С. вовсе не был противником существующего режима.

С. рассказывал мне, что увлекался эпистолярным жанром: писал Эйзенхауэру и Мао, в письмах он угрожал обоим судом истории и военным поражением. Писал он и в партийные органы, требуя дать ему в управление завод, — тогда он покажет, как надо хозяйствовать. Его вызвали в обком партии и предложили взять

совхоз или колхоз (это было во время кампании «тридцатитысячников»). С. согласился, но потребовал для себя права расстреливать подчиненных, после чего обкомовцы прекратили переговоры. Я спросил у С., кто бы согласился работать у него на таких условиях. С. отвечал, что он платил бы столько, что желающих было бы хоть отбавляй. Когда же я поинтересовался себестоимостью продукции и попытался объяснить, что это такое, С. выразил уверенность, что я сумасшедший, и изящно доказал этот тезис: «Тебя на экспертизу возили? Нет. А меня возили и определили, что я нормальный. Раз ты со мной не соглашаешься, следовательно, ненормальный ты».

По новому делу С. получил, кажется, три года, но через некоторое время из Москвы пришел ответ на его кассационную жалобу — С. освобожден и навестил Иринку. Уходя из камеры, он сказал: «Вот, дали год. Отсидел два и досрочно освобожден». Действительно, в 64-м году он получил год, отсидел чуть ли не полтора и вышел, не отбыв нового срока.

Думаю, что причина столь большой пачки явно липовых обвинений, предъявленных С. в 64-м году, и новое, тоже липовое, дело 65-го года объяснялись отношениями С. и Катуковой. Находясь со мной в одной камере, С. чуть ли не ежедневно подходил к дверям и орал на всю тюрьму: «Катукова б....! Ее е..т Сыщиков!» Это вам не инакомыслие и даже не террор.

* * *

По окончании следствия мне предложили выбрать адвоката. Сначала я отказывался. Как-то меня вызвали, как оказалось, в адвокатскую комнату, и передо мной предстал немолодой высокий мужчина, отрекомендовавшийся адвокатом. Фамилия его была Володарский, на мой вопрос, имеет ли он отношение к «тому» Володарскому, он ответил утвердительно (сейчас мне кажется даже, что адвокат назвал себя его сыном). Мне это понравилось, но я сказал, что доверю ему свою защиту только в том случае, если он готов защищать и мои убеждения. Володарский обещал дать ответ в следующий раз, но больше я его не видел.

Через некоторое время меня опять вызвали на встречу с адвокатом. Меня ждал адвокат Лурьи. Первым делом он нарисовал микрофон и поставил рисунок передо мной, показав пальцем на потолок и стены (это он проделывал во время каждой встречи). Потом Лурьи объяснил мне, что с ним разговаривала Ирина Тимофеевна, просила взять на себя мою защиту, и он пришел узнать,

согласен ли я (он показал мне записку, написанную Иринкой и моей мамой). Я понимал, что свои семь лет получу при любых условиях (о ссылке мы тогда почему-то не думали), но мне стало жаль родных, и я согласился.

Суд

Судьи и зал. — Кто первый сказал «революция»? — Наши конвоиры. —
Яблоки Зеликсона. — Кто сколько выпил? — Наши свидетели. —
Адвокаты. — Приговор

Судили нас в сентябре—октябре 1965 года, в помещении облсуда на Фонтанке. В помещение вводили со двора, где собрались наши друзья, они кричали нам, показывали знак «рот фронт», просто махали. Сначала их было немного, но после приговора нас встречало человек двадцать. Окна зала суда были загорожены строительными лесами. Со скамьи подсудимых мы видели сквозь эти леса знакомые лица. На двери в зал Нина написала мелом: «Веселее, друзья, идите!» — строчку из популярной в нашем кругу песни (М.Светлов, пьеса «Сказка»). Целиком строфа в нашем исполнении звучала так:

Веселее, друзья, идите.
Первым делом — не унывать.
От студенческих общежитий
До бессмертья — рукой подать.

Вел процесс судья Ермаков. Фамилий заседателей я не помню, один из них, пожилой, полный и, кажется, лысый мужчина, все время дремал. Далеко не в первый день процесса он задал Климановой свой единственный вопрос: «Вы Чикатуева?», после чего заснул снова. Второй был немногим старше нас и вел себя очень агрессивно. Обвинителем выступал прокурор Соловьев, Катукова сидела «на подхвате».

Во время суда нам, наконец, разрешили получать газеты. В «Смене» сначала появилась статья о «Красной капелле» — антифашистской организации в Германии времен Второй мировой войны. В статье фашистский прокурор «цитировал» Соловьева: «Государство дало вам образование, а вы...» и т.п. Еще через несколько номеров появилась сочувственная статья о комсомольском пат-

руле Фрунзенского района, наши имена там не упоминались, как и название Техноложки, но песня «Прекрасны сады Ленинграда» приводилась полностью. Статья была подписана Галей Зябловой, приятельницей Бори Зеликсона, которую после этого уволили из редакции.

В зале я увидел маму, резко похудевшую. (Лет через десять с лишним, когда Иринка пожаловалась ей на свою полноту, мама ответила: «Вот Вовку посадят, и ты похудеешь».) Были и родители моих подельников, некоторых я видел впервые. Сначала наших жен и друзей в зал не пускали, все они проходили как свидетели.

Перед первым заседанием (мы уже сидели на скамье подсудимых, но в зал еще никого не пускали) начали налаживать радиоаппаратуру: динамик некоторое время хрипел, потом из него вырвалось громкое завывание. «Краткое изложение речи прокурора», — вслух резюмировал Веня под наш громкий смех.

На суде мы пытались приводить в свою защиту доводы политического характера: не соглашались с обвинением в антисоветизме, доказывая, что это КПСС нарушила принцип «Вся власть Советам», подчинив их своему господству; утверждали, что не сразу выступили против существующего режима, а начали с работы в патруле, на стройках и целине и везде видели расхождение слов и фактов. Обвинители, когда им приходилось касаться наших текстов, старались пересказывать их своими словами, но и в таком виде они звучали информативно. Случалось, что мы поправляли прокурора, заседателя (того, который не спал) и судью, когда те уж слишком нахально исказили наши тексты.

Во время допроса подсудимых мы, в основном, препирались друг с другом. Мы с Сергеем опять стали спорить, кто первым сказал слово «революция». Сергей Мошков препирался с Валерием Смолкиным по другому поводу: Валерка просил у суда снисхождения к Мошкову, который был втянут в это дело им, а обиженный Мошков заявил, что он не ребенок, что он давно искал такой возможности и, наоборот, это Смолкин под его влиянием ввязался в политику. Люся доказывала, что Валя Чикатуева оказалась на скамье подсудимых исключительно из-за ее, Климановой, влияния, на что Валя возражала: Люсино влияние ни при чем — «и так все всё видят».

Аудитория, конечно, была подобрана заранее, но и здесь «исполнители подвели» — на одном из заседаний я увидел свою двоюродную сестру Лену. Потом я узнал, что на ее предприятие

(она годом позже меня окончила Военмех) поступили «билеты», которые партком раздавал всем желающим. Кажется, так было не только у нее. Только однажды за все время суда в наш адрес раздался враждебный выкрик, в остальное время зал разве что удивленно шушукался. Вспоминаю, как кто-то в первом ряду рисовал карандашом Люсин портрет.

* * *

Особое впечатление мы произвели на конвой, который состоял из ребят срочной службы разных национальностей (русские, украинцы, латыш и азербайджанец). Очевидно, у них не было ни дедовщины, ни межнациональной розни: ребята абсолютно доверяли друг другу.

Если сначала во время перерывов конвоиры делали нам замечания, когда мы пытались разговаривать между собой, то потом один из них становился у дверей и, только слышав чьи-то шаги, подавал сигнал, чтобы мы сидели тихо. Мы спокойно обсуждали следствие, дальнейшую тактику на суде, читали на память стихи (Смолкин читал Ду Фу, а я, помнится, прочел что-то из Ли Бо, Гаенко и Зеликсон читали свои стихи, написанные в камере, что-то «камерное», наверное, читал и я).

Как-то к нам подошел начальник конвоя и спросил, на что мы могли надеяться, «ведь перед вами стена». «Стена, да гнилая, ткни, и развалится», — ответили мы хрестоматийным же текстом. Через некоторое время один из солдатиков сказал нам: «Зря вы, ребята, командира отшили, он хороший парень, и ему все это очень интересно».

Эта история имела продолжение через много лет. После одного из выступлений Миши Молостова, тогда (в 1990 году) кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР, кто-то из зала спросил его, не сидел ли он вместе с Ронкиным или Хахаевым. Миша ответил, что, хотя и не сидел вместе, знает нас хорошо. Спросивший попросил передать нам привет «от их начальника конвоя на суде». А в апреле 1992 года после моего выступления на семинаре, посвященном Самиздату, ко мне подошел человек, который оказался тем самым начальником конвоя. Зовут его Владимир Сергеевич Кузнецов. Его судьба сложилась так: после нашего суда он начал говорить, что «ребята-то (т.е. мы) правы». Его вызвали и пригрозили «отправить к ребятам». «Я испугался и неделю молчал, потом опять принялся за старое». Из войск МВД его уволили, на юрфак не приняли, и он окончил философский факультет; в

1992 году он занимался проблемой детской преступности и где-то преподавал. Продолжал переписываться со своими солдатами, нашими конвоирами. После операции на горле от преподавания он был вынужден отказаться.

* * *

Были на суде и комические эпизоды. Шел допрос подсудимого Зеликсона. Борис не только не знал ничего о нашей деятельности, но и по сути не разделял многого, написанного в «книжке», которую я ему дал. Относился он к ней скорее как к курьезу, раритету, но из любви к эффектам ознакомил с нашей программой уйму людей, обсуждал ее по телефону. Свидетели, Борины друзья, поддерживали его версию о том, что «книжку» он демонстрировал только как забавный курьез, о существовании подпольной группы узнал только после нашего ареста и воспринял нас как «Союз меча и орала» из «Золотого теленка». Его адвокат Шапиро занимал такую же позицию и требовал признать Зеликсона невиновным (статья 70 предусматривала «цели подрыва или ослабления советской власти», а статьи 190¹ — «клевета на советский общественный и государственный строй» — еще не существовало). Слабым местом Бориной защиты оказался один из свидетелей, у которого Боря купил два пуда яблок. Хранить их в ленинградской квартире было неудобно, и Боря оставил их на даче у продавца, с которым время от времени и ездил на электричке за этими яблоками. В вагоне Боря вслух читал своему спутнику «книжку», притом (самое страшное в показаниях этого свидетеля) «с выражением»! А это уже, по мнению следствия, доказывало Борино согласие с ее идеями и, следовательно, «умысел подрыва и ослабления». Всякий раз, когда на суде Зеликсону задавали вопрос про этот эпизод, Боря начинал подробно рассказывать о яблоках, уточнял количество, цену и то, почему именно в данный момент они ему потребовались. Суд пытался вернуть его к чтению, но Боря, согласившись, что таковое его действие имело место, опять переходил к яблокам. Это он проделывал и на собственном допросе, и на допросе этого свидетеля. Наконец при слове «яблоки» зал начинал хохотать. Хохотали и мы, и конвой, и суд.

Второй эпизод был связан с показаниями свидетеля Х. После распространения листовок в эшелоне у Сергея Хахаева в кармане осталась коробка с домино и вложенной в нее листовкой. Таскать это с собой было опасно, и Сережа, завернув в подворотню,

выбросил этот «компромат» в мусорный бак, не заметив Х., стоявшего в той же подворотне. Х. вытащил коробку из бака. На следствии он рассказал, что они с приятелем решили выпить с полочки, приятель побежал сдавать бутылки, а Х. остался его ждать и, увидев, что кто-то бросил в бак новую коробку, достал ее. Вместе с приятелем, вернувшись с бутылкой пива, они коробку открыли и прочли листовку. Х. принес ее домой и показал жене, которая и уговорила его сдать листовку в милицию.

На суде Х. заявил, что человека, который выбросил пачку, среди подсудимых он узнать не может, и стал уточнять свои показания, данные на следствии. Оказалось, что бутылка, которую пошел сдавать его друг, была далеко не первой. Х. подробно описывал их маршрут от предприятия до злосчастной арки, перечислял все остановки и бутылки, выпитые ими, вспоминал, на каком транспорте ехали и что именно пили на каждом этапе. Очередное упоминание: «Тут мы взяли две бутылки портвейна» — вызывало взрыв хохота в зале. Наконец судья остановил Х.: «Нас не интересует, где и что вы пили!» «Так зачем же вы меня сюда притащили?» — удивленно спросил свидетель. Хохот в зале стал почти истерическим. Для суда это был крупный проигрыш. Прокурор упоминал в своей речи Х. как настоящего рабочего, от имени которого пытались говорить «эти отщепенцы».

Другой рабочий, дававший показания на следствии, на суд вызван, кажется, не был. Он читал вслух какую-то нашу листовку у проходной завода, собрав выходявших оттуда рабочих. На вопрос следователя, зачем он это делал, свидетель ответил: «Чтобы привлечь внимание проходившего мимо милиционера».

* * *

Основную часть свидетелей составляли наши друзья. Ни один из них не сказал о нас плохого слова, а Леша Столпнер так разошелся, что прокурор остановил его словами: «Мы их здесь не в Верховный Совет выбираем!» (В ответ на выступление одного из свидетелей, а может быть, гаенковского адвоката, Соловьев заявил: «Да за такие вещи даже на Западе сажают!»)

Лида Иофе свое выступление начала возгласом: «Ронкин — это легенда Технологического института!»; я же, вспоминая свое поведение на допросах, почувствовал себя в этот момент очень неловко.

На суд Иринка, Нина и некоторые другие свидетели приходили со значком Дзержинского на груди, противопоставляя таким

образом ленинских коммунистов, к каковым мы причисляли и себя, сегодняшним бюрократическим держимордам.

Как-то, спеша закончить перерыв, меня и кого-то еще повели в туалет при совещательной комнате, и в этой комнате мы увидели на столе телефонный аппарат. Мы знали, что до вынесения приговора судья и заседатели, удалившиеся сюда, не имеют права контакта с внешним миром, и предполагали, что инструкции они получают заранее. Ан нет.

На телефон этот мы обратили внимание конвоиров и в ответ услышали мат, адресованный отнюдь не нам.

* * *

Адвокаты выступали ни шатко ни валко. Лурьи тряс моими грамотами, рассказывал о моей производственной деятельности, но как только речь заходила о главном, начинал почти дословно повторять выступление прокурора, хотя и делал это не строгим, а каким-то «проникновенным» голосом. (Вернувшись в Питер, я узнал, что мой Лурьи уехал в Канаду, а позже услышал о том, что там он выпустил книгу о нашем процессе. Между тем, он остался мне должен бутылку коньяка. На нее мы поспорили относительно амнистии к 50-летию Октябрьской революции. Он меня убеждал, что таковая обязательно будет, я же не верил.)

Остальные адвокаты вели себя не лучше, за исключением двоих — упомянутого выше Шапиро и Тимофеева, адвоката Вадика Гаенко. Он единственный из адвокатов не признал антисоветского характера нашей программы. «Поскольку в программе не отрицается коллективный характер собственности, а именно коллективная собственность является экономическим базисом советской власти, то обвинять моего подсудимого в антисоветской агитации нельзя», — заявил он и услышал ответ от прокурора: «Вы забываете, где находитесь!» Больше Тимофеев к этому аргументам не возвращался.

* * *

Приговор нам зачитали 26 ноября, через два дня после дня рождения Вадика Гаенко. Сергею и мне прокурор потребовал полную меру, предусмотренную статьей 70 УК РСФСР: «Семь лет заключения и три года ссылки». В действительности эта статья предполагала в качестве дополнительного наказания до пяти лет ссылки — мы тогда думали, что Соловьев просто оговорился и суд его поправит, но этого не произошло. Ровно столько нам и дали.

В 1989 году коллектив ВНИИСКА выдвинул Зеликсона кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР, и он решил подать заявление о реабилитации. Борис нашел Соловьева, который к этому времени был на пенсии и практиковал в качестве адвоката, и тот согласился взять на себя этот труд. Между прочим, он сказал Боре, что сделал для нас все, что мог сделать в тех условиях, — сократил срок ссылки мне и Сергею на два года. По моему предположению, в самом начале оперативной разработки нашей группы ГБ отрапортовала, что руководителем является Зеликсон. (Частично это подтвердилось новыми сведениями лет через тридцать.) Оказывается, за Борисом было установлено такое плотное наблюдение, что прослеживался каждый, кто заходил в его подъезд. Не признаваться же было им в том, что они вовсе ни при чем.

Реабилитировали Бориса гораздо позже, сам же он, сообразив, что политика не его призвание, обратился к вниисковцам с предложением выдвинуть вместо него военного инженера Щелканова, с которым уже успел познакомиться. Щелканов был избран и вошел в знаменитую Межрегиональную группу депутатов.

Однако вернусь к нашему приговору. Вадик Гаенко и Сергей Мошков получили по 4 года. Вадим шел третьим по списку. Мошков же ухитрился «обогнать» своего друга: получил больше, чем Смолкин, «завербовавший» его. Во-первых, он наотрез отказался сказать, кому давал читать нелегальщину, во-вторых, не признавая на суде себя виновным по ст.72, он заявил: «Не было у нас никакой организации, была бы, так неизвестно, кто бы на этом месте сидел» (имелась в виду скамья подсудимых.)

По три года получили Валерий Смолкин, Веня Иофе и Валя Чикатуева. Валя «обогнала» Люсю, мне кажется, потому, что в своем последнем слове она не только не отказалась от своих убеждений, но и заявила, что «правда все равно победит». Люся Климанова получила два года. (Очевидно, приблизительные сроки и число людей, их получивших, определялись заранее, но суду было позволено немного изменять некоторые приговоры.)

Пока суд совещался, мы бурно обсуждали, не завершить ли нам слушание приговора пением «Интернационала», но в конце концов пришли к выводу, что лучше не дразнить гусей.

Приговор полностью удовлетворил прокурора. Кроме того, суд вынес частное определение в отношении Ленинградского технологического института, который окончили семеро из девяти осужденных и многие свидетели, явно настроенные в нашу пользу, —

об «усилении там воспитательной работы». Эти слова Ермакова Веня довольно громко комментировал: «Они там уже сто лет не могут наладить воспитательную работу» (начиная с 1870-х годов Технологический институт был очагом революционной агитации, и из него вышли многие известные революционеры). Мы оценили Венину остроту громким хохотом, вызвав возмущенное замечание прокурора: «Они даже теперь смеются».

Другое определение суда касалось Валеркиной квартиры, которая была конфискована «как орудие преступления». На это Валерочка стоически произнес: «Бог дал, Бог взял». Оказалось, что во время войны его отец ушел в ополчение и его направили в диверсионную группу в фашистский тыл. Подобного рода группы подчинялись НКВД. После войны отца оставили в этой организации, поручили надзор за университетом и дали квартиру на Васильевском. Уйти из «органов» и снова заняться филологией ему удалось года через два, по липовому свидетельству о туберкулезе легких. Много лет спустя, уже после отъезда Смолкиных в Израиль, после первых публикаций и телепередачи о нашей группе в ленинградский «Мемориал» пришел человек, поинтересовавшийся отчеством нашего друга и подельника. Услышав ответ, посетитель сообщил, что его дело в 46-м году вел следователь Эммануил Смолкин.

В ожидании этапа

Напутствия родителей. — Переговоры по унитазу, новая тюремная азбука и шахматы через стенку. — «Дзержинский тоже курил». — Тюремщик-ветеран. — ГБ ищет пленку. Разговор с Суворцевым

Итак, суд кончился, и мы снова коротали дни в камерах в ожидании этапа. После суда нам дали свидание. Ко мне пришли Иринка, мама и ее двоюродная сестра, тетя Дора, специально для этого приехавшая из Каунаса. Мама вздыхала, иногда всхлипывала. «Мамочка, ты же всегда учила меня быть честным», — сказал я. Мама рассмеялась: «Ну не до идиотизма же!» Позднее, когда родители приехали ко мне в ссылку, в Нижнюю Омру, мама призналась мне: «Я очень боялась, что они тебя убьют, но еще больше я боялась, что они тебя сломают».

Валеркин отец, едва переступив порог комнаты свиданий, шепнул ему: «Будут вербовать — не соглашайся».

В изоляторе Валерию разрешили зарегистрироваться со своей невестой, но в его бывшую квартиру Наташу не прописали. Она честно ждала его все три года, но потом у них что-то не сложилось, и они расстались. Я в это время еще сидел. Наташа вышла замуж, у нее двое детей. Я видел ее только один раз, когда Смолкин и его вторая жена Рина в 1995 году приезжали в Питер. Это было на тридцатую годовщину нашего ареста, которую мы ежегодно отмечали как «день нашего официального признания» — 12 июня. Теперь этот день, День независимости, отмечает вся Россия.

Сначала мы ждали возможности послать кассационные жалобы, потом ответа на них. Потом неизвестно чего. Уже малость поднаторевшие, мы с Сергеем стали переговариваться через унитаз, предварительно откачав тряпкой воду из фанового колена. Камеры наши оказались одна над другой. Иногда мы перестукивались, я стучал ручкой швабры по потолку, Сергей топал (или наоборот, сейчас уже и не помню).

В это время я сочинил стихотворение, которое пытался Сергею рассказать через унитаз. Оно использовано Толей Марченко в книге «Мои показания» в качестве эпиграфа к главе «Дубравлаг» (от С. я уже знал, куда нас пошлют).

Суд окончен давно, и готовы бумаги.
Значит, нам суждено жить с тобой в Дубравлаге,
По подъему вставать, дожидаться отбоя,
Дни и ночи считать, дни и ночи считать
Суждено нам с тобою.
Здесь и днем, и в ночи мысли голову кружат.
Стиснув зубы, молчи, чтобы не было хуже,
И не мучай души сожаленьем напрасным —
Это строгий режим, это строгий режим
Для особо опасных.
Здесь порою часы, как недели, проходят,
Здесь свирепые псы, автоматы на взводе,
И колючкой не зря огорожена зона —
Это спецлагеря, это спецлагеря
Для политзаключенных.
Не жалеешь ты, Русь, арестантской баланды!
Декабристский союз угодил в арестанты.
Чернышевский был там и Народная воля,
А теперь вот и нам, а теперь вот и нам
Эта выпала доля.

Борис и Веня играли через стенку в шахматы. Борис придумал новый вариант тюремной азбуки — оставив двадцать семь букв, причем каждая буква кодировалась не двумя, а тремя сериями ударов; это здорово сократило длину сообщений. Когда я в 97-м году был в Израиле, один из эмигрантов, занимающийся там историей ГУЛАГа, интересовался судьбой этой азбуки, но я ничего определенного рассказать не мог.

В декабре ко мне в камеру поместили Смолкина. В свое время мы обсуждали эти послабления, — возможно, то была личная инициатива начальника тюрьмы майора Щадных, который по характеру, на наш взгляд, соответствовал своей фамилии. А может быть, в камере была подслушка, этот вариант мы тоже учитывали.

Еще до вселения Смолкина ко мне в камеру как-то зашел пожилой, полный мужчина, заместитель начальника специзолятора (он служил здесь еще с тридцатых годов). Увидев у меня на тумбочке сухари, поинтересовался, для чего мне они, и, услышав, что я готовлюсь к лагерю, сказал: «Я вам не запрещаю их сушить, но, поверьте, теперь в лагерях не голодают»; тон был явно доброжелательным (сухари мы в зоне съели, но голода там действительно не было). Уходя из камеры, он обернулся: «Как тут у вас накурено, а ведь это очень вредно для здоровья, я вот никогда не курил и вам советую бросить». «А Дзержинский курил», — сказал я и услышал в ответ: «Сравнили себя с Дзержинским! У него какая тяжелая жизнь была, он же в тюрьме сидел!»

Незадолго до свадьбы мы сидели в какой-то кафешке, чуть ли не в «Ландыше», и Сергей с Иринкой уговаривали меня бросить курить. Я поддался на уговоры, но добавил: «До ареста». Почти три года я терпел, ловил себя на том, что подсаживаюсь на скамейки к курящим с подветренной стороны и вдыхаю «чужой» дым. Во ВНИИСКе за пару месяцев до ареста я начал позволять себе угоститься сигаретой, но это меня мучило, я же обманывал Иринку. Когда я вошел в камеру, первой мыслью было — наконец можно курить! Из дому сигарет я не захватил, а одалживаться (помня Багрицкого: «А штабной имел к допросу старую привычку, подвигает папиросу, зажигает спичку») не хотел. В первой же передаче я получил курево.

* * *

Почему-то нас с Сергеем снова стали вызывать к следователю. Оформлялись такие вызовы не как допросы, а как собеседования. Как-то я слышал телефонный разговор майора Щадных,

очевидно, со следователем. Щадных говорил с поста, находившегося напротив моей камеры: «По этому вызову я не могу прислать заключенного — суд уже прошел». Прислали другую бумагу, и меня снова повели в знакомый кабинет. На первых «собеседованиях» речь шла обо всем и ни о чем. Наконец вопросы стали конкретнее. ГБ искала фото пленку, с которой мы печатали «книжку».

На следствии и Сергей, и я заявили, что по окончании распечатки мы пленку сожгли. На самом деле, в свое время, встретив бывшего рейдовика, туриста и участника всевозможных строек Глеба Гладковского, я рассказал ему о нашей деятельности и дал прочесть «книжку». Он прочел и сказал, что все это бессмысленно, но «когда хорошие люди в проливной дождь поливают улицу, сидеть под крышей неприлично». Окончив печатанье, мы отдали ему на хранение фото пленку. После нашего ареста Глеб, понимая, что наши связи легко просматриваются, отдал пленку своему другу Н. О том, что пленка у Н., некоторые наши приятели «по слухам» знали еще до суда. После суда слух о том, что она не уничтожена, дошел и до ГБ. Посему нас и начали снова таскать на «собеседования», но мы уже многому научились.

Эта тягомотина продолжалась и после получения ответа на наши кассационные жалобы. Однажды во время такого собеседования в кабинет вошел человек, которого я уже видел раньше. Елесин сказал: «Это наш оперативный работник, впрочем, вы уже знакомы, я вас оставлю поболтать», — и вышел. Я вспомнил, где я видел этого «знакового» — в политуправлении милиции, вспомнил и его фамилию — Суровцев. Он подтвердил это и начал распространяться на тему, какие мы тогда были хорошие. «Не понимаю, кто мог вас толкнуть на этот путь?» — «Вы и толкнули». Он с недоумением посмотрел на меня. «Когда объяснили мне, что хама нельзя выгнать из милиции, потому что порядочные люди туда не идут». Суровцев сменил тему: «У нас есть данные, что вы незадолго перед арестом встречались с (речь, кажется, шла о Льве Квачевском)». Я заявил, что такого человека вообще не помню. «Ну вот, со мной вы встречались шесть лет назад, а запомнили, эта же встреча была полгода назад, как вы можете объяснить такое противоречие?» — «Так вы же были начальником, нас всю жизнь учили помнить начальство. А он кто?» Выудить ответ мне, конечно, не удалось. Мы беседовали уже минут сорок, разговор вертелся вокруг пленки, когда вернулся Елесин: «Ну как, нашли общий язык?» — «Нет, он (т.е. я) очень изменился за это время, отчего

бы это?» — «Посидите — поймете», — отвечал я. Елесин вызвал конвоира, и меня отвели в камеру. Пленку они все-таки нашли, и нам объявили об этапе (перед этапом было, кажется, еще одно свидание, на котором я увиделся с двухгодовалой дочкой).

Этап

Прощание с городом. — На вокзале. — Блатные в вагоне. — Наши песни. «Затянувшийся турпоход». — Пересылки. — Попутчики. — Отношение к нашему делу или перспективы социал-демократии в шестидесятые годы

В конце января или начале февраля нас наконец погрузили в «воронки». На пути один из конвойных открыл дверь моего «шкафа»: «Смотри на Ленинград, не скоро увидишь». Выходя из машины, я пожал ему руку. Нас сдали другому конвою, сопровождавшему до псковской пересылки.

Офицер, возглавлявший новую команду, первым делом объявил, что «шаг в сторону рассматривается как побег и конвой стреляет без предупреждения». В ответ, к изумлению конвоиров, мы дружно расхохотались. В вагон сначала запустили наших девочек. Садившаяся первой замешкалась, и солдат грубо ее толкнул. Кто-то из ребят дотронулся до его рукава и сказал «Ну!» таким тоном, что конвойный офицер, не желая связываться с «психами», крикнул солдату: «Пусть сама садится».

В вагоне нас с девочками разлучили. Их посадили в дальнее «купе» (камеру с решетчатыми дверьми), ребят — в первое. Сначала мы ехали своей компанией, потом к нам начали подсаживать уголовников; один из новых пассажиров, выслушав нашу историю, сказал: «Эх, не знаком был я с вами раньше, поменял бы свою пятерку (срок) на вашу семерку».

Стали водить на оправку. Когда повели женщин, сперва уголовниц, мужскую часть «пассажиров» охватил ажиотаж: «Манька, дай!», «Катька, покажи!»; те отвечали соответственно. Конвоирам ничто человеческое не было чуждо: запустив очередную зэчку в туалет, они наблюдали за ней в глазок, иногда комментируя увиденное. Мы возбужденно совещались, что предпринять, когда поведут наших девочек. Наконец, очередь дошла и до них. И тут кто-то из уголовников крикнул на весь вагон: «Тихо! Политических ведут».

Девочки наши прошли по вагону почти в полной тишине. Кто-то негромко произнес: «Вот это девочки, не то, что наши шалавы». Конвоир, сопровождавший их, закрыв дверь туалета, демонстративно становился напротив нашей камеры.

Ненависти уголовников к политическим — «фашистам», описанной Солженицыным, Шаламовым и другими зэками предшествующей эпохи, я не наблюдал. Иногда, правда, нам говорили с некоторым пренебрежением: «Листовки, книжки — все это ерунда! Лысого взорвать надо!» (т.е. мавзолей). Это высказывание, при случайных и не очень обильных встречах с уголовниками, я слышал трижды, в одной и той же формулировке и с одними и теми же интонациями.

В вагоне мы переделали текст «Прощания славянки». Эту песню, приспособленную к студенческой ситуации, уже пели в нашем институте. Припев у нее такой:

Отремела весенняя сессия,
Над Невой золотится заря.
Что ж ты, милая, смотришь невесело,
Провожая ребят в лагеря?

Имелись в виду военные лагеря, куда раньше, еще до нашего поступления в Техноложку, отправляли студентов перед присвоением офицерского звания. Исходя из новой ситуации, мы заменили в припеве слово «весенняя» на «судебная», переделали и еще один куплет:

Лица дышат весельем и бодростью,
Под ногами бетонный перрон.
Мы проходим с заслуженной гордостью
Под конвоем в тюремный вагон.

Решили рассматривать свои сроки как затянувшийся турпоход.

* * *

На псковской пересылке ребят разделили. Вадик, Валерий и я попали в одну четырехместную камеру, а в другую — оба Сергея, Веня и Борис. Нас выводили гулять в соседние дворики, и мы свободно переговаривались, только один раз — когда Борис наклонился, а Мошков стал ему на спину, чтобы посмотреть на нас, —

охрана вмешалась. Боря объяснил ситуацию так: «Завязывал я шнурок на ботинке, слышу, конвоир что-то кричит — оказывается, это Сергей стоит у меня на спине». На пересылках начальство обычно не связывалось по мелочам с проезжими зэками, и инцидент был исчерпан.

В Пскове мы пробыли, наверное, неделю. Из окна нашей камеры виднелся кусочек неба и голубой церковный купол. Этот купол я узнал через двенадцать лет, когда мы с Иринкой и дочкой бродили по Псковщине. Нетвердо уверенный в своей способности отличить один церковный купол от другого, я вошел в фойе гостиницы и спросил у швейцара про здание рядом с церковью и услышал в ответ, что это тюрьма.

Следующим этапом нас доставили на Горьковскую пересылку. Опять мы (мужская часть) оказались вместе, в огромной камере. Эйфория, охватившая нас еще во время суда, как только мы снова оказались вместе, здесь, в Горьком, достигла наивысшего наката. Еще по дороге из Пскова мы начали приставать к биологу Мошкову (Сергея арестовали после четвертого курса) с вопросами, к какому типу, классу и виду относятся кентавры, русалки и прочая мифологическая живность, и он аргументированно нам отвечал. Борис на память читал самиздатские стихи-пародию на выступление в «Литературке» А.Первенцева: это был политический донос на интеллигенцию, отдохавшую в Коктебеле. Первенцев требовал закрыть этот курорт для всех, кроме членов Союза писателей. Эту статью я успел прочесть; пародия, кроме последних строк, точно следовала сути статьи. Начиналась она так:

Вокруг залива Коктебеля
Лежит прекрасная земля —
Колхозы, бля, совхозы, бля,
Природа!
Но портят эту красоту
Сюда приехавшие ту-
Неядцы и моральные уроды.

Кончалось стихотворение строфой:

Все говорят, что я статью
Для денег написал свою.
Не верьте, бля, не верьте, бля,
Не верьте.

Я написал не для рубля,
А потому, что был я бля,
И есть я бля и буду бля
До смерти!

Мы покатывались с хохоту.

На пересылке мы затеяли игру в домино. Играли, укладывая доминошки рубашкой вверх и называя выставленную кость. Следующий по ходу мог проверить: если игрок соврал, то он забирал свою кость и пропускал ход, если нет, ход пропускал тот, кто проверял. Мы со ржанием и стуком укладывали одну кость за другой, восклицая: «Шесть-шесть!» — «И я — шесть-шесть!» — «И я тоже!» Надзиратели собирались у глазка, приоткрывали дверь в камеру: такого веселого этапа они никогда, наверное, не видели. Когда домино нам надоело, мы попросили шашки и начали играть в «Чапаева», сопровождая каждый шелчок хохотом.

И снова «бетонный перрон — тюремный вагон». На этот раз нам попались развеселые попутчики — банда грабителей. Парни снимали часы с запоздавших прохожих, не брезговали и кошельками. Руководила бандой симпатичная девчонка маленького роста, напомнившая нам андерсеновскую «маленькую разбойницу» (мы ее так и называли между собой), она из своей клетки командовала здоровенными парнями, покрикивая на них: «Не ори!», «Прекрати трепаться!», и те беспрекословно повиновались. «Маленькая разбойница» оказалась соседкой наших девчат и, выяснив, за что их осудили, как и прежний наш попутчик, пожалела: «Жаль, дурью маялась, не хватило ума, чтобы сесть за дело».

Последняя пересылка была в Потьме. Путь от поезда до «воронка» мы проделали вместе с Люсей и Валею. Они замыкали женскую часть этапа, мы же шли впереди мужской. Успели перекинуться парой слов, узнали, что «маленькая разбойница» обещала достать для нас сахар (на пересылке нам действительно передали два килограмма сахарного песка).

В пересыльной камере вместе с нами оказался старик-пятидесятник из Бессарабии, за отказ от службы в армии сидевший в королевской Румынии, во время оккупации — в фашистском концлагере, потом — в советских лагерях: сталинских, хрущевских, брежневских. По возрасту в армию он уже давно не годился, но сажать его не переставали. Старик рассказал нам о себе, порасспросил нас и передал на зону приветы своим братьям по вере.

На Потьминской пересылке к нам в камеру заглянул какой-то офицер: «Марксисты?» Мы ответили утвердительно. «Ну, мы здесь этот марксизм из вас выбьем!» Сказал и вышел, подтвердив лишний раз наши теоретические установки.

Во время следствия, в полной изоляции от внешнего мира, все наше дело мне иногда начинало казаться абсолютным безумием — полтора десятка человек хотели перевернуть двухсотпятидесятимиллионную страну!

Но уже на суде настроение изменилось. Свидетели, конвой, некоторая часть специально подобранного зала, газета «Смена», адвокат Тимофеев как могли демонстрировали нам сочувствие и поддержку.

Потом на свиданиях, сначала в Ленинграде, а затем и в лагере, я узнал новые факты. После обыска одна из соседок спросила уводившего меня гэбэшника: «За что вы его? Он хороший — не пил, не ругался», — тот сердито ответил: «Лучше бы пил и ругался». Квартира моментально поняла, кто и за что уводил меня из дому. К Иринке вбежала соседка тетя Оня (Анисья Сергеевна), одинокая женщина, уборщица, с криком: «Дура! Не могли у меня все спрятать!» А позже «воронья слободка», наша коммуналка, месяц не разговаривала с «партийной» соседкой, когда та, вернувшись с допроса, призналась, что рассказала о моих «антисоветских высказываниях».

Квартира помогала Иринке все семь лет моего заключения, а когда я вернулся, наш сосед, водитель автобуса Бровкин, сообщил, что после моего ареста они «голоса» начали слушать: «вдруг там про тебя скажут».

Толя Янковский, только что поступивший в аспирантуру Технологички, выступил на комсомольском собрании, созванном ради нашего осуждения: «Я не знаю, что они писали в своей программе, но я знаю, что они хорошие люди, и это знают многие сидящие здесь».

Во ВНИИСКе собрали только рабочих, призвали их «осудить отщепенцев», но один из слесарей сказал то же самое, что и Янковский: «Дайте нам прочесть то, что эти ребята распространяли, и мы выскажем свое мнение». Ведущий собрание в ответ заявил, что «эту антисоветчину никто давать им не собирается». Со словами: «Ну, тогда мне здесь делать нечего» — слесарь покинул собрание, за ним потянулись и остальные.

Иринке передали деньги за мое участие в изобретении, т.е. не исключили из команды, хотя участие это было довольно скромным. Лида Иофе нашла в своем почтовом ящике конверт с крупной суммой.

Сразу же после суда всех свидетелей соответствующего возраста начали исключать из комсомола. На аккумуляторном заводе «Ленинская искра», где работала моя жена, каждого комсомольца вызвали и предупредили, чтобы те голосовали за исключение ее из комсомола. Несмотря на это, четверо, среди них девушка-секретарь бюро и ее молодой человек, тоже член бюро, демонстративно воздержались. Инструктор райкома комсомола после собрания подошел к ним и начал утешать, ругал партийно-комсомольскую бюрократию. Через некоторое время они случайно встретились на улице, и он сказал, что ушел из райкома.

Я думаю, начнись перестройка в середине шестидесятых, победа социал-демократии на выборах была бы весьма вероятна. Во времена брежневского правления в партии начали опять задавать тон циничные «полуфашисты-полуэсеры» сталинского типа.

Конечно, было и другое. Моя ленинградская тетья, тоже работавшая уборщицей, узнав о моем аресте, сказала: «Так ему и надо — он троцкист» (с этой формулировкой пропал в лагерях ее старший брат, и другой вины она просто не могла представить); московская тетушка, когда мама заехала к ней, оказавшись в Москве по пути в Мордовию, посмотрев в глазок, не открыла дверь. Наш приятель Олег Усъяров выступил на собрании с осуждением нашей деятельности (единственный из рейдовиков!).

Но такие люди составляли, в общем-то, исключение.

То, что нам удалось продержаться в лагерях, не сломавшись, — в значительной мере заслуга наших жен и друзей. Все это время мы ощущали за своей спиной крепкий тыл. Иринка все семь лет разлуки писала мне практически ежедневно, как и Нина — Вадикку. Писали и друзья. Сиротинин приезжал из Красноярска, чтобы проводить в Мордовию на свидание Ксению Ивановну, Сережину маму. В другие разы ее провожали Алла Соколова, Володя Шнитке, Юра Беляев, Леша Столпнер.

Через солагерников мы заочно, а наши близкие лично познакомились с москвичами — друзьями и родственниками Даниэля, Синявского и севших вслед за ними. Однажды на свидание ко мне Иринку в Москве провожала на поезд большая компания, и

среди них — Толик Якобсон²². На вокзале провожавшие начали ахать по поводу огромного рюкзака, который тащила моя жена. «Тошка, можешь проводить ее до зоны?» — «Могу». Якобсон забрался в вагон, переговорил с проводниками, и, несмотря на протесты Иринки, поехал вместе с ней.

Явас

Юлий Даниэль: первое знакомство. — Беседа с начальством. Нас делят. — Перпетуум мобиле в сушилке. — От Ленина к Бернштейну. — Нас вербуют по очереди. — Тюремщик-еврей. — Солагерники. — Национальный вопрос в зоне и в Союзе. — «Блатнячки»

В начале марта 1966-го мы оказались в зоне в Дубравлаге — Мордовия. Лагеря — ровесники советской власти. Местные мальчишки еще при нас называли заключенных «блинчиками» — когда-то за пойманного беглого зэка власть выдавала мешок муки, и в семье был праздник.

Привезли нас всех вместе (мужскую часть) на 11-е лагерное отделение рядом с поселком Явас, «столицей» Дубравлага. Был ясный день, и все население лагеря с любопытством на нас поглядывало. Как выяснилось потом, в зоне ожидали группу, арестованную за поджог синагоги (на что рассчитывали дезинформаторы, уму непостижимо).

Среди встречавших нас у вахты выделялся несколько сутулый человек, выглядевший гораздо старше нас, он оказался Юлием Даниэлем (о деле Даниэля и Синявского мы уже знали из газет). «Марксисты?» — спросил он нас, едва мы успели обменяться именами и рукопожатиями. Мы ответили утвердительно. «Жаль, что мы не познакомились раньше, — я бы вас разубедил». Сказано это было так, что я подумал, будто имею дело с великим

²² Анатолий Якобсон (1935–1978) — литератор, педагог, поэт-переводчик; близкий друг Юлия Даниэля. Активный участник общественного движения конца 1960-х — начала 1970-х годов, член первой независимой правозащитной ассоциации — Инициативной группы защиты прав человека, один из издателей самиздатского информационного бюллетеня «Хроника текущих событий», несколько раз упоминаемого Ронкиным далее. В 1973 г. эмигрировал; в 1978 г. покончил с собой в Иерусалиме. — *Прим. ред.*

политологом. Увы, политическая философия оказалась не самым большим достоинством Юлия.

Не успели мы освоиться, как нас пригласили к начальству. Офицер внутренних войск предложил нам выступить перед заключенными и, ничего не выдумывая, честно рассказать о жизни в Ленинграде. Пока я соображал, как бы это получше сформулировать отказ, встал Сергей: «Мы честно будем рассказывать про Ленинград и вообще отвечать на любые вопросы, но делать это будем не на собрании, а в индивидуальном порядке». Офицер, посетовав на то, что мы отказались «участвовать в мероприятии», отпустил нас. А через четверть часа Сергеем (Хахаеву и Мошкову), Вени и Борису объявили о том, что их ждет этап на 1-е лаготделение. Через пару часов мы расстались.

Поскольку нас разделили точно так же, как в псковской пересылке, видно, что нас и не собирались держать всех в одной зоне. Гэбэшники решили, что все вместе мы скорее решимся на выступление, а потом, когда нас разделят на маленькие группы, мы, уже противопоставленные остальным зэкам, легче будем поддаваться «воспитательной работе». Прощаясь, мы еще успели обсудить этот вопрос.

* * *

О курьеже в первый день пребывания наших ребят на первой зоне я слышал от Вени. Даже если все было и не совсем так, как он рассказал, анекдот этот достоин истории.

Одним из существенных элементов лагерной архитектуры были сушилки — помещения, где теоретически зэки могли сушить промокшие ватники: по стенам там висели вешалки с колышками для одежды и полками для шапок. Как правило, в сушилках если и висели ватники, то либо оставленные освободившимися, либо просто брошенные. Ценность этих помещений заключалась в том, что там могла собраться компания в пять-десять человек и поболтать о том о сем. Заходить в сушилку, если там уже кто-нибудь собрался, считалось неприличным. Вот в одном из таких закутков на полке для шапок ребята и увидели несколько моделей «перпетуум-мобиле», как будто сделанных по картинке из учебника физики. Пока они расспрашивали окружающих об их происхождении, прибежал и сам изготовитель этих диковинок (лагерная молва успела донести, что на зону прибыли инженеры, с которыми наконец-то он мог бы обсудить причины своих неудач).

На Венино возражение, что построить действующий вечный двигатель нельзя, конструктор заявил, что у него есть доказательство обратного: «Все, что говорят большевики, — ложь. Они говорят, что вечный двигатель невозможен. Следовательно, вечный двигатель можно построить!» Пока Веня переваривал услышанное, в беседу вступил Зеликсон: «Почему, Веня, ты утверждаешь, что вечный двигатель невозможен? Из законов термодинамики мы знаем о невозможности вечного двигателя первого рода — механического и второго рода — термодинамического. Может быть, существует вечный двигатель третьего рода? Какой? Ну, например, идеологический — обыкновенная паровая машина, работающая от вечного огня».

Этот аргумент — «Все, что говорят коммунисты, — ложь, а следовательно» — я не раз слышал и на зоне, и потом. В середине девяностых он был аксиомой, на которой основывались чуть не все рассуждения.

* * *

На 11-м из нашей группы остались Вадим, Валерий и я.

Как-то в одной из бесед с Вадиком (далеко не в первый день на зоне) я задал ему вопрос: «Почему советская архитектура так отстает от западной?» (Напомню, что бюрократизм мы рассматривали как следующую, более прогрессивную стадию после капитализма.) Вадим ответил тоже вопросом: «А в какой области мы не отстали?» Этот мимолетный разговор врезался мне в память потому, что с анализа гаенковского вопроса начались размышления, которые в конечном итоге привели меня от Ленина к Бернштейну. Для меня самое важное в нем было разделение экономического и этического начал в марксизме.

До этого было уже много бесед с новыми знакомыми, но их высказывания я не мог оценить по достоинству. Слова же близкого друга значили гораздо больше, чем то, что я слышал от «иных».

В первые же дни мы познакомились с Геной Теминым. Гена читал нам свои очень неплохие стихи. Стихи эти и его воспоминания о лагерях потом были опубликованы (Колымский детектив // Азъ. 1990. № 2; В тени закона. СПб., 1995). Гена мне понравился, но близкими друзьями мы так и не стали.

* * *

Первое, что мы услышали в зоне: «Будут вербовать». Вербовать начали почти сразу. Меня вызвал какой-то очень молодой

гэбэшник с отвислыми мокрыми губами, производивший впечатление деревенского дурачка. Он долго распространялся насчет того, что, поскольку я был допущен к секретности, мною несомненно будут интересоваться агенты иностранных разведок, которых в зоне, «сами понимаете», много. «Мы не просим, чтобы вы передавали ваши разговоры с друзьями, но вот если кто-нибудь заинтересуется государственной тайной...» Я перебил его: «Уже один интересовался, не то чтобы сразу тайной, но подходы делал, один старик спрашивал у меня формулу воды. Хотите, пойдём в барак и я вам его покажу?» Мой собеседник оказался умнее, чем я думал, и от представления отказался. Но у самых дверей он спросил меня вдогонку, знаю ли я Германа Кривоносова. С Германом, ленинградским юристом моих лет, носившим рыжеватую «меньшевистскую» бородку, мы познакомились почти сразу же по прибытии в зону, и мне он очень понравился.

Я ответил, что знаю, «это такой одноногий старик с большой седой бородой». Я уже начал открывать дверь, как ее потянул с другой стороны Герман, тоже вызванный к гэбисту. В дверях мы остановились, и я начал рассказывать, зачем меня вызывали, а Герман — строить предположения, зачем вызвали его. Пухлогубый гэбэшник не выдержал и закричал: «Кривоносов, зайдите и закройте дверь».

Вадика вызвали следующим, не помню, тот ли гэбэшник или другой. Вадик заявил, что он готов согласиться при одном условии — ему дадут боевой пистолет, иначе он боится.

Третьим вызвали Валерия. Валерий ответил, что ему надо подумать и посоветоваться с друзьями. Подумать ему разрешили, а вот советовать не советовали. Через пару дней его вызвали опять. «Я посоветовался и со своими друзьями, и со старыми экаками. Все в один голос говорят, чтобы я не связывался, я и не буду».

Валерка в это время работал на привилегированном месте — варил смолу. В отдельной комнате он читал книжку, изредка поглядывая на термометр. По окончании процесса под емкость надо было поставить бочку, слить продукт, загрузить мешок и несколько ведер сырья — и снова можно было читать. (Может быть, я теперь и несколько упрощаю, но работа была нетрудная.) На следующий день его от этой смолы отстранили. «Жалко было терять такую синекуру, но, потеряв ее, я чувствую себя гораздо свободнее, и это с лихвой компенсирует потерю».

* * *

Одной из достопримечательностей 11-го л/о был капитан Иоффе, начальник по режиму — «режим». В двадцатых-тридцатых годах еврей-тюремщик никого не удивлял, теперь же он выглядел белой вороной. Сионист Рафалович пересказывал мне свои с ним беседы, иногда кончавшиеся карцером: «Пройдут годы, и историки установят, что на 11-м лаготделении однажды беседовали два еврея. Один из них был порядочный человек, это я, другой — подонок». В карцер попала и латышская компания. Иоффе был из латышских евреев, латышский язык знал, но тщательно это скрывал. Однажды он по какому-то поводу вызвал к себе нескольких молодых латышей. «На приеме» они почему зря ругали капитана на латышском языке, наконец один из них сказал другому: «Эта сука притворяется, что по-латышски не понимает». «Сука» не удержался и отправил всю компанию в карцер.

* * *

Юлий Даниэль познакомил нас со своими друзьями — Толиком Футманом, Валерием Румянцевым и Толей Марченко. К тому, что написал о своих друзьях Марченко в книге «Мои показания», я, наверное, ничего не добавлю. С самим Толей мы общались не очень много, помню только один эпизод — в казарму входит мент и видит читающего Толю. «Читаете, читаете, а от книг клопы разводятся». — «И от Ленина тоже только клопы?» (Толик в это время штудировал именно Ленина. Так вопрос и остался открытым.)

Еще один интересный человек, с которым меня познакомил Юлий, — это аварец Коля (Нажметдин) Юсупов. Юсупов окончил педучилище, поработал учителем, служил десантником, потом попал в инструкторы райкома, откуда ушел, не выдержав лжи и атмосферы карьерного недоброжелательства. Работал шахтером. Он сел за антихрущевское выступление, не столько антихрущевское, сколько престалинское — на каком-то кавказском базаре забрался на бочку, как Ленин на броневик, и сказал речь. На другой день его арестовали. На суде председатель обратился к одному из свидетелей, хозяину бочки: «Вы говорите, что подсудимый, топнув ногой, пробил дно бочки. Вы можете подать иск, ведь содержимое бочки, наверное, испортилось». «Вай, — ответил протодушный свидетель, — пусть еще такое скажет, второй бочки не жалко!»

Коля, двухметровый, широкоплечий, заросший щетиной, был человеком неимоверной силы и огромной, присущей силачам доброты, хотя внешне и выглядел очень мрачно. Весь он сплошь был покрыт густой шерстью; как-то, когда мы обсуждали, что будем делать после освобождения, он сказал: «На работу нас, конечно, никуда не возьмут. Но выход есть: ты приведешь меня в зоопарк и скажешь, что поймал снежного человека. А я буду слушаться только тебя — вот и прокормимся».

Сталина он уважал за интернационализм. «При нем все дружили, а теперь все собаками смотрят друг на друга — ты аварец, а ты русский, тот еврей, а этот латыш. И все не любят один другого. А при Сталине были все — одна семья». Сколько ни убеждал я его, что это было не так, что высылали чеченцев и татар, немцев и калмыков, он не соглашался: «Сталин этого не знал».

Работал Коля Юсупов в так называемой аварийной бригаде. Название чисто советское, потому что сформирована эта бригада была в ожидании не землетрясений, наводнений или пожаров, а прибытия грузов. Ее задачей была разгрузка вагонов с материалами для лагерного предприятия (в зоне был мебельный комбинат) — в основном леса. Юлий рассказал нам, что, когда его привезли на 11-е лаготделение, то тоже определили поначалу в эту бригаду. Здесь были собраны по большей части молодые здоровые парни; но кроме интересов дела, существовали еще «интересы государственной безопасности». Исходя из этих интересов, Юлия с фронтовым ранением локтя правой руки и направили в «аварийку». В бригаде уже был «Глухой» — Толя Марченко, который действительно плохо слышал и поэтому вечно рисковал быть раздавленным покотившимся бревном. Теперь прибавился и Даниэль. Рафинированный интеллигент и эстет, он легко вошел в коллектив, хотя большинство работников «аварийки» было значительно сильнее его.

В один из первых дней его и Юсупова отправили на разгрузку платформы с углем. Они начали разгружать платформу с двух сторон. Вдруг Юлий услышал сказанное мрачным голосом: «Сыды, куры!» Юлий не хотел перекладывать на него свою долю работы и стал убеждать Колю, что он справится. «Как хочешь», — ответил тот. Через какое-то время Юлий опять услышал: «Сыды, куры!» Он повернулся и увидел, что большая часть угля уже разгружена, сзади него платформа уже пуста, сам же он успел очистить только малый угол. «Сыды, куры. Нэ мешай!» Вечером Коля подошел к бригадиру (из полицаев), свернул кулачище, огромный, как ар-

буз, поднес его к носу бригадира и сказал: «Во! Если пошлешь Юлия на работу без меня!» Впрочем, и остальные члены бригады, каждый в меру своих сил, старались помочь ему, как, конечно, они помогали и друг другу.

Лагерное начальство поняло, что ребята из «аварийной» не дадут повода наказывать Юлия за невыполнение нормы, несмотря на раненую руку, и перевело его в цех. Там он был поставлен за станок, при работе на котором на раненую руку приходилось большое усилие, норма здесь была индивидуальной, а не групповой. Ранение начало болеть, шрам гноиться, осколки кости начали выходить через кожу. Даниэлю сделали рентгеновский снимок, собирались лечить, но вдруг снимок куда-то пропал (в тюрьме выяснилось, что он был там, где и положено, — в личном деле), Юлия объявили симулянтom и посадили в карцер.

«Симуляция» выразилась в том, что он якобы засовывал в рану щепки, которые выдавал за осколки кости.

Лагерный врач, женщина, в общем-то, не злая, но, тем не менее, поставившая свою подпись под заключением о симуляции, при встречах с Даниэлем отводила глаза и бормотала нечто несуразное.

Украинец Святослав Караванский предложил нам объявить коллективную голодовку. К этому мы еще не были готовы, кроме того, свое предложение он сделал в полный голос, при явных стукачах, а мы в лагере еще не пообтерлись, и я ответил, что такого рода призыв «либо глупость, либо провокация». Об этом своем ответе я потом немало сожалел, но извиниться перед Святославом не имел возможности — нас развезли; делаю это сейчас.

В Москве начался очередной скандал — правозащитное движение уже родилось, а начальство еще не знало, что ему делать в условиях хотя бы относительной гласности. Вообще позиция Марии Синявской и жены Юлия Ларисы Богораз, впервые в истории ГУЛАГа открыто рискнувших установить связь с западной прессой, сделала лагерную жизнь конца 60-х—начала 70-х годов достаточно сносной. Тем, кто пришел в лагеря и тюрьмы за нами, стало уже гораздо хуже — власти, пережив первый шок после оккупации Чехословакии, перестали заботиться о том, что о них скажет просвещенный мир.

* * *

Попав в зону, мы впервые поняли значение национального вопроса. Поняли мы и другое. Если раньше нам казалось, что логика — самое сильное и неотразимое оружие, то теперь эта иллю-

зия развеялась. Мы смутно начали понимать то, что сегодня я уже могу сформулировать, — в основе каждого мировоззрения лежит система постулатов, принимаемых на веру, исходя из которых и строится это мировоззрение (в некоторых случаях такие построения могут, конечно, быть логически безупречными).

Понять все это нам, на мой взгляд, в числе прочего помогла и наша рейдовая деятельность. Мы уже тогда (этого взгляда я придерживаюсь и теперь) поняли, что силе можно противопоставить только силу. Агрессора, насильника, будь то внешний агрессор, правящий класс, опирающийся только или в первую очередь на насилие, или обыкновенная дворовая шпана, можно остановить только силой. Но насилие неконструктивно. С помощью насилия нельзя никого перевоспитать или переубедить и ничего нельзя построить. (Собственно говоря, большевистская интерпретация Маркса, согласно которой диктатуре приписывались более широкие задачи, чем разоружение насильника, родилась в стране, где и ранее существовали пословицы «Начальник всему печальник», «Добрый начальник нашему брату полбога, а плохой и черта не стоит», «Повиновение начальнику — повиновение Богу» (Даль) и, наконец, «Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак!») В конце концов оказывается, что насилие, претендующее на большее, чем отобрать палку у хулигана, служит корыстным целям тех, кто эту палку отобрал и оставил себе.

Такие мысли о насилии и определяли в лагере наши взаимоотношения с окружающими. Мы могли спорить и с верующими, и с националистами относительно рациональности распада СССР, и с теми, кто не соглашался с нашими экономическими взглядами, но, не соглашаясь с оппонентами, своими врагами мы считали тех, кто пытался и им, и нам навязать свою точку зрения с помощью палки.

* * *

В нашей интернациональной компании на 11-м л/о кроме уже упомянутых Даниэля и Кривоносова были еще москвичи Юра Grimm, Лёня Рендель, казах Мамед Кулмагомбетов, латыши Кнут Скуениекс, Виктор Калниньш, Улдис Офканс, Ян Арайс (как звали подельников Яна, я уже не помню), эстонец Март Никлус, грузины братья Кабалия, украинцы братья Горыни, Микола Осадчий.

Юра Grimm мне очень понравился, но, к сожалению, я сейчас не помню ничего ни из его прошлого, ни из лагерных историй, с ним связанных.

Лёня Рендель проходил по делу Краснопевцева и Меньшикова. Это были преподаватели Московского университета, арестованные в 1957 году. В листовках, распространенных «группой Краснопевцева» по поводу исключения Молотова из президиума ЦК, было требование внутрипартийной демократии. Большинство участников группы, в том числе Рендель, Краснопевцев и Меньшиков, получили по десять лет лагерей. О том, как вели себя в зоне Краснопевцев и Меньшиков, уже писал сам Рендель. Я же с ними не встречался. То, что они не противопоставляли себя правящей партии, знаю от Сережи Мошкова, беседовавшего с Меньшиковым, слышал, что при обсуждении вопроса о том, является ли бюрократия новым правящим классом, Меньшиков заявил примерно следующее: «Наша ошибка в том, что мы выпали из этого класса». Лёня (об этом мне рассказывал Миша Молоствов много лет спустя) сначала купился на некоторые догматические лозунги его «отцов-командиров», заявивших о необходимости сотрудничать с администрацией, надел красную повязку, и на его совести была в том числе отправка на штрафную зону некоторых политзаключенных, в частности недостаточно правоверного, с их точки зрения, марксиста Молостова. Но нравственное чувство оказалось у Лёни сильнее догмы, и ко времени нашего знакомства он искупал свое прошлое соглашательство непрерывными конфликтами с лагадминистрацией. Мало того, что он дружил с самыми отъявленными «антисоветчиками», он по любому поводу писал длинные жалобы. Лёня бродил по зоне с записной книжкой, куда и записывал любые факты, которые могли послужить основанием для очередной жалобы. Отправляя нас в другой лагерь — Озерный (17-е л/о), начальство заявило, что подушки и одеяла мы должны захватить с собой с Яваса. Лёня демонстративно отказался это делать, ибо считал, что обеспечивать быт заключенных — задача администрации лагеря. Так он и маялся некоторое время без одеяла и подушки. При всей комичности подобных ситуаций, Рендель, возможно, один из первых понял значение борьбы за права человека, в данном конкретном случае — заключенных, как для них самих, так и для общества в целом. В конце концов, уже на 17-м л/о его посадили на камерный режим. Потом перевели опять на 11-е л/о — в ШИЗО. Там к нему хотел подойти Краснопевцев, но Лёня выразительно плюнул в его сторону.

Мамед Кулмагомбетов кончил Алма-атинский университет и остался там преподавать марксизм. К самому марксизму в те поры

он претензий не имел, но ложь, связанная с преподаванием, Мамеда изрядно раздражала. Мамед ушел из университета и устроился на завод слесарем. Сам этот факт тамошнее начальство расценило как вызов. У него был произведен обыск и отобран альбом «с фотографиями клеветнического типа». В центре за такие вещи уже не сажали, но в Алма-Ате Мамеду дали семь лет. Я помню, как однажды нас повели работать за зону и один из конвоиров то ли кого-то толкнул, то ли обругал. По лицу Мамед угадал в нем казаха и разразился речью на казахском языке. Потом он перевел нам свою филиппику: «Когда тебя кто-нибудь назовет казахской собакой, он будет прав — ты из казахов, и ты собака, но из-за тебя позор падает на всех казахов, поэтому ты вдвойне собака!» Конвоир молча слушал. Когда нас отправили в другую зону, Мамед остался на 11-й, а потом угодил во Владимирскую тюрьму. Уже во Владимире я узнал, что он оказался в одной камере с русским националистом и был избит за неуважительные слова о маршале Жукове. При этом якобы даже было сказано: «Как смеешь ты, дикарь, так отзываться о русском офицере!» Не привожу имен, поскольку такого рода сведения часто оказываются легендами.

С братьями Кабалия, грузинскими националистами, я был мало знаком; помню только, что на перекличке, когда нас пропускали из жилой зоны в рабочую, при фамилии «Кабалия» старший брат отвечал: «Ми» и оба они выходили вперед.

Однажды во время обеденного перерыва младший Кабалия прилег вздремнуть в цеху на скамейке. Вдруг появился офицер и потребовал пойти и кого-то разыскать. «Я норму выполняю, а сейчас обед», — ответил зэк. Возмущенный офицер ударом ноги выбил из-под него скамейку, и грузин оказался на полу. В следующий момент скамейка в руках Кабалии оказалась над головой офицера. Даниэль, оказавшийся рядом, успел ее перехватить, но все же парню грозил новый, весьма продолжительный срок.

Юлий немедленно собрал нас на совет. Паре «повязочников», присутствовавших при инциденте, мы весьма недвусмысленно предложили молчать. Потом они заявили, что ничего не видели, так как обедали в другом месте. Далее Юлий отправился в штаб и там изложил ситуацию со своей точки зрения, а также предупредил о резонансе, который дело может вызвать за лагерной колючкой, пригрозил и акциями внутри зоны. Кабалия получил три месяца ШИЗО, но от возбуждения нового уголовного дела администрация воздержалась.

Скуениекс (талантливый латышский поэт, насколько я могу судить по переводам Даниэля), Калниньш и Офканс были подельниками. В Риге они собирались еще у одного своего приятеля, который поил их коньяком, а заодно пытался создать из них подпольную организацию. К этому человеку никто серьезно не относился ни в Риге, ни потом в зоне, звали его «микрофюрером».

«Микрофюрер» экспериментировал с какими-то бактериями, кои намеревался запустить в рижский водопровод и тем самым спровоцировать недовольство русскими оккупантами. Ему где-то удалось достать столбнячную палочку, он впрыснул ее коту, отчего тот и подох. Один из следователей имел фамилию Катис, что по-латышски означает «котенок», поэтому допрашиваемые по поводу эпизода с умерщвлением называли животное не котом, а котенком, что весьма следователя раздражало.

Заниматься подобными делами никто из гостей «микрофюрера» не собирался. Их привлекал к нему в дом дармовой коньяк. Однажды, выходя после очередного возлияния, Виктор обмолвился, что уж если и создавать организацию, то не с хозяином во главе. За эту фразу он и получил десятку (статья «измена Родине» — «Значит, вы действительно хотели создать организацию, пусть и при другом руководителе?!»). За что конкретно получил свою десятку Офканс, не помню; Кнут получил семь лет за несколько анекдотов.

Помню еще одного латыша — Жигурса Висвальдиса. Его ксилографуры, подаренные мне, хранятся у нас как семейная реликвия — я их подарил жене (как вынес из зоны, уже не помню).

Два брата остались сиротами — отец погиб в бою с «лесными братьями», мать, работавшую в прокуратуре, убили они же. Старший брат Висвальдиса окончил военное училище (вообще, в такие заведения латышей принимали не очень охотно, но для сына погибших в борьбе с националистами сделали исключение) и служил на границе. Однажды наряд, возглавляемый им, обнаружил след, ведущий за кордон. Командир заявил: «Не к нам лезут, а от нас бегут» — и распорядился прекратить преследование. Кто-то настучал, его арестовали (где отбывал он свой срок, я не знаю). В связи с арестом брата и у Висвальдиса произвели обыск и обнаружили самодельную рацию, какое-то оружие и пятьдесят советских паспортов, которые он стянул в доме отдыха из конторки администратора. Парень серьезно готовился к партизанской борьбе (надо сказать, что, кроме детективов, он ничего не читал ни на воле, ни в зоне).

Отсидев года три, Висвальдис ушел в побег. Это случилось так: Висвальдис болел и днем оставался в жилой зоне. Когда ему стало лучше, в солнечный сентябрьский день он решил погулять по зоне. Около проходной увидел выезжающий грузовик с мусором. Надзиратель, потыкав содержимое кузова железным прутом, слез и дал сигнал внешнему конвоиру открыть ворота. Тот ворота открыл, но одну из створок захлопнуло ветром, и солдат стал ее придерживать, таким образом, и солдат, и надзиратель оказались по одну сторону машины. Висвальдис мгновенно оценил обстановку и, пристроившись с другой стороны грузовика, вышел из зоны. Солдат, закрывавший створку, оказался к нему спиной и закрыл обзор надзирателю. В те времена в политлагерях допускались некоторые вольности — Висвальдис был одет в лыжные брюки, ковбойку и острижен сравнительно давно.

На улице Яваса (напоминаю, поселка, рядом с которым находилась 11-я зона) он увидел лагерного офицера, шедшего ему навстречу. Офицер этот Висвальдиса знал. Тот, однако, не растерялся — подошел к офицеру и попросил закурить. На вопрос: «А ты, Висвальдис, что тут делаешь?» — любитель детективов ответил: «Да вот, неожиданно пришла помиловка, я так волнуюсь, даже руки дрожат». Офицер согласился, что это действительно повод для волнения, и они разошлись. На местном «подкидыше» беглец добрался до Потьмы и сел в первый попавшийся поезд западного направления.

Пройдя по вагонам, он выбрал молоденькую проводницу, которой рассказал, что он студент, ездил к своей девушке, а теперь без копейки возвращается в Москву. Проводница устроила его в служебном купе и даже покормила.

Висвальдис покинул зону часа в три дня, до отбоя его никто не хватился, а после отбоя, в одиннадцатом часу, надзиратели, обходя бараки, увидели расстеленную постель и решили, что заключенный выскочил в туалет. Во время следующего обхода они разбудили соседей, но те на всякий случай ответили, что «этот только что крутился здесь». Наконец надзиратели забеспокоились и начали обход туалетов, барачков, столовой и прочих мест. Ничего не обнаружив, позвонили начальнику лагеря, тот приказал снова все перепроверить. Опять перепроверили — безрезультатно. Устроили всеобщую перекличку. Пока построили тысячную зону, пока шла перекличка, шло и время. Позвонили в лагуправление, там снова велели перепроверить, никому не хотелось сообщать высшему начальству о ЧП. Только к утру был объявлен всесоюзный

розыск. Висвальдис, позаимствовав у проводницы ключ, заранее отпер вагонные двери. Выглянув, он увидел впереди на перроне оцепление и сиганул с поезда. Дальше на запад он шел пешком. В одной из деревень, через которую проходил его путь, только что украли с веревки белье, и, увидев незнакомого прохожего, сельчане задержали беглеца. Ему предложили вернуть пропажу, чего он, разумеется, не мог сделать, и сдали в милицию.

В милиции уже знали о побеге, ее начальник захотел воочию увидеть «особо опасного государственного преступника» и вызвал к себе Висвальдису, который выглядел тогда мальчишкой (к моменту ареста ему не было восемнадцати лет), — тот сильно разочаровал начальника. Они разговорились, и задержанный попросил дать ему в сопровождение милиционера, так как лагерный конвой может его пристрелить по пути, а с другой стороны, участие сельской милиции в задержании «особо опасного» может быть никак не отмечено. Какой из этих аргументов возымел действие, неизвестно, но Висвальдису до лагеря сопровождал кроме конвоя еще и старшина милиции. Обозленные конвоиры надели на пойманного зэка наручники и так затянули их (а ночами уже были заморозки), что Висвальдис стал инвалидом, кажется, у него нашли тяжелую форму ревматизма. Мы с ним познакомились года через три после побега, за который ему добавили трешку.

Арайса и его друзей арестовали в районе Североморска, где они проходили срочную службу. Ребята создали подпольную организацию с целью освобождения Латвии и остальных республик Прибалтики. Себя Ян Арайс считал социал-демократом. Несмотря на то что об аресте их предупредил офицер штаба, эстонец, и все написанное они успели уничтожить, ребята получили по десятке (кто-то, кажется, остался в тени и под трибунал не попал).

Яна и его друзей мы в шутку звали «латышскими стрелками», тогда еще это не звучало обидно, скорее наоборот.

В числе прочих достопримечательностей Североморска был огромный «ничейный» козел, питавшийся на помойках. Солдаты шутки ради красили ему рога, а то и просто обливали краской. Он бродил по поселку разноцветно-грязный и был очень агрессивен. Помню, на скользкой крутой тропинке он напал на мою учительницу, которую я спас, отогнав козла снежками. Ян и его друзья попали в Североморск года через два после того, как я оттуда уехал. Разноцветного козла они застали. Эти воспоминания еще больше сблизили нас.

Настал момент, когда мне пришлось обратиться к ним за помощью. Их земляк Алексис в лагере покрывал лаком стулья «из пистолета», а я был у него в подручных. История Алексиса такова. Когда немцы оккупировали Латвию, его призвали в армию. Торопясь заготовить сено, парень упал с копны, сломал себе руку и... за попытку избежать мобилизации попал в фашистский концлагерь. Когда же немцы начали отступать, лагерников построили и заявили: «Кто любит Латвию и готов за нее воевать — отойти направо, остальных расстреляем». Алексис отошел направо. Ему вручили лопату и отправили копать противотанковые рвы, но одели в старую форму СС (чтобы боялись бежать к русским). Тем не менее, он подался на свой хутор, где и продолжал работать. Потом появилась советская власть — тех, «кто любит Латвию», опять призвали в армию, Алексиса — в стройбат. И отправили парня в Вологодскую область на лесозаготовки на целых шесть лет, русского он не знал, часть располагалась в лесу — тот же лагерь, разве что кормили чуть получше. Потом он вернулся домой и кто-то опознал в нем бывшего эсэсовца. Двадцать пять лет за измену Родине! Он несколько раз пытался бежать, но только «наматывал» себе срок. После 56-го года всех таких, как он, «эсэсовцев» выпустили, а у Алексиса — три побега! Ну и оставили досиживать.

Как-то неожиданно он обратился ко мне: «Валерий, ты не будешь меня презирать, если я напишу помиловку? — какой я политик». Я сказал, что, конечно, считаю его вправе так поступать. «Я же ни разу девчонки не целовал». Написал он помиловку и стал ждать. А тут беда — лак, который нам выдавали, был на спирту, и два «блатнячка» сперли полбидона.

Алексису лака не хватило, и он обратился к лагерному начальству. Наказание для него означало значительное уменьшение шансов на помилование. «Куда дел?» — «Украл во время обеда». — «Не могли украсть — мы сторожа поставили!» — «Вот у сторожа и спросите».

Лак воровали часто, начальство пыталось закрыть помещение на замок, но мы отказались работать, опасаясь сгореть. Тогда поставили сторожа, бывшего полиция, который с «блатными» портить отношений не хотел. Начальство пригрозило сторожу, тот пожаловался «блатнякам», те пришли «бить Алексиса».

Я сидел в лагерях для «особо опасных», т.е. политических. «Блатные» попадали к нам опять-таки как «политические». Один проигрался в карты и боялся оставаться среди своих, другой услышал, что «политиков из-за границы шоколадом снабжают», третий

просто остервенел от условий содержания, короче, пошел парень к туалету и мелом написал на стенке: «Долой Ленина (Брежнева, КПСС)!» — и попал к нам. К этой категории примыкали и некоторые «перебежчики», пытавшиеся смыться через границу, некоторые после «дела». Мы, политические, помня сталинские лагеря, когда в них хозяйничали воры в законе, тщательно оберегали ту атмосферу, при которой «блатные» командовать нами не могли.

Когда появилась эта парочка, я на рабочем месте был один (Алексис куда-то отошел). «Ты видел, как мы тырили лак?» — «Нет». — «Тогда будем бить Алексиса». — «Алексиса вы не тронете!» — «Почему?» — «Да потому, что я этого не хочу». (Через тридцать лет я сообразил, что тогда цитировал Киплинга, там речь шла о старом Акелле.) Такое мое вмешательство несколько обескуражило «блатнячков», они начали выяснять, какое отношение я имею к Алексису, но я прекратил дискуссию, заявив: «Здесь командуют политические». Я закурил, хотя в цеху это строжайше запрещалось: с одной стороны, мне действительно хотелось курить, с другой — надо было продемонстрировать свое равнодушие, с третьей — в руках у меня оказалось хоть какое-то оружие (парни были явно сильнее меня): «В случае чего ткну сигаркой в глаз».

Один из них потряс над моей головой тяжелой гирей. Поматерились и ушли. Вечером я рассказал обо всем этом «латышским стрелкам». Компанией направились они к этой блатной парочке, и тем инцидент был исчерпан (меня даже приглашали на чай, но я отказался). Но Алексис освободился по помилованию уже после того, как мне пришлось покинуть эту зону.

* * *

«Блатнячки» (кажется, не эти) устраивали и совсем безобидные шутки. Однажды они пригласили нашего интеллигентнейшего Смолочку поесть мяса, тот приглашение принял. В конце трапезы хозяева начали вдруг полаивать, и Валерка стал догадываться, в чем дело. Наконец один из них спросил: «А ты знаешь, какое мясо ел?» Валерка притворился, будто он не догадывается. «Собачатину!» Они ожидали по крайней мере рвоты, но Валера со словами: «Давненько я не ел собачатины» — потянулся за следующим куском. Оказалось, что в зону явился какой-то тип из управления и привел с собою сеттера (политзона же!), а пока он беседовал с нашим начальством в штабе, «блатнячки» собаку отловили и зажарили.

«Глухари»

Две категории политзаключенных. — Судьбы. — Проблема ответственности

Заключенные пятидесятых-шестидесятых годов, сознательно вmeshавшиеся в политику и за это угодившие в лагерь, независимо от возраста и образования назывались «студентами». «Студенты» и в лагере продолжали жить теми ценностями, которые их сюда привели. Например, устраивали встречи, на которых украинцы рассказывали о Шевченко, латыши — о Райнисе, я сделал доклад о Плеханове, в его годовщину. Юлий читал стихи: и свои, и переводы стихов Кнута Скуениекса. К лекции о Райнисе ребята заготовили гравюры величиной с открытку — его портрет (одна такая гравюра сейчас хранится в архиве московского «Мемориала»). К своему докладу я попросил Иринку прислать несколько фотографий памятника Плеханову, установленного около Техноложки. Гравюры и фото раздавались слушателям в качестве сувениров.

Но в зоне было немало и таких, как Алексис, людей, для которых война, участие в армиях и движениях оказались просто стихийным бедствием, — их звали «глухарями». Как правило, не очень грамотные, эти люди, попав в мясорубку событий, как могли «вертелись». Раз через двадцать с лишним лет после окончания войны они были живы, значит, «вертелись» успешно, хотя и недостаточно для того, чтобы избежать зоны.

О «глухарях» мне хочется написать отдельно, игнорируя хронологию знакомств и встреч (11-я и 17-я зоны мордовских лагерей, Владимирская тюрьма): они важны для меня не только как личности, но и как целый слой людей, совершенно мне до отсидки неизвестный. Истории этих людей слышал я от них самих. Те, которые казались мне правдоподобными, я и привожу.

* * *

Олекса — житель Западной Украины. Участвовал в национальном партизанском движении. После его разгрома скрывался в лесу с одним из товарищей. Иногда, особенно зимой, заходил в село к сестре.

Однажды к сестре нагрянули энкавэдэшники. «Нам известно, что у тебя бывает твой брат-бандит. Не поможешь нам — и тебя, и твоих щенков отправим в Сибирь». (Это Олекса узнал уже через много лет от своего односельчанина-солагерника, ему рассказали на свидании родственники.)

Когда Олекса с другом в очередной раз появился у сестры, та добавила в самогон снотворное, оставленное ей. Поев и выпив, ребята отправились в лес. По дороге начали засыпать, а сзади уже был слышен лай собак. Когда друг уже совсем не мог идти, Олекса застрелил его, а вторую пулю пустил себе в висок. Но не умер, в тюрьме его выносили, только парализовало левую сторону. Получил он двадцать пять лет. Пуля осталась в голове, иногда его начинало корезить, он терял сознание, потом отходил.

Не имея ни от кого помощи, работал — выворачивал рукавицы, которые шили в зоне. Здоровой рукой он надевал рукавицу на специальный колышек и, ухватив зубами, выворачивал, так же поступал и с большим пальцем. Так он зарабатывал деньги хотя бы на ларек (5 руб. в месяц).

* * *

Ткачук, оказавшись на оккупированной территории, пошел в полицаи. Единственное, что его не устраивало, — был рядовым, а хотел начальником. Для того чтобы продвинуться, заманил своего шефа к себе на сеновал и три дня поил самогоном. Пока тот валялся пьяным на сеновале, Ткачук сообщил немцам, что его коллега ходил на связь с партизанами. Допрошенный немцами, шеф деревенских полицаяв ничего путного о том, где он это время пропадал, рассказать не мог. В итоге Ткачука назначили командиром, а бывшего — решили повесить. Но, очевидно, оккупанты и сами не очень верили в его дружбу с партизанами — его посадили в неохраняемый сарай, откуда мужик и сбежал в мороз в одном исподнем в соседнюю деревню, где командовал знакомый ему немецкий офицер, и его взяли опять в полицаи, правда, рядовым.

Ткачуку дали двадцать пять лет, а его начальнику — только десять: и начальником-то был недолго, и какие-то слухи о его связи с партизанами ходили. Встречаясь с Ткачуком в зоне, он не упускал возможности обматерить «товарища»: «Стал, гад, начальником!» (намекая на большой срок).

В конце войны Ткачук перешел санитаром в госпиталь, отстал от эвакуирующихся оккупантов, так как снимал сапоги с убитого немецкого офицера, и попался нашим.

В лагере он стучал, не особо это скрывая, за что имел право получать бандероли с «зондермишунгом» (так называлась смесь молотого кофе и чая — чай в зону не имели права получать даже

стукачи), торговать содержимым (по 3 руб. за спичечный коробок) и класть деньги на свой лицевой счет (по правилам, при обнаружении у ээка денег ээк наказывался, а деньги конфисковывались).

Скопив на подобной торговле некую сумму (бандероли ему присылала жена), он решил, что и в семьдесят лет с деньгами он изрядный жених, и приставал ко всем окружающим с просьбами помочь ему в поисках невесты. Прежнюю жену он собирался бросить. Наша компания как-то покупала у него этот самый «зондермишунг», мы дали ему двадцатьпятку, и он обещал постепенно расплатиться, но потом на все вопросы стал отвечать: «Жена не шлет. Получу — отдам». Никаких санкций в нашем распоряжении не было, но однажды и ко мне он обратился с просьбой найти ему невесту, да еще интеллигентную. Я сказал, что такая знакомая у меня есть, и на вопрос «Кто по профессии?» ответил, вспомнив Остапа Бендера: «Зубной техник».

Со своим долгом он моментально рассчитался и не переставал интересоваться, когда же я познакомлю его с этой дамой. Потом я про «зубного техника» забыл, а Ткачук, подглядев адрес на моем письме, обратился к жене. В Питере, получив письмо из моего лагеря, писанное не моей рукой, решили, что это какая-то шифровка, и принялись гадать — что бы все это могло означать.

* * *

Румынский офицер (как звали его, уже не помню), интеллигентный и начитанный, родом из Бессарабии. Семья его там же и жила, а он служил в другой части Румынии. Когда произошло «воссоединение» Бессарабии с Союзом, их разделила новая государственная граница.

В 41-м году во время наступления румынской армии он отлучился из части и прискакал в свое село. Там он узнал, что отец, мать, жена и маленький сын высланы как родственники румынского офицера. Жена хотела отправить сынишку к своим родителям, которых не высылали, но энкавэдэшник взял его за шиворот и, как щенка, забросил в кузов полуторки, куда грузили ссыльных.

Все советское начальство во время его визита в родное село уже сидело под замком в сарае, куда их в ожидании новой власти посадили сельчане. Он приказал всех выпустить, а чекиста повел на задворки. «Зачем ребенка-то в машину бросил?» — «Боялся,

что без матери останется». Энкавэдэшника офицер пристрелил и ускакал в свою часть.

В коммунистической Румынии его судили и приговорили к трем годам за самосуд. Он считал приговор совершенно обоснованным. Но не успел он отсидеть три года в Румынии, как его затребовала Москва. В Союзе его снова судили, уже за измену Родине. И тут он получил десять лет. (На тех, кто родился на территориях, впоследствии отошедших к Союзу, независимо от их гражданства, эта статья распространялась со всеми вытекающими из нее последствиями.)

В 68-м году срок его кончился, и он уехал в Румынию, где (по его письму) был принят с почетом как невинно пострадавший. (После чешских событий Чаушеску занял самостоятельную позицию и даже высказывал претензии на Бессарабию.)

* * *

Еще один офицер — командир Красной Армии, танкист. После окончания училища был направлен служить в Биробиджан. Там он познакомился с девушкой-врачом, еврейкой. Они полюбили друг друга и поженились. Отслужив свое вдалеке от центра и получив право выбирать военный округ для дальнейшего прохождения службы, он с семьей вернулся на Украину, где жили его родители. У них он оставил жену и пятилетнюю дочь, а сам отправился служить недалеко от границы.

В самом начале войны ему удалось заскочить к родным, и он велел жене немедленно эвакуироваться: «Ты знаешь, что немцы делают с евреями!» Потом были отступление, окружение и опять родная деревня, в которую рассказчик попал уже один. Там он нашел и родителей, и жену, и дочь. Жена рассказала, что его отец тяжело заболел и она как врач не могла его бросить, а потом уже нельзя было выбраться. На семейном совете решили назавтра уходить, оставив стариков.

А назавтра пришли полицаи. «Не пойдешь служить к нам — отдадим немцам твоих баб!» Пришлось служить в полиции. О подробностях этой службы я не расспрашивал, но, вероятнее всего, чистым ему остаться не дали.

Вернувшись с одной из противопартизанских операций, узнал, что его жену и ребенка увезли фашисты. Взяв автомат, он явился в полицию и расстрелял всех, кто там был, а потом отправился через фронт один. Вышел к своим, сказал, что из окружения, дошел на танке до Берлина. Где-то в 56-м году его вызвали в ГБ, и он получил «десятку», которую и «оттянул» сполна.

* * *

Ян Капициньш. Гораздо старше нас, но веселый и безалаберный, прибил к нашей компании уже на 17-м лаготделении. Сын латышского стрелка времен революции. Отец его воевал в России, бросив семью. Получил пост, потом его расстреляли. А Ян без отца рос в Латвии, потом плавал матросом, занимался контрабандой, пил, водился с портовыми б. чуть не всей Европы. А во время войны пошел в полицаи («Не на фронт же!»).

Рассказывал, как — в первый и последний раз — расстрелял больную старуху еврейку, свою соседку. «Хорошая она была, мы с ней жили дружно... Но приказали... Я ей, когда вез расстреливать, соломы на телегу постелил. Жалко было». После этого бежал из полицаев.

В лагере, когда Яна вербовали в СВП («секция внутреннего порядка» или «суки вышли погулять»), он неизменно отказывался. «Значит, не перевоспитался!» — говорило начальство. «Как раз я-то перевоспитался, понял, что моя рука совсем не для повязок! А они вон (кивал на «повязочников») не поняли этого».

* * *

Во Владимире со мною сидели два литовца, сначала появился Л., потом он исчез и моим соседом стал Н., а через некоторое время вернулся и Л. В их присутствии я и «вытряхивал матрасы». Но об этом позже.

Л. был пожилым и тучным мужчиной, весившим, по его словам, 80 кг. «А до ареста весил сто тридцать; и лечился, и на курорт ездил — ничего не помогало. Да и как было похудеть, если работал на проходной мебельной фабрики и все работяги ко мне выпивать приходили. Ну, и стакан хозяину, ему же почти и вся закуска, которой брали с запасом».

В свою «карму» он вписался так: после прихода немцев была объявлена мобилизация, Л. вовсе не хотел на фронт и поэтому записался в полицию, добровольно, что и стало позднее причиной нашего знакомства. Новая власть, призывая полицаев на службу, обещала им легкую жизнь в Вильнюсе, но отправила в Югославию воевать с партизанами. «На горе — мы, кругом — партизаны, вокруг них — немцы. Партизанам американцы продукты сбрасывали, кое-что на нашу гору падало. Тем и питались».

Потом был плен в Югославии, передача в Союз, фильтрационный лагерь. В политику не лез, «даже в самодеятельном хоре пел, и песни о Сталине — тоже, а потом мне дров не привезли,

так я назло им из их хора ушел». «Лесные братья? Слышал и даже один раз видел. Мы решили Рождество справить на лесном хуторе: пьем, танцуем, песни поем. Вдруг входят — заснеженные, обмороженные, с оружием. “Ах вы, сволочи! Мы тут за свободу воюем, а вы с бабами гуляете!” Разложили всех, и девок, и всыпали ремня. Потом поели, выпили и ушли».

Арестовали его в 67-м году, все это время вызывали в ГБ, допрашивали и отпускали. Про запас держали, и не его одного. В зону я попал через два десятилетия после окончания войны. Все эти годы и еще следующие двадцать лет советские газеты время от времени сообщали о том, что наши доблестные чекисты разоблачили очередного предателя, сотрудничавшего с фашистскими оккупантами во время войны. Наверное, было и такое, но во многих случаях «разоблаченные» находились на учете у КГБ чуть ли не с 45-го года. Газетные же разоблачения (соответственно, арест разоблаченных и суд над ними) приурочивались к очередному процессу над инакомыслящими (о котором газеты, как правило, не писали). Слухам о том, что ГБ опять похватила очередных студентов, пресса противопоставляла душещипательные рассказы о возмездии, настигшем очередного предателя. Публике было невдомек, что полиция этого органы заботливо хранили многие годы до той поры, пока он не понадобится для очередного шоу на тему «Для чего стране чекисты».

Получил он десять лет. Л. в камере голодал, да еще весь день разглядывал цветной разворот какого-то литовского журнала, на котором был изображен пышный новогодний стол. Я, попав во Владимир, боялся голода и поэтому каждый день оставлял от пайки некоторый запас. Когда у меня оказалась целая пайка в н/з, страх прошел. Через несколько дней Л. сказал, что у него день рождения, и я ему подарил этот запас. Он ел и плакал: «Мог ли я предполагать, что так обрадуюсь куску хлеба?!» — «А на югославской горе?» — «Так я же тогда молодой был!»

Н. тоже получил десятку. Пошел в полицаи, участвовал в «ликвидации» каунасского еврейского гетто: «Немцы заставили!»; а с другой стороны: «Пошел к ксендзу. Он сказал: «Грех», — больше не делал такого».

При отступлении немецких частей выбросил немецкий мундир. Был мобилизован в Советскую Армию, дошел до Германии, был даже награжден. Каждый год ко Дню Победы на его тюремный адрес приходила поздравительная открытка из военкомата — пачку их он мне с гордостью показал.

Интересно было слушать его рассказы о войне: «Только мы окопались, как наши (немецкие) орудия вдруг — по окопам, тут наша (советская) авиация...» Каждый раз приходилось переспрашивать, кто это — «наши»?

Однажды он начал насвистывать, и меня это стало раздражать. Чем дальше, тем больше. Попросить не свистеть — его будет раздражать, а если не прекратит — еще хуже злиться начнешь. Некоторое время я терпел, наконец нашел выход. «Ты разве не знаешь, что в камере свистеть нельзя?» — «Почему?» — «Новый срок насвистишь». Эту примету я когда-то слышал от уголовников. Помогло.

В камере N. больше всего волновался о своей корове, которая болела где-то в Литве. Просил меня заниматься с ним русским языком: я должен был читать в словаре слово по-литовски, а он — давать русский перевод. Как-то попалось слово, переводимое как «кулак (соц.)». «Это та часть цепа, которая бьет, а порусски так называют богатого крестьянина». Ему пытались привить ненависть к богатым, а он (наверное, и не один он) посчитал это случайным совпадением звучания двух разных слов — литовского и русского.

* * *

«Глухарям», попавшим в переплет истории, было гораздо хуже, чем нам, «политикам», пытавшимся эту самую историю делать (не говоря уже о том, что им пришлось хлебнуть и сталинских лагерей). С другой стороны, если ты «глухарь», то даже и расстрелянная старуха не на твоей совести, а если ты «политик» — неси ответственность и за всех «глухарей», и за все, что они натворили.

Воспитательная работа

Агитационная сила плаката. Лекция о религии. — Религиозные агитаторы.

— Лектор из Риги. — Встреча с Владимиром Осиповым

В малой зоне (лагере) все было как в большой. На стене штаба висел типографски отпечатанный плакат: «Свободу испанским политзаключенным!», сверху была изображена демонстрация, народ нес лозунги: «Amnistia», «Libertad». Я, наверное, первым обратил внимание на этот плакат (вообще не могу пропустить

ни одной заборной надписи). После чего к плакату началось па-ломничество. Пришлось начальству его убрать.

Через месяц после прибытия на 11-е л/о мы увидели на двe-рях столовой объявление: в такое-то время в помещении столо-вой состоится антирелигиозная лекция, лектор — учительница местной школы. На нашей, как, впрочем, и на любой политзоне, имелись представители почти всех конфессий мира. Верующие подобных мероприятий, разумеется, не посещали, неверующие — тоже, аудиторию составляли в основном престарелые полицаи, надеявшиеся послушанием что-нибудь урвать, если не сокраще-ние срока, то хотя бы лишнюю посылку.

На этот раз атеист Рендель соблазнился — он коллекциони-ровал идиотские ляпы начальства и хотел пополнить свою кол-лекцию. Вернулся он несколько разочарованный: «Эта (учитель-ница) бросила щепотку щелочи в раствор фенолфталенина и на том основании, что содержимое пробирки покраснело, объявила, что Бога нет».

* * *

Отношения с «религиозниками» у нас были разные. Неко-торые сектанты просто не снисходили до того, чтобы общаться с нами; с большею частью верующих мы говорили, не затраги-вая религиозных тем; наконец, находились и такие, кто пытался нам навязать свою веру. Этим особенно отличались «Свидете-ли Иеговы». После того как мы передали приветы единовер-цам старика, встреченного нами на Потье, они стали осаж-дать нас непрерывно — стоило сесть поболтать между собой или взять книгу, словно из-под земли возникал иеговист и начинал свое. Надо сказать, эти ребята поражали нас железной дисциплиной. На их собраниях руководитель начинал с корот-кого вступления, потом указывал на одного из слушателей: «Теперь ты», и тот отбарабанивал некий текст, потом это же делал другой, потом третий.

Нас они пытались «охмурить» посредством науки. Они апел-лировали и к астрономии, и к физике, и к биологии. Научные положения, приводимые ими в доказательство своей правоты, были до предела примитивны, а зачастую и просто искажены. Нам все это стало изрядно надоедать. Сначала мы остряли между собой, что «свидетелям» подменили статью — их надо было судить «за дачу ложных показаний», потом мы не выдержали — после оче-редной тирады очередного «свидетеля» Вадик ошарашил его, за-

явив, что «Бога вообще нет», такого наш «оппонент» настолько не ожидал, что нас на этой зоне оставили в покое.

Уже на 17-м л/о Сергей Мошков ответил одному не в меру ретивому агитатору от религии: «Я мог бы поверить в непорочное зачатие, но в этом случае Христос мог быть только девочкой» (Сергей имел в виду явление партеногенеза).

Месяца через два на зоне появился и наш потьминский знакомец, и нам удалось подсмотреть сценку — молодой «свидетель», очевидно, приставленный к нам, рапортовал старику, показывая на нас и разводя руками.

* * *

Вернусь, однако, к лекциям. Следующий лектор был направлен к нам из Латвийского государственного университета. Он должен был нас уверить не только в отсутствии Бога, но и в полном отсутствии у всех еще не посаженных или уже выпущенных из лагерей латышей всякого стремления к национальной независимости, а также в том, что само понятие «независимость» ничего конкретного не означает.

Перед лекцией латыши-«студенты» пригласили нашу компанию и еще кого-то, было решено устроить маленькое развлечение.

Народу на этот раз было сравнительно много. Старики латыши, да и вообще прибалты надеялись услышать что-нибудь новенькое о своей родине от земляка. Молодежь явилась в ожидании спектакля.

Спектакль этот старики нам чуть было не испортили: они потребовали от своего земляка, чтобы тот говорил по-латышски, но лектор, отвергая всякие проявления национализма, от этого категорически отказался и тем спас положение. Саму лекцию, обычный набор газетных штампов, мы слушали не очень внимательно, но предложение задавать вопросы приняли всерьез. Некоторые вопросы нами были приготовлены заранее, некоторые мы придумывали по ходу дела. Вопросы ставились так, что на первые, скажем, два лектор мог отвечать газетными штампами, что он и делал, зато такой же его ответ на третий вопрос вызывал дружный хохот зала, так как оказывался в полном противоречии с только что сказанным.

Оценив положение, докладчик «вспомнил» о своих земляках и предложил перейти на латышский язык, но не тут-то было — зал дружно заревел: «Давай по-русски!», и лектору пришлось

еще пару раз выдавать ответы, сопровождавшиеся всеобщим хохотом.

Наконец наш удалец не выдержал и, повернувшись к начальнику лагеря, который, по обыкновению, в таких случаях сидел в президиуме, с возмущением заявил: «Я считаю это провокацией и требую принять меры!», после чего молодежь демонстративно начала выходить из зала, а за ней потянулись и остальные.

* * *

Вскоре по лагерю разнесся слух, что к нам ожидается большой этап с первой зоны, которая перестает быть политической. Я надеялся на встречу с Сергеем Хахаевым и другими своими подельниками, но эти надежды оказались напрасными.

С первой партией они не прибыли. Мне удалось познакомиться и поговорить только с Владимиром Осиповым, который в зоне из анархиста превратился в русского националиста. Он произвел на меня впечатление человека умного, здраво анализирующего политическую ситуацию, что же касается наших идеологических разногласий, то мы решили их обсуждение оставить до следующего разговора, которому уже не суждено было состояться.

Участие Осипова — уже во времена перестройки — в акциях с требованием полного запрещения (не ограничения!) порнографии меня удивило. Я и сам с удовольствием запретил бы порнографию, но я помню, как в период нашей работы в патруле милиционеры рассматривали порнографические «открытки», конфискованные ими у посетителей клубов, как они недоумевали, если мы отвергали это удовольствие. Эти «открытки» (среди них я увидел и фотографию рембрандтовской Данаи) никогда не уничтожались, а наши попытки сделать это натыкались на сопротивление тех же милиционеров. Совершенно очевидно, что попытка полного запрещения порнографии приведет только к всевластию цензурного произвола, а такого рода продукция продолжит свое существование, как и туалетные художества, которые дети будут изучать с большим любопытством, нежели Библию или Маркса. Впрочем, я не уверен, что информация о выступлениях Осипова адекватна тому, что он говорил на самом деле.

* * *

Беседовали мы с ним около часа, потом мне объявили, чтобы я сам готовился к этапу. Произошло это перед Новым, 1966 годом.

Сразу же после «латышской» лекции никаких мер принято не было. Но когда нам объявили, кого уводят на этап, выяснилось, что это и есть в основном те самые «студенты», которые задавали «провокационные» вопросы.

Озерный

Первые впечатления. Шмон. Лёня Рендель. — Котелок. — Знакомство с бытом и начальством. — Начальник по режиму Тамбовцев. — Работа. — Формула Даниэля. — Церемония кофепития. Снова национальный вопрос. — Как была разрешена проблема котелка. — Штрафник для особо опасных

Утром 31 декабря 1966 года нас на грузовиках повезли на лагпункт 17-а, в поселок Озерный (поселки Дубравлага только при зонах и располагались). Все, кроме Лёни Ренделя, тащили не только собственные вещи, но и подушки, одеяла. Выгрузили нас в рабочей зоне и загнали в коридор швейного цеха. В стене, отделявшей коридор от самого цеха, были окна, через которые мы увидели столы со швейными машинками. В цех вновь прибывших запускали группами и «шмонали». По тому, как шел «шмон», мы сразу поняли, что здесь обстановка иная, чем на 11-м. Надзиратели отбирали массу вещей, разрешенных там, — свитера, тапочки, кастрюльки. На обыск вошел Рендель, и через некоторое время мы увидели, как Лёня прохаживается вдоль машинок в одних кальсонах, из которых торчало все, что могло торчать, и возбужденно что-то доказывает, размахивая руками. Пикантность ситуации усиливало то, что большинство надзирателей было женского пола. (Надзирателей на 17-м было мало, очевидно, на подмогу взяли из соседнего большого бытового женского лагеря.)

Еще до начала обыска, увидев такое количество «ментовок», Юлий и Лёня принялись обсуждать вопрос, кем они окажутся — «гуриями» или «фуриями». Теперь, глядя на столь импозантно выглядевшего Ренделя, Юлий не удержался, просунул голову в двери и закричал: «Лёня! Ведь вокруг гурии!», на что Лёня, требовавший в этот момент бумагу и ручку для письма в прокуратуру, ответил: «Ситуация слишком серьезна, и шутки неуместны». Ситуация была действительно серьезной — у Лёни отобрали лыжные брюки, а других у него не было. Наконец штаны ему вернули,

на зоне же через пару дней выдали форменные, а спортивные положили в каптерку, «до освобождения».

* * *

Особую проблему представлял котелок. По тому, что изымалось, мы поняли, что котелок у нас отберут, наличие же его представляло единственную возможность сварить себе разрешенный кофе или «контрабандный» чай. Юлию пришла идея вскрыть банку с яблочным повидлом, а содержимое положить в котелок. Повидло это было куплено в лагерном ларьке и хранилось нашим «колхозом» (Даниэль, я, Калниньш, Рендель) как неприкосновенный запас. «Колхоз» этот образовался по пути на 17-й.

Во время обыска надзиратель хотел котелок отобрать, но повидло энкам иметь не возбранялось. Мы сразу же пригрозили жалобой в прокуратуру. Предложение завернуть содержимое в газету мы тоже отвергли, хором заявив, что в газете повидло испортится, сама газета размокнет, и мы опять-таки будем жаловаться. Менты, привыкшие к безгласной покорности верующих женщин (до нас там была женская зона, где большинство составляли именно верующие), котелок нам отдали, предупредив, что все равно отберут при первом же «шмоне». Впрочем, наличие котелка в зоне никакими правилами не запрещалось, это была местная самодеятельность.

* * *

После обыска нашу компанию наконец запустили в зону, где нас уже ждала пестрая компания зэков. Главной моей радостью была встреча с моим поделеньником Сергеем Мошковым, который вместе с другими прибыл с 11-го двумя днями раньше.

Подушки и одеяла мы захватили с 11-го, матрасы и все прочее нам должны были выдать на месте, но, к нашему удовольствию, для новоприбывших администрация ничего не подготовила. Поэтому Новый год мы могли справлять без помех — отбоя не было, и мы, как и другие «переселенцы», всю ночь «пировали».

Утром мы отправились гулять по зоне. Я, как всегда, начал обзор с чтения плакатов. Запомнились два текста: «Ленин с нами!» и слова Горького: «Нет ничего прекраснее, чем свободный труд свободно собравшихся людей!»

У встреченного начальника, майора Анненкова, попросили разрешения взять со склада тапочки, и в ответ услышали: «Это вам не санаторий». Тогда-то Юлий и произнес свой историчес-

кий афоризм, определивший наши взаимоотношения с начальством: «Край непуганых идиотов. Необходимо пугнуть». Эта фраза Ильфа приобрела в наших условиях совершенно конкретный смысл.

Числа второго администрация начала «знакомиться с контингентом» — нас по очереди вызывали в штаб, где за красным сукном сидело несколько офицеров. «Комиссия» задавала вошедшему несколько формальных вопросов, а затем начинала пугать различными карами, предусмотренными и не предусмотренными «правилами внутреннего распорядка».

При появлении у начальства мы должны были рапортовать: «Заключенный такой-то прибыл». Мы заранее договорились, что будем рапортовать по-иному: «Политзаключенный имярек прибыл». Поскольку, согласно официальным установкам и, соответственно, юриспруденции, в СССР отсутствовали антагонистические классы и никакой политической основы для противодействия властям быть не могло, все мы были уголовными преступниками. Менее изощренные менты формулировали это проще: «Судили вас по уголовному кодексу, значит, вы и есть уголовники». Объявление себя «политическим» считалось недопустимой дерзостью и влекло, как правило, кару.

Юлий смущался титула «политического»: политиком он себя не считал, а врать и притворяться не умел. На вызов к начальству он попал не первым. Несколько человек, вызванных ранее и отрекомендовавшиеся «политзэками», настолько ошарашили наших будущих «воспитателей», что, когда вошел Юлий и сказал: «Здравствуйте, я Юлий Даниэль. Вы меня вызывали?» — это грубейшее нарушение лагерной обрядности прошло незамеченным.

* * *

Начальником режима в нашем лагере был капитан Тамбовцев. Он был гораздо умнее «среднестатистического» мента, и не было в нем бессмысленной вредности и желания куражиться перед заключенными. Он без слов выдавал нам сигареты или шоколадки, присланные в бандеролях, хотя подобная пересылка запрещалась лагерными инструкциями.

Однажды, когда я получал у него очередную бандероль, за моей спиной хлопнула дверь и в кабинет кто-то вошел. На столе Тамбовцева лежали две пачки «Опала», присланные мне Иринкой. «А вот сигареты я отдать не могу — не положено. Впрочем, вы можете обратиться к майору Анненкову, может быть, он разрешит». (Во-

шедший оказался именно Анненковым.) Я ответил, что, по моему мнению, разговаривать с майором бесполезно, пообещал еще раз напомнить жене о том, что можно присылать в бандеролях, и вышел из кабинета. На другой день Тамбовцев встретил меня в зоне и, вытащив из кармана сигареты, без слов отдал мне.

Следующий случай произошел в зоне под лозунгом «Заключенным не положено держать домашних животных» — началось уничтожение кошек. Бедных животных надзиратели хватили за хвост и ударяли о столб. Зачем-то я был вызван к начальнику. В конце разговора я заметил, что и мышей в зоне быть не должно. Анненков стал объяснять мне, что мышей действительно быть не должно, но вносить яды в зону не положено, поэтому администрация тут бессильна. Находившийся в кабинете Тамбовцев попытался исправить положение. «Зря вы так заступаетесь за кошек; в поселке какая-то эпидемия, и кошек уничтожают не только у вас, поскольку от этой болезни пострадать могут и люди». Я было поверил, но тут вмешался Анненков: «Все правильно говорит капитан Тамбовцев, к тому же заключенным запрещается держать домашних животных». Капитан только безнадежно махнул рукой. (Сережка Хахаев как-то поймал огромного паука, посадил его в банку и подкармливал мухами. Паук был вытряхнут из банки и раздавлен майорским сапогом со словами: «Заключенным не разрешается содержать домашних животных».)

Однажды я перекидывал в карцер пакетик с куревом, часовой на вышке увидел и позвонил в штаб. Меня вызвал Тамбовцев: «Что вы перекидывали? Табак? А оружия не перекидывали? Ну тогда о чем разговор — можете идти». Замечу, что рядовые надзиратели собирали в это время на нас любой компромат, этот же инцидент в мое личное дело не попал — ни в момент водворения в ПКТ (помещение камерного типа — внутренняя тюрьма на зоне), ни позже, когда меня отправляли во Владимирскую тюрьму, он не фигурировал.

Увы, и когда меня сажали в ПКТ, и позже, когда отправляли в тюрьму, под актами с явно вымышленными обвинениями стояла подпись Тамбовцева.

* * *

На следующий день нас распределили на работу — отряд, в который нас зачислили, был отправлен на стройку жилого дома, предназначенного для надзирателей и лагерных офицеров (другого населения в Озерном не было). Мы решили, что этой рабо-

той заниматься не будем. На наше счастье, в зоне не оказалось спецодежды и мы смогли отказаться на законном основании. Через пять дней нас вывезли на объект, где мы «ждали» спецодежду. Мы устроились в одной из комнат будущего дома, обогреваемой печью, в которую шло все деревянное, что попадалось под руку.

В конце концов нас оставили в зоне шить рукавицы.

* * *

Через какое-то время нас вызвали на медкомиссию, чтобы поставить в деле очередную галочку. Войдя в кабинет, мы с Юлием увидели там очень молодого человека в лейтенантских погонах, перед которым стоял дед с огромной седой бородой. Врач, сидя, командовал: «Подойди ко мне, повернись», потом стал что-то записывать, а старик продолжал стоять.

Юлий обратился к врачу: «Как вам не стыдно? Перед вами стоит человек, который вам в деда годится, а вы ему стул не предложили и тыкаете. Вы же врач, а не надзиратель. Вот узнаем, какой институт вы окончили, и напишем вашим бывшим однокашникам». Юноша покраснел, предложил делу стул и перешел на «вы».

Он оказался хорошим человеком, доброжелательным и внимательным медиком. Когда менты избили одного «полублатняка», сидевшего за попытку удрать за кордон, и тот, войдя в раж, ударил офицера в пах ногой, наш доктор составил два медицинских акта — один по поводу избиения заключенного, а второй по поводу офицера. Акт, составленный по поводу избитого парня, был, естественно, страшнее, ведь били его целой командой. Начальство вынуждено было отказаться от передачи дела в суд. Во всех подобных случаях наш доктор повторял: «Я врач, а не надзиратель». Возможно, влияние на него оказал не только Юлий. При медпункте была очень хорошая фельдшерница, она с теплотой вспоминала наших подельниц Люсю и Валю (пока в Озерном была женская политзона, они находились именно здесь) и не жалела для заключенных витаминов.

* * *

Как-то вскоре после нашего появления на зоне мы собрались в сушилке на традиционное кофепитие. Мы — это Даниэль, Калининш, Рендель, Мошков и я. Еще там было несколько латышей, украинцы и уже не помню кто. Ритуал кофепития был такой: кружка ходила по кругу, и каждый отпивал из нее по два глотка,

после чего передавал соседу. В особо торжественных случаях перед тем, как сделать глоток, получивший кружку произносил нечто вроде спича. Так было и на этот раз. Когда очередь дошла до одного из украинцев, он сказал что-то определенно «антимоскальское» и завуалированно антисемитское. Воцарилось неловкое молчание. И тут кружку взял старик латыш — Ян Вейде. Был он похож на медведя, рослый и широкоплечий, до «воссоединения» служил начальником полиции в Риге, потом партизанил. Отбыв свой двадцатипятилетний срок, поселился в доме престарелых и с гордостью писал в зону, что в союзе с директором (главврачом?) они сделали это заведение очень даже приспособленным для человеческого существования.

Но вернемся в сушилку. Седой латыш встал (остальные высказывались сидя), поднял кружку и торжественно произнес: «Я рад, что здесь собрались молодые люди из Москвы, Ленинграда, Риги и Львова! Зверь могуч и силен, и только общими усилиями мы можем повалить его».

После того как «выпивка» кончилась, мы с Сергеем обсуждали вопрос — где кончается национализм и начинается интернационализм. Несколько позже Виктор Калниньш сформулировал это так — интернационализм вовсе не противоречит существованию наций (само это слово означает «меж-национализм»). Унификация наций — это имперская политика, антипод интернационализма.

* * *

Во время очередного шмона надзиратель, как и было обещано, отобрал у нас котелок. Юлий и я отправились к Анненкову. «Вы нормальный человек, майор, а надзиратель, проводивший обыск, считает вас идиотом. Но вы же не идиот?» Майор был явно заинтригован. Юлий объяснил, что, поскольку з/к имеют право получать и пить кофе, они имеют право и варить его, для чего и необходим котелок. «А надзиратель отобрал его у нас и при этом ссылался на ваше распоряжение, но мы не можем поверить, что вы способны были отдать такой идиотский приказ, ведь вы же не идиот». Кончилось тем, что майор вызвал надзирателя и велел вернуть нашу собственность. Тот было заикнулся: «Товарищ майор, вы же сами...», но на этих словах был жестко оборван: «Верни котелок!»

Вообще-то мы старались по мелочам не нарушать лагерных правил, но не все зависело от нас. На этой зоне, как уже сказано,

мы шили рукавицы. Прошло около двух месяцев, прежде чем мы научились выполнять норму. Но были еще и перчатки, и это было гораздо сложнее, правда, и нормы ниже. Впрочем, перчатки мы шили очень редко, поэтому приладиться к ним практически никто не успевал.

17-й лагерь был задуман как некий штрафняк для особо активных эзков. Порядки здесь были строже, чем на 11-м: строже наказывали за невыполнение рабочей нормы, строже преследовали всякое уклонение от лагерной формы одежды, свидания были гораздо короче и обязательно с выводом на работу, письма пропадали чаще (посылать письма заказными или ценными нам не разрешали, и в случае пропажи следовала ссылка на плохую работу почты). Через некоторое время начальство и вовсе под разными предлогами начало лишать заключенных свиданий.

Другие репрессии — «лишить ларьком», карцеры. «Лишить ларьком» (ларек в творительном падеже употреблялся даже в письменных приказах майора Анненкова, вывешиваемых в зоне) означало запретить покупки дополнительной провизии, курева, а также всяких там зубных порошков, мыла и почтовых конвертов, которые разрешалось делать на 5 руб. из заработанных денег.

Карцер

Даниэль в карцере. — Я в карцере. Голодовка: первый опыт. — Вся наша компания в карцере. — Устройство и организация ШИЗО на 17-м. — Как мы добывали махорку. — Воспитание Раздолбая. — Мы празднуем юбилей октябрьского переворота

Первым из нашей компании на 17-м лаготделении «за невыполнение нормы» попал в карцер Даниэль (на 11-м он уже имел это удовольствие). На этот раз он отсидел пятнадцать суток, и через пару часов свободы ему объявили, что он снова должен отправляться в карцер. Лагерные правила разрешали держать в карцере не более пятнадцати суток, но ничто не мешало начальству, выпустив человека, через час посадить его снова, якобы за другую провинность.

На этот раз Юлий захватил с собою в карцер тубик «Тайги» (мази против комаров, которые его сильно донимали). Менты тубик этот стали отнимать, Юлий сопротивлялся. Результатом стал синяк у него под глазом.

По этому поводу я сочинил очередной стишок:

Люблю грозу в конце апреля,
Когда весенний первый гром,
Как будто голос Даниэля,
Грохочет в небе голубом.

Здесь Даниэль, — замечу кстати, —
Помянут мной не рифмы ради.
А что касается апреля —
То он-то ради Даниэля.

* * *

Через некоторое время оказался в карцере и я. На первый раз мне дали 5 суток, и я тут же объявил голодовку. Внешне это выглядело бессмысленно — я даже не написал официального заявления, но мне важно было проверить себя. Первые два дня я держал сухую голодовку, но потом ребята, оставшиеся в зоне, уговорили меня начать пить.

Пять дней я «постился» совершенно спокойно. Когда меня освободили из карцера, ребята предложили мне два глотка бульона (где-то достали кубик) и маленький кусочек шоколада. Через полчаса дали еще два глотка и еще кусочек. Наконец мне удалось сбежать от своей компании и наесться селедки с хлебом.

В следующий раз мы попали в карцер большой компанией. Разговоры на тему «выполнения нормы» нам изрядно надоели. Поэтому мы на любую претензию начали отвечать начальству их же выражением: «Это вам не санаторий!» Так мы развлекались некоторое время, а потом и вообще объявили майору Анненкову бойкот — перестали с ним разговаривать. И через некоторое время все «загремели» в карцер. (Впрочем, карцеров в лагерях давно уже не было, соответствующие заведения были переименованы в штрафные изоляторы — ШИЗО.)

* * *

ШИЗО на 17-м лагпункте был не чета другим. Он был деревянным! И пол, и бревенчатые стены — кругом дерево! В бетонных помещениях было гораздо хуже.

Вплотную к торцевой стене с зарешеченным окошком от одной боковой стены до другой шел сплошной настил из досок —

нары. Дабы эки под них не прятались от положенного им надзора, торец нар до пола был заколочен теми же толстыми досками, так что пространство под нарами было нам недоступно.

Лагерь был маленький, и в ШИЗО не было специальных надзирателей — они появлялись только во время кормежки, оправки и передачи смены. Запирая и отпирая огромный амбарный замок, под которым мы «хранились», надзиратель гремел и замком, и засовом, и ключами достаточно громко. Поэтому мы хорошо знали, есть тут кто-нибудь из ментов или нет.

* * *

Когда нас, пятерых, привели в ШИЗО, там был один уголовничек, безобидный воришка, просидевший за мелкие кражи чуть не всю жизнь. Выводить нас на работу начальство посчитало излишним — и возни много, и ребята дадут чего-нибудь поесть, а уж закурить — тем более.

Курить действительно очень хотелось, тем более что, по слухам, при ремонте ШИЗО в пространство под нарами была «затарена» махорка. Оставалось проникнуть туда. Надо сказать, что доски нар были обиты толстой железной полосой по краям и еще посередине. Но нам повезло.

Двери камер в ШИЗО делаются двойными: обычная деревянная дверь, обитая железом изнутри, с «кормушкой», и внутренняя — решетчатая, сваренная из толстых арматурин, которая открывается только тогда, когда в камеру кого-то вводят или из нее выводят.

Но поскольку двери делались в Союзе, размер «кормушки» не соответствовал вырезу в решетке внутренней двери — миску с баландой было не просунуть. Поэтому отверстие расширили с одной стороны, а вырезанный кусок арматурины приварили с другой, ибо отверстие должно было соответствовать ГОСТу.

На этот-то кусок арматурины мы и покусились. Сняли с ноги тяжелый ботинок и начали каблуком лупить по нему, благо в помещении, кроме нас, никого не было. Через какое-то время сварка дала трещину, а потом в наших руках оказался железный штырь сантиметров в тридцать. Им нам удалось отковырять конец одной из железных полос, прикрепленных к нарам. Затем, сгибая ее вперед-назад, отломать от нее метровый кусок, и дело пошло — мы вскрыли пару досок, забрались под нары и — УРА! — добыли махры! Но спичек там не оказалось. (Газетная бумага у нас была.) Выручил «блатнячок» — достал из-под подкладки

шапки кусок ваты, скатал ее толстым фитильком, повозил по полу (чтобы налип песок для увеличения трения), потом все тем же ботинком стал катать по нарам. «Упирался» он отчаянно, вдруг отбросил ботинок и резко разорвал вату. Подул — и на месте разрыва затлел огонек! Мы закурили.

Потом привели в порядок камеру, а железки положили в парашу. При выводе на «оправку» хорошо спрятали их в туалете.

Во время раздачи ужина мы видели, как взор надзирателя остановился на белой полоске, оставшейся под сорванным куском железной полосы, затем он увидел и оторванный штырь на двери.

Вахту сдавали надзиратели вдвоем: один стал спиной к открытой решетке, другой прикрыл своим телом то место, где должна была быть оторванная нами полоса. Все прошло гладко, и только при раздаче завтрака новая смена обнаружила изменения, но... не подала виду и сдала ее таким же образом. Мы уже ожидали скандала, когда вновь на вахту придется заступать тем, кто уже знал о пропаже двух кусков металла в карцере, но на смену заступил Раздолбай. (Фамилии надзирателей, извиняюсь, «контролеров» — на «надзиратель» они обижались! — нам известны не были, вот и приходилось придумывать клички, поскольку между собой надо было обмениваться информацией.)

Раздолбай где-то перед концом смены увидел непорядок и сразу же позвонил начальнику. И получил приказ искать. Мы ответили, что карцер под расписку не принимали и ничего не знаем, «так и было». Сдав смену в десять вечера, он принялся за «шмон», переместив нас в соседнюю пустую камеру. Было слышно, как он вскрывает доски нар и, как выяснилось, пола. В одиннадцать часов он появился у нас весь в пыли и паутине, снова стал требовать «отдать железины», мы повторили прежнее. В полночь он появился опять. Уже просил. Мы ему объяснили, что прежняя и даже предыдущая ей смены уже видели этот «непорядок», но благоразумно промолчали, он же хотел отличиться бдительностью перед начальством, и в этом мы ему ничем помочь не можем. В час ночи он появился снова и стал уже ныть.

И тогда мы ему объяснили, что, питаясь карцерной баландой, совсем потеряли память. Вот ежели бы полкило сала, буханочку хлеба, да по кружечке сладкого чая... Раздолбай согласился, но обещал все это утром — с собой у него уже ничего не было. Посулив припомнить ему, если обманет, мы рассказали, где лежит искомое.

1. Фамилия РОНКИН УК 76 при Сов.
 2. Имя ВАЛЕРИЙ
 3. Отч. ЕФРИМОВИЧ
 4. Год рож. Забудьте 1936 Место рож. г. Ленинград
 5. Адрес 2. Ленинград, Татаринов ул.
 6. Проф. (спец.) инт. спец. тех. работ
 7. Место работы, долж. наб.-к чет. делами ВНИИ
 8. инт. спец. тех. работ чл. брига. "автом."
 9. Парт б/п 10. Нац. евр. а/л 11. Гражд. ССР
 12. Арестован 12 июля 1965 Характер прес-
 туления инт. цветенная
 13. инт. спец.
 14. Ст. ст. УК 70 з/т УК реддер
 15. Карточка заполнена в Дубравном ЦТЯ МООН РСФСР
 16. 16 марта 1966 Богоренченко
 фамилия, составив карточку

№ № дел 21984
 Дакто ЭТам 18-III-681
 Форм вож. 17/IV-681
ЭТам 5/XI-682
 Указательный 19-VII-69
 номер документа

Учетная карточка Дубравлага

Кем осужден Ленинградским горсудом
 Когда 11-26 ноября 1965 70 з/т, 7А
 УК реддер
 Срок 7 лет 6 мес лет с последующим
ограничением на 3 года указать полностью дополнительные меры
 т. Приговор вступил в законную силу 10 февраля 1966
 ЭТам 18-III-681 в отношении КДБ при Сов. Мин. РСФСР 2 Варашки
 на основе распор. КДБ при Сов. Мин. РСФСР от 12/IV-66
 Прибыл 15 марта 1966 года из Светловского КДБ
 18-IV 17-IV = 27-II-682 Ленинград
 17-IV = 19-III-66 18-IV = 15-IV-682 ЭТам 5/XI-682 б/п
 17-IV = 30-XII-66 17-IV = 24-V-682 следствие КДБ при Сов.
 17-IV = 2-X-67 17-IV = 3-I-682 МАСЕР 2 Варашки на осн
 17-IV = 27-X-67 24-IV = 7-VII-682 требуется КДБ при Сов. Мин. РСФСР
 24-IV = 13-II-682 ЭТам 12-VII-682 б/п № 22 Владимир
на основе приказа № 30 РСФСР от 03/03/62

Оборотная сторона учетной карточки



Лагерная зона ЖХ385/11. Поселок Явас, Мордовия, 1966 год



Валерий Ронкин в лагере, Явас 1966 год

Юлий Даниэль. 1966 год



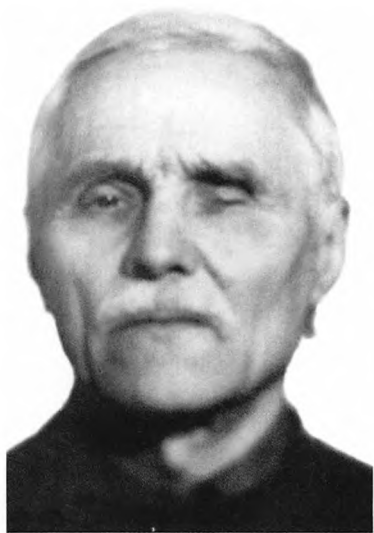
Александр Гинзбург. 1960-е годы





Юрий Шухевич. 1970-е годы

Борис Здоровец. 1980-е годы



Виктор Калниньш
Рисунок Ю.Иванова, заключенного
Дубравлага, 1969 год

Валерий Ронкин на этапе из тюрьмы
в ссылку. 1972 год





ПРОКУРАТУРА СССР

ПРОКУРАТУРА

Российской Советской
Федеративной Социалистической
Республики

Отдел № 8
« 8 » 1969 г.

При ответе сообщается в отдел
Москвы, Центр,
Кузнецкий мост, д. № 13

№ 241087/69

Гр. ГАЕНКО В.Н.

г. Ленинград, ул. Карпинского,
дом 6, кв. 65.

Ваша жалоба по делу Ронкина В.Е. рассмотрена Прокуратурой РСФСР.

Установлено, что Ронкин определением постоянной сессии Zubovo-Полянского районного народного суда Мордовской АССР от 7 июля 1969 года переведен на тюремный режим содержания обособленно.

Из судебных материалов усматривается, что Ронкин, находясь в местах лишения свободы, систематически нарушал режим содержания, допускал отказы от работы, нарушал распорядок дня, не выполнял нормы выработки. Своим отрицательным поведением разлагал влияние на других заключенных.

С января 1965 года по июль 1969 года Ронкин за различные нарушения режима содержания свыше 40 раз подвергался дисциплинарным взысканиям, в том числе 5 раз водворялся в штрафной изолятор и помещение камерного типа.

Оснований к опротестованию определения суда о переводе Ронкина на более строгий режим содержания не имеется.

Прокурор отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел

Ермаков Ермаков

8-8/1-а

Ответ Прокуратуры РСФСР на жалобу Вадима Гаенко



Мать Сергей Хахаева, Ксения Ивановна Орлова,
читает письмо сына из лагеря, 1968 год



Борис Зеликсон и Валерия Чикатуева в день освобождения.
Мордовия, 1968 год

МООП СССР
 МИНИСТЕРСТВО
 ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
 Калининской АССР
 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
 Почтовый ящик № ЖХ-385/17

5 " 06 1969.
 № П-8

№0 Самары, В.Ф.Х.С. Г.П.Х.С. инж.
 Мордовской АССР

ГРАЖДАНКЕ РОНКИНОЙ И.Т.

г. Ленинград И-136, Гатчинская ул.
 дом № 1/56, квартира 16

На Вашу телеграмму от 4 июня 1969 года

сообщаю, что к сожалению Ваш муж отказывается от приема пищи, добиваясь удовлетворения выставленных им требований, противоречащих существующим законам, в силу чего не могут быть удовлетворены.

На беседы с ним, направленные на прекращение опрометчивых и глубоко не продуманных действий, Ваш муж не реагирует.

Прошу Вас в письмах к мужу воздействовать на него в направлении прекращения его неразумных действий, которые могут повлечь подрыв его здоровья.

И.О. НАЧАЛЬНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
 ЖХ-385/17 *А.И. Белов* /БЕЛОВ/

Ответ администрации лагеря на телеграмму Ирины Ронкиной

На Красноярских Столбах. На переднем плане Владимир и Светлана Сиротинины, Алла Соколова. Во втором ряду Владимир Шнитке и Ирина Ронкина, 1971 год





Владимир Сиротинин и Арина Жолковская (Гинзбург),
1970 год

Утром он действительно принес нам полбуханки, кусок сала и несколько кусков сахара.

* * *

Когда в октябре 67-го года Юлия снова зачем-то возили в Явас, мы, к сожалению, без него «отметили» 50-летие октябрьского переворота (я не ерничаю — в двадцатых годах это было официальным названием). Этому событию (не перевороту, а его юбилею) я даже посвятил стихи:

Юбилей! О юбилее
Рассужденья, разговоры...
За амнистию болеют
И «политики», и воры.
Рассуждают инвалиды,
Предрекая судьбы наши.
Как ракеты на орбиты,
Запускаются парашаи.
Говорят, что всю Европу
Мы волнуем чрезвычайно —
Быть Указу! — только б стропы
Не запутались случайно.
Не запутались бы стропы,
Не задрались бы евреи,
Не попал репей бы в жопу
Режиссерам юбилея.
Юбилей! О юбилее
Рассужденья, разговоры...
Свежей известью белеют
Подновленные заборы.

К этому стишку надо дать некоторые объяснения:

— «парашаи» — 1) бачки для оправки естественных надобностей, устанавливаемые в камерах, 2) слухи;

— «запутавшиеся стропы» — официальное объяснение гибели экипажа космического корабля, запущенного в преддверии юбилея;

— «задравшиеся евреи» — намек на шестидневную войну (лето 1967 года).

Стихи оказались пророческими, но коньяк от своего бывшего адвоката я так и не получил.

Новые знакомства

М.М.Сорока. — Борис Здоровец. — Балис Гаяускас. —
Юра Шухевич

Не помню, как и в каком порядке мы познакомились и подружился с Михаилом Михайловичем Сорокой, Борисом Здоровцом, Энном Тарто, Балисом Гаяускасом, Юрой Шухевичем.

Михаил Михайлович был гораздо старше нас. Он окончил Пражский университет еще до Второй мировой войны, участвовал в украинском национальном движении на территории Польши, сидел в польской тюрьме. Сразу же по приходе Красной Армии во Львов (1939) был арестован и приговорен к десяти годам лагерей за измену Родине (какой? Сорока ни дня не был гражданином СССР!). Во время войны ему добавили еще десятку. После Норильского восстания — еще двадцать пять. После 1956 года он был реабилитирован по первым двум срокам и продолжал отсидывать третий. Михаил Михайлович был тяжелым сердечником, умер он в зоне уже после того, как меня отправили в тюрьму. Его жена, начальник медслужбы Украинской повстанческой армии (УПА), была арестована гораздо позднее, уже после войны, и почти весь свой двадцатипятилетний срок отбывала во Владимирской тюрьме. Году в 68-м или начале 69-го ее перевели в зону. Михаил Михайлович читал мне отрывки из ее письма оттуда — впервые за двадцать лет женщина увидела зеленую траву, деревья, птиц. Мягкий интеллигент, Сорока не был ни антисемитом, ни русофобом, ни полонофобом. Мне кажется, ненависть вообще была чужда его натуре.

* * *

Борис Здоровец был «религиозником». Жил он в пригороде Харькова, в частном домике, занимался пчеловодством. Одной (кажется, правой) руки у него не было — в детстве ударил молотком по взрывателю мины.

На рубеже пятидесятых-шестидесятых власть решила вмешаться в религиозные дела баптистов. Им предложили крестить детей года на три позже, чем предполагала традиция, были, кроме того, и еще какие-то указания сверху. Часть верующих этого вмешательства государства не признала, и их стали преследовать. Борис был арестован за «раскольническую» деятельность в баптистской общине, судим по статье «антисоветская агитация», получил семь лет лагеря и три ссылки.

На какой-то американской выставке в конце пятидесятых Борис решил выпросить Библию. Шепотом спросил у экскурсовода, и тот отослал его в другой павильон, объяснив, к кому обратиться. «Прихожу — и вижу: сидит женщина, и губы накрашены!» — рассказывал Борис со смехом, он и представить себе не мог, что американские баптистки красят губы.

Арестовывать Здоровца пришли часов в пять утра. На стук Борис подошел к двери. «Кто там?» — «КГБ». — «Не может быть, по закону ночные обыски воспрещаются. Может, вы грабители?» Просунуть под дверь удостоверение пришедшие отказались, пригрозили взломать дверь. Боря громко попросил жену принести топор. Впустил он гэбистов ровно в шесть утра. Не помню, весна это была или осень, но на улице примораживало, а гэбэшники, рассчитывавшие прямо из машины попасть в теплый дом, были в легких ботиночках. Перед тем как их впустить, Борова жена стала около дверей за занавеской с мешком религиозной литературы и, когда промерзшие молодцы бросились греться к печке, выскочила во двор и перекинула мешок через забор к соседям.

Увидев входящую женщину, гэбисты опешили. На вопрос, где была, жена Бориса ответила, что ходила кормить корову. «Когда вышла? А когда вы входили». Те сделали вид, что поверили. В протокол, однако, этот факт не попал. Не попал туда и топор. «Где топор?» — первое, что спросили у Бори. «В сарае». — «А какой топор вы просили принести жену?» — «Чтобы бандитов напугать, я же не верил, что это вы».

С Борисом я подружился очень близко. Он не был фанатиком, для которого весь мир может сгореть, лишь бы подтвердилась точка зрения его секты. От крайностей Борю спасали природный ум, чувство юмора и абсолютное бескорыстие — свобода от всякого рода амбиций.

Покорил меня он анекдотом: «Идет по зимней лесной дороге баптист, нагоняет его мужик на санях и предлагает подвезти. Баптист садится в сани, некоторое время едет молча, потом говорит: “Мужик, подумай о смерти”. Перепуганный мужик сталкивает его с саней и начинает нахлестывать лошадь. Оставшись один в морозном лесу, баптист выбирается из сугроба и обращается к Богу: “Благодарю Тебя, что удостоил пострадать во имя Твое!”»

Иногда Борис пытался обращать нас в свою веру: «Хорошие вы ребята, а вот неверующие, в ад попадете. А в аду никаких сковородок — только газета «Правда» и телевизор, по которому все время Брежнев выступает, и ни кофе, ни чаю». «Боренька, — спра-

шивали мы, — а ты в раю будешь?» — «Утверждать это было бы гордыней, но надеяться хочу». — «А ты нам оттуда неужто завалочки не перекинешь?» Боря вздыхал: «Перекину, жалко же вас, дураков». И мы были уверены, что это он говорит всерьез.

Когда нас сажали в карцер, баптиста Здоровца менты не особо «шмонали» на предмет курева, и Боря таскал нам его. «Конечно, грех, но вас ведь жалко». Размышляя о лидерах баптистской общины, пошедших на соглашение с властью, он никогда не злился: «Они в ад попадут, но они же баптизм в России спасли. Я им зла не желаю».

Однажды зону обходил один важный чин из Саранска. Когда он вошел в барак, мы, сидя на койках, о чем-то болтали и вдруг услышали: «Встаньте! Ведь вы от меня зависите!»; мы сделали вид, что расходимся. Я через плечо бросил: «Это вы от нас зависите — если вас не будет, мы и не заметим, а если не будет нас, вы останетесь безработными». Боря же к этому чину в полковничьих погонах направился с такими словами: «Доколе меня будут держать здесь за мою веру?» В ответ чиновный мент изрек: «До тех пор, пока вы не вернетесь в лоно православной церкви. Русская мать вас родила, русский поп крестил». Борис немедленно парировал: «Меня никакой поп не крестил, родители мои были комсомольцами». На сем тема была исчерпана. Очень горевал Борис после того, как «согрешил» — своей единственной рукой взрезал по морде стукачу, бывшему полицаяу. Ну, да мы этого всерьез принять не могли.

* * *

Балис Гаяускас первый раз был арестован восемнадцатилетним мальчишкой за листовки «Оккупанты, вон из Литвы!». Оккупантами были гитлеровцы. Потом, при их отступлении, он бежал из лагеря, за что в его учетной карточке, уже в наше время, была красная полоса, означавшая «склонен к побегу». Вторично он был арестован году в 47-м, за такие же листовки, отстреливался и получил двадцать пять лет. После освобождения через несколько лет его снова арестовали за перевод на литовский солженицынского «Архипелага». Я успел получить от него в подарок книгу с гравюрами Дюрера.

* * *

Юра Шухевич, сын командующего УПА, тоже был арестован впервые пятнадцатилетним мальчишкой. Был связным у своего

отца. Отсидел «десятку», на воле был менее полугода. Его вновь посадили по явно состряпанному делу на такой же срок.

Несмотря на полную противоположность наших взглядов на политические проблемы, мы сдружились, что, как правило, не исключало дискуссий. Однажды, рассказывая о Ленинграде, я упомянул памятник «Стерегающему». Оказалось, что Юра не знал истории этого корабля, и я, насколько помнил, ее пересказал, добавив от себя, что в данном случае героизм матросов напоминает коллективный психоз. «Что им, деревенским парням, было до интересов русского капитала в Маньчжурии?» Юра ответил мне, что, будь он капитаном «Стерегающего», расстрелял бы меня за такие разговоры. «Ну так и ешьте, — ответил я. — «Приходили каты по під наши хаты» (слова из бендеровской песни о советской оккупации Западной Украины), этих катов как раз на подобных примерах и воспитывали».

«Тебе, наверное, нравится и “Тарас Бульба”, несмотря на то что Гоголь воспекает “русское братство”», — спросил я его. «Конечно», — ответил Юра. Я опять напомнил ему о катах. Юра помолчал, а потом сказал: «Знаешь, Валерий, твои высказывания очень хороши в войсках противника, но не могут быть терпимы в собственной армии». Я ответил, что коммунистическая власть восхищается забастовщиками в Англии, а против своих (в Новочеркасске, например) посылает танки, требует свободу Ботсване и держит в лагерях таких, как он. «Ты, Юра, коммунист, ибо и у тебя двойная мораль». Не знаю, в какой мере наши разговоры повлияли на его точку зрения, — логика, увы, пасует перед идеологией.

В феврале 1968-го Юра, единственный из старых эзков, участвовал в нашей совместной голодовке.

Женская зона

Способы передачи информации. — КГБ и процесс над серийным убийцей

Из нашей зоны была видна часть женской (17-е л/о без литеры «а»). Там сидели уголовницы, и приבלатненный контингент л/о 17-а любил перекрикиваться с ними. Опять как в вагоне: «Машка, дай!», «Катька, покажи!» Звали таких крикунов «п...острадавателями». Однажды, заметив в этой компании Юру, тоже что-то кричавшего, я выразил удивление, а в ответ услы-

шал: «Ты хочешь, чтобы стихи Даниэля уходили на волю? Ну так не вмешивайся».

Вообще, при полном доверии друг к другу мы старались не ставить в известность даже своих друзей о конкретных способах связи с волей. «Я могу это сделать»; интересоваться же, как, было неэтично. Я узнал, как ухитрялся это делать Юра, перед самым его освобождением.

Наших ребят некоторое время водили в женскую зону ремонтировать тамошнюю столовую, и Юра сумел познакомиться с одной из зэчек. Литовская студентка во время какого-то уличного инцидента (автокатастрофа? кража?) оказалась в милиции. Там ее допросили и хотели уже отпустить, как в приемную вошел начальник: «А эта б. что тут делает?» Девушка ответила пощечинной и получила четыре года. Вот она-то и взялась переправлять на волю все наши бумаги, благо на уголовной зоне контроль за написанным и нарисованным был «ослаблен». Оставалось доставить к женщинам нашу продукцию.

В швейном цеху почти ежедневно появлялся мастер, вешал шинель на гвоздь и отправлялся по цеху. Потом он отправлялся в женскую зону, которая тоже занималась шитьем. Оставалось сунуть бумаги в карман шинели. В женской зоне он так же беззаботно вешал шинель, и бумаги изымались. Мастер этот был в некотором отношении больше, чем мент: «Не понимаю, почему их не расстреливают, — говорил он о старухах «религиозницах». — Талдычат им, талдычат, а они все свое».

* * *

Коли речь зашла о женской зоне, расскажу еще одну историю. В шестидесятых годах всю Москву взбудоражили серийные убийства с ограблениями, зачастую на удивление мелочными. Некий Ионесян, представлявшийся работником Мосгаза, проникал в квартиру, убивал топором хозяев и уносил какую-нибудь мелочь. После нескольких таких убийств в Москве, вопреки тогдашней традиции, по телевидению сообщили ставшие известными подробности убийств и описание убийцы. Попался он, пытаясь вынести телевизор.

В прессе сообщили приговор — высшая мера ему самому, пятнадцать лет его сожительнице, мать которой почему-то лишили московской прописки. Наказание матери не могло не вызвать удивления: если она была сообщницей убийцы, то почему ее не наказали в судебном порядке, если она ничего не знала о

деятельности своего «зятя», почему ее убрали из Москвы? Сама же сожительница Ионесяна и содержалась на 17-м.

Сначала от Юлия, а потом и из рассказов солагерниц этой женщины мы узнали дополнительные подробности истории. Адвокат Даниэля как раз занимался делом этого маньяка перед делом Даниэля. Удивило адвоката то, что он, как и его коллега, представлявший интересы сожительницы, были допущены к делу перед самым судом, в нарушение всех процессуальных норм. Были и еще какие-то непонятные моменты. Все стало на свои места, когда выяснилось, что своей сожительнице убийца сообщал, будто устраняет людей по заказу КГБ!

Сами разговоры, что кто-то может убивать людей с ведома ГБ, да и тот факт, что кто-то другой в это может поверить, при той популярности, которую получило в Москве это дело, превращали уголовный процесс в политический.

Воспитатель из Техноложки

Разговор «по душам». — «Комсомолия Технологическая»

Кажется, в конце мая 67-го к нам пожаловал гость. Я сидел, как обычно, за своей машинкой, когда увидел, что в цех в сопровождении начальства вошел некто в штатском. Он направился ко мне. Поздоровался и спросил, узнаю ли я его. Мне показалось, что когда-то я его уже видел, но вспомнить не мог. «Как же, припомните, Технологический институт». — «Если вас ко мне допустили, то, наверное, вы с кафедры марксизма?» Гость оказался заведующим этой кафедрой Мильштейном (лекций на моем потоке он не читал и видеть его я мог только в коридоре или в президиуме какого-нибудь собрания).

«Ну, как здесь вы себя чувствуете?» — «Как в концлагере». — «Ну, нельзя же сравнивать ваше местопребывание с Освенцимом!» — «Нельзя, там был лагерь уничтожения, но и у гитлеровцев были не только лагеря уничтожения. Нашу зону нельзя сравнить и со сталинской Колымой. У нас не лагерь уничтожения, обыкновенный концлагерь».

Разговор мы продолжили в каком-то кабинете, Мильштейн, по-воровски оглядываясь, выложил на стол горсть конфет и пачку папирос, которую я немедленно сунул в карман. Когда мы остались вдвоем, я напрямик спросил, поручено ли гостю вербо-

вать меня в стукачи, он сказал, что об этом и речи быть не может, но вот мне бы не мешало больше думать о своей семье, чем о проблемах общественных.

Я ответил, что как только сии мысли он выскажет с институтской кафедры, я немедленно последую его совету. Обвиняя оппонента в двуличии, я был не прав — он был последователен, зарабатывая на хлеб и не вдаваясь в высокие материи. Возможно, он искренне желал мне добра.

В ходе беседы Мильштейн заметил: «Что же вы делаете? Уйдут коммунисты — придет фашизм». Я ответил, что фашизм есть власть монополистического капитала, а монополистического капитала в СССР нет.

Лет через пять я узнал, что нечто подобное говорил следователь Револьта Пименова его жене Вилене. Вилене ответила, что при свободе слова мы с фашизмом как-нибудь сами разберемся, а сейчас мы и антисемитизму, который мелькает в официальной прессе, не можем ничего противопоставить.

Сейчас мне кажется, что наши с Виленой собеседники были не так уж и не правы.

В конце беседы с Мильштейном я перевел разговор на лагерные порядки. Я предложил ему как члену КПСС, не заступаясь за меня лично, выступить против нарушений в зоне советской законности и вынудил у него обещание заняться этим по возвращении в Ленинград.

Где-то через месяц в письме на адрес ленинградского обкома я напомнил ему об этом обещании (письма, кроме двух в месяц, мы имели право отправлять только в адрес официальных инстанций).

Разумеется, ответа не было: потом мне передавали, что Мильштейн обиделся. А не ездил в зону по поручению начальства!

Мильштейн этот был одним из соавторов книжки «Комсомолия Технологического», которая вышла в 1959 году. Тираж книжки, посвященной истории комсомольской организации нашего института, долгое время валялся в комитете комсомола. Когда нас арестовали, интерес к ней значительно вырос — там была помещена фотография Вадика Гаенко, Лиды Федотовой (теперь уже Иофе) и моя с подписью: «Активисты комсомольского патруля», а в тексте книжки упоминались фамилии Хахаева и других проходивших по делу: Сиротинина, Гладковского, Столпнера.

Экземпляры, которые не успели растащить в первые же дни, были уничтожены.

Работа и низшие начальники

Температура в швейном цехе. — Как обуздать начальника. — Отрядный Рябчинский и «культурная революция» в Китае. — Кишка

Основной проблемой на первое время стала температура в цехе: когда мы утром приходили на работу, в ведре для питьевой воды был ледок, днем температура поднималась до семи-восьми градусов. Шить в таких условиях было затруднительно, а начальство требовало нормы. Мы сначала предложили Анненкову разрешить нам взять из каптерки теплые вещи, отобранные при первом «шмоне». «Не положено по инструкции!» — «А такая температура в рабочем помещении положена?» — «Тут мы ничего сделать не можем». На следующий день исчез термометр, но вода все-таки замерзла.

У нас появился новый начальник отряда, был он недолго, и фамилию его я не запомнил. Он начал приводить нам примеры: «Знаете, в каких условиях строили Комсомольск?!» — «Знаю, — ответил старик «религиозник», — я его и строил». — «Ты мне провокаций не устраивай! Вы живете лучше, чем колхозники, а чего-то всё требуете!»

В конце концов мы все отказались работать, и начальство изыскало способ достать дрова.

Через некоторое время этот отрядный чуть не намотал новый срок кому-то из заключенных. Он явился в барак во время подъема и, увидев спящих, приказал всем вставать. Спала вечерняя смена, у которой отбой и подъем были на два часа позже. Увидев, что вставать лежащие не собираются, отрядный включил большой свет и принялся кого-то тормозить. В это время какой-то зэк (кажется, Энн Тарто) спросонья заявил: «Вот сейчас запущу ботинком! Убирайся отсюда».

Был составлен официальный рапорт, и дело могло начаться, но тут мы написали коллективное заявление, суть которого сводилась к вопросу: «Правда ли, что наши колхозники живут хуже заключенных, как утверждает новый отрядный?» Отрядного на следующий же день из зоны убрали, и дело заглохло.

* * *

Во время нашей «холодной забастовки» не только этот тип агитировал нас таким способом. Отрядный капитан Рябчинский говорил нам: «У меня в квартире не теплее, так у меня же дети». Степан Сорока (не путать с М.М.Сорокой) отвечал: «А вы пус-

тите нынешних эзков к управлению — и вам теплее будет». Увы! Политзэки оказались неспособны сыграть решающую роль в перестройке, да и народ с большим интересом читает воспоминания гэбистов, чем наши. Посему утверждение Степана остается хотя и не опровергнутым, но и не доказанным.

Во время китайской «культурной революции» Рябчинский вдруг вызвал меня к себе: «Ронкин, как ты смотришь на Китай?» — «В случае вторжения на территорию СССР пойду на фронт добровольцем». Рябчинский посмотрел на меня с удивлением: «А все-таки хорошо они своих толстозадых повыкидывали из персональных машин!»

Начальника другого отряда звали Кишка. У него была украинская фамилия Кышка, но и мы, и он сам предпочитали русскую «кишку» (с ударением на последний слог) украинской кошке. В отличие от Рябчинского, готового выполнить любое указание начальства, но собственной инициативы не проявлявшего, Кишка был злобный дурак. Однажды мы увидели, как он ломает скамейку, на которой в погожие дни сидели старики. В другой раз его жена с ребенком на руках проходила мимо забора; ребенок, увидев отца, радостно залепетал, а женщина окликнула своего мужа. «Продолжать движение! Продолжать движение!» — скомандовал Кишка и двинулся в глубь территории. Его земляки-украинцы как-то задали Кишке вопрос: «Почему в Канаде у украинцев есть собственные школы и университеты, а в РСФСР, где проживает гораздо больше украинцев, чем в Канаде, ничего подобного нет?» На это Кишка ответил словами, ставшими в зоне крылатыми: «Это вам не Канада!»

* * *

Вообще-то мы считали наших тюремщиков, за редкими исключениями, «нелюдями», чье поведение ничего, кроме брезгливости, вызывать не должно. Декларировал эту точку зрения и Юлий, хотя, как мне кажется, только декларировал. Как-то в лагере появилась молоденькая ментовка из соседней женской зоны. «Смотри, какая хорошенькая», — сказал Юлий. «Фи, Юлинька! Это же скотоложество!» — ответил я. Он согласился, но не знаю, совсем ли искренне. Впрочем, чувство юмора часто спасало его, как и всех нас, в тех ситуациях, когда, казалось бы, только и оставался выбор между бессмысленным, с тяжелыми последствиями, бунтом и полным отупением.

Юлий очень тяжело переживал обыски, цензуру, всякое насильственное прикосновение к своему личному. Однажды, во время очередного шмона, мент начал читать полученное ранее Юлием письмо. (Это было нарушением правил — правом чтения нашей переписки обладал лишь цензор; но кто считался в лагере с такими «мелочами»!) Юлий начал качать права, было видно, что он вот-вот может сорваться, и тогда — хорошо, если пятнадцать суток карцера, — дело могло кончиться и добавочным сроком. «Юлинька, чего ты волнуешься, ну ползет по письму муха, так что?» — сказал я. Мент начал доказывать, что он не муха, и после чьей-то реплики, что он и не под мухой, — обстановка разрядилась.

Внутренняя тюрьма

Как мы попали в ПКТ. — Даниэль как сокамерник. Шашки. — Пожар. — Между нормой и пайкой. — Маленький и Седая Крыса. — «Холуй» или «хам»? — Авоськи больше не вязать!

Наши связи внутри зоны начали беспокоить начальство, а за «утечку информации», то бишь стихов Даниэля, лагадминистрация получила не один втык. Поскольку и то и другое в значительной степени объяснялось популярностью и личными качествами Даниэля, первым на 6 месяцев во внутрिलाгерную тюрьму угодил именно он.

Среди эзков это место еще со сталинских времен называлось БУРом — баракком усиленного режима, хотя в наше время официально эта кара именовалась ПКТ — помещение камерного типа; в этом же помещении эки отбывали и наказание карцером (официально это называлось «водворить в ШИЗО — штрафной изолятор»: туда сажали номинально только на пятнадцать суток).

Вместе с Юлием туда же посадили и Лёню Ренделя, надоевшего начальству вечными жалобами. Их отправили в БУР на 11-е, в Явас. Там, на 11-м, Лёня и плюнул в лицо своему подельнику Краснопевцеву.

Через месяц Юлия вернули в БУР к нам, на 17-а, и меня подсадили к нему. Пять месяцев мы сидели вдвоем, первое время — довольно спокойно.

Сидеть в компании Даниэля, да простится мне такое выражение, было одно удовольствие. В первый же день моего появления надзиратель сунул нам в кормушку шашечную доску и мешочек

шашек. Мы сели за игру. Я не очень люблю настольные игры, но надо же как-то скрасить время своего соседа.

Сыграли раз, другой. Юлий спрашивает: «Валерий, Вы очень любите шашки?» «Когда — как», — дипломатично отвечаю я. «А Вы?» (Тогда мы были еще на «вы».) «Иногда», — говорит он. Играем дальше. Наконец я интересуюсь, не устал ли сосед. А потом мы долго и весело смеемся. Не желая играть, каждый из нас мучался, но считал, что развлекает другого. (Та же ситуация повторилась с нами через два года во Владимире, где беспрерывно голосило радио. Мы оба думали, что сокамерник слушает, и не хотели ему мешать.)

Юлий был идеальным сокамерником. Таким, с одной стороны, делала его деликатность, с другой — фантастическое знание стихов самых различных поэтов. Я до сих пор не могу не удивляться этой его способности — читать стихи, каждый раз новые, попадая при этом в резонанс со слушателем, учитывая его вкусы и настрой, который, конечно, менялся в зависимости от ситуации. Его литературные ассоциации были неожиданны и точны. Как-то, когда мы были уже снова в зоне, он увидел, что кто-то чистит селедку с хвоста. «Чехова надо читать, — наставительно произнес Юлий. — Знаешь, за что попало Ваньке Жукову?»

* * *

Напротив нашей камеры находилась камера-карцер. Отличалась она от той, в которой находились мы, только функционально — туда сажали на срок до пятнадцати суток, с запрещением курить. Мы, как могли, передавали туда спички и курево. Как-то посадили в карцер полусумасшедшего блатнячка (кричал у себя в уголовной зоне: «Коммунисты — сволочи!» — и заработал политическую статью). Мы передали ему спички и махорку, ему показалось мало. Во время обхода он пристал к надзирателю: «Дай покурить». Тот не дал. «Ах, так, — сказал наш сосед, — тогда я подожду карцер!» Надзиратель ушел.

Зона наша была маленькая, всего человек двести, надзиратели в карцере не дежурили, сделают обход и уйдут. Помещение, где мы сидели, было деревянным. Через какое-то время мы почувствовали запах гари — сосед устроил-таки пожар.

Мы прикинули, что выбить решетку на окне особого труда не составит, собрали в пакетик книги, фотографии, письма и продолжили наши беседы — дело было в выходной день. В камеру начал пробиваться дым, но мы продолжали читать или беседо-

вать, уж и не помню. Наконец прибежал надзиратель и начал кричать в телефонную трубку: «Пожар!! Пожар!!», потом вывел на улицу нас и соседа, которому Юлий сразу же, к удивлению ментов, дал закурить.

Мы бродили по зеленой травке вокруг БУРа, наслаждались солнышком, глядели на суету пожарников и беседовали. «Знаете, Юлий Маркович, очень жаль, что Вы не сгорели», — высказался я. «Почему?» — спросил Юлий. «Представляете, какой международный резонанс это бы вызвало. А я написал бы чудесный некролог!»

Наша беседа была подслушана. Я узнал, что в своих «воспитательных беседах» начальство использовало ее фрагмент, утверждая, что зэки ради «международного резонанса» готовы посжигать друг друга.

* * *

Сидя в ПКТ, мы не могли участвовать в «общем трудовом процессе», и начальство придумало для нас такую «индивидуальную деятельность», как я уже сказал, — вязать сетки. Работа не трудная, но требующая сноровки и практики.

К концу своего буровского срока я уже легко делал норму, но сначала она казалась нам совершенно невыполнимой. Между тем майор Анненков стал ежедневно напоминать нам о том, что «за умышленное невыполнение нормы нам будет выдаваться пониженная норма питания».

Питание в зоне и так трудно было назвать нормальным, к тому же из того, что нам определило государство, начальство воровало добрую половину. Однажды мы взвесили на пробу десяток порций рыбы. Полагалось нам 80 г, реальный же вес колебался от 30 до 40. Мы написали жалобу в Генеральную прокуратуру и получили ответ от лагерного начальства: «Заключенная такая-то, нарезавшая порции, наказана десятью сутками карцера» (в связи с малочисленностью нашей зоны еду нам привозили из соседней женской уголовной). Если бы воровала резчица, у нее ежедневно должно было накапливаться 15 кг рыбы, поэтому неудивительно, что порции после водворения в карцер бедной зэчки больше не стали.

Как бы там ни было, садиться на голодный паек нам не хотелось. Конечно, мы могли бы малость поднажать и несколько увеличить выработку, но это означало, что все оставшееся время мы будем жить под страхом этого самого голодного пайка. Поэтому мы сказали, что сколько у нас получается, столько и делаем. Наконец нам объявили о переводе на «пониженный». Наш на-

чальник просчитался — вместо того чтобы увеличить производительность, мы вообще отказались работать. Теперь он при всем желании не мог нам вернуть нормальное питание.

* * *

Однажды кормушка открылась и дежурный надзиратель (мы его звали между собой Маленький — он был небольшого роста и совсем невредный), так вот, надзиратель протянул нам хлеб, колбасу, помидоры и предложил отметить его день рождения. Немного погодя он зашел в камеру и уселся с нами на нарах. (В карцере дежурил один человек, и то не все время, вход на территорию, где было расположено помещение, запирался изнутри, другие надзиратели, прежде чем войти, должны были нажать кнопку звонка.) Он сам начал разговор о том, что здесь издеваются над людьми, что его жена, агроном, давно требует, чтобы он поменял профессию. «Но я ничего не умею, да и где найду жильё?»

Через год примерно его уволили. От других надзирателей мы узнали, за что. Маленький, подвыпив, шел по поселку и провозглашал: «Сволочи! Что с людьми делаете? Издеваетесь!» Навстречу ему попался офицер: «Иди проспись, ты что, лучше других?» «Я такая же сволочь, но сейчас я искуплю свою вину!» (плакаты с призывом «Искупить вину перед Родиной» висели во всех лагерях), после чего Маленький схватил дрын и погнался за офицером.

Увольнение в подобной ситуации означало необходимость покинуть поселок в течение двадцати четырех часов. Куда делся Маленький с женой и детьми, мы так и не узнали.

Прямой противоположностью ему был мент, прозванный Седая Крыса. Ему было лет под шестьдесят. Рассказывали, что некогда он имел звание майора. Из зоны, где он служил, сбежал уголовничек. Бегал он недолго и был пойман внешней охраной (солдатами срочной службы). Когда те уже подводили беглеца к зоне, появился майор и убил пленника выстрелом в упор. Солдаты написали коллективную жалобу, и убийцу разжаловали, оставив в прежней должности — нач. режима (у нас он был зам. начальника). Не знаю, правда ли эта история, но его слова: «Жалко, нет у меня права тебя расстрелять!», обращенные к любому случайно встреченному заключенному, я неоднократно слышал сам.

Однажды мы о чем-то болтали и вдруг услышали шорох под окном. «Седая Крыса подслушивает», — сказал Юлий (мы только что видели, как тот вошел на территорию). «Пусть себе, все равно ничего не поймет. Боюсь только, не спер бы портянку» (портян-

кой была завешена форточка от комаров). Седая Крыса объявился, как чертик из табакерки: «Думаешь, у меня портянок нет? У меня есть и лучше ваших!»

* * *

Сидим, значит, мы на голодном пайке. В те поры заключенные имели право (позднее отмененное) обращаться с жалобами к своим адвокатам. Я воспользовался этим правом. К моему удивлению, Лурьи показал письмо Иринке и дал снять копию, которую она передала в Москву Ларисе Богораз.

Начался шум, и к нам пожаловала комиссия. Юлий отказался разговаривать с ними, а мне, как автору жалобы, пришлось, да и поразвлекаться хотелось. Начальствовала там сановная дама в форме, кажется, прокурорской. Я объяснил, что умысла не выполнять норму у нас не было, мы постепенно увеличивали выработку, а жить под вечным страхом голодного пайка не собираемся. Далее я вообще поставил под сомнение правомочность нашего перевода в ПКТ, привел примеры из своего «обвинения», на основе которого и был в ПКТ посажен.

А вменялось мне в вину, что «ночью после отбоя бродил по зоне» (шел в туалет, был остановлен надзирателем, объяснил ему, на завтра вызван командиром отряда, снова объяснил, тот удовлетворился и отпустил меня, но, как оказалось, в деле сохранился только рапорт надзирателя). Маленький еще месяца за три до репрессий советовал нам быть осторожнее: «На вас велено писать докладные по любому поводу». Второе обвинение выглядело страшнее: «Угрожал надзорсоставу». (Действительно, я обещал написать письмо в прокуратуру, и не один я — через забор мы видели, как надзиратель толкнул старуху, приехавшую к сыну на свидание. Заявления мы написали и отправили, а надзиратель написал рапорта.)

С этими моими объяснениями комиссия спорить не стала. Оставалось еще одно: «грубил надзорсоставу», называл надзирателя «холуем». Похожий факт действительно имел место. Надзиратель обратился ко мне на «ты», я его поправил, но он повторил свое «ты», я снова поправил. Не помню, сколько раз я его поправлял, наконец мне надоело и я взорвался: «Хам! Как стоишь перед политзаключенным!» От неожиданности тот вытянулся по стойке «смирно» под наш общий хохот.

Я заявил, что свое высказывание допустил по поводу явного хамства и посему назвал надзирателя не «холуем», а «хамом», что является сушей правдой, а не оскорблением.

Кроме того, я слышал действительное оскорбление в адрес Анненкова, когда один из заключенных предложил ему сососать свой половой орган. «Не хочу быть обвиненным в клевете, выполнил ли майор это пожелание, я не знаю, но предлагавший никак не был наказан». Тут наш бравый майор вскочил и спросил меня: «Вы имеете в виду Ш.?» Я не мог отказать себе в удовольствии: «А что, Ш. вам тоже предлагал?» (хотя имел в виду действительно Ш., не больно церемонившегося с ментами).

Ш. где-то в Средней Азии ограбил ювелирный отдел универсама и пытался уйти за рубеж. Почему таких, как он, судили еще и за «измену Родине», не могу понять до сих пор. Он стучал в КГБ и поэтому в карцере был бесполезен. Нам он сознался в том, что стучит, перед обыском предупреждал: «Прячьте все сегодня, завтра велено за вами следить, если что увижу, сообщу».

Наконец даме, возглавлявшей комиссию, все эти выяснения надоели, и она перешла к делу. Нам было предложено на завтра выйти на работу, сделать одну лишнюю сетку и (авансом!) получить нормальный обед. На этом мы и разошлись.

* * *

К моменту, когда Юлий покинул ПКТ, мы уже легко делали норму. Оставшись в одиночестве досиживать свой месяц, я, чтобы занять время, вязал авоськи, но мне объявили, что сеток больше не нужно и я могу спокойно досиживать свой срок, не выходя из жилой камеры (сетки мы вязали в соседней — «рабочей»). Через некоторое время я узнал подоплеку этого распоряжения. Меня посетил какой-то важный чин из лагуправления и увидел, что я перевожу на авоськи капроновую нить, из коей можно вязать рыболовные сети. Нить он, соответственно, упер и передал на уголовную зону; попытка использовать труд политзаключенного в корыстных целях могла быть чревата оглаской и скандалом, да еще мог встать вопрос и о браконьерстве.

Письма

Переписка с Мифтахудиновым. «Разве такое возможно?» — Книжки. —
Письмо от Люси. Я «психанул»

Однажды в «Новом мире» я увидел благожелательную рецензию на сборник рассказов моего школьного друга Алика Мифтахудинова.

После школы Алик поступил на факультет журналистики в Киеве. Студентами мы с ним переписывались и даже как-то встретились. Алик на каникулах был в Североморске и на обратном пути заглянул к нам в Ленинград. Я в это время оказался дома. После первых приветствий отправились в магазин за вином и сладостями, Алик стал в очередь к прилавку, а я отправился в кассу. Выбив чеки, я увидел, что чемоданчик, взятый нами под покупки, Алик поставил на пол, — и решил подшутить над ним. Я тихонько потянул этот чемоданчик, предвкушая, как хватится друг пропажи, но не тут-то было — я был пойман возмущенными гражданами. На мое заявление, что мы вместе пришли за покупкой, Алик ответил ледяным голосом: «Я вас в первый раз вижу». Но до вызова милиции дело не дошло — к разочарованию публики, он взял у меня чек, мы запихали в чемоданчик бутылку, сухой торт, конфеты и вместе вышли из магазина. Мы сидели за бутылкой, толковали на студенческие темы и делились планами. Я еще не представлял своего будущего, Алик же твердо решил работать на Севере. Он распределился в Магадан, где стал работать на телевидении.

Увидев рецензию, я со словами: «Вот тут о моем школьном друге написано», — передал журнал Юлию и услышал в ответ: «А рецензию писал мой друг».

В следующем письме Иринке я написал про Мифтахутдинова, про рецензию на его книжку и вложил страничку для Алика — там я сообщал, что сижу в зоне по ст.70, 72 УК РСФСР. Иринка отправила мое послание на адрес издательства, и через какое-то время я получил письмо из Магадана!

Письмо было тревожное, Алик спрашивал, не нужно ли мне найти адвоката и «неужели и в наше время такое возможно?» Я, снова через Ленинград, ответил ему, что о возвращении сталинизма речь не идет, мы действительно распространяли листовки антиправительственного содержания, действительно объявляли существующий строй не социализмом и т.д., и т.п. Как я и рассчитывал, «зачин» и слово «действительно» сделали свое дело — письмо прошло сквозь цензуру. Через некоторое время Алик прислал мне с надписью свои книжки рассказов о Севере. В лагере еще разрешалось получать бандероли с книгами. Наши близкие доставали по нашей просьбе то, что, казалось бы, достать невозможно. Юлий, кроме той литературы, которую ему присылали близкие, получал книги и от совсем незнакомых людей. Иногда это были авторы — ему прислал первую свою книжку Шаламов, свою книгу о Тынянове — Белинков.

Как-то Алик побывал даже у Иринки в Ленинграде. Писал он мне и во все время моего заключения и ссылки. Когда я поселился в Луге, он собирался приехать, но не смог, и постепенно наша переписка опять заглохла.

* * *

Получал я письма и от своих друзей и освободившихся подельников. Как-то в ПКТ появился Раздолбай и со словами: «Ронкин, я тебе от твоей б.... письмо принес» — вручил мне конверт от Люси Климановой. Конверт я взял, передал Юлию, потом снова повернулся к Раздолбаю, схватил его за отвороты шинели и начал трясти, раздельно произнося: «Б.... — это ты, б.... тебя родила, б.... — твоя жена, и дочери твои тоже будут б....». Я действительно «психанул», но при этом каким-то краем сознания понимая, что за нападение на надзирателя мне могут вкатать еще лет пятнадцать, ограничил себя только тем, что потряс его и выпустил, отметив про себя с удовлетворением, что шинель не порвалась. Как ни странно, Раздолбай перепугался — пока я его тряс, он только повторял: «Ты чего? Ты чего?»

Еще о начальниках

Как начальство ментов пугало. — Даниэль и обезьяна. — Рендель — царь Грузии и Даниэль-парашютист. — Как начальство само пугалось. Вертухай и криго-микенская письменность. — «Депрессия». — Сон. — Чехословакия

Уже когда я сидел в ПКТ, у нас произошел еще один конфликт с Раздолбаем. В камере было радио, динамик был вставлен в зарешеченное отверстие над дверью, а «управление» его, регулятор громкости, из камеры доступно не было. Однажды я попросил надзирателя выключить радио и в ответ услышал: «Ничего, послушаешь, я тебя обязан воспитывать!» Я ответил, что он «замок на двух ногах — ваше дело смотреть, чтобы я не сбежал, а воспитателей и так у меня хватает», но надзиратель ушел, оставив меня одного с радио. Тогда я вскарабкался под потолок и пописал в амбразуру. С той поры, пока я не покинул ПКТ, радио там не работало.

Впрочем, даже с Раздолбаем наши отношения были не только враждебными. Иногда мы болтали весьма мирно на самые разно-

образные темы, хотя напрямую обсуждать политику мы оба опасались.

Однажды я прочел в «Литературке» статью о психологическом эксперименте, проведенном в одном из американских университетов. Суть его заключалась в том, что через газету предлагалась неплохо оплачиваемая работа лаборанта. Желаящим объяснялось, что они должны исследовать работу памяти человека в условиях стресса. Принятого на работу усаживали за пульт с кнопками — за испытуемым он наблюдал по телевизору. Лаборант предлагал испытуемому набор слов, тот повторял, при ошибках лаборант наказывал испытуемого ударом тока — на пульте были кнопки, включавшие ток разной силы, и на одной из них даже было написано: «Осторожно! Опасно для жизни!» (На самом деле роль испытуемого играл актер, узнававший о том, какая кнопка нажата, по загоранию лампочки.) Оказалось, что шестьдесят процентов согласившихся с условиями работы способны нажать на красную кнопку.

Я пересказал Раздолбаю эту статью и в ответ услышал: «Конечно, эти американцы на все способны!», потом я излагал этот текст еще нескольким надзирателям и ото всех слышал приблизительно то же самое.

(Кстати о психологических экспериментах: в каком-то другом журнале мы прочли о таком: обезьяне давали веревочку с привязанной к ней гирей, гвоздь, молоток; гвоздь нужно было забить в стену, груз на веревочке раскачать, как маятник, — и обезьяна получала банан; когда она хорошо усваивала последовательность операций, молоток у нее внезапно отбирали; цель опыта состояла в том, чтобы выяснить, сколько подопытных догадаются использовать вместо молотка гирю. Мы немедленно составили заговор, объяснили Юлию, что от него требуется, но только он собрался ударить по шляпке гвоздя, как прибежал, кажется, Мошков и, сказав: «Юлик, дай на минуточку», взял у него молоток и убежал. С веревочкой, на которой болталась гиря, в одной руке и гвозде — в другой, Юлий терпеливо ждал возвращения Мошкова. Мы начали хихикать, объяснили ему, наконец, суть затеи. Юлий не обиделся. «Если бы вы мне обещали банан...» — сказал он. В защиту Даниэля добавлю, что студенты американского технического колледжа оказались не сообразительнее обезьян.)

Возвращаясь к Раздолбаю, добавлю лишь, что он совершенно серьезно считал, что Израиль готовит нападение на Кубу и что находятся они рядом.

Начальство сообщало рядовым ментам совершенно фантастические сведения о заключенных. Один из надзирателей, например, утверждал, что Лёня Рендель хотел отделить Грузию от Союза и стать там царем, другой вполне серьезно спрашивал у Даниэля, не страшно ли ему было прыгать с парашютом, когда его из ФРГ забрасывали в СССР. В пути молоденький конвоир рассказывал о взрыве на минском радиозаводе (в газетах сообщалось, что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности). «Не верь газетам, нам замполит рассказывал, что завод взорвали евреи! Ни одного из них в тот день на работе не было — кто «заболел», кто просто отпросился. Это евреи сделали, чтобы на похоронах устроить митинг и оплевать советскую власть. Нас тогда посылали их разгонять!» (О том, что похороны жертв аварии вылились или могли вылиться в митинг, газеты не сообщали, как не сообщали и о том, что заранее туда направили войска МВД.)

* * *

Начальство тоже всего боялось. Один зэк-грузин в письме попросил привезти ему на свидание гранат (он хотел написать «гранатов»), пришлось ему объясняться с гэбэшным капитаном Крутем, который, правда, понял, что речь идет о фруктах и письмо не задержал. Второй зэк попросил в письме купить от его имени племяннику пистолет с патронами — пришлось объяснять, что имелись в виду пистоны.

Однажды, еще в зоне, мы сидели своей компанией и Виктор Калниньш рассказывал о крито-микенской цивилизации. На листочке он чертил знаки нерасшифрованного критского письма. В это время в бараке начался «шмон». Когда надзиратели подошли к нам, Юлий схватил бумажку с каракулями Калниньша и, разорвав ее на мелкие куски, бросил под кровать. «Теперь-то критское письмо будет, наконец, расшифровано», — сказал он, глядя, как тщательно они собирают с пола обрывки. Увы, он преувеличил их возможности — а мы так надеялись!

* * *

Не следует думать, что в зоне мы только и делали, что издевались над начальством, а ему было хуже, чем нам. Таково свойство человеческой памяти — остается только хорошее. Сидя в ПКТ, я написал стихи, которые пару раз пелись на мотив песни «На улице Заречной»:

Прожектора, колючка, вышки,
Собачий лай издалека.
И мы, вчерашние мальчишки, —
Политэка, политэка.

Когда в ночи темно и душно
И не дает уснуть тоска,
Оружье наше — наша дружба,
Политэка, политэка.

Наш быт совсем не из приятных,
И доля наша нелегка,
Но мы не повернем обратно,
Политэка, политэка.

Пушкой о нас никто не знает
И маловато нас пока,
Сегодня на переднем крае
Политэка, политэка!

Через некоторое время сии вирши подтвердились практикой. Однажды в воскресный день, не сговариваясь и безо всякой на то внешней причины, Мошков и я проснулись в отвратительном настроении. Не хотелось ни с кем ни о чем говорить, ни читать, казалось, мне и жить-то тоже не хотелось. Мы отрешенно бродили по зоне или сидели на кроватях и на все вопросы друзей отвечали одно: «Депрессия». Дружья посоветовались, потом позвали нас и поставили перед нами уже открытую пол-литровую банку с яблочным конфитюром, из которой торчали две ложки, а сами отошли. Как сомнамбулы, мы принялись есть конфитюр, депрессия вроде бы начала отступать: когда банка опустела, ее уже как рукой сняло.

Уже летом мне приснился удивительный сон, чуть было не вогнавший меня снова в эту самую депрессию. Был тоже воскресный день, и после обеда вся наша компания решила вздремнуть (мы формулировали это так: «Нирвануть ли нам?», что означало «не уйти ли в нирвану?»). Только я задремал, как появился шнырь (посыльный из штаба): «Ронкин, к тебе жена приехала на свидание». Я аккуратно, чтобы не разбудить друзей, слез с полки и отправился на вахту, в душе негодуя на жену: «Срок свидания еще не пришел. Ничего не дадут. Зачем надо было ехать, мучить

себя и унижаться перед этой сволочью?!» Прихожу на вахту, так и есть: «Свидание вам еще не положено». Хочу идти назад, но меня окликают и вручают огромный, свернутый из целой газеты кулек с виноградом. «Свидание вам не положено, а вот это жена передала, так можете взять». Ягоды эти, крупные и сочные, стоят у меня перед глазами и сейчас. Возвращаюсь в барак, снова залезаю к себе на койку и принимаюсь рассуждать: «Свидание мне не положено, но ведь и передача — тоже. Почему разрешили передачу? Какую пакость я сотворил? Чем угодил начальству?» Даже страшно стало и муторно. Посылки и передачи на строгом режиме разрешались только при хорошем поведении. Передачи (т.е. нечто, привезенное с воли родственниками) нам изредка удавалось получить, посылок же никто из нас за весь срок не видел — условия соблюдения было практически невозможно.

«Нет, — думаю, — наверное, это все мне просто приснилось». Откуда-то я знаю, что во сне не бывает вкусовых ощущений. «Сейчас проверю». Кладу в рот крупную ягоду, зубы входят в упругую мякоть — винограда сочная и сладкая. «Может быть, действительно что-то наделал? Нет, все-таки это сон. Надо проснуться. Надо проснуться. Надо проснуться...» Усилим воли просыпаюсь. Напротив храпит Сергей, внизу посапывает Виктор. Никакого пакета, никакого винограда! И Иринка зря не тащилась в Мордовию. И я ничем начальству не угодил. На душе ясно и спокойно, но, а срок идет.

* * *

Между тем, судя по газетам и радио, назревали нешуточные события в Чехословакии. Кто-то из эзков ухитрился даже выписать «Руде право». Наконец-то! В нерушимость «реального социализма», аналога древневосточных деспотий, мы не верили, но, оказывается, он начинает рушиться на наших глазах!

Имели мы и дополнительные сведения о событиях — то отментов, слушавших голоса, то со свиданий, то из писем. Моя мама, например, описывала мне в письмах все перипетии ссоры тети Розы со своим мужем Миреком (так звали моего однокашника-чеха). Иносказательно она ухитрялась передать сведения, почерпнутые отнюдь не из советской прессы.

Из чешских событий следовал один серьезный вывод — среди высшей бюрократии могут найтись люди, для которых благо страны окажется выше собственного классового блага. Мы понимали, почему в СССР, Китае или Северной Корее к власти

пришла бюрократия, — страны эти к моменту захвата власти коммунистами были в основном крестьянскими и ни о какой диктатуре пролетариата там и речи быть не могло. В странах же, прошедших этап капитализма в полной мере, какой была Чехословакия, бюрократизм был навязан извне.

Чехословакия находилась под властью бюрократии на тридцать лет меньше Союза, и, несмотря на все чистки, в ее коммунистической партии могли сохраниться люди, ушедшие в политику ради социалистических идеалов, а не ради постов и кормушек. Была надежда, что им удастся построить социализм с человеческим лицом, т.е. тот социализм, о котором мечтали первые, досталинские, революционеры. Начало военных маневров на границе с Чехословакией я воспринял как непосредственную подготовку к интервенции: у советских руководителей просто не было другого выхода — они-то знали цену строю, установленному в СССР и «странах народной демократии». Ввод войск окончательно развеял иллюзии тех, кто надеялся на счастливый исход. Юра Галансков, недавно появившийся в зоне, предложил нам начать бессрочную голодовку по этому поводу, но к самоубийству, кроме него, никто готов не оказался.

Мы продолжали тянуть свои сроки, довольствуясь «теорией малых дел».

Голодовка

Причины. Подготовка. Требования. — Тактика «выжранной земли». — Медработники. — Книги. — «Герцог Бульонский и графиня Майонез». — Капитан Круть и бандеровские умельцы. — Насильственное питание. — Переговоры. — Сядет или не сядет?

В середине января 1968 года я наконец вышел из ПКТ в зону. После первых приветствий меня отвели в сторону Мошков и Калниньш и предложили обсудить вопрос о голодовке, так как «начальство оборзело вовсе». С Юлием они уже в принципе договорились. Я согласился, и мы стали определять круг людей, с которыми следовало поговорить на эту тему.

Заключенные, начинавшие свои лагерные биографии еще в сталинские годы, от участия в голодовке отказались (нас это и не удивило — слишком тяжел был их прежний путь, да и до конца срока многим оставалось еще больше, чем любому из нас, — сро-

ки-то были двадцатипятилетние), но помогли нам кто чем мог: советами (Дмитро Верхоляк, фельдшер в УПА, а потом и в лагерях, преподавал нам режим входа и выхода из голодовки), связью с волей и 11-м л/о. К моему большому удивлению, в голодовке согласился участвовать Юрий Шухевич, хлебнувший столько, сколько нам и не снилось. Зато его молодые земляки отказались. Между собой они решили не участвовать в общей политической акции с «москалями», нам объяснили более уклончиво. На второй день после начала голодовки один из молодых украинцев примкнул было к нам, но мотивировал свои действия тем, что у него менты изъяли какие-то (очевидно, не форменные) брюки, — перепуганное начальство брюки вернуло, и на сем «параллельная» голодовка закончилась.

В нашей голодовке согласились участвовать Юлий Даниэль, Юрий Шухевич, Борис Здоровец, Виктор Калниньш, Сергей Мошков и я. Голодовку мы начали в середине февраля, до этого момента мы готовились.

Подготовка заключалась в выработке требований и сообщении на волю о самом факте голодовки. Сообщили мы и нашим друзьям на 11-м. Туда этапировали одного старика, который согласился нам помочь — в его кальсонах была сделана дыра, вокруг которой Сергей очень мелко по спирали написал сообщение. Сверху очень аккуратно была наложена заплата (натуральную дыру пришлось делать, чтобы с изнанки все выглядело бы естественно). К сожалению, на 11-м нас не поддержали.

Было решено не концентрировать внимания на бытовых неурядицах и не касаться политики.

Мы требовали примерно следующего:

— свобода вероисповедания — разрешение носить крестики, пользоваться религиозной литературой и право получать ее;

— свобода творчества — разрешение писать, рисовать и передавать родным написанное и нарисованное;

— контроль общественности за положением заключенных — отмена наказаний в виде лишения свиданий и отмена ограничения переписки;

— принятие КГБ на себя ответственности за все, что происходит в зоне;

— создание кодекса мест заключения вместо нигде не опубликованных инструкций.

Было решено, что коллективного заявления мы подавать не будем. Каждый подаст его от своего имени, но при этом тексты

всех заявлений будут совершенно идентичными. Кто и как связывался с большой зоной, я не знаю, сам я подобрал открытку, на которой были нарисованы зверюшки на лыжах, и приписал стишок:

Без особой подготовки,
Но упорен и ретив,
От Москвы до Шепетовки
Мчит спортивный коллектив.
Про физкульт-успехи эти
Пусть узнают все на свете!

О том, что слово «Шепетовка» означает голодовку, мы с Иринкой договорились заранее, еще на первом свидании после суда.

Через некоторое время начали приходиться подтверждения, что наши сообщения получены и поняты. Лара Богораз в письме к Юлию привела польскую поговорку:

То не штука
Забить крука.
А то штука цалком свежа —
Голым дупом забить ежа!

(То не фокус — убить ворону, а совсем новый фокус — голым задом убить ежа.)

* * *

Итак, мы принялись «забывать ежа» — однажды утром мы по одному появились на вахте и вручили дежурному свои заявления.

Предварительно мы применили тактику «выжранной земли»: так как в подобных ситуациях начальство могло некоторых «балламутов», а то и всю компанию отправить на этапы, при возникновении любой напряженности подобного рода все «колхозные» продовольственные запасы, чтобы в спешке не делить и не таскаться на этапе с лишним грузом, все эти запасы съедались.

Нас немедленно собрали в карцере, а на следующий день постригли и этапировали в Явас. Майор Анненков при любых затруднительных положениях, когда обычный человек чешет у себя в затылке, стриг заключенных — так было и во время пожара в карцере, когда мы с Юлием отбывали свои 6 месяцев: выпустив из горящего здания, нас первым делом постригли.

Из Озерного нас везли в «воронке». Внешний конвой состоял из обычных ребят-призывников, которые тяготились своей службой не меньше, чем мы — заключением. На сей раз нас сопровождал молоденький армянин, дальний родственник которого тоже сидел «за политику». От него первого мы услышали, что о нашей голодовке уже сообщили «голоса». Он был очень доволен, что «видел живого Даниэля». «Приеду к себе в деревню, всем буду рассказывать: с самим Даниэлем знаком!»

Вообще, солдаты конвойной службы относились к заключенным в большинстве своем неплохо, чего нельзя сказать об офицерах (об одном исключении я расскажу позже). Очень часто спрашивали, какой срок, а услышав ответ, говорили: «А мне уже только год остался». Для них не было большой разницы между лагерем и службой — только что служба, как правило, короче.

В Явасе нас разместили в разных камерах следственного изолятора лагуправления, находившегося при 2-м л/о (женский «бытовой» лагерь).

Сразу же нас осмотрела врач, женщина лет сорока с лишним. Она отнеслась к нам очень дружелюбно: все время повторяла, вздыхая: «Что же вы делаете, мальчики, что же вы делаете?!» И, шепотом: «Весь мир говорит о вас, весь мир!» Потом нас разместили по разным камерам.

На следующий день появилась другая врачиха — та пришла в форме МВД и с ходу заявила мне, что всех нас надо бы расстрелять. Она же участвовала и в мелкой провокации. Еду нам приносили трижды в день — утром приносили завтрак и убирали ужин, потом убирали завтрак, оставляя обед, который вечером меняли на ужин. Мы сначала хотели выбрасывать пищу в парашу, но затем порешили вообще к ней не прикасаться. Однажды ко мне явился «кум со всей охраною», в том числе и с эскулапшей в форме, которая заявила: «Когда уносили завтрак, забыли взять пакетик с сахаром. Вы сахар съели, и голодовка считается оконченной», — но сахар оказался там, где и лежал. Эту же комедию они разыграли и в других камерах.

Мы постоянно переговаривались, хотя кричать стало тяжело, но зато как приятно было в ответ на требование «прекратить разговорчики» сказать менту: «А вы посадите меня на пониженное питание!» Как приятно было осознавать, что оскорбительный метод давления на психику через желудок теперь не срабатывал.

Во время голодовки нам давали книги из лагерной библиотеки и меняли их по требованию. Первой мне попалась биография

революционера Ольминского из серии ЖЗЛ, но дочитать ее до конца не удалось. Мне встретилась фраза «На третий день голодовки могучий организм Ольминского не выдержал», а у нас шел четвертый день, и я громко прочел эту фразу друзьям, которые мне ответили хохотом. После этого я решил перечитать «Бравого солдата Швейка», но описания жратвы, коими столь обильно наполнена эта книга, заставили ее оставить. Третьей мне попала история разведки в средние века, казалось бы... Но и здесь меня подстерегли герцог Бульонский и графиня Майонез: кулинарные аналогии оказывались повсюду, и я отказался от чтения.

До нас в изоляторе находился солдатик внутренних войск, грузин. Он заболел, но, несмотря на высокую температуру, офицер приказал ему стоять на вышке. Был сильный мороз, и солдат попросил его освободить от дежурства. «Завтра придет врач и даст тебе освобождение, а пока попляшешь — согреешься». Солдат вскинул автомат, передернул затвор: «Сам пляши!» — и дал очередь перед ногами офицера. Парня ждал трибунал. Нам эту историю рассказывали женщины из obsługi.

* * *

Через пару дней нас стали вызывать к гэбисту. На 17-м л/о ГБ представлял капитан Круть. В отличие от работников МВД, гэбисты в лагерях находились в командировке, через определенное время их меняли. Еще до того, как я попал в ПКТ, в Озерном в связи с этим произошла веселая история.

Среди бандеровцев было немало умельцев, которые делали шахматы или шкатулки. Последние они инкрустировали шпоном, прихваченным с 11-го. Одному из сравнительно молодых эзков Круть поручил делать шкатулку с портретом Шевченко. Парень был мастер, но художник так себе, и портрет мало походил на известные. Однажды Седая Крыса, исполнявший должность опера, увидел украинца за изготовлением шкатулки и спросил, указывая на портрет: «Кто это?», на что парень ответил: «Степан Бандера» (на обнаженном плече мастера была татуировка «Умру за незалежну Україну!»). Седая Крыса схватил шкатулку и разбил ее об пол. Парень пожаловался Крутью, и тот стал орать на всю зону про умственные способности и.о. опера. В отместку Седая Крыса подловил Крутя с наркотиками, которые тот таскал для стукачей. И опять Крысу понизили в должности. Вообще Круть любил демонстрировать умственное превосходство гэбистов над эмвэдэшниками, но об этом несколько позже.

Говорить с Крутем поодиночке мы отказались. На пятый день голодовки нас начали принудительно кормить. Я знал, что при сопротивлении зонд могут ввести и через нос, что очень болезненно, поэтому, когда меня посадили на стул, завернув руки за спинку, и начали разжимать рот, я не стал сопротивляться — позволил ввести шланг и залить в свой желудок питательную смесь. Несколько капель попало в рот, и было очень обидно, что я не получаю в полном объеме вкусовых ощущений, обида эта подвигла меня на следующий шаг — как только изо рта вынули шланг, я напряг живот, и все содержимое моего желудка оказалось на полу.

Мне снова заломали руки и ввели в вену глюкозу.

Готовясь к голодовке, мы не надеялись достичь каких-нибудь конкретных результатов, но мы и не шли на самоубийство. Нашей задачей было привлечь внимание к полному произволу, творимому в лагерях, поэтому мы заранее договорились, что кончим эту голодовку через десять дней.

Наконец мы дали Крутю согласие на коллективные переговоры. Встреча состоялась в дежурной комнате изолятора. Когда нас ввели в комнату, Круть уже сидел за столом, а за его спиной на тумбочке стояла фотография маленьких детей в большой рамке. Каждый из нас прошел свое следствие и имел возможность познакомиться с массой аналогичных ситуаций. Вид фотографии нас развеселил, тем более мы знали, что находимся не в его личном кабинете. Кто-то ехидно спросил про фото, и, услышав ответ Крутя: «Мои дети», мы дружно расхохотались. Последовал новый вопрос, доплачивают ли капитану за эксплуатацию личной его фотографии в государственных целях. Одним словом, интимного разговора не получилось.

Для смягчения ситуации Круть положил на стол пачку «Беломора». Я все время голодовки не курил, частично для сбережения желудка, частично для демонстрации своей воли, некоторые мои друзья поступили так же. Теперь мы закурили. Переговоры велись долго и бессмысленно — мы заранее знали, что будет говорить капитан. Все его возражения парировались примерами из нашей лагерной практики. В ход пошла вторая пачка папирос. Выкладывая ее на стол, Круть пошутил: «Вторую пачку скуриваете, вы теперь за папиросы со мной и не рассчитаетесь». «Ничего, — ответил я, — за все рассчитаемся, и за папиросы тоже». Ребята рассмеялись, а капитан нахмурился.

Наконец Круть объявил нам, что кодекс мест заключения будет разрабатываться и в него могут войти некоторые наши предло-

жения. Надо было как-то выходить из ситуации, и мы, отлично зная цену обещаниям гэбэшников, сделали вид, что поверили всему этому, в том числе и обещанию Крутя взять лично на себя всю ответственность за лагерные репрессии.

Договариваясь о снятии голодовки, мы поставили одним из условий возможность сообщить близким о том, что участники живы и здоровы. Круть на это, естественно, согласился: «Это и в наших интересах. Однако я хотел бы знать, каким образом ваши близкие узнали о голодовке». «На все воля Божья», — отвечивал Здоровец. Потом уже я спросил его, не было ли такое заявление в некотором смысле святотатством, «ведь ты сам говорил, что отправил сообщение и знал, что то же самое сделали и другие». «Ничуть, — ответил мне Борис, — на то Божья воля. И в том смысле, что я догадался, как это сделать, и в том, что мое сообщение дошло».

Уже потом мы узнали, какого, сами того не подозревая, мы наделали шума. Юлий был самой известной фигурой в нашей команде. О нем и до этого говорили во всем мире. Юра Шухевич был широко известен в кругах украинской интеллигенции и в Союзе, и за рубежом. Калниньш представлял латышскую, или даже прибалтийскую, оппозицию. Наконец, Сергей и я были марксистами. И внутри нашей страны, и за границей оказалось достаточно людей, идейно связанных с голодовщиками. Я слышал, будто соответствующее крыло баптистов объявило, что в случае несчастья со Здоровцом они устроят на Красной площади самоожжение, — а еще и о том, что будто бы Папа Римский молился за нас во время голодовки. Не знаю, так ли все это.

По выходе из голодовки произошел некий курьез. Это теперь я могу так назвать это событие, а тогда все выглядело по-другому. Сергей не послушал совета Верхоляка и не оправился перед голодовкой — после ужина у него начал побаливать живот, к ночи боли стали невыносимыми. Вызвали фельдшера, поставили болящему клизму, он посидел на параше — вода стекла, и боли уменьшились. Но через некоторое время боль усилилась, мы снова стали стучать в дверь — появился дежурный офицер, спросил, в чем дело. Офицеру объяснили, что нужен фельдшер и клизма. «Но ему уже ставили клизму», — ответил офицер и стал закрывать дверь. Тогда голос подал Борис Здоровец: «Вы ошиблись, гражданин офицер, это на особом режиме положена одна клизма, а мы на строгом». Офицер призадумался и вызвал фельдшера. Вторая клизма помогла, и все кончилось благополучно.

Итак, мы вернулись в Озерный если и не победителями, то определенно со щитом.

Уже в зоне, через несколько месяцев после окончания голодовки, мне пришлось обратиться к Крутью по поводу очередных заморочек с администрацией.

Я сидел по одну сторону стола, Круть по другую, с торца примостился майор Анненков. Во время разговора всякий раз, отвечая на вопрос гэбиста, майор вскакивал и говорил стоя. Круть и я курили, майор — нет. Круть начал уговаривать меня: «Валерий Ефимович, мы здесь только для того, чтобы вы не создавали новых подпольных организаций, ну, не подняли восстания, что ли. К работе лагерной администрации мы отношения не имеем и приказывать им ничего не можем». Я рассмеялся: «Гражданин капитан, смотрите — майор Анненков при каждом вашем обращении к нему вскакивает. Да прикажите ему сесть голым задом на колючку — он немедленно сядет. Сядете?» — обратился я уже к майору, тот ответил мне: «Ронкин, прекратите демагогию», но я снова: «Да или нет? Сядете или нет?» Круть перевел разговор на другую тему, но, когда я уже выходил из кабинета, гэбист остановил меня: «Ронкин! Так, говорите, сядет? Можете идти», — и засмеялся, довольный.

В другой раз, обсуждая капитана Кишку, на мой вопрос, почему лагерные офицеры такие дураки, Круть ответил так: «Умные все в столицах зацепились (сам он был командирован на время из Киева), те, кто поглупее, — в Саранске, а уж в Озерный попали те, кто даже в Явасе не сумел устроиться. С другой стороны, с умным всегда можно договориться, а вы, Ронкин, побудете семь лет под командой дурака — подумаете, стоит ли снова безобразничать».

«На перевоспитание»

Поездки в Саранск. — Встречи на пересылках. — Я читаю Библию. — Алма-атинская четверка. — «Культурная революция» и непротивление злу насилем. — Знакомство с Гинзбургом и Галансковым. — Вторая поездка.

Овчарки и их хозяева. Разговор со старшиной. Старушка. — Мой солагерник Т. — Саранские разговоры. — Как мы встретили Новый год

После голодовки в нашу жизнь вошло некоторое разнообразие. Нас начали возить в Саранск — столицу Мордовии. Возили «на перевоспитание»: на месяц примерно нас помещали в саран-

ский следственный изолятор КГБ и раза два-три вызывали на беседы с начальством, после чего, судя по всему, в личное дело ставили отметку: «Воспитательная работа проведена, заключенный такой-то перевоспитанию не поддается».

Режим там был, как и во всяком следственном изоляторе КГБ: кормили получше и разрешали получать дополнительные посылки. Но пока дойдет письмо домой и посылка из дому, тебя могли вернуть в зону, где дополнительная посылка уже не положена.

Лично меня в Саранск возили дважды. В основном запомнились встречи на пересылках. Само собой, я могу напутать некоторые детали — что и в какую поездку было.

В первый раз ехал в марте 1968 года вместе с Мошковым и Здоровцом. На пересылке в Потье нас посадили в огромную камеру вместе с «блатняками». Те сразу же стали предлагать нам «Беломор» с планом, но мы отказались. Один из них все время выходил из камеры — то не вовремя вынести пустую парашу, то еще за чем-то, выпускал его один и тот же надзиратель. Уже на обратном пути во время прогулки мы поругались с этим надзирателем, и Борис заметил ему, что тот, кто торгует наркотиками, не должен придирается к мелочам. «А ты докажи!» — ответил мент, правда, при этом сбавил тон и перестал придирается.

(Это его высказывание я вспомнил году в 96-м. Я отдал свою статью в «Невское время». Заведующий отделом политики сказал мне, что статья будет напечатана через неделю. Как я узнал позже, статья моя была уже набрана, но этот человек из газеты ушел, и вместо моей появилась другая — на тему выборов президента. Суть в том, что в этой вполне конъюнктурной статье пересказывался, естественно, без кавычек и ссылок на автора, довольно большой отрывок из моего опуса. Через месяц я заглянул в редакцию. Меня приняла интеллигентного вида дама — секретарь редакции. Я показал ей оба текста; прочтя тот и другой, она спросила у меня: «А как вы докажете?»)

На пересылке мы познакомились с ребятами, пытавшимися удрать с военного корабля, стоявшего где-то у берегов Италии. Корабль вместе с остальной командой они хотели взорвать, полагая, что натовцы им будут за это особо благодарны. До взрыва дело не дошло, а попытка «измены Родине» была — ребята пытались вплавь добраться до американского судна. Когда они прыгали в воду, выяснилось, что оружиека закрыта на замок, а у кого ключ — неизвестно. Поэтому в них не стреляли, спустили

шлюпку и били веслами. Когда после первых допросов выяснилось, что беглецы хотели взорвать корабль, их отдали в руки команды. Судили их с еще не ликвидированными следами побоев. Дали кому десять, кому и больше. Один из них имел при себе гитару и пел — уже тогда — Высоцкого: «Пришел ко мне в шапире защитничек-старик». Я спросил его: «Что значит «шапире»?», он ответил: «Ну, вроде как хавира».

Эти ребята недолго общались с нами — «блатная» компания их больше устраивала. Зато рядом с нами все время держался какой-то пожилой мужчина. Он был еще в обычном пальто и не острижен. Мат и разборки пугали его. Мужчина этот тяжело вздыхал и бормотал про себя: «Как я это переживу, как переживу?!» Кто-то спросил его: «Дед, сколько тебе дали?» — «Четыре». Прислушавшийся к разговору «блатнячок» успокоил его: «Четыре года и на параше пересидеть можно». «Что ты — года, — испуганно отозвался дед, — месяца!» Хохот потряс камеру. Деда стали расспрашивать, за что его судили. А судили его за нецензурные выражения в общественных местах. Он пришел к жене на работу (она была уборщицей в интернате) требовать денег на выпивку. Жена денег не давала, и дед прибегнул к обычной в таких случаях аргументации — начал материться. Сотрудники интерната вызвали милицию, очередной указ по борьбе с нецензурными выражениями был еще свеж, и вкатили старику полгода. Два месяца он провел под следствием — осталось четыре. Все этого деда очень жалели, а Борис сказал: «Жалко тебя, но все-таки матом при детях ругаться нельзя». — «Так они же ничего не слышали — интернат-то для глухонемых». Камера грянула опять дружным хохотом.

Со Здоровцом я делил на двоих камеру в саранском СИЗО. Там я впервые читал Библию: Борису ее дали в камеру, предварительно подчеркнув красным все места, где говорилось, что любая власть от Бога. Он ее некоторое время читал, потом, уступив моей просьбе, отдал мне. «Я ее уже знаю почти наизусть, а ты никогда ее не видел. Мне, конечно, отрадно читать Библию, чего бы там ни наподчеркивали, но тебе это нужнее». В этом высказывании — весь Борис.

В Библии самое большое впечатление произвело на меня Откровение Иоанна Богослова. Гонимые легко вдохновляются картинами космической катастрофы, в которой безвозвратно гибнет этот жестокий и несправедливый мир. Зрелище «небес, сворачивающихся, как свиток», вызывает у них не столько ужас, сколь-

ко какой-то мрачный восторг. При этом как-то забываешь о том, что вместе с «прежним небом и прежней землей» гибнет множество ни в чем не повинных людей. Вероятно, с подобным же чувством читали откровение, посетившее ссыльного апостола на острове Патмос, первые христиане Римской империи. В зоне «апокалиптические» настроения были очень распространены, и не только среди религиозников.

Вояж наш совершался в конце мая. Ежедневно нас выводили гулять по тюремному дворику, причем не все конвойные строго следили, чтобы мы ходили только по дорожке. Мы могли бродить и по траве, при этом Борис учил меня собирать съедобные травы. Мы приносили в камеру листья тысячелистника, одуванчика и еще чего-то, толкли в кружке, солили и ели полученный салат. Голода мы не испытывали ни в Саранске, ни в зоне (человек ко всему привыкает), но в какой-то степени ощущался белковый и особенно витаминный дефицит.

Однажды мы подошли к окну первого этажа и в траве увидели кучу бутылок из-под вина и водки, на бутылках красовались использованные презервативы. По объяснению конвоира, это начальство праздновало то ли Первое, то ли Девятое мая.

На обратном пути мы снова оказались в Потьминской пересылке. На этот раз всех нас, политических, посадили отдельно от остальных. Через некоторое время в нашу камеру пришло пополнение — четверо ребят этапом из Алма-Аты.

Один был русский, осужденный, как и я, по ст.70 и 72 (в переводе с казахского УК на русский). Он работал милиционером, боролся с торговлей наркотиками. Один из его подельников работал участковым. В милицию ребята пошли после школы, чтобы служить обществу, оберегать его от преступников. Еще один работал столяром на заводе. Все трое были школьными друзьями. Возглавлял группу тоже их бывший школьный приятель, врач.

Занимались ребята тем, что расклеивали листовки «Решения XX съезда партии — в жизнь!», в них они требовали продолжения десталинизации, решения квартирного вопроса, улучшения материального положения трудящихся.

Их руководитель по личным причинам покончил с собой, и архив организации был найден у него при обыске. Мой знакомый получил шесть лет. Арестовывали его так: сначала в отделении милиции, где он служил, устроили проверку оружия. Когда он сдал в оружейку свой пистолет, его вызвали в кабинет начальника, где и арестовали. На допросах гэбистов особенно интересо-

вало, пустил бы он в ход оружие, если бы его задержали при расклеивании листовок.

Еще трое «алмаатинцев» были из Китая. Их осудили за незаконный переход границы. Один из них, казах, был уголовником — имел в Китае «десятку» за убийство. В Казахстане он жил уже несколько месяцев, разговаривая по-казахски и зарабатывая кладкой печей, мог бы так существовать и далее, да попал по пьянке в милицию.

Двое других были птицы нашего полета — они клеили анти-маоистские листовки и, когда им показалось, что их вот-вот должны забрать, перешли через границу по всем правилам детективной литературы — оставили у воды одежду, чтобы инсценировать несчастный случай, к речке шли спиной, чтобы запутать следы.

Старший из них имел какого-то родственника в Гонконге и хотел очутиться там. Младший, лет девятнадцати, сын учительницы, отправленный из вуза на китайскую целину в Синцзян на неопределенное время, мечтал бороться за справедливость. Он довольно неплохо понимал по-русски, хотя, как и мы, учил иностранный только в школе. На мой вопрос, как ему удалось так выучить наш язык, ответил: «Если выучишь три тысячи иероглифов, остальное уже не страшно». Они были удивлены, встретив в советской тюрьме политических заключенных. Объясняя свое удивление, Ли (кажется, его звали так) сказал: «Но “Голос Москвы”...». Его перебили: «А “Голос Пекина” что говорил?» «Но кто же верит Пекину!» — отвечал китаец — и сам же расхохотался.

Он много рассказывал нам о «культурной революции». «Раньше родители хоть сдерживали — будешь болтаться, не дам есть». А потом мальчишки получили оружие. Придет такой в столовую или магазин — «винтовка дает власть!» Рассказывал, как одна коммуна с оружием отбирала у другой продовольствие, как пацаны, получив миномет, просто так обстреляли поезд, как, подделав подпись тов. Мао (скопировав с обложки собрания сочинений), можно было получить в банке крупную сумму (так все были запуганы), и Мао пришлось специально делать заявление, что он никому таких записок не дает. Все это можно было узнать из прессы, которая осуждала «некоторые перегибы» «культурной революции».

Беседовали мы не только о политике. Ли читал по-китайски Пушкина, я по-русски — Ду Фу. Обсуждали наши профессии, особый интерес Ли проявил к пчеловодству (Борис Здоровец

был пасечником). Однажды мы увидели, что китайчат взяли в оборот Свидетели Иеговы. Глядя со стороны, мы хихикали. Объяснить хоть как-то основы Библии человеку нехристианской культуры, сравнительно слабо владеющему русским языком, нам казалось совершенно невозможным. Неверующие подсмеивались над настырностью проповедников, Борис — над «конкурирующей фирмой».

Вдруг Ли в возбуждении вскочил на нары: «Подставить другая щека? Банде Мао — подставить другая щека?! Банда Мао!..» Воображаемый автомат запыгал в его руках.

Мы договорились, что будем поддерживать связь с алма-атинскими ребятами через наших подельников на 11-м, и наоборот. Увы, в зоне они как-то не сошлись характерами — наши друзья не завязали с алмаатинцами тесного знакомства, и связи оборвались.

А мы вернулись в Озерный.

* * *

Мы снова оказались в привычном кругу. К этому времени там появились новички — Алик Гинзбург и Юра Галансков, о которых мы уже знали из газет. Через некоторое время после моего появления в Озерном ко мне подошел розовощекий юноша и представился: «Алик». «С какой это поры начали сажать младенцев?» — откликнулся я. Оказалось, что я старше этого «младенца» всего на полтора месяца. Алик и Юра органически вошли в нашу компанию, и уже через полгода, когда на «перевоспитание» в Саранск отправили очередную группу, Алик попал в ее состав. Я — тоже.

Конвой доставил нас в Явас заранее, и мы ждали поезда довольно долго не на территории вокзала, а около железнодорожных путей. У одного из охранников на поводке была большая овчарка.

Однажды мы уже имели возможность познакомиться с таким четвероногим конвоиром. Нас повели работать куда-то за зону. Выстроили у проходной, и тут кто-то из латышей заявил, что без собаки мы никуда не пойдем: «Вам покажется, что я бегу, так вы собаку спустите, — а без нее сразу из автомата трахнете». Один из конвойных ушел, мы ждали около часа, и наконец он появился с псом на поводке. Мы тронулись. Не успели отойти ста метров от проходной, как пес увидел поросенка и бросился за ним (конво-

ир надел петлю от поводка на руку, петля затянулась, и ему пришлось, не разбирая дороги, мчаться за тем же поросенком). После этого эпизода конвойные собрались в кучку, о чем-то потолковали и повели нас назад. Так мне и не удалось побывать за зоной. Те же, кому это все-таки удалось, рассказывали, что стоит воткнуть лопату на штык в землю (при копке картошки или при добыче глины), как она утыкается в человеческие кости.

Итак, мы ждали поезда довольно долго и успели изрядно соскучиться. За отсутствием других тем начали обсуждать конвойную собаку. Любитель собак Алик сказал, что овчарки, конечно, ни в чем не виноваты, но теперь, случись ему завести собаку, овчарку он ни за что не возьмет. Кто-то заявил, что собака уж больно жирная (пес был худющий, чего нельзя было сказать об офицере, начальнике конвоя). Другой зэк подхватил: «Этой собаке в колхозе бы работать, а не тут дармоедничать».

Начальник резонно принял эти высказывания на свой счет и отреагировал, как и подобает необученной собаке: «Всем на колени!» — конвоиры направили на нас автоматы, но мы продолжали стоять на ногах. Кто-то, кажется, Алик, сказал: «А ты стреляй». Офицерик выматерился, посмотрел на часы, и нас повели к вокзалу, где мы ждали еще более получаса.

Дня два-три мы побыли на потьминской пересылке, а потом нас опять повели на вокзал. К великому нашему удивлению, посадили нас в купированный вагон, расположили в одном из купе, тут же сел старшина, за дверями поставили конвоира, и поезд тронулся. Со старшиной разговорились. Поначалу на какой-то вопрос ему ответили резкостью, но потом разговор принял нормальную тональность. Обезоружил нас старшина вопросом: «Вы же не хотите, чтобы вас ограбили, вашу жену или дочь изнасиловали? Мы и охраняем общество от таких людей — и вас в том числе». Я ответил, что готов признать такую службу достойной уважения, но, во-первых, мы никого не насиловали и не грабили и представляем опасность не для общества, а для начальства, во-вторых, даже насильников нужно содержать, не нарушая закона. «Насчет политзаключенных, — возразил старшина, — так я с такими, как вы, встречаюсь впервые. Вас осудил суд, и я, хочу того или нет, обязан вас конвоировать, но такие, как вы, редкое исключение, в основном я охраняю уголовников. Да, я знаю, что в лагерях зачастую нарушают закон и поступают негуманно, но вы меня видите впервые, так почему вы уверены, что и я сволочь?» Мы извинились за резкость, и разговор перешел на пересказ наших

прегрешений перед властью. Вдруг дверь открылась — на пороге стоял конвойный офицер. «Выйди вон! — это относилось к старшине. — Ишь разговорились». Офицер занял его место.

Через год на Потье мы вновь повстречались с этим старшиной. Тогда нас с Юлием во второй раз судили — остаток срока нам предстояло досиживать в тюрьме. Но об этом — позже.

На этот раз мы ехали еще не во Владимир, а всего лишь в Саранск. Когда мы выгрузились в Саранске, нас повели по территории вокзала к какой-то калитке под замком — с другой ее стороны ожидал «воронок». Через несколько минут рядом с «вороном», по ту сторону калитки, появилась отчаянно сигналившая машина «скорой помощи». Рядом с нами, «по эту сторону», стояла старуха — ее поддерживали санитары — «скорая» была вызвана ради нее. А ключей от калитки не было. Недалеко от всего этого возвышался станционный надземный переход — люди оттуда наблюдали странную картину, вокруг тоже собрались любопытные. Старуха тихо стонала: несмотря на поддержку санитаров, стоять ей было тяжело. Прошло уже более получаса, а калитка оставалась на замке. У меня с собой был чемодан с книгами и кое-какими вещами, я сделал шаг мимо конвоира, поставил чемодан около старушки и, сказав: «Садитесь, бабушка», вернулся к своим. Старуха, кряхтя, уселась на чемодан. Начальник конвоя разразился бранью и приказал одному из солдат взять чемодан и поставить около меня. Солдат, явно нехотя, повиновался. Посторонние наблюдатели начали высказываться, что, мол, уголовники душевнее ментов, а кто-то из наших сказал, что мы не уголовники, а политические. Начальник конвоя пытался прекратить «разговорчики», угрожая, что прикажет стрелять, — это еще больше накалило обстановку. Любопытные начали осведомляться, в кого он прикажет стрелять: в бабуку, в толпу или в эзков? Один из конвоиров был отправлен на поиски ключа. На этот раз он вернулся с женщиной в железнодорожной форме, которая отперла калитку.

Старуху запихали в «скорую», нас — в «воронок». Выгрузили на территории уже знакомого мне саранского следственного изолятора КГБ и рассадили по камерам.

* * *

Со мною в камере оказался мой солагерник Т., осужденный за попытку перехода границы. Он учился в калининградской мореходке на радиста. Где-то, кажется в Ставрополе, у него была

жена. Однажды его приятель сообщил Т., что супруга ему изменяет. Т. сбежал из училища домой, дома в шкафу нашел чужой галстук и по приходе жены избил ее. Досталось и тестю, когда тот пришел выяснять отношения. Т., предполагая, что из училища он будет отчислен за столь длительную самоволку, а на родине его ожидают неприятности (тесть подал заявление в прокуратуру), решил бежать куда глаза глядят и отправился на турецкую границу. Ему удалось дойти до колючки, и он хотел уже перелезть через нее, но пожалел свои еще новые брюки и повернул обратно. На обратном пути все-таки нарвался на пограничников, которым объяснил, что хотел перейти границу, но в последний момент раздумал. На следствии его убеждали, что он не мог не оказаться изменником: ведь его, почти что радиста, непременно заслали бы обратно в Союз передавать агентурные сообщения. Т. возражал: «Да окажись я за границей, никакому ЦРУ меня сюда не затащить было бы!» «Измена Родине» каралась от десяти лет и до расстрела, Т. получил восемь, но, несмотря на проявленный властью гуманизм, Т. писал жалобы во все инстанции, доказывая, что добровольный отказ от совершения преступления освобождает от наказания.

Люди подобного типа обычно не конфликтовали с начальством, но под конец срывались. У Т. шел последний год. Однажды он сидел на скамеечке, а около него остановился майор Анненков. «Заключенный, встаньте». Т. продолжал сидеть. «Если вы меня не уважаете, то хотя бы уважали мои погоны!» Т. встал, поднялся на цыпочки (он был меньше ростом, чем Анненков), посмотрел на погоны и, со словами «Да они обосранные», сел на скамейку. Его посадили в карцер. Через некоторое время он опять что-то сказанул, на этот раз Кишке, и остался без ларька.

Т. подкармливал кошку Муську. Кошка эта достойна отдельного рассказа. Во время тотального уничтожения «домашних животных» она уцелела — сначала ее спасала окраска под цвет серого лагерного одеяла, потом на примере других, не столь везуче окрашенных кошек она поняла, что при появлении человека в форме необходимо немедленно прятаться. Однажды, когда кампания охоты за кошками уже окончилась, надзиратель подошел к Муське, спавшей на одеяле, и погладил. Та мурлыкнула, открыла глаза и увидела, с кем имеет дело, — рот ее судорожно перекосило, она подпрыгнула вверх и помчалась прочь под койками.

Добежав до Т., Муська стала тереться об его ногу и мурлыкать. Тот громко заметил: «Я тебя кормил, пока было чем, а вот

теперь сижу без ларька, теперь ты меня должна кормить». На следующее утро Т. обнаружил на своей подушке здоровенную крысу. Мы пытались узнать, кто из соседей, слышавших жалобы Т., положил ее, но никто не признался.

Т. в зоне вертелся около нас, некоторые подозревали, что он стукач, но в нашей компании было не принято без серьезных доказательств кого-либо травить, к тому же действительно важной информацией мы делились только с теми, кому абсолютно доверяли.

Вернемся в Саранск. Там меня начали почему-то пугать хранением нелегалщины (очевидно, подразумевались стихи Даниэля). Я отвечал, что даже если я что-нибудь и храню, то вряд ли охрана это нашла бы, «не могут же они найти лампочки, которые мы от них прячем». — «Какие лампочки?» — «В цеху. Во время ночного обхода надзиратели воруют электролампочки, потом работать нельзя, вот мы по приказу начальства и прячем их каждый раз, уходя с работы». Мой собеседник (полковник, замначальника мордовского комитета ГБ), выслушав это сообщение, воскликнул: «Черт знает что у вас там делается!», я поправил: «Не у нас, а у вас!» Наскучив моим «очернительством», полковник спросил: «Ронкин, вот вы всё ругаете, неужели же нет ни одного решения партии и правительства, которое вы могли бы безусловно одобрить?» Еще в зоне я слышал байку: после ареста Берия был водворен на московскую офицерскую гауптвахту, и охрана получила приказ: «При появлении лиц в форме МГБ — стрелять без предупреждения». Я пересказал эту байку, заменив МГБ на КГБ, и добавил, что с этим приказом я согласен безусловно и готов выполнять его лично. На сем меня отправили в камеру, и больше мы не встречались.

Сидеть мне было скучно, и, воспользовавшись тем, что у меня заболело ухо, я потребовал врача. Тюремный фельдшер дал мне направление к ушному врачу, и меня повезли в город. Выпустили из «воронка» около поликлиники и под охраной двух автоматчиков ввели в здание. Поликлиника была эмвэдиетская, на вешалке висели шинели с погонами, около полковничьей шинели я повесил свой ватничек, и меня без очереди ввели в кабинет. Один конвоир остался за дверью, второго я видел из окна. Женщина-врач задала мне первый вопрос: зачем я отрастил усы и бороду (почему-то эта проблема очень волновала эмвэдиетскую общест-венность) — я спросил у нее, зачем она красит губы. Мне выписали капли и отправили «домой».

Очевидно, этот мой треп с начальством и привел к тому, что Новый, 1969 год мы с Т. встречали на пересылке. Алика Гинзбург отправили на зону раньше.

На этот раз мы получили посылки, которые наши родные успели отправить в Саранск. Кроме конфет, кофе и колбасы (в следизоляторе, в отличие от зоны, ее можно было получать) мне мама прислала маленькую, сантиметров в пять высотой, пластиковую елочку. Оставалось сварить кофе. В Саранске как-то по всей тюрьме погас свет, и в камеры принесли свечи. Мой сосед перевернул свечу и начал ее оплавливать — оплавил чуть не до половины и полученный ком парафина спрятал («Зачем тебе?» — «Пригодится»).

Теперь мы этот парафин использовали — в консервную банку положили комок, на него — вату, выдранную из ватника, — получился небольшой костерок. На нем мы и сварили кофе в баночке из-под кофе — она была картонная, изнутри выложенная полиэтиленом, но донышко было железное.

Кончая разговор о Саранске, хочется вспомнить еще одну встречу на этапе, на этот раз с уголовничком. В зоне, где он отбывал срок, произошла драка с убийством. Почему-то подумали на него. Полгода парня держали в карцере (полагалось не более пятнадцати суток, но его выпускали на полчаса и сажали снова), отобрали ватник и почти не кормили, но он признавать свою вину отказывался. Потом произошло еще одно убийство, следствие выяснило, что и первое, и второе совершил другой зэк. Пришлось нашего знакомого выпустить из карцера и, чтобы не мозолил глаза, этапировать в другую зону.

Снова в Озерном

Пленка. — Стукачи. — Наши лекторы. — Майор Анненков и крестное знамение. — Должна ли милиция охранять Свидетелей Иеговы?

В Озерный мы вернулись уже в 1969 году.

Вернувшись, я узнал новость — во время моего отсутствия в зоне была сделана магнитофонная запись (что, разумеется, строжайше запрещалось), и пленка переслана на волю. Я услышал эту пленку уже после освобождения. Там были стихи Кнута Скуениекса в переводах Юлия Даниэля, он же и читал свои переводы. Вступительное слово о латышском поэте Скуениексе наговорил

на пленку Калниньш. Кончался текст так: «Пишите нам по адресу: Мордовская АССР, станция Потьма, почтовое отделение «Озерный», почтовый ящик ЖХ-385/17а. Передача была организована по недосмотру администрации». Этот текст читал Алик, он же организовал и саму запись.

Советская традиция — все что ни попадя делать руками ээков — подвела и на этот раз. У ментов сломался магнитофон (возможно, тот самый, который использовался для записи подслушанных разговоров в «доме свиданий»). Мастера на все руки Гинзбурга попросили его починить, тот потребовал пленку для проверки работы. Оставшуюся пленку никто, естественно, измерять не стал, а она укоротилась на ту самую «передачу». Удивительно другое: как такое мероприятие не углядели стукачи. Впрочем, квалификация этой братии оставляла желать лучшего.

* * *

Стукачей в зоне было предостаточно. Чаще всего это были отставные полицаи. Им обещали снизить срок, но этого не делали, поскольку такая мера уменьшила бы число стукачей, что, судя по всему, было одним из отчетных показателей. Платили им внеочередными посылками и бандеролями (слово «платили» следовало бы взять в кавычки, потому что покупались эти посылки на деньги их же родственников). Соответственно, «вычислить» стукачей было легко, но этот показатель в отчетность начальства не входил. Мы пользовались этим время от времени. Иногда ради шутки. Писаем мы однажды за туалетом, видим, выглядывает из-за угла стукач. Сережка Мошков начинает сапогом растирать землю, приговаривая: «Здесь-то никто искать не будет». Через полчаса, идя в столовую, мы видим там толпу ээков, недоуменно наблюдающих, как пяток надзирателей ковыряют штырями воющую землю.

Были и более серьезные случаи. Иногда нам требовалось вступить в переговоры с администрацией или пригрозить ей, но официальный вариант почему-либо не подходил. Тогда проблема начинала обсуждаться в присутствии стукачей (коих мы якобы не замечали).

Однажды Юру Шухевича «дернули» на этап. Куда и зачем, ему сказано не было, а приезжавший незадолго до этого работник прокуратуры сообщил нам, что существует положение, согласно которому об этапе заключенный должен быть предупрежден за двадцать четыре часа. Юра отказался этапироваться, администра-

ция грозила карами. Мы при стукачах начали обсуждать меры коллективного протеста (коих принимать по каким-то соображениям не собирались), и на этап Юру не взяли. (Потом выяснилось, что его хотели везти на Украину для каких-то переговоров, но Юра с властями никаких переговоров вести не хотел.)

* * *

В Озерный тоже приезжали лекторы. Один из них представлял Минский университет, был он то ли деканом философского факультета, то ли заведующим кафедрой. По обыкновению лектор начал с атеистической пропаганды, а расправившись с Богом, занялся Синявским и Даниэлем — попало и им. Кончив выступление, лектор предложил задавать вопросы. Встал я: «Я человек неверующий, и объяснений, откуда без Бога появился мир, мне от вас не требуется. Я хочу спросить другое, как вы, человек, считающий себя интеллигентом, решаетесь проповедовать свою точку зрения под прикрытием этих вот людей в форме (за спиной лектора сидели майор Анненков и еще кто-то из лагерных офицеров, у дверей — надзиратели), отлично зная, что ваши оппоненты ничего не могут вам возразить без риска нарваться на неприятности?» Лектор ответил мне: «Пожалуйста, возражайте, кто вам мешает?», но тут вскочил майор Анненков и поставил точки над «і»: «Ронкин, за это выступление вы лишаетесь очередного свидания».

Жалко Иринку, ну да что делать. Однако этот приговор не был приведен в исполнение — Борис Здоровец перехватил лектора: «Теперь вы видите сами, к чему приводят возражения. Сходите к начальнику и потребуйте отменить его приказ». К чести лектора, он не только обещал это сделать, но и добился отмены наказания. Свидание я получил.

* * *

Откуда был командирован к нам еще один лектор-интеллектуал, я уже и не помню. Заглянув в столовку, за переносной фанерной трибункой красного цвета мы увидели пожилого благообразного человека, который с неподдельным, казалось, жаром поносил тех же Синявского и Даниэля. (Тема эта тогда, по мнению начальства, была сверхактуальной — в лагерной газетенке «За отличный труд», «За отличный труп», как звали ее ээки, появилась статья Краснопевцева и Меньшикова, где Юлий рассматривался как сподручный Мао Цзэдуна). Мы немного послу-

шали и вышли на улицу, а через некоторое время появился и лектор. Когда он проходил мимо нас, Юлий Маркович обратился к нему: «Скажите, пожалуйста, что из написанного Синявским или Даниэлем вы прочли?» — «К сожалению, ничего». — «А лично кого-нибудь из них вы знаете?» — «Нет». — «Вас предупредили, что один из них находится в этой зоне и может оказаться вашим слушателем?» — «Нет». — «Я Юлий Даниэль. А теперь попробуйте сказать мне в лицо хоть часть того, что вы говорили, думая, что говорите за глаза».

Лектор сник, лицо его пошло красными пятнами, и он начал говорить что-то извиняющимся тоном. Положение спас Федя Сиденко, пятидесятник, добрый и несколько наивный малый. Подойдя к нам, он положил Юлию руку на плечо и негромко сказал: «Юлий! О чем вы с ним разговариваете? Это же Сатана, посмотрите, вот и роги торчат». Сказано это было так убедительно, что наш собеседник провел рукой по волосам. Мы дружно расхохотались, а лектор, воспользовавшись заминкой, смылся.

После лагеря я еще долго переписывался с Федей. Он писал многим. Обычно письмо начиналось с приветов, далее речь шла о Фединой корове, засолке огурцов и тому подобном, кончалось Федиными снами. Что бы ему ни снилось, корова ли, война, или еще что-нибудь, после описания сна шло его толкование, всегда одно и то же: «Из этого сна я вижу, что Советы долго не протянут».

* * *

Иногда лекции читал и сам майор Анненков. Он заочно учился в МГУ (Мордовском государственном университете), чем очень гордился и всякое выступление перед строем заключенных начинал словами: «Когда я был в университете на сессии...» Тема его дипломной работы, по слухам, была «Политика КПСС в борьбе с религией»; каждый новый этап на его тернистом пути в науку отмечался в зоне усиленными обысками среди верующих — менты добывали для своего шефа материал для цитат. Надо сказать, что в лагерных библиотеках, как в Явасе, так и на Озерном, антирелигиозная литература была в большом ассортименте и пользовалась у верующих большим спросом — они по ней воссоставляли текст Библии, выписывая приводимые цитаты. Потом эти цитаты переписывал Анненков.

На своих лекциях майор хотел видеть не только полицаев. Пробовал он давить и на нас, «студентов». Мы отказывались, и

нас чего-нибудь лишали. Потом в зоне появился Алик Гинзбург. По его предложению мы не только всей компанией отправились на очередную лекцию, но и начали конспектировать ее. Затем Алик задал ему вопрос: «Вот вы говорите, что в СССР только два класса — рабочие и крестьяне, да еще прослойка — интеллигенция (майор подтвердил). А к какому классу относитесь вы и вообще надзорсостав?» «Я лично, — отвечал майор, — отношусь к интеллигенции». — «Так, выходит, мы с вами принадлежим к одному классу?» На этот вопрос Анненков ответить не мог ни положительно, ни отрицательно. В первом случае он с классовым врагом оказывался в одной коdle, во втором — не мог уяснить, к какому же классу принадлежат зэки.

Анненков, страшно напуганный перспективой быть опубликованным «за бугром» (от нас ведь всего можно было ожидать), объявил наше присутствие на его лекциях нежелательным, что и исчерпало конфликтную ситуацию.

Верующие же, от которых подобных пакостей он ожидать не мог, от сей повинности страдали гораздо больше. Однажды на дверях столовой появилось объявление: «Лекция. О нашем советском гуманизме», лектор Анненков. Около столовой стоял майор и убеждал старика-сектанта, украшенного огромной, как у Льва Толстого, седой бородой, пойти на лекцию. Тот упирался в буквальном смысле, потому что майор начал его сначала толкать в бок, а потом взял за шиворот. Старик поднял руку и осенил своего «собеседника» крестным знаменем, после чего браваый майор (грубые материалисты мне не поверят)... исчез! Не насовсем, конечно; впоследствии он продолжал руководить вверенным ему объектом; но в тот момент он действительно исчез. Сам скептик, могу объяснить сей феномен так: майор не мог сразу же определить, уместно ли ему быть осеняемым крестным знаменем, тем более на виду нашей ехидной компашки, да и что скажет начальство, ежели узнает, — ну и убрался от греха подальше.

* * *

В последнее время в России многое изменилось — и Библию в любом книжном магазине можно купить, и батюшек в тюрьмы пускать стали. Но вот выступает по телевизору доктор философских наук (было это году в 1988-м) и кроет во все корки бездуховность, взывая к религии, как когда-то в своих диссертациях крыл идеализм. И опять он — в авангарде человечества, а все несогласные с ним — в дерьме.

Увесистые плухи, которые раздаются теперь уже нам, атеистам, свидетельствуют о том, что отношение к Богу, возможно, и изменилось, а вот отношение к человеку — осталось прежним.

В лагере мы обсуждали разные вопросы, в том числе и религиозные, и всегда сохраняли уважение друг к другу. Исключение составляли некоторые Свидетели Иеговы, утверждавшие, что все прочие будут гореть в адском огне. Я как-то спросил одного из них: «Вот есть милиция и армия, которые берегут граждан, в том числе и свидетелей, от бандитов и китайцев (в это время чуть было не полыхнула война, связанная с разделом острова Даманский на Амуре площадью менее 1 кв. км). Должны ли милиционеры охранять тех, кто считает грехом брать в руки оружие? Или о таких должен заботиться Бог?» В ответ я услышал, что милиционеры обязаны защищать и их, но грех за то, что они взяли в руки оружие, с них все равно не снимается, и гореть им в геенне. Попытка апеллировать к логике привела к грубости, и я, дабы не накалять обстановку, прекратил беседу. В таких разговорах меня в первую очередь интересовала психология собеседника, ну и, естественно, тексты из Писания, с которыми на воле я не удосужился познакомиться.

Свидания

Порядок и практика предоставления. — Наши свидания. —
Мой воспитатель Голубятников

Между тем свидание, которого я чуть было не лишился из-за своей реплики на лекции, приближалось.

Два свидания я получил еще в питерском следизоляторе. На первое пришли мама, тетя Дора — ее двоюродная сестра, которая специально ради этого приехала из Каунаса, и, разумеется, Иринка. На второе свидание Ирина привела нашу двухлетнюю дочь Маринку. Но это, повторяю, был еще следственный изолятор.

В зоне порядки были иные. Свидания разделялись на общие и личные.

Общие свидания, продолжительностью до четырех часов, нам были положены через каждые три месяца. Свидания проходили в присутствии надзирателя. Сначала можно было сидеть рядом, потом — только через стол. Уже после моего освобождения ввели новый порядок — через стекло, когда разговор заключенного с

родственниками идет через микрофон и динамик, а надзиратель в любой момент может нажать кнопку и прервать беседу. Личные свидания можно было получать раз в год, до трех суток, с выводом на работу или без вывода. Давались они в отдельной комнате. На общих свиданиях угощение заключенного запрещалось (впрочем, надзиратель мог и не обратить на это внимания). На личных — разрешалось кормить заключенного все время, пока свидание продолжалось: в «доме свиданий» была даже кухня, где можно было готовить еду. Но выносить продукты в зону заключенный мог, только если ему было разрешено получение очередной передачи или посылки.

Четыре часа общего свидания или трое суток личного — это был максимум; администрация могла дать и меньше. А могла в определенный день вообще не дать свидания никому: объявить в зоне карантин и держать его до отъезда нежелательных гостей, — случалось и такое.

* * *

Первое личное свидание в зоне, еще на Явасе, я получил в апреле 1966 года. Иринка и Нина Гаенко приехали одновременно. Оказалось, что и на свидание существует очередь, и наши жены ждали дня два, пока освободились комнаты. Из возможных трех дней нам дали по два — Вадиду без вывода на работу, мне с выводом. Это было самое продолжительное наше свидание за все семь лет срока.

В начале июня Иринка вместе с мамой приехали на общее свидание. На этот раз нам повезло — нас поместили в отдельную комнату, и вместо четырех часов мы провели вместе целых шесть (мама ухитрилась на кухне даже приготовить мне что-то вкусненькое) — по сути, это было короткое личное свидание. Надзиратель по неизвестным причинам разрешил мне унести в зону кучу всякой снеди.

Следующее общее свидание могло состояться в сентябре, но Иринка выбралась только к ноябрьским праздникам.

Поскольку наши жены работали, поездки на свидания оказывались во власти не только лагерного начальства, но и их начальства на работе. Иринкино техническое руководство занимало по отношению к ней весьма либеральную позицию, чего нельзя сказать о кадровичке, она же парторг завода.

Для того чтобы получить несколько свободных дней, Иринка сдавала кровь. Оказалось, что существуют два положения об отгу-

лах — одно, подписанное Минздравом, разрешало отгул в любое время, другое (ВЦСПС) разрешало отгул только на следующий день после сдачи крови. Иринке приходилось доказывать кадровичке правомочность именно минздравовского постановления. А когда ей после тяжелой болезни хотели предоставить путевку в санаторий, начальник отдела кадров выступила с протестом: нельзя давать путевку Ронкиной, которая «ведет себя, как декабристка, ездит к мужу, особо опасному преступнику».

Ноябрьское свидание 66-го года уже проходило через стол, в присутствии надзирательницы, которая, впрочем, время от времени выходила из комнаты, оставляя нас вдвоем.

В Озерном все эти послабления кончились. В январе 1967-го Иринка приехала в Озерный на очередное личное свидание. Я специально узнавал у начальства, могу ли я его получить — свидание положено раз в год, прошлое было в 66-м, но мало ли что. Мне подтвердили, что да, могу, и я написал Иринке. Оставив заболевшую Маринку на попечении Володи Шнитке, моя жена покатила в Мордовию. Однако, пока она собиралась да ехала, вышло новое постановление — свидание предоставляется не раз в год, а через год после предыдущего (соответственно, общее не раз в квартал, а через три месяца). По приезде Ирины майор Анненков и сообщил эту новость. Кроме того, он заявил, что я отрастил бороду, пишу жалобы и вообще веду себя не так, как полагается заключенному (под его началом я не пробыл и месяца). На ночь Иринка приютилась у какой-то бабуся, оставив в качестве платы часть привезенных с собою продуктов. Утром Иринка поехала в Явас, в управление. Там ее послали в первый отдел. Имевший с нею беседу особист заявил, что я вообще себя плохо веду и максимум, что он может ей предложить, это пятнадцать минут общего свидания, но отсчет следующего будет тогда уже не с октября, а с января. Ирина отказалась от подачи и вернулась в Питер.

В начале мая нам дали сутки личного свидания с выводом на работу, а в июле я уже загремел в ПКТ, и общих свиданий в этот год не было (тем, кто сидит в ПКТ, вообще никаких свиданий не полагалось). Следующее личное свидание (1968), как я уже говорил, благодаря вмешательству Бори Здоровца нам все-таки дали — опять сутки с выводом на работу. Были ли за это время общие свидания, мы уже и не помним.

Иринке моя борода не нравилась, и поэтому я перед свиданиями ее сбривал. Однажды после свидания Анненков поинтересовался, почему ради жены я бороду брею, а ради него — отказы-

ваюсь. Я ответил, что жену я люблю, а его — нет. Вообще на Руси вопрос ношения бороды во все времена был политически актуален. Еще в институте, я помню, один из студентов на целине отрастил бороду. Встретившийся ему в коридоре декан коротко бросил: «Борода? Убрать!», и тот пошел бриться. В зоне начальство пыталось прибегать даже к прагматическим доводам: «Вот вы, Ронкин, на фотографиях без бороды, так как же вас ловить в случае побега?», но мы знали от прокурорского работника, который сообщил нам правила этапирования, что ношение бороды и усов никак не оговорено, и на подобные доводы отвечали: «Это уж ваша проблема, а закона такого нет».

В 68-м мое и Юлия свидания совпали. Он захватил с собой мою сбритую бороду и передал Иринке. Так я совершил частичный побег. Этот клочок волос до сих пор хранится у нас.

* * *

В мае 1969-го Иринка опять собиралась появиться на личное. Но на этот раз положение осложнилось, и причиной тому был лагерный замполит майор Голубятников.

Еще в первые дни пребывания в Озерном он как-то вызвал меня к себе. Представившись, заявил, что по должности обязан меня воспитывать. Я ответил, что для этого у него не хватит ни ума, ни образования. На этом наша беседа и кончилась.

В 69-м году мы встретились случайно — меня вызвала кадровичка для уточнения каких-то данных в анкете. В комнате оказался этот самый майор. Я постучался, вошел и направился было к ней, но был остановлен Голубятниковым: «Почему не отрапортовали?» Я отрапортовал: «Политзаклученный Ронкин явился». — «У нас нет политзаклученных!» — «У вас нет, а у нас есть». Майор вскипел: «Выйдите вон!» Я повернулся к выходу, по пути бросив: «Подумаешь, всякое говно...»

Минут через двадцать я узнал, что лишен свидания. Собралась вся наша братия. Ребята предложили снова прибегнуть к голодовке. У Юлия через пару дней должно было быть свидание, и он мог передать на волю это сообщение. Так и произошло. В Москве Саня (его сын) зашел в ГУИТУ (Главное управление исправительно-трудовых учреждений) и сообщил им о намечаемой голодовке.

Через некоторое время Голубятников вызвал меня и заявил, что отменяет приказ о лишении меня свидания. И тут мне его стало жалко. Ведь я действительно нарушил не только правила

внутреннего распорядка, но повел себя, со своей же точки зрения, непорядочно. Я ведь ни на минуту не сомневался, что это не личное решение майора — ему приказали, а потом его же коллеги (и приятели) его и предали. Надо было, наверное, в этих условиях извиниться перед ним, но я не сделал этого, о чем теперь сожалею. Вместо этого я сказал, что не грубил ему, что он ослышался, что я сказал не «говно», а «все равно». Эта версия и была им принята.

Но свидание все-таки не состоялось — у Иринки пошла кровь горлом. В больнице диагностировали язву и в связи с ней — резкое падение гемоглобина. Когда, наконец, она смогла поехать, я уже был отправлен во Владимир.

Вторая голодовка

**Причины голодовки. — Степан Сорока. — «Поручик Голицын». —
Что нас объединяло с националистами. — Прощание с Озерным. —
Благословение ксендза**

Весной 1969 года у нас возникла новая проблема — Алику Гинзбургу не давали свидания с женой Ириной (Ариной, как ее звали близкие) Жолковской. Алик и Арина уже подали заявление в загс, но его арестовали за шесть дней до регистрации. Теперь начальство не признавало их мужем и женой и, соответственно, не предоставляло свиданий. Алик решил объявить голодовку, мы — его поддержать. Было решено, что через некоторое время после объявления им голодовки часть из нас напишет заявления во всевозможные инстанции, а потом начнет присоединяться к голодовке. В кампанию будут постепенно втягиваться все новые люди. Те, кто по разным причинам к голодовке не готов, — ограничатся заявлением. В акции приняли участие Лёня Бородин, Дмитро Верхоляк, Балис Гаяускас, Юра Галансков, Юлий Даниэль, Виктор Калниньш, Сережа Мошков, Степан Сорока, Слава Платонов и я. Все документы, связанные с этой акцией, тогда же были опубликованы за границей, отдельной брошюрой под названием «История одной голодовки», поэтому не буду чересчур подробно распространяться на эту тему. Расскажу лишь о некоторых людях, здесь упомянутых.

Степан Сорока был впервые арестован двадцати лет в 1952 году за несколько брошюр националистического содержания. В 56-м реабилитирован. В 57-м его снова арестовали: Хрущев приезжал

во Львов, и за доминошным столом Степа удивился его храбрости — «ведь могут организовать покушение». На его беду, на местную нефтебазу, независимо от Хрущева, приехала комиссия, а на базе уйма неучтенного бензина. Ну, начальство и спустило весь избыток в канализацию. А затем кто-то бросил туда окурки, и по всему городу начали взлетать крышки люков. «Откуда знал про покушение?» Пока выяснили, что не только Степан ничего не знал, но и покушения не было, Степа сидел, а потом КГБ направило в Президиум Верховного Совета СССР бумагу с предложением прошлогоднюю реабилитацию отменить, что и было сделано.

Лёня Бородин и Славик Платонов прибыли к нам еще летом 68-го года. Оба они вместе с другими были арестованы по делу ВСХСОН (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа). У нас сложились хорошие, но непростые отношения. В теоретические споры мы почти не вступали, ограничившись взаимной информацией о программах и следствии. Я понимал, что любые мои слова, как произнесенные нерусским человеком, заранее будут проигнорированы и спора не получится.

Лёня играл на гитаре и неплохо пел. От него я впервые услышал ныне известную песню с рефреном: «Поручик Голицын, раздайте патроны, корнет Оболенский...». Меня поразила в этой песне строка: «За нашим бокалом сидят комиссары и девушек наших ведут в кабинет». Я, несмотря на весь свой исторический материализм, не мог представить того, что именно эти побуждения заставляли сражаться белую армию, тем более что однофамильцы, а возможно, и предки героев песни были декабристами, а ими-то уж точно двигала не проблема, кому сидеть за столиком в дорогом ресторане. Я тогда думал, что это подлинная песня времен Гражданской войны, и сказал Лёне, что если белые воевали за это, то понятно, почему они проиграли. Но разговора не получилось. Единственное, что нас объединяло, — это противостояние режиму вообще и лагерному в частности.

Мы вместе принимали участие не только в этой голодовке. И ранее по более мелким поводам мы держались заедино. В результате Алика и Арину зарегистрировали. Но когда это произошло, Юлия и меня в Озерном уже не было.

* * *

Регистрация состоялась в конце августа 1969 года, а еще в начале июля нам с Даниэлем объявили, что нас этапируют в Явас. На 11-й? Хотелось бы думать, что так, но это было маловероятно. Я ходил по зоне, прощаясь с друзьями и знакомыми.

С некоторыми мы посидели за круговой кружкой кофе. Сергей Мошков освобожден по концу срока еще в июне.

Очень тепло простились мы с Михаилом Сорокой, который через некоторое время попал в больницу и там умер. С Юрой Галансковым проститься я не сумел, он в это время уже был в больнице, где и умер в 1972 году.

Ко мне подошел старый, небольшого роста латыш по фамилии Штагерс. Я знал, что он ксендз, что он арестован за участие в национальном сопротивлении и что сидеть ему еще долго. От других заключенных я слышал, что во время послевоенного латышского партизанского сопротивления он решил отслужить службу в своем костеле. Для этого отряд партизан блокировал советский гарнизон, размещенный в деревне, и Штагерс, с автоматом под облачением, отслужил мессу. Старик был несколько смущен: «Вы еврей и неверующий, я не хочу обидеть или оскорбить вас. Вас увозят Бог знает куда, и я прошу позволить мне благословить вас». Я наклонил голову, он сложил на ней свои маленькие ладошки и что-то забормотал, а у меня подкатил комок к горлу от жалости к человеку, чья старость проходит в лагерном бараке вдали от его родины, от великого счастья всечеловеческого единства, от гордости, что греха таить, за то, что и я оказался достойным быть причисленным к этому единству старым латышским ксендзом в мордовском лагере №17-а.

Новый виток: тюрьма

Суд в красном уголке. — Встреча со знакомым старшиной. — Юридическая сторона дела. — Граффити немецкие и русские. — Мордовский колхозник. Теоретическое отступление: Томас Мор, министр Кулик и ленинградский милиционер. — Владимир. — «Пониженный паек». — Стихи и пауки. — Новые соседи. — Свидание с Иринкой. — Сонет. — «Надзиратели» и «контролеры»

Нас привезли в Явас, высадили из «воронка» на вокзале, провели в зал ожидания и усадили за стойку аптечного киоска, который в этот день не работал. Около киоска остался конвой, офицер, сопровождавший нас, куда-то ушел. Пока мы пытались разгадать суть происходящего, меня вызвали и привели в красный уголок вокзала. Красные уголки и «ленинские комнаты» в те поры выполняли роль коммунистических часовен.

На этот раз там заседал суд. Лагерное начальство обвиняло меня в систематическом нарушении правил внутреннего распорядка и требовало заменить мне лагерный режим на тюремный. Тюрьма, «крытка», находилась во Владимире. Поскольку ленинградский суд определил мне менее суровый режим (лагерь строгого режима), для его изменения формально тоже требовалось решение суда. Пока я ждал суда, мимо проходил уже знакомый старшина (тот, что разговаривал с нами по дороге из Саранска). Он удивился и спросил, что я здесь делаю. Я ответил, что вот отправляют нас с Юлием в тюрьму. «На сколько?» — «Меня почти на три года, до конца срока». Старшина хотел спросить что-то еще, но мой конвоир запротестовал. Старшина направился к выходу из здания, на ходу громко бросив: «Вот сволочи! Что делают с людьми».

Мне предоставили слово, и я без труда доказал, что все предъявленные обвинения — «липа». Это нетрудно было сделать, ведь администрация играла в известную детскую игру — «да и нет не говорите, черное и белое не берите».

Нельзя было заявить, что наказывают нас за голодовки, за письма в прокуратуру или в Верховный Совет. Такое коллективное письмо, незадолго до этого направленное в Москву, вдруг оказалось достоянием западной прессы. На все вопросы гэбистов мы отвечали одинаково: «Опустили вот в этот ящик для жалоб, спрашивайте в секретариате Верховного Совета». А правил внутреннего распорядка мы старались не нарушать, поэтому заявление «я буду жаловаться» начальству приходилось, не вдаваясь в подробности, интерпретировать как «угрожал администрации».

Суд отлично знал правила игры, и через две-три минуты совещания мне был объявлен приговор: «Изменение режима на тюремный до конца срока» (суд мог дать не более трех лет «крытки», но у меня оставалось уже два года одиннадцать месяцев).

Меня вернули за барьерчик киоска, а Юлия увели на суд. Он пробыл там меньше моего, от предоставленного ему слова отказался, приговор тот же — «до конца срока» (у Юлия он кончался на два года раньше моего).

* * *

Опять Потьминская пересылка, на этот раз мы вдвоем в довольно большой камере. От нечего делать читаем граффити на стенах, они уже привычные. Юлий обратил мое внимание на две надписи из тех, что украшали стены пересыльной камеры. Одна

по-немецки (среди лагпунктов Дубравлага был один лагерь для иностранных подданных, именно туда везли наших знакомцев-китайцев): «Мой Бог! Все проходит, пройдет и это ужасное время. Дай мне сил выдержать его и не пасть духом». Другая, рядом, на русском языке, в общем, обычная, но в паре с немецкой она приобрела особое значение:

Мы е..ли — не пропали,
Мы е..м — не пропадем.
Провались земля и небо,
Мы на кочке проживем!

Нам, пожалуй, ближе было второе граффити. Жаль, что стены в тюрьмах изредка перекрашивают и надписи, даже столь мудрые, пропадают.

* * *

На потьминской пересылке мы встретили заключенного, о котором стоит рассказать. Это был пожилой мордвин небольшого роста, имел он жену и кучу детей. Мужик работал в колхозе, зарабатывал немного и кормился с приусадебного участка. Однажды его отправили от колхоза на лесоповал тут же в Мордовии — колхозу нужно было строиться. Он там поработал некоторое время — денег платят немного, в столовой кормежка дорогая, дома жена не справляется с детьми, огородом и коровой. Ну, наш мужик и вернулся к себе в деревню самовольно. На следующее утро пришел на колхозную разнарядку и услышал от председателя: «Возвращайся в бригаду» (на лесоповал). На второй день с ним и говорить никто не стал, то же и на третий день. Он и перестал ходить на разнарядки — вкалывал на своем приусадебном участке. Через месяц его повесткой вызвали в суд и осудили на шесть месяцев ссылки за тунеядство. После суда уже под конвоем снова отвезли туда же, откуда он утек, — в эту же самую лесоповальную бригаду. Мужичок опять уехал в свою деревню и снова попал под суд — теперь уже за побег со ссылки — и получил срок: полтора года лишения свободы. Мы пытались выведать у него его данные, чтобы как-то помочь, но наш собеседник, узнав, что мы политзаключенные, так перепугался, что мы от него отстали.

В «Утопии» Томаса Мора моряк спрашивает утопийца, кто в их стране выполняет грязные и неприятные работы. Утопиец отве-

чает, что у них существует некая секта альтруистов, члены которой и берутся за подобные дела, «но поскольку их не хватает, на эти работы посылают преступников, обращенных в рабство». Даже в выдуманном государстве при отсутствии экономических стимулов пришлось прибегать к внеэкономическому принуждению.

В реальной жизни альтруистов оказалось еще меньше. Ленин, практиковавший внеэкономическое принуждение, оказался неспособен превратить страну в древневосточную деспотию. Нэп был выстроен отнюдь не по Марксу, а скорее по Платону — философы и воины (партия-идеолог и руководство силовых структур) не владеют собственностью, остальные не имеют возможности вмешиваться в управление. Система оказалась неустойчивой — бюрократия всех категорий не хотела иметь конкурентов в лице имеющих деньги.

Сейчас те, кто говорит об успехах сталинской экономики (весьма, впрочем, сомнительных), не упоминают о том, что эта экономика держалась на рабском труде заключенных и крепостном состоянии крестьянства, хоть как-то работавшего под страхом того же лагеря.

И когда, уже в 90-е годы, уже в «новой России», только что назначенный министр сельского хозяйства Кулик полусутя заявляет, что сельский труд по сути всегда рабский, это не может не настораживать.

Я пишу это теоретическое отступление в конце сентября 1998 года, а тогда, почти три десятилетия назад, такие мысли только начинали возникать в моей голове. (Хотя впервые я задумался над этой проблемой еще студентом-бригадмиловцем. Какой-то милицейский чин рассказал нам, что в октябре им надо отловить побольше пятнадцатисуточников, так как в областном управлении милиции — тогда оно находилось в помещении Главного штаба на Дворцовой площади — печное отопление и необходимо заготавливать дрова на зиму.)

* * *

Московская пересылка запомнилась мне только тем, что с прогулочного дворика, который располагался на тюремной крыше, были видны кремлевские звезды — и ничего, кроме них и неба. Кажется, эта пересылка располагалась на Пресне.

Еще один перегон, и мы во Владимире. Камера на четверых — двое двухъярусных нар, но мы в ней только вдвоем.

После отбоя открывается кормушка: «Даниэль? Я про тебя слышал, на, кури». Надзиратель сует ему пачку «Беломора», который после махорки кажется деликатесом.

Утром, после завтрака, входит офицер и объявляет, что нас переводят на пониженный паек. Мы знали, что тюремный режим начинается с двух месяцев пониженного пайка, после чего весь срок заключенному уже не отвязаться от голода.

Но обед приносят такой же, как и в день прибытия, ужин — тоже. Обсуждаем ситуацию: забыли передать приказ в столовую? Посмотрим, что будет, напоминать, естественно, не будем. На следующий день опять нормальная (для тюрьмы, разумеется) кормежка. Удивляемся, ждем, как будут развиваться события. Нас продолжают кормить по общей норме. Ровно через два месяца в камере опять появляется офицер и зачитывает приказ о переводе на общую норму питания.

Очевидно, начальство боялось за здоровье человека, известного во всем мире, я имею в виду Даниэля. Поэтому и не рискнуло сажать его на голодный паек. Никому в тюрьме демонстрировать такого послабления оно не хотело, а поскольку одиночное заключение не предусматривалось инструкциями, меня оставили вместе с Юлием на эти два месяца, и я кормился за счет всемирной известности своего соседа.

В первый день в камере непрерывно раздавался какой-то вой и грохот. Было страшно: выдержим ли мы этот грохот в течение всего оставшегося срока? Но страх оказался напрасным — отбойный молоток в конце дня работать перестал.

Нам вдвоем сидеть было уже привычно. Юлий читал стихи, свои и чужие. Однажды он сказал мне: «Валерий, вот рифма: ЦК — з/к, можешь сочинить стихотворение». У меня получилось следующее:

Один зэка
Пришел в Цека
Он зол был и ретив:
Свою вину он отрицал,
Свое начальство порицал,
А это — рецидив.
Начальству не нужны морали,
А зэку нужен был урок —
Его опять арестовали
И намотали новый срок.

Зэк, безусловно, виноват,
Свалял он дурака —
Не захватив с собой гранат,
Зачем идти в Цека?

Взрывать гранаты я не собирался, индивидуальный террор, будучи не только марксистом, но просто умным человеком, считал и считаю бессмысленным, но для ради красного словца...

Впрочем, я написал тогда же и другое:

Не хулиганим, не бунтуем,
Крамольных песен не поем
И ежедневно рапортуем,
Что мы, мол, в камере вдвоем.
Подъем — встаем,
Отбой — по койкам:
Всему положен свой черед,
И видим сны такие только,
Какие видит весь народ.
Так и живем, не без расчета,
Что, оценивши нас сполна,
Начальство на доске почета
Напишет наши имена!

А еще я сочинил басню-побасенку (не без помощи Ивана Андреевича Крылова):

У сильного всегда бессильный виноват.
Тому в истории мы тьму примеров слышим.
Но мы истории не пишем,
А то опять приговорят.

Следуя «Графу Монте-Кристо», а может, и другой книге, мы, увидев в камере паука, решили скрасить свое одиночество и проявить о нем заботу. В тюремных мемуарах, поучал меня Юлий, всегда пишут: «Всюду жизнь», — вот теперь и нам будет о чем написать. Пользуюсь теперь случаем. Пауков оказалось два: один маленький и юркий, другой большой и солидный. Наша забота выразилась в том, что мы дали им имена: юркого прозвали Эсером, солидного — Львом Толстым.

Два месяца кончились, нас сняли с «пониженного питания», а на следующий день Юлия отправили в другую камеру. Было это в конце сентября 69-го года.

Еще на 11-м л/о Вадик Гаенко сообщил мне свои подозрения: незнакомый парень, подойдя к нему, сказал: «Здравствуй, Володя». Гаенко по документам числится Владимиром, но все друзья звали его Вадимом, причем в зоне никто даже и не подозревал, что его зовут иначе.

Этот-то парень и оказался моим новым соседом и по привычке отрекомендовался «приятелем Володи Гаенко». Я пару раз демонстративно поймал его на лжи, и соседа куда-то убрали. Потом некоторое время я сидел с литовцами — «глухарями» — о них я уже писал.

В ноябре впервые на свидание в тюрьму ко мне приехала Иринка. После этого свидания я написал сонет:

Еще одно свиданье позади,
А за окном осенние дожди,
А за окном три долгие зимы
За стенами Владимирской тюрьмы.

Сюда приводят разные пути,
Но я не грабил и не воровал,
Не бил ножом по пьянке наповал —
Ты за разлуку строго не суди.

Здесь каждый день берут, как перевал,
Натянут нерв, как альпинистский шнур,
Здесь каждое свидание — привал
И каждая открытка — перекур.

Вот так мы и проходим свой маршрут.
Пишите письма — здесь их очень ждут.

Весь свой срок во Владимире я просидел в одной и той же камере напротив поста. Привык к тому, что стоявшие там надзиратели (они же «контролеры») требовали у разносчиков отсыпать им сахара или налить эковской баланды. Платили им больше, чем я получал в качестве инженера, и любовь к баланде, которую

даже мы иногда ели с трудом, объяснялась только неумеренными тратами на спиртное.

Однажды, отправляя бандероль, моя хитрая жена вложила в нее витамины. Для конспирации эти витамины были перемешаны с конфетами-драже приблизительно такого же цвета и размера. Выдававшая бандероль контролерша сказала мне: «А медицинские препараты вам не положено» — и, высыпав на стол содержимое пакета, аккуратно рассортировала содержимое, конфеты отдала, а «витамины мы положим в ваши вещи — при освобождении получите».

Впрочем, и во Владимире среди тюремщиков попадались порядочные люди. Каждое утро, кроме выходных, делала обход камер-фельдшерица. «Мальчики, протяните ложки», — в ложки она наливала политическим рыбий жир, наливала, очевидно, по собственной инициативе, так как никогда не делала этого в присутствии офицеров. (Уже в ссылке Иринка, узнав про это, сказала: «Ну вот теперь покажешь Маринке, как пьют рыбий жир», — и купила в аптеке бутылку этого снадобья. Я налил ложку, поднес ко рту и понял, что выпить не могу, а в тюрьме пил почти ежедневно, и с охотой.) Еще запомнился мне один пожилой служака-старшина, скрупулезно выполнявший все, что могло облегчить нашу жизнь. Иногда он стучал в кормушку: «Ребята, махорка есть? Соседи без курева», — и, получив пачку, тут же передавал ее соседям. Если говорили: «У самих маловато», он стучался в следующую камеру с тем же вопросом. Однажды, когда мы так ему ответили, он, постучав еще в пару кормушек, вернулся к нам: «Ни у кого нет, а просит ваш брат, политический, может, наскребете?» Мы, естественно, наскребли.

Во Владимире

Как вытряхивать матрасы. — Честное слово офицера и коммуниста. — Жора Г. — О термине «kamerad»

По первому снежку нас вывели на прогулку, приказав захватить с собой матрасы. В прогулочном дворике нам выдали палки, коими мы эти матрасы выбивали. Процедура продлилась минут пятнадцать, и нас вернули в камеру. Моими сокамерниками тогда были старики литовцы Л. и М., о которых я уже рассказывал (в главке «Глухари»).

Через пару дней после этого незначительного события (в тюрьме событие — все, что нарушает однообразие), я от нечего делать в очередной раз читал «Правила внутреннего распорядка», висевшие в каждой камере. В коротком разделе «Заключенным разрешается» я привычно прочел: «ежедневная прогулка продолжительностью один час», никаких исключений не указывалось. Итак, в связи с вытряхиванием матрасов меня надули на сорок пять минут прогулки. Апеллировать я, понятно, не стал, но в душе «затаил хамство».

Прошел год, я сидел опять в той же компании. «Захватите матрасы». Перекинув матрас через плечо, выхожу из камеры и сразу же обращаюсь к надзирателю: «Скажите, пожалуйста, сколько времени?» — получаю ответ: «Три часа с четвертью», — и продолжаю движение.

Во двореке, вытряхнув матрас, я свернул его, уложил у стенки и сел. «Готово? — спросил надзиратель и, получив от моего соседа утвердительный ответ, открыл дверь дворика. — Пошли». — «Куда пошли?» — «В камеру». Мои соседи, взгромоздив на себя матрасы, двинулись к выходу, я продолжал сидеть. «А тебя что, не касается?» — «Сколько времени?» — «Полчетвертого». — «Прогулка час, в четыре пятнадцать я пойду». — «Какое час? Когда вытряхивание матрасов, нам нет времени с вами валандаться!» — «В “Правилах” об этом не сказано, там написано: “ежедневная прогулка продолжительностью один час”». — «Ты хочешь, чтобы тебя силой отнесли?» — «Но тогда вам и матрас тащить придется». (Это чтобы надзиратель за эском матрас таскал? Да никогда в жизни!)

Стариков увели, дверь захлопнулась. Сижу. Минут через пять раздается мат и во двореке в парадной форме, весь в галунах и значках, появляется капитан, продолжая незамысловато материться (на пересылках и этапах от «блатняков» я слышал гораздо заковыристее!). Поднимаюсь с матраса и молча слушаю. Наконец фонтан иссякает. «А теперь, — как можно вежливее говорю я, — переведите, пожалуйста, то, что вы сказали, на русский язык, матерного я не понимаю». Капитан, дежурный по тюрьме, вдруг становится вежливее и начинает объяснять мне, что поскольку в этот день вытряхивают матрасы... «Но в “Правилах” об этом ничего не сказано», — парирую я. «Идите в камеру, положите матрас, а потом вас снова выведут на оставшееся время». «Хорошо», — я взваливаю матрас на плечо и делаю шаг к двери, только один шаг. Остановливаюсь и говорю: «А вдруг вы меня обманете? (Я в этом твердо уверен!) Дайте слово советского офицера!» Дает: «Слово

офицера, вас выведут на положенное время». Делаю еще пару шагов и снова останавливаюсь: «Знаете, меня столько раз обманывали... Дайте слово коммуниста». Дает: «Слово коммуниста!»

Поднимаюсь по лестнице, капитан куда-то слинял, подхожу к двери камеры, которая уже распахнута. В открытую дверь бросаю матрас: «Деда, положите его на место, а я пойду гулять». «Какое гулять? — удивляется добрый служака, дежуривший по этажу. — Заходите в камеру». — «Дежурный офицер дал мне слово советского офицера и коммуниста, что после того, как я отнесу матрас, меня снова выведут догуливать положенный мне час прогулки».

Глаза у старшины округляются, он берется за телефонную трубку. Разъяснив ситуацию, слушает ответ, и глаза его становятся квадратными: «Как, пошутил?..», — и, прикрыв трубку рукой, обращается ко мне: «Товарищ капитан говорит, что он пошутил...» — «Это честным словом офицера и коммуниста? Ничего себе шуточки!» Между тем старшина передает трубку одному из конвоиров. Выслушав, тот прерывает связь и обращается ко мне: «Пошли».

Мы двинулись вдоль коридора к выходу, по пути конвоир отпирает дверь туалета: «Кого-то ведут, пережди здесь». (По тюремным правилам заключенные не должны встречаться в коридорах: когда ведут кого-нибудь, надзиратели звенят ключами или цокают языком («как б...и», говорят «блатняки»). Услышав сигнал, встречный надзиратель заводит своего подконвойного куда-нибудь: в туалет, пустую камеру, караулку.)

Я вошел в туалет, дверь захлопнулась, щелкнул замок. «Вот и гуляй тут», — услышал я из-за двери. «Послушайте, сержант, — окликнул я его, — я объявляю голодовку, и расплачиваться придется вам. Капитан откажется от этого своего распоряжения точно так же, как отказался от своего честного слова коммуниста». Замок щелкнул, дверь открылась, и я вышел в коридор. «Отправляйтесь в камеру» (на «вы», что в тюрьме редкость). Час, положенный на прогулку, давно истек, я несколько развлекся и, посчитав, что дальше спорить бессмысленно, отправился «домой».

Прошло несколько дней, и меня вызвали к «воспитателю» (была там такая синекура). Хотя визиты к нему чаще всего кончались лишением чего-нибудь (права покупки в ларьке на положенную трешку, письма, бандероли, свидания), разговаривал с зэками «воспитатель» вежливо, обращался на «вы», предлагал есть, угощал папиросой.

Так было и на этот раз. Я сел, закурил предложенную папиросу. «Скажите, зачем вы устроили этот балаган с прогулкой?» — «Я получил большое удовольствие. У нас ничего нет, у вас всё: замки, оружие, сила. Но мы не опускаемся до лжи, не хотим говорить — молчим. Капитану не хотелось со мной возиться, и он спокойно пустил в ход и «честное слово коммуниста» и не менее честное «слово советского офицера», вовсе не собираясь их выполнять. Мне было очень приятно убедиться в очередной раз, кто противостоит нам, политзаключенным, какова ваша мораль. Этот эпизод наглядно подтверждает нашу моральную правоту, мы не зря делали то, за что оказались здесь». — «Идите». Я вышел из кабинета.

Прошла еще неделя, и меня снова привели к «воспитателю». Когда я вошел в кабинет, не ожидая от этого визита ничего хорошего, он встал и, не предложив мне сесть, зачитал бумагу, которую держал в руках: «Довожу до вашего сведения, что за дискредитацию честного слова коммуниста и офицера капитану такому-то (фамилию я тут же забыл) на партийном собрании объявлен выговор». «Ну да!» — вырвалось у меня. «Можете идти».

Ничего не лишенный, я вернулся в камеру. Успели ли снять с капитана этот выговор, я так и не узнал. Надеюсь, что успели.

* * *

Кроме литовцев Л. и М., у меня были и другие интересные соседи.

Один из них — Жора Г. из какого-то южного города, кажется, Краснодара. Мама его торговала сигаретами, отец куда-то исчез. Парень окончил восемь классов и ни дня не работал до армии. «Однажды устроился я на завод, походил по цеху и удрал через окошко, моя трудовая, наверное, до сих пор там лежит». Новой трудовой книжки он не заводил. Парень имел магнитофон, мотоцикл, водительские права и множество приводов в милицию. Когда Жору призвали в армию, он попал в ГДР, где его взял себе шофером замполит дивизии. «Я заносился больно, грубил даже офицерам, «батьа» все покрывал». Потом замполит этот попал в госпиталь, и Жору перевели на танк, ребята «офицерского блюдолиза» встретили неласково, и он решил бежать «за бугор».

Утянул штатский костюм, повешенный сушиться, и поперся на Запад. По пути украл мотоцикл, очистил от медяков («больше там ничего не было») кассу маленькой булочной, так и ехал, пока у одной из бензоколонок не налетел на двух гэдээровских поли-

цейских, рассматривавших его фотографию. «Они вцепились в мой мотоцикл, но там уже не было бензина, свой же не загнушили, вот я на нем и укатил».

Потом все бросил и пошел сдаваться в какую-то советскую комендатуру. Его «батя» к этому времени вышел из госпиталя, и поэтому парня судили не за «измену Родине», а за самоволку, кражи и прочее. Дали «пятерик», до этапа держали в общей камере Потсдамской тюрьмы, специально отведенной для советских военнопленных. Оттуда он и возглавил групповой побег.

«Подвело меня образование». Из камеры, где сидели будущие беглецы, была видна труба котельной. «А ведь она качается», — заявил Жора, ему не поверили. «В Америке и небоскребы качаются, даже почувствовать можно на верхних этажах». Опять не поверили. «Давай посмотрим!» Начали обсуждать план и перспективы побега. С перспективами все было ясно — «удерем в Америку и станем гангстерами». В те поры наша пресса немало потрудились, чтобы втемяшить в голову гражданам, как хорошо живется на гнилом Западе этим самым гангстерам, да еще и ограбление века: чуть не эшелон с деньгами уперли в Англии.

Планы тоже выстроили. Те, кто решился бежать, загнали остальных на верхние нары. После того как надзиратель принес в камеру газету, все якобы улеглись спать. Около дверей поставили двоих, положив на их койки кукол. Через некоторое время надзиратель потребовал газету. Все «спят». Он потребовал еще раз, опять никто не встает. Тогда со словами «Больше вы газеты не получите» надзиратель вошел в камеру. Из-за двери двое бросились на него. Жора отобрал ключи, побежал искать выход и отпер входную дверь здания. «Когда я вернулся, увидел жуткое. Надзирателя пытались оглушить тумбочкой, та развалилась, и двое нападавших лупцевали надзирателя ножками тумбочки. По голове бить боялись, били по заднице, из ножек торчали гвозди, мент был весь в крови и верещал, как поросенок». Жора приказал запереть его в пустую камеру и повел беглецов по коридорам тюрьмы.

Выбравшись на свет Божий, один сразу же побежал в караулку сдаваться, остальные перелезли через забор и оказались опять-таки в зоне — надзорсостав жил тоже за колючкой и под охраной вышек. Поняв, что началась тревога, ребята кинулись кто куда. Жора спрятался в подвале. Через некоторое время он услышал разговор: «Спустимся? А фонарик есть?» — «Нет фонарика. Ты стой тут, а я спущусь, услышу шорох — стрелять буду». Кто-то начал спускаться. «От лестницы прямой коридорчик, — расска-

зывал Жора, — двери все на замках, я стою не дышу у противоположной стенки. Боюсь напугать: даст очередь, промахнуться некуда». Солдат уткнулся автоматом в Жорин живот. «Не стреляй, пожалуйста». Солдат отскочил назад: «Сам выйдешь? Подожди, я отойду и скажу, тогда выходи». Отловили, естественно, всех, избили, рассадили по камерам, и началось следствие. Надзиратели около каждой камеры устраивали театр: «Я говорил с прокурором, тот сказал, что этого (называлась фамилия сидящего в камере) точно расстреляют».

Для Жоры все кончилось двенадцатью годами, остальным дали поменьше. Обо всех этих приключениях Жора рассказывал с юмором. Во Владимирскую тюрьму он попал за скандал с начальником. Где-то в соседней камере сидел его подельник, отправленный во Владимир несколько раньше Жоры. Этого перевели из лагеря за подкоп под женский туалет для сотрудниц лагадминистрации — копал он, чтобы наблюдать женские прелести.

Когда на одном из московских прудов убили лебедя Борьку и «Литературка» печатала возмущенные письма читателей, Жорка возмутился: «Лебедя Борьку им жалко, а на человека Жорку плевать!»

Кроме него в это время со мною в камере сидел украинец Т. На дверях тюремного дворика он написал: «Смерть жидам и коммунистам». Жора к «жидам» тоже относился, мягко говоря, скептически. Поэтому, получив бандероль с шоколадом, я не отдал ее в обшак, а только угостил соседей. Потом я об этом жалел — в камере тюремное братство выше личных амбиций, недаром слово «камрад» (kamerad) происходит от слова «камера».

Побеги за границу

Князь Мышкин. — Психи в зоне. — Истории удачных побегов

Жора хотел «за бугор», но его поймали. Таких, как он, было немало и в зоне. Мне рассказывали о психе из Ленинграда, который пытался перейти границу с Финляндией — взял с собой копченой колбасы, несколько плиток шоколада и отправился. От столь недietetического питания у парня начался запор, попытки опорожниться ни к чему не приводили. Однажды, во время одной из таких попыток, он увидел пограничников и, на ходу подтягивая штаны, бросился к ним. Те дали было тягу, но, увидев, что «нападающий» один, вернулись и арестовали его. Беглец назвался

князем Мышкиным. Сначала его запугивали, требуя назвать истинное имя, но подследственный повторял свое. Наконец один следователь поумнее сказал: «Я верю, что вы Мышкин, но под какой фамилией вы жили в Ленинграде?» — и тот все ему рассказал. В зоне этот «Мышкин» был твердо уверен, что все, кроме него, чекисты, что его хотят отравить, поэтому ел только тогда, когда ему удавалось выпросить уже початую порцию (початую «чекистом большого ранга», мелочь могли и отравить ради него). Вообще психов в зоне было немало, пожалуй, больше, чем совершенно здоровых — в психушках. Зачем нормальных людей держали в спецпсихбольницах, еще понять можно, зачем психически больных держали в лагерях и тюрьмах, я понять не могу.

О пытавшихся бежать вплавь с советского корабля я уже рассказывал. Знал ребят, которые по пьянке захватили машину с двумя немцами, мужем и женой, наставили на них автоматы и приказали везти их в Западный Берлин. Муж было повез, но тут фрау разоружила налетчиков, и они попали в комендатуру.

Гораздо интереснее истории с удавшимися побегам. Их герои оказывались в зоне потому, что по разным причинам вернулись в Союз. Звали их в лагере «подберезовиками» (заскучали по родным березкам).

С первым из таких «возвращенцев», Н., я познакомился через Даниэля еще в Явасе. Был он грузин, танцевал в ансамбле грузинского танца и остался в Англии во время гастролей. К политике не имел никакого отношения. Жена, с которой у него испортились отношения еще до злополучного турне за рубеж, начала писать ему слезные письма, умоляя вернуться. Ну, он и вернулся — прямо в тюрьму. Оказалось, что жена его давно оформила с ним развод и живет в новом браке.

А Н. получил стандартную десятку «за измену Родине», в зоне пробыл недолго, поссорился с начальником и угодил во Владимир. Там оказался в камере с двумя «блатняками», накрутившими себе еще и политические сроки. Я слышал эту историю как от самого Н., так и от Колымы, одного из этих «блатняков». Н., попав в камеру, поздоровался с находившимися там зэками и уселся на показанную ему койку. Соседи его решили перекусить — один накрошил в миску хлеб, другой, вскрыв вену, начал лить в миску свою кровь, потом, разрезав кожу на животе, выковыривать подкожный жир. На сем Н. потерял сознание. (О самоистязаниях заключенных писал еще Толя Марченко.) В Явасе он появился, уже отсидев в тюрьме.

Познакомился я с одним из прототипов кинофильма «ЧП», где рассказывалось о мужественной борьбе советской команды танкера, арестованного чанкайшистами, за возвращение на Родину. Танкер этот вез оружие (по кинофильму — нефть) в Китай, был арестован и доставлен на Тайвань. Часть команды решила не возвращаться в Союз (в кинофильме их ради этого пытали). Мой солагерник поболтался по Бразилии и решил вернуться на Родину. Получил он «десятку». Работал он на «блатной» должности — продавцом в лагерном ларьке, и от более тесного знакомства я уклонился.

Был в зоне и некий боцман, бежавший с корабля в западно-германском порту. Устроился на работу по специальности — боцманом на траулер. Трезвый был работащ и покладист, в пьяном виде лез в драку, обещая коллегам «устроить Сталинград». Законопослушные немцы его не били, а жаловались в профсоюз. Боцмана перевели на другой корабль, и там началось то же самое. Наконец, оставшись без работы, он решил вернуться домой.

Другой «подберезовик» на вопросы, чего ему не хватало в Германии, отвечал: «Профсоюзных собраний». — «А в Союзе ты что, на собрания ходил?» — «Нет, конечно, но меня здесь звали, а там кончил работу, и никому до тебя дела нет».

Еще один «подберезовик» благополучно удрал в ФРГ из Восточного Берлина, где он служил в армии. В Западной Германии он устроился развозить в фургоне мебель. Отечественная смекалка подсказала ему, что на обратном пути в фургоне можно возить краденые легковушки. Первое время полиция каждый раз не могла понять, куда делась только что пропавшая машина и почему ее не заметил ни один полицейский. Потом догадалась. Впяли ему три года, а пока он ждал ответа на апелляцию, к нему в тюрьму зачастил советский консул: «Так и будешь у этих буржуев сидеть?» Сидеть у буржуев парень не хотел, потребовал вернуть его в Союз. Немцы пытались ему объяснить, чем это кончится, но он им не поверил. Здесь получил стандартную десятку.

Еще более фантастическая история произошла с двумя солдатами, тоже бежавшими из Восточного Берлина в Западный, откуда их переправили в ФРГ. Там один из них устроился рабочим на завод, женился на немке и жил себе припеваючи. Второй запил. Уволили с одного места, устроили его на другое — опять уволили. Однажды к нему в ресторане подсел человек, оказавшийся советским консулом. Познакомились, и консул даже подарил ему двадцать пять марок. Через некоторое время наш герой

опять оказался без денег и двинул в консульство к своему знакомцу. На этот раз он получил пять марок. Он зачастил в консульство, и каждый раз ему там давали когда две марки, когда пять. Его приятель однажды даже пригласил беглеца к себе в семью на рождественского гуся. И при каждой встрече парня уговаривали вернуться домой. Наконец он стал поддаваться на уговоры: «А мне что-нибудь будет?»; консул открыл перед ним Уголовный кодекс на ст.83 — «выезд за границу, въезд в СССР или переход границы без установленного паспорта или разрешения надлежащих властей наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет». Обещал, что зачтут беглецу факт добровольного возвращения. Парень поддался на уговоры, и новый друг отвез его на собственной машине в Восточный Берлин, поместил там в гостинице, подробно объяснив, как найти советское посольство. Но искать посольство не пришлось — сразу же после ухода консула в номер явился патруль советской комендантуры. Парня препроводили в Потсдамскую тюрьму, где и зачитали приговор, вынесенный ему заочно сразу же после побега по ст.64 того же кодекса — расстрел! Впрочем, начальник посоветовал ему писать помиловку. Пока парень маялся в ожидании ответа, ему было предложено помочь органам выманить от буржуев его сослуживца, женившегося на немке. Завязалась переписка. Один писал из Потсдама, как хорошо он устроился в Рязани, кем работает, сколько получает, какую ему дали квартиру. Другой получал эти письма с рязанским обратным адресом и почтовым штемпелем. Наконец его душа не выдержала — бросил свою немочку и заявился в Восточный Берлин. Оба оказались в Мордовии, с десяткой строгого режима.

Новые «камерады»

И.Т. и лампочка. — Разговор о тайнописи. — Стас Караванский. — П. — полицей и пасечник. — Еще один борец с коммунистами: Эйзенхауэр и размен жилплощади. — Нужен ли украинцу Анатолю Франсу? — Судьба Кубани и нечто о евреях. — Продолжение темы: я читаю Герцля. — Сионист Яша Берг. — Толя Р. — Записка от Зиновия Красивского

После того как от нас отсадили Жору, произошел очередной инцидент с начальством. У нового сокамерника, И.Т., от постоянного света (лампочка в камере горит круглые сутки) заболели

глаза. Посоветовавшись со мной, он обратился к начальству с просьбой ввинтить менее яркую лампочку. Но начальству «до лампочки» были как раз эковские глаза, и оно отказало. Тогда мы просто ее слегка вывернули чтобы не упала, но и не горела. Первую ночь И.Т. спал спокойно, но утром пришли менять лампочку и обнаружили, что она не перегорела. Нас, естественно, лишили ларька. Эту информацию мне удалось обиняком описать Иринке, и начальник получил от нее запрос (не помню уже, отметила ли этот случай «Хроника текущих событий»).

Незадолго до этого была и другая история. В камере проводился обыск, и у меня «обнаружили» красивые шерстяные гетры, которые мне жена привезла на свидание. «Откуда у вас это?» — «Жена передала». — «А почему в карточке не записано?» («Карточка» — это опись продуктовых передач. Велась ли она на самом деле, мне неизвестно.) — «Так не я же записываю в карточку». Мне сообщили, что вещи неустановленного происхождения подлежат конфискации («Может, вы их в карты выиграли?»), и гетры конфисковали. На мои жалобы никто не отвечал. А тут мама без всякой задней мысли стала интересоваться, есть ли у меня теплые носки.

Короче, вызвали меня к гэбисту, который стал меня пугать всякими карами за неконтролируемую переписку. Я ответил, что незаконной переписки не веду, но если захочу, то бояться мне нечего, сумею это сделать так, что никто не узнает. «У нас есть специальные средства для выявления тайнописи, один пытался писать — в карцере насиделся (намекал он на Караванского — тюремная молва уже донесла до меня, что тот попался на тайнописи)». «Ну какие ваши средства? Инфракрасная лампа? Ультрафиолетовое облучение? Рентген? Я же химик по профессии, я из ничего такой состав сделать могу, что только нейтринным облучением его можно будет выявить!» Тут я сообразил, что если гэбист мне поверит, то мои письма вообще доходить перестанут, и повернул разговор: «Впрочем, мне этим и не надо пользоваться — любой надзиратель за пятерку передаст письмо». Гэбист насторожился: «Конечно, есть некоторые молодые, которые...» Я не дал ему закончить: «И молодые, и старые. За пятерку. За пятьдесят рублей начальник тюрьмы письмо отправит, а за пятьсот — и вы!» — «Так чего же вы не предлагаете мне?» — спросил гэбист, и я ответил: «Дурак я что ли платить вам пятьсот рублей, когда надзиратели делают это за пятерку».

Со Станиславом Караванским, знакомым еще по Явасу, я «встретился» на прогулке. Очевидно, услышав за стенкой дворика мой голос, он вдруг запел на знакомый мотив песню, сочиненную мною еще в лагере: «Прожектора, колючка, вышки». Пел он по-украински, сейчас помню, что слова «на переднем крае» в украинском переводе звучали: «в першей лаве».

Я попытался ему спеть сочиненную еще тогда, когда я сидел вместе с Юлием, «считалочку»:

Раз, два, три, четыре, пять —
 Вышли зэки погулять.
 Ежедневно по закону
 Мы гуляем по загону.
 Раз, два, три, четыре, пять —
 Можно небо увидеть.
 Раздается оклик гулко:
 «Баста! Кончена прогулка».
 Раз, два, три, четыре, пять —
 Завтра выведут опять.
 Возвратился зэк домой
 Злой, но все-таки живой.
 Раз, два, три, четыре, пять —
 Можно снова начинать.

Конечно, не то что усвоить, понять новый текст в таких обстоятельствах невозможно, дай Бог узнать уже слышанное. (Когда после ссылки я оказался в Москве, то услышал эту песенку в исполнении известного московского диссидента Петра Старчика. Слова вроде мои, но мотив и исполнение — нечто среднее между молитвой и похоронными причитаниями — делали ее совсем не моей. Последние строки, естественно, были опущены. Все мои протесты Петя игнорировал.)

На следующей прогулке мы со Стасом опять оказались соседями по дворикам. Я его окликнул, и мы в телеграфном стиле начали делиться новостями. Но тут раскричалась надзирательница, прогуливавшаяся по помосту над двориками и наблюдавшая за зэками. Внезапно мы услышали еще один голос, с цыганским акцентом: «Красавица! Зачем кричишь? Такая красивая, я таких не видел, зачем сердиться?» Парню удалось минут

пять своими комплиментами отвлекать ее от нашей беседы. Спасибо ему!

* * *

После ухода И.Т. в камеру привели П., во время фашистской оккупации служившего полицаем где-то на Украине. Некоторое время он жил по документам своего довоенного друга, погибшего во время оккупации. Как попали к П. эти документы, он толком объяснить не мог. Предполагаю, что друг его погиб не без участия П., но это только мои догадки. Разоблачили его, когда через много лет после войны он наведился в свою деревню, чтобы увидеться с больной матерью. П. деликатно намекнул, что при нем лучше не беседовать на опасные темы, и я расспрашивал П. о его хобби — пчеловодстве. Это был уже второй пасечник, которого я встретил в заключении; первый — Боря Здоровец.

* * *

Потом в камере появился еще один сосед. Чуть не с порога он спросил меня, дал ли я клятву до конца жизни бороться с коммунистами. Услышав отрицательный ответ, возмутился и начал перечислять своих соседей по прежней камере, вместе с которыми он якобы такую клятву дал. Потом он начал рассказывать, что, когда был маленьким, приходившие к родителям гости всегда удивлялись, какой он умный ребенок (кажется, в ответ на мою реплику о его умственных способностях). Имел этот умник четыре года за «антисоветскую агитацию» (ст.70 УК РСФСР). Срок свой он получил то ли в Хабаровске, то ли во Владивостоке. Агитировал он самого президента Эйзенхауэра. Он был сыном какого-то начальника, который устроил ему после свадьбы трехкомнатную квартиру. Пожили молодые год, заимели ребенка и разошлись. Суд оставил квартиру за его бывшей женой и ребенком, поскольку у его папаши имелась пятикомнатная квартира (и в те времена находились порядочные судьи). Недовольный решением суда, наш новый сосед написал письмо Эйзенхауэру, требуя не заключать никаких договоров с Союзом, где у него отобрали квартиру. Письмо это он опустил в почтовый ящик. Наверное, кто-то из местных гэбистов получил за этого дурака звездочку.

* * *

Затем я снова оказался вдвоем с новым соседом, тоже украинским националистом. Несмотря на то что Д. был учителем, огра-

ниченность его меня поразила: «Кто такой Анатолий Франс? Француз? Зачем мне, украинцу, какого-то француза читать, у нас что, своих писателей мало?!» Верил он во всякие приметы и чуть не ежедневно толковал свои сны: «Лошадь — это значит ложь». Однажды мне приснилось, что я в операторной нефтезавода, стрелки носятся как сумасшедшие и я никак не могу вывести их на режим. Я попросил соседа истолковать сон, он долго думал, но ничего не мог удумать. Прошло несколько дней, и я от скуки придумал, что видел во сне ЭВМ (тогда об этом много писали). Он некоторое время обдумывал и этот сон и, наконец, изрек: «Дурак ты, и сны у тебя дурацкие».

Однажды мы поссорились. Сосед мой размечтался о будущих границах Украины. «Ну уж нет! Кубань мы вам не отдадим», — совершенно серьезно (!) заявил я. Потом мне самому стало смешно, но слово не воробей... Еще один конфликт у нас был по поводу Багрицкого. Я где-то читал, что «Дума про Опанаса» написана так, что читается и по-украински без перевода, некоторая разница, например «воз» — «віз», не в счет. Рассказал это соседу. «Вот вы, евреи, все такие — только и занимаетесь тем, что стираете границы между нациями».

Я всегда рассматривал такие границы как нечто объективное, но видеть в них что-то сверхценное мне и в голову не приходило. Действительно, лишённые своего государства, евреи долгое время должны были либо оставаться в культурном гетто, либо апеллировать к интернационализму, который при определенных условиях незаметно переходит в имперскую идеологию.

Число евреев в руководящих органах партии в первые годы советской власти объясняется не только их униженностью в предшествующие годы, но и тем, что их империализм не выглядел чисто русским. Обвинять Троцкого в русификации казалось нелогичным. Как только империя утвердилась, политическая востребованность евреев начала падать, а массовый их отъезд в Израиль и совсем свел на нет некую, якобы посредническую, функцию еврейства в национальном вопросе.

Как бы следуя скрытой логике сказанного (хотя мысли эти мне пришли в голову лет двадцать пять спустя), в камеру при очередной смене книг шнырь принес мне незаказанную и вообще мне тогда неизвестную книгу, еще с дореволюционной орфографией: Гершль, «Сионизм». Я, конечно, понял, что ее появление не случайно. В следующую смену книг я спросил, как Гершль оказался у меня, ведь я его не заказывал. «Наверное, случайно», — ответил книгоноша.

Еще в лагере я слышал (а во Владимире это подтвердилось), что в тюремной библиотеке некоторое время назад можно было получить самую фантастическую литературу по философии и истории, пока в эту тюрьму не попали заключенные-бериевцы. Те написали немало докладных, и по этим докладным книги, указанные бериевцами, убрали в спецхран.

Неслучайность появления этой книги выяснилась почти сразу же: меня вызвал тюремный гэбист и спросил, не хочу ли я эмигрировать. Я ответил: «Если нам в одной стране тесно — уезжайте сами».

* * *

Читатель, наверное, может догадаться, что следующим моим соседом оказался сионист. Звали его Яша Берг. Яша был из Молдавии, где пытался создать марксистскую группу наподобие нашей. В лагере он стал сионистом. Первый наш разговор меня порадовал: «Тебя здесь травят?» — «Нет». — «Значит, буду сидеть с нормальным человеком».

В зоне, как уже говорилось, я встречался с людьми, уверенными, что им в пищу добавляют яд. В тюрьме такие подозрения охватывали гораздо больше народу. Это и неудивительно: условия содержания заключенных были такие, что, по всей логике, следовало нас еще и травить. Некоторые тюремщики прямо говорили: «Здесь вы не помрете, нам шума не нужно, а вот выйдете полутрупам». Я слухам о ядах никогда не верил и пытался убеждать соседей. Берг сформулировал эту проблему так: «Я не страдаю манией величия, поэтому манией преследования — тоже».

Сначала наши отношения были почти идиллическими. Потом, когда оказалось, что я абсолютно глух к Яшкиной сионистской агитации, они испортились. «В каком стаде ты родился, с тем и должен общаться!» — наставлял меня Берг. «Хватит мне коммунистов с такими наставлениями. Я человек, а не стадная скотина, могу выбирать себе друзей сам!» — отвечал я.

Однажды Яша начал меня допекать своей религиозностью. «Религия — основа морали!» и еще что-то о семье, воспитании и прочем. Я такие разговоры уже не раз слышал, в частности от Лёни Бородин, с которым Яшка сидел в одной камере перед тем, как попасть ко мне.

В своих выступлениях Яшка ссылался и на Лёнины высказывания по этому поводу. Когда все эти поучения мне надоели, я спросил: «Яша, ты первую жену бросил? Бросил. И Лёнька тоже

бросил. А я нет. И Вадик — нет. Мы не верующие, но не вам с Лёнькой читать нам морали».

Берг обиделся: «В споре нельзя переходить на личности», — а через какое-то время нас развели.

* * *

Последним моим соседом во Владимирской тюрьме был Толя Р. С ним сидеть было легко и интересно. Толя был безусловно честен и искренне предан своим друзьям. Смел, но эта смелость была какая-то опереточная. Кажется, Арина Жолковская, жена Алика Гинзбурга, сказала о нем: «Опереточный герой». Оттого и попадал он во всякие истории, которые кончались, правда, не так комично, как в оперетте.

Жил Толя в Риге. Рос без отца, рано бросившего семью. Был спортивен и романтичен, поэтому после школы пошел в Ленинградское морское училище им. Дзержинского, в здании Адмиралтейства. Там он вместе с другими подал заявление о переводе на подводный факультет. Часть курсантов, и его в том числе, почему-то не перевели. Во время визита в училище какого-то важного чина непереуверенные пожаловались ему, приказ о переводе поступил, но в течение года все жалобщики по разным причинам из училища были отчислены.

С Толей это произошло так. На день своего рождения взял увольнительную. Через некоторое время ротный спросил его, пил ли он на празднике спиртное. Памятуя приказ, запрещавший курсантам употреблять спиртное как в училище, так и за его стенами, Толя ответил: «Нет». Офицер не поверил: «Какой же ты мужик тогда?» Этого Толя выдержать не мог и признался. Был отчислен из училища и направлен на Северный флот.

Весной 1955 года на Северный флот с инспекцией явился новый министр обороны Г.К.Жуков. Однажды, глядя на повязки дежурных по части, он сказал: «Что ни город, то норов. У нас (имелась в виду сухопутная армия) повязки другие». Ночью весь флот шил себе красные повязки. Утром министр снова удивился: «Что это вы каждый день повязки меняете?» — «Так вы же приказали». — «Ничего я не приказывал, просто отметил факт». Морякам вернули их традиционные повязки. (Этот анекдот я слышал не только от Толика, а еще гораздо раньше от кого-то из своих североморских знакомых.)

Толе «повезло»: Жуков посетил корабль, на котором он служил сигнальщиком. Стоял Толя на капитанском мостике поза-

ди маршала и капитана. Корабль отошел от причала в считанные секунды. Жуков выразил удовлетворение маневром. И тут рядовой Р. встрял: «Товарищ маршал, разрешите обратиться». Опешивший маршал разрешил, и Толя сообщил ему, что еще два таких маневра — и двигатели судна надо будет списать. «В бою их можно и не жалеть, но в мирное время об этом стоит подумывать».

Жуков выслушал и продолжил разговор с капитаном, как будто ничего не произошло. Через пару дней капитан вызвал Толю: «Ты собирался восстановиться в училище? Писал заявление? Тут вот требуют на тебя характеристику, я дал хорошую. Думал в штрафбат тебя отправить, ну, училище так училище — лишь бы тебя на корабле не было».

Толю восстановили, а по окончании, в связи с хрущевским сокращением армии, демобилизовали. Поехал Толя на Дальний Восток — работать на траловом флоте. Но и там работа не сложилась — не давали визы на выход в международные воды ловить рыбу, возможно, из-за каких-то неосторожных Толиных высказываний.

Вернулся в Питер, начал писать стихи, приняли даже в Союз писателей. Влюбился в женщину старше себя на тридцать лет, актрису, и женился на ней. От женских истерик сперва пытался убежать на Чукотку, но жена догнала его на собаках. Тогда он решил удрать в Турцию.

Явился к другу и сообщил ему о своих планах. Друг, тоже поэт, немедленно побежал доносить. В Батуми Толю уже ждали. Его подвезла «случайная» машина, и «случайный» попутчик предложил ему бесплатное жилье. Через некоторое время хозяин обратился к гостю: «На отдых так не ездят, ты задумал удрать через границу. Брось все — уезжай назад в Питер». «Разве я не мужчина!» — ответил Толя и на следующий день пошел к морю (он собирался плыть вдоль берега до турецких вод). В воде его и взяли. Десять лет за «измену Родине». Впрочем, рыцарь Толик свою жену-актрису впутывать не стал.

Во Владимир он попал за участие в групповой попытке побега, из десятки ему оставалось меньше трех лет. «Зачем хотел бежать?» — «Или я не мужчина!» Выяснить, кто и с кем готовил побег, не удалось, но Толя попал под подозрение. Срок ему оставили прежний, но досиживал он его в тюрьме.

Уже на воле я узнал, что Толя женился и уехал сначала в Израиль, потом в Канаду. Там ему тоже не понравилось, и он

решил перебраться в Штаты. Наконец-то он нелегально перешел границу: на вопрос таможенника, зачем он едет в США, Толя на ломаном английском ответил: «Ай эм америкен», — и был пропущен. Неприятности начались потом, — в Штатах не любят незаконных иммигрантов, — однако ходатайства русских эмиграционных организаций помогли ему найти работу. Работал на фабрике, собирался купить сейнер. Но прогорел. Некоторое время на мои письма отвечала еще Толина жена, потом переписка оборвалась. В начале восьмидесятых я узнал, что Толя умер от инфаркта.

* * *

Месяца за три до освобождения нас перевели в другую камеру, в которой отсутствовала канализация, посему по утрам нас начали выводить в туалет на оправку. Пока один из нас опорожнял и мыл парашу, другой производил тщательное исследование туалета — там могли оказаться записки из других камер. Однажды нам повезло — мы нашли записку от Зиновия Красивского, украинского писателя: мы много слышали о нем и знали, что он во Владимире. Нам удалось обменяться несколькими посланиями. Дня за три до освобождения, возвращаясь с оправки, я подошел к камере, где находился Зеня, и спросил его, что передать на волю. Надзиратель пробовал грозить карцером, но я ответил, что больше двух суток не получу, так как меня ждет этап на ссылку, и он успокоился.

Мне повезло, через двадцать четыре года во Львове я встретился с Красивским уже в иной обстановке. Мне не повезло — эта встреча была последней: вскоре я узнал, что Зиновий умер. У меня о нем остались самые лучшие воспоминания. Умный и добροжелательный, что еще надо для хорошего человека?

В ссылку

Последняя попытка вербовки. — Как я сохранил мои бумаги. — Жулики. — Ценности. — «Малолетки». — Притча о мраморной ванне. — «Заключенные имеют право...» — Разговор с майором

Поскольку за семь лет у меня накопились кое-какие бумаги, которые я не хотел терять, я, зная уже тюремно-лагерные порядки, за месяц до конца срока написал заявление: «Прошу прове-

рить все принадлежащие мне бумаги заранее, чтобы при этапировании на ссылку не возникло осложнений».

Недели через две меня вызвал гэбист. Я было начал разговор о бумагах, но тот отмахнулся: «Думали ли вы, как вам будет на ссылке, загонят в дыру, а здоровье ваше и так подорвано?» Я ответил, что как-нибудь выкарабкаюсь. «Как вы относитесь к тому, что местом вашей ссылки окажется Владимир?» — «Отрицательно». — «Это еще почему?» Я объяснил, что в какой-нибудь Тмутаракани я окажусь единственно грамотным и сумею найти себе работу, а здесь кто меня возьмет? «Об этом не беспокойтесь! Мы вас порекомендуем, во Владимире и заводы есть химические, и НИИ». «Тогда стоит подумать. — Я задумался и опять сказал: — Нет, в Тмутаракани я у бабки угол сниму, а тут где я жить буду — в общежитии? А если жена с дочкой приедут?» Собеседник обещает и с жильем устроить. Я снова «думаю». «Нет, — говорю, — не по карману, платить нечем». — «Как, платить?» — «Так стучать же надо будет». — «Зачем стучать? Скажем так — проконсультировать». Консультировать я согласен, хоть сейчас: «Первый мой совет — освободить всех политзаключенных». «Ну, — откликается собеседник, — у меня таких полномочий нет». Я встаю: «Я-то думал, что вы мне предлагаете быть консультантом хотя бы у Андропова (тогда еще председателя КГБ), а вашим консультантом я не соглашусь стать ни при каких условиях. Кстати, как насчет проверки моих бумаг?» Гэбист тоже встает: «Проверим, проверим. А жаль, что вы не откликнулись на наше предложение».

13 июня 1972 года. Я наконец вызван на этап. Уже ждет конвой. Как я и ожидал: «Извините, Ронкин, ваши бумаги мы просмотреть не успели. Мы их просмотрим и вышлем вам». Я напоминаю о своем заявлении. «Не беспокойтесь, бумаги вы получите». — «Получу. Без них я никуда не поеду».

Тюремный офицер пытается меня страшить: «Сопrotивление конвою! Вы знаете, чем это вам грозит?» — «Знаю. Сопrotивляться не буду, пусть несут на руках и меня, и мои вещи». Тут подает голос начальник конвоя: «Бардак тут у вас! Нести на руках никого не будем! Пошли». Последнее относится к солдатам. Конвой собирается уходить, тюремный офицер тащит мне все мои бумаги: «Возьми и убирайся!» Я упаковываю бумаги и вещи в рюкзак, беру в руки коробки с книгами и выхожу. Конвой ждет меня в коридоре.

О том, куда меня везут, я узнал только в «столыпине» от более умудренных зэков.

«Новые впечатления! Будет что вспомнить!» — гулаговские этапы в этом отношении могли бы поспорить с обещаниями нынешних туристических агентств. Мой этап, надеюсь, последний, не составлял исключения.

В пути я был около месяца, хотя везли меня сравнительно недалеко — в Коми АССР.

Помню в дороге трех жуликов. Один из них, заведующий деревенским магазинчиком, добавлял в двухрублевое повидло сахар, стоивший рубль. Покупателям он предлагал на выбор по одной цене — кислое (без добавки сахара) или сладкое. Покупатель предпочитал сладкое.

Второй создал фиктивную фабрику. В то время на Украине шло частное строительство. Кровельная жесть была дефицитом, поэтому селяне покупали корыта, имевшиеся в продаже в каждом сельмаге, разворачивали их и использовали как стройматериал. Фиктивная фабрика якобы производила эти самые корыта из цинкованной жести, по цене корыт жесть и шла в продажу. Выгадывали все. «Фабрика» перевыполняла план, отсылала куда следует протоколы партсобраний и даже участвовала в конкурсе стенных газет. Все это обеспечивал один человек, правда, получавший зарплату за целый коллектив.

Третий жулик, москвич лет двадцати, действовал проще. У светофора подходил к частным легковушкам с облысевшими шинами и спрашивал: «Покрышки нужны? Сколько? Комплект — 300 р.». Водитель сажал его к себе. Конечно, в таких случаях могли и надуть — деньги отобрать, а товара не дать, — но покрышки были тоже дефицитными, и игра стоила свеч. По пути парень просил остановить машину на пару минут у какого-нибудь шикарного продмага: «У меня тут брат работает, сказал, сегодня будет палтус копченый (или колбаса, или бананы), возьму себе немного». Водитель, естественно, спрашивал, нельзя ли и ему купить этого дефицита. «Давай четвертной, попробую». На этом операция и кончалась. «Вся суть в том, что он о трехстах рублях беспокоится, так ему двадцать пять — тьфу».

С этим парнем я познакомился еще в вагоне. Увидев у меня на руке часы, отобранные при водворении в камеру ленинградского следизолятора и выданные в последний день во Владимире, он сказал: «Спрячь хорошенько — на пересылке отберут, если есть деньги — тоже спрячь». Деньги у меня тоже были — следу-

щему этапом на ссылку полагалось иметь с собой двадцать пять рублей. Из принципа я ни то, ни другое прятать не стал.

На горьковской пересылке дежурный офицер предложил нам сдать все деньги и ценности, что под шипенье своего попутчика «Ой, дурак!» я и сделал. Когда меня взяли на следующий этап, оказалось, что кассирша, у которой ключ от сейфа, «только что заболела». «Ждите следующего этапа». — «Когда?» — «Кто его знает, через недельку-другую».

Я поехал без денег. Уже на ссылке я дошел до Генеральной прокуратуры СССР и только после переписки с ними получил по почте и свои двадцать пять рублей, и часы.

На этой же пересылке нас заперли в огромной камере, где держали около недели. Очевидно, с нами следовал этап «малолеток», которым исполнилось уже по восемнадцать лет, теперь их везли из детских колоний во взрослые. Вели они себя как обезьяны — открыто онанировали, матерились и несусветно орали.

* * *

В этой обстановке и подошел ко мне пожилой, интеллигентного вида человек. Оказался он инженером-строителем, сидел по делу о крупных хищениях. По этому же делу проходило человек пятнадцать, четверо были приговорены к расстрелу — и расстреляны. Мой собеседник все время повторял: «Я-то сам не воровал», но его рассказы о даче, квартире, в которой была установлена ванна из цельного куска мрамора, машинах (у него, жены, детей) заставляли сомневаться.

Признаться, мраморная ванна, ради которой пришлось специально укреплять перекрытие, показалась мне выдумкой, что ставило под сомнение и остальные рассказы этого человека.

Но вот через тридцать с лишним лет в воспоминаниях Эрнста Неизвестного я прочел о таком эпизоде: где-то на Урале есть залежи статуарного мрамора, который тогда добывали взрывным методом, то есть превращали в значительной мере в щебенку. Мрамор этот по качеству не уступает карарскому. Во время визита Брежнева на эти разработки, чему Неизвестный был свидетелем, до генсека добрался местный краевед, который уже много лет вел борьбу за цивилизованную добычу этого мрамора. Перечисляя все убытки от взрывного метода, краевед упомянул, что мрамор этот целебен. Тут вождь заинтересовался. «Это правда?» — обратился он к секретарю местного обкома. «Возможно, — ответил тот, — я себе из него уже сделал ванну». — «Ну, тогда пришли такую же и мне».

Когда-то финикийские мореплаватели, посетившие юг Африки, сообщали, что солнце в полдень было на севере. Это в глазах античных географов давало основания не верить всему остальному в их рассказах. В наше время именно слова о солнце на севере доказывают, что финикийцы не врал. Если уж у самого Брежнева появилась мраморная ванна, следовательно, и весь московский бомонд должен был озаботиться этой проблемой.

Мой знакомец получил десятку и был отправлен куда-то восточнее Урала. Сложностей с получением посылок и свиданий у него не было. Работал он зав. складом. Между тем его жена явилась в кабинет к Щелокову, тогдашнему министру внутренних дел. Тот ее из кабинета выгнал. Тогда она вышла на племянника Щелокова. Племянник пригласил женщину на свой день рождения, дядя его тоже был приглашен.

Здесь и сторговались — муж ее попал под условно-досрочное освобождение (по закону оно предоставлялось лишь по отбытии двух третей срока, наш строитель вместе со следствием не отбыл и трети). Теперь мой знакомец ехал в Ставропольский край, чтобы возглавить строительство тепличного комбината (все по закону — при условно-досрочном освобождении предлагалось использовать человека, «как правило, по специальности»). Я, надо сказать, единственный раз видел такое — разве что сварщик или плотник при дефиците рабсилы мог устроиться в таких случаях по специальности. В Ставропольском крае моего спутника уже ждали коттедж и машина. Он был уверен, что года через полтора вернется в Москву, в квартиру с мраморной ванной. («Конфискация? Что я, дурак на свое имя оформлять».)

Я спросил его: «Зачем воруют миллионы? Ведь все равно такие деньги потратить мудрено». Собеседник объяснил мне примерно так: «Мне нужно, скажем, всего тысяч пятьдесят, но одному их не украсть, и я привлекаю к делу еще троих. Когда я свои пятьдесят тысяч уже получил, эти трое имеют еще только по двадцать пять, а им тоже по пятьдесят нужно. Если я выйду из игры, они не успокоятся и попадутся, поскольку у меня более важные связи. Попадутся и заложат меня. Но для того, чтобы украсть еще сто тысяч, нужны новые люди. Круг растет, на его периферии — еще не успевшие наворовать, и эта периферия держит тех, кто в центре. Когда человек вступает в дело, он об этом не думает, потом уже поздно».

Теперешние коммунисты заявляют, что хотят совместить преимущества социализма с преимуществами капитализма. По-мое-

му, они не врут. Они хотят безнаказанно обворовывать государство, как при социализме (у частника ведь не так легко украсть), а пользоваться украденным, никому не отдавая отчета, как при капитализме. Судя по всему, им это удалось.

(Эти слова написаны в 1997 году. Тогда я имел в виду коммунистов, сохранивших свои партбилеты. Возвращение гимна и многое другое внушает подозрение, что эта позиция близка и тем, кто свои партбилеты выбросил или отложил в дальний ящик стола.)

* * *

На последнем перегоне меня ожидал приятный сюрприз. Когда поезд тронулся, в коридоре появился майор, начальник конвоя: «Заключенным положено... Заключенные имеют право...» Оказалось, что и у нас есть какие-то права. В частности, «посещать туалет по требованию, кроме как на больших станциях». Я помню, как на одном из обычных, зоновских этапов пожилой мужчина со слезами просил вывести его в туалет. Не помогло, даже когда он сказал: «У меня больные почки, я же сейчас наделаю прямо тут». — «Наручники наденем!» Я тогда не выдержал: «При чем тут наручники? Надень ему нахник, он же не руками мочиться собирается», — и в том случае мое вмешательство помогло.

Теперь и в туалет водили по-человечески, и воду приносили по первому требованию, и «тубиков» (больных туберкулезом) отсаживали в отдельное купе.

Ночью, когда я лежал головой к проходу и через незакрашенную часть окон наблюдал придорожные пейзажи, ко мне подошел майор: «А вы, молодой человек, как сюда попали?» «Пытался пущать революцию», — ответил я. Майор некоторое время постоял и пошел к себе, на ходу заметив: «Между прочим, Андрей Дмитриевич Сахаров против насильственного свержения власти».

В ЛЮДЯХ

Как устроиться в ссылке

Кто живет в Коми АССР. — «Ты от хозяина?» — Десятка. — Работа. — Жилье. — Мышьяк, стрихнин и томатный сок. — Встреча с дочерью. — Иринка в библиотеке и школе. — Омринские интриги

В начале июля 1972 года я был выпущен из камеры местного милицейского отделения, как оказалось, в поселке Нижняя Омра Троицко-Печорского района Коми АССР.

Еще на этапе в ответ на вопрос, что за люди живут там, я услышал: «Зэка, чека, чуть-чуть комяка». К моменту моего появления многие лагеря были уже ликвидированы: в Нижней Омре проживали в основном бывшие зэка и чека. Что касается комяков, то и они в основном тоже были «бывшие», а язык свой почти совсем забыли.

Ни копейки денег у меня, разумеется, не было. Офицер милиции, ведавший ссылкой, философски заметил по этому поводу: «Не вы первый: этапников обворовывают как могут. Уголовник, он же загуляет и забудет и про деньги, и про часы». Мне было обещано, что я смогу получить десятку в долг из местного бюджета, для чего меня завтра отвезут в райцентр за 20 км от поселка.

А пока я вышел на крыльцо и стоял, обдумывая ситуацию. Мимо проходил какой-то парень: «От хозяина? Денег нет? На вот, держи треху, больше дать не могу». Я попытался выяснить, кому и как эти деньги я смогу отдать. «Такому же, как и ты. Отдашь — будем квиты». Я оказался не столь наблюдательным и вычислить такого же вот, «как и я», не сумел, но на следующий год случайно встретил своего благодетеля и вернул ему треху. Тут же я побежал на почту и телеграфировал в Питер свой новый адрес. Вышел и снова стал — в кармане копеек тридцать, где ночевать — неизвестно. Какой-то пожилой мужик, с тем же вопро-

сом: «От хозяина? А где ночуешь?» Так я попал на одну ночь в общежитие стройбригады.

Утром отправился искать работу — зашел в управление нефтедобычи (оно было прямо в поселке). На первый раз мне предложили работать лаборантом. Я же думал о том, как устроить жену, которая собирается ехать ко мне, и попросил зарезервировать это место для нее. Не получив определенного ответа, пошел советоваться со своим новым знакомым из стройбригады. Тот предложил: «Иди к нам». — «Так я же не плотник». — «Научишься, я вот директором магазина работал». Пошел к прорабу, тот спрашивает: «Вы хоть топор держать умеете?» Отвечаю по анекдоту: «Не знаю, не пробовал». Так вот я и сделался плотником.

Назавтра мой куратор из милиции повез меня в райисполком. Там к нам явился какой-то чиновник, небольшого роста, худой и невообразимо важный. Дал мне десятку, велел расписаться в ведомости и стал поучать: «Вот появляются тут всякие, давай им деньги. Учтите, если вы не вернете их, то возбудим уголовное дело». Мне это надоело: «Послушайте, на пересылке у меня украли деньги (милиционер кивнул), украли их ваши товарищи по партии, вы мне не одолжение делаете, а закон исполняете. Деньги верну с первой полочки — насчет работы я уже договорился». Взял десятку и вышел, милиционер мне вслед: «Напрасно возвращать собираешься. Это же из специального фонда». Я, однако, обещание сдержал.

Вернулся в Нижнюю Омру, а на почте ждет перевод из Питера и телеграмма: «Скоро приедем. Иринка, Маринка». Осталось найти жилье.

Мне в жизни много везло, повезло и на этот раз. У Анастасии Дмитриевны за месяц до моего приезда повесился муж, и она боялась жить одна. Это ее версия. Была она пенсионеркой, бывшей начальницей почтового отделения, так что ГБ вполне могло попросить ее сдать нам жилье, чтобы было кому присматривать. Это версия параллельная. Как бы то ни было, я снял баснословно дешево даже для такой дыры, всего за десять рублей в месяц, комнату с верандой. Да еще в Нижней Омре к обычным печкам был подведен газ — ни заботиться о дровах, ни пилить-рубить их не надо было. Чиркнешь спичкой — и через двадцать минут в комнате тепло.

В первый день с непривычки я так набегался, что вдруг земля подо мной стала дыбом, и я второпях сел на первый попавшийся пенек. Когда несколько отступило, стал озираться, увидел надпись

«Амбулатория» и пошел туда. Принял меня молоденький врач. Послушал сердце, померил давление (чуть низковато), расспросил, откуда я и как сюда попал. Я не скрывал своей истории. «Значит так, назначаю вам курс уколов, не пугайтесь, мышьяк со стрихнином. Советская власть еще крепкая, и здоровье вам понадобится».

Я исправно прошел курс уколов. Крепил я здоровье и подругому. В магазинчике продавался томатный сок, и я, проходя мимо, все не мог удержаться, чтобы не выпить стаканчик. Впоследствии Сережка рассказывал, что в первые дни своей ссылки и он чуть не пропился на томатном же соке.

* * *

К началу августа приехали жена и дочь. День рождения (тридцать шесть лет) я встречал уже в семейном кругу.

Встречи с дочкой я ждал со страхом — как-то она меня примет? Но все обошлось. Ей много рассказывали про меня, она ждала встречи и, кажется, не обманулась в своих ожиданиях.

В начале сентября, когда я вилами сгребал стекловату, рядом со мной остановился незнакомец. Некоторое время он молча смотрел на мои старания, потом сказал: «Вилами вы работать не умеете». Я протянул ему вилы: «Покажите», но он отмахнулся: «Я не к тому, мне нужен диспетчер, а вы человек грамотный». Я взглянул окрест себя — воздух чист, прозрачен и свеж, на небе осеннее солнышко. Надоели мне камеры, кабинеты. «Научусь я работать, не хочу диспетчером». — «Зимой пожалеете, если место будет — приходите». Не пошел я к нему и зимой.

Иринку в лаборанты не взяли: из разговоров мы поняли, что место это было предназначено для меня. Я уже был знаком с подобными трюками — привыкаешь к удобному месту, потом на тебя начинают давить. А оставить теплое местечко страшно.

Иринка устроилась на полставки в школьную библиотеку. Библиотекарша собиралась уезжать, и в перспективе Иринке обещали полторы ставки. В самом начале учебного года внезапно заболела учительница химии и биологии в местной школе, и моей жене предложили вести ее уроки, тем более что заболевшая скоро должна была уйти в декретный отпуск.

Иринке помогло еще и то, что паспортистка по ошибке на штампе временной прописки не указала ее срока. Вообще нам везло. Все три года, что мы жили в Нижней Омре, там были ранние весны, поздние теплые осени и сравнительно мягкие зимы.

За все время только пять дней температура доходила до пятидесяти шести градусов мороза, и то при полном безветрии. Этот мороз прекратил начавшуюся было в поселке эпидемию гриппа.

Иринка дала несколько уроков в восьмых классах. Вскоре ей неожиданно предложили провести урок в десятом. Ученикам было сказано перед этим, что урока не будет, а Иринку отправили в класс, даже не представив. Наверное, шум в классе был выше нормы, пока не явилась директриса школы Ямова и не утихомирила класс.

После урока она позвала Ирину и объявила ей, что та с классом не справляется. «Кроме того, ваш муж, оказывается, сел за политику, да еще и не раскаялся». На сем преподавательская карьера моей жены кончилась. Некоторое время она еще спокойно работала в школьной библиотеке, но потом директриса стала уговаривать ее уйти, поскольку у нее (директрисы) могут быть неприятности. Иринка почему-то, вместо того чтобы сказать: «А мне плевать на ваши неприятности!» (сказать, прежде всего, самой себе), переживала, но другого выхода не было, и она, переживая, продолжала работать. Насчет полутора ставок уже разговора не было, после отъезда библиотекаря на ее место была принята другая с обещанием, «когда Ронкина уйдет», дать ей полторы ставки. С новой библиотекаршей Иринка оказалась в хороших отношениях, и та рассказала ей об этом обещании. Ямова пыталась натравливать эту женщину на Иринку, но у нее ничего не получилось.

Через некоторое время с Иринкой заговорила другая директриса — вечерней школы — и предложила ей взять несколько часов в неделю там. Иринка согласилась и до ухода в декретный отпуск служила в двух местах.

Начальство

Ямовы. — Подполковник и гуси. — Подполковник и коза. — Разговор с Мухияровым. — Стойкий работяга Пушкин

Нижняя Омра — поселочек маленький, и все обо всех немедленно становилось известным. Мы узнали, что муж Ямовой был в свое время замполитом в лагере. После того как лагерь был ликвидирован, он сделался начальником ОРСа (отдела рабочего снабжения).

Одну из ямовских афер мы наблюдали воочию. Вдруг в магазине появились бракованные яблоки, по пять копеек килограмм. Это было баснословно дешево, тем более что яблоки эти были не очень порченые. Такими яблоками магазин торговал полтора дня, потом почти такие же яблоки продавались по 50 коп. Оказалось, что несколько вагонов были актированы. Небольшая часть яблок была действительно продана очень дешево, а остальные, тоже актированные, продавались по обычной цене. Разница пошла в карманы Ямова и его компании.

Уговаривая мою жену уйти из школы, Ямова постоянно ссылалась на и.о. начальника районной милиции подполковника Мухиярова. О нем в поселке ходили забавные байки.

У Мухиярова кто-то украл гусей. Через некоторое время в местный радиоузел пришла заявка от его имени: «Прошу исполнить популярную песню: “До свиданья, гуси, до свиданья”»; песню исполнили.

Другая история более поучительна. В Троицко-Печорск (наш райцентр) прислали нового секретаря райкома. Осмотревшись, новый начальник позвонил Мухиярову и спросил: «Все ли у вас в порядке?» Никаких особых донесений не поступало, и милиционер ответил, что все в порядке. «Посмотрите в окно!» Мухияров посмотрел: ничего не горело, никто не дрался — и ответил, что ничего не видит. «Зайдите ко мне!» Офицер милиции перешел сквер и поднялся в кабинет секретаря райкома. «Так, значит, ничего не произошло? А это?» — секретарь подвел милиционера к окну. «Ничего не вижу». — «Не видите? А коза!» На газоне перед райкомом паслась коза. «Немедленно забрать, ждать, пока явится хозяин, и его оштрафовать!» Все было исполнено, но хозяин почему-то за своей козой не явился. Между тем милиционерам надоело ухаживать за козой, и Мухияров снова отправился в райком. «Вечно вас надо учить! Козу выпустить и смотреть, куда она пойдет, хозяина оштрафовать!» Козу выпустили, некоторое время плохо кормленное животное попаслось вокруг милиции, а потом отправилось на газон с цветами к райкому. Тут конвоировавший козу милиционер, не спрашивая разрешения высшего начальства, наломал ей хвост, и та скрылась в неизвестном направлении.

Возможно, поэтому Мухияров числился исполняющим обязанности несколько лет.

С Мухияровым я встречался дважды: один раз через несколько месяцев после своего прибытия в Нижнюю Омру, другой —

перед самым отъездом оттуда. Оба раза он произвел на меня впечатление добродушного человека.

Первая встреча произошла так: однажды меня вызвали в милицию. Я отправился, несколько встревоженный. Там меня уже ждали двое. Один — наш и.о., другой представился редактором местной газеты. Оба заявили, что наша встреча никаких деловых целей не преследует, они затеяли ее из чистого любопытства. Я согласился их любопытство удовлетворить при одном условии — ничего от моего имени в газете не должно появляться: «Опровержение я пошлю во всю мировую прессу!» Условие было принято: «Да кто нам разрешит о вас хотя бы заикнуться!»

Разговаривали мы о разном. Сначала о Сахарове. Мои собеседники возмущались «его призывами к мировой войне», я тоже возмущался такими призывами, но выражал сомнение, что они исходят от Сахарова, потом вспомнили Чехословакию, я заявил, что не хочу, чтобы весь мир превратился в один Советский Союз. «Почему? Ведь это было бы прекрасно», — заявил редактор. «А хлеб тогда у кого покупать будем?» Я рассказал случай, которому был очевидцем: «На окраину картофельного поля (уже в Нижней Омре) привезли удобрения и сгрузили их прямо на траву. После нескольких дождей куча превратилась в монолитную глыбу. Затем двум колхозницам было дано задание эту глыбу измельчить ломами и удобрения разбросать по полю. Женщины ткнули пару раз ломами, постояли и начали копать рядом яму. Когда яма была готова, с помощью этих же ломов и мужиков из нашей бригады глыбу сбросили в яму, присыпали землей и отправились докладывать о выполненном задании». Рассказал я и анекдот, как американскому президенту приснился кошмарный сон, будто колхозники Айовы не выполнили план по уборке урожая. Когда мы уже прошались, я спросил Мухиярова, зачем он дает указания школьному директору по поводу моей жены. «Это она меня с кем-то спутала. Мне школы не подчиняются».

О второй встрече с Мухияровым — чуть позже.

* * *

Несмотря на добродушие начальника, местная милиция работала как везде. Был в Нижней Омре один алкаш по фамилии Пушкин. В райцентре его забрали в вытрезвитель. «Фамилия?» — «Пушкин». Естественно, мужик получил по морде. Опять спрашивают фамилию и, услышав ответ, опять дают по морде. Наконец

один из ментов, удивленный стойкостью задержанного, позвонил в Нижнюю Омру: «Есть у вас Пушкин?» — и, услышав, что есть, прекратил «допрос». Побитого мужика не только не посадили в вытрезвитель со всеми вытекавшими отсюда последствиями (штрафом, сообщением на работу, депремированием), но культурно довели на милицейской машине до рабочего общепита в Нижней Омре.

Туфта как повседневность и как экономическая система

**Туфта на воле и в лагере. — Туфта при разных режимах. —
Омринская архитектура**

Кто-то из друзей прислал мне в Нижнюю Омру вырезку из старого номера «Известий». Там упоминался наш поселок. В заметке рассказывалось, как во время полета на буровую один из рабочих неосторожно открыл дверцу вертолета и был вытянут за борт. «Старый десантник, управляя полами распахнутого ватника, он спланировал на высокую ель, откуда упал в глубокий снег». Потерпевший разжег костер и был подобран этим же вертолетом. «Происшествие кончилось для него благополучно». Я показал эту заметку коллегам и услышал хохот. Все было почти так. Только «потерпевший» был в дрезину пьян и на ветки ели упал совершенно случайно. После падения он протрезвел и действительно разжег костер. Кончилась эта история для ее героя не совсем благополучно — из газетной заметки о нем узнала жена, от которой муж-алиментщик долго скрывался, и нашла его.

И еще одна история. К нашей бригаде примыкали два мужика, с которыми мы вместе почти не работали, — они чистили помойки в поселке. Летом эта работа не была особенно трудной, зато зимой, когда содержимое смерзалось, им приходилось туго. Однажды к одному из них подошла женщина: «Слушай, мой мужик, вернувшись с буровой, все деньги сунул по пьянке в помойное ведро, а я сдуру его выплеснула в помойку, может, найдешь, так верни!» (Вахтовые буровики получали на порядок больше, чем те, кто работал в поселке.) Женщина указала помойку, которая и была раздолблена в пух и прах. Помойку долбил тот, кому рассказали о деньгах, а не тот, за кем она числилась. Денег там, как и следовало ожидать, не оказалось. Зато другой рабочий хвастал, как

он надул своего напарника, подсунув ему «объект», к которому не прикасался месяц и уже не знал, как и подступиться.

Эти же ребята взялись покрасить крышу общежития. Олифу пропили, краску развели на солярке. «Так ведь смоем первым дождем!» — «Ну, смоем, так дождь пойдет еще завтра, а деньги за работу мы уже получили».

Вообще халтура, туфта сделалась повсеместной нормой. Она не только не осуждалась окружающими, наоборот, сообразительный халтурщик пользовался уважением, и ему подражали. К чести халтурщиков, они не требовали за свои ноу-хау гононоров — разве что бутылку, и то не как вознаграждение, а для разговора.

В сталинских лагерях, не прибегая к туфте, на общих работах почти не было шансов выжить. И в зоне, и на ссылке, и потом, уже в Луге, я не раз встречался с бывшими зэками, которые могли немало рассказать об этой самой туфте. Следуя традиции, я не патентую услышанное.

Шахтные штреки пробивались сменными бригадами. После окончания очередной смены бригадиры этой и следующей смен делали затес на последнем столбе шахтной крепи и расписывались на нем. Рабочие же разбирали последнее звено крепи, тащили столб с затесом назад и устанавливали его снова. Таким образом каждая смена записывала себе какое-то количество метров несделанной работы. Маркшейдеры ломали голову, почему при встречной работе штреки никак не могли состыковаться, ибо расстояние по нарядам оказывалось гораздо больше, чем по чертежу. Молодые даже начинали предполагать, что в результате ошибки штреки разошлись.

При копке котлована оставлялась так называемая «тумбочка» — участок грунта 0,5 x 0,5 м. По высоте этой «тумбочки» и измерялась глубина выработки (помноженная на площадь котлована, эта величина давала нормативные «кубы»). Заступившая смена аккуратно подрывала «тумбочку» предыдущей, подводила носилки и тащила ее в другое место. Верхняя часть убиралась, а высота оставшейся части прибавлялась к высоте выкопанного грунта. При этом почвенные слои на «тумбочке» и стенке котлована продолжали соответствовать друг другу.

На лесоповале уложенный штабель мастер «точковал» — бил по торцам бревен специальным молотком, оставлявшим на них выдавленную цифру. У каждой бригады была своя цифра. Вместо того чтобы пилить и укладывать новый штабель, проще было

перебрать один из уже принятых, отпилить тонкие кружки по торцам бревен и снова их «заточковать».

Конечно, такая туфта проходила только при молчаливом соглашении между заключенными и лагерной администрацией, но ведь обе стороны в этой туфте были заинтересованы! Заключенный спасал свою жизнь, начальник — карьеру, а в некотором смысле и жизнь, ведь всякий мог быть обвинен в саботаже с хорошо предсказуемыми последствиями.

Проконтролировать же результаты работы было просто невозможно. Кто, например, мог просчитать, сколько леса уходило в топляки, сколько его уплывало в океан? Молевой сплав (сплав леса, не связанного в плоты) запрещался на самом высоком уровне и при Сталине, и при Хрущеве, но при всей сверхцентрализации запрет оставался только на бумаге.

После Сталина речь уже не шла о биологическом выживании работника. Иногда туфта служила только добычанию средств для выпивки — что поделаешь, освободившиеся зэки влились в тысячи, сотни тысяч бригад и активно внедряли свое, усвоенное в лагерях отношение к труду. Во многих случаях, однако, туфта служила если и не средством выживания, то средством, позволявшим семье работника вести хоть какое-то «приличное», по меркам того времени, существование. И в этом случае туфта могла иметь место только при молчаливом соглашении между рабочим и начальством.

На севере любой столб, врытый в землю выше уровня промерзания грунта, начинает выдавливаться — под ним замерзает вода и выталкивает его. При строительстве бараков основание положено возводить на 2,5-метровых «стульях». При существовавших расценках рыть такие глубокие ямы значило ничего не заработать. Поэтому рылась только одна такая яма, около нее укладывался отрезок бревна длиной 2,5 м. Эта яма использовалась при появлении какого-нибудь высокого начальства. Остальные ямы рылись глубиной по 1,5 м, на соответствующую длину обрезались и «стулья». Надо сказать, что, если удавалось договориться со связистами, у которых была машина с пятиметровым буром, ямы делались по проекту. На мой вопрос, почему стройучастку не обзавестись такой техникой, прораб ответил: «А что вы получать тогда будете? Нормы ведь пересмотрят».

Для сооружения барака на шесть семей надо было вырыть семьдесят две ямы. Жилые бараки Нижней Омры поэтому напоминали каких-то фантастических многоножек, у которых все ноги

были разные. Полы расходились и затыкались старыми ватниками и одеялами. Происходило это не сразу — первые годы мерзлота еще не давала о себе знать. Потом барак сносили, и на его месте строили новый. Но до этого люди годами ждали своей очереди в таких условиях.

При всем том новоприезжие домов там не строили, хотя со строительным материалом проблем не было. Каждый надеялся подзаработать и вернуться домой. С этой надеждой люди жили годами, возможно, десятками лет.

Народ

Моя бригада. — Плотник Леша Максимов. — Жена бригадира. — Волосатики, женщина в берлоге и слгыз. — Чему меня научила ссылка

Итак, я работал в плотницкой бригаде. Коллеги относились ко мне хорошо. В самом начале моей плотницкой деятельности ко мне подошел коренастый человек, лет на десять старше меня, Иван Григорьев. «Тут сидят за разное. Ну, миллион схватить — я еще понимаю, а ты-то за что сел?» Очень осторожно (а вдруг провокация?) я начал объяснять про нашу деятельность: «Писали мы, что нет справедливости». Иван удивился: «А вы думали, что без вас этого никто не знает?» Ваня покровительствовал мне во все время ссылки. Отгонял от комля бревна («Дай мне, ты вот вершину бери»), помогал копать ямы, когда я отставал от остальных. Однажды нашел халтуру выгодную и нетяжелую — выкопать бабке погреб. «Ваня, а ты почему не берешься?» — «Я дома, обойдусь, а ты здесь в ссылке, да и заработать я могу побольше тебя».

С Лешей Максимовым мы подружились. Был он плотник от Бога! Десятисантиметровый гвоздь забивал с единого удара, и не напоказ, а в процессе работы. «Дружба» (мотопила) так и играла в его руках. Приехал парень из Чувашии — накопить денег на постройку своего дома, да так, наверное, и остался в комяцком бараке вместе с семьей. Может, он и сейчас там живет. Было у них две дочери. Сначала я тоже несколько насторожился — спрашиваю как-то: «Лешка, чего делаешь?» — «Нож точку». — «Зачем?» — «Коммунистов резать». Ну, думаю, тут-то уж точно провокация. И вновь ошибся. Парень оказался очень хорошим, стали ходить друг к другу в гости. Однажды ко мне обратилась его жена: «Ва-

лерий Ефимович, утихомирьте Лешку. Как только по телевизору показывают Брежнева, он: «Опять поросенка показывают»; тут были мы в кино, идет киножурнал, появляется Брежнев, дочка кричит на весь зал: «Смотри, мама, поросенок!», я на нее ругаться стала, а она в ответ: «Папа так всегда говорит». Зал хохочет, а мне страшно».

Как-то мы с Лешкой делали ящик для помойки. Приходит парторг (бывший лагерный кум) и начинает критиковать: «Ты почему, Лешка, гвозди до конца не забиваешь?!» Леша молча работает. Тот снова нудит. Наконец моему напарнику надоело: «Покажи, где не до конца»; бывший кум ткнул пальцем, и в ту же секунду на палец обрушился Лешкин молоток. Парторг взвыл, стал пальцем трясти, а следов нет: Леша ухитрился задеть самую малость кожи у ногтя.

Как ни жаль мне было потерять связь с Лешкой, но после своего освобождения из ссылки я не рискнул писать ему в Нижнюю Омру. Вообще, я только отвечал на письма, никому не навязываясь. Я знал, что не всякому мое письмо в радость: многие боялись.

* * *

Еще один человек, вполне достойный рассказа, — жена нашего плотницкого бригадира. Когда она появлялась в расположении бригады, водка немедленно пряталась, чего не делалось при появлении начальства (начальству пониже просто наливался стакан).

Я с ней знаком не был, и все, что я о ней знаю, я слышал от ее мужа, в прошлом председателя сельсовета на Украине, сидевшего еще в сталинские времена по 58-й статье, потерявшего все связи с родиной и оставшегося в Нижней Омре после срока.

Жена его была комячка. Первый ее муж погиб на фронте. Когда-то, еще до войны, она жила в другом районе и работала в колхозе. Когда мужа взяли в армию, молодая женщина осталась беременной и за невыполнение нормы трудодней была судима и выслана (из одного района Коми в другой). В большинстве колхозов на один день выдавали 200 г зерна, а иногда и того меньше. При этом колхозник, не набравший определенного числа «палочек» (отметок в ведомости за отработанные трудодни), мог лишиться приусадебного участка, с которого в основном и кормилась семья, а во время и после войны — быть отданным под суд, что и произошло в данном случае. Женщина, о которой я расска-

зывают, получив статус ссыльной, уже не должна была вкалывать в колхозе за «палочки». Сосланная в Нижнюю Омру, она устроилась уборщицей в школе, получила рабочую карточку и маленькую, но твердую зарплату. При школе ей дали комнатку со школьными дровами. Возможно, ссылка спасла и ее, и только что родившуюся дочку от смерти. Но женщина раз и навсегда возненавидела коммунистов за несправедливое наказание.

Уже когда я жил в Коми, местное начальство вдруг решило провести ревизию частных домов на предмет кражи колхозного имущества (главным образом кормов). Комиссия в составе председателя сельсовета, представителя районной прокуратуры и парторга колхоза шастала по домам и выспрашивала у хозяев, откуда они имеют те или иные корма или продукты. По сути, никакого рационального значения это не имело — члены комиссии просто тешили амбиции и любопытство.

Когда очередь дошла до усадьбы нашего бригадира, его жена встретила комиссию с вилами: «Ну, коммунисты! Кто войдет на двор — пропорю!» Времена были не сталинские, и, ограничившись репликой «дура баба», начальство проследовало далее. Я думаю, что, если бы такие «дуры», люди с обостренным чувством собственного достоинства, составляли хотя бы десять процентов нашего населения, не было бы ни Сталина, ни нынешней угрюм-бурчеевщины.

* * *

Во время одного из перекуров бригадир вспомнил о своей племяннице, приехавшей к нему в гости из Новороссийска. «У них там волосатикам зарплату не дают. Кассирша говорит: “Иди сперва постригись”». Я было стал доказывать, что свою зарплату человек получает за работу, а не за прическу и неуместно каждой кассирше определять вкусы граждан, но бригадир на это отвечал: «Тоже мне прокурор, по-твоему, все так и должны волосатыми ходить?!»

Такое отношение к праву соседствовало с абсолютно некритическим восприятием действительности. Во время другого перекура рассказывали о женщине, которую якобы похитил медведь, держал в берлоге больше года и жил с ней как с женой. Я отнесся к рассказу скептически и был подвергнут осмеянию: «Вы, городские, ничему не верите. Баба эта живет недалеко от моей кумы». Как медведь кормил и поил свою пленницу, рассказчик объяснить не мог, некоторое сомнение в правдоподобности

этой истории вызвало также мое замечание: «Полезет ли медведь в берлогу, где чуть не год оправляется его пленница?» Через много лет, уже после ссылки, в рабочей курилке я, затронув вопрос о нескритичности мышления, проиллюстрировал его рассказом о женщине, похищенной медведем. В курилку вошла мастер, кончавшая какой-то провинциальный институт. Вступления к тому рассказу она не слышала и приняла его под радостный смех рабочих за чистую правду.

Еще одну историю подобного рода рассказал нам наш про- раб.

«Умер у меня поросенок. Купил другого — и тот помер. Пошел к ветеринару, он послушал меня и говорит: «Тут наука бессильна, тут сглаз». Ну, пошел я искать бабку, нашел. Бабка сказала, где копать, а что найду, съездит, тогда сглаз погубит колдуна, а ежели же он украдет найденное — сглаз на меня обернется. Стал копать в хлеву, выкопал — крыса не крыса, а что-то вроде морского кролика. Разжег костер, бросил его в огонь — не горит! А тут 11 часов, за водкой бежать надо (спиртное в то время продавалось только с 11 утра до 7 вечера), навалил автомобильную покрывку, велел сыну караулить и отправился в магазин. Когда вернулся, от этой штуки один пепел остался. И, поди ты, в такой-то деревне месяца через два умерла старуха — она, видать, и сглазила. Теперь поросята у меня живут».

* * *

Я назвал эту часть книги «В людях». И до ареста мне, естественно, приходилось сталкиваться с самыми разными людьми, но тогда я смотрел на них сквозь идеологические очки: каждый наемный работник воспринимался мною как марксовский пролетарий. Ежели он отклонялся в чем-то от плакатного образца, то это отклонение я объяснял либо дефицитом информации, либо неумением логически мыслить. И то и другое казалось легкопреодолимым. По сути дела, Маркс был одним из последних просветителей. В зоне я впервые столкнулся с тем, что, оказывается, люди могут исходить из разных постулатов, при этом и знания, и логика вовсе не гарантируют единомыслия. А постулаты, как известно, недоказуемы. Но в зоне и тюрьме я находился среди «избранных». В ссылке я перестал быть марксистом в религиозном значении этого слова. Теперь я, когда меня спрашивают, марксист ли я, отвечаю: «Не марксист, хотя Маркс был и остается одним из моих учителей».

Друзья и дети

Наш быт и природа. — Друзья, новые и старые, едут к нам. —
Где поселиться после ссылки? — Маринка в школе. Отлов «тюльки». —
Елка

Вообще, ссылка была для нас очень счастливым временем. Наша дочка и до сих пор вспоминает Нижнюю Омру с большим теплом.

С хозяйкой у нас сложились хорошие отношения. Она присматривала за Маринкой, когда мы были на работе. Когда Маринка подобрала котенка, хозяйка утопила свою кошку: «Зачем в доме две кошки?» (Маринке мы этого, разумеется, не рассказывали.)

Домик наш стоял над обрывом, под которым, извиваясь, блестящая речка Сойва, окруженная тайгой (Омра, протекавшая с другой стороны поселка, впадала в Сойву, а Сойва, где-то дальше, — в Печору). Грибов и ягод кругом было огромное количество. Среди речных известняков мы находили множество самых разных окаменелых раковин.

Однажды, гуляя с Иринкой по лесу, мы вышли к брошенному лагерному кладбищу. Могильные холмики почти сровнялись с землей, но из них торчали ржавые трубы, к некоторым были приварены еще более ржавые таблички. Надписи на этих табличках разобрать уже было невозможно. Кладбище было превращено в поселковую свалку. (На работе я рассказал о виденном своим коллегам. В нашей бригаде один из плотников, «избранный» в поселковый совет, как-то сказал на собрании, что «негоже из кладбища свалку устраивать», — на следующих выборах его кандидатура «блоком коммунистов и беспартийных» выставлена не была.)

* * *

Время от времени к нам приезжали гости. Сначала — из Мурманска мои родители.

Потом в Нижней Омре побывала наша Люся Климанова, потом — Володя Шнитке, с которым мы вместе ладили книжный стеллаж.

В январе 1973 года побывал у нас и Юлий Даниэль. После своего освобождения он поселился в Калуге, пытался зарабатывать на хлеб техническими переводами. Еще до своего приезда он писал мне в ссылку: «Попалось слово “гидропередача”. Что такое “гидра” и “передача” по отдельности, я знаю, а что это значит вместе — хоть убей!» Впрочем, когда Юлий рассказывал байки,

трудно было отличить факт от вымысла или от «литературной обработки».

Юлий привез новости и какие-то чудные бутылки.

В ссылке по переписке мы познакомились с Борисом Вайлем, а через него — с Молоствовыми²³. О Вайле мы узнали от его однодельца Револьта Пименова (подробно о них — чуть ниже).

К этому времени диссиденты уже представляли некоторую общность, каждый о каждом старался узнавать и сообщать другим. Из этого и выросла «Хроника текущих событий»²⁴. Пименовы жили в Сыктывкаре, и, как только им передали, что мы находимся в Коми, они начали нам писать и присылать посылки.

Сережу Хахаева сослали в Усть-Абакан Хакасской (нами переименованной в Хахасскую) АССР. Валя Чикатуева поехала к нему туда, и они поженились.

Переписка с Сереежкой сначала не клеилась — мы оба знали от ленинградцев, что пишем друг другу, но письма пропадают. Прежде чем перейти на заказные или ценные письма, я написал Сергею, что нашел адрес, на который могу получать его корреспонденцию, «сделай так и ты, тогда эти гады лишатся возможности не только воровать письма, но и читать их». Это письмо до Сергея дошло, и переписка наладилась.

В конце июля к нам приехали в гости всей семьей (с сыном Сергеем) Сиротинины, с ними я отмечал свое тридцатисемилетие. В конце 1974 года Вовка Сиротинин опять приезжал к нам. В ноябре 1973-го у нас появился Лешка Столпнер, привез нам кассету с Галичем, Городницким и еще с кем-то.

Конечно, мы задумывались, как жить после ссылки. Я понимал, что при возвращении (не в Питер, об этом до снятия судимости, то есть еще восемь лет после окончания срока, не могло быть

²³ Михаил Молоствов (р.1934), публицист, общественный деятель. В 1957 г. окончил философский факультет Ленинградского университета, летом 1958 г. арестован за эссе «Статус кво», написанное еще в студенческие годы. Приговорен к 7 годам лагерей, срок отбывал в Дубравлаге. После освобождения работал сельским учителем (позже — почтальоном) в Омской, Псковской и Калининской областях. Автор воспоминаний о лагере («Моя феноменология», «Ревизионизм—58»). В 1989 г. избран народным депутатом РСФСР от одного из ленинградских округов; оставался депутатом российского парламента до 1995 г. В настоящее время живет в деревне Еремково Тверской области, пенсионер. — *Прим. ред.*

²⁴ «Хроника текущих событий» — самиздатский информационный бюллетень, выпускавшийся московскими правозащитниками с 1968 по 1982 г. — *Прим. ред.*

и речи — с неснятой судимостью в Москве и Ленинграде не прописывали) у меня будет немало хлопот с жильем и трудоустройством. Мы уже тогда планировали поменять ленинградскую комнату на квартиру, желательнее всего в Луге, где уже обитали многие кончившие срок политические. Это было не единственной причиной. Я не хотел хоть о чем-нибудь просить начальство.

* * *

В Нижней Омре Маринка пошла во второй класс. Как-то раз вернулась гордая поручением, которое дала ей учительница, — проверять у остальных ребят тетради и сообщать учителю о тех, кто не выполнил домашнее задание. «Тебя ребята еще не побрили? Странно. Побьют — правильно сделают, я заступаться не буду». Дальше последовал серьезный разговор об учителе, который перекладывает свои обязанности на детей, о равенстве всех учеников и некоем противостоянии «учитель — ученики» и «власть — граждане». «Учитель прав, требуя от учеников выполнения задания, но это его дело, а превращать одних учеников в доносчиков на других — аморально». Спустя какое-то время дочка сообщила мне, что теперь у нее другое задание — поливать цветы в классе.

Незадолго до Дня Конституции (тогда его отмечали 5 декабря) Маринка, вернувшись из школы, сообщила нам, что, оказывается, дети учатся в школах только в Советском Союзе. «Доченька, что за тюльку вам гонят?!» Я стал объяснять ей, что бесплатное школьное образование существует во всем мире: «И в Польше, и в Китае школы бесплатные. Американцы послали корабль на Луну, такой корабль не могут сделать неграмотные рабочие». Вообще, при таких разговорах с маленькими детьми следовало быть очень осторожным. Вдруг ребенок проболтается в школе. Ребенка начали травить. Опасность пришла с неожиданной для нас стороны: недели через две, вернувшись с уроков, Маринка сообщила нам, что учительница опять «говорила тюльку»: «Она сказала, что, если не мыть руки перед едой, обязательно заболеешь». Нам пришлось давать задний ход и объяснять, что учителя далеко не всегда врут.

Уже в четвертом классе, когда появились учителя-предметники, одна из них продемонстрировала новый для детей метод воспитания — била нарушителей линейкой по рукам. Маринка со своей подружкой Леной написали и повесили в классе соответствующую «прокламацию». Листок сняли, но потом классная руководительница похвалила их, уже не помню точно, лично или только в разговоре с родителями.

Перед каким-то Новым годом мы с кем-то еще из нашей бригады устанавливали елку в детском садике. Вокруг бегали малыши, и все время раздавался голос воспитательницы: «Вася, прекрати! Вася, не трогай!» Наконец мы елку поставили и развесили на ней гирлянды с лампочками, которые оставалось только подключить. Воспитательница обратилась к малышам: «Дети! — сказала она. — Не прикасайтесь к лампочкам, кто дотронется, того убьет током», — и вышла. К елке подошел тот самый Вася. Протянул руку к гирлянде и отдернул, потом снова протянул. Наконец он дотронулся до лампочки и повернул к остальным торжествующее лицо. «Если не станет бандитом, то — космонавтом!» — прокомментировал ситуацию наш бригадир.

Поездка в Сыктывкар

Револют Пименов. — Местные гэбэшники. — Культурный отдых в Сыктывкаре. — Я хулиганю

Где-то в декабре 73-го года мне пришла повестка с вызовом в Сыктывкар, к следователю КГБ. Незадолго до этого Лариса Богораз сообщила мне из Москвы, что у нее изъяты мои бумаги — работа «Системный взгляд на историю» (начал я ее в тюрьме, дописывал в ссылке). Я пытался осмыслить (прежде всего, для себя самого) ход исторического процесса. В самой по себе рукописи не было ничего криминального: положения в СССР я не касался, а общество, основанное на внеэкономическом принуждении, кроме примеров из древней истории, иллюстрировал Китаем и Кампучией, о которых и официальная пресса тогда писала неласково. Но, как сказал мне гэбист еще в тюрьме, «само слово “свобода” в вашем положении звучит двусмысленно». Поэтому мы с Иринкой закопали все, что следовало, попрощались, и я отправился в путь.

На автобусе добрался до Ухты. Поезд на Сыктывкар из Ухты идет каким-то кружным путем, и я взял билет на самолет. В Ухте я оказался часов в пять вечера, а взять билет смог только на час ночи. Однако мне повезло — в зале ожидания появился летчик: «У кого есть билеты? Мой рейс недогружен», — и я улетел где-то в семь вечера. В девять часов я уже был у дома Революта Пименова. В подворотне стоял какой-то тип, будто сошедший с иллюстрации к популярной книжке о революционерах-подпольщиках,



Ирина Ронкина и Юлий Даниэль. Москва, 1972 год

Валерий Смолкин, Ирина Ронкина, Сергей Мошков. Москва, 1972 год





Встреча с дочерью Мариной. Коми АССР, август 1972 года

Володя Ронкин. Луга, 1977 год





Ирина и Валерий Ронкины в ссылке.
Поселок Нижняя Омра Коми АССР, 1973 год



Сергей Хахаев с женой Валерией Чикатуевой в ссылке. Усть-Абакан, февраль 1973 года

Вадим Гаенко, Светлана Сиротинина, Ирина Ронкина. Ленинград, 1975 год





Вера Евгеньевна Парфенова, Владимир и Светлана Сироткины, Валерия Чикатуева и Сергей Хахаев. Сидит Леонид Столлнер. Усть-Абакан, 1971 год

Михаил Михайлович и Маргарита Мустафьевна Молоствовы с дочерью Татьяной и внуком Павликом. Деревня Еремково, Тверская область, начало 1990-х годов



«Старушки с Пушкинской»,
1970-е годы



Наталья Викторовна Гессе

Зоя Моисеевна Задунайская



Регина Моисеевна Этингер



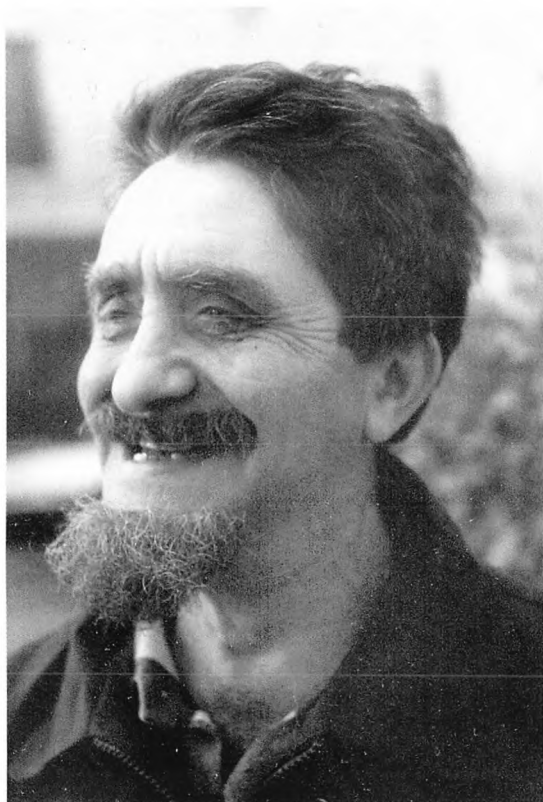


Через десять лет – снова вместе.

Стоят (слева направо): Сергей Хахаев, Валерия Чикатуева, Валерий Смолкин, Рина Смолкина, Светлана Сиротинина, Ирина Ронкина, сын Леонида Столпнера Дима. Сидят: Владимир Шнитке, Валерий Ронкин, Сергей Мошков. Ленинград, 12 июня 1975 года

Валерий Ронкин с детьми Мариной и Володей, 2001 год





Валерий Ефимович Ронкин, 2002 год

даже воротник у него был поднят (правда, дул холодный ветер). Увидев меня, он отправился восвояси, а я поднялся и позвонил Пименовым.

Пименов, талантливый математик, уже отбыл первый срок по ст.70, а спустя несколько лет после освобождения был снова осужден (вместе со своим поделщиком по первому делу, Борей Вайлем) за Самиздат и сослан в Сыктывкар, где первое время работал на лесопилке. Затем по ходатайству президента Академии наук Келдыша, побывавшего в Сыктывкаре, был взят на работу в местное отделение АН. Вилена (жена Революта) мне тогда очень понравилась. С ним же самым мы, как говорят, не сошлись характерами. Он вел себя как большой начальник, говорил безапелляционно, возражений не принимал. Для меня же истинность некоторых его высказываний была более чем сомнительна. Уже вернувшись в Нижнюю Омру, я получил от Революта несколько писем. В одном из них, продолжая дискуссию, он заявил, что все исторические конструкции пасуют перед фактами. Крах Римской империи был вызван тем, что к сосудам с дорогими винами были свинцовые пробки, и вся римская элита стала вымирать от отравления. Ссылки на источник Револют не приводил, но я еще в тюрьме читал об этом в журнале «За рубежом». В письме Революту я спросил, почему Византия, использовавшая такие же пробки, просуществовала еще десять веков. На это письмо ответа не последовало.

Утром, находясь все еще в неведении о причине вызова, я отправился в местный КГБ. Меня провели к следователю, и он объявил, что допрашивает меня по делу Сергея Пирогова. О том, что некоего Пирогова, жившего в Архангельске, арестовали, я уже знал из письма Бориса Вайля. Из того же письма я вообще узнал о нем.

Но начался допрос с общих вопросов: профессия, дети, жена и тому подобное. Некоторое время я отвечал на них, а потом спросил: «За что вам деньги платят? Вы что, перед допросом поленились просмотреть мое личное дело?» — «Ваше личное дело я читал». — «Тогда зачем задаете глупые вопросы?» — «Так положено — для установления контакта». — «Контактов я с вами устанавливать не хочу. Переходите к тому, ради чего меня вызвали».

Точно такой же разговор, слово в слово, был у меня на 17-м лаготделении в 1968 году: меня пытались допросить по делу моего дальнего знакомого, ленинградца Льва Квачевского, который еще в 1965 году фигурировал в нашем деле как свидетель, а в 1968 году был арестован.

На первый вопрос следователя «по существу дела» — знаю ли я Пирогова — я ответил, что был такой хирург во время Крымской войны, «какое отношение он имеет к вам, понять не могу, других Пироговых не знаю». — «Откуда у Сергея Пирогова ваш адрес?» — «Спросите у него». Тут следователь, понизив голос, начал мне рассказывать, что у Сергея Пирогова найдена была книга Гроссмана. «Так она же есть в любой библиотеке!» — «Не такая!» — «Я думаю, что даже Николай Грибачев (тогдашний одиозный сталинист) тоже пишет что-нибудь “не такое”». Провинциальный пинкертон явно заинтересовался: «У вас есть сведения?» — «Нет, просто уверен, что о вас ничего хорошего никто не думает». Официальная часть кончилась. Револют меня предупредил, что местные гэбисты дохнут от скуки, поэтому я должен подготовиться к длинной беседе.

Разговор перешел на достопримечательности Сыктывкара. «Кстати, Ронкин, где вы сегодня ночевали?» — «В аэропорту». — «Почему?» — «Я прилетел чуть не в три ночи, куда мне было идти?» На лице следователя появилась хитрая улыбка: «У вас сохранился билет? Он ведь нужен для оплаты». Я протягиваю ему свой авиабилет, на котором написано время вылета — час с чем-то. Улыбка сменяется выражением растерянности — ему же докладывали, что в девять часов я вошел в подъезд дома, где живет Пименов.

Следователь возвращает мне билет: «К сожалению, при наличии железнодорожного пути самолет мы вам оплачивать не имеем права. Не возьмете же вы из моего кармана». — «Почему не взять? Возьму». Тут я соображаю, что все следственные расходы потом возлагаются на обвиняемого, поэтому, махнув рукой, прекращаю обсуждение этого вопроса.

Следователь снова меняет тему: «У нас тут отличный театр, правда, в валенках вас туда не пустят, но мы чего-нибудь придумаем». — «В театр меня пустят и в валенках — покажу вызов из КГБ...» — «Что вы! Никогда не делайте этого!» — «Почему? Я с помощью этой бумажки уже брал авиабилет в Ухте». (Иринка там с ума сходит, а тут еще театр!)

И тут я делаю финт — на подоконнике у следователя стоит графин с водой. Вывернув руку, я беру этот графин вниз горлышком, как булавку, переворачиваю, ставлю на стол и наливаю воду в стакан. Следователь в испуге шарахается. Осторожно попробовав содержимое стакана, говорю: «Вода... А я думал, спирт, чего же вы так испугались?»

Следователь начинает мне читать лекцию о правилах хорошего тона. В театр уже не приглашает, пропуск не продлевает, командировочное удостоверение подписывает сегодняшним числом.

Такую же вещь, правда, ненароком, я проделал еще в Питере. Следователь Елесин что-то писал в протоколе, а мне некуда было стряхнуть пепел с папиросы; без всякой задней мысли я подошел к столу и взял огромную стеклянную пепельницу. Как шарахнулся тогда капитан Елесин, я запомнил. Испугался своего молодечества я лет через пятнадцать. Вспоминая сыктывкарский эпизод с графином, вдруг подумал: «А ведь этот дурак со страху мог и выстрелить?!»

Возвращая мне удостоверение, следователь опять спрашивает о Пирогове — не присылал ли мне кто-нибудь писем, в которых он упоминается. Я опять возмущаюсь: «За что вам деньги платят? Это вы должны знать и без меня». Собеседник говорит что-то о тайне переписки. И дальше: «Вот вы вернетесь домой, хорошенько посмотрите, нет ли чего подобного, если найдете — позвоните, я дам вам свой телефон». «Я много чего слышал, — отвечаю, — но про перевод «шмона» на самообслуживание, да еще на общественных началах слышу впервые. Эдакая пошивочная мастерская «Шейте сами». Приезжайте с ордером и устраивайте обыск».

На обратном пути и в сыктывкарском аэропорту, и в Ухте милиция проверяла у меня документы — очевидно, расхождения между данными авиабилета и сообщением «топтуна» поставили в тупик моего собеседника.

Семейные хлопоты

Отъезд жены. — Выборы. — Встреча с сыном. — Лечение конъюнктивита. — Самый страшный эпизод в жизни. — По пути из амбулатории

В начале нового, 1974 года беременная Иринка, забрав дочку, уехала в Ленинград.

Чтобы сохранить комнату, в ней надо было отмечаться каждые полгода. Соседи не только не доносили, что один жилец отсутствует, но, ожидая Иринкиного появления, накапливали всякие мелочи — отремонтировать кран или еще что-нибудь, и Иринка, появившись, бегала в ЖЭК, отмечая свое присутствие в

квартире. Кроме того, что ленинградский роддом явно имел преимущества перед троицко-печорским, будущий ребенок получал ленинградскую прописку, а это было не менее важно, чем уровень медицинского обслуживания.

Мы остались в Нижней Омре вдвоем с Кентом — псом, которого я там же и завел. Поначалу я таскал ему объедки из детсада, потом работник санэпидстанции обнаружил там мой бидончик и сделал выговор заведующей. Пришлось нам с псом питаться на равных. Мне ничего, а Кент запаршивел. Обратился я к ветеринару — тот дал мазь, Кент эту мазь с себя слизал и... начал околевать. Едва удалось отпоить его молоком.

В марте 1974 года скрасить мое одиночество в Нижнюю Омру приезжал Вадик Гаенко.

В мае этого же года проходили очередные выборы в Верховный Совет. Я на выборы не пошел, и урну притащили ко мне домой. С членами избирательной комиссии я был изысканно вежлив: предложил даже угостить их чаем, но голосовать отказался: «В этом году, — сказал я, — моя партия не выставила своих кандидатов». На следующий день милиционер, к которому я должен был являться еженедельно, начал разговор о моем поведении. Я удивился: «Откуда вы узнали, что я отказался голосовать? Существует же тайна выборов!» Ответ поразил меня своей наивной правдивостью: «Вот, Ронкин, вы в политику лезете, а того не понимаете, что тайна выборов — это сколько за кого проголосовало людей. Об этом действительно болтать нельзя, а ежели вы на выборы не ходите, какая тут тайна?!»

Летом моя семья вернулась уже втроем — с маленьким Вовкой.

* * *

В начале зимы у Маринки заболели глаза — начался конъюнктивит. Местный врач вылечить его почему-то не сумел. Еще летом, когда Маринка отравилась грибами и ей собирались делать промывание желудка, я оказался свидетелем такой сцены: врач попросил принести соду, санитарка отправилась ее искать, потом вернулась, снова расспросила, где эта самая сода, и опять ушла, наконец появилась банка с белым порошком. Я обратил внимание, что этикетка на банке отсутствовала. «Вы уверены, что там питьевая сода, а не каустик?» — спросил я врача. Несмотря на его уверенность, я запретил делать промывание с этим веществом. Промыли водой, и все обошлось.

И так как я уже предвзято относился к местной, в общем-то очень неплохой, амбулатории, мы с Иринкой решили отправить дочку в Москву, к бабушке. Наступили зимние каникулы, мы посадили дочку на поезд. В Москве ее встретила Зинаида Степановна. Мы думали — проучится там полугодие, вылечится, заодно и Москву посмотрит, а летом, по окончании ссылки, мы ее заберем.

Не тут-то было. Для того чтобы учиться, ребенку нужна была прописка, а при живых родителях у бабушек детей не прописывали. Мы сначала думали, что не прописали ребенка из-за меня. Оказалось, не так — бланк с отказом был напечатан в типографии немалым тиражом. Неверным оказалось и наше предположение, что это чисто московский выпендрей — впоследствии в Луге нашей соседке пришлось бегать по инстанциям пару месяцев, чтобы прописать у себя внука-первоклашку, родители которого жили в деревне в трех километрах от школы. В Москве паспортный режим соблюдался строже, чем в Луге, моя теща безрезультатно походила по инстанциям, и Маринка со своим конъюнктивитом к концу каникул вернулась в Нижнюю Омру.

Дальше, как говорится, хочешь верь, хочешь — нет. Я открыл учебник по собаководству. У собак тоже бывает конъюнктивит, и лечат его, капая в глаза альбуцид. Я знал, что альбуцид капают и людям для того, чтобы вынуть соринку из глаза. Стали мы капать Маринке альбуцид — и болезнь прошла. Жена моя утверждает, что и в местной амбулатории дочку альбуцидом лечили, просто зимой конъюнктивиты проходят быстрее. Не знаю, может быть, это и так, но до сих пор, когда дочка мне начинает противоречить, я ей напоминаю, что лечил ее когда-то по собачьему учебнику, так что пусть она много о себе не думает.

* * *

Маринку мы вылечили, а Иринка отправилась в Питер — отмечаться в квартире. Взяла с собой маленького Вовку и уехала. Мы с дочкой недели на две остались вдвоем. Наконец я получил телеграмму: «Встречай». Встречать их нужно было в Ухте (это часа четыре езды от Нижней Омры). Для поездки в Ухту надо взять разрешение в комендатуре. Я встречал Иринку из таких поездок каждые полгода. Ходил там рейсовый автобус, билет стоил пятерку. Это значит, туда и обратно — 15 руб. Поезд из Питера приходит поздно вечером, а автобус уходит утром, да еще набитый битком.

Нас в это время на работу в другой поселок возили на «своем» автобусе. С шофером, Сашей, у меня отношения дружеские, я

помогал ему учиться в заочном техникуме, да и так просто они с женой к нам заглядывали. Я и говорю ему: «Давай в Ухту, семью встретим». — «Ладно». Договорились и о пятнадцати рублях. Поскольку встречу Иринка всегда подгадывала к выходным, с этим проблемы не было. Сели, едем. Вспоминаю, что Иринка просила взять одеяльце для Вовки, а я его забыл. Вдруг стоп, что-то в моторе. Шофер воду из радиатора слил (на улице морозец градусов пятнадцать), возится. Наладил Саша мотор, пошли мы с ним в деревню за горячей водой — холодная замерзнет в остывшем радиаторе.

Залили воду, едем дальше. «Хорошо, что не здесь стали. Тут до жилья в обе стороны километров по двадцать пять», — говорит Саша. Мотор опять барахлит, снова стоим. Выехали мы, имея часа два запаса, прошлая остановка этот запас «съела». Здесь возьмемся гораздо дольше, я помогаю, что-то держу, какие-то гайки кручу. Наконец мотор заработал. Теперь надо заливать горячую воду в радиатор. Слили немного бензина, намочили тряпки, на этом костре нагрели воды.

Возились часа четыре, с таким опозданием и прибыли в Ухту. Иринка с Вовкой давно в комнате матери и ребенка. Посмотрела на меня жена, ахнула — все лицо в мазуте.

А я думаю, что теперь делать. Ехать обратно с годовалым ребенком на этом же автобусе? А если сломается? В воскресенье дорога пустая, да и отправлять их с попутной машиной рискованно — отправил одну свою жену с попуткой в роддом, так ее изнасиловали и чуть не убили. Ждать рейсового? Но тогда Саша с меня эти пятнадцать рублей не возьмет. А ведь парень ночь не спал, мучился. Все-таки решил ехать на «своем» автобусе.

Сажу с Вовкой на руках и в окошко гляжу. Сзади исчезают огоньки — у меня душа в пятки уходит, появляются впереди — душа на место возвращается: теперь-то до жилья дойдем. И так все четыре часа, слава Богу, без всяких аварий. Зашли в дом, положил я Вовку на стол, достал папиросу, даже руки дрожат. «Что с тобой?» Рассказываю Иринке, как маялся всю дорогу. Сначала мне, конечно, попало, что не поехали на рейсовом, потом Иринка согласилась с моей логикой. А тут и дочка проснулась, стала братца разворачивать и укладывать.

Большого страха, насколько я помню, за всю свою жизнь я не испытывал.

* * *

Потом опять заболела Маринка. Накануне вечером пришла с прогулки веселая и довольная — катались на попе с ледяной

горки. Назавтра почувствовала боль, и Иринка пошла с ней к врачу. Тот поставил диагноз «воспаление почек» и дал направление в троицко-печорскую больницу. Туда нас отвезли на «скорой», я подождал, пока дочку осмотрят (диагноз подтвердился), уложат в палату, и отправился домой пешком. Предстояло мне пройти километров двадцать до Нижней Омры, автобус уже не ходил, а утром — на работу. Вышел за поселок. На небе полная луна, на дороге блестит снег. Немного страшновато, вдруг волки? Ну да на шоссе побоятся. Вдруг позади сигналят: «Ты куда собрался? Садись, довезу». Я забрался в кабину попутного грузовика. «Больно храбрые вы стали. Тут ехал один с нашей автобазы, видит: идет мужик по обочине, а сзади, шаг в шаг, медведь-шатун. Наш посигналил, медведь в лес убежал, а прохожий говорит: я бы и сам дошел. Тут его шофер к медвежьим следам подвел. Ехал парень и дрожал всю дорогу».

Меня машина подобрала у самого выезда из Троицка. Так что ни волков, ни шатунов я в Коми так и не видел.

Дочка выписалась из больницы недели через три. Почки у нее оказались ослаблены, и мы еще не раз сталкивались с этой проблемой.

Прощание с Нижней Омрой

Как добыть справку об освобождении. Снова Мухияров. — Что мы грузим. — Пропажа Кента

Срок мой кончился не в июне, а в апреле: ведь почти месяц из отмеренных мне трех лет ссылки я провел под конвоем на этапе из Владимира в Коми, а один день этапа по закону засчитывается за три дня ссылки. Я начал оформление документов, для этого нужно было съездить в райцентр. Беру день «за свой счет», еду, а там нужного мне работника паспортного стола нет на месте. Назавтра та же история. Я вежливо осведомляюсь у дежурного, где работник, — тот не знает. В сердцах бросаю: «Нас, рабочих, за час опоздания могут уволить, а уж премии-то точно лишат, а тут человек второй день на работе не появляется!» Сзади мне кто-то кладет руку на плечо: «А пятнадцать суток не хочешь? Сейчас я тебе оформлю. Пойдем в кабинет». Какой-то офицер берет меня за локоть. Я понимаю, что сопротивляться нельзя, и иду с ним. В кабинете офицер усаживается напротив меня, кладет передо мною лист бумаги: «Пишите объяснение», — и начинает составлять протокол. С той поры, как я работал в комсомольском

патруле, эта канцелярия не изменилась. Я пишу объяснительную, называю звание и фамилию лица, к которому приходил, указываю, что того на рабочем месте не было. Подписываюсь: «Политссыльный Ронкин». Офицер читает мою бумагу: «Это все неправда, человек вышел на минуту, а вы материтесь». Отмечаю про себя, что тон другой и обращается уже «на вы». «Где был ваш коллега, будем выяснять через Генеральную прокуратуру, а сейчас я немедленно требую встречи с начальником». Идем к начальнику, по пути офицер сдает меня какому-то сержанту, а сам исчезает. В кабинете навстречу мне поднимается мой старый знакомый Мухияров. Старшина отдает ему документы и выходит. Подполковник читает написанное офицером и мною. Я продолжаю возмущаться порядками в отделении. «Приезжайте завтра, работник будет на месте, что касается офицера, который хотел вам дать пятнадцать суток, я звонил, но его найти не могут». Действительно, он кого-то просил по телефону прислать «того, кто составлял протокол».

Назавтра я получаю злополучную справку, которую по месту жительства мне предстоит обменять на паспорт. Захожу к Мухиярову, тот подписывает справку, жмет мне руку, желает счастливого пути. Я интересуюсь судьбой протокола и своей объяснительной. «Вы знаете, эти бумажки куда-то исчезли из сейфа, да и кто этот протокол составлял, я выяснить не сумел», — Мухияров хитро улыбается.

Мы заказываем и грузим контейнер. Накопившиеся книги, стеллажи (еще неизвестно, можно ли будет на новом месте достать доски для стеллажей), Маринкин топчан, собственноручно изготовленный мною (на нем спала Маринка, а потом Вовка до самого своего поступления в институт), банки с солеными, маринованными грибами и вареньями.

Иринка с Вовкой уехали в начале мая в Москву, а мы с Маринкой все-таки в июне — нужно было подождать, пока дочка окончит четвертый класс.

Перед самым Иринкиным отъездом пропал наш Кент. Версии две: 1) собаку украли алкаши, мясо съели, шкуру продали на унты; 2) Кента взял к себе охотник (у меня не раз хотели его купить, упрекая, что порчу хорошую охотничью лайку).

С Маринкой, естественно, делимся только второй версией.

ЕСТЬ В РОССИИ ГОРОД ЛУГА

Дорога «домой»

Маринка в поезде. Как я стал уметь. — В Москве у Алика с Ариной. Как я знакомился с московскими диссидентами. — Рассказ Юры Гастева. — Цыганский домик. — Моя военная карьера. — Бывшие политзеки в Луге. — Попытки обмена. — Трудоустройство

Наконец уезжаем из Нижней Омры и мы с дочкой, тоже едем через Москву, где должны встретиться с Иринкой. У нас большие планы: хочется повидать Юлия и Алика, лично познакомиться с московскими диссидентами, о которых уже много слышали.

Маринка просит у меня купить ей шоколадку, я вынимаю деньги и предлагаю самой сходить в вагон-ресторан (это вагона за четыре от нас). Дочке страшно идти, особенно между вагонами, где «так гремит», но я непреклонен. Маринка отправляется — немного подождав, я иду за ней. В ресторане дочки нет, и я бросаюсь назад — слава Богу, Маринка сидит на своем месте и ест шоколадку. Оказывается, когда она шла обратно, поток людей оттеснил ее из прохода. Дочка видела, как я шел по вагону, но решила промолчать. Кто в этот раз пережил больше страха, она или я, остается только гадать.

С появлением в Нижней Омре Маринки, а потом и Вовки их папа стал уметь гораздо быстрее, чем за все предшествующее время.

* * *

В Москве мы решили собраться у Арины Жолковской. Помню, как Алик Гинзбург объяснял свой адрес: «Сойдешь на такой-то остановке, а дальше, как всегда, — налево и прямо». И Окуджава пел: «Те, кто стоят, пускай стоят, а те, кто идет, всегда должны держаться левой стороны». Тогда еще коммунисты воспринимались как крайне правые, каковыми, на мой взгляд, остались и теперь. Правее их только нацисты.

У Арины я надеялся познакомиться со многими интересными людьми, но произошел конфуз. Я появился рано; кроме Арины и Алика, там уже был Юлий, а больше пока никого. Сели мы втроем на кухне (хозяйка занималась обычными в таких случаях хлопотами) и стали вспоминать прошлое. На столе стояла бутылка, в которой, вместо привычного мне сухого вина, оказался коньяк. Короче, к приходу гостей я, уже изрядно пьяный, спал в каком-то чуланчике. Так в этот раз мне и не удалось ни с кем познакомиться.

Все-таки Бог милостив. В этот приезд мне пришлось слышать рассказ Юры Гастева. На магнитофон этот рассказ записан не был, и я не могу передать весь артистизм рассказчика. Перескажу хотя бы смысл.

Было это в марте 1953 года. Юра только что вышел из лагеря, где сидел по знаменитой 58-й. Друзья достали ему путевку в какой-то дом отдыха в Эстонии.

«Начали передавать сообщения о состоянии здоровья Сталина. В комнате нас было трое, — рассказывал Юра, — я, пожилой врач и еще какой-то тип, который трезвым куда-то уходил, а пьяный спал крепким сном. Мы с врачом молча ходим по комнате и слушаем, вдруг он говорит: «Пора выпить», я спрашиваю: «Вы не ошибаетесь?», а он: «Обижаете меня, я все-таки специалист». Уже вечер, а в поселке был магазинчик, единственный его продавец (когда-то хозяин) жил на втором этаже, все остальное располагалось на первом. Пришли мы к этому эстонцу, постучали, за дверью слышим ворчанье: «Эти русские свиньи, им бы только напиться». Мой товарищ говорит: «Пора выпить», и тон за дверью меняется: «Вы уверены?» — «Я врач». Дверь открывается, на пороге возникает пожилой эстонец: «Какие приятные молодые люди»; все спускаются вниз, продавец достает водку: «По такому случаю не грех и выпить. А вы абсолютно уверены?» Провожая ночных гостей, эстонец повторял: «Какие приятные молодые люди. Заходите еще раз. Заходите почаще». Юра с большим юмором имитировал эстонский акцент.

* * *

Пробыв еще несколько дней в Питере, мы отправились в Лугу. Она была на 101-м километре, полагавшемся мне. В Ленинграде, как я уже говорил, можно было прописаться только через восемь лет, но и тогда для этого потребовалось бы разрешение ГБ. Большинство бывших зэков из Луги уже уехали, кто за рубеж, как

Квачевский, кому-то удалось прописаться в Питере по окончании судимости, как нашему Борису Зеликсону. Но в Луге уже месяц жили Сергей Хахаев и Валя Чикатуева, что во многом определило наш выбор. Сережкин этап в Хакасию занял больше времени, чем мой в Коми, и поэтому ссылка у него кончилась раньше моей. Наши друзья загодя сняли там дачу до сентября.

Мы поселились в домике у цыган. Хозяйка во время войны партизанила, теперь они с мужем работали в совхозе. У нас установились дружеские отношения.

Я получил паспорт и военный билет. Билет был тот самый, который у меня отобрали при аресте. Когда мы окончили институт, нам присваивали звания младших лейтенантов, потом стали присваивать лейтенантские звания. Итак, все мои друзья мужского пола за время отсидки были повышены в звании. Мало того, там, где у меня стояла воинская специальность — «боеприпасы артиллерии», была сделана поправка: сверху было написано «и ракетных войск». О ракетах я знал только из газет. Вадику Гаенко вообще сменили специальность, он стал «политработником ВВС». После политзоны все мы должны были стать политработниками, но почему именно ВВС?

Уже в Луге я узнал, что здесь живет знакомый мне еще по Явасу Гена Темин (он купил половину домика), жена его и сын оставались в Питере. В Луге я познакомился и с другим бывшим эком, Валерием Нагорным, который уже давно жил здесь и работал на «Белкозине».

Был здесь и еще один лагерник, Юра Г. — фамилии его я не помню, да и ежели помнил бы, называть не стал. Бывший милиционер, он сел за какую-то листовку. На следствии, чтобы придать делу большую значимость, он пытался представить себя руководителем большой группы, нам тоже рассказывал, что в его группу входили какой-то высокий партийный чин и какие-то гэбисты. Г. действительно кончал юрфак — и даже устроился в Луге юрисконсультантом в какой-то шараге, откуда был уволен за пьянку. Он утверждал, конечно, что тут замешана ГБ, но, поскольку мы видели его чаще пьяным, чем трезвым, в том числе и тогда, когда заходили к нему на службу, думаю, что ГБ тут ни при чем.

* * *

Приехав в Лугу, я сразу же занялся поисками работы и жилья. Обменять ленинградскую комнату на квартиру в Луге оказалось гораздо сложнее, чем мы думали. На работу тоже устроиться не

удавалось — человек без жилья, с семьей и маленьким ребенком, да к тому же еще и с такой судимостью!

Почти сразу после нашего появления в Луге из Мурманска на лето приехали мои родители. Это несколько облегчило нам поиски. Прежде всего надо было найти жилье, и мы листали обменные справочники. Побывали и в Киришах, и в Кингисеппе, и еще где-то. Когда я появился по обменному адресу в Кингисеппе, меня встретила симпатичная пара старичков. Угостили, напоили чаем, показали семейные альбомы. Вот только меняться жильем они не собирались. «Зачем дали объявление? Знаете, одним так тоскливо, а тут люди приходят. Вы уж извините за беспокойство». Старик и старушка были такими симпатичными, что я простил им и длинную дорогу, и потерянный день.

В Луге появлялись некоторые варианты обмена, не очень хорошие, и каждый раз все срывалось. С устройством на работу тоже ничего не получалось. А время шло, и мой северный трехмесячный отпуск подходил к концу (уезжая из Нижней Омры, я уволился, но увольнение оформил началом августа).

* * *

Я помню, конечно, далеко не все перипетии своего трудоустройства. Но кое-что в памяти осталось.

С самого начала я пришел на завод «Литейщик». Главный инженер приняла меня очень хорошо, там должна была освободиться должность мастера, и она уговаривала меня подождать пару недель. Я упустил момент. Когда я позвонил, оказалось, что место уже занято. Мне предложили место рабочего. Прежде чем писать заявление, я пошел в цех — моя работа состояла в том, чтобы ковшом разливать в изложницы расплавленный алюминий. Я попытался пооперировать пустым ковшом и понял, что с расплавом я его просто не подниму.

Еще помню, как ходили мы с Валею Чикатуевой на «Химик», где требовался мастер смены. К начальнику сперва вошла Валя (она в это время уже работала и пошла специально ради меня — «на разведку»). С ней поговорили и отказали: «Нам больше бы подошел мужчина и с дипломом не университетским, а техническим». «Есть и такой вариант», — ответила Валя и позвала в кабинет меня. Со мной поговорили и попросили позвонить на следующий день. Позвонил. «Уже не требуется». Как я узнал позднее, на самом деле заводу требовался освобожденный председатель профкома, но поскольку такой ставки не было, его собира-

лись оформить мастером. Не меня же брать на такую должность. Прошло двадцать лет с той поры, но и сегодня профсоюзных боссов нанимает на завод дирекция, а рабочие исправно голосуют за этих «защитников».

От Нагорного я узнал, что на «Белкозине» требуется начальник очистных сооружений. «Белкозин» только что отравил речку Лугу —дохлая рыба плыла по реке сплошняком. Насколько я знаю, очистные сооружения были тут ни при чем — на завод пришла цистерна с соляной кислотой, которую некуда было откачать, а за простой железнодорожной цистерны полагались штрафы и «накачка» в райкоме. Кислоту вылили на землю, и, смытая дождем, она оказалась в реке. Начальнику очистных сооружений пришлось уволиться.

Я явился к главному инженеру. Тот был не один — с ним беседовал какой-то пожилой мужчина (как я узнал в ходе разговора, начальник отдела кадров и, как я узнал несколько позже, бывший лагерный замполит; фамилию, к сожалению, забыл).

Для того чтобы не пускаться в лишние разговоры, я нацеплял свой «поплавок» — значок с эмблемой Техноложки. Посмотрев мою трудовую книжку, главный спросил о судимости. Я ответил. Собеседник поинтересовался моими сегодняшними убеждениями. Пока я соображал, как лучше ответить — «социал-демократ» или «меньшевик», в разговор вступил кадровик: «Ваши убеждения нас не интересуют. Кто вы по национальности?» И когда я сказал: «Еврей», кадровик заявил: «У нас нет места». Главный инженер пытался возражать: «Место есть!», но бывший лагерный замполит продолжал свое: «Нет мест. Три часа назад мне принесли заявление, я забыл вам (главному) его показать». Мне в который раз предложили «позвонить завтра». Я опять позвонил, и мне опять сказали, что места нет.

В совершенном озверении я направился в лужское отделение КГБ. План у меня был такой — я заявлю, что сфотографируюсь у вывески этой организации с плакатом «Ищу работу» и отошлю фотографию в западную прессу. И гэбисты получат втык, или им придется караулить все время свою вывеску. На мое счастье, в «присутствии» было полное отсутствие чинов. Меня встретил привратник, записал в журнал фамилию и спросил, что передать начальству. «Передайте, что в рабочее время нужно быть на работе»; с этим заявлением я оставил эту контору и направился в райком партии.

В райкоме я вошел в один из кабинетов и кратко пересказал свою историю. Чиновник вежливо поинтересовался, прочел ли я

на дверях табличку. «Я инструктор по идеологии, а идеология, наверно, у нас разная?» Я подтвердил этот факт. «Ну, так какую же я могу предоставить вам работу? Обратитесь в кабинет напротив». Табличку на дверях кабинета напротив я прочел загодя: «Инструктор по строительству. Инструктор по промышленности». На месте оказался инструктор по строительству. Он сказал: «Встретяся я с вами лет десять назад, наверно, и сидели бы мы вместе. Сейчас я махнул рукой на идеалы и делаю карьеру. Но вам помогу».

Он предложил мне место прораба на какой-то стройке, но я испугался. Со студенческих строек я знал: строительные нормы и расценки таковы, что, не мухляя, не сумеешь заплатить рабочим. Ссылный опыт только укрепил это убеждение. Мухлевать же я не умел и боялся — для ГБ это лучший способ посадить человека по уголовной статье. Эти соображения я и высказал инструктору. «Пожалуй, вы правы. Приходите завтра. Завтра выходит из отпуска инструктор по промышленности. Не знаю, удастся ли вам договориться, но попробуйте».

На следующий день я снова был в райкоме, в знакомом кабинете уже сидели двое. Я спросил, кто инструктор по промышленности, и сообщил ему причину своего визита. Положил на стол трудовую книжку и еще ВНИИСКовские свидетельства об изобретениях. Тот молча посмотрел бумаги и обратился ко мне: «А может быть, вы еще не перевоспитались?» Я на эту тему дискутировать не стал. «Вы меня неправильно поняли — я пришел к вам не просить, а спросить. Дело в том, что «Международная амнистия» (я уже обменялся несколькими письмами с учительницей из Дании, Анной Якобс, представлявшей эту организацию) удивлена, почему я так долго не могу устроиться на работу. Чтобы меня опять не обвинили в клевете, я пришел спросить у вас: я не могу устроиться потому, что в Луге нет рабочих мест, или мне не предоставляют работу по идеологическим соображениям? Как вы скажете, так я и напишу и во избежание кривотолков сошлюсь на вас».

После моего пассажа инструктор молча пододвинул к себе телефон и стал звонить на предприятия. Посреди очередного разговора он, прикрывая трубку рукой, спросил у меня: «На рабочую сетку пойдете? Слесарем?» и, когда я ответил утвердительно, произнес в трубку: «Возьмите слесарем. Нет штатной единицы — найдите!»

Я снова отправился на «Химик».

Между Лугой и Ленинградом

Проблема спирта на «Химике». — Эстетика антиалкогольного плаката. — Арест у камеры хранения. — Новые знакомства. — К.В.Косцинский и Валентин Пикуль. — Новое поколение. — «Архипелаг ГУЛАГ»: конспирация в железнодорожных условиях. — Молоствовы.

Я встречаю живую эсерку

В августе 1975 года я стал слесарем завода бытовой химии. На «Химике», впрочем, никакой химии (в смысле синтеза каких-либо продуктов) не было. Там смешивали и фасовали уже готовые вещества. В нашем цеху производили отбеливатели, стиральные порошки и тому подобную продукцию. Первоначально на заводе ко мне относились со «смутным» чувством: с одной стороны, «враг народа», с другой — креатура райкома партии. Посему я сразу же получил пятый разряд, на который явно не тянул.

С материальной стороны это было, конечно, выгодно, но в то же время я чувствовал себя неловко перед ребятами, имевшими такой же разряд, — им я не годился в подметки. Несколько утешало меня одно — среди моих коллег были и такие, которые работали не лучше, а то и хуже меня по причине вечного пьянства. (На восклицание мастера: «Толя! Ты и сегодня в ненормальном состоянии!» — Толя обычно отвечивал: «Сегодня я как раз в нормальном состоянии, это трезвый я в ненормальном».)

Для изготовления некоторых видов продукции требовался спирт, и спирт тек на заводе рекой. Начальство предпочитало расплачиваться им за сверхурочную работу, а если таковой не было, спирт просто воровали. Ворванный спирт проверяли на чистоту: наливали немного воды, и, если смесь не мутнела, спирт считался «питьевым», если же появлялась сильная муть, начиналось обсуждение. Наконец кто-то не выдерживал и выпивал налитый стакан, остальное прятали и ждали. Если выпившему становилось плохо — вызывали «скорую», если за час-два ничего не происходило, утянутая жидкость считалась спиртом и распивалась.

По всему заводу висели антиалкогольные плакаты. Один из них мне понравился: маленький испуганный мальчик, обращенный лицом к зрителю, за ним на стене изломанная тень человека с бутылкой, под рисунком ученическим почерком подпись: «Папа, не пей». К моему удивлению, именно этот плакат заводские алкаши перевесили в закуток, где обычно распивалось спиртное, при этом они «чокались» с «папой», предлагали ему закуску или, наоборот, убеждали не пить. Плакатный персонаж вовлекался в

действие — вопреки замыслу художника. Я некоторое время ломал себе голову над этим, пока не понял причины. Алкоголик на плакате был изображен слишком страшным, ему действительно нельзя было пить; реальные люди на его фоне выглядели вовсе не алкашами, а просто любителями выпивки.

* * *

Разумеется, мы часто бывали в Питере. Но поскольку Вовка был еще маленьким, приходилось чаще ездить поодиночке. В первый же свой приезд я отправился в Эрмитаж. Побродив по залам, зашел в кафе. Через какое-то время, попросив у меня разрешения, за столик подсели двое симпатичных молодых людей. Не знакомясь, мы завязали разговор. Вечером я отправился к Вене Иофе. Раздался звонок в дверь, и в комнату вошел один из этих молодых людей. «Знакомьтесь», — предложил Веня. «Да мы уже знакомы!» — вместе ответили мы. Это был Дима Мачинский, школьный друг Вени. Насколько тесным оказался город!

* * *

Иринка с детьми к началу учебного года уехала в Ленинград, а я снял комнатенку (6 кв. м) в частном доме. Хозяином этого довольно большого дома был глубокий старик, бывший дворянин, офицер еще царской, потом Красной и Советской армии. Гордился он тем, что во время всех войн, которые в этом веке обрушивались на Россию, он ни дня не был в действующей армии (а также флоте). Первую мировую он отсиделся в немецком плену, какое-то время, по его словам, командовал музейной «Авророй», Отечественную провел на штабной работе.

В доме сдавалось огромное количество комнат. С работников молокозавода дед брал квартплату маслом. Мы сторговались сначала за десятку в месяц, через неделю выяснилось, что еще одну десятку я должен за свет и отопление, потом с меня дед потребовал еще пять рублей — итого четвертной. Вся его родня, в том числе и жена, жили в Питере. Неухоженный дед, вечно простуженный, в рваном халате собирал деньги с жильцов, смотрел за домом, топил печки, а в свободное время раскладывал пасьянсы.

Я жил в Луге пять дней в неделю. На свободную субботу и воскресенье отправлялся в Ленинград, где на Гатчинской, как и до моего ареста, жила Иринка, теперь уже с двумя детьми. (Тогда выходной была не каждая суббота — раз в месяц в этот день работали, и такая суббота в народе называлась «черной», кроме

того, некоторые субботы приказом по заводу объявлялись рабочими.)

Иринка устроилась на работу на завод авторучек «Союз», Маринка ходила в пятый класс, Вовка — в ясли.

* * *

Когда мы покидали наш первый общий лужский приют — дачу, встал вопрос, как быть с вещами, привезенными из ссылки. Вести их в Питер было бессмысленно — мы все равно собирались обосноваться в Луге. Хозяйка дачи не хотела оставлять их у себя. Я обратился к Гене Темину, и он предложил сложить все вещи на своей неотапливаемой мансарде и в сарае. С помощью Сергея и Валерки мы погрузили всё на машину и сложили у Темина. Летом в Луге жила Генина семья, зимой домик пустовал. Гена работал в какой-то наладке и вечно мотался по командировкам, свободное же время зимой он, как и я, проводил в Питере.

Мы заранее договорились с ним, куда прятать ключ от дома, и я перевез вещи в его отсутствие. Когда мне надо было ехать в Ленинград, я узнавал у жены, что привезти из теплых вещей, заскакивал в теминский дом и брал нужное.

Однажды, набрав кучу всякой всячины, я потащился на вокзал, чтобы оставить все в камере хранения, а назавтра увезти в Питер, с вокзала я должен был идти на работу во вторую смену. На вокзале ко мне подошла какая-то женщина и спросила о здоровье Нины Павловны (в отчестве я сейчас не уверен). Я ответил, что «все хорошо». «А вы знаете ее?» Я совсем забыл, что так зовут жену Гены, и поэтому сказал, что не знаю. «Откуда же вы знаете про ее здоровье?» — «Не знаю, а ответил, что хорошо, чтобы не огорчать вас». Около ящиков камеры хранения меня арестовали. Из кутузки, куда меня посадили, было слышно, как милиционеры рассказывают друг другу о поимке домушника. Оказывается, у меня в рюкзаке добро из обворованного теминского дома. Наконец вызывают к следователю. Мой паспорт выдан на основании справки об освобождении — ясно, что рецидивист. Я рассказываю все начистоту. Милиционер спрашивает телефон Хахаева и звонит ему, Сергей подтверждает, что у Темина лежат мои вещи. Милиционер говорит, что меня он готов отпустить, а вещи пока останутся у них. Вдруг ему приходит новая мысль: «У вас там на «Химике» вечные кражи, не могли бы вы нам помочь?» — «Могу, но при одном условии, не могли бы вы прислать мили-

ционерера, который помогал бы мне в слесарном деле?» — «При чем тут милиционер?» — «А при чем тут я? Каждый занимается своим делом. Если уж помогать, то только взаимно». Следователь хохочет и говорит, что я могу взять свои вещи и уходить. Что я и делаю.

* * *

В один из приездов в Ленинград я гуляю с Вовкой в садике около дома. Останавливается пожилая дама: «Какой милый мальчик! Какие большие глаза!» Мне не нравится такой разговор в Вовкином присутствии, и я стараюсь его прекратить: «Все дети милые, непонятно, из кого потом вырастают бандиты и гэбисты». — «Так вы их тоже не любите?» Женщина отошла, потом вернулась: «А вы не боитесь такое говорить первому встречному?» — «Не боюсь, вы же сказали “и вы их тоже не любите?” Или это только про бандитов?» Женщина, уходя, бросает: «Конечно, не только про бандитов!»

* * *

Еще в Москве нам дали массу ленинградских адресов, и по приезде я познакомился с Людой Комм, Ирой Вербловской (первой женой Револьта Пименова и его поделницей по первому делу), «старушками на Пушкинской», в том числе Натальей Викторовной Гессе²⁵, с Лерой Исаковой (женой Егора Давыдова, который в это время сидел по 70-й статье за Самиздат), Леной илевой Разумовскими, Кириллом Владимировичем Косцинским. Были, наверное, и другие, мною не упомянутые. Иринка со многими познакомилась раньше.

Мы обменивались Самиздатом, обсуждали текущие события. Мне трудно писать об этих людях. Наши разговоры не были предназначены для публикации, и я не берусь воспроизводить ничего из услышанного: позабыл. К счастью для моих собеседников, никаких «приключений» (по тем временам обычно трагических) ни с кем из них не произошло.

²⁵ «Старушки на Пушкинской» (они же «Маршаковны» из воспоминаний Е.Г. Боннэр «Дочки-матери») — известное всему диссидентскому Ленинграду дружеское сообщество, куда, кроме Н.В. Гессе, входили также ее коллеги по литературно-редакторской работе с 1940-х годов Р.М. Этингер и З.М. Задунайская. Адрес квартиры на Пушкинской был хорошо известен и московским диссидентам; в частности, там всегда останавливались Сахаровы, когда приезжали в Ленинград. — *Прим. ред.*

Несколько слов о Кирилле Владимировиче Косцинском (Успенском; Косцинский — его литературный псевдоним). В войну он служил в разведке в немалых чинах; несмотря на это, ходил на разведзадания. Однажды, в самые последние дни войны, он даже спас в Вене нескольких будущих крупных австрийских политических деятелей — тогда совсем молодых людей. Их схватили наши солдаты, обнаружили при них оружие и уже собрались их расстрелять. Только благодаря вмешательству Кирилла Владимировича, который, в отличие от этих солдат, в совершенстве знал немецкий, выяснилось, что это вовсе не «вервольф», а группа антифашистского сопротивления. После войны, уйдя в отставку, писал книги о разведчиках, выходявшие в серии «Библиотека военных приключений». Все было хорошо, пока он не вступился за Дудинцева, чей роман «Не хлебом единым» тогда подвергся партийному разносу. Выступая на каком-то писательском собрании, тогдашний первый секретарь Ленинградского обкома Ф.Р.Козлов заявил, что «некоторые подонки еще и заступаются за Дудинцева», и назвал этих «подонков» пофамильно, среди перечисленных был упомянут и Косцинский. Кирилл Владимирович подал на партийного босса в суд за оскорбление. Суд дела к слушанью, разумеется, не принял, а через некоторое время сам Косцинский получил пять лет по ст.70 УК РСФСР. Мы познакомились только в Питере, потому что свой срок он окончил раньше нашего появления в зоне.

Однажды, когда мы говорили об истории, Кирилл Владимирович показал мне книгу Пикуля «Юнги». Пикуль тогда был в моде, но я однажды, открыв один из его новых романов — «Слово и дело», наткнулся на строки, в которых речь шла о немецком родстве русских императоров: «Окончательно немецкая кровь в российской политике кончилась только тогда, когда был расстрелян последний Романов» (за точность цитаты не ручаюсь, но смысл был именно такой), — и совершенно потерял интерес к этому автору. Кирилл Владимирович открыл форзац с дарственной надписью автора, где он адресовался к Косцинскому как к старшему другу и учителю, любимому и уважаемому. Надпись была очень пространной. Потом Косцинский протянул мне свой приговор, в котором Пикуль фигурировал как основной свидетель обвинения (на втором месте шел какой-то пикулевский родственник). Это они подробно рассказывали, когда и при каких обстоятельствах Косцинский рассказывал политический анекдот или произносил антисоветский тост.

Я вспомнил эту историю, увидев на одной из Красноармейских улиц мемориальную доску в честь Пикуля. Надо отдать должное Романовым и их губернаторам — те не увековечивали память Фаддея Булгарина. То ли вкус литературный у них был, то ли осведомителей хотя и ценили, но не уважали. Впрочем, гэбист во Владимире на мое замечание о том, что до революции полы в тюрьме были деревянными, ответил: «Романовы плохо кончили. Мы это учли». Губернатор Яковлев, увековечивший память Пикуля, мог бы сказать то же, что и тюремный гэбист.

* * *

Осенью 1975 года я получил от Люды Комм «Архипелаг ГУЛАГ». Прочсть не терпелось, и я, уверенный, что гэбисты из Питера в Лугу ездят на машинах, открыл ксероксный экземпляр прямо в вагоне электрички. Где-то на трети пути мне вдруг показалось, что какой-то мужчина смотрит на меня слишком внимательно. Потом он вышел в тамбур, ухватил за рукав парня, выходявшего на остановке, и что-то ему говорил, пока дверь не закрылась. Просил вызвать милицию? Я тоже вышел в тамбур, закурил, предложил сигарету мужчине, и мы разговорились. Я поинтересовался, что это была за станция (за окнами уже темно). Тот назвал — и неожиданно для меня он понес какую-то чушь, будто во время прошлой поездки они с друзьями перепили и какой-то парень украл у них магнитофон. Подъезжая к станции, он якобы узнал этого парня на платформе и попросил одного из выходящих сообщить об этом в милицию. Я отлично понимал, что за чтение «Архипелага» уже не сажают, но было жалко книгу, которую я тем более еще не успел прочсть. Я прекратил разговор, докурил одну сигарету, закурил другую. Соседу по тамбуру наскучило меня ждать, он пошел в вагон и уселся. Мне только того и надо было. Вернувшись в вагон, я сел на другое место, дальше по ходу поезда, — и снова достал из-за пазухи Солженицина. Время от времени я посматривал на подозрительного мужчину. Увидев, что он на меня не смотрит, я встал и отправился в последний вагон. Поезд уже подходил к Луге. После остановки я подождал, пока выйдет большая часть людей, для того чтобы меня не видно было от головы поезда, и тоже вышел. Спрыгнул с конца платформы и «задами, задями» отправился домой. Как и во многих аналогичных случаях, до сих пор не знаю, обманул я гэбистов или сам себя.

* * *

В том же 1975 году в квартире на Гатчинской появились два молодых человека — Лева Лурье и Арсений Рогинский. Разговаривали на темы, для нас привычно политические, а для них — исторические. Обсуждали и совершенно свежее событие — попытку демонстрации на Сенатской площади, в 150-летнюю годовщину восстания декабристов. Поскольку предварительно все обсуждалось по телефонам, гэбэшники приняли превентивные меры: большинство потенциальных участников было задержано дома и по несколько часов провело в отделениях милиции, площадь была оцеплена милицией, плакаты вырывали из рук раньше, чем их успевали развернуть. Один такой плакат, брошенный в Неву, поплыл текстом вверх: «Декабристы — первые русские диссиденты». Народ в Питере тогда еще не знал о том, что в Прибалтике недавно восстал военный корабль, и взявший командование офицер Саблин, по одной из версий, попытался повести его на Ленинград. А гэбэшники это уже знали, чем и объяснялся ажиотаж, связанный с демонстрацией. После ухода гостей мы с Иринкой говорили о молодом поколении, вступающем в борьбу (впрочем, не так торжественно), ибо Лева и Сеня были именно в том возрасте, в каком нас «повязали».

В 1981 году, когда мы уже очень близко знали друг друга, Арсений сказал мне: «Валерий, «они» советуют мне уехать» (то есть эмигрировать). Что мог означать «совет» гэбэшников, было ясно; тем не менее, я ответил, что сам бы не уехал. Через некоторое время Сеню арестовали, и весь его срок я чувствовал некую вину за собой, хотя думаю, что мое мнение и не было решающим. Когда такой же «совет» гэбэшники через два года дали Валерке Смолкину, я уже от всяких комментариев воздержался.

* * *

Примерно тогда же нас впервые навестили Миша Молоствов и его жена Рита — дружба с ними продолжается и по сей день. Тогда Молоствовы жили еще где-то под Омском, а здесь были в отпуске. В Питере они остановились у Ритиных родителей, живших вместе с ее младшим братом Димой. Приехав в город, я к ним и направился. Меня встретила Димины жена Ирена. Оказалось, что Миша только что попал в больницу и Рита уехала с ним. Было не совсем ясно, оставят ли Мишу в больнице или отпустят, и мне предложили подождать.

Мишу уже ждала другая гостья, с которой мы и разговорились. Моя собеседница, женщина лет за семьдесят, приехала, кажется, из Усть-Каменогорска. Она когда-то была эсеркой, и за это отсидела восемнадцать лет в лагерях. Впрочем, формально в партии она не состояла, а просто где-то в 1920-е годы она вышла замуж за ссыльного эсера. Но в партию социалистов-революционеров она не вступила, хотя разделила не только судьбу, но и взгляды своего мужа. Так решила эсеровская ссыльная коммуна: пусть в случае повторных арестов кто-то останется на воле. Эсеры были слишком хорошего мнения о своих бывших союзниках по революционной борьбе²⁶.

Я сидел, открыв рот слушая, как эта женщина рассказывала о Маше (так она называла Марию Спиридонову, с которой была хорошо знакома). В какое-то мгновение я посмотрел на Ирену, которая лет на пятнадцать моложе меня, и увидел, что она на меня смотрит теми же глазами, что я — на приятельницу Марии Спиридоновой.

Эсеры к началу тридцатых годов частично уже отсидели по первому кругу в тюрьмах, лагерях и ссылках и пребывали «в минусах», то есть под запретом на проживание в больших городах. Исключение составлял город Уфа, поэтому там постепенно собралось много видных эсеровских партийцев (в том числе и Спиридонова). В Уфе их всех и позабирали в 1937 году.

Меня интересовал левозэровский мятеж 1918 года: я хотел подтвердить одну догадку — не был ли Держинский первоначально в заговоре против Ленина вместе с левыми эсерами (его взгляды на Брестский мир совпадали с их позицией, в самом начале мятежа он отправился к левым эсерам, был якобы ими арестован, но потом его отпустили). Конечно, в 18-м году моя собеседница еще не имела никакого отношения к эсерам, но в тридцатых, познакомившись со Спиридоновой, «ничего подобного не слышала», хотя событие это и обсуждалось.

О нынешней ситуации моя собеседница высказалась так: «Конечно, это не тот социализм, о котором мечтали революционеры, но все-таки и не капитализм!» — капитализм представлялся ей еще более страшным. Я к тому времени уже понимал, что

²⁶ Возможно, речь идет о Галине Ивановне Затмиловой (1904–1983). Воспоминания Г.И.Затмиловой о М.А.Спиридоновой и других видных лидерах ПЛСР в 1930-е годы частично опубликованы в сборнике «Доднесь тяготее» (М.: Советский писатель, 1989. Вып. 1). — *Прим. ред.*

октябрьский переворот был контрреволюцией, и не только по отношению к Февралю — даже царское самодержавие после 1863 года было прогрессивнее, чем тоталитарный режим, державшийся на внеэкономическом принуждении. Но к моим доводам собеседница не прислушивалась, да и я вскорости прекратил спор — слова для нее значили больше, чем суть. Я вспомнил, что еще в зоне слышал подобное от Лёни Бородина: «У России особый путь. То, что у нас творили большевики, конечно, ужасно, но все-таки это не капитализм». (Сам я, оставаясь социалистом, считал, что капитализм — необходимый этап социального прогресса.) Увы, то, что мы имеем теперь, тоже «все-таки не капитализм».

Не дождавшись Молоствовых, мы вышли, продолжая разговор по пути. Старушка оборачивалась, проверяя, нет ли за нами слежки, по всем правилам кинокартин о революционерах, и шикала на меня всякий раз, когда я произносил нечто вроде: «так называемые коммунисты» или «гэбистская сволочь».

Приблизительно тогда же я познакомился с одной активной диссиденткой. Ее отец во время войны командовал партизанским отрядом, потом был лектором общества «Знание». Однажды моя знакомая спросила своего отца: «Папа, скажи, когда ты говорил правду о Сталине — тогда или сейчас?» (имелось в виду до или после XX съезда). Отец ответил: «Тогда нужно было говорить одно, теперь другое». («Нужно» для партии, так как человек этот не был корыстным, он доказал это и в партизанском отряде, и потом, когда на смертном одре отказался разговаривать с дочерью-диссиденткой.)

Тогда я еще не сомневался в принудительной силе логики: ведь никакие попытки опровергнуть теорему с помощью оружия к успеху не приводили. Конечно, рациональный, корыстный интерес вызывал кровопролития, но самая большая кровь все-таки лилась по другим поводам: «Какое веруеши?!» Через десяток лет я сумел объяснить себе это в своей работе «Апология рационального».

* * *

Весной в Ленинград приехали Вайли (фамилию эту Боря, по семейному преданию, унаследовал от французского барабанщика, оставшегося в России в 1812 году). В это же время мы ждали из Вильнюса Валерия Смолкина. Вайли собирались приехать прямо к нам, поэтому мы не пошли встречать Валерку и остались

дома. Было договорено, что Володя Шнитке, у которого был телефон, тоже будет у себя и через него мы свяжемся, чтобы встретиться всем вместе. Но в этот день Володин телефон не работал. Мы несколько раз бегали к ближайшему автомату и, отчаявшись, повели Вайлей в Эрмитаж. Уже возвращаясь из музея, на Дворцовом мосту мы встретились с нашими друзьями и Смолкиным — они тоже отправлялись в Эрмитаж. На следующий день Шнитке с другого телефона позвонил на телефонную станцию и сообщил, что его номер не работает. «Ах, да! Сейчас включу», — сказала девушка.

На наши денежки «бойцы невидимого фронта» маялись дурью, мешая жить гражданам, а мы встречались все равно, просто потому, что ходили в музеи.

Лужские будни

Своя квартира. — Тайная организация Новосильцева. — Бим и милиция. — Брежневская конституция

Тогда, в 1975 году, меня волновали и более приземленные проблемы — надо было искать жилье в Луге, а попытки обмена срывались одна за другой. Наконец в мае 1976 года нам удалось этот обмен совершить — мы получили двухкомнатную квартиру в деревне Заклинье, примыкавшей к Луге (до вокзала — сорок пять минут ходьбы, до завода «Химик» — двадцать пять). Обмен потребовал доплаты, сколько-то денег нам дал Лёша Столпнер и сколько-то мы получили из сахаровского детского фонда²⁷. Но платить всю требуемую сумму мы боялись — Вовка был маленький, с яслями надо было ждать очереди, иногда пару лет, и, следовательно, Иринка не могла бы устроиться на работу. В этих условиях нужно было иметь какой-то запас. Все это я честно поведал обменщику. «Дайте еще 100 рублей, и я устрою вашего ребенка в ясли». Еще сто рублей мы ему дали, и Вовка получил место

²⁷ Речь идет о неофициальном благотворительном фонде помощи детям политзаключенных и других лиц, преследовавшихся по политическим мотивам. Этот фонд был основан в сентябре 1974 г. женой А.Д.Сахарова Еленой Боннэр; на его создание Сахаров передал денежную награду, присужденную ему в Италии, — премию Чино дель Дука. Не путать с основанным А.И.Солженицыным ранее в том же году Общественным фондом помощи политзаключенным и их семьям, который неоднократно упоминается далее. — *Прим. ред.*

в яслях. Я запомнил этот эпизод потому, что это была единственная в жизни взятка, которую мне пришлось дать.

Мы перевезли вещи из Питера, но Иринка с детьми оставалась в старой квартире еще почти месяц — до окончания Маринкой пятого класса. Все, что мы привезли, в картонных ящиках было сложено на полу.

* * *

Однажды, придя с работы, я обнаружил, что вещи кто-то двигал: на ящике с посудой стояли книги. Я стал прилаживать новый замок, но оказалось, что нет шурупов, и я побежал в магазин. Вернувшись, увидел ключ и записку: «Оставляю вам еще один ключ за ненадобностью». Как выяснилось позже, один из ящичков с книгами пропал.

В это время в Луге появился некто Новосильцев, тоже сидевший в политзоне, не помню уже за что. Появился он сначала у Сергея Хахаева. В Лугу Новосильцев явился, чтобы создать подпольную организацию, объездив до этого несколько городов Союза, встречаясь со старыми зэками.

В отсутствие хозяев Новосильцев рылся по ящикам и читал их письма. Одно из них было от Сережкиного друга по зоне, ныне покойного Зиновия Троицкого. Зиновий в том числе писал и о Новосильцеве, который занял у него некоторую сумму денег, а в ответ на просьбу их вернуть пригрозил, что может о Троицком сообщить что-нибудь в КГБ. Новосильцев излагал Сергею свои претензии к Троицкому: мол, тот распространяет о нем, Новосильцеве, клеветнические сведения. Теперь Сергей понял, что делает его гость в отсутствие хозяев. Но выгнать его на мороз не решился.

Первая моя встреча с ним произошла, еще когда я снимал комнатенку у деда. Соседнюю комнату снимал тогда Юра Г. На устроенную Новосильцевым «организационную» встречу я не пошел, а через стенку слушал, как собравшиеся (их было человека четыре) слушали нового вождя. Потом, когда все разошлись, я слышал самоизлияния пьяного Юры Г., который материл Новосильцева, втягивающего всех в свои «сраные дела». На самом совещании Юра сказать этого не решился.

Потом Новосильцев заявился ко мне, уже в Заклинье. Я ночевал в этой, теперь уже нашей, квартире вторую или третью ночь. Сначала он начал предъявлять претензии Гинзбургу, распорядителю Солженицынского фонда, который не давал ему денег на организационную работу. Логика Новосильцева была элементар-

но проста: Солженицын свои деньги заработал на крови народа (описывая ГУЛАГ), следовательно, и принадлежат эти деньги народу. Поскольку Новосильцев создает подпольную организацию для освобождения этого народа, деньги надо отдать ему. Я пытался что-то бормотать в ответ, но гость перевел разговор на другую тему — о Троицком — и стал грозить, что за клевету на него, Новосильцева, организация Троицкого «уберет». Я не верил в существование этой организации, но — чем черт не шутит: сам Новосильцев мог если и не убить человека, то настучать на него.

Я сделал квадратные глаза, такие же, как и у моего собеседника, и объявил ему, что за жизнь Троицкого будет «перед нами» отвечать лично он, Новосильцев. Потом я вывел его на лестницу и велел забыть мой адрес. Вскоре Новосильцев уехал из Луги. Встречи с ним имели последствия года через два, когда по его делу начали таскать на допросы «членов» созданной Новосильцевым «организации». Вызывали и Хахаева — Новосильцев якобы сказал, что Хахаев свой дом купил на иностранные деньги. «Вы же сами понимаете, что и это, и членство в организации несерьезно», — ответил Сергей. Очевидно, гэбисты это действительно понимали, потому что больше по этому поводу Сергея не тревожили. Далеко не все таким образом могли объясняться с ГБ. Тех, кто всерьез принял Новосильцева и его организацию, гэбистам удалось запугать, и некоторые из них давали желательные для власти показания на суде над Гинзбургом в 1978 году. После этого суда Новосильцев снова появился в Москве и угрожал жене Алика Арине похищением детей, если она не отдаст ему «народные деньги». Через некоторое время я опять услышал о Новосильцеве — он снова сел, на этот раз за то, что на Новый год срубил голубую ель в центре Ангарска.

В детстве и юности я никогда не верил, что революционеры, платившие за свои убеждения годами неволи и подполья, могли оказаться подонками. Эта моя вера ставила под сомнение и сталинскую Библию — «Краткий курс истории ВКП(б)», где старые большевики с дореволюционным стажем разоблачались как «враги народа». Я и в детстве не мог поверить, что они были иностранными шпионами и подсыпали в муку и масло толченое стекло. Из зоны я вышел уже не столь наивным. «Нечаевщина» — закономерная сторона любой идеологии, но это только одна из сторон, поэтому, думаю, глубоко не прав Петр Григоренко, утверждавший, что «в подполье можно встретить только крыс». Крыс можно встретить повсюду, и в подполье — тоже.

В июле 1976 года Иринка с детьми переехала в Лугу. Через некоторое время Вовку определили в ясли, и Иринка устроилась на работу в Сельхозтехнику, расположенную в Заклинье. Осенью Маринка пошла в школу. Быт наш налачился. Обзавелись мы и собакой Бимом. Этого пса, помесь боксера и добермана, завела себе моя теща. Справиться с большой собакой она не смогла, и Бим оказался у нас.

Как-то зимой, когда Маринка оставалась дома одна (Иринка была еще на работе, а я уже ушел во вторую смену), в нашу дверь позвонили: «Милиция». Несмотря на строгий запрет открывать без нас дверь неизвестным, Маринка открыла. На пороге стояли двое: один в милицейской форме, другой в штатском. «У вас сегодня никто не ночевал?» — «Нет». — «А сейчас дома никого нет?» — «Я одна». Тип в штатском сказал: «Давай посмотрим», — и отодвинул дочку, но тут вступил Бим: «Р-р-р». «Гости» оробели, и милиционер бросил своему спутнику: «Тебе же сказали, что никого нет! Пошли!» Когда они уже спускались со второго этажа, штатский, увидев, что Маринка смотрит им вслед, отпустил какую-то угрозу.

Вечером, вернувшись с работы, я узнал о дневном происшествии. Дочка получила выговор: «Ты же читала «Красную шапочку» и должна хорошо запомнить, чем кончаются разговоры с волками». А утром я позвонил в милицию, объяснил ситуацию и пытался выяснить, почему это милиция выбрала время, когда в квартире не было взрослых. Дежурный ответил, что ничего не знает. «Плохо дело, — сказал я, — по Луге бродит неизвестный, может быть, грабитель, в милицейской форме, хорошо еще, у нас оказалась большая собака. Надо немедленно предупредить граждан». Меня попросили позвонить попозже, когда заступит вчерашняя смена. Позвонил попозже, опять никто ничего не знает, и опять я рассказываю свою «версию». Просят перезвонить какому-то начальнику. Звоню — тот опять ничего не знает, снова рассказываю о грабителе в милицейской форме. «Ну, были, — говорит. — А разве что-нибудь случилось?» Значит, все-таки милиция! Отвечаю, что благодаря псу все обошлось благополучно.

Визит этот, очевидно, был связан с появлением в Луге на пару часов освободившегося политэзка (кажется, Макаренко). Ни к кому из наших знакомых он не заходил — и к нам тоже.

В этом же году началось обсуждение новой, брежневской Конституции СССР. Сергей предложил мне написать свои предложения, их мы собирались отправить и в Самиздат, и (для проформы) в конституционную комиссию. Мы решили не придирааться к 6-й статье, а сделать из нее логические выводы. Если уж предлагается, чтобы КПСС была правящей партией, то следует определить, каким образом КПСС будет осуществлять свои правящие функции, какую ответственность она будет нести за результаты управления, кто и как будет оценивать эти результаты. Нам казалось, что такая постановка вопроса в гораздо большей мере покажет нелепость и незаконность однопартийной системы, чем простое ее отрицание. К сожалению, наши друзья из правозащитного движения не могли даже «понарошку» согласиться с этой статьей конституции, и наш опус забраковали.

В декабре 1977 года мы узнали о смерти Галича. Я в это время был в Москве. Не помню, на какой из станций метро есть барельефы, посвященные городам России. Расположены эти барельефы были в каком-то труднодоступном месте, едва ли не на стене напротив перрона, по ту сторону рельсов. Но на барельефе города Галича лежали цветы.

Лето 78-го: мирное начало

Псков. — Опять эпопея с камерой хранения. — Псковщина. — Михайловское. — «До чего советская власть о людях заботится!» Ангина

Лето следующего, 1978 года было для меня особенно богато впечатлениями. В июне в Лугу приехали мои родители, и мы, Иринка, Маринка и я, отправились в поход, оставив Вовку на деда и бабушку.

План был такой: хорошенько осмотреть сам Псков, потом некоторые достопримечательности Псковщины и, наконец, по совету Рогинского, — Михайловское. В Михайловском летом работали экскурсоводами Сенины друзья, Аня и Андрей Арьевы.

По пути в Псков мы посетили разрушенный Крыпецкий монастырь. Несмотря на то что до него от станции надо было семь километров пробираться по болоту, верующие посещали развалины — среди груд мусора теплилась свечка, рядом лежали пас-

хальные яйца. На обвалившихся стенках были прилеплены бумажные иконки. Затем мы отправились в Псков.

Я не решаюсь описать красоту Пскова. Мы пробыли там целую неделю. Утром оставляли вещи в камере хранения и бродили целый день по городу, а вечером, взяв рюкзаки, уезжали за город, ставили палатку на берегу реки Великой и на костре готовили себе ужин и завтрак. Утром опять оставляли рюкзаки на вокзале и отправлялись в город.

Однажды, когда мы засовывали рюкзаки в шкафчики камеры хранения, я услышал, что моя пятнадцатикопеечная монета провалилась раньше, чем я успел закрыть дверцу. Я потрогал и вытащил ящичек, наполненный монетами, забрал свою, ящик задвинул на место, а рюкзак положил в другой шкаф. Потом пошел к диспетчеру и сказал ей, что в таком-то шкафчике свободно вынимается уже переполненный ящичек для приема денег. Услышав обычное «это не мое дело», вернулся к своим. С шкафчиком, который заняла Иринка, было все в порядке, и мы отправились в город.

Вечером опять пришли на вокзал. Свой рюкзак я достал, но другой шкаф, где были рюкзаки Иринки и дочки, не открывался. Я снова пошел к диспетчеру. Диспетчер, уже другая, посочувствовала нам, но заявила, что ничем помочь не может — ключи взял с собой начальник. «Когда появится?» — «В понедельник (дело было в пятницу), он уехал на рыбалку». Я вернулся в зал, и мы стали обсуждать положение, а оно оказывалось незавидным — ночевать три ночи на вокзальных скамейках и питаться в столовых, не имея доступа к запасу продуктов и небольшой сумме денег. Нас это не устраивало, и я опять пошел к диспетчеру. Услышал очередное «это не мое дело» и заявил, что взломаю ящик сам. Вернувшись к Иринке, я достал из рюкзака топор и направился к ящику. Но тут одумался — проводить пятнадцать суток отпуска в каталажке мне не хотелось, платить за сломанный ящик — тоже. Пока я стоял в раздумье, на сцене появились новые действующие лица: милиционер с собакой на поводке и некто в штатском, который предъявил мне милицейское удостоверение. Меня пригласили в машину, но я сначала отказался. Подошедшая Иринка, напротив, заявила, что мы поедем все трое, так как «надо же где-нибудь переночевать». Такая перспектива уже не устраивала милицию. Началось разбирательство. Я подошел к шкафчику и вытянул монетник с деньгами: «Видите, что здесь творится? Я еще утром сказал об этом диспетчеру».

Милиционер в штатском, пробормотав что-то про «бардак», сказал, что ему позвонила диспетчер и сообщила о каком-то мужчине, пытающемся топором вскрыть ящик. Наши вещи он пообещал достать. Через некоторое время в зале ожидания появилась работница автовокзала с ключами, но они к этим ящикам не подходили. Тогда, вооружившись проволокой, милиционер принялся за дело сам. Включилась сигнализация, и все дальнейшее происходило под вой сирены. Вещи нам вернули, но когда мы уже вышли из вокзала, сирена все еще продолжала выть. Тут Иринка и вспомнила, что она просто перепутала код.

Осмотрев Псков, мы двинулись в Печоры. Роспись монастырских куполов напомнила нам билибинские иллюстрации к сказке о царе Салтане. Удивили монахи, некоторые сравнительно молодые: нам тогда казалось, что монашество ушло в далекое прошлое.

Опять встал вопрос о ночевке. Мы решили поставить палатку на чьем-нибудь приусадебном участке, чтобы утром не собирать вещи и не тащить их на вокзал: днем они оставались бы под охраной хозяев. В первом же доме, куда мы постучали, нас встретила приветливая старуха. Было ей лет под семьдесят, но она выглядела крепкой и деятельной. Лицо ее было изуродовано, как выяснилось позже, ударом конского копыта. «Зачем вам во дворе останавливаться? В доме гораздо лучше. Какое беспокойство? У меня паломники часто останавливаются. Ну что же, что не паломники — все равно люди».

Мы остались ночевать в этом гостеприимном доме. Хозяйка наварила картошки, у нас были тушенка и сгущенное молоко. Ужин затянулся за полночь — хозяйка рассказывала про свою жизнь.

Она рано осиротела, и ее взял к себе на воспитание священник. У него наша хозяйка и прислуживала, и училась грамоте. Очевидно, опасаясь за ее будущее, он рано, в пятнадцать лет, выдал девушку замуж в зажиточную семью. Куда делся священник, она не знала — «может, выслали». «В большой семье была нужна работница, вот меня и взяли. Муж мой умным оказался — почувял, что плохо будет, хозяйство бросил и на торфоразработки подался». Во время коллективизации ее муж имел уже трудовую книжку и социальное положение «рабочий». «Остальных выслали, а нас оставили».

Рассказывала она, как рушили церкви, как подвыпившие парни сбрасывали колокола. Муж ее погиб на фронте, а она всю

жизнь работала на подсобном хозяйстве торфопредприятия. «Платили мало, а как уйдешь — жилье-то (полдомика барачного типа) предприятию принадлежит, где буду жить?» Двух дочерей она выучила. Одна — бухгалтер в Ленинграде, другая — медсестра. «Когда меня конь ударил, она меня к себе в Военно-медицинскую академию устроила. Дома-то у них как — вода и холодная, и горячая прямо в кранах, и дров рубить не надо!»

Занять ее кровать мы категорически отказались. Положили на пол тяжеленные надувные матрасы, и я стал накачивать их «лягушкой». Хозяйка с удивлением смотрела на это занятие и вдруг, увидев, как надувается и принимает форму матрас, воскликнула: «Смотри-ка, что придумали! До чего же советская власть о людях заботится!» Это восклицание поразило даже Маринку; при ней мы избегали политической агитации, считая, что в ее возрасте не следует навязывать ребенку никакой идеологии. Конечно, наши разговоры с друзьями она слушала, но такой наглядный урок получила впервые.

В Михайловском мы успели познакомиться и подружиться с Арьевыми и погулять по окрестностям. На третий день я заболел ангиной, и с температурой под 40° Андрей усадил меня на автобус, проходящий через Лугу. Жена и дочка остались досматривать пушкинские места.

Лето 78-го: бурное окончание

«Командировка» в Красноярск. Такси. — Презентация «Малой земли». — Столешница с адресом Сахарова. — Дело Алика Гинзбурга. — Петров-Агатов. — Сергей Мамин. — В дороге. — Калуга. — Знакомство с Сахаровым. — «Демонстрация». — Меня пугают. — На заводе. — Опять провокации?

Но «покой нам только снится». На следующий день после возвращения в Лугу ко мне нагрянул Сергей: «У Сиротининых обыск, Вовку таскают на допросы». Я в отпуске, значит, мне и лететь в Красноярск. От ангины я еще не оправился, поэтому запасуюсь таблетками. Вместе с Сергеем наскребли деньги в один конец. В Питере покупаю билет на самолет и, чтобы убить время, отправляюсь на Пушкинскую. Меня кормят, пичкают какими-то лекарствами, Наталья Викторовна приносит деньги на обратную дорогу: «Вашим друзьям деньги еще могут понадобиться». Ночью

садимся в Горьком — заправка горючим, всех пассажиров удаляют из самолета, на улице мелкий дождь и холодный ветер. Утром, совсем больной, выхожу в Красноярске. Светит солнышко, тепло.

Решаю не дожидаться автобуса и взять такси. На стоянке очередь, которой управляет диспетчер, поэтому ждать приходится не только пассажирам, но и таксистам. Один подходит ко мне и предлагает садиться. Я чувствую себя настолько плохо, что, махнув рукой на правило «не давай выбирать себя, выбирай сам», сажусь в машину, называю адрес и отключаюсь. Проснулся я уже в городе, машина едет вдоль многоэтажных домов, сворачивает, и вдруг я вижу какое-то большое здание за бетонной оградой с железными воротами. Перед ним — «воронки» и милицейские легковушки. Обругав себя за легкомыслие, прикидываю свою позицию при разговоре с гэбистами и «сурово» обращаюсь к водителю: «Это еще что такое?!» В ответ слышу: «Тюрьма. Я проскочил адрес, нужно развернуться». Машина снова вырывается на улицу и останавливается: нужная мне улица и номер дома. Расплачиваюсь, поднимаюсь на этаж, звоню. Дверь открывает Свечка (Света Сиротинина), в глубине квартиры Вовчик с кем-то разговаривает по телефону. С этой минуты я вдруг почувствовал себя совершенно здоровым. Оказалось, что звонила из Москвы Лара Богораз — там тоже уже знали про обыск и допросы. Каждый день Вовчик пешком, благо это было недалеко, отправлялся на допрос. Жена провожала его, у здания ГБ они прощались, и Света отправлялась на работу. В этот раз я прогулялся вместе с друзьями. Вечером мы снова собрались вместе. Гэбэшники уже знали о моем прибытии, Вовке они говорили о «звонках из Москвы и эмиссарах из Ленинграда».

У Сиротининых забрали много всяких бумаг, но ничего криминального не оказалось. На солженицынском «Архипелаге» Света просидела весь обыск. Что-то незаметно вынес из дома их сын Сергей.

Незадолго до обыска Вовка посетил книжный базар (книги тогда были дефицитом). Продажа книг служила приманкой для того, чтобы привлечь публику к важному идеологическому мероприятию — презентации (тогда этого слова еще не знали) книги Брежнева «Малая земля». Теперь, на одном из допросов, Вовка увидел на столе следователя несколько буклетов, посвященных этой «презентации». Сиротинин взял буклет со стола и открыл его — к обоюдному удивлению и допрашиваемого, и следовате-

ля, на развороте красовалась фотография Вовчика с какой-то книгой в руках! Разве фотограф знал, что его «моделью» интересуется ГБ?

У многих сиротининских друзей тоже проводились обыски. Но в итоге эта кампания кончилась более или менее благополучно: никого не арестовали. Все-таки в местной газете был помещен фельетон о Сиротинине, где перечислялись еврейские (или похожие на еврейские) фамилии, найденные гэбистами в Вовкиной записной книжке. Перечень кончался патетическим восклицанием: «И эти люди говорят от имени русской культуры!»

В самый разгар страстей сиротининский начальник Эдик Чамлик повысил ему оклад, за что и был уволен с работы. В те времена в Красноярске хорошему инженеру на работу было устроиться нетрудно. Найдя новое место, Эдик вскоре перетащил туда и Вовку.

Я думаю, что такое развитие событий объясняется не только везением потенциальных жертв, но и тем, что местная ГБ по каким-то причинам не стремилась к громким делам. Приятельнице Сиротининых Вере Евгеньевне Парфеновой, довольно резко говорившей со следователем, тот сказал: «В «Хронику» хотите попасть? Не выйдет, мы вас арестовывать не будем».

В Красноярске это была не последняя серия обысков и допросов, но, насколько я помню, до арестов дело не дошло.

При обыске у Веры Евгеньевны усмотрели на нижней стороне столешницы написанный карандашом адрес Андрея Дмитриевича Сахарова. Столешница была приобщена к куче вещей, подлежащих изъятию. Вера Евгеньевна спросила, что собираются делать с этой доской, и, получив ответ: «Обыск проводится по московскому делу (возможно, по делу, связанному с солженицынским Фондом помощи политзаключенным), в Москву и отправим», — взмолилась: «Не делайте, пожалуйста, этого, а то в Москве решат, что у нас тут все идиоты». Это восклицание было совершенно искренним: Вера Евгеньевна была страстной патриоткой родного города. Адрес был сфотографирован, а столешница оставлена.

* * *

После нескольких дней в Красноярске я вернулся в Лугу и сразу же вышел на работу, хотя у меня от отпуска оставалось еще три дня. С начальником цеха Светланой Васильевной Широко-

вой я договорился, что возьму эти дни, когда мне понадобится... Дело в том, что приближался суд над Аликом Гинзбургом, в третий раз арестованным еще в феврале прошлого года, и Арина просила меня дать на суде свидетельские показания. Время суда еще не было определено, и эти дни я оставил до «часа X». Я отработал, наверное, месяц и получил телеграмму, сообщавшую место (Калуга, а не Москва) и время суда над Аликом.

Аресту Гинзбурга предшествовала статья в «Литературке», подписанная бывшим заключенным Дубравлага Петровым-Агатовым. В статье говорилось, что Алик пропивает деньги солженицынского Фонда помощи политзаключенным. Этот тип появился в Явасе уже тогда, когда я был в Озерном, и мы не виделись ни разу, но от заключенных я слышал о нем. Петров-Агатов усиленно раздувал свою значимость, для чего возил повсюду даже папку с какими-то документами. Мне он заочно не понравился, окончательно же мнение о нем я составил в Коми, когда получил от него письмо, какое-то религиозно-сушальное и ханжеское. Я, естественно, не ответил. Уже после ссылки, во время моих поездок в Москву, я узнал, что Петров-Агатов вертится около Алика, и высказал Алику и окружающим свое мнение об этом человеке. Со мною согласилась только Людя Алексева.

Получив телеграмму, я пошел к Светлане Васильевне и попросил оставшиеся от отпуска дни. «Не знаю, что и делать, — двое слесарей больны, Сергею Мамину я уже откладываю отпуск чуть не месяц. Пойдите к нему; если он согласится поработать еще несколько дней — можете быть свободным, а оставить цех без слесарей я не могу».

Сергей Мамин был — я уверен, что и остается — лучшим слесарем на заводе. Если бы такие, как он, составляли большинство рабочего класса, коммунизм уже был бы действительностью. Он не только все умел и понимал не хуже, чем все инженеры «Химика», вместе взятые, но и относился к предприятию как к своему. Будучи на больничном, едва став на ноги, Сергей появлялся на заводе и, если что-то не ладилось, снимал чистый пиджак, накидывал спецовку и брал в руки ключи. Сергей был избран в профком и там активно защищал интересы рабочих. В политику Сережа, однако, не лез и в разговорах на эту тему старался не участвовать.

Я пошел к Мамину. В ответ на мою просьбу он замахал руками: «Мне отпуск уже месяц откладывают. И не проси — жена

меня съест!» Тогда я решил идти ва-банк и рассказал Сергею, куда и зачем я собираюсь, добавив, что задержаться я могу и на большее время, «новый срок я, пожалуй, и не получу, а вот 15 суток — вполне возможно». Он нетерпеливо выслушал, повторил свое «не проси» и ушел. И так, все срывалось — имея двух детей, я уже не мог рисковать остаться без работы, да еще со статьей «за прогул» в трудовой книжке. С Иринкой мы договорились, что уеду сразу же после работы, теперь я позвонил ей на завод: поездка срывается.

Не успел я положить трубку, как опять явился Мамин: «Мы тут обсудили с Люсей (женой) и решили, что ты можешь ехать». Я позвонил начальнику и тоже получил разрешение. Хотел было сообщить жене, но подумал, что успею позвонить с вокзала, и правильно сделал. Уже вернувшись в Лугу, я узнал, что сразу же после моего звонка жене на завод позвонили из КГБ, требуя не отпускать меня ни под каким предлогом. Им ответили, что разрешение я получил и уже покинул территорию завода.

* * *

В Ленинграде опять проблема — билетов на Москву нет. Пока, заняв очередь, я раздумываю, что делать, появляется парень (поездной электрик) и предлагает желающим поездку без билета: «Деньги — мне». Несколько человек собираются вокруг него. Я раздумываю — снять меня с поезда за безбилетный проезд проще простого, но все-таки решаю рискнуть и подхожу к электрику. От очереди отделяются еще три парня, и мы всей толпой шествуем к поезду. Там нас распикивают по вагонам, вместе со мной в купе для проводников оказываются и молодые парни. Уже в Калуге около здания суда я снова увидел эту троицу. Там они вместе с другими такими же терлись в толпе диссидентов, пытаясь вступать в разговоры. Беспрепятственно входили в здание суда, куда нас не пускали, а на конечном этапе изображали «негодующий советский народ». Вероятнее всего, курсанты училищ КГБ.

В вагон зашли контролеры, заглянули в проводническое купе, посмотрели на нас, о чем-то поговорили с проводником и ушли. Почему мои попутчики не сняли меня с поезда, я не понимаю до сих пор. Судя по тому, что они ехали «зайцами», это для них была «производственная практика» по слежке: возможно, начальство просто не предусмотрело того, что в кассе не окажется билетов.

В Москве я позвонил Юре Шиху (Шихановичу)²⁸, условился, что на обратном пути остановлюсь у него, осведомился о расписании электричек и отправился в Калугу. Мне повезло — моя электричка отходила по расписанию. В вагоне пассажиры возмущались, что некоторые предыдущие поезда были сняты. Чехарда с электричками продолжалась все дни, пока шел суд над Аликом.

* * *

В Калуге, узнав у прохожих, где находится горсуд, я отправился туда. На подходе мне откозырял человек в милицмейской форме и потребовал предъявить документы. Изучив мой паспорт, он спросил, почему в нем нет штампа с места работы. В январе 1977 года в СССР происходила смена паспортов, на документах нового образца, отличавшихся от старых и по внешнему виду, штамп с места работы уже не ставился. «Вам-то это должно быть отлично известно», — сказал я «милиционеру» и спросил, на каком основании он носит форму другого ведомства. Тот снова откозырял, давая понять, что разговор окончен.

Около здания суда я увидел знакомые лица. Суд шел уже, кажется, второй день. Около здания собрались друзья Алика, было несколько иностранных корреспондентов. Зал был выбран маленький, и никого из приехавших в него не пустили, хотя процесс считался открытым. Мало того, придравшись к какому-то восклицанию, из зала удалили даже жену подсудимого, Арину. Никаких свидетелей защиты суд заслушивать не собирался. Арина подвела ко мне адвоката, и я высказал ему то, что собирался сказать на суде. Находившиеся рядом корреспонденты выставили диктофоны. Алика обвиняли в том, что фонд Солженицына только прикрывался гуманитарными целями, а на самом деле его средства использовались для антисоветской борьбы. Я припомнил разговор двухлетней давности. Тогда я спросил, как фонд относится к стукачам. Алик ответил: «Так же, как и к остальным политэкам. Во-первых, непровержимых свидетельств, что тот или иной человек «стучит», не бывает, во-вторых, даже если он и сту-

²⁸ Юрий Шиханович (р.1933) — математик. С конца 1960-х принимал активное участие в общественном движении; один из издателей «Хроники текущих событий». Дважды был арестован по обвинению в «антисоветской пропаганде»: в первый раз — в 1972 г. (признан невменяемым; освобожден из психиатрической больницы летом 1974 г.), вторично — в 1983 г. (приговорен к 5 годам лагерей и 5 годам ссылки; освобожден в 1987 г.). — *Прим. ред.*

кач, его дети в этом не виноваты». Потом эти мои слова, упомянув и мою фамилию, передали по «голосам».

Переночевал я в чьей-то машине. На следующий день я получил задание — смотреть, чтобы Витя Павленков не впутался в какой-нибудь скандал. Отец Виктора, преподаватель политэкономии, в 1969 году был арестован в Горьком за создание марксистского кружка и сравнительно недавно освобожден. Виктор был хорошим 16-летним парнем, только очень горячим, и была опасность, что гэбисты спровоцируют его на драку.

Среди нас появились новые люди, кто-то сказал: «Приехал Андрей Дмитриевич», — и указал мне на него. В это время я увидел, что Витя Павленков, стоявший в некотором отдалении от нас за спиной Сахарова, разъяренно жестикулирует в группе переодетых курсантов. Я вдруг забыл имя своего подопечного и закричал: «Эй ты! Иди сюда». Каково же было мое смущение, когда на этот окрик ко мне подошел Андрей Дмитриевич. Я сказал, что действительно очень рад знакомству с ним, но таким образом подзывать его я и не собирался. Андрей Дмитриевич прервал мои путанные извинения. В этот и следующий день мы несколько раз беседовали. Андрей Дмитриевич, слышавший о нашем деле, стал убеждать меня, что революционный путь преобразования общества ни к чему хорошему не приведет.

К этому времени мы и сами стали сомневаться в фатальной неизбежности революции — пример Чехословакии говорил о том, что инициативу кардинальных реформ может взять на себя сама власть.

Поднимаясь по ступенькам, Андрей Дмитриевич вдруг остановился и принял какое-то лекарство. Увидев мой обеспокоенный взгляд, прижал палец к губам: «Тсс», — и глазами указал на Елену Георгиевну. Та, очевидно, знала ситуацию: «Нитроглицерин. Того гляди, обвинят в диверсии».

На третий день моего пребывания в Калуге зачитали приговор — восемь лет лишения свободы. Я успел издалека взглянуть на Алика, когда его сажали в «воронок». О том, чтобы передать приготовленные гвоздики, не могло быть и речи.

После зачитания приговора состоялась «народная» демонстрация, одобряющая приговор, «народа» было немногим больше, чем нас, очевидно, режиссеры боялись привлекать большую толпу. Кто на этот раз изображал народ, я не знаю. Но к нам примкнуло несколько калужан, в том числе пожилых.

«Народ» выкрикивал «патриотические» лозунги, приправленные матом. Некоторые оралы: «Убирайтесь в Израиль!» Пикантность создавала мемориальная доска на здании суда: во дворе этого дома в 1918 году был расстрелян калужский ревком во главе с Гинзбургом. Инициалы того Гинзбурга я забыл.

В ответ на очередной выкрик о «предателях Родины» Елена Георгиевна подняла свое удостоверение ветерана Отечественной войны: «У кого есть, поднимите!» Над компанией диссидентов поднялось несколько книжек, свое удостоверение поднял и находившийся с нами пожилой калужанин. У тех не оказалось ни одного. (Надо отдать должное — между двумя группами, человек по сорок-пятьдесят, милиция удерживала некоторый коридор. Очевидно, на этот раз драка не входила в планы властей.)

Через некоторое время после того, как Алика увезли, все начали расходиться. Мы пошли к автобусу. В автобусе я разговаривал с кем-то из новых знакомых, стоя у самой двери. Около меня оказался один из гэбистов в штатском, все эти дни сновавший около здания суда. Он попытался заговорить со мной, но я не ответил. На первой же остановке мимо нас к выходу стала протискиваться молодая женщина. Гэбист, стоявший рядом, вдруг схватил ее за грудь. Я машинально отпустил стойку, за которую держался правой рукой, чтобы дать нахалу по морде, но вовремя сообразил и снова вцепился в стойку. Автобус остановился, женщина вышла. «Какие у нас в Калуге невоспитанные люди!» — прокомментировал ситуацию сам же гэбист.

В вечерней электричке на Москву было свободно. Мы уселись поближе друг к другу, и Андрей Дмитриевич включил приемник. Какой-то «голос» громко комментировал суд над Гинзбургом. На одной из остановок в вагон вошел полковник милиции. Постоял, послушал и, когда понял ситуацию, убрался от греха подальше.

На Киевском вокзале мы попросились. Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна звали меня к себе, но я, понимая, насколько они устали, с большим сожалением отказался.

Когда Сахарова уже сослали в Горький, я написал ему письмо. Надеясь приучить цензуру, я, наподобие чеховского героя, начал с каких-то физических «гипотез» и даже назвал свою эпистолю «письмом к ученому соседу». Андрей Дмитриевич ответил. В следующем письме я продолжил начатое — и ответа уже не получил. Таким образом, вместо того чтобы перехитрить гэбистов, я перехитрил сам себя.

Спускаясь на эскалаторе станции метро «Белорусская», я вдруг ощутил за спиной запах перегара, повернул голову — двое знакомцев по Калуге стоят рядом. Спустились вниз вместе. Иду к вагону метро, они следуют за мной. В подошедший поезд я не сел — они тоже. Иду к противоположной платформе — они за мной. Возвращаюсь к своей платформе прямо-таки под конвоем. Вдруг из-за колонны выходит какой-то тип: «Что, не узнаешь? Помнишь, когда взрывали станцию метро? У тебя, наверно, и сейчас взрывчатка с собой?» Он профессионально начинает охлупывать мою одежду. (В начале 1977 года на одной из станций был взрыв. Власти сначала пытались обвинять диссидентов. Потом «нашли» и расстреляли трех армян, один из которых — бывший политзэк. Слово «нашли» я поставил в кавычки потому, что не уверен в виновности расстрелянных.)

Я отодвигаюсь от него и громко, чтобы привлечь чье-нибудь внимание, отвечаю: «Гражданин, вы пьяны. Я вас не трогаю, отстаньте от меня!» (от него тоже несет перегаром).

Оглядываюсь вокруг — хотя время и позднее, на перроне стоят люди и смотрят на нас. И вдруг я радостно соображаю, что гэбисты боятся граждан, а я могу, хоть и с малой долей вероятности, на них надеяться. «Это моя страна и мой народ, гэбэшники и сами чувствуют себя оккупантами». Не хочу утверждать, что я совсем не испугался, наверно, с испуга я и начал формулировать свои мысли столь торжественно.

«А цветочки откуда?» (У меня в руке гвоздики, которые я так и не передал Алику.) Тип, вынырнувший из-за колонны, протягивает мне горсть мелочи: «Продай!» Мне очень хочется ударить по руке снизу, чтобы мелочь раскатилась по перрону, впрочем, я понимаю, что именно этого от меня и ждут, и снова громко повторяю свое: «Вы пьяны. Не приставайте ко мне». Подходит поезд, и провокатор уезжает на нем. Я иду к эскалатору на подъём, гэбэшники сзади. Пока я «общался» с этим типом, их уже стало трое, третьего, молодого парня, в Калуге я не видел. Стал на ленту, один становится сзади, двое других едут рядом на параллельном эскалаторе. Наскучив ситуацией, обращаюсь к «конвою»: «Брать будете?» — «Нет». — «Мешать звонить?» — «Нет». Поднявшись, подошел к автомату и набрал номер Даниэля, описал ситуацию. Юлий предлагает ночевать у него, это существенно, так как от метро до квартиры Даниэля путь по людному

проспекту, до Шихановича же надо идти по каким-то переулкам вдоль глухих заборов. К тому же я еще плохо в этих переулках ориентируюсь. Тем не менее от приглашения я отказался: «Я уже обещал Шиху. И еще — если они подумают, что я испугался, будут пугать и дальше». С Юлием мы договорились о том, что я зайду к нему на следующий день, когда куплю билет в Ленинград. Я опять спускаюсь вниз: «Дорого я обхожусь государству, вам же платят!» — «Не дорого. Платят мало. Обходился бы дорого — давно убрали бы». Такие вот разговоры.

На «Динамо» я поднялся не к тому выходу. Стою и соображаю, куда идти, народа на улице уже почти нет. Поскольку следить они за мной собираются и дальше, делать секрета из адреса смысла не имеет. Я повернулся к «конвою»: «Как пройти по такому-то адресу?» — и получил подробные разъяснения, мне объясняют не только как пройти, но и как можно проехать. Я решил, что ждать транспорта в это время придется долго, и пошел пешком. Пока мы шагали по освещенной улице, я чувствовал себя сравнительно хорошо, затем начались пустые переулки, от дальнего фонаря тени сопровождающих удлинлись, тени эти то опережают меня, то отстают. Когда я вошел в парадную, стало легче, позвонил — никого дома нет. Я вспомнил, что Юра дал мне телефон друзей, живших в том же подъезде, они собирались провести вместе вечер. Чтобы позвонить, надо выйти к автомату на улицу. Я понимаю, что если они дали мне зайти в парадную, то не помешают вернуться туда и после того, как я позвоню. Все понимаю, а выйти не могу. Я поднялся этажом выше и позвонил в дверь (время около часа ночи). С той стороны спросили, кто я, зачем звоню. Я ответил, что пришел в квартиру этажом ниже, хозяев не оказалось, а у меня что-то сердце барахлит и я хотел бы позвонить. Внутри меня не пустили, спросили номер телефона и позвонили сами. Через некоторое время я услышал спускающийся лифт, и на площадке появился Юра. Мы поднялись к его друзьям, где я занимал публику, рассказывая свои впечатления и о Калуге, и о московской прогулке под охраной. Когда мы спустились к Юре, он подвел меня к окну — на улице, демонстративно перегородив проход к подъезду, стояла машина.

Некоторые москвичи, например Саша Подрабинек, месяцами испытывали такое давление, поэтому я чувствовал и сейчас чувствую себя несколько неловко, вспоминая свои тогдашние страхи.

Утром машины уже не было. Позавтракав, мы вышли втроем, Юре нужно было идти в библиотеку, Але (его жене) — на работу,

мне — на вокзал за билетами. Пошли к трамваю, чтобы проводить Алю. По пути нам было ехать всего одну остановку. Когда мы выходили, вышел и какой-то мужчина, садившийся вместе с нами. Юра обратил на это внимание, но тот куда-то исчез, и мы пошли к метро. Около станции мы попрощались. Но на эскалаторе Юра меня догнал: «Посмотри наверх», — несколько выше нас стоял тот же мужчина. Юра отправился на выход, а я сел в вагон. Мужчина зашел в другую дверь. Оборачиваюсь, рядом стоит молодой парень из вчерашних. Очевидно, это ученик, которого старший еще только натаскивает.

На московском вокзале «ученик» вышел вместе со мною и крутился возле меня, пока я выбирал кассу. Наконец я занял очередь, подождал, пока за мной окажется несколько человек, и вышел покурить на улицу, а парень поплелся за мной. На улице поменялась погода, пошел холодный дождь. Я в плаще, а он в рубашке с короткими рукавами, и ему явно холодно. Оцениваю ситуацию и подзываю парня к себе: «Хочешь домой? Достань мне билет на ближайший поезд. И мне хорошо, и у тебя рабочий день сразу же кончится». «Это дело», — парень нерешительно топчется на месте. «Иди, я не убегу». Парень ушел и через некоторое время вернулся с вестью, что билет будет. Я все-таки решил проверить свою очередь: «Не было еще случая, чтобы твое ведомство меня не пыталось обмануть». Народу в кассовом зале полно, и я никак не могу найти знакомого места, сзади слышу шипенье: «Девятая касса, девятая касса». Пошел туда — и увидел знакомые лица. Перед самым моим носом касса закрылась на обеденный перерыв. Через некоторое время ко мне подошел мужчина с девочкой на плече: «Пусти меня перед собой», и сует деньги. Я отправил его в комнату матери и ребенка, но он направился прямо к выходу (его путь я наблюдал, глядя на девочку, которая возвышалась над головами). Через некоторое время появился следующий проситель, схватил меня за руку, оттащил немного и зашептал, что ему нужен билет на Мурманск и он готов заплатить, если я поставлю его перед собою. Я вырвал руку и вернулся на место. Через какое-то время появился еще один проситель. Тут я громко обратился к очереди: «Вот тут гражданин просит пропустить его без очереди». Сопровождаемый руганью, удалился и этот. Наконец я взял билет и вышел из вокзала. «Ученик» подошел ко мне: «Скажи вагон и место». Я возмутился: «На подсказках выехать хочешь? Лучше скажи, почему ты мне не взял билет?» — «Не было начальника, а без него я взять не мог». Тогда его ответ мне

показался убедительным, и я показал ему свой билет (потом решил, что начальник еще раз пытался меня спровоцировать). В метро парень снова спросил меня: «Теперь на старое место?» — «Теперь следи сам, больше подсказывать не буду».

Я поехал к Юлию и чуть было не обманул КГБ, за разговорами мы опомнились в последнюю минуту, чтобы не опоздать на поезд. Юлик поймал такси. Всю дорогу до вокзала за нами вприпрыжку, так что хорошо видны были лица пассажиров, следовала машина. В вагоне я сразу же улегся на свое место (верхняя полка), успел пожать через открытое окно руку Юлию, и поезд тронулся. Напротив меня, на боковых полках, устроились двое из машины, следовавшей за нами по Москве. Внизу парень, который брал билет непосредственно передо мною (еще в очереди я обратил внимание на газету, которую тот читал: «Красная звезда»). Только поезд тронулся, как он толкнул меня: «Хозяин! Ты уже спишь? Слезай, в картишки поиграем». Но я отвернулся к стене. Ночью те двое, с боковых мест, и мой нижний сосед играли в карты, а на столе стояла початая бутылка водки.

* * *

В Ленинград поезд пришел в пять утра. Когда меня разбудил проводник, в вагоне было уже пусто. На перроне меня ждали Веня и Лида Иофе, которым я позвонил еще из Москвы от Юлия (опасаясь новых провокаций, я просил меня встретить, благо они жили недалеко от вокзала). Веня сказал, что у меня будет «охрана» до самого дома — к нам в гости собралась Люда Комм.

От лужского вокзала до Заклинья мы с Людой шли пешком. По дороге меня увидела моя приятельница по «Химику» Галя Кузьмина. Она работала на заводе библиотекарем и жила тоже в Заклинье. «А вот и Ронкин, который обманул КГБ», — и рассказала, как гэбисты звонили на завод сразу же после моего ухода.

В понедельник я явился на работу. Как и положено, сначала пошел к начальнику доложить о прибытии. В кабинете меня встретили вопросом: «Сколько дали?»: присутствовавшие явно сочувствовали Алику, которого никогда не видели. Потом Широкова сообщила, что меня вызывает Рахманова (начальник отдела кадров и одновременно секретарь парткома). «Да, кстати, вы же не написали заявления на эти дни, вот бумага». Вместо трех рабочих дней я «гулял» четыре, совсем забыл, что суббота «черная». Широкова это мне напомнила. Я написал заявление на четыре рабочих дня. «Каким днем? Даты не ставьте». Ши-

рокова мне его сразу же подписала и сунула в свою папку. А я отправился к Рахмановой.

Та встретила меня сурово: «Я парторг и должна знать, что делают работники нашего завода. Где вы были?» «Этим вы можете поинтересоваться у членов вашей партии», — и я направился к выходу. «Постойте, я вызвала вас как начальник отдела кадров». Я снова сел на стул. «Нам известно, где вы были эти дни! И я могу кому следует сообщить об этом!» — «Это уже нахальство: как будто не от «кого следует» вы и узнали о том, где я был!» Рахманова решила зайти с другой стороны: «У нас тут порвали портрет Ленина, я могу подумать на вас». — «Если можете думать — думайте». — «И могу сообщить об этом». — «Сообщайте». — «Не хватало только, чтобы наши рабочие выступали по «Голосу Америки»! За это расстрелять мало!» Я возразил, что парторгу завода гораздо менее прилично слушать «Голос Америки», чем беспартийному слесарю выступать по этому «Голосу». «Мы вас кормим, а вы!..» Я так же спокойно ответил, что не она меня кормит, а я ее кормлю, «без парторгов и кадровиков завод работать может, а вот без слесарей — нет». Собеседница начала грозить мне увольнением, на что я ответил, что совсем запутался: «Только что вы меня собирались расстрелять, теперь хотите уволить». Последнюю фразу я сказал уже в присутствии ее помощницы по кадрам, которая вошла в кабинет, — и тут Рахманова вдруг заявила: «Я вам ничем не угрожала, вот и свидетель есть».

Впоследствии я пересказал эту беседу в курилке цеха, и при появлении в цеху Рахмановой мои приятели начинали орать: «Ронкин! Прячься! Рахманиха с автоматом идет!»

* * *

На следующий день ко мне подошла работница техотдела: «Ронкин, тут приехал командировочный. Расскажи ему, как работает твой станок». Я было принялся объяснять устройство, но командировочный меня оборвал: «Станок я и сам знаю, мне ткань нужна» (для работы станка нужна была очень дефицитная специальная ткань). Я вынул из кармана маленькую полоску, достаточную для единичной заправки. «Этого мало». Я объяснил, что больше у меня нет, рулон хранится в кабинете начальника цеха, и предложил отправиться туда. В кабинете я представил Широковой командировочного и его просьбу. Широкова разрешила оторвать довольно большой кусок, и я, в присутствии начальства, вручил его просителю. Когда мы уже вышли за дверь, тот протя-

нул мне десятку — я пообещал спустить его с лестницы. Позже я спросил у работницы техотдела, почему порекомендовали для объяснений меня. А не более опытных слесарей. Она ответила: «Начальник сказал: отведи к Ронкину».

Поздно вечером, почти ночью, к нам в квартиру постучались. Пьяный голос спросил, не знаю ли я такого-то. «Опять начинается», — подумали мы с Иринкой и назвали адрес управдома, который жил этажом ниже. Судя по мату, раздававшемуся оттуда через минуту, пьяный голос не принадлежал сотруднику КГБ.

Я столь подробно описал все эти перипетии вовсе не для того, чтобы рассказать о работе КГБ. Я рассказываю о себе. Я совершенно уверен, что мужчина, приставший ко мне в московском метро, был провокатором. А гэбист, лапавший женщину в калужском автобусе? Может быть, он просто отдыхал после рабочего дня? Кто были люди, просившие меня пропустить их без очереди в кассу? Для провокации или ради контакта на будущее предлагал мне десятку «командировочный» на заводе — и следует ли это слово брать в кавычки? На эти вопросы у меня нет ответа. Читатель может только понять, как чувствовал себя я в то время.

Дети

Происшествия на остановке. — Чего боится человек семидесятых? — 45-й интернат. — Молодежь новой эпохи. — Свастика и наркотики

В январе 1978 года у нас на заводе начало первой смены сдвинулось на полчаса раньше. Чтобы не поднимать маленького Вовку так рано, мы решили, что водить его в садик — сравнительно недалеко от школы — будет Маринка.

Несколько раз они ездили безо всяких приключений. Но однажды дети чуть не попали под автобус. Пока Маринка с тепло закутанным Вовкой пыталась вылезти из автобуса, шофер, не закрыв двери, неожиданно тронул автобус. Только крики пассажиров предотвратили катастрофу. Автобус притормозил, дети слезли, а Маринка записала номер автобуса. Назавтра я написал письмо начальнику автотранспортного предприятия. Я писал, что остановка, на которой чуть было не произошла беда, требует особого внимания — рядом школа и несколько детских садов и яслей, куда из Заклинья едет много детей. «В этот раз все кончилось благополучно, но кто гарантирован от возможной трагедии?» Ответ

я получил недели через две, в нем сообщалось, что «с водителем таким-то проведена воспитательная работа».

Еще через две недели к нам пришла заплаканная Галя Кузьмина: одноклассница ее сына была насмерть раздавлена задним колесом автобуса на той же самой остановке при тех же самых обстоятельствах. Галя рассказала, что такое происходит чуть ли не ежегодно. Мы решили обратиться в местный поселковый Совет с предложением собрать за克林ских родителей и руководителей заинтересованных ведомств. К моему удивлению, предложение было принято, правда, собрание, чтобы не омрачать праздники — День Советской Армии и Женский день, — было отодвинуто на конец марта. На самом деле это было сделано для того, чтобы вопрос потерял эмоциональную остроту. Школа, взявшаяся оповестить родителей, сделала это из рук вон плохо. На собрание пришло довольно мало людей. Начались выступления. Представитель ГАИ долго рассказывал о героизме Советской Армии, освободившей Лугу от немецких оккупантов, и только перед самым концом упомянул о светофоре, который милиция не может поставить на этом перекрестке, поскольку таковых светофоров просто нет. Вопрос с места, откуда взялся светофор, установленный около райкома, милиционер оставил без ответа. Потом выступил я и внес кое-какие предложения, в том числе выделить для школьников автобус, хотя бы на утренний рейс. Меня «поддержал» парторг совхоза: «У нас такой возможности нет, но вот Сельхозтехника выделить автобус может» (представителя последней на собрании не было). Завуч школы предложил родителям организовать дежурство на остановке. Представитель автоколонны, после того как я прочел свое письмо по поводу происшествия с моими детьми и их ответ мне, заявил, что этот частный вопрос никого из присутствующих не интересует и он может поговорить со мною после собрания.

Тогда я поставил на голосование вопрос о том, что мы возлагаем на председателя сельсовета всю ответственность за безопасность наших детей и в случае новой трагедии отзовем его, согласно соответствующей статье тогда еще новой конституции. Присутствовавшие подняли руки, увы, далеко не все. Каково же было мое удивление, когда в протоколе собрания, который вела и зачитывала Галя Кузьмина, моего предложения даже не оказалось. После собрания я спросил у нее, почему она не вписала это мое выступление в протокол, и услышал в ответ: «Вы, Валерий Ефимович, человек отпетый, а я боюсь».

Прошло немногим меньше года, Галя погибла, сбита авто­мобилем недалеко от Заклинья. Она шла в Лугу на репетицию самодеятельного театра. Как оказалось, травма была не смертель­ная, но водитель перебросил свою жертву через барьер, образо­ванный снегом, счищаемым с полотна шоссе, — а утром, когда рассвело, ее обнаружили, умершую от кровопотери и холода.

Через некоторое время соседка рассказала Иринке, что она случайно присутствовала в сельсовете, когда туда вбежала жен­щина с криком: «Мы вчера задавили человека!» (по слухам, это была любовница сына одного местного начальника, которая в вечер трагедии была с ним в машине). Однако виновного в гибели Гали так и не нашли. На вопрос, даст ли свидетельница этого разговора показания в суде, та посмотрела на Иринку как на сумасшедшую. Советские граждане боялись уже даже не власти, а частного произвола ее представителей. Мало, но все-таки вероятно, что будь Галя храбрее при составлении протокола собрания, хоть какой-то порядок на участке шоссе Заклинье—Луга был бы наведен. И чем она рисковала, уже не в сталинскую эру, упомянув в протоколе о моем предложении?

* * *

В сентябре того же 78-го года Маринка поступила в 45-й ма­тематический интернат при ЛГУ, находившийся тогда в Ленин­граде. Еще год назад она выиграла на школьной олимпиаде пра­во поехать в летний математический лагерь, а там заработала возможность поехать в такой же лагерь на следующий год. Теперь ее пригласили в восьмой класс математического интерната. Там собирались дети не только из Питера, но и со всего Северо­Запада. В августе Вовка тяжело заболел, и его вместе с мамой уложили в больницу. Я прямо с работы ездил к ним. Вернувшись из лагеря, Маринка рассказала нам про интернат, самостоятельно собрала документы и вещи и укатила в Питер.

Возраст «от двух до пяти» Маринка прожила без меня. Вовка в какой-то мере компенсировал этот провал (разумеется, для меня, а не для дочки).

Бедные наши дети. Почти с рождения они должны были про­сыпаться не тогда, когда хотели, а тогда, когда родители шли на работу. Будим сына, вчера он поздно лег, сегодня за окном уны­лый осенний дождь. Малыш садится в кровати с закрытыми гла­зами. «Вовочка, вставай». — «Каждый день вставай да вставай! Скорее бы на пенсию».

Я что-то запретил сыну, он надулся. Желая восстановить «дипломатические отношения», я убеждаю его: «Я же запретил не просто так, вот у тебя будут дети, и ты им тоже не все сумеешь разрешить». — «У меня не будет детей, я уйду в монастыр!» (откуда он взял этот «монастыр», не понимаю, может быть, я ему что-нибудь рассказывал?).

В Луге в ясли, а потом и в садик чаще всего водил Вовку я, по пути рассказывая ему разные сказки и истории, которые иногда придумывал на ходу. Порой это превращалось в игру: «Пришел олень к моржу...», дальше мы импровизировали диалог. Однажды сын попросил рассказать ему что-нибудь, «только не сказку». Я начинаю историю о том, как стул пошел в гости к столу. «Это сказка! Стулья не ходят!» Я убеждаю сына, что у стула четыре ноги, как и у Бима, он все равно не верит. «А тапки сами могут ходить? Нет? Так почему же ты сказал мне, что твои тапки сами куда-то делись?»

Иногда победителем в таких ситуациях оказывался Вовка. Выходной день. Иринка уехала в Ленинград, я варю Вовке манную кашу, разумеется, каша получается с комками, которые сын зовет «точками» и терпеть не может. Я апеллирую к мужской солидарности: «Мама уехала, я не умею варить лучше, не подводи меня, пожалуйста». Каша съедена, и мы отправляемся гулять в лес. На обратном пути слышим какой-то треск. На вопрос сына я отвечаю, что это, наверное, ветер обломал ветку, а может быть, и медведь. Предлагаю сходить и посмотреть. Вовка делает пару шагов и ждет меня, я предлагаю ему сходить одному — он делает еще шаг и возвращается ко мне. Через некоторое время он забывает о медведе и начинает бегать по лесу, восклицая: «Я великий охотник!» «Какой же ты охотник, — возражаю я, — медведя испугался». Обиженный Вовка замолкает, и мы идем, не разговаривая. Уже на подходе к дому сын выпаливает: «А каша утром была с точками!» Мне и крыть нечем.

Когда ему было года четыре, у нас произошел более серьезный конфликт. Вовка играл на диване и уронил резинового гуся, о которого я споткнулся. Я попросил поднять. Через некоторое время увидел, что гусь по-прежнему на полу: «Если не поднимешь, я поставлю его на верхнюю книжную полку, тогда тебе очень захочется с ним поиграть, а достать не сумеешь». Через какое-то время я кладу игрушку на эту полку. Вовка прыгает на диване в каком-то возбуждении: «Папа ты п....н!» (было произнесено слово, обычно кончающееся на «ец» — и значило оно в

этом «правильном» виде совсем не то, что Вовка имел в виду). Мат я слышу от него впервые, стараюсь сообразить, что делать. Первым побуждением было поправить суффикс. Шлепнуть? Он только этого и ждет, чтобы окончательно почувствовать себя «униженным и оскорбленным». Чтобы выиграть время, притворяюсь, что не слышу (я иногда действительно плохо слышу), и прошу повторить, Вовка менее уверенно повторяет, я прошу повторить еще, Вовка повторяет, уже через силу. Я поворачиваюсь и ухожу. Подождав, снова подхожу к сыну: «Вовка, ты наш сын, и мы с мамой будем тебя любить, какой бы ты ни был. Так что при нас ты можешь ругаться. А вот дяде Сереже тебя любить не за что, он тебя уважать должен. Смотри не выругайся при нем, а то ведь можно и привыкнуть». Еще через час эта лиса подходит ко мне: «Папа, а как отличить плохие слова от хороших?» Я ему объясняю, что нормальные слова пишут в книжках.

* * *

С дочкой мы вели уже другие разговоры. Читали стихи, слушали бардовские песни, беседовали о разном — преимущественно не о политике. Но если все-таки дело касалось политики или идеологии (а как без этого можно было обойтись, когда половина знакомых — лагерники), то приходилось объяснять, о чем можно говорить на уроке, о чем лучше помолчать. Когда надо поднимать руку, а когда нет, и если спросят, как отвечать. Мы были счастливее наших детей — нам не приходилось лгать. Мы искренне плакали, когда умер Сталин, и искренне радовались его разоблачению. Конечно, уже в институте были занятия по истории КПСС, но наша точка зрения на прошлые события не очень противоречила официальной, а наиболее актуальные события обсуждались не на занятиях, а на собраниях, на которые уже можно было и не ходить.

Следующему поколению было гораздо труднее. Это касается не только Маринки, начало Вовкиного взросления пришлось тоже на этот период.

Из интерната Маринка стала приезжать в Лугу со своими новыми друзьями. Это не были ее соученики: через дочку одной из наших приятельниц (отец девочки в это время находился в лагере) Маринка познакомилась с совершенно не математической компанией. Был там начинающий художник, рассказывавший наркоманские анекдоты (возможно, и сам баловался наркотиками), тяготевшие к православию девочки, дети «отсидентов».

Мы с Иринкой разговаривали с ними как со взрослыми, это, вероятнее всего, и привлекало их к нам. Кое-кто из них собирался выпускать листовки, но только собирался. Попытались они выпускать рукописный литературный журнал. Большинство демонстративно дистанцировалось от политики — Леннон для них значил больше, чем Ленин (смерть первого кто-то из них даже отметил плакатом: «Леннон жил, Леннон жив, Леннон будет жить!»). Основной темой наших бесед была война, которую эта молодежь объявила поколению своих родителей. Это была единственная идеология этой компании. «Наркотики? Мы обходимся без них, но ничего не имеем против тех, кто их употребляет. Свастика — у нас есть приятели, которые ходят со свастикой. Если взрослым это не нравится, можно надеть и свастику». Наши замечания о моральной ответственности за последствия такого эпатажа отвергались. Года через полтора эту публику имела возможность наблюдать приехавшая к нам в гости Катя Молоствовва, которая тогда была младше их. «Катька их забодала!» — сообщила нам со смехом дочка, уже остывавшая к этой компании. Как Катя это сделала, мне неизвестно до сих пор.

Конечно, эта молодежь представляла не всех своих сверстников. Но когда я начал опрашивать детей всех знакомых по Питеру, не нашлось ни одного, кто не знал бы какого-нибудь наркомана — соученик, родственник, знакомый по двору.

На абразивном заводе

1980 год. — Субботники. — Двухпартийная система в совхозе им. Дзержинского. — Афганистан. — Как не надо пугать бабушку. —
Маринка поступает

В ноябре 1979 года я прочел в «Лужской правде» объявление: «Абразивному заводу требуется технолог». Если бы при сравнении себя с другими, действительно хорошими слесарями у меня не возникало чувства некоторой профессиональной неполноценности, я бы не подумал менять работу.

Но теперь я отправился на абразивный завод, к главному технолог, П.И.Драбкову. Тот согласился взять меня. Когда я обратил его внимание на причину своего увольнения из ВНИИСКА, Петр Иванович махнул рукой: «Меня это не интересует». Я понимал, что не только он контролирует ситуацию — уволюсь с

«Химика», а потом выяснится, что на абразивном места для меня нет, — и попросил взять меня переводом. Драбков согласился и на это, мне было вручено ходатайство абразивного завода к администрации «Химика», там согласились, и я вышел на работу на новое место.

* * *

Я довольно быстро освоился на новой работе. Своего прошлого я не скрывал, и взглядов тоже, до поры до времени это никого не беспокоило. В апреле 1980 года «вся страна готовилась к очередному Ленинскому субботнику». Наш начальник цеха Н.Н.Рассказов собрал ИТРовцев для обсуждения диспозиции. Рассказов был отличным начальником, цех знал как свои пять пальцев, вникал в каждую мелочь и неплохо относился к людям, но отчаянно боялся всякой власти, как высшей, так и низовой: директора завода, начальника милиции, а также представителей головного НИИ. Не столько даже боялся, сколько искренне благоговел перед любым начальством.

Когда совещание кончилось, я подошел к начальнику и заранее извинился за то, что на субботник я не пойду. «Почему?» — изумился Рассказов. «По той же причине, почему я не пойду и в баню, — не хочу: субботник вещь добровольная. Впрочем, учитывая наши хорошие отношения, могу объяснить. Если я хозяин, я должен иметь возможность обсуждать все проблемы страны, не рискуя попасть в каталажку. Если я подневольный работник, то в этом случае дурак тот, кто работает на хозяина бесплатно». И ушел на свое рабочее место. Через какое-то время мне позвонил Рассказов: «Ты уж извини, но я вынужден сообщить парторгу». — «Сообщайте хоть в ООН». Потом снова звонок: «Круглов тебя ждет».

Круглов был директорским парторгом. Это значит, что при согласовании в райкоме его выдвигал директор; были и райкомовские парторги, которых навязывал райком, вопрос этот решался по-разному в каждом конкретном случае. Директора старались выдвинуть на эту должность фигуру наименее самостоятельную. Круглов раньше был слесарем, и, как утверждали злые языки, рабочие постарше нередко гоняли его за водкой.

Я поднялся в кабинет Рассказова, где ожидал меня парторг. «Вы, я слышал, не хотите идти на субботник? Почему?» Я снова отвечаю, что и в баню тоже идти не хочу — дело-то добровольное. «Как добровольное! Наша партия постановила...» — «Вот и пусть

идут члены вашей партии». Ошеломленный Круглов некоторое время переваривает услышанное, а потом заявляет, что меня могут и уволить. «Сегодня меня уволят, завтра в “Нью-Йорк таймс” появится статья: “Советского инженера уволили за то, что он не вышел на добровольный субботник”, послезавтра эта статья ляжет на стол Романова (секретаря обкома Ленинградской области). Романов прочтет и скажет: “Какой дурак всю эту кашу заварил?” — и скажет это не про меня, а про вас. Я себе работу найду, хотя бы слесаря. А вы в слесаря, наверное, не захотите». С этим я вышел из кабинета.

Субботников я не посещал вплоть до того, как Горбачевым была объявлена политическая амнистия. Один мой коллега как-то заявил Рассказову: «Ронкин не ходит на субботники, и я не пойду», — и услышал в ответ: «Ронкиным занимается КГБ, а тобою мы займемся». Великое дело статус!

Следующая моя встреча с Кругловым произошла осенью на картофельном поле. Когда мне предлагали «добровольно» убирать урожай, я отказывался: «Я коллективизацию не проводил», но, если посылали по приказу, делать было нечего. В этот раз нами руководил Круглов. Все работали, а парторг, который был гораздо моложе многих, «надзирал». Мне это надоело, и, когда Круглов оказался недалеко от меня, я обратился к нему: «Давайте, как представители разных партий, покажем беспартийным массам, как надо работать». Через некоторое время я увидел, что и он присоединился к работающим. Когда рабочее время подошло к концу, я, добрав очередной ящик, закурил. Парторг, увидев, что я уже не работаю, тоже кончил работу и пошел к дороге. Тут я снова принялся за сбор картошки, и наш руководитель уже на другой борозде опять принялся за работу. На обратном пути в автобусе я острил: «Два часа на поле (совхоза им. Дзержинского!) существовала двухпартийная система, и все работали, а при однопартийной — Круглов только надзирал».

Недели через две после субботника я случайно встретил Драбкова, и он поинтересовался, почему я не пошел на это мероприятие. У немецкого писателя Брехта есть, сказал я, анекдот. Как-то нацистский министр труда при посещении концлагеря встретил там социал-демократа, бывшего министром труда при Веймарской республике. Заключение поинтересовался, почему при нацистах немецкий народ добровольно соглашается и на бесплатную работу, и на вечные поборы, в то время как при рабочем правительстве немцы бастовали и требовали зачастую невозможного.

Нацист ответил: «Смотря как организовать. Предположим, вам нужно, чтобы кот ел горчицу, как вы поступите?» Бывший министр взял кота и стал ему тыкать в рот палец с горчицей, кот исцарапал ему руки и вырвался. Нацист, взяв животное, сунул ему палец, измазанный горчицей, под хвост и отпустил. Кот начал вылизывать у себя под хвостом. «Видите, — сказал нацист, — кот лижет горчицу, причем абсолютно добровольно». Пересказав анекдот, я закончил: «Не пошел потому, что я не кот». «А обо мне вы подумали? Ведь это я принимал вас на работу». К ответу на такой вопрос я уже был внутренне готов — многие мои друзья выходили на демонстрации, присутствовали на собраниях, чтобы «не подводить хорошего человека», своего начальника. «В нашей стране, — сказал я, — за порядочность надо платить. Вы можете по своему положению придраться к моей работе в любой момент и уволить меня. Решайте сами». Дракков оказался порядочным человеком.

* * *

К новогоднему празднику 1980 года советская власть приготовила своим гражданам подарок — в Афганистан ввели войска.

Ира Вербловская работала вместе с женой врача, кончавшего Военно-медицинскую академию и служившего в советском посольстве в Кабуле, откуда его привезли уже в гробу. Жена погибшего узнала подробности его смерти от его друга, тоже врача, сопровождавшего тело в Россию.

Во время банкета во дворце тогдашний друг Советского Союза Амин неожиданно почувствовал себя очень плохо. Советские врачи принялись оказывать ему помощь прямо в банкетном зале. Вдруг во дворце началась стрельба, какой-то афганец подбежал к врачам и сказал, что оставаться здесь опасно. Погас свет, и врачи заскочили в первую попавшуюся пустую комнату. Через некоторое время дверь открылась, и кто-то дал очередь из автомата. Один из врачей был убит, второй крикнул по-русски, чтобы не стреляли. Убитого врача хоронила Военно-медицинская академия.

Почти сразу же в магазинах появились афганские оливки, а в Ленинграде летом я увидел объявление: «Продаются шенки афганской борзой». «Борзых шенков» оплачивали похоронками. Вскоре и в Лугу стали приходить гробы. У нас в соседнем подъезде мать потеряла сына.

В начале афганской войны я написал «Песенку, которую мурлычат наши генералы, глядя на карту мира». (Только что по «голосам» передали о разоблачении какого-то японского генерала,

сотрудничавшего с советской разведкой; что случилось во Франции, я уже и не помню, а Марше в это время возглавлял Французскую компартию.)

В советских сейфах золота — навалом!
Интеллигентны наши атташе.
Мы в Токио купили генерала.
Французы! Голосуйте за Марше!

Нас любят в Будапеште, любят в Праге,
В Кабуле полюбили нас уже.
Мы всем покажем, где зимуют раки.
Французы! Голосуйте за Марше!

Любезней, чем нацистов при Петене,
Нас Марианна встретит в неглиже.
ГУЛАГ откроет филиал на Сене.
Французы! Голосуйте за Марше!

* * *

Летний отпуск 80-го мы частично проводили в Псковской области, в деревне Стеревнево, где жили Молоствовы, а частично в Москве, где остановились у Шихановича. У Шихов я попал на второй в моей жизни обыск, правда, теперь мы были наблюдателями. У нас отобрали фотоаппарат с пленкой, на которую мы снимали весь отпуск, и записные книжки. Шестилетний Вовка, увидев людей, которые, войдя в квартиру, сразу же взяли стремянку и куда-то полезли, спросил: «Дядя, вы ремонт будете делать?»; я ему объяснил: «Эти дяди пришли искать то, что не клали». Сын не понял, но насторожился. В Стеревневе по поручению Риты Молостковой Вовка собирал гусениц с капусты и плоды своих трудов решил захватить в Лугу. «Они банку мою долго рассматривали», — со смехом потом рассказывал Вовка. На обратном пути мы стали объяснять ему, что про обыск бабушке не надо рассказывать, чтобы ее не пугать. Уже в Ленинграде мы, описывая бабушке наше путешествие, упомянули конфликт в автобусе (кто-то толкнул Иринку, я — толкнул его, и дело чуть не дошло до драки). Вовка отвел меня в сторону: «Ты же говорил, бабушку не надо пугать». — «А что я сказал?» — «Про автобус». — «Это ерунда, сынок». — «А что, обыск страшнее?»

Прошел год, мы уже написали несколько писем в московскую ГБ, записные книжки нам вернули, а фотоаппарат нет. Прошел еще год, мы снова собрались в гости к Шихам. Написали им — и в ответ получили: «Приезжайте, обыск обеспечу». В Москве мы походили по музеям, встретились с друзьями, наконец получили от гэбистов свой фотоаппарат с засвеченной пленкой (очевидно, они так и не удосужились ее проявить за все это время).

Мы уже собирались назад, но задержались дня на два. И снова оказались свидетелями обыска у Шихов. Вовка уже наивных вопросов не задавал.

Задержались в Москве мы, разумеется, не ради обыска — хотели встретиться с Ларисой Богораз. Заочно я с нею познакомился еще в зоне через Юлия Даниэля, после моего освобождения встретились и подружились. С Иринкой они были знакомы еще после первых Иринкиных поездок в Мордовию. Каждый раз, оказавшись в Москве, мы старались увидеться с нею, а до ареста Толи Марченко, ее мужа, — и с ним.

* * *

В 1980 году Иринка перешла работать на мой абразивный завод, только в другой цех, в другом районе Луги. Она поменяла место работы, несмотря на то, что добираться ей стало теперь гораздо сложнее. В Сельхозтехнике она работала в отделе нормирования, и необходимость повышения норм, фактически не подкрепленная усовершенствованием технологии, ставила ее в двойственное положение, проще говоря — была противна. На абразивный она была принята технологом.

В 1981 году Маринка окончила школу. Мы знали, что биология ее интересует больше, чем физика или математика. Ее интернатский преподаватель Андрей Казанский сказал нам с Иринкой, что дочка собирается поступать в Политех, на специальность «генная инженерия», которая, по его мнению, в первую очередь связана с производством бактериологического оружия. Он просил уговорить нашу дочь отказаться от этих планов: «При вашей биографии она нигде не сумеет устроиться на работу». Мы убеждали Маринку, что это не только безнадежно, но и аморально, но она не изменила намерений: «Не может быть, чтобы генная инженерия не имела и мирного применения». Получив аттестат, Маринка отправилась в Политех, там ей выдали анкету, в которой был и такой вопрос: «Были ли ваши родственники под судом и следствием?», требовалось указать статью и прочие подробности.

Дочка не стала даже заполнять эту анкету и ушла. Большинство выпускников интерната поступали на физфак университета, и дочка подала туда заявление. Экзамены шли, а Маринка все еще решала проблему своей профессии. Сдав экзамены и увидев себя в списке зачисленных, она пошла забирать документы. Несмотря на уговоры секретарши одуматься, дочка наша документы забрала (мы узнали об этом позже) и подала заявление в медицинский институт, куда не прошла по конкурсу. Не поступила она и на следующий год. Два года Маринка проработала в лужской аптеке.

Слабым ее местом оказалась стилистика сочинения, несмотря на то, что в интернате она получала пятерки. Мы мучились догадками. Не принимали из-за меня? Или по национальному признаку? Или потому, что она была не ленинградка и ей требовалось общежитие? (На эту мысль наводили распределение абитуриентов по группам и те оценки, которые получали на экзаменах абитуриенты разных групп.) Если дочка плохо подготовлена, можно было заниматься, если же все зависело от иных причин, не имело смысла пытаться делать третий заход. И Рита Молостцова, и Наташа Рогинская (жена Сени) — обе учительницы литературы — считали, что все дело в плохом преподавании. Наташа взялась Маринку переучивать.

НОВЫЙ СТИЛЬ

«Прошлое и будущее социализма». — Беседа в Большом доме. —
Дело Репина

Осенью Сергея Хахаева и меня неожиданно вызвали к следователю ГБ в Питер. По дороге из Луги мы гадали, зачем мы им понадобились, но к каким выводам пришли, я уже и не помню. В Большом доме нас поодиночке провели в кабинеты.

Меня допрашивал очень молодой следователь, он начал с вопросов о самиздатском сборнике «Через топь», который попался им на каком-то из обысков. В сборнике была статья «Прошлое и будущее социализма», подписанная нашими фамилиями. Остальные статьи шли под псевдонимами. Этот сборник мы с Сергеем сделали еще году в 1979–1980-м. Там было несколько статей Молостцова, одна или две статьи нашего ленинградского приятеля Серережи Ч. и наша. Сборник размножила в нескольких экземпля-

рах Джемма Бабиц²⁹, и один мы передали через Сережу Масло-ва³⁰ «за бугор». Мы отказались от псевдонимов, во-первых, потому, что текст нашей статьи не был явно криминальным, во-вторых, потому, что, если КГБ займется расшифровкой псевдонимов и затратит на это деньги, работу гэбистов надо будет оправдать нашим арестом. В статье мы исследовали историю социалистической идеи и попыток ее реализации. Но в качестве примеров тоталитарного режима, как и в моем «Системном взгляде на историю», приводили не Советский союз, а Китай и Камбоджу, о которых официальная пресса писала и почище нашего. СССР в статье просто не упоминался. Нашу статью опубликовал журнал «Поиски», выходявший в Мюнхене³¹. Вторично, уже в 1990 году, в несколько сокращенном варианте она была напечатана в СССР, в сборнике «По страницам Самиздата».

Я сказал гэбэшнику, что статья действительно наша и если к нам есть какие-то претензии, нас должны допрашивать как обвиняемых, а не как свидетелей (в этом случае нам не грозила бы ответственность за отказ сотрудничать со следствием или за дачу ложных показаний). В ответ я услышал, что к нашей статье претензий нет, но сборник «Через топь» в целом антисоветский. Я возразил, что о сборнике под таким названием ничего не знаю

²⁹ Джемма Бабиц (урожд. Квачевская) — врач, участница общественного движения 1960-х—1970-х годов. Сестра Льва Квачевского, упоминавшегося автором в пятой части книги. В 1965 г. была исключена из института в связи с делом Ронкина и его товарищей. В конце 1970-х эмигрировала. — *Прим. ред.*

³⁰ Сергей Маслов (1940—1982) — математик, участник ряда самиздатских начинаний, предпринимавшихся в Ленинграде в 1970-е годы. Издатель машинописного журнала «Сумма» (1979—1982), представлявшего собой реферативное и библиографическое обозрение бесцензурной печати. Журнал прекратился после гибели С. Маслова в автокатастрофе. — *Прим. ред.*

³¹ Ошибка памяти автора: «Поиски» — не зарубежное эмигрантское издание, а самиздатский журнал, выпускавшийся группой московских диссидентов в 1978—1980 гг. Статья Ронкина и Хахаева «Прошлое, настоящее и будущее социализма» была помещена в журнале «Поиски» № 7/8 (обозначенная дата выпуска этого сдвоенного номера — 31 декабря 1979 г.). Вероятно, Ронкин видел зарубежное типографское переиздание материалов этого журнала, принятое в начале 1980-х годов в Париже (а не в Мюнхене) Л. М. Абовиным-Егидесом — одним из членов редакции, ранее эмигрировавшим. Оно имело то же название, тот же подзаголовок («Свободный московский журнал»), также делилось на выпуски, но в парижском переиздании распределение отдельных публикаций по выпускам значительно отличалось от исходного распределения их в московском самиздатском оригинале. В частности, в зарубежном варианте статья Ронкина и Хахаева отнесена не к № 7/8, а к № 3 (Париж, 1981 г.). — *Прим. ред.*

(тогда я был уверен, что у меня не осталось дома ни одного экземпляра, — спустя много-много лет, роаясь в своей библиотеке, я неожиданно для себя обнаружил машинопись этого сборника). На вопрос, кто перепечатывал нашу рукопись, я ответил так: «Этот человек эмигрировал (что было правдой), но я дал себе слово в этих стенах не называть никаких фамилий». Следователь начал хвалить нашу статью. «Печатайте», — отозвался я. И тут он в первый раз меня удивил. Покрутив пальцем у виска, сказал: «Наши идеологи не позволят». Я, конечно, понимал, что он пытается, как говорится, «установить контакт со свидетелем», но еще лет десять назад устанавливать контакт таким образом ни один гэбэшник просто бы не осмелился. Так, ни о чем, мы проговорили до обеда. Впрочем, один его вопрос был значимым. Касаясь нашей статьи, следователь спросил у меня: «Так вы считаете, что социализм и рынок абсолютно несовместимы?» Услышав от меня, что при существующем уровне технологии рынок и социализм несовместимы, он огорченно вздохнул.

Нам дали возможность сходить в столовую. Оказалось, что Сергею задавали те же вопросы. Обсудили мы и последнее замечание моего следователя: неужели у них на политинформациях уже говорят о рынке?

После обеда начался допрос по делу Валерия Репина, представителя солженицынского Фонда помощи политзаключенным в Ленинграде. Репина я знал хорошо; он бывал в Луге, а я даже гулял на его свадьбе. К этому времени Валерий уже «ходил под колпаком».

На первый же вопрос, касавшийся какой-то встречи, я ответил, что не помню. И тут следователь удивил меня вторично: «Вы, наверное, читали детективы?» — спросил он. Я ответил, что детективов не люблю. «Жаль! Вот там, например, речь идет о том, был ли дождь в четверг. Читатель поначалу не понимает, а для следствия это очень важно». Мне начало надоедать, и я спросил: «Откуда вы взяли, что я заинтересован в удачном исходе следствия? Я формально не отказываюсь от дачи показаний, чтобы меня не судили за отказ, но вспоминать я ничего не собираюсь». Следователь, взывая к моему патриотизму, начал что-то бормотать про ЦРУ и другие империалистические разведки. Я спросил его, видел ли он за всю свою службу хоть одного диссидента, связанного с разведкой, — получив отрицательный ответ, спросил, слышал ли он о таких случаях в частных разговорах с сослуживцами. И опять ответ был отрицательным. «Так откуда же вы знаете о связи диссидентов с ЦРУ?» Следователь открыл передо мной

книгу «ЦРУ против СССР». Отодвинув от себя книгу, я продолжил расспросы: «Автор книги — большой чин в КГБ? Нет, — так откуда же он все это знает? Вы ему врете, а потом верите тому, что он написал?»

Потом мы со следователем еще некоторое время говорили «за жизнь». «Читаете ли вы Самиздат?» (это спрашиваю я). «Только тот, что проходит по делу». Я интересуюсь, налажен ли между его коллегами книгообмен. «Иногда по дружбе даем что-нибудь интересное друг другу». Касаемся сталинских репрессий: «Вот вы, интеллигенция, говорите о репрессиях, а знаете, сколько при Сталине было арестовано чекистов? Не меньше, чем писателей!» «Вы это помните? — спрашиваю я, — не забывайте. Как только посадят последнего диссидента, примутся за вас, так что берегите тех, кто не дает простора репрессиям». Заговорили о спецмагазинах, мой собеседник вздыхает: «Был приказ, теперь младших офицеров КГБ открепили от спецраспределения. Только начиная с майора». Наверно, не врал, экономика страны была в таком состоянии, что на капитанов уже не хватало.

По ходу допроса я заявил, что с Репиным знаком и от своих друзей отказываться не собираюсь. «Не зарекайтесь, что-то вы скажете через некоторое время?» Эту реплику я понял через месяц, когда Репин появился на экранах телевизоров с покаянием. При этом демонстрировались фотографии Вени Иофе и кого-то еще, и Репин советовал им перестать заниматься преступной деятельностью, ибо такая деятельность неизбежно кончается арестом.

Я очень боялся за судьбу Вени и других людей, которых называл Репин. Тогда я еще не знал, что Репина чуть ли не год пугали расстрелом, арестом жены и помещением ребенка, родившегося уже после его ареста, в детский дом. Жаль хорошего парня, которого изломала система. После его освобождения мы уже не встретились.

1982—1984 годы

Поездка на Украину. — Прощание с Валерием Смолкиным. —
Ращпредложения. — Бывший чекист. — Возведение дома Молоствовых. —
Дед Леха. Заговор от начальства. — Николай Иванович Богомяков. —
Обмен. — Суд. — Битва с исполкомом

В декабре 1982 года меня неожиданно послали в командировку в Иршаву (Западная Украина), на тамошний абразив-

ный завод. Нужно было привезти оттуда копии какой-то технической документации. Наш бухгалтер передал в подарок бухгалтеру Иршавского завода электрический чайник (там такой предмет было невозможно купить). В Иршаве оказалось, что единственный в городе ксерокс сломан, а единственный специалист по такого рода технике болен. Я уже отчаялся, но, случайно оказавшись в местной фотографии, увидел объявление: изготавливаются снимки документов. Правда, цена за каждый фотоснимок мне показалась астрономической. Но не зря я вез чайник: местный бухгалтер, узнав об этой возможности, сообщил, что такая цена для завода — сущие пустяки. Я переснял документы и уже хотел ехать домой, но бухгалтер попросил меня подождать немного. Я слышал его переговоры с директором местного винзавода: «Нужно вино, не такое, как идет на продажу, а какое для своих делаете. («Свои» в те времена были не только заводское начальство и их друзья и знакомые, но и городская партийная элита. Однажды мне пришлось попробовать творог, изготовленный для райкомовского буфета.)

Итак, нагруженный двадцатилитровой бутылью с вином, которую я должен был передать своему бухгалтеру, я отправился в обратный путь. Необходимость возиться с бутылью вовсе меня не радовала: по пути я хотел остановиться во Львове и повидаться с приятелем по Явасу — Михаилом Осадчим, а в Вильнюсе увидеться со Смолкиным.

До Мукачева я ехал на автобусе. Все время по обе стороны дороги тянулись частные домики с приусадебными участками, засаженными виноградом, каждую лозу поддерживала П-образная стойка из двухдюймовой металлической трубы. Я прикидывал — на каждый участок метров сто—сто пятьдесят трубы, на километр дороги сотня участков, итого до Мукачева около тысячи километров труб, которые числились строго фондируемым материалом. Так вдоль не одной же этой дороги разводили виноград. И что виноград! На всех кладбищах на оградки шли те же самые трубы, явно Госпланом для этого не предназначенные.

Незадолго до этого рядом с нашим заводом, в атмосфере, загрязненной выбросами фенола, был построен детский сад. Строили его именно здесь вовсе не из-за головотяпства — просто иначе для подключения к водо- и теплокоммуникациям у города не хватало труб.

На обратном пути я повидался и с Мишей Осадчим, и со Смолкиными. Валерка впервые заговорил об отъезде из Союза. Он был распорядителем солженицынского фонда в Литве, после ареста Репина (декабрь 1981) у него уже было два обыска, и ему весьма недвусмысленно «намекнули»: «Не уедешь — посадим». Было очень грустно представить, что мы больше никогда не увидимся, но от советов, как я уже говорил, на этот раз я отказался. Уехали Смолкины через полгода.

Не справившись со своими противниками с помощью арестов, ссылок и увольнений, режим поуменел и стал выталкивать «врагов» из страны. Началась эпоха отъездов. Тогда уехать из Союза означало навсегда порвать почти все связи с друзьями. Каждый должен был выбирать сам. Рвались эти связи и для оставшихся.

Бутылку с вином я каждый раз сдавал в камеру хранения: в Мукачеве, Львове и Вильнюсе. Народ там оказался порядочным — отливать каждый раз отливали, но нигде водой не разбавили. Когда я отдавал этот ценный груз, наш бухгалтер предложил мне принести пустую бутылку. Новый, 1983 год мы встречали отличным вином из Иршавы.

* * *

На абразивном заводе я не раз подавал рацпредложения и даже был отмечен какой-то грамотой. Чаще всего получал по десятке, однажды получил аж пятьдесят рублей (зарплата моя была в то время около ста пятидесяти). Одно из моих рацпредложений, по моему расчету, тянуло тысяч на десять, но оформить его мне не удалось. М., тогдашняя начальница БРИЗ (бюро рационализации и изобретений), не пропускала без своего соавторства ни одного денежного предложения. Когда я подал это, она невзначай спросила меня: «Ронкин, почему вы всегда один подаете предложения, никого в него не включая?» — на что я ответил, что не хочу кормить дармоедов.

Когда мое предложение уже давно работало, я отправился к начальству. Оказалось, что предложение не зарегистрировано в БРИЗ, а новое подавать было уже поздно — прошло более трех месяцев со дня внедрения. Собственно говоря, формального внедрения, т.е. утвержденной технологии, еще не было; «и не будет!» — заявил мне следующий по рангу начальник. «А если я обжалую тот факт, что мы работаем без утвержденной технологии?» — «Подведете Рассказова, он же вам дал такое разрешение».

Муж М. (начальницы БРИЗ) работал в нашем же цехе. Однажды в подпитии он хвастал, как в бытность свою сержантом войск КГБ грабил винные погреба и насиловал женщин при выселении крымских татар. За сии подвиги он якобы имел грамоту, подписанную лично Берией. Показать ее он не мог. «Когда Берию арестовали, моя баба ее сожгла». Я, может быть, про грамоту и не поверил бы, но незадолго до этого разговора я, сам того не зная, пригласил в гости другого отставного гэбиста. Мы с ним встретились в книжном магазине. Когда я спрашивал в букинистическом отделе «что-нибудь по мифологии», ко мне подошел пожилой мужчина и предложил заинтересовавшую меня книжку. В обмен ему нужен был Пикуль, воспоминания маршалов и еще что-то. Такого у нас дома не было. Однако нам иногда дарили разные книги, в том числе и такие, которые мы и не собирались читать. Итак, я пригласил этого человека к себе посмотреть, не найдется ли чего нужного ему. Уже дома, рассказывая Иринке о назначенной встрече, я заявил: «Судя по вкусам, наверное, гэбист».

В назначенное время он заявился вместе с внуком. Осмотрел библиотеку, взглянул с любопытством на фотографии Леха Валенсы, Мартова, Сахарова (персонажи обозначались подписями). Но наибольшее его удивление вызвало собрание сочинений Сталина: «Как, и Сталин у вас есть?» Я ответил, что книга есть не просит и даже не кусается. «А я, — сказал гость, — немедленно все выбросил». Наконец он нашел нужную ему и не нужную нам книжку. Он было посетовал, что переплет не того цвета, но вспомнил, что может обменяться со своим приятелем на нужный цвет. Мне было интересно, угадал я его профессию или нет. Угадал! Когда разговор коснулся войны, выяснилось, что он служил в СМЕРШе.

Очень интересно гость реагировал на книгу «Мастер и Маргарита». Изданная в СССР, она была прислана нам из Дании Борей Вайлем. Бывший смершевец хотел иметь ее во что бы то ни стало. При этом он говорил, что книга-то неинтересная, но «у всех есть, а у меня нет».

И еще одна книжная история. В букинистическом отделе я увидел книгу Хемингуэя «По ком звонит колокол». Денег у меня с собой не было, а на следующий день не оказалось книги. Ко мне подошла директор магазина и спросила, что я ищу. Прошло

несколько месяцев, и к Иринке, заглянувшей в книжный, обратилась директриса: «У нас появилась книга, которую просил ваш муж», — и дала Иринке «По ком звонит колокол». В те времена книги были дефицитом и продажа хорошей книги по номиналу была подарком. Поскольку директриса никакого проку от меня ожидать не могла, мы с Иринкой немало ее поступку удивились. Прошло много лет, этот книжный магазин уже закрылся, когда я узнал, что его директриса была женой тогдашнего начальника лужского КГБ. Что такого рассказал ей муж, что она выделила меня из множества покупателей?..

В марте 1982 года умерла старший технолог цеха, немного не дожив до пенсии. Начальник вызвал меня и предложил временно в течение года исполнять эту должность. Я отказался, потому что обязанности старшего технолога включали огромную долю административной работы, которой я не терпел. Но Николай Николаевич умел уговаривать, и я в конце концов согласился. Плохо ли, хорошо ли я исполнял свои новые обязанности, не мне судить.

Однажды, «числа не помню», в ноябре месяце того же года Рассказов, как обычно, вызвал меня и попросил собрать ИТРовцев для обсуждения каких-то технических вопросов. Собраться решили в двенадцать часов дня. Но никаких технических вопросов в двенадцать часов не обсуждалось: речь шла о том, что я не справился со своими обязанностями и Рассказов решил меня отстранить от исполнения должности старшего технолога. За два часа до собрания по радио передали, что «Генеральным секретарем ЦК КПСС избран товарищ Андропов», до этого занимавший должность Председателя КГБ.

В качестве «большого начальника» я еще раньше успел подписать у самого директора бумагу на покупку пятнадцати досок, понадобившихся мне для книжного стеллажа. Собрав, кроме директорской, еще несколько подписей, я передал свое заявление в столярный цех. Когда доски были готовы и оставалось только проставить у начальника столярного цеха их стоимость, чтобы затем оплатить в бухгалтерии, ко мне подошел этот начальник: «Ишь ты, хитрый какой! Все так берут, а тебе платить вздумалось! Бери так, иначе ничего не получишь, вот дай шоферу треху, он тебе и отвезет. Проходная? Я уже там договорился».

Я тогда послушался, и к моменту, когда генсеком стал известный борец с коррупцией Андропов, а я был понижен в должности, доски уже лежали у меня дома и я понемногу мастерил стеллаж.

В 1983 году Молоствовы перебирались из Стеревнева в Калининскую область, в деревню Еремково, и я взял к майским праздникам несколько отгулов (всего, вместе с праздничными и выходными, получилось дней десять), чтобы помочь им устроиться на новом месте. Эти строки я посвящаю не известному теперь Михаилу Молостову, а местному печнику деду Леше, который перекладывал в доме печки.

Деду было лет семьдесят, успел он пережить и коллективизацию, и войну. Был на все руки мастером, не только по печному делу. Все наличники в Еремкове выпиливал и раскрашивал Леха. Традиционалистом он не был, вместо привычного орнамента наличник украшали олени, лебеди и невиданные растения. Мог дед Леша отремонтировать любую технику — от швейной машинки до автомобиля. Кроме того, числился еще и «колдуном» — лечил травмами кожные заболевания, около его дома иногда стояли машины с московскими и ленинградскими номерами. На вопрос, лечит ли он внутренние болезни, дед отвечал, что у него «рентгена-то нет».

Дед Леша был отличным рассказчиком и вообще любил поговорить. В первый же день на мой вопрос, адресованный Мише: «Чего нового?» — дед откликнулся: «А выступал этот, из банды Ежова» (речь шла об Андропове, недавно назначенном генсеком). Начинал он свой рабочий день с того, что выпивал рюмку водки. Вторую выпивал через час. Закусывал и поэтому не пьянел. (Однажды его сын явился помогать в сильном подпитии. «Ты сегодня себя уже испортил», — сказал печник и прогнал его; нам он жаловался, что из сына работник не вышел — пьет по-дурному.) К концу работы дед немного хмелел и тогда садился рассказывать байки.

К коммунистам и особенно колхозам относился иронически: «Спрашивает агроном батюшку: “Можешь ты молитвой завтра дождик вызвать?”», а батюшка отвечает: “У тебя в колхозе что с дождем, что без дождя все равно ничего не вырастет!”» Был дед Леха к тому же «западником», печи, которые клал, называл не иначе как «шведскими». «Разве у нас спирт? Вот я пил американский спирт — капнул на рукав, рукав разлезся». «Западником» он стал в немецком плену — немецкий солдат-печник, узнав о его специальности, воскликнул: «Ofensetzer!» (печник) — и взял к себе в помощники. Профессиональная солидарность оказалась

выше национальной. Дело было в Эстонии, где немецким солдатам просто так грабить жителей было затруднительно, да и немецкий печник не был способен на такое. Для того чтобы подработать себе на приварок, они клали печи местным жителям, воруя кирпич, предназначенный для вермахтовского госпиталя.

Впрочем, отличить правду от вымысла в рассказах деда было не всегда легко. «Молодым еще был, заболела у меня нога. За чем-то послали в райцентр, вижу — поликлиника, дай, думаю, зайду. Я думал, дадут порошков, а врач велит сапог снять. Как снимать, портянки у меня линючие, и ноги не помыл, снял, однако. Доктор посмотрел и говорит: «Нога-то черная, гангрена, сейчас резать будем». Я думаю, чем резать, я лучше ноги вымою, и убежал». Если эта история или сообщение про «американский» спирт — явные байки, то некоторые его истории тянули на хорошие новеллы. «Дед Леха, — спросил я однажды, — а ты сидел?» — «Сидеть не сидел, а чуть было не угодил. Привезли в деревню кинопередвижку, ну, что-то там не заладилось. К кому идти? К Лешке, я тогда еще молодым был, я поковырялся, и кино заработало. Наутро захожу в сельсовет, все ахают: «Как же ты сумел кино наладить, ты же никогда этой штуки раньше и не видал?!», а я постучал рукою по голове Ленина, бьют его в сельсовете стоял, и говорю: «Это в этой голове ничего нет, а в моей есть кое-что». На другой день забрали. Я говорю: «Я же не про Ленина говорил, а про бьют, посмотри, он действительно внутри пустой»; хорошо, следовательно попался, с которым мы еще пацанами гусей пасли, так отпустил».

За свою работу дед запросил очень малую плату, и сколько Рита ни убеждала его взять больше, он наотрез отказывался: «Во-первых, вы мне помогли, во-вторых, с вами хоть потолковать можно, а то я же всем в деревне своими байками надоел». Разницу между его запросом и реальной, по мнению Молоствовых, платой они компенсировали «Беломором» фабрики Урицкого, не появлявшимся в еремковском магазине уже давно.

На прощанье дед Леша рассказал нам заговор от высшего начальства (к тому времени я изучал фольклор и даже написал на эту тему опус «Гуси-лебеди», поэтому был знаком со структурой заговоров и запомнил этот текст): «Выйду я, имярек, из ворот в ворота, из дверей в двери во чисто поле, посреди поля море, посреди моря остров. На острове стоит покойник, ногой не шагает, рукой не махает, кровь не разгорается, уста-очи не отворяются. Так бы и на меня, раба Божьего имярек, у всего высшего начальства, у встречного-поперечного, злого-лихого человека нога

не шагала, рука не махала, кровь не разгоралась, уста-очи не отворялись. У меня зуб волчий, пасть медвежья — я их всех съем!»

В Еремкове мы провели и часть отпуска, все за тем же обустройством молоствовского дома. Однажды мы с Мишей вдвоем поднимали балан. Миша брался с другой стороны: он установил конец на какой-то выступ и, вместо того чтобы обойти бревно, нырнул под него. В этот момент я почувствовал, что тяжелый балан падает. Я выпалил часть своего матерного запаса — тут Миша, ожидавший чего угодно, но не этого, как ошпаренный выскочил из-под бревна, и оно упало уже на пустое место.

В Еремкове я настоял, чтобы туалет сооружали не на отшибе, а в пристройке дома, чтобы не бегать каждый раз по морозу. Миша выкопал, а мы забетонировали яму. Помойки, которые я делал в Нижней Омре, давно сгнили, а это нетленное сооружение стоит по сей день!

* * *

В том году Маринка поступила, наконец, в медицинский институт. Вступительное сочинение она написала на пятерку (годом раньше у нее была двойка). Веня Иофе прокомментировал это так: «Один балл Маринкин — она занималась, другой — Натташи, которая занималась с ней, а третий — заговор от высшего начальства». Тогда Веня еще шутил, несколько позднее, как бы предчувствуя возрождение моды на всякую мистику, он уже подобные вещи говорил всерьез.

В том же году Маринка вышла замуж за Сашу Оршанского — сына Левы Квачевского и племянника Джеммы Бабич (оба к тому времени уже эмигрировали).

Осенью 83-го умер наш близкий друг Николай Иванович Богомяков. С ним, его дочерью Леной Разумовской и ее мужемлевой нас познакомили Молоствовы. Николай Иванович, даурский казак, ушел в красные партизаны еще школьником старшего класса, потом преподавал некоторое время в «Республике Шкид» — школе им. Достоевского. Был арестован, освобожден после смерти Сталина и снова был арестован уже при Хрущеве. В лагере он и познакомился с Мишей. Его воспоминания о лагерях частично напечатаны (In Мemоriam: Исторический сборник памяти Ф.Ф.Перченка. М.; СПб., 1995; Нева. 2001. № 4), публиковались и его исследования о казачестве (Конец Забайкальского казачьего войска // Минувшее. № 1 — под псевдонимом Н.С.Сибиряков).

В 83-м он в очередной раз отправился в Читу, для сбора материалов о рассказывании. На обратном пути почувствовал боли в желудке, сначала не придав этому значения, потом, когда ему стало хуже, обратился к врачу, и выяснилось, что у него рак желудка.

Я зашел к нему, когда Николай Иванович уже не вставал. Лена попросила меня уговорить отца что-нибудь поесть, и я стал его уговаривать. «Валерий, после еды у меня будет рвота. Боли сильные, и умереть раньше для меня благо. Не уговаривайте меня». Через несколько дней Николая Ивановича не стало. Его зять, дежуривший в эту ночь около больного, рассказывал, что часа за два до смерти Николай Иванович попросил пить и, возвращая стакан, поблагодарил.

Сумею ли я так же достойно уйти из жизни?

* * *

Моим старикам жить в Мурманске становилось все труднее, и они, наконец, решили обменяться на Лугу. К этому времени они уже жили в однокомнатной квартире в «хрущевке». Желавших менять Лугу на Мурманск, да еще на однокомнатную «хрущевку», было немного, и с обменом как-то не получалось. После долгих поисков в конце 1983 года мы нашли подходящий вариант. Это были молодые супруги с маленьким ребенком, предлагавшие такую же по площади комнату, как и у родителей, в двухкомнатной квартире улучшенной планировки. Их соседка была прописана, но в этой квартире практически не жила. Само собой разумеется, этот вариант нас очень устраивал.

Оставалась маленькая неувязка: пропишут ли в Мурманске троих приезжих на площадь 17,5 м, поскольку тогдашняя норма была шесть метров на человека. Мурманский исполком согласие на обмен дал: вместо двух пенсионеров город получал двоих работников.

Неожиданно нам отказали лужские власти. Я отправился на прием к тогдашнему «мэру» Ковалеву, пытался убедить его и даже показал заметку, кажется, из «Труда», в которой говорилось о негуманности и нерентабельности содержания на Крайнем Севере нетрудоспособного населения, угрожал в случае смерти родителей публично пригласить его, Ковалева, на похороны — ничего не помогало. Свою позицию Ковалев обосновывал тем, что в Мурманске нашим партнерам по обмену не хватало 0,5 кв. м площади. На мое возражение, что Мурманск обмен разрешил, последовал ответ: «Там товарищи ошиблись. Мы должны заботиться не только о Луге, но и обо всем государстве».

Потом я написал в «Труд», откуда сразу же получил ответ о том, что газета направила властям Луги письмо в нашу защиту. И это не помогло. Посоветовавшись со своим приятелем Игорем Маслобоевым, когда-то работавшим юристом на «Химике», а теперь перешедшим в адвокатуру, я решил передать дело в суд.

Сначала я думал, что лужским властям просто не нужны пенсионеры, но, когда я стал забирать документы из исполкома, вопрос прояснился. Клерк, к которому я обратился за документами, не советовал мне их забирать: «Дело как-нибудь уладится. Не вздумайте обращаться в суд — ничего не выйдет!» Итак, от меня хотели получить взятку.

Я, тем не менее, обратился в суд. Игорь в этот момент был в командировке, и я остался без адвоката. Неожиданно для меня адвокат, представлявший интересы исполкома, зачитав решение об отказе нам в праве на обмен, добавил: «Мне стыдно защищать явно несправое дело», — и судья Хабаров вынес приговор в мою пользу.

Горисполком тянул еще месяц или два. Мы с нашей обменщицей ходили туда чуть не ежедневно. В одно из наших появлений нас встретила управделами исполкома и решила напугать: «Вы не согласны с решением горисполкома? Значит, вы против советской власти!» Я чуть было не сказал, что действительно против, но одумался. Вместо этого я сказал другое: «Вы присваиваете себе функции советской власти как таковой. Это 64-я статья уголовного кодекса — «Захват власти в центре и на местах»! Как ваша фамилия?» Тетка перепугалась и убежала, обменщица чуть не померла со смеху.

Наконец состоялось заседание горсовета, и мы получили обменный ордер. К концу года мои родители уже были в Луге.

Накануне (1985—1986)

Поход на Байкал. — Коровы — жертвы райкома. — Возвращение Сени Рогинского. Знакомство с М.Я.Гефтером. — Чернобыль. — Опять попадаю в историю

Отпуск 1985-го года мы решили провести в походе по Прибайкалью. Заранее списались с Сиротиниными. План был такой: добраться до речки Куркулы, впадающей в Байкал, пешком подняться до ее истоков, перевалить хребет Черского и, спустившись в

бассейн Лены, отправиться назад по железной дороге. Кроме Иринки, Вовки и меня, в группе должны были идти Сиротинины и их красноярские друзья. В последний момент с нами решила идти Катя Шиханович. Сиротинины уже бывали на Куркуле дважды.

Вчетвером мы доехали до Красноярска, и оттуда уже полной группой отправились дальше. Не помню, на какой станции пересели на уже действовавший участок БАМа и оказались в Северобайкальске. Потом на попутке доехали до села Байкальское. Теперь до устья Куркулы (километров сорок) нужно было добираться по Байкалу. Поселившись в ожидании попутного транспорта на пустовавшей барже, мы стали совершать небольшие экскурсии по окрестностям.

Во время одной из вылазок Сиротинин прыгал по самому краю обрыва, за ним увязался младший участник похода — наш Вовка. Я с детства боюсь высоты настолько, что если смотрю мультик, герой которого оказывается на краю пропасти, то испытываю очень неприятное чувство. Мы проходили около местного кладбища, и я сказал сыну: «Если хочешь показать храбрость, чем скакать, как коза, по-над обрывом, сходи-ка на кладбище один, оставь на могиле метку, а я потом проверю». Послав сына на кладбище, я вдруг подумал, что ребенка там может напугать какая-нибудь бродячая собака или заснувший алкаш, но идти на попятную уже не хотелось. Вовка отправился по тропе, ведущей на кладбище, но, к моей большой радости, был остановлен нашим «кэпом», Сиротининым. Вовке тогда было одиннадцать лет.

Мы почти договорились с местными ребятами, что они подбросят нас до Куркулы на моторке, и даже заплатили вперед. Мотор оказался неисправным, деньги парни пропили и явились на нашу баржу с мешком омуля. Мы ели легендарную рыбу и ждали. Наконец к причалу подошел пассажирский пароход, на котором мы и добрались до места.

Первые дни мы шли в сплошной дымке, так, что иногда не было видно солнца, — горели леса на другом берегу Байкала. Очень редко удавалось идти по тропе или по приличному лесу. Вдоль берега тянулись курумы (завалы из огромных камней), заросли кедрового стланика или лесные завалы. Хорошая компания, прекрасные виды вполне компенсировали эти неудобства. Где-то в середине пути мы обнаружили бумагу, прикрепленную к палке: по-русски и по-литовски сообщалось, что за пару лет до нас здесь проходила группа туристов из Литвы. Чем выше мы поднимались, тем более суровым становился пейзаж: если в первые дни

нам приходили ассоциации с китайской живописью в стиле «го-хуа», то теперь это была черно-белая графика с небольшим вкраплением серо-зеленого.

Наконец мы подошли к горному озерцу, откуда вытекала Куркула. Сиротинин, Виталий Крейндель и я двинулись на разведку, оставив женщин и детей (кроме Вовки, с нами был еще шестнадцатилетний сын Виталия) оборудовать лагерь. Мы хотели исследовать возможность перехода через хребет. На пути мы сели перекурить и невдалеке увидели пасущихся оленей: самец с огромными рогами и две важенки. Мы поднялись, и олени моментально исчезли.

В конце пути мы подошли к почти неприступному для нашей «инвалидной команды» хребту. Пейзаж стал абсолютно черно-белым: черные скалы, под ними черная вода озера и белый снежный язык, спускавшийся со скал в воду.

Утром мы хотели повести и остальных любоваться этой картиной, но начался ледяной дождь с ледяным же ветром, и мы отступили — быстро собрались и пошли вниз по течению Куркулы. Следующую ночь провели в промокающих палатках без огня — костер под этим дождем и ветром нам разжечь не удалось.

Вскоре, по счастью, мы вышли на Горячие Ключи (термические источники) недалеко от устья Куркулы. Искупались, поставили палатки и легли спать.

Разбужены мы были коровой. Через некоторое время к нашей стоянке подошли двое или трое ребят — местные охотоведы, от которых мы и узнали причину появления коровы в столь отдаленном от людей месте. Один из председателей колхоза, у которого не хватало пастухов, выпустил свой скот на вольную пастьбу, благо угодья его колхоза включали ущелье, окруженное крутыми скалами. Районное партийное начальство, узнав об удачном эксперименте, повелело и остальным председателям присоединиться к «почину». Условия для такого «хозяйства» были далеко не везде, но противоречить никто не решился. В результате огромное количество коров разбрелось по берегам Байкала, часть из них сожрали медведи, часть, списав на медведей, съело колхозное начальство.

На Горячих Ключах мы провели дня три. Потом на попутной моторке женщины и Вовка отправились в Байкальское (всех моторка взять не могла). Там они стали искать суденышко, чтобы вызволить нас. Мы уговорились, что подождем несколько дней, прежде чем отправляться в Байкальское пешком.

Девочкам удалось договориться с командой катера (почти корабля) «Вознесенский», обслуживавшего метеостанции вдоль Байкала. «Вознесенский» зашел за нами на Горячие Ключи, и мы пошли к Иркутску. На «Вознесенском» мы провели чуть больше трех суток. В первый день штормило, и нас здорово укачало, потом погода исправилась, мы оклемались и с удовольствием наблюдали прибрежные горы, поросшие тайгой. Иногда над крутым обрывом можно было видеть быка или корову — жертв райкомовского эксперимента. Суденышко не раз останавливалось — то команда отправлялась за дикой смородиной, то ловила рыбу или охотилась (однажды на охоту взяли и Вовку). Питались мы вместе с командой пойманной рыбой или подстреленными утками. В Иркутске мы сели на поезд.

* * *

Осенью, или уже зимой, я встретился с Сеней Рогинским, только что вышедшим из лагеря. До посадки (в 1981 году) Рогинский редактировал самиздатский альманах «Память», посвященный новейшей истории СССР. У КГБ не оказалось никаких доказательств, пригодных даже для советского суда, а раскрывать осведомителей им не хотелось, поэтому было сфабриковано уголовное дело — подделка документов. Сеня учился в заочной аспирантуре Саратовского университета, и для получения доступа к архивным материалам ему требовалось ходатайство его научного руководителя. Чтобы не ездить каждый раз в Саратов, он договаривался по телефону, а бланки заполнял сам (так делал не только Рогинский, о чем на суде и сказал его руководитель). Само ходатайство в юридическом смысле документом не являлось; тем не менее, Рогинского осудили на четыре года. Свой срок он отбывал в уголовном лагере, что немало тревожило нас — интеллигент, да еще и еврей среди уголовников. Сеня, однако, справился с ситуацией. Начальству не удалось натравить на него остальных зэков, у него там появились даже приятели.

Надо сказать, что совсем бесследно для Сени этот лагерь не прошел, — меня при встречах несколько раздражали жаргонные словечки и некая приבלатненная интонация, не знаю, замечали ли это другие.

У Рогинского я познакомился с М.Я.Гефтером. Михаил Яковлевич оказался интересным собеседником, доброжелательным и умным человеком, наше знакомство и даже, рискну сказать, дружба продолжались до самой его смерти.

* * *

В начале мая 86-го года мы с Иринкой, взяв отгулы и присоединив их к праздникам и выходным, решили съездить в Вильнюс, посмотреть город и пообщаться с литовскими друзьями Смолкина, а оттуда — в Минск, навестить Мошковых. Ехали мы через Москву, где встречались с Сиротиниными. Там и узнали по телевидению о Чернобыле. Сообщение было кратким и не особенно тревожным. Вместе с Сиротиниными мы и отправились в Вильнюс и Минск. Власть, как и средства массовой информации, привычно вели себя так, как будто ничего особенного не случилось. Все понимали, что это катастрофа, но насколько она страшна, правительство предоставляло догадываться нам самим.

В Вильнюсе в женских консультациях уже предлагали беременным женщинам, оказавшимся на улице в определенное время, делать аборты. В Минске по-прежнему новости узнавали через знакомых. Детям не рекомендовалось играть в песке, копать землю. Такие сведения исходили от специалистов, занимавшихся проблемами радиации. Тем не менее, в школе, где учился сын Мошковых Илья, объявили субботник по очистке территории. Когда Илья отказался, кто-то из учителей пытался на него натравить класс.

На ленинградских вокзалах военные с дозиметрами проверяли пассажиров поездов, прошедших через зону аварии. Мы с Иринкой видели, как к двум вышедшим из поезда старшим офицерам подошел человек с дозиметром и как изменились их лица после того, как дозиметрист им что-то сказал.

Вернувшись в Лугу, мы узнали о мобилизации людей для ликвидации чернобыльской аварии. Из нашего цеха взяли очень хорошего человека, рабочего Сашу Чистова, из других цехов тоже отправляли людей.

На въезде в Лугу устроили специальный пункт контроля и обмывки автотранспорта.

У всех чернобыльцев, знакомых мне, позже начали проявляться серьезные последствия радиации.

* * *

В августе я справил пятидесятилетие, а в октябре чуть было не окончил свою земную стезю.

Началось это приключение вот с чего. В нашем цеху работал некий Никитин, сын тогда уже ушедшего на пенсию начальника

лужской милиции. Работал он не ахти как, пьянствовал, но в те поры дефицит рабочей силы заставлял держать и не таких. Однажды в январский выходной день я вечером встречал Сергея Хахаева, возвращавшегося из Питера. На вокзале я увидел пьяного Никитина, продававшего шубу, а утром, придя на работу, узнал, что в соседнем цеху взломали шкафчик и украли шубу у одного рабочего. Я сразу же рассказал про вчерашнюю встречу. Никитин, опасаясь внесудебной расправы, во всем сознался. Пострадавший оказался парторгом этого цеха. Парторгом его сделали не случайно, в этом я убедился, присутствуя при его беседе с Рассказовым — почему-то дело о шубе вел он. Рассказов спрашивал у пострадавшего, согласен ли тот, чтобы коллектив взял на поруки вора, или дело передавать следственным органам. «Как вы решите, Николай Николаевич». — «Да ведь шуба-то не моя, а твоя, тебе и решать!» И снова пострадавший твердит: «Как вы скажете». Я уже упоминал о том, как Рассказов относился к любому начальству, — вора взяли на поруки, и он немедленно уволился с завода.

С той поры прошло более полугодя, и я уже совсем забыл про эту историю. Однажды после вечерней смены я курил на остановке, ожидая автобуса. В это позднее время, кроме меня, там никого не было. Я увидел, что по шоссе идут трое молодых парней. Вдруг они растянулись по ширине шоссе, повернули и направились ко мне. По тому, как они шли, я понял, что ничего хорошего ждать не приходится, ощупал карманы: никакой железины, хоть бы отвертка. Один из парней попросил закурить и, когда я ответил, что курева больше нет, ударил меня в лицо, я попытался ухватить его за горло, но меня сбили с ног и стали избивать.

Дело было в четверг, а очнулся я в понедельник в больнице. Рядом сидела испуганная Иринка. Я помнил драку, помнил, как меня грузили в «скорую», но сколько прошло времени и почему жена такая печальная, понять не мог. «Я же тебя предупреждал еще до свадьбы, что со мною не соскучишься, но на этот раз я сам не напрашивался» (про историю с шубой я и не вспомнил). Иринка рассказала мне, как она, не дождавшись меня в четверг, уже оделась, чтобы идти на завод, но позвонил милиционер. Первой ее мыслью было, есть ли в доме Самиздат, но милиционер сказал про меня. В больницу бежать он Иринке отсоветовал, все равно ночью не пустят. Утром врач ее еще больше напугал: у меня затек глаз, и жена спросила, буду ли я видеть. «Не о глазах речь идет, остался бы жив». Может быть, все это жена сообщила мне потом. Тогда она мне сказала, что в воскресенье приезжала Маринка и

я даже разговаривал с нею. Я с трудом припомнил, что такое действительно было.

Через три недели в полдвенадцатого ночи ко мне явился человек, представившийся сотрудником УВД и отказавшийся назвать свою фамилию. Я, тем не менее, рассказал ему о происшествии. Он задал мне несколько вопросов, из которых я понял, что подозревают меня то ли в симуляции, то ли в том, что я сам на кого-то напал. На мой запрос в УВД относительно ночного посетителя я ответа не получил.

В больнице я отлежал месяц, потом неделю был на больничном дома. Ко мне приходили коллеги по работе. Один из них сказал: «Хулиганов не нашли, вот ежели бы избили Грѣбнева (тогдашний секретарь горкома), то нашли бы обязательно». Я согласился: «Конечно, нашли бы; может быть, и не тех, кто бил, но нашли бы».

Еще месяц я провел в областной больнице в Питере. Из окон этой больницы были видны прогулочные дворики Крестов. Я уже чувствовал себя неплохо и откликнулся на просьбы медсестер о помощи. Дело в том, что один из лифтов там в это время не работал, а оставшийся останавливался не на этажах, а между ними. Больных к этому лифту нужно было поднимать, а после лифта опускать на пол-этажа на каталке. Однажды сестрица попросила меня доставить в палату больного после операции. В лифте, кроме него, и нас находился старик лифтер. Заходя в кабину, он толкнул каталку так, что больной застонал, в ответ на замечание сестры снова толкнул, уже явно специально. Я разозлился: «Еще раз толкнешь — заработаю пятнадцать суток, но ты по морде получишь». Когда мы вышли из лифта, медсестра мне сказала: «Он работал в Крестах надзирателем, теперь на пенсии».

Как только я оказался в больнице, Иринка начала получать отовсюду письма. Спрашивали о состоянии, предлагали лекарства. Из Ленинграда ко мне приезжали друзья. И среди диссидентов, и на работе многие были уверены, что это происки ГБ. Я в это не верил. Генеральным секретарем уже был Горбачев, его заявление об общечеловеческих ценностях уже прозвучало. Не помню, кто высказал гипотезу о том, что это избиение может быть антигорбачевской провокацией КГБ. «Если это действительно так, — ответил я, — то тем более нельзя придавать этому случаю политический характер».

Только года через два я узнал от одной из работниц, что пьяный Никитин хвастал, как он мне отомстил.

ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ

(Перестройка)

Начало

Гибель Толи Марченко. — Боль и надежды. — Начало гласности. — Три приступа антиалкогольной кампании. — «Апология рационального». «Гуси-лебеди». Третье прочтение «Материализма и эмпириокритицизма». — «Инициатива-87». — О вреде полезных советов

В больнице Сергей рассказал мне, что Горбачев заявил о значении «общечеловеческих ценностей». Мы гадали, обычная ли это, пусть и несколько новая по форме, демагогия или это серьезно. Хотелось верить в последнее, но не верилось.

В больнице же я узнал о смерти Толи Марченко. Толя объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех политзаключенных Союза. Нам эта голодовка казалась абсолютно бессмысленной, каким-то знаком отчаяния: представить себе, что коммунисты помилуют своих противников, мы не могли. Толя своей смертью сделал, казалось, невозможное. Он не хотел умирать, просто он понимал ситуацию лучше нас, находившихся на воле.

В больнице же я узнал и о том, что на экранах скоро появится фильм «Покаяние» (его краткое содержание уже пересказывалось в прессе).

Так, болью и надеждой, начиналась перестройка.

Через некоторое время после гибели Марченко был возвращен в Москву Сахаров. Немного спустя начали выпускать из тюрем и лагерей политзаключенных.

Несколько свободнее начала становиться и пресса. Еще было далеко до гласности, но то тут, то там вдруг начали появляться осмысленные статьи. Теперь мне кажется, что наиболее информативной тогда была газета «Известия».

Мы при встречах обсуждали каждую новость. Высказывание «Вот что напечатали» имело двойной смысл: и непосредственное

содержание текста, и не менее важная информация о том, что уже дозволено знать нам, простым гражданам.

* * *

Не помню, когда началась водочная эпопея. Хрущев запретил продажу водки в розлив. До него это происходило чуть не в каждом ларьке. Из нашего окна в Мурманске было видно несколько таких ларьков, расположенных по дороге на судоремонтный завод. После получки у каждого из них собирались толпы, жены тянули домой мужчин, кланчили у них деньги. Запрещение торговли в розлив я было приветствовал, но оказалось, что можно пить водку и за углом, в парадной или даже в туалете. Милиция и мы, комсомольские патрули, ловили пьющих «в общественных местах», их штрафовали, а пьянка не уменьшалась. Потом, уже в семидесятые, запретили продавать водку раньше одиннадцати часов утра и позже семи вечера. Начали продавать из-под полы, в ход пошли спиртосодержащие аптечные настойки. Третий поход против алкоголизма был организован Горбачевым и Лигачевым. В водочных магазинах образовались огромные очереди, началась активная спекуляция водкой.

Возможно, разумным элементом этой кампании была ответственность начальников за появление пьяных на работе.

Отрицательных же последствий было гораздо больше. Во-первых, именно подпольная водочная торговля во многом послужила толчком к возникновению организованной преступности и разложению милиции. В Луге около вокзала я увидел парня, положившего на скамейку рюкзак и две сумки. Парень ушел, а около скамейки начал прогуливаться милиционер. Затем парень вернулся уже не один. Милиционер удалился, из сумок и рюкзаков хозяин начал доставать бутылки с водкой и передавать другим парням, те (очевидно, более мелкие торговцы) расплатились и разошлись.

Во-вторых, до этой эпопеи многие, если не большинство, считали унизительным употреблять политуру, «колеса» (таблетки) и, тем более, наркотики. Попытка введения сухого закона разрушила этот психологический барьер.

Может быть, и недостаточное, но абсолютно необходимое условие уменьшения пьянства и наркомании — это, по моему мнению, самоуважение граждан. Говорить о борьбе с этим злом не приходится, пока государство воспринимает человека как навоз для удобрения собственных амбиций и воспитывает его с пеленок таким образом.

Лично мне и моим друзьям эта антиалкогольная кампания никаких проблем не принесла — мы на праздники обходились и легким вином.

* * *

В 1987 году все больше интересного стало появляться в прессе и на телевидении. Возникали неформальные организации.

Но я пишу не историю страны. Ограничусь тем, что связано лично со мной.

В том году я, наконец, купил пишущую машинку и сел за перепечатывание «Апологии рационального», которую закончил еще год назад. Я попытался проанализировать разницу между логическим и образным (дескриптивным и символическим) мышлением, функции и возможности того и другого.

Предыстория моего интереса к этой проблеме такова. Меня давно интересовало, почему с помощью пропаганды можно с такой легкостью манипулировать людьми вопреки их собственным интересам и почему пропаганда оказывается совершенно бессильной, когда речь идет, например, о самогоноварении.

Будучи лет четырех от роду, мой сын однажды задал мне вопрос: «Почему одни гуси-лебеди хорошие, а другие — плохие?» Речь шла о двух народных сказках, в одной из которых птицы спасали мальчика от Яги, а в другой, наоборот, уносили его к ней. Сначала я стал отмечать в памяти сходные мотивы или сюжеты, потом начал делать выписки и целеустремленно рыться в литературе. Результатом явилось некое исследование по славянской мифологии. Эту работу, озаглавленную «Гуси-лебеди», я тоже перепечатал, едва у меня появилась машинка.

Занимаясь «Гусями-лебедями», я перечитал массу фольклорного материала, потом материала по фольклористике и мифологии. И тут мне захотелось в третий раз перечитать ленинский «Материализм и эмпириокритицизм». Первый раз я прочел его еще в институте, готовясь к экзамену по философии, вторично — при подготовке нашей «книжки» «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата».

После третьего раза я понял, почему эта ленинская работа была столь любезна тоталитарной пропаганде. Ленину в ней удалось такие понятия, как наука, материализм, рационализм, мифологизировать и превратить в символы новой антинаучной, нематериалистической и внерациональной идеологии.

Но, работая над «Апологией», я, как и в «Прошлом и будущем социализма», отказался от прямой полемики с Лениным: с одной стороны, в то время такая вещь еще не могла быть напечатана, с другой — это главное — критика Ленина была уже не самым важным.

* * *

В конце 1987 года, когда стало понятно, что перестройка действительно собирается затронуть основы существующего режима, мы с Хахаевым решили предложить некоторые программные тезисы. Написанное нами мы назвали «Инициатива-87» и направили в разные журналы, в том числе и в «Коммунист» (тогда один из самых серьезных либеральных журналов). Сергей Григорянц сказал нам, что ему удалось передать нашу работу в ближайшее окружение Горбачева (в издаваемой Григорянцем «Гласности» мы решили не публиковать этого текста, так как посчитали, что это может заранее вызвать негативную реакцию).

Сегодня многое из предложенного нами тогда может показаться наивным и даже реакционным. Напомню, что в те поры, вплоть до распада Союза, общественное мнение требовало отказа Горбачева от поста Генсека КПСС, что неминуемо означало бы появление некоего Зюганова, обладавшего гораздо большей властью и возможностями, чем нынешний. О многопартийной системе всерьез речь еще не шла, да я и до сих пор не уверен, что распад партии, руководимой Горбачевым, был для страны таким безусловным благом.

В нашей «Инициативе» мы предлагали эволюционный переход от всевластия партии к власти выборных органов — Советов. При этом руководители Советов и на местах, и в центре должны были, по нашему мнению, выбираться из состава соответствующего партийного органа (райкома, обкома, вплоть до политбюро) всенародным тайным голосованием. Выбранный таким образом руководитель Совета автоматически должен был становиться главой соответствующей парторганизации.

Таким способом мы надеялись внести в ряды партии элемент конкуренции, завязанный на всех граждан, не ломая немедленно ее структуры. Мы были уверены, что при таком варианте в партию будут вступать политически активные люди разной ориентации, что приведет к возникновению фракций, которые и станут предшественниками многопартийной системы.

В экономической области мы тоже предлагали эволюцию. Первоначально на свободный рынок должна была бы поступать

только сверхплановая продукция. Государство должно было гарантировать данный уровень плана и соответствующее снабжение предприятия. В дальнейшем обязательный план должен был уменьшаться. И мы сами, и большинство наших друзей работали на заводах. Мы знали, что на любом предприятии существуют резервы (мы оценивали их приблизительно в тридцать процентов), которые предприятие прячет от министерства, опасаясь увеличения плана. Прибыль от плановой продукции должна была по-прежнему поступать государству, сверхплановая же прибыль, облагаясь незначительным налогом, — оставаться на предприятии. При невыполнении плана вся прибыль должна отчисляться в доход государства.

«Проводимый ныне перевод предприятий на самокупаемость и самофинансирование, — писали мы, — происходит в условиях, когда цены, объем продукции и отчисления от прибыли определяются решениями вышестоящих органов. Продолжение подобного контроля сводит на нет саму идею экономических реформ. Отказ от подобного контроля чреват инфляцией и дезорганизацией народного хозяйства».

Для контроля за дирекцией, освобождаемой от мелочной опеки сверху, предполагалось создать контрольные комиссии трудящихся.

Решение национального вопроса мы предлагали начать с установления межреспубликанского торгового баланса, ликвидации общесоюзных министерств просвещения, культуры и здравоохранения, установления республиканского гражданства, что исключило бы участие в выборах армии, расквартированной в союзных республиках. Национальные меньшинства, проживающие на территориях других республик (например украинцы, евреи или армяне в РСФСР), должны были получить культурно-национальную автономию.

Наконец, в международном плане мы предлагали СССР и США выйти из Варшавского Договора и НАТО (сами эти объединения, как мы считали, Союзу было бы выгодно сохранить), запретить содержание войск на чужих территориях без мандата ООН, ввести принцип гласности в деле торговли и помощи оружием, военными советниками и т.п., а также создать международный клуб по космическим разработкам, в котором могли бы принимать финансовое и другое участие страны, неспособные самостоятельно проводить космические исследования, и тем самым разгрузить экономику СССР.

Наше предложение об организации рабочих Советов себя явно не оправдало, я к этой проблеме вернусь, когда речь пойдет о приватизации на нашем заводе. Чуть было (с точностью до наоборот) не реализовалось наше предложение об изменении выборной системы. В июне следующего года в «Литературке» была опубликована статья Ф.Бурлацкого (тогдашнего советника Горбачева), в которой автор предлагал автоматически совместить должность избранного на пленуме Генсека с должностью Председателя Верховного Совета СССР. Кажется, там намекалось на то, что такая «выборность» может иметь место и для нижних эшелонов советской власти.

Вообще, в нашей стране подавать советы — дело рискованное. Еще в брежневские времена в той же «Литературке» была опубликована статья Шарова, в которой говорилось о том, во что обходится стране второгодник. Предлагалось организовать специальную систему работы с отстающими школьниками. Мой отец, прочтя эту статью, вздохнул: «Кончилось образование в СССР». Я много читал статей Шарова по педагогике, знал его как гуманного человека, искренне заботившегося о детях. Я стал было спорить с отцом, но он оказался прав: «Прочтут, во что обходится второгодник, и запретят оставлять на второй год. А отстающие? Кому будет охота с ними заниматься?»

Новые знакомства и реалии

Социологи. — Перестроечная цензура. — Экологи и Демократический союз. — Армяно-азербайджанский конфликт. — Демонстрация у Большого дома. — «Пятое колесо»

В начале 1988 года благодаря своей «Апологии» я познакомился с драматургом Сашей Железцовым и его женой Галей, а через них — с социологами Андреем Алексеевым, Виктором Воронковым и Лёней Кисельманом.

В Институте социологии я прочел доклад «Общественно-исторические формации: реальность или фикция?» Эту тему мы разрабатывали с Хахаевым еще в «Прошлом и будущем социализма». Мы отказались от формы собственности как характеристики того или иного уклада, взяв вместо этого способ управления.

Нам удалось сформулировать четыре таких способа: традиционный (характерный для эпохи собирательства и охоты), внеэкономического принуждения, экономической детерминации (рыночный) и гипотетический — индикативный. Каждый новый метод может утвердиться только при освоении новой технологии: земледелия, промышленного производства, информации. Победа нового метода управления не ликвидирует старые, а только отодвигает их на задний план.

Дружба с социологами продолжается по сей день. Недавно Андрей Алексеев подарил мне свою книгу, написанную в 1997 году, «Драматическая социология», которую я прочел как увлекательный детектив. Не порывая с наукой, социолог идет работать на завод рабочим. Эксперимент затягивается на несколько лет. Сюжет слагается из внутризаводских отношений, личных перипетий, вмешательства в его деятельность партийных органов и ГБ.

Я дал прочесть «Апологию» известному исследователю мифологии Е.М.Мелетинскому, тоже бывшему эзку, и познакомился с ним. Понравилась моя работа и Михаилу Яковлевичу Гефтеру. Он пригласил меня выступить на «круглом столе» в редакции журнала «Рабочий класс и современный мир». Краткое изложение выступления появилось во втором номере за 1988 год, местом жительства моим там почему-то назван Воронеж.

* * *

Мои публикации (иногда совместно с Сергеем Хахаевым) начали появляться в прессе: «Век XX и мир», «Смена», «Северо-Запад» (орган Ленинградского народного фронта), потом и в «толстых» журналах.

Редко публикации обходились без правки и сокращений. С сокращениями, вызванными нехваткой места, я соглашаюсь, но иногда они совсем другого рода, и тогда, как и правка, — целиком на совести редакции.

В 90-м году я послал в «Смену» свою статью «Ритмы, ритмы, ритмы», в которой пытался проанализировать внезапное воздействие на психику такого физического фактора, как ритм, на примере рок-музыки и строевых маршей. Заметка появилась под заголовком «Кому нужен ритм строевой», о роке в ней и не упоминалось. Получилась примитивная антивоенная агитка. Двумя годами раньше эта же «Смена» написала бы только о роке. В журнале «Новое время» (1993. № 9) была опубликована моя статья,

посвященная проблеме смертной казни. Во вступлении я писал, что на вопрос о том, нужна ли смертная казнь, мои коллеги по заводу ответили утвердительно. В журнале же текст выглядит так: «их уверенное неприятие смертной казни меня не удивило, оно становится модным»: очевидно, что редактор статьи не видел разницы между моими коллегами и его собственными. Редакционное название статьи, на мой взгляд, выглядело идиотски: «Маньяк не боится крови».

За все это время только под пером одного редактора, Андрея Алексева, мои статьи выигрывали от правки. Это было в короткий период моего сотрудничества с газетой «Рейтинг», которая жила недолго из-за отсутствия денег.

* * *

Весною 1988 года начались митинги в Питере. Митингующие не затрагивали политики, обсуждались в основном проблемы экологии и градостроительства, критиковались ленинградские власти. На этих митингах царил эйфория: еще бы, страна привыкла к тому, что любое собрание, тем более митинг, всегда организовывалось сверху. Я побывал на митинге «День горожанина», состоявшемся в марте около метро «Владимирская». Политических вопросов не затрагивали. Правда, известный уже всему городу Б., на мой взгляд, несколько ненормальный, вышел из рамок — Алексей Ковалев, ведущий митинга, прокомментировал его выступление как «антисоветскую провокацию». Я написал ему, что такой комментарий, по существу, — донос. Не знаю, произвело ли мое письмо какое-то действие.

Вообще, мне показалось, что экологические и градостроительные проблемы для некоторых лидеров были не столько «криком души», сколько способом самоутверждения. Поэтому аргументов противоположной стороны они не слышали. Этого я не сказал бы о движении Демократический союз (ДС), сразу же начавшем с требования вывести советские войска из Афганистана. У властей против этого оказался один аргумент: дээсовцев отлавливали и отправляли в милицию, правда, теперь дело ограничивалось несколькими сутками каталажки, а не годами лагерей. С антивоенной позицией ДС я был согласен абсолютно. Что касается других вопросов, то часто, споря с единственной знакомой мне тогда активисткой этого движения Катей Молоствовой, я повторял: «Не толкайте Горбачева под руку». И сегодня я думаю, что был в значительной степени прав.

* * *

В том же году я стал получать из Еревана, от тамошних общественных организаций, материалы, в основном посвященные протестам азербайджанцев и их жертвам. В Питере я встречался с азербайджанцами, говорившими то же самое про армян. В Ереван я написал, что не верю, чтобы среди азербайджанской интеллигенции не нашлось порядочных людей, и предлагал создать совместную журналистскую комиссию по расследованию преступлений против людей, к какой бы национальности они ни относились. На этом мои контакты с Ереваном прекратились. Это же самое устно я пытался втолковать и азербайджанцам. Мне даже не удавалось убедить собеседников не употреблять, говоря о зверствах, слово «они», означавшее всех армян сразу.

* * *

В июне 1988 года состоялась первая массовая демонстрация, организованная Ленинградским народным фронтом. Мы нескончаемой колонной шли по Питеру мимо здания КГБ. Народ перестал бояться. Увы, думаю, что потом многие из тех, кто двигался тогда вместе с нами, вновь затосковали по миске с костями и ошейнику.

В конце этого года нас пригласили в «Пятое колесо» (была тогда такая ленинградская телевизионная программа). Мы собрались на квартире у Бори Зеликсона в «доме Мурузи». Мы — это несколько эзков (не было только Смолкина), наши жены и друзья. Мы вспоминали нашу деятельность, нашу лагерную жизнь. Мне до сих пор стыдно, что о тех, кто оставался в «большой зоне», о наших женах, друзьях, как показанных на заднем плане, так и не присутствовавших на съемке, мы и не упомянули. А ведь именно они создавали тот тыл, благодаря которому мы могли продержаться все эти годы.

Перестройка

Оболенский против Лациса. — Лужский клуб «Перестройка» (1988—1991). —
Смерть Сахарова. — Миша Молоствов — народный депутат. —
Вильнюс. — Путч. — Распад СССР

Весной 89-го года прошли первые в Союзе альтернативные выборы. Само это словосочетание — тавтология, но что поде-

лать, мы знали только «выборы» без выбора. Еще в начале шестидесятых Валерка Смолкин рассказывал мне со слов своего начальника следующую историю. Тогда в Верховный Совет «выбирали» Ф.Р.Козлова, члена Политбюро и первого секретаря Ленинградского обкома. На участке, где Валеркин начальник был председателем избирательной комиссии, Козлов получил меньше половины голосов, остальные его вычеркнули. Когда эти сведения сообщили по телефону в городскую (или районную?) комиссию, оттуда последовал приказ: «Пересчитайте». Такой же приказ последовал и после сообщения, что при новом подсчете «за» проголосовало больше пятидесяти процентов. С участка звонили несколько раз, постепенно «улучшая» результаты. Когда оказалось, что «за» — более девяноста девяти процентов, документально согласились принять.

Теперь все было не так. По Лужскому округу в депутаты Верховного Совета прошел какой-то колхозный слесарь, ничем себя там не проявивший. По национальному округу, включавшему гораздо большую территорию, чем наш район, никто не получил более пятидесяти процентов, необходимых для избрания. Финалистами оказались двое — генерал Ермаков, обещавший лужанам построить с помощью армейской техники и солдат долгожданный газопровод, и инженер Оболенский, демонстрировавший свою беспартийность и демократичность. Ермаков набрал чуть более сорока процентов, Оболенский — около сорока семи процентов. Мы с Иринкой расклеивали листовки с призывом голосовать за Оболенского.

На повторных выборах, месяца через два, основными кандидатами оказались Оболенский и Лацис. Мы (Сергей, Валя, Иринка и я) обсудили ситуацию. Лацис тогда был редактором очень либерального журнала «Коммунист», и мы решили, что он и так имеет возможность влиять на общественное мнение. Кроме того, Лацис, выступавший в Ленинграде, отказался отвечать на какой-то вопрос о Ельцине, сославшись на партийную тайну.

Лужский горком КПСС решил сделать ставку на Лациса — все-таки член партии. Весь город был заклеен листовками Лациса. Листовки Оболенского срывались, к этому даже призвала «Лужская правда». Когда мы с Иринкой наклеили около входа в горком листовку Оболенского, по звонку вахтерши из помещения вышла зав. идеологическим отделом горкома Ф-на. Сначала разговор шел о праве граждан клеить листовки на здании горкома, потом о праве их срывать, вдруг наша собеседница поднялась на

ступеньки, исполнила какой-то дикий танец, выставила зад и с криком «Все равно сорву!» убежала в помещение.

Через некоторое время мы встретились с кандидатом в депутаты Оболенским — он произвел на нас очень приятное впечатление. На встрече пришедшие возмущались позицией горкома, граничившей с хамством, некоторые говорили, что именно такая позиция заставила их клеить листовки в поддержку Оболенского. Выступавшие на встрече представители горкома опять вели себя по-хамски. Каюсь, и я высказался в их же духе, потребовав «прекратить провокации».

На этой встрече я предложил всем организовываться, поскольку эти выборы не последние. Дал свой адрес и телефон. После встречи ко мне подошел Василий Васильевич Краснов, почти слепой рабочий, и дал мне свой телефон.

На выборах Оболенский победил. При всем моем уважении к О.Р.Лацису, не могу не вспомнить, как не по-рыцарски реагировал он на свое поражение. Впрочем, и Оболенский, согласившийся вместе с коммунистами бороться за восстановление Союза, тоже не оправдал наших ожиданий.

* * *

После встречи с Оболенским к нам домой пришел Сергей П. — преподаватель математики в одной из лужских школ — и предложил организовать демократический клуб. Договорились встретиться в помещении кружка «Юный техник», которым П. руководил. Он же обещал привести людей. Мы в Луге мало кого знали (все наше общение эти годы замыкалось на Питере), я позвонил Васе Краснову и Сережке.

Мы встретились. Кроме П. и двух его приятелей, Краснова, Сережи Хахаева, Вали, Иринки и меня, там был еще В.В.Волков, инженер с ЖБК (завода железобетонных конструкций). Мы обговорили цели и задачи нашего клуба, после чего один из приятелей П. предложил избрать П. в руководители и немедленно голосовать. Что мы и сделали и выбрали П. единогласно. Я тогда еще не знал об их отношениях, но выступление выдвигавшего показалось мне заранее подготовленным.

Клуб назвали «Перестройка» и решили в Луге не регистрироваться, а стать филиалом одноименного ленинградского объединения.

Историю нашей лужской «Перестройки» я описываю так подробно потому, что в ней, как мне кажется, отразились все слабости российского демократического движения.

* * *

Сергей П. предложил провести митинг, мы это одобрили, оставалось получить разрешение у местной власти. Нам предложили Загородный парк, по местным масштабам, довольно далеко от центра (мы требовали центральную площадь перед горкомом). Неожиданно нас поддержал председатель горисполкома Филимонов. Однако после вмешательства горкома партии митинг разрешили только в Загородном парке.

Митинг состоялся в конце июня, погода была прекрасная, и пришло человек 500. П. развернул плакат: «Позор администрации, загнавшей демократию в лес!» Этот плакат не был им ни с кем согласован. Я был против ненужной конфронтации и пытался объяснить нашему лидеру свою позицию. Увы, оказалось, что П. не способен ни прислушиваться, ни учиться.

На митинге выступали не только демократы, но и работники горкома. К моему удивлению, инструктор райкома Лавренов вел себя по-хамски (если я не ошибаюсь, в своем выступлении назвал оппонентов быдлом). Удивлен я был, потому что он некоторое время работал на абразивном заводе и мы знали его как умного человека, хорошего работника. Потом он стоял во главе лужской приватизационной комиссии и, насколько я знаю, вел себя вполне порядочно.

Митинг в наших листовках был назван «Демократия и гласность в Луге», но говорили обо всем: об экологии, о незаконных увольнениях за критику, о привилегиях начальства.

Митинг имел и последствия: в августе коллектив ЖБК потребовал отзыва заместителя толмачевского райсовета. За одобрение его деятельности голосовали трое, воздержались пятеро и сто пятнадцать человек проголосовали против.

* * *

В адрес нашего клуба пошел поток жалоб — жаловались на власть. По поводу одной из таких жалоб мы с Хахаевым пошли на прием к предгорсовета Филимонову. Тот предоставил нам документы, из которых следовало, что в данном случае он, Филимонов, прав (речь шла об очереди на жилье). За это и получили выговор от П.: «Мы должны действовать так, чтобы любой, кто к нам обратится, получал помощь!» (я уже хорошо знал П., поэтому не удивился тому, что понятия «справедливость» и «законность» для него имеют весьма растяжимое значение).

На митинге клуб «Перестройка» расширился. То, что к нам пришел Костя К., меня не удивило, он был активным участником самодеятельного театра, на досуге лепил глиняные фигурки, которые с перестройкой нашли спрос, и Костя мог жить своим ремеслом, а не принимать стеклотару. Удивил меня майор Л., выступавший на митинге вполне ортодоксально. После выступления я видел его, окруженного участниками митинга: в результате дискуссии майор неожиданно стал демократом. Занимал он должность начальника гарнизонного университета марксизма-ленинизма. Не помню, сколько ему оставалось до пенсии, кажется, меньше года. Став пенсионером, Л. включился в политику. Я встретил его на собрании Демократической России в Питере. На обратном пути в электричке они со своим приятелем Г.Ковалевым (не путать с А. и тем более с С.А.Ковалевым) объясняли мне, что материализм себя исчерпал, и предлагали смесь из Евангелия, сообщений об НЛО и чего-то из индийской философии. От них же я узнал, что профсоюзы придумал Маркс и большего зла на свете не существует.

Г.Ковалев тоже присутствовал на митинге, не помню, выступал ли он в тот раз. Он когда-то был инструктором горкома, откуда его выгнали. Передаю с его слов: в райком поступило письмо из парткома некоего лужского предприятия, в котором говорилось о беспробудном пьянстве директора. Надо было реагировать, но у директора-пьяницы в Ленинграде была «рука» и тронуть его было нельзя. На этот случай существовала стратегия. Надо послать на завод представителя для разбирательства, после чего этого представителя из горкома выгнать. В случае, если пожалуются в обком и там заинтересуются, всегда можно сослаться на то, что тот, кто этой проблемой занимался, ушел, а дальше действовать, исходя из позиции обкома.

Выбор жертвы — представителя — пал на Ковалева. А он, разбираясь в партийных правилах игры, решил подстраховаться и обратился к ленинградскому корреспонденту «Правды», сообщив ему весь компромат на своих коллег и начальников. Корреспондент позвонил в райком и выдал его. В следующий приезд в Ленинград Ковалев зашел к нему и, не застав его дома, передал через жену корреспондента новые сведения. Корреспондент опять сообщил в лужский райком. Неизвестно, кто автор формулировки, но Ковалева освободили от должности инструктора за то, что он, «воздействуя через жену, пытался заставить собкора «Правды» нарушить партийную этику».

Все это не мешало Ковалеву считать себя борцом с режимом. Помню его афоризм, характерный для того времени: «Вы с советской властью боролись плохо, вот вас и посадили. А я — хорошо, и остался цел».

Некоторое время Ковалев боролся с П. за главенство в «Перестройке». Когда показалось, что Демократический выбор России может прийти к власти, он стал выбороссом, потом возглавлял лужское отделение НДР. Судя по некоторым его высказываниям, гораздо ближе ему все-таки Макашов.

Ковалев, кажется, сделался бизнесменом, а Л., оттяпав пальцы циркуляркой (хотел делать оконные рамы), живет на военную пенсию. Но я забегаю вперед — Ковалев появился в «Перестройке» после августа 1991 года, когда я уже покинул клуб, до этого он боролся за место в райкоме.

* * *

Почти сразу же после митинга мы с Иринкой и Вовкой уехали в отпуск: решили съездить во Львов, где я бывал дважды, но так и не сумел посмотреть город. О своих планах мы сообщили бывшему ээку Фреду Анаденко, с которым мы тогда переписывались, он предложил нам посмотреть и Киев. Фред рассказывал, как в Киеве демократические организации в большинстве своем переходят на сепаратистские позиции. Не говорю о всей России, но Москва испокон веку только брала. С ролью руководителя и, главное, верховного арбитра она могла справляться только самыми зверскими методами, поэтому любое ослабление насилия вызвало центробежные тенденции.

По Львову нас водил Михаил Осадчий. Он много и интересно рассказывал о городе и последних политических новостях на Украине. Описывать красоты городов не буду. Мне больше запомнились митинги во Львове у памятника Шевченко. Встретился я и с другим своим соседельцем, Михаилом Горинем. У него я застал Зиновия Красивского, которого знал только по голосу, мы переговаривались во Владимирской тюрьме. Зеня звал нас к себе на пасеку, это приглашение мы потом вспоминали с болью — когда узнали, что Красивского не стало.

* * *

В Лугу мы вернулись, переполненные новостями, но оказалось, что политика, выходящая за рамки ссор с лужским начальством, П. не интересовала. О поездке мы рассказывали интересу-

ющимся в частном порядке. От собрания клуба на эту тему П. отделался сначала проволочками, потом — другими делами.

Не поддержал он и инициативы Кости К.: принять участие в консервации сельской церкви, возвышавшейся над озером. Мы все-таки устроили субботник, на котором появился и П., посмотрел, заявил, что клуб должен заниматься политикой, а не таскать мусор, и ушел. Мы собрали у себя на производствах немного денег, Костя закупил толь, и через предгорисполкома Филимонова достал какие-то доски. Но местные мальчишки устроили костер, и все сгорело, подгорели и деревянные балки, и нам пришлось отказаться от этой затеи.

Однажды, когда я клеил листовку на проходной, ее содержанием заинтересовалась пожилая дежурная Бухина. Оказалось, что ее дочка, инженер другого лужского завода, так же как и мы, болеет за победу демократии. Так я познакомился с Раисой Гордеевнй. Она вошла в наш клуб, в дождь и холод мерзла у стендов, развешивая листовки и вырезки из газет. Раиса Гордеевна была очень добрым и интеллигентным человеком. Когда оборонное предприятие, на котором Раиса Гордеевна работала, развалилось и она месяцами сидела без зарплаты, питаясь только со своего огорода, она ни на минуту не усомнилась в демократических ценностях. К сожалению, она не намного пережила своих стариков-родителей, к которым была очень привязана.

* * *

Еще в 88-м году под руководством Г.Ковалева группа ветеранов партии направила в журнал «Коммунист» письмо о коррупции в Луге. Незадолго до этого был арестован и осужден крупный снабженец Карелов, однако партийные чиновники, которым он «за свой счет» устраивал званые обеды, остались на своих местах. В «Коммунисте» появилась статья по этому поводу, в Лугу выехала на полевые исследования группа ленинградских социологов, а затем ленинградским режиссером С.Дегтяревым был снят документальный телефильм «Столкновение». В 89-м, после первого митинга, Дегтярев обратился в нашу «Перестройку» с просьбой помочь ему «пробить» демонстрацию этого фильма, и мы начали собирать подписи лужан.

Когда появилась статья в «Коммунисте», первый секретарь горкома Гребнев уже ушел на пенсию, и в Лугу прибыл новый партбосс, В.А.Антонов, кандидат сельхознаук и, по слухам, сын первого секретаря Новгородского обкома. Он тоже препятствовал демонстрации фильма.

Мы собрали более пятисот подписей, и после этого обком партии дал разрешение на демонстрацию фильма. Надо сказать, что граждане очень часто боялись подписывать даже такую безобидную с сегодняшней точки зрения бумагу. К нам подошла одна моя знакомая, еще по «Химику», и со слезами на глазах просила вычеркнуть подпись ее мужа.

Время демонстрации фильма Дегтярев сообщил нам заранее, и «Перестройка» начала обклеивать Лугу листовками-афишами. Наконец фильм показали по телевидению. В нем было интервью с ветеранами партии, один из которых возглавлял группу народного контроля, с осужденным снабженцем, с социологами и Сергеем П. Фильм ставил вопрос о том, почему Гребнев покровительствовал Карелову. Было в нем и интервью с начальником лужского ОБХСС Бурцевым, который утверждал, что собранным его отделом материалам не дается ход.

После показа фильма «Перестройка» предложила провести митинг для его обсуждения. Нам выделили опять Загородный парк, несмотря на дождливую погоду. После встречи с приехавшим в Лугу представителем обкома Черниковым митинг было разрешено провести в помещении общества «Знание». Мало того, за день до митинга «Лужская правда» опубликовала объявление о нем, причем назвала организаторами некую инициативную группу, горком и горисполком.

«Перестройка», по нашему с Хахаевым предложению, пришла на митинг с плакатом «От столкновения к сотрудничеству». Ничего особенного на митинге не говорилось. Звучали давно навязшие в зубах требования борьбы с коррупцией, кумовством и применения закона, «не взирая на лица». Но теперь такие требования раздавались снизу, и поэтому ни о каком сотрудничестве не могло быть и речи. Наши оппоненты ничего не опровергали, а только кричали, что «Перестройка» натравливает людей друг на друга, провоцирует гражданскую войну и т.д. и т.п.

После митинга «Лужская правда» объявила «Перестройке» настоящую войну. От моего имени в редакции «появилась» листовка, где слово «сука» было наиболее мягким из ругательств. В листовке я обращался к русским: «ваша гнилая нация». По этому поводу меня даже вызывали в прокуратуру, угрожая начать уголовное дело. Я не возражал, наоборот, я потребовал возбудить его либо в отношении меня, либо в отношении Кокуриной, заведующей партийным отделом газеты, которая и писала об этой листовке, и зачитывала ее на собрании ветеранов. Вообще, имен-

но Кокурина была инициатором всего этого шабаша. Члена «Перестройки» Мишу К. газета обвинила в том, что он обокрал школу. Состоявшийся вскоре суд признал это обвинение несостоятельным, и газете пришлось извиниться.

Хуже обстояло дело с П., которого обвинили в том, что он ударил ученицу. В суд П. подавать отказался, а потом я узнал, что факт действительно имел место. При этом все, с кем я говорил, признавали его педагогический талант, его ученики поступали в вузы с первого раза. Но когда речь заходила о человеческих качествах П., большинство моих лужских знакомых (демократически настроенных) отзывалась о них нелестно.

Еще одно обвинение Кокуриной сводилось к тому, что П. собирает «папки с компроматом» на все лужское руководство, о чем ей сообщил начальник лужского КГБ. И хотя начальник КГБ в беседе с нами заявил, что он таких сведений не давал, даже члены «Перестройки», знавшие П., не считали такое невозможным.

Гэбист, с которым мы встречались, был уже не тот, чья жена в 1984 году придержала для меня книгу Хемингуэя.

* * *

Жена нового начальника КГБ работала на нашем заводе. Здесь я сделаю отступление в прошлое. За несколько лет до этого в Луге произошла трагедия — какая-то женщина, некоторое время вращавшаяся в кругу местных баптистов, потом порвавшая с ними и ставшая прихожанкой местной церкви, убила своих двоих детей. Женщина эта давно находилась на учете в психдиспансере, но по Луге поползли слухи, что детоубийство совершено по приказу баптистов, которые приносят в жертву младенцев. Через некоторое время детоубийство повторилось — на этот раз отец-баптист убил собственного сына, утверждая, что отправил его с какой-то кометой в Царство Божие. Естественно, слухи о кровавых баптистских оргиях начали расти как снежный ком. Когда я пытался спорить, моя коллега, имевшая среднее образование, отвечала мне так: «Вы неверующий, а были бы верующим, то знали бы, что и евреи приносят в жертву младенцев». Я был уверен: все эти слухи о баптистах распространяет КГБ. Но, к своему удивлению, узнал, что жена начальника КГБ в спорах с коллегами, ссылаясь на мужа, утверждала, будто убийцы просто душевнобольные и к религии это не имеет никакого отношения.

Начало перестройки наш руководитель КГБ озаменовал тем, что бросил старую жену и взял молодую — теперь за такое ему

уже не грозил вызов на партсобрание. На встрече с членами нашего клуба он сказал, что ничего не имеет против нашей деятельности, но по-человечески просит нас дать ему спокойно выйти на пенсию, до которой ему оставалось года два. После выхода на пенсию наш гэбист осуществил свою давнюю мечту — стал пчеловодом.

Кокурина после ликвидации КПСС тоже недолго оставалась без дела. Однажды я прочел на столбе объявление, что она приглашает всех желающих в школу экстрасенсов и изучения русской Веды. Рядом со мною у того же столба стоял знакомый инженер. «Ловко же они меняют идеологию», — сказал я, глядя на объявление. Знакомый посмотрел и ответил: «При чем тут идеология? Они раньше вешали нам лапшу на уши и теперь вешают, в этом и состоит вся их идеология. Только сорт лапши поменяли».

* * *

Вернемся к нашему клубу. Приведу короткий, но очень показательный образец полемики вокруг него в «Лужской правде» (1989. 24 ноября). «Реплика. ЗА ЧТО НАС ОСКОРБИЛИ? Прочитала листовку так называемого клуба “Перестройка”, в которой просят меня не бегать с их листовками, “шевелить мозгами, если они у меня есть”. Считаю, что все, что написано в листовке, — это оскорбление каждого лужанина. Видите ли, у членов клуба “Перестройка” мозги есть, а у остальных — под вопросом. Такие изречения унижают достоинство человека. Давайте подумаем все вместе, как оградить каждого из нас от подобных оскорблений. Этому клубу пора бы заняться более достойными делами, и хватит мутить воду. *И. Дмитриева, лужанка. ОТ РЕДАКЦИИ.* К нам с подобными возмущениями обращается немало лужан. Чтобы было понятно тем, кто не читал эту листовку, публикуем ее текст: “Граждане! Прекратите бегать с нашими листовками “куда надо”, их там уже хватает. Учитесь шевелить своими мозгами (у кого они есть)”».

Листовку, текст которой привела «Лужская правда», сочинил Костя К. после нашей встречи с гэбистом. Тот сказал приблизительно следующее: «У нас ведь народ какой — все ваши листочки к нам тащат».

В «Лужской правде» появилась статья учительницы А. «Страшно за детей»: страх ее был вызван не коррупцией и ее безнаказанностью, о которых в статье не было ни слова, а нашей попыткой

призвать виновных к ответу, что в статье расценивалось как травление людей друг на друга. После этого судились с газетой — Миша К., еще раньше обвиненный газетой в краже, и я. Кроме того, я написал и размножил на машинке штук двадцать листовок с ответом учительнице А., и мы раздали их перед уроком старшеклассникам той школы, где А. преподавала. Миша К., сам учитель, пытался нас остановить, но мы закусили удила. После этого газета опубликовала очередную статью о нашем клубе, в которой мои действия назывались шантажом. Суд не опроверг газетного определения, да и сам я в ходе разбирательства подумал, что поступил, в общем, неправильно, поэтому отказался от апелляции, заявив, что согласен с решением суда. От П. я получил за это выговор.

* * *

Осенью в Лугу приехали руководители одноименного ленинградского клуба Николай К. и Юра Н., с которыми я уже успел познакомиться в Питере. У нас на квартире и организовали встречу с остальными членами лужского филиала. С этими ребятами я продолжал встречаться и позже. Как-то я зашел к Юре домой, показал ему одну из своих статей, мы разговорились. «Вот ты можешь писать, у меня, к сожалению, это не получается, — сказал мне Юра. — Если в очередной раз не выберут, кто я буду?» (Н. в это время был депутатом Ленсовета.) Я вспомнил это признание, когда Н. («Яблоко») в 1993 году отказался снять свою кандидатуру в пользу кандидата от «Выбора России», имевшего гораздо больше шансов на успех. Не буду спорить, кто из них лучше или хуже, но из-за раскола демократов в Думу прошел А. Невзоров, набравший шестнадцать процентов голосов. После этого при случайной встрече я не подал Юрию руки.

* * * .

В 1990 году мы провели еще три митинга. Первый — весной, во время избирательной кампании на Съезд народных депутатов РСФСР. На этот раз нам разрешили собраться в городе, хотя и не на центральной площади. Мы решили поддержать двух кандидатов. Одного из них в Совет национальностей нам рекомендовал Гатчинский народный фронт. Помню, что это был офицер по фамилии Иванов. Второй Иванов, редактор, кажется, сланцевской районной газеты, к нам пришел сам. Я предложил попытаться

выдвинуть члена нашего клуба, но тот отказался — у него в прошлом была уголовная судимость, и он заявил, что его кандидатура может дискредитировать демократию.

Остальных кандидатов мы знали слабо. И хотя у нас были некоторые сомнения во втором Иванове, чтобы не запутывать избирателей, мы вышли с лозунгом: «Голосуйте за двух Ивановых!» Как обычно, в толпе находились работники райкома, и после моего заявления один из них начал убеждать окружающих: «Не верьте Ронкину, он же еврей», а на возражение, что Ронкин призывает голосовать за двух Ивановых, ответил: «Он пытается разжигать русский национализм».

Ни тот, ни другой кандидаты не прошли. Кто был избран в Совет национальностей, не помню. В Совет Федерации прошел работник лужской прокуратуры, против которого мы выступали³². К моему удивлению, судя по трансляциям заседаний, он вел себя порядочно.

Следующий митинг был в июле — это был митинг солидарности с бастующими шахтерами. Перед митингом кто-то позвонил в горком и сообщил, что клуб «Перестройка» готовит массовые беспорядки, слух разошелся по Луге, несмотря на это, а может быть, именно поэтому на митинге было гораздо больше народа, чем раньше.

По улицам ходили военные патрули, место проведения митинга было оцеплено милицией. И те и другие кляли лужского первого секретаря Антонова, который явился на митинг и встал на трибуну. Я свое выступление начал с вопроса, почему партийный начальник отдает приказы армии и милиции. «Сегодня он приказал военным патрулировать, а завтра объявит войну Новгороду?!» После меня взял слово сам Антонов: «Вот и видно, что перестройщики (он имел в виду нас) мало что понимают. Как я могу идти войной на Новгород, если я там родился и у меня там вся родня?» Бурный смех собравшихся.

Мы с Хахаевым написали заметку «Митинг в Луге», и кто-то отвез ее в Ленинград в редакцию «Невского курьера», там ее обещали напечатать. Но газета выходила нерегулярно, и публикация была отодвинута. Почти сразу же после митинга и мы, и Хахаевы

³² В 1990 г. ни Съезд народных депутатов РСФСР, ни избираемый им Верховный Совет не делились на две палаты. Автор, очевидно, имеет в виду двойную систему выборов: по национально-территориальным и «просто территориальным» округам. — *Прим. ред.*

уехали в отпуск. Перед этим мы договорились о том, что оставшиеся будут торопить редакцию, чтобы к следующему митингу мы смогли показать людям не машинописный, а типографски напечатанный текст.

Вернувшись, я узнал, что наша заметка еще не опубликована. На очередном митинге мы не смогли показать газету и опять вынуждены были пользоваться машинописью. Потом выяснилось, что заметка уже напечатана, а экземпляры газеты, оставленные для нас, так и лежат в редакции. В это время горком, выполняя резолюцию 19-й партконференции, организовал общественную приемную. П. и еще некоторые члены «Перестройки» начали регулярно посещать эту приемную, доказывая партработникам, что они все врут. На другие дела у них не хватило времени.

* * *

В декабре я договорился с председателем горисполкома Филимоновым встретиться в неофициальной обстановке на квартире у одного из членов клуба. К сожалению, в день встречи я должен был работать во вторую смену и не сумел подмениться. Когда я появился на «явке», П., Д. и еще кто-то «допрашивали с пристрастием» лужского мэра и пытались ему доказать, что он такой же жулик, как и все начальство. Я извинился за своих одноclubников, но было уже поздно (и по времени, и по ситуации) — и Филимонов ушел. Я уже рассказывал, что Филимонов давно осторожно нащупывал контакты с нами. В разгар нашего противостояния горкому он неожиданно предложил П. возглавить народную дружину (позже П. некоторое время возглавлял группу народного контроля).

Потом произошел случай, после которого я совсем охладел к «Перестройке». После одной из публикаций мы направили в местную газету листовку — «открытое письмо», надо сказать, достаточно грубое (я предложил более вежливый вариант, но остался в меньшинстве). Редакция «Лужской правды» передала нашу листовку в прокуратуру. Когда меня вызвали к следователю и он показал мне наше «открытое письмо», я заявил, что готов полностью отвечать за его текст. Тогда следователь протянул мне показания П., он заявлял, что текст ему незнаком и наш клуб не имеет к нему никакого отношения, «это опять провокация». Когда я, возмущенный, встретился с П., то услышал: «Не надо было признаваться! Как коммунисты поступают, так и с ними нужно по-

ступать!» Женщин рядом не было, и я ответил, что «х на х менять — только время терять!»

* * *

Я вспоминаю о микрособытиях, происходивших в Луге. Событий, затронувших всю страну, я касаюсь лишь постольку, поскольку могу припомнить нечто, касавшееся лично меня или близких мне людей.

Умер Андрей Дмитриевич Сахаров. От имени клуба «Перестройка», с которым я уже почти порвал, мы с Иринкой и Раисой Гордеевной распространили траурную листовку.

Стал депутатом Верховного Совета РСФСР наш друг Миша Молоствов. Мы с надеждой следили за выборами председателя ВС, наши надежды оправдались — им стал Ельцин.

Потом советские солдаты штурмовали вильнюсский телецентр. В лужской городской библиотеке, работники которой казались мне аполитичными, вывесили плакат: «Вчера Тбилиси, сегодня Вильнюс. Завтра Луга?»

Прошел референдум о судьбе СССР, в котором предлагалось выразить свое отношение к существованию союза суверенных республик. Положительный ответ центральная власть могла толковать в свою пользу, так же как и местные власти. На эту тему Хахаев и я опубликовали статью в «Невском курьере». Что из этого получилось (не из публикации, разумеется), теперь хорошо известно.

Одновременно решался вопрос об утверждении поста президента РСФСР. Вовка, который тогда кончал десятый класс, сказал про одну свою учительницу: «Странная она — голосовала одновременно и за сохранение Союза, и за утверждение поста президента России».

Съезд народных депутатов РСФСР, коммунистический больше чем наполовину, проголосовал за суверенитет России. Это голосование напомнило мне известный анекдот о Ходже Насреддине и жадном муфтии. Когда тонущему муфтию кричали: «Дай руку!» — он не давал, спас его Ходжа, крикнув: «Бери руку!» Когда республики требовали суверенитет, наши «государственники» кричали: «Не дадим!» — надо было сказать им: «Бери!»

* * *

В 1991 году, во время августовского путча, из «Перестройки» мне позвонил только Вася Краснов, и я сразу ответил, что надо

немедленно найти ксерокс. Сам пытался добраться до заводского ксерокса. Пока я добирался, оказалось, что наш директор отдал распоряжение напечатать обращение Ельцина и еще что-то.

Вася видит очень плохо, и он, и его жена — члены Общества слепых, производство при этом обществе развалилось. Живут они на маленькие пенсии, но об откате к тоталитаризму не мечтают.

Сразу же после поражения путча мне позвонил П. и заявил, что нам надо немедленно взяться за лужских «подпевал» путчистов. Я спросил, почему он не позвонил мне 19-го, и П. повесил трубку. (Года два назад П. даже пытался баллотироваться в лужские мэры, но не набрал даже нужного количества подписей для регистрации.)

21 или 22 августа я подошел к автобусной остановке. На скамейке сидела учительница А., которой я отвечал листовкой на ее статью в «Лужской правде». Увидев меня, она воскликнула: «Теперь вы начнете 37-й год!» — и расплакалась. Я попытался ее утешить, но она встала и ушла.

А начинался для меня путч так. К нам приехали в гости Молоствовы (Миша уже был депутатом Верховного Совета РСФСР), провели выходные и решили остаться еще на день, встретить день рождения Риты. Утром я встал, как обычно, на работу и по радио услышал речь Лукьянова и распоряжения Янаева. Я бросился всех будить: «Военный переворот!» «Шутишь!» — ответила Рита и попыталась повернуться на другой бок. Через некоторое время все, кто был в доме, слушали радио, потом Молоствовы умчались в Ленинград. К вечеру уехал туда же на митинг и Вовка. Ночью, как я узнал потом, через Лугу прошли танки. Костя К. все эти дни тоже был в Питере — дежурил около Мариинского дворца.

* * *

Распался СССР. С одной стороны (и это главное), решением Ельцина Россия была избавлена от войны за имперские амбиции, по сравнению с которой кровь, пролитая в Чечне, показалась бы каплей в море, с другой — выглядело это не самым лучшим образом. Ельцину достаточно было заявить, что ни один гражданин России не будет участвовать в «усмирении инородцев» — и не более того.

Судьба Союза решалась уже не в Кремле. И коммунисты приложили к его распаду свою руку задолго до голосования о суверенитете России. Разве не советские средства массовой пропа-

ганды начали твердить, что XX век — это век борьбы наций за свою независимость? Разве не коммунисты во второй половине века объявили «национальный суверенитет» бывших колоний чуть не высшей ценностью? Когда речь шла, скажем, о Британской империи, разве не наша пропаганда отказывалась замечать в ее существовании хоть что-нибудь положительное?

Не знаю, часто ли читали «Правду» баски, курды или папуасы, но латыши, грузины и украинцы ее читали. В зоне от националистов я не раз слышал: «Если Ботсвана имеет право на суверенитет, то почему этого права не имеет Украина?»

Еще одним фактором, разлагавшим Союз, была наша армия. Если почти все мужское население Средней Азии или Кавказа в течение двух лет слышало, как их называют «чурками» и «черножопыми» (американские индейцы называли европейцев «бледнолицыми!»), это явно не содействовало укреплению Союза. С другой стороны, из-за разницы в рождаемости «бледнолицые братья» зачастую оказывались в армии в положении национального меньшинства, что подрывало имперскую амбициозность и самооценку союзного объединения.

Проблема власти и привилегий

Друзья и враги демократии в Луге

Перестройка имела множество причин, в том числе, конечно, играли немалую роль и либеральные взгляды Горбачева. Но причины экономические, я считаю, на первом месте. Все начиналось, как попытка спасти экономику страны от полного распада. Косыгин в 1965 году попытался начать экономическую реформу, но у него ничего не вышло — слишком велико было сопротивление партийного аппарата. К тому же нефтяной бойкот, объявленный арабскими странами в 1970-е, привел к больше чем десятикратному увеличению цен на нефть, а в СССР были открыты новые богатейшие месторождения. При всем при том продукты регулярно были только в больших городах, и всюду стояли очереди. Кооперативное, т.е. дорогое, жилье надо было ждать годами, не говоря уже об очередях на государственную квартиру, за автомобилем, за билетом на поезд или самолет. Право покупки холодильника разыгрывалось на производстве в лотерею. И этот уровень жизни обеспечивался тем, что в инфраструктуру, капитальный

ремонт жилья, дорог, трубопроводов, нефтяных скважин денег почти не вкладывалось. Потом мировые цены на нефть стали катастрофически падать, и теперь стране грозил экономический крах. Не будь всего этого, высшая партноменклатура убрала бы Горбачева при первых попытках что-либо изменить.

Затем началась «революция вторых секретарей». При Сталине каждый нижестоящий чиновник имел шансы на карьеру, поскольку каждый вышестоящий имел шансы на трибунал. Смерть вождя и тридцать лет потребовались партийной элите, чтобы уразуметь, насколько опасен для каждого из них такой порядок ротации кадров. Хрушев уже не казнил, а только увольнял на приличную пенсию, что устраивало вторых секретарей, но не устраивало первых, уже несколько оклемавшихся от страха, поэтому первые его и убрали. Брежнев учел опыт предшественника, и ротация кадров, а вместе с тем и надежды на быструю карьеру исчезли. Во время выборов на 19-ю партконференцию именно вторые секретари начали организовывать митинги с требованием реформ и намеками на коррупцию.

С другой стороны, гласность дала возможность высказываться и тем, кто вообще предпочел бы обойтись без всяких секретарей или сам метил в таковые. Наконец, на поверхность всплыло огромное количество людей, которые имели счеты с коммунистической властью. В одних случаях их претензии были справедливы, а в других — нет. К нам в клуб начало приходить много людей, обойденных при распределении жилья, уволенных с работы за критику начальства или по его капризу, а иногда и за дело. У других было ущемлено самолюбие: на борьбу с режимом они не решались, и этот страх приводил к тому, что они ненавидели коммунистов гораздо сильнее, чем те, кто сознательно выступал против системы.

* * *

Таким на лужском уровне оказался П., ставший во главе демократического движения, при этом он проявлял огромную энергию и некоторые организационные способности. Я пытался сначала учить его, потом найти кого-нибудь вместо П., но желающих тратить на клуб все свое свободное время не оказывалось. Сам же я плохой организатор, я и на производстве предпочитал место технолога всякой административной работе. Бороться за власть, даже в масштабе нашей «Перестройки», я не хотел и не умел. К тому же я считал, что мои статьи и эссе — не менее

важный вклад в дело демократии, чем организация очередного митинга.

Расскажу еще о двух бывших членах нашего клуба.

Однажды ко мне, узнав, что у меня есть машинка, пришел сосед по Заклинью, Ю.И., с просьбой перепечатать текст. Печатаю я медленно, текст большой и глупый, и я возился довольно долго. Ю.И. оказался приверженцем питерского «экономиста» Павлова.

Павлов раньше преподавал политэкономии, но был уволен. Во время перестройки он возглавил независимый профсоюз махаевского толка. Суть его учения состояла в том, что заводами должны коллективно владеть рабочие, а вся интеллигенция, инженеры, экономисты и прочие должны служить по найму рабочему коллективу. В данный момент они объявлялись эксплуататорами. Сам Павлов не был членом профсоюза, а считался нанятым, поэтому остальные платили ему зарплату и подчинялись как харизматическому лидеру. Павлов имел прическу и бороду как у Маркса и издали действительно был на него похож. Его адепты, с которыми я встретился на какой-то демократической тусовке, слушались его беспрекословно и на все вопросы отвечали лозунгами.

Самое пикантное в этой ситуации состояло в том, что у Ю.И. было высшее образование, но он работал кочегаром, потому что «зарплаты хватает, а голова не болит». У себя на заводе Ю.И. организовал независимый профсоюз и выступил на собрании с требованием повышения зарплаты. Зарплата лично Ю.И. была повышена. Он было начал упрекать директора в провокации, но тот сказал: «Вы аргументированно доказали, что получаете мало, — вам и повысили. Остальные же молчат!» «Остальные» в условиях начавшейся безработицы не рискнули на подобные требования, а Ю.И. не внес свою прибавку в профсоюзный фонд. Профсоюз развалился, а Ю.И. заявил, что стараться ради быдла он не будет. Еще раньше он порвал и с «Перестройкой» и теперь, недовольный всем на свете, на выборы принципиально не ходит. И я не удивлюсь, если он в конце концов предпочтет русский национализм.

Еще один бывший член нашего клуба, Ф.О., сапожник по профессии, родился на хуторе в Ростовской области, там же и рос. Одиннадцатилетним мальчишкой он с товарищами нашел религиозную листовку (дело было в 1947 г.) и принес в школу. Учительница позвонила в милицию, и детей арестовали. Ф.О. пробыл

под следствием 8 месяцев, ему не давали спать по несколько суток, зажимали пальцы в дверях (искореженные пальцы его я видел сам), избивали. Требовали рассказать об организации и указать, где спрятано оружие. Дед обивал пороги ростовских кабинетов. Мальчишку выпустили. (Более подробно история Ф.О. опубликована в петербургском «Литераторе» (1991. № 37).

В начале перестройки Ф.О. ушел из мастерской и стал сапожничать на свой страх и риск. Работал он грубовато (мы ему отдавали в починку свою обувь) и не смог оплачивать аренду закутка. Потом началась инфляция, пенсии стали маленькими, и Ф.О., недавно еще ненавидевший коммунистов, стал голосовать за них.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

(Приватизация)

Приватизация и социализм в России

**Как менялись наши взгляды. — Марксизм и национал-социализм. —
Этическое и экономическое в марксизме. — Маркс и Бернштейн.
Возможность элементов социализма в России. — Основная проблема
перестроечной экономики**

Я, как и мои ближайшие друзья, сел в лагерь за идеалы социализма, Октябрьская революция для нас была великим событием. Сталинскую диктатуру мы рассматривали, с одной стороны, как необходимый этап в развитии, с другой — как контрреволюцию, которая стала возможна из-за отсталости и крестьянского характера тогдашней России. Этого противоречия в те поры мы не замечали.

Из лагеря мы вышли уже несколько другими. Попытку построить социализм в такой стране, как Россия или Китай, мы считали авантюрой, тоталитарный строй рассматривали как регресс к восточной деспотии, а взятие власти большевиками — как контрреволюцию. Но Маркс оставался нашим учителем.

Марксизм (и социал-демократию) не случайно сравнивают с национал-социализмом. Но главное их различие вот в чем.

Нацистская идеология вернулась к языческим идеалам — первобытному единству, исключаяющему всякий индивидуализм, основанному на кровном (на самом деле — псевдокровном) родстве нации, и к насилию как базовой ценности, на которой основано существование нации и человека.

Марксизм исходил совсем из иной системы ценностей, унаследованной от христианской культуры Европы. «Манифест Коммунистической партии» провозглашает «свободное развитие каждого как условие свободного развития всех», свободное же развитие предполагает моральную ответственность «каждого» за судьбу «всех». Не отрицая само существование наций, марксизм высту-

пает против «эксплуатации одной нацией другой», против «враждебных отношений наций друг к другу». Наконец, насилие для марксизма не самоцель, а только средство (теория опиралась на опыт Нидерландской, Английской и Французской революций). В предисловии к Марксовой «Гражданской войне во Франции» (1895) Энгельс пишет, что только безумец предложит баррикады при наличии всеобщего избирательного права.

Ошибочными оказались не идеалы марксизма, а его экономические построения (в первой части этих мемуаров я уже приводил высказывание Бернштейна по данному поводу). Именно поэтому эта теория вопреки себе самой победила в наиболее отсталых крестьянских странах: Россия, Югославия, Албания, Китай, Вьетнам, Северная Корея, Куба, Эфиопия и так далее — в более развитые страны она пришла на советских штыках.

В этих странах на вооружение была взята экономическая теория Маркса. Что же касается идеалов, то интернационализмом был назван империализм, демократией — тоталитаризм, гуманизмом — система ГУЛАГа.

Военное поражение нацистской Германии дискредитировало миф о превосходстве арийской расы и саму идеологию насилия. Экономический крах СССР дискредитировал не столько утопическую экономическую систему (кто мыслит экономическими категориями?!), сколько европейскую систему ценностей, которая, как казалось и кажется сейчас большинству, создана лишь для того, чтобы обслуживать интересы власти.

Примерно эти же мысли мы развивали в статье «Прошлое и будущее социализма», там мы говорили, что для стран со слабо-развитой структурой информации, намекая и на СССР, социализм (индикативный способ управления) — вопрос далекого будущего.

Мы с самого начала выступали против государственной собственности, так как государство-собственник неминуемо становится государством тоталитарным. Мы видели необходимость конкуренции. Однако даже в 1987 году мы еще считали возможным уже сейчас вводить некоторые элементы социалистических отношений, в частности рабочие советы на предприятиях.

* * *

Довольно скоро, однако, мы поставили под сомнение такую возможность. Толчком к таким сомнениям послужили слова молодого рабочего с моего завода: «Ишь ты, какой хитрый, значит, я

буду восемь часов вкалывать, а потом еще и заводом управлять! Нет уж, управляй сам».

Что получится, если завод станет собственностью наемного коллектива? Одно из двух: либо дирекция пойдет на поводу у рабочих, и тогда первое их поколение сумеет «урвать кусок», а затем предприятие станет неконкурентоспособным и разорится, либо, что более вероятно, дирекция, действуя от имени всех и поэтому имея возможность расправиться с каждым, станет абсолютной властью, и на заводах появятся мини-Сталины.

Горбачев принадлежал к той же «когорте события», что и мы, — таким событием был XX съезд. Так же как и мы до лагеря, он не представлял всей сложности национальных отношений. Если мы в зоне контактировали с националистами, то Горбачев, с того момента, когда он начал делать партийную карьеру, встречался только с «официальными лицами», которые с ним и не думали откровенничать. Как мы, он верил в «настоящих коммунистов», только мы огульно числили таковыми почти всех, кто был репрессирован в сталинские годы, а он, учитывая его послевоенное отрочество, наверное, вспоминал вернувшихся фронтовиков. Думаю, цену партаппаратчикам он знал, а что такое рядовые члены партии, представлял плохо.

Наверное, как и все сторонники «социализма с человеческим лицом», верил Горбачев и в рабочие советы — Советы трудовых коллективов (СТК).

Основной проблемой перестроечной экономики было следующее: для того чтобы начальство не разворовывало врученную ему коллективную собственность бюрократии, было создано два барьера. Во-первых, жесткий контроль за потреблением. Большой начальник мог вне очереди получить хорошую квартиру и даже обеспечить квартирами своих родственников и друзей. Но это нимало не сказывалось на вышестоящих начальниках; в основном обиженными оказывались те, кто годами стоял в очереди. А вот украсть многоэтажный дом он уже не мог. Легализация частного сектора, первоначально даже весьма скромная, делала такой контроль невозможным. Во-вторых, директор завода был ограничен в своих действиях настолько, что его управленческая деятельность становилась неэффективной.

Необходимо было развязать ему руки, но при этом ему давалась возможность и воровать. Чтобы разрешить это противоречие, мы и предлагали создать контрольные комиссии трудящихся, которые официально стали называться СТК. Не-

эффективность этого способа контроля поставила вопрос о приватизации.

Второй проблемой было «приручение» вчерашнего правящего класса. Рыночные отношения предполагают превращение бюрократии из самодостаточной силы в аппарат, который эти отношения обслуживает. Самым рациональным была бы передача собственности в руки технократии. Но попытка отстранить бюрократию от бесконтрольной власти, не дав ей ничего взамен, могла закончиться гражданской войной, поэтому пирогом следовало поделиться и с ней.

Но оказалось, что большое количество советских технократов не готово к работе в рыночных условиях. Что касается бюрократии, то она не желала получать свой «кусочек» в виде промышленной собственности, с которой и не знала, что делать, а предпочла приватизировать власть.

Наш абразивный завод оказался счастливым исключением, во многом благодаря директору, В.А.Борисову.

Лужский абразивный завод — история последних пятнадцати лет

Завод в эпоху застоя. — Директор Борисов и его успехи. — СТК и лужская демократия. — Внешняя торговля. — Рост завода. — Начало приватизации.

— Подход к ваучерам в нашей семье. — «Русский дом Селенга». —

Собрания акционеров: дело, коммерция и политика. Мои предложения и работа в счетной комиссии. — Конфликт с налоговой инспекцией. —

Новая должность Борисова. — Новый генеральный

Я не пишу ни донос, ни рекламу своего завода. Цель этой части моих записок — только проанализировать процесс, происходивший на моих глазах в последние годы нашего (моего) века. Оценки мои не могут не быть субъективными, тем более что у меня не было доступа к заводской документации.

Я поступил на Лужский абразивный завод, когда его директором был еще М., с гордостью носивший орден Ленина, пожалованный ему «за активное участие предприятия в сельскохозяйственных работах». Тогдашний главный инженер завода не отличал поляризационного микроскопа от электронного, хотя первый фигурировал в инструкциях. Стараниями этого главного инженера (его рацпредложением) в проект строительства нового кор-

пуса были внесены такие изменения, которые не дают нормально работать и спустя пятнадцать лет после его ухода.

Завод, однако, работал, производя некачественную и морально устаревшую продукцию. Планы выполнял далеко не всегда, отчего ИТР премиями не баловали. Новшества, однако, внедрялись, ибо любое предприятие имело соответствующую расходную графу и ни на что иное этих денег потратить не могло. Такая «модернизация» удорожала продукцию, но в очень малой степени сказывалась на ее качестве, притом далеко не всегда положительно. Зато при деле оказывались и всевозможные НИИ, и новые поставщики. Безработица стране не грозила.

* * *

Новый главный (Борисов) прибыл к нам из Иршавы в 1983 году, был он кандидатом технических наук и на прежнем месте занимал ту же должность главного инженера. На первом же собрании ИТР он преподнес нам обычные «Не потерплю!» и «Разорю!», да еще рассказал о превосходстве российского пролетариата над украинскими националистами. Кто-то из слушавших вздохнул: «Какой пролетариат, у нас же 101-й километр». Действительно, с судимостью на нашем заводе была тогда чуть не половина рабочих.

Платили у нас немного, вредность была гораздо выше, чем положено, и поэтому хорошие рабочие шли на другие, более благополучные заводы. Украсть по тем временам было нечего.

При Борисове начались некоторые перемены — были отремонтированы полы в цехах и наведен некоторый порядок на заводской территории. Через два года умер прежний директор, и Борисов занял его место. В отличие от своего предшественника, у него были связи не только в местном райкоме, но и в министерстве, поэтому завод начал довольно быстрыми темпами освобождаться от сколько-нибудь сложной продукции, планы были скорректированы, и мы стали регулярно получать «прогрессивку».

Все начало меняться с перестройкой. Еще в конце 87-го мы с Иринкой собирали на заводе подписи для учреждения общества «Мемориал». Иринка первой обратилась к начальнику своего цеха, я — к цеховому парторгу: после этих подписей остальные уже ставили свои более спокойно. Борисов, узнав о том, чем мы занимаемся (осведомители на нашем заводе, мне кажется, существовали всегда), собрал цеховое руководство и настоятельно рекомендовал ему снять свои подписи, поскольку все это «сионистские

происки». Борисов не был антисемитом, ближайший его сподвижник до сих пор — еврей Литманович, которому я когда-то сказал, что именно из-за таких, как он, и существует антисемитизм. Никаких репрессий, однако, не последовало, хотя Борисов не из тех, кто терпит неподчинение. Я думаю, что эта акция была предпринята на всякий случай, Борисов уже понимал, к чему все идет.

* * *

Летом 89-го года на заводе выбрали СТК. Выборы в нашем цеху проходили так: наш мастер и профорг Б., боявшаяся начальства как огня, в обед прошла по цеху и объявила собрание. Собравшимся, далеко не всем работникам цеха, был зачитан список кандидатов, никто не возражал. В других цехах произошло то же самое. СТК был сформирован и приступил к бездеятельности.

Вскоре партийным работникам были резко подняты ставки, официально об этом объявлено не было, но некоторые сообщения появились в прессе.

Клуб «Перестройка» откликнулся на это событие листовкой: «К Октябрю партаппарату увеличили зарплату. Нам дороже с каждым днем аппарат и те, кто в нем». А месяца через полтора открытое партийное собрание завода, на которое пригласили и меня (!), постановило перечислять в райком только половину партвзносов, другая оставалась на заводе для помощи ветеранам партии. Начальник нашего цеха, он же председатель заводского СТК, Рассказов спросил присутствовавших там работников горкома: «Почему о повышении зарплаты партработникам мы должны узнавать от Ронкина?» (речь шла о нашей листовке). Очевидно, в той или иной форме противостояние дирекции и горкома возникло и на других предприятиях, поскольку в феврале 1990 года в «Лужской правде» появилась статья Ю.И. о «карманных СТК». Затем на абразивном начался выход из рядов КПСС. Начало положила С., парторг завода и директорский ставленник. Потом перестало быть «умом, честью и совестью нашей эпохи» ближайшее окружение Борисова. Сам он вышел из КПСС только в связи с ее ликвидацией в 1991 году.

Формально являясь еще коммунистом, он активно поддерживал на президентских выборах Ельцина.

О путче Борисов услышал, только придя на завод. «Эта шобла не продержится и трех дней!» — заявил он во всеуслышанье. 20 августа, пока я, по старой привычке, втихую пытался «прорваться» к

заводскому ксероксу, вернувшийся с экстренного расширенного заседания облсовета Борисов привез огромное количество материалов против ГКЧП и приказал их размножить. (Годом позже, побывав на совещании директоров, которым руководил Гайдар, Борисов собрал ИТР и объявил: «Это то, что нам нужно, если реформы пойдут — завод будет работать!»)

* * *

Сразу же после выборов СТК началась эпопея с продажей сырья за границу: в Польшу, Чехословакию и Германию в ударном порядке грузились вагоны со шлифовальным зерном. Частично это зерно было накоплено раньше.

Все предприятия получали сырье из государственных фондов, стоимость его входила в себестоимость продукции. Если нормативы оказывались завышенными, сырье или накапливалось на предприятии, или выбрасывалось. Иногда начальство через рацпредложения снижало нормы, но делалось это очень осторожно, при непредвиденных обстоятельствах ему пришлось бы выкручиваться самому, вернуть старые нормативы было уже невозможно.

При этом мы, хотя и с перебоями, продолжали получать такое же шлифзерно по обязательным поставкам. Энергоемкое и экологически «грязное», это зерно, при тогда еще низких ценах на энергию и фиксированном курсе рубля, могло приносить баснословные прибыли. Кто и сколько получал от этой торговли, сказать не берусь. У нашего государства был уже опыт частной международной торговли: в начале восьмидесятых Министерство рыбной промышленности, как известно, продавало за рубеж икру, маркированную под салаку, а разница цен частично попадала в карманы ловкачей. Поэтому некоторым заслоном на этом пути было государственное утверждение цен на продажу. Судя по тогдашней прессе, этот барьер преодолевался элементарно: в договор включались санкции за нарушение поставок — дополнительное количество продукции, за которое получатель, разумеется, ничего не платил. Так было и у нас — за границу шли «дополнительные» вагоны с сырьем. Вот тут-то и пригодился СТК, «визировавший» всю документацию. На завод поступило несколько стиральных машин из Германии и курток, почему-то из Китая, которые и были распроданы его работникам. Все это преподносилось как полученное в обмен за наше сырье.

Если бы некоторые «капитаны» промышленности, в том числе и наш, не надеялись на то, что вскоре из назначенцев они

превратятся в хозяев, «их» предприятия «по камешку, по кирпичику» были бы разворованы. Во многих случаях так и произошло.

На наш же завод кроме курток стало поступать и новое оборудование, начала резко меняться номенклатура изделий. Борисов неожиданно для всех вдруг проявил себя как знающий специалист и менеджер, ориентирующийся на рынке. Однажды Борисов объявил, что мы должны срочно осваивать продукцию его прежнего завода (в Иршаве): «Единственный знающий дело человек, старший технолог, уволена, потому что русская. Иршавский завод станет — и потребители достанутся нам». И оказался прав. В короткое время у нас была организована служба маркетинга, был в корне изменен подход к внешнему виду изделий и их упаковке.

Борисов укрепил руководство новыми людьми, в основном это были кадры с развалившегося оборонного предприятия. Начались активные поиски потребителей. Еще в 88-м году Борисову удалось получить деньги на расширение предприятия, деньги эти не были разворованы, и в тот самый момент, когда в стране все рушилось, на нашем заводе строился новый огромный корпус.

В отличие от прежних времен, теперь, приходя на работу, мы слышали, что в самые короткие сроки необходимо освоить какой-либо вид новой продукции: «Потребитель требует!»

На предприятии стали появляться иностранные делегации: Борисов искал зарубежных партнеров, способных предоставить заводу новые технологии.

* * *

В 91-м году Борисов подал заявку на приватизацию нашего завода, и в конце следующего года приватизация началась. Завод был оценен в 25 млн руб. (по ценам 91-го года, смешным даже тогда). Была создана приватизационная комиссия, председателем которой стал глава СТК Рассказов. Эта комиссия разработала «Положение о приватизации», утвержденное СТК (работа комиссии была окружена строжайшей секретностью). Из прибыли предприятия был сформирован приватизационный фонд для каждого из работников в зависимости от стажа работы на этом предприятии (Борисов работал у нас сравнительно недавно, и этот коэффициент был незначительным) и его заработной платы — директора в это время фактически назначали ее себе сами.

Попытка правительства ограничить директорские аппетиты пятикратным средним заработком на предприятии успеха не имела — пошли в ход персональные надбавки, специальные премии и т.п. (Жена и зять Борисова тоже работали у нас, имея не маленькие оклады.)

Чтобы не делиться акциями, большинство пенсионеров тут же было уволено (закон тогда это разрешал), и своей доли в этом фонде, естественно, не получили.

На этом этапе только 51% акций завода поступал в продажу.

Каждый из работников завода мог заказать себе любое количество акций. Если общая стоимость была до 90 тыс. руб., он мог выплачивать в рассрочку. Если больше — деньги нужно было выплатить сразу (ходили слухи, что при нарушении этих условий человек вообще лишался права покупки акций). Половину суммы можно было уплатить ваучерами, которых у нас тогда было пять штук: Иринкин, мой, Вовкин и два ваучера от моих родителей.

Когда было обнародовано «Положение», мы оформили отпуск и собирались ехать в гости к Молоствовым, уже и билеты были куплены. Мы наскоро подсчитали свои возможности, заказали акции и уехали в Еремково.

Сначала дирекцией было объявлено, что деньги из фонда пойдут только на приватизацию, впрочем, для некоторых было сделано исключение и выдана их доля, затем деньги стали выдавать всем желающим. В результате такой нехитрой политики многие свой приватизационный фонд потратили до начала продажи акций.

Потом «выяснилось», что количество заказанных акций значительно превышает число имеющихся, поэтому был введен понижающий коэффициент, 60% от заказанного количества. Руководство, которое было в курсе событий, могло заказывать себе акции на сумму с учетом этого понижения, превышая свой приватизационный фонд и даже свои возможности. Таким образом, оно получало 100% желаемого, а остальные — те же 60%. Рядовые же работники не сумели даже использовать весь свой приватизационный фонд.

На второй стадии приватизации завод приобрел еще 39% акций. Так же, как и в прошлый раз, персоналу абразивного были начислены денежные выплаты из приватизационного фонда.

Этот пакет в 93-м году продавался на «аукционе». В нем кроме АООТ «Абразивный завод» участвовал еще только один «по-

купатель» — некая фирма, представленная людьми из борисовского окружения. Как это удалось сделать, неизвестно ни мне, ни, думаю, даже Чубайсу, но акции, как и прежде, распределялись внутри завода.

В последний момент выяснилось, что 80% суммы надо было погасить ваучерами. Рядовые работники узнали об этом значительно позже, чем начальство. «Верхи» заранее начали широкомасштабную скупку ваучеров, которые на свободном рынке вместо 10 тыс. руб. стоили тогда 4—5 тыс. Чтобы на это не тратить личных сбережений, администрация придумала беспроцентный кредит сроком на год. Из кассы завода были взяты миллионы рублей. Если за кредитом обращались рядовые работники, некоторым давали по 30—50 тыс., остальных ставили «на очередь». Потом такого рода кредитование было отменено, а получатели, учитывая огромную инфляцию, вернули заводу сущие гроши.

Мы не брали кредита, но, поскольку на первом этапе нам досталось гораздо меньше акций, чем мы рассчитывали, у нас остались ваучеры. Именно ваучеры, а не деньги, мы оставили по идеологическим соображениям — раз мы голосуем за «Выбор России», то должны верить руководству этой партии, в том числе и Чубайсу. Мало того, мы еще купили несколько штук и, таким образом, смогли участвовать в приобретении второго пакета акций.

В этом случае нас идеология не подвела. Но через год мы попались на удочку «Русского дома Селенга» (РДС). В разгар жесточайшей инфляции мы получили свои первые дивиденды. Пресса объяснила (и это было правдой), что покупка долларов антипатриотична — мы таким образом вкладываем деньги в американскую экономику. Попытались вложить в российскую, «селенг» и означал сбор денег для таких целей, среди прочего в их программе значилось и жилищное строительство. Мы прикинули, каким темпом растут цены на жилье, и сделали вывод, что процент, предлагаемый «Русским домом», в условиях инфляции вполне реальный. Приблизительно треть вложенного мы сняли в качестве процента. Потом у «Русского дома» наступили «временные трудности», но мы не стали тратить время на очереди, ведь лицензию этой фирме подписал Чубайс (или его заместитель). Решили, что если мы доверяем «Выбору России» судьбу страны (голосуя за него), то уж личные деньги доверим тем более. Больше мы денег от «Селенги» не видели.

Я разговаривал на этот счет со многими юристами, и все отвечали: «Ну ведь вы понимаете», а я ничего не понимал. Если бы фирма построила жилье в Грозном или на Сахалине, где было землетрясение, я бы не имел ни к кому никаких претензий. Но ведь «Русский дом» просто не вкладывал собранных денег в «селенг», а переводил их за рубеж. В Уголовном кодексе — и старом, и новом — такие действия именуются мошенничеством. Через год после официального краха РДС я подал в суд. Нас собралось человек двадцать, и каждое заседание превращалось в коммунистический митинг. Суд признал нашу правоту. «А деньги?» — «Поезжайте в Волгоград, там и обращайтесь».

Последний пакет акций, десять процентов, был передан заводом немецкой фирме, поставившей нам оборудование и технологию в один из цехов.

Все это время, начиная с распределения первого пакета, администрация завода покупала и «продавала» акции. До того как были распределены первые дивиденды, многие рабочие, не видя толку в акциях, стали их продавать, причем предприятие скупало их по смехотворно низким ценам. Нам удалось купить несколько штук. Формально по той же цене их мог купить каждый, но, как правило, в тот момент, когда этот «каждый» обращался за акциями, их не оказывалось в наличии. По какому-то поводу начальству и кое-кому из рядовых инженеров была оформлена большая премия, которая выдавалась акциями нашего завода.

В результате значительная часть акций сосредоточилась у руководства.

Такое и даже еще более жесткое сосредоточение капитала в одних руках — неперемное условие управляемости производства и того факта, что прибыль не будет целиком съедена малыми долями, а хотя бы частично вернется в производство. Но обманутому человеку не легче от теоретических обоснований, к тому же не всегда доступных ему по уровню социально-экономической подготовки.

Я себя не считаю обманутым, поскольку никогда не обманывался насчет природы государственной собственности. Она во все времена принадлежала не народу, а тем, кто и делил, и делит ее между собой в период приватизации.

Безусловно, такая быстрая и выгодная приватизация потребовала огромных денег. Откуда они взялись, теоретически могли бы ответить члены СТК, если бы его формировал не сам Борисов; они же могли бы ответить, куда и сколько ушло...

* * *

На первом же собрании акционеров был избран совет директоров, одновременно выбирали и генерального директора. Борисов, избранный почти единогласно, стал председателем этого совета и генеральным (техническим) директором завода. Некоторые руководители, правда, выступили с критикой Борисова, но их не поддержали.

Тайное голосование велось бюллетенями, в которых указывалось число акций. Чтобы голосующие не опасались репрессий, я предложил сразу же после голосования опечатывать бюллетени, а по прошествии недели их сжигать. Предложение мое, вызвавшее недовольство Борисова, было принято, а я был избран в счетную комиссию. В счетную комиссию меня избирали и на следующих собраниях.

Через некоторое время в цехах появились анонимные листовки, направленные против директора, в которых акцент делался на огромной зарплате, которую он определил сам себе. Затем начались «разборки» внутри заводского «истеблишмента» и увольнения.

Завод приватизировал и помещение для магазина, находившееся в нижнем этаже только что построенного заводом жилого дома. В этом помещении был открыт продуктовый магазин, приносивший, как выяснилось, одни убытки. Злые языки утверждали, что в нем отмывались «грязные деньги». Через некоторое время помещение было сдано в аренду какой-то другой фирме, потом дирекция эту аренду отказалась продлить, а фирма не хотела разрывать договор. В магазине произошел взрыв, и погибла старуха покупательница. Следствие, как теперь уже стало привычным, преступников не нашло, а Борисов на собраниях намекал, что это дело рук уволенных.

* * *

Все бы ничего, но в 93-м году возник конфликт с налоговой инспекцией. Заводу был выдвинут иск на несколько миллиардов рублей. Кроме того, всплыли операции с беспроцентными ссудами и, кажется, с продажей сырья. Борисов попытался обрести неприкосновенность в качестве местного депутата, но не прошел, причем наихудшие результаты оказались в местах компактного проживания наших рабочих. Ответственный за проведение избирательной кампании бывший партторг завода вскоре был уволен.

Дело многократно поступало в разные арбитражные и судебные инстанции, была выявлена вопиющая некомпетентность налоговой службы, в частности, вместе с отпускными квитанциями были засчитаны и их дубликаты, в результате чего производительность завода получилась совершенно немыслимой. В итоге вместо двух миллиардов рублей штрафа, начисленных первоначально, завод выплатил около 75 тыс. через год с лишним в условиях инфляции.

Не знаю, как нужно поступать в странах с благополучной экономикой, но в России, где хорошо работающих предприятий единицы, предъявленный первоначально штраф означал увольнение чуть не тысячи ни в чем не повинных людей, весомое сокращение поступления налогов в городскую казну (и тогда, и до сих пор абразивный завод платит налогов больше, чем любое другое лужское предприятие) и окончательное прекращение всяких поступлений в федеральный бюджет. По моему мнению, наказание за неуплату налогов следует накладывать на конкретных лиц, штрафую их на определенное количество акций.

Возможно, арбитры учли все последствия краха нашего завода и отказались от такого штрафа.

* * *

Но Борисову с поста генерального директора пришлось все-таки уйти. Из-за всех этих передрыг он слег в больницу сначала с сердечным приступом, потом с обострением язвенной болезни. Выйдя из больницы, он объявил, что его здоровье не допускает теперь больших нагрузок и что пора выдвигать молодых. На собрании акционеров он предложил избрать директором начальника маркетинга Заутина, и мы с удовольствием проголосовали. Борисов остался председателем совета директоров. Заутин пришел на наш завод сравнительно недавно с развалившейся «оборонки», не имел опыта работы в производстве нашего типа и многого не знал, но быстро освоился. В отличие от Борисова, он не грубил подчиненным, старался не прибегать к репрессиям и, судя по всему, не жульничал! Акции нашего предприятия у него было немного по сравнению с акциями других руководителей. Себе Борисов сочинил новую должность — заместитель директора по связям с заграничными партнерами. За счет «фирмы» он ухитрился объездить чуть не весь мир, заключил несколько сделок — в большинстве своем для завода невыгодных.

Расчет его на то, что Заутин будет послушно выполнять роль зиц-председателя (от него требовали подписания некоторых документов весьма сомнительного свойства), не оправдался.

Новый директор начал бороться с кулуарным распределением акций, отказывался сотрудничать с местной мафией и выслушивать хамские указания крупнейшего акционера Борисова.

В отсутствие Борисова он уволил за воровство одного из начальников цехов. Молодой парень, покровительствуемый Борисовым, сын директора одного из наших деловых партнеров, попался на продаже цветного металла. Добросовестная вахтерша, старушка Бухина, увидев, как через забор грузят машину, вызвала милицию. В считанные минуты к ней явился этот блатной «сын» и устроил разнос. На следующей неделе вахтерше объявили благодарность за бдительность и уволили «по старости». Дело заглохло. Через некоторое время «сын» попался на том, что полтора года получал зарплату давно уволенной уборщицы. Рабочие, по очереди убиравшие цех, возроптали. Борисов был где-то за границей, и жулика уволили. Вернувшийся шеф устроил Заутину разнос: кричал, что мы останемся без поставщика, матерился.

Спустя полгода, вернувшись из очередной заграникомандировки, Борисов опять принялся за увольнения и перестановки. Делал он это как председатель совета директоров, опираясь на остальных членов этого совета. Репрессиям подверглись в первую очередь те, кто хорошо сработался с Заутиным. На собрании руководящих ИТР Заутина он разругал. В защиту осмелился выступить только уже бывший главный инженер К-в, еще не уволенный с завода благодаря протесту немецких акционеров, которые предпочитали иметь дело с компетентным работником.

* * *

Еще через год, летом 95-го, состоялось очередное собрание акционеров с выборами в новый совет директоров. Голосовали акциями, и Борисов получил только свои собственные голоса (у него было уже около десяти процентов акций) и голоса нескольких приспешников. За Заутина же голосовали почти все остальные. Борисов предложил собравшимся сделать своего соперника генеральным директором на следующий срок, с чем все согласились.

Потом стали обсуждать новый устав нашего акционерного общества. Устав этот мы не могли сочинять произвольно — типовые уставы разрабатывались на государственном уровне и менялись каждый год. Если прошлый типовой устав разрешал со-

вмещение должностей председателя совета директоров и генерального директора, то теперь генеральный директор вообще не мог быть членом совета директоров.

В нашем конкретном случае создавалась парадоксальная ситуация. Членами совета директоров предприятия были его руководители: заместитель директора (Борисов), главный технолог (Литманович), главбух и старший экономист; по своему служебному положению они подчинялись генеральному (техническому!) директору, но как члены совета директоров могли его уволить. На это я и обратил общее внимание. Я предложил следующее: назначение директора пусть останется функцией совета, но уволить его можно только с согласия собрания акционеров. Большинство проголосовало «за».

После собрания Заутина назначили генеральным директором, для чего он, согласно новому уставу, написал заявление о своем выходе из совета директоров. Впервые за пять лет работы на нашем заводе он взял трехнедельный отпуск.

В отсутствие Заутина по цехам были распространены очередные листовки, подписанные советом директоров. Там давался анализ экономического положения завода, из которого следовало, что с назначением Заутина положение это стало ухудшаться. Заутин, вернувшись из отпуска, ответил своей версией. Его анализ показывал устойчивый рост экономических показателей (что мы чувствовали и по заказам, и по зарплатам), там же говорилось, что экспортные поставки (за которые отвечал Борисов) составляют только 1% нашей продукции. Это мы знали, поскольку работа на экспорт не скрывалась от нас и сопровождалась особым ажиотажем.

Заутин вышел из совета директоров, но условия и круг полномочий, которые ему, вопреки предварительной договоренности, предложил совет, оказались для него неприемлемыми. В результате он уволился с завода «по собственному желанию».

Мы расценивали это увольнение как предательство тех, кто боролся за него. Возможно, смягчающим обстоятельством были анонимные звонки с советом побережь своих детей. Об этих звонках Заутин рассказывал, прощаясь с группой инженеров.

* * *

После увольнения Заутина нам в первый и последний раз задержали зарплату на две недели. Дирекция ссылаясь на то, что экономика завода полностью развалена. На вопрос рабочих, ког-

да будет зарплата, Борисов ответил: «Спросите у Заутина», но из конфиденциальных источников было известно, что деньги на заводском счету имеются.

Борисов, вопреки закону и уставу нашего акционерного общества, был назначен и.о. директора, и через две недели ему «удалось» положение выправить. Правда, не совсем: у Заутина была налажена хорошая связь с потребителями, некоторые из них от сотрудничества с Борисовым отказались, и пришлось искать новых.

В связи с временной потерей заказчиков производство начало лихорадить, и начались массовые принудительные «отпуска за свой счет»; это продолжалось более полугода. (Тому, кто не хотел писать заявления, грозили увольнением, тем, кто писал, — не платили за вынужденный простой.) Этот метод борьбы с временными трудностями стал применяться и в дальнейшем.

Став полновластным хозяином, Борисов снова восстановил на работе начальника механического цеха, уволенного Заутиным за жульничество. Поговаривали, что он просто делился украденным с Борисовым тайком от остальных акционеров. Я в эту версию не верю. Думаю, что для Борисова связи с сильными мира сего гораздо важнее тех денег, которых стоила украденная медь.

Если во время экономических спадов рабочих отправляли в вынужденные отпуска, то, когда требовалась сверхурочная работа, сначала ее оплачивали по закону, потом по соизволению начальства кое-что добавляли к обычным расценкам. Наконец, уже после моего увольнения, ввели «месячную выработку» — чтобы получать премиальные, рабочие должны были отрабатывать в предложенное начальством время простои, вызванные поломками оборудования и прочими внутрицеховыми причинами.

Было введено и еще одно новшество — неполная оплата больничного и других случаев вынужденного отсутствия на работе. По российскому законодательству больничный оплачивается по среднему заработку, а премиальную систему каждая фирма может устанавливать по своему усмотрению. На абразивном заводе вынужденное отсутствие оплачивается по закону, но в следующий месяц за это число дней не начисляется премия, составляющая до 79% зарплаты. «По форме правильно, а по существу — издевательство».

Мои попытки опубликовать статью на эту тему в «Невском времени» или обжаловать решения дирекции в областной профсоюз не увенчались успехом.

О нарушении техники безопасности на заводе и говорить не приходится. Санэпидстанция зафиксировала превышение предельно допустимых концентраций фенола в десятки раз (при том, что администрация заранее знала о ее визите и остановила наиболее «грязные» процессы).

В сегодняшней ситуации пунктуальное требование соблюдения техники безопасности равносильно полной остановке всех предприятий России. Такую технологию мы получили от «реального социализма», и на ее немедленную переналадку не хватит никаких инвестиций. Люди предпочитают работу в таких условиях безработице. Но, с другой стороны, послабления в этом вопросе приводят не только к отсутствию перемен, требующих затрат, но и к элементарной безалаберности тех, от кого зависит здоровье их подчиненных. По старой традиции, получить диагноз — «профзаболевание» — практически невозможно.

И все-таки конфликт с СЭС у нас произошел. Техотдел вовремя не подготовил какие-то документы, а Борисов нахамил работнику СЭС. Завод был остановлен на три дня. «Крайними» оказались рядовые работники, которые сначала «гуляли за свой счет», а потом в разгар уборки картофеля (почти у каждого свой огород) «вкалывали» по субботам. Прежний инженер по технике безопасности был уволен и на его место взят бывший работник СЭС.

Последний спор с руководством

Чужая фирма скупает наши акции. — Что будет тем, кто продаст их. — Собрание 96-го года. Принципиальный вопрос об уставе. — Я ухожу на пенсию. — Провокация. — Увольнение. — Суд. — Победа и поражение?

Между тем некая фирма начала скупать акции предприятия по цене, значительно превышающей ту, что давали за них на заводе. Немедленно было объявлено, что «непатриоты» (т.е. продавшие свои акции «на сторону») будут с завода уволены, что и было продемонстрировано. Мало того, уволись не только «виновные», но и их родственники (в маленькой Луге семейная работа на одном предприятии — явление распространенное).

Суды, если уволенный туда обращался, подтверждали незаконность увольнения, заставляли завод платить компенсацию, но на такой шаг решался только тот, кто мог найти другую работу:

как говорится, на заводе ему уже не было бы жизни. Я слышал, что в последнее время Борисов, не ожидая «непатриотических» поступков, стал требовать (не сам, конечно, а через своих приближенных) продажи акций, но на его условиях — отказавшимся опять же грозили увольнением. Под разными предложениями с производства вынудили уйти довольно крупных работников, о рядовых рабочих и говорить нечего.

Когда администрации стало известно, что мы продали свои акции, в цеху, где работала Иринка, должен был пройти технологический контроль с «оргвыводами» (такие вещи становятся известными, как бы начальство их ни скрывало). Но Иринка заболела, а выйдя с больничного, подала на увольнение.

Свои акции мы продали на сторону, так как скупающая их фирма платила в два раза больше, чем можно было бы получить на заводе. Вообще же продать мы их решили потому, что на очередном собрании акционеров был принят новый устав, согласно которому вопрос об эмиссии акций решало не общее собрание, как было раньше, а совет директоров. При этом мы имели бы право на покупку пакета выпущенных акций пропорционально имевшемуся у нас, но денег на это у нас уже не было бы. Таким образом, совет директоров мог оставить рядовых акционеров с носом.

* * *

Это акционерное собрание было в начале июня 96-го года. Проект нового устава, который занимал несколько печатных страниц, был роздан, и его могли прочесть все желающие. Я увидел там не только это новшество — права совета директоров значительно расширились, технический директор мог быть одновременно и председателем совета директоров. Кажется, там был и пункт, согласно которому совет директоров мог устанавливать своим членам персональные выплаты. До сих пор этот совет существовал на общественных началах.

К-в решил выступить против некоторых статей устава. Для того чтобы получить голос на собрании, свои предложения надо было подать за неделю в совет директоров, что К-в и сделал. Как потом он нам рассказал, Литманович, прочитав его поправки, сказал: «Чтобы поправка прошла, нужно, по старому уставу, три четверти голосов, вы их не наберете».

На собрании К-в все-таки выступил. Я взял слово после него. Я объяснил собравшимся ситуацию: чтобы изменить то или иное

положение устава, нам надо набрать 75% голосов, это невозможно, принимать устав целиком нерационально, поскольку в нем сразу не разберешься; новый устав должен быть принят тоже тремя четвертями голосов, вот и проголосуем против, нам для этого хватит и 25%, оставим старый, и пусть теперь они изменяют его поштатейно, для чего уже им нужно будет набирать по 75%.

«Вы не подали заранее свои поправки», — пытался остановить меня ведущий собрание Литманович, но я возразил, что не вношу поправок, а просто предлагаю голосовать против нового устава. Тогда Литманович объявил, что придется собирать новое собрание, «а это стоит больших денег».

Новый устав все-таки прошел, его противники набрали только 23% голосов, о чем с радостью объявил председатель собрания, добавив: «Устав принят, теперь уже никто не сможет его изменить!»

* * *

Третьего августа 1996 года мне исполнилось шестьдесят лет, и я оформил пенсию. Рабочие моей смены предложили отметить эту знаменательную дату. Идти к нам домой постеснялись и остановились на более привычном варианте — после вечерней смены, прихватив выпивку и закуску, пошли в лесок, расположенный недалеко от завода. Расселись на поваленном стволе, произнесли тосты, выпили, закусили. Потом «девочки» (некоторые уже бабушки) начали петь. Спели несколько песен из обычного популярного репертуара. Потом запели туристскую... Из каких-то глубин памяти женщины, ходившие в походы еще школьницами, специально для меня выудили шуточную «Бабку-Любку».

Руководство завода ко мне относилось не так, как рабочие, да и вообще пенсионеров не баловало. Отчасти это можно объяснить рациональными причинами — пожилой человек уже не так легко осваивал новшества, да и работать ему становилось тяжелее. Но я думаю, была и другая сторона — Борисову не хотелось, чтобы на заводе были те, кто помнил его еще не хозяином. Как бы то ни было, мне передали, чтобы я ушел с завода. Я сказал, что хочу отработать не больше полугода. На том и договорились.

Кажется, 21 августа, но точно помню, что в пятницу, выйдя на работу во вторую смену, я увидел приказ, подписанный Борисовым. В приказе суббота объявлялась рабочим днем в связи с тем, что на конец сентября намечалось празднование 90-летия нашего завода.

Выходить мне нужно было опять во вторую смену, но этого я сделать не мог. Иринка в тот день возвращалась из отпуска с внуками, которых собиралась отвезти к Маринке, но могло случиться и так, что она прямо с ними поедет в Лугу. Мы договорились, что я буду ждать ее звонка из Ленинграда как раз в субботу вечером. Поэтому я пошел к начальнику цеха и предложил: пусть я выйду в этот день с утра или пусть мне зачтут прошлую субботу, которую я отработал по его просьбе без всякого приказа.

Если бы начальником цеха оставался Рассказов, он, безусловно, пошел бы навстречу, но его уже в цеху не было. Года три назад он с большим скандалом был снят «за развал» и брошен «на укрепление» — неожиданно для всех переведен в заводоуправление с повышением в должности. Почему это произошло именно в такой форме, остается только гадать, ведь Рассказов как никто знал цех и отдавал ему все силы. Возможно, Борисов просто в этот день был в плохом настроении, а может быть, проверял Рассказова на «преданность». Во всяком случае, когда несколько инженеров цеха, и я в том числе, решили устроить демарш в его защиту, Николай Николаевич попросил этого не делать. Потом некоторое время нами командовал тоже вполне нормальный человек, и наконец появился Мехнин. Насколько я понимаю в технарях и начальниках, Мехнин ни во что не вникал, цехом не интересовался, вся техническая и организационная работа была переложена на других инженеров, а начальник представлял из себя только «государево око».

В ответ на мою просьбу Мехнин ответил: «Можете и вообще не приходите!» В эту субботу на работу я не пришел. В понедельник начальник предложил мне написать объяснительную, а в начале сентября приказом Борисова я был лишен персональной надбавки, которая, как оказалось, составляла 43% моего заработка.

В период инфляции на заводе выдавались всякого рода компенсационные выплаты, оформлявшиеся как помощь. Еще в марте, перед собранием акционеров, все эти выплаты были ликвидированы, а заработная плата повышена приблизительно на ту же сумму. Но это повышение некоторым было оформлено как персональная надбавка, которая целиком зависела от прихоти Борисова. Слухи о том, что «повышение» зарплаты произведено таким образом, ходили, но никаких официальных заявлений начальства по этому поводу не было, и в расчетных листках зарплата и «надбавка» шли под одним шифром, хотя шифр для надбавок был совсем другой.

Я подал в суд. Суть моих претензий состояла в том, что, с одной стороны, сам приказ незаконный, поскольку «празднование юбилея, согласно трудовому кодексу, не входило в ряд причин, по которым разрешались сверхурочные работы». (Приказ этот я снял с доски в ту же пятницу — и правильно сделал: на суде фигурировал уже другой приказ, оформленный тем же номером и числом и подписанный тоже Борисовым. Я предложил юристу, представившему завод, возбудить уголовное дело против меня за подделку приказа, но та предпочла признать, что я мог прочесть только «первый вариант».)

С другой стороны, понимая, что, согласно трудовому договору, выплата надбавок целиком зависит от решения директора, я решил доказывать, что эти 43% вовсе не надбавка, а часть зарплаты.

Мне повезло: благодаря тому, что суд был перегружен, до моего дела добрались только в конце декабря. 26 декабря, когда нас вызвали на процедуру досудебного примирения, о том, что я подал в суд, узнали и на заводе. В тот же день ко мне пришла проверка. Акт проверки я получил только через два дня. А днем раньше и мне, и мастеру, с которым я работал, был объявлен выговор. Мехнин объяснил мне, что от моего упрямства буду страдать не только я, но и мое заводское окружение. Моих товарищей по работе угрожали наказать из-за меня.

Я не пожелал ставить окружающих в положение заложников и на следующий день подал на увольнение. Новый год я уже встречал неработающим пенсионером. И, по своим собственным планам, я не доработал только один месяц: в марте мы собирались съездить к нашим друзьям в Израиль, в феврале надо было поехать в Москву за визами.

Суд состоялся в январе 1997 года, и я присоединил к первому заявлению второе, оспаривающее выговор, который мне успели вынести (первый за всю мою трудовую жизнь, не считая лагеря).

Иск по первому заявлению я выиграл. Помогло жлобство начальства — не желая заплатить вдвойне даже за отработанную субботу, оно распорядилось поставить мне в табеле следующую субботу, объявленную рабочей, выходным днем. Судья Ляляева, та же самая, которая отказала мне в иске против газеты, спрашивала представителя завода, за что наказан человек, не вышедший на работу в свой выходной день, и не могла получить вразумительного ответа. Мне также удалось доказать, что указанная в приказе

надбавка — это часть моей зарплаты, ведь я не был поставлен в известность об этой надбавке заранее. Недоплаченную зарплату завод мне вернул.

Второй мой иск не был удовлетворен. Из пяти пунктов обвинения, предъявленного мне, четыре были явно липовые, но в одном случае я действительно сделал формальную ошибку при заполнении документации. Кто-то подсказал начальству отказать от липовых обвинений и оставить только одно. Это и сыграло решающую роль — мне не удалось доказать, что претензии начальства имеют совсем другие основания.

Современная экономика и вечная природа человека

**Прав ли Борисов? — Интересы собственника и рабочего. —
На что способны профсоюзы**

Не берусь утверждать, что такие методы приватизации и управления — единственно возможные в нынешней нашей ситуации, но не могу сказать и обратного. Связи при существующем полурынке до сих пор играют роль не меньшую, чем деньги, а грязные деньги (взятки) — явно большую, чем деньги «чистые».

На роль хозяев более или менее сложного производства могут претендовать в первую очередь те, кто обладает и конкретными знаниями, и управленческими навыками, т.е. старый директорат. А он — выкормыш и воспитанник КПСС.

На мой взгляд, в последнее время Борисов стал подбирать кадры по критерию преданности, а не квалификации и умения. Каждый, кто отстаивает собственное мнение, в его глазах потенциальный «бунтовщик», с которым лучше расстаться. Боюсь, что такая политика приведет завод к тяжелым последствиям, когда Борисов уже сам не сможет вникать во все мелочи.

Почти хозяин завода, «барин», как его зовут за глаза, Борисов, с одной стороны, доказал, что под его управлением завод стал работать гораздо лучше, чем тогда, когда был государственным, и по качеству продукции, и по ее номенклатуре. Городской и федеральный бюджеты должны быть ему благодарны, а вместе с тем и те, кто от этих бюджетов зависит. Зависим же от них практически мы все.

С другой стороны, Борисов оказался жестоким хозяином, которого волнует прибыль, а не подвластные ему люди. В этом не было бы ничего страшного, если бы эти люди могли постоять

сами за себя. Не в одиночку, а коллективно. Этим и занимаются во всем мире профсоюзы. Не правы были марксисты, когда утверждали, что у собственника и рабочего нет общих интересов. Но так же не правы и те, кто считает, что их интересы полностью совпадают. Интересы тех и других во многом, но не во всем противоречат друг другу. Именно поэтому рабочие Советы доказали свою полную непригодность. Вопрос о взаимоотношениях рабочего и «фирмы» должен решаться двумя противоборствующими сторонами. И в споре находится истина, тот компромисс, который не дает разориться фирме и не превращает рабочего в бессловесную тварь.

У нас же профком назначается дирекцией.

Один из председателей завкома как-то разоткровенничался со мной, когда я стал пенять ему на его продиректорскую позицию: «Кто меня посадил на это место? Директор, ему я и служу. Вы же не можете сами избрать того, кто ваши интересы защищать будет. Вот когда я увижу, что рабочие — это сила, я им и буду служить. Ну был бы я Дон-Кихотом, выступил бы против Борисова, он бы меня уволил и нанял себе другого. Стали бы рабочие бастовать в мою защиту? Нет, конечно!»

Мы продолжаем жить в Луге. Мама моя умерла 6 апреля 1996 года, отец пережил ее ненадолго — в конце июля его не стало.

Дети выросли.

Перебраться в Питер мы сначала не могли по причинам политическим. Когда началась перестройка, в Луге уже жили мои родители, толкать их на новый переезд было нельзя, а уезжать без них — тем более. Еще при жизни родителей мы взяли садовый участок, построили там летний домик. Взяли мы его, чтобы было чем заняться, когда выйдем на пенсию. Теперь же он — серьезное подспорье нашему бюджету.

Я помаленьку пишу на темы культурологии (не слишком высокопарно?), проще говоря, о том, в чем мне интересно разобраться. Печатаюсь гораздо реже.

Дружба нашей компании, когда-то названной нами Союз Коммунаров, не старится, мы выдержали испытания и следствием, и временем.

Сорок лет назад мы ожидали другого будущего для России. И с началом перестройки — тоже.

Как это ни покажется странным, именно с началом реформ Гайдара, за которого я голосовал до последнего времени, я вдруг

ощутил себя не субъектом истории, а объектом чьих-то непонятных мне манипуляций. Конечно, сказался и возраст. Но главное, что те, кому мы отдали свои голоса, повели себя совсем как прежние хозяева.

И мы снова и снова даем своим пастырям управлять нами, как стадом.

Всю жизнь я и мои друзья пытались противостоять этому. Теперь дело за следующими поколениями. Ведь только от людей зависит, заставят они власть уважать себя или нет.

Меня часто спрашивали, почему мы, боровшиеся за права человека, теперь терпим таких, как, например, директор Борисов. На такие вопросы я отвечал, что мы свою задачу выполнили — теперь за создание и участие в независимом профсоюзе не сажают ни в тюрьму, ни в психушку. Дальше дело самих граждан. И в ответ слышал: «Разве с нашим народом это возможно?!» Этой присказке уже много лет, еще Глеб Успенский слышал ее от мужика в восьмидесятые годы прошлого века.

Эта пассивность и недоверие друг к другу и есть наследие крепостного права и коммунизма.

Слышу, как возмущается рабочий: «Вася уже третью неделю в больнице лежит, а цехком и не думает, что к нему надо сходить, трехи жалко!» — «Так сходи сам, он же твой друг!» — «А при чем тут я? Их выбрали — пусть они и ходят!»

Вот главный вопрос: возможна ли вообще демократия без способности граждан к самоорганизации?

Жалею ли я теперь о том, что не выбрал иную судьбу? Простись я сегодня восемнадцатилетним, в 54-м году, жил бы снова так, как жил, и оставался бы таким же, каким был?

Некоторых своих поступков я бы не повторил, но, к извечному сожалению всех мемуаристов, исправлять прошлые ошибки и грехи нам не дано.

«Все дальше катится телега. Под вечер мы привыкли к ней...»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Александр Даниэль.

О Валерии Ронкине и его книге,
или Из Москвы с любовью 3

ДЕТСТВО

Предки 21
Мурманск тридцатых—сороковых годов 25
Начало войны 27
Эвакуация 29

ОТРОЧЕСТВО

Послевоенная Ваенга 37
Школа в Ваенге 48
Снова в Мурманске 61
Ленинград. Экзамены в Техноложку 64

ЮНОСТЬ

Первый семестр 67
Рейдбригады 69
Первая студенческая стройка и первый турпоход 74
Второй курс 78
Турпоход и стройка лета 1956 года 83
Рейдовики и другие компании на третьем курсе 89
Третий курс 96
На Оредеже 105
Четвертый курс 117
Целина-1958 128
Пятый курс 131
Окончание института 135

КОГДА ЖЕ ПРИДЕТ НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ?

(Злоумышленник)

Пусконаладка	139
Социалистическая экономика: продолжение знакомства	145
Женитьба	154
Ленинград. Работа на «Фармаконе»	159
«Книжка»	163
На Кавказе	172
Первые опыты	175
Командировки и попутчики	182
«Колокол»	186
Арест	192

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Допросы	196
Суд	205
В ожидании этапа	212
Этап	216
Явас	222
«Глухари»	237
Воспитательная работа	243
Озерный	247
Карцер	253
Новые знакомства	258
Женская зона	261
Воспитатель из Техноложки	263
Работа и низшие начальники	265
Внутренняя тюрьма	267
Письма	272
Еще о начальниках	274
Голодовка	279
«На перевоспитание»	286
Снова в Озерном	296
Свидания	301
Вторая голодовка	305
Новый виток: тюрьма	307
Во Владимире	314
Побеги за границу	319
Новые «камерады»	322
В ссылку	330

В ЛЮДЯХ

Как устроиться в ссылке	336
Начальство	339
Туфта как повседневность и как экономическая система .	342
Народ	345
Друзья и дети	349
Поездка в Сыктывкар	352
Семейные хлопоты	355
Прощание с Нижней Омрой	359

ЕСТЬ В РОССИИ ГОРОД ЛУГА

Дорога «домой»	361
Между Лугой и Ленинградом	367
Лужские будни	376
Лето 78-го: мирное начало	380
Лето 78-го: бурное окончание	383
Дети	396
На абразивном заводе	401
Новый стиль	407
1982—1984 годы	410
Накануне (1985—1986)	419

ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ

(Перестройка)

Начало	426
Новые знакомства и реалии	431
Перестройка	434
Проблема власти и привилегий	449

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

(Приватизация)

Приватизация и социализм в России	453
Лужский абразивный завод — история последних пятнадцати лет	456
Последний спор с руководством	469
Современная экономика и вечная природа человека	474

Валерий Ефимович Ронкин

На смену декаблям приходят январии...

Воспоминания

**бывшего бригадмилца и подпольщика,
а позже — политзаключенного и диссидента**

•Редакторы А.Ю.Даниэль и Б.А.Рогинский

Художник Д.А.Сенчагов

Корректор Г.В.Заславская

ИД № 05507 от 1.08.2001.

Подписано в печать 28.04.2003. Формат 84х108¹/₃₂

Бумага офсетная №1. Печать офсетная.

Усл.печ.л. 31,5. Тираж 1020. Заказ 184

Отпечатано ООО «Информполиграф»

с готовых диапозитивов

